Владимир

Тендряков

НЕИЗДАННОЕ

Владимир Тендряков

НЕИЗДАННОЕ

ПРОЗА
ПУБЛИЦИСТИКА
ДРАМАТУРГИЯ



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1995

ББК 84(2Рос = Рус)6
Т33

Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати

Составление и подготовка текста

Н. Асмоловой-Тендряковой

Оформление художника

В. Мирошниченко

Т $\frac{4702010206-032}{028(01)-95}$ **КБ-31-42-1991**

ISBN 5-280-02353-1

Классовые гримасы,
или
Картинки истории

Проза

Пара гнедых

Лето 1929 года...

Я подымаю его почти со дна моей памяти. Есть воспоминания, лежащие и глубже, даже в глухих слоях младенчества. Но это случайные следы в незрелом мозгу, капризы неопределившегося бытия.

Например, я отчетливо помню: мать ведет меня за руку, я, наверное, только-только учусь ходить, и земля не держит меня, она коварно неровна — в ямах, буграх, предательских уклонах. Но вот я оторвал от нее взгляд и поднял вверх голову, открыл близкое серенькое небо и недоступный скворечник — мир, существующий помимо меня. Отчетливо помню... Но эта ранняя картина ни с чем не связана. Я не знаю, что было до нее, что после нее,— кратковременная вспышка во мраке.

К 1929 году мне исполнилось пять лет, тут я уже помню в с е, не клочками, не вспыхивающими звездами, а сплошным потоком... Незабвенный первый пескарь, вытащенный на удочку у моста, сразу же раздвигает мир: вижу сбегающий к реке бурьянистый косогор, черные баньки, покоящиеся в крапиве, избы, сладко пахнущие по утрам свежеиспеченным хлебом, мужиков, тревожно рассуждающих о коммунии...

Подымаю с самого дна моей памяти... Но памяти надежной, за которую я готов нести прямую ответственность. По детским следам иду сейчас, сорок с лишним лет спустя, иду зрелым и весьма искушенным человеком. А потому пусть не удивляет вас трезвая рассудочность моего изложения.

Итак, лето 1929 года.

В воздухе висит нагретая пыль, скрип несмазанных колес, выкрики: «Шевелись, дохлая!» По единственной

улице села тащатся груженые возы — навстречу друг другу. В ту и другую сторону везется житейский скарб: полосатые, вожделенно пухлые перины и залежанные, негнущиеся холстинные матрацы, громоздкие сочленения ткацких станин и неумытые самовары, окованные сумрачные сундуки и нехитро расписанные шкафцы, хлопающие на ходу дверками, вылинявшие, затхлые подушки, штабеля подшитых валенок, нагромождения овчины и тряпья, «робячьи» люльки, опростанные и с младенцами, венские стулья — зажиточный шик, сломанные салазки, прялки, голики, бочки, пестери, горшки, лохани... Из темных чердаков, из подпольных голбцев, из забытых камор и памятных потайных мест — все, что копилось поколениями, что лежало без нужды многие десятилетия, даже века, вытащено сейчас наружу, везется навстречу друг другу.

Иногда над горшками и лоханями возвышаются усохший старик или старуха, покорные судьбе, глядящие вперед замороженным взглядом...

Скрипят несмазанные колеса. Село поднято, село переезжает!

Переезжают не все. У дороги, чуть в стороне — разомлевшая на солнце кучка мужиков: топчут пыльную травку дегтярными сапогами, берестовыми сту́пнями, босыми пятками, потеют, благоухают луком, жадно ощупывают глазами каждый воз и обсуждают:

— Мирошка-то, гляньте, цинково корыто везет.

— А еще в бедняках ходит.

— Цинково корыто — вещь!

— А вон и Пыхтунов едет!

— Ну, у этого-то добра хватает.

— Два самовара у него, а что-то не видать их.

— Укрыл, зачем глаза-то мозолить.

— Два самовара — вещь, это не цинково корыто...

Тут же у дороги стоит и мой отец — вместе со всеми и как-то наособицу. На его широкой спине скрещиваются взгляды мужиков. Отец чувствует их, плечи его борцовски опущены, бритая, сизая голова склонена вперед, на загорелой крепкой шее морщинистый шрам — след белогвардейского осколка.

Это он поднял село, вывернул наизнанку, заставил переезжать.

Справедливость... Я родился в воспаленное время и очень рано услышал это слово.

Еще совсем недавно было худо на белом свете — богатые обжирались и бездельничали, бедные голодали и работали. Не было справедливости во всем мире!

За справедливость, за «кто не работает, тот не ест!» поднял народ Ленин. А вместе с ним поднялся мой отец. Вот он стоит и смотрит, как идут возы по улице.

Сейчас богатые мужики переезжают из своих богатых домов в избы бедняков. Бедняки же едут жить на место богатых. Мирошка Богаткин, хоть имеет оцинкованное корыто, но голь, беднота. Мирошка едет занимать пятистенок Пыхтунова Демьяна. А Пыхтунов с семьей и двумя своими самоварами едет в Мирошкину развалюху.

Не было в мире справедливости — она есть! И устанавливает ее здесь в селе мой отец. Устанавливает не по своему желанию, его послала сюда партия. Мы здесь приезжие.

За нашими спинами раздался глуховато-монотонный голос:

— Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны милостливые, ибо помилованы будут...

Опустив в валенки вечно мерзнущие — даже в такую жару! — ноги, сидит под оконцами избы старый Санко Овин, бубнит ввалившимся, затянутым бородкой, словно паутиной, ртом, глядит вдаль сквозь всех голубенькими размыленными глазками.

— Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими...

И мужики обеспокоились, разом заговорили:

— Блаженны алчущие?.. Выходит, что по-божески нынче забирают.

— А милостливые блаженны, как тут понять?

— Эй, дедко, растолкуй: бог твой за нонешнюю власть али против?

— Все равны перед богом,— пробубнил дед Санко сквозь волосяную паутину.

— Ишь ухилял, старый черт!

— Нет уж, скажи, Овин: нынешняя-то власть божеское равенство устанавливает али какое?

— Божеское?.. Активисты-то! Сказанул!

— А вот мы спросим. Эй, Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Дополни ты нам Овина: божеское у вас равенство али какое?

Мой отец, как всегда, обернулся не сразу. Сначала взвесил — хорош или плох вопрос. А обернувшись, сощурился с невнятной ухмылочкой. Это значит, вопрос понравился, с охотой ответит. При неприятных вопросах он каменел губами и скулами, отвечал глухим нехорошим голосом.

— А вот как понять — все равны, все братья, а кесарю кесарево отдай, не греши? Вроде так сказано в святом писании.— И отец повел прищуренным глазом на мужиков. Те посапывали со вниманием.— Выходит, равенства держись и царя-кесаря признавай над собой. Неувязочка. Бог-то у Овина вроде меньшевика или левого эсера — одни пузыри о равенстве пускает. Соглашатель.

Бог Санко Овина — это мужицкий бог, тем не менее кто-то из мужиков охотно хохотнул, кто-то прокряхтел, кто-то без убеждения, слабодушно поддакнул:

— Оно, пожалуй...

А отец, запустив руки в карманы, развернув грудь, поглядывал на всех с победной ухмылочкой.

— Именем бога тыщи лет словеса плели, а мы действуем... Вон!..— Отец кивнул подбородком в сторону дороги.— Поглядите, как выступает. Хорош? Слов нет. А вон этого хорошего без лишних слов с плохим Ваней Акулем поравняли. Не речи о равенстве толкаем, а делом занимаемся.

Все поглядели туда, куда показывал мой отец. По улице двигался высокий воз, две гнедых, небрежно попирая пыль хрупкими ногами, тянули его. Рядом прямо вышагивал человек, рукава полотняной, не по-деревенски белой рубахи засучены, высокие сапоги начищены, шляпа на затылке,— Антон Ильич Коробов.

Он был не бедней Пыхтунова — кулак! Никакого сомнения! Он имел две лошади. Таких коней не было ни в нашем селе, ни в соседних селах, да были ли лучше на всем свете? Лучших и представить нельзя.

Они лоснились так, что казались выкупанными. По спинам и крупам, на выпуклостях, они отливали глубинно тусклым золотом. У них, гладких,— тощие морды с пугливыми ноздрями и крупными, влажными, горячими глазами. У них широкие, бронзово литые крупы, а под ними сухие, до невольного страха тонкие ноги, кажется, вот-вот под тяжестью крупов хрустнут у бабок. На передних ногах одной — белые носки, и даже копыта у нее розовые...

Я тайно и безумно любил этих коней — каждую их лощеную шерстинку, каждое их богоподобное движение, позвякиванье их сбруи, призрачный стук их невесомых копыт на рыси. Я никогда не мог досыта на них наглядеться...

Я временами любил — ничего не мог с собой поделать! — их хозяина Антона Коробова, когда тот ласкал своих коней, говорил с ними с шутливой небрежностью, за какой взрослые обычно прячут свою нежность к детям. Его смуглое лицо в эти моменты было таким, что хотелось подвернуться под его руку, чтоб осчастливил — погладил по голове.

Я любил его и тогда, когда перед закатом, сквозь золотую пыль лучей низкого солнца он проезжал по селу на своей паре. Всегда это случалось внезапно. Они возникали посреди улицы — громадные, переливисто лоснящиеся, победно сильные, столь одинаково выгнувшие шеи, столь согласованно попирающие землю ногами, что казалось — бежит не пара зверей, а одно-единственное до ужаса великолепное существо. А позади него, выкинув вперед руки, величаво откачнувшись назад,— он, повелитель, он, бог! Как бы я хотел походить на него! Бога нельзя не любить!

Его любили дети и собаки, да и прочие животные тоже. Рассказывают: однажды он подошел к рассвирепевшему быку, только что разбившему телегу, ранившему лошадь. Подошел, почесал его, как собаку, за ухом, взял его за кольцо в носу и отвел в стойло.

Его не любили взрослые. Не только мой отец, но и мужики, богатые и бедные без разбора: «Тонька Коробов — хват. С ним на палочке не тянись — руки до плеч выдернет, и все с улыбочкой — простачок».

Был он женат на единственной дочери местного купца-богатея Игнашихина и должен бы стать его наследником. После революции старик Игнашихин с сумой на плече ушел куда-то на сторону, жить у зятя не стал — неспроста... Антона же Коробова тогда не тронули, даже одно время почтительно величали «культурным хозяином».

Он остановил воз, сунул вожжи за грядку, бросил лошадей прямо на дороге, направился к нам.

А лошади мотали головами, взрывали копытами пыль, им хотелось двигаться, хотелось в подмывающем содружестве и дальше тянуть этот посильный воз, но — умны же! — хозяин отошел, надо ждать... И копытят пыль на дороге.

У Антона Коробова на смуглом лице светлые глаза и светлая, ровно подрубленная бородка. Он был не особо высок ростом, но держался столь прямо, словно все на голову ниже его.

— Здоровы будем, мир честной,— приветствовал он.

— Здоров, коли не шутишь,— отозвался доброхот.

— Выглядываете, кто сколько горшков нажил?

— Чай, любопытно.

— И вам, Федор Васильевич, тоже?..— Антон Коробов нацелил бородку на моего отца.

— Да,— сухо ответил отец.

— Чужие горшки любопытны?..

— Событие, которое сейчас идет. Иль тебе, Антон, оно любопытным не кажется?

— Может быть,— с готовностью согласился Антон.— Вот только куда любопытное нас развернет?..

— Ко всеобщему равенству.

— М-да-а... Всеобщее, значит. Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Ване Акуле равны?

— Не нравится?

— Нет, почему же. Я-то готов, да ты, Федор Васильевич, все сердито подминаешь. Ты наверху, я внизу — равенство.

— Не наш класс в эти подминашки первым играть начал.

Антон Коробов блеснул улыбочкой:

— Ах, вон что! Вам старые ухваточки приспособить не терпится.

Из кучи мужиков кто-то несдержанно выдохнул с радостной откровенностью:

— Гы!..

Они стояли друг против друга — мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами, взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются. А Коробов — хоть бы что, задирает перед отцом бородку — легкий, статный, ворот именинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестят твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми-ка меня за рупь двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне — трын-трава!

И кони в стороне гнули шеи, рыли дорогу точеными копытами...

В это время, гремя пустой телегой, подкатил Мирон Богаткин, уже сваливший свое добро вместе с оцинкованным корытом возле нового жилья.

— Тпр-р-у! — Мирон соскочил с телеги, подсмыкнул сползающие с тощего брюха портки.

Он и всегда-то был дерганый — все с рывка да с тычка, а сейчас весь переворошен — глаза в яминах блестят, как вода из колодца, во всклокоченной бороде солома, ворот холщовой рубахи расхлюстан, а тощие черные щиколотки чем-то сбиты до крови.

— Петро, ты тута?

— Тута,— ответил хозяин лошади Черный Петро, всегда пугавший меня улыбкой: и так уж страшен в своей смоляной бороде, а тут еще в этой бороде вдруг вспыхнут крупные зубы.

— Спасибочки за лошадь, Петро.

— Чего быстро управился?

— У меня всех тяжестев — камень под порогом, так я его новому хозяину оставил.

— Не прибедняйся: баба тебе портки в цинковом корыте стирает.

— Сменяем корыто за лошадь, ежели пожадовал.

— Гы!

— Эй, Мирон! Чтой-то ты вроде не в себе?

Мирон скребанул неразгибающейся, очугуневшей от работы пятерней по груди.

— Муторно, братцы!

— Дом новый не хорош?

— Хорош-то хорош, а как ни ступи, пятки жжет.

— Что так?

— Полы крашены... Не привык я по крашеному-то ходить.

— Привыкай, коли власть требует.

— Э-эх! — Мирон снова скребанул по груди.— Вот ежели б мне советска наша власть лошадь помогла огоревать... С лошадью я бы и сам дом поднял, чужого не надо.

— Зачем тебе лошадь, Мирон? — со своей тонкой улыбочкой вступил в разговор Коробов.— Федор Васильевич тебе стального коня обещает — трактор!

Мирон проблестел на Коробова недобрым глазом.

— Стальное-то мне не к рукам. Ногти о стальное-то обломаю. Мне бы обычное — костяное да жиляное, я б с энтим в землю по уши въелся.

— А не опасно это, по уши-то? А? — Коробов краем глаза ловил выражение моего отца.— Въешься в землю — зажиточным станешь, чего доброго, второго коня заведешь, дом железом покроешь, тут-то и кончится твоя масленица.

— Уж не завидуешь ли мне, Тонька?—спросил Мирон.

— Гы!—показал в страшной бороде страшные зубы Черный Петро.

— Завидую, брат. Ты теперь в ласке, а я в опаске. Нынче у меня дом отняли, завтра коней, а послезавтра...—Коробов круто, на каблуках повернулся к моему отцу:—А вдруг да не остановитесь, Федор Васильевич?

— На полдороге не остановимся, не мечтай.

— Слышал, Мирон? Потому и готов я сейчас же пролетарием стать.

— Гы!..—гыкнул Черный Петро.

— Дело нехитрое,—произнес Мирон.—Отдай мне коней. Я пролетарием-то всю жизнь, поднадоело.

— Гы!.. Гы!..

— А ты примешь, ежели отдам?—спросил Коробов.—Не откажешься?

Мирон сглотнул слюну, побежал глазом в сторону, в сторону, пока его глаз не уперся в коробовских коней на дороге.

— Попробуй проверь,—сказал он.

— По нонешним временам такие кони ой горячи, Мирон! Шибко они меня припекают. Спроси-ка Федора Васильевича, уж он-то лучше моего тебе растолкует.

— Зачем?—с пренебрежением отозвался мой отец.— Еще товарищ Карл Маркс отмечал: ни один мироед-собственник добровольно не отказывался от своей собственности.

— А кто говорит, что я добровольно от коней отрекаюсь?.. Нужда, Федор Васильевич, заставляет. Я их, лапушек, на руках выносил заместо детей. Дороги они мне...—Антон Коробов положил руку на сердце.—Вот тут лежат, с мясом отрывать придется.

— Сам не оторвешь, классовая жадность пораньше тебя родилась, Антон.

— А ежели смогу?

— Ежели б смог, то в наших рядах давно бы был,— ответил отец.

Коробов улыбнулся своей тонкой, скользящей улыбкой.

— А я того и хочу, Федор Васильевич,—в ваших рядах. Хочу вот отдать своих коней, зато чужих брать, дом свой, который бревнышко по бревнышку клал, забыть, чтобы других из домов выселять... К понятию пришел: музыка нынче новая, так по-новому и танцуй.

Отец в ответ улыбнулся презрительно и жестко.

— Лиса в капкан попала — лапу себе отгрызть хочет. Нет, Антон, не примазывайся — разоблачим.

— Разоблачите?.. А что?.. То, что я ваши мысли приму, ваши законы признаю?.. За такое, Федор Васильевич, по голове не бьют, а как раз гладят да приговаривают: досужий мальчик, послушливый — сердце радуется.— Антон Коробов, прямой, остроплечий, задирал на отца бородку, светленько ласкал глазами. Отец, широкий, тяжело давящий сапогами пыльную землю, встречал исподлобья этот ласковый взгляд.

Мирон Богаткин слушал их, выбирал негнущимися пальцами из бороды солому, и его рука заметно дрожала, глаза, прятавшиеся в глазницах, теперь выбрались наружу, они были бутылочно-зеленого цвета и беспокойны — перебегали с моего отца на Коробова, с Коробова на отца, а лицо напряжено, морщины на нем стянуты.

Кони же, о которых шла речь, чуть поуспокоились, грызли удила, судорожили атласной кожей, отгоняя мух. И тем наглядней было их недеревенское совершенство, что ближе к нам в обморочной дреме стояла запряженная в расхлюстанную телегу лошадь Петрухи Черного — пыльно-шерстистая, с прогнутой обильным брюхом спиной, тупоногая, с громадной понуренной головой, с распущенными губами, облепленными мухами.

Мирон снова через силу сглотнул слюну и сказал ссохшимся голосом:

— Слышь, Тонька: чур, я первый!

Коробов повел в его сторону светлым глазом:

— Вынесешь ли, Мирон?

— Мое дело.

— Двоих разом отдаю. Держать-то их в хозяйстве можно только парой. Поодиночке в плугу или на извозе надорвутся.

— Знамо — тонкая кость.

— Тогда что ж... Считай — заметано.

И Мирон, распахнув зеленые глаза, затравленно заоглядывался:

— Чё это?.. Ужель вправду он?.. Чё это, ребяты?..

А «ребяты» — кучка мужиков-хозяев из «твердой середки», те, что и сами имели коней, но не смели облизываться на «коробовских лебедок»,— попритиснулись друг к другу, замерли, раскрыв окосмаченные бородами рты, таращили глаза, громко сопели и потели. Только Петруха Черный показал из бороды страшные зубы, изрек:

— Чудно!

— Очнись, простота! Покупают тебя по дешевке,— сердито сказал отец.

— Безопасность себе покупаю, Мирон,— спокойно добавил Коробов.

— Неужель вправду коней отдаешь за это?

— Дешевле-то не получается.

— А ведь я соглашусь, Антон Ильич, любый. Меня — на коней?.. Покупай! Соглашусь!

— Не ты, так другой — кто-то найдется.

— Найдется, паря, найдется. Но и я готов... За твоих коней да хоть душу черту... Готов, Антоша.

— Подумай о чести бедняцкой! На дешевку клюешь! — Голос отца был сухой, нехороший.

— О чести?.. О бедняцкой?..— Мирон вывернулся боком, перекосил плечи, выгоревший до рыжины, закопченный до черноты, изрезанный морщинами, в холщовой серой рубахе, в крашеных линялых портах, черные сбитые щиколотки торчат из разношенных берестяных ступешек.— Я, Федор Васильевич, сорок осьмой год живу на свете и все выглядываю, как бы из энтой чести выскочить подале... Бедняцкая честь, да катись она, постылая!

Мой отец схватил Мирона за выломленное костистое плечо, сильно тряхнул.

— Проснись, глухота! Ликвидация начинается! Слышал: кулака как класс... Хочешь, чтоб вместе с этим классом и тебя, беспортошного, ликвидировали?

Мирон досадливо освободился от отцовской тяжелой руки, нос его заострился, темное лицо посерело, как его заношенная холщовая рубаха, а глаза травянисто цвели.

— Ты, Федор Васильевич, из мужиков-то, видать, выскочил, не поймешь... Коней бери!.. Ни у отца мово, ни у деда такого случая не было, а я пропущу...

— Дура темная! Он спасается, а ты, баран, под обух лезешь!

— Такие кони... Уж знамо, что задешево не достанутся. Кто б мне в другое-то время таких коней посулил?.. Ты, Федор Васильевич, уже не мужик. Мужики-то, эвон, меня поймут...

Мужики, сбившись в жаркую кучу, дышали и молчали, молчали и глазели, завороженно, жадно, и, похоже, не очень-то понимали.

Мой отец обреченно махнул рукой:

— Баран!

Антон Коробов приподнял мятую шляпу:

— Доброго здоровья, мир честной... Мне пора.

Он двинулся к своим коням молодцевато-легкой поступью, прямой, с занесенной вверх бородкой — взведен! Не дойдя до воза, обернулся к Мирону, стоявшему раскорякой:

— Я не шучу, но и ты обдумай, время есть. Федор Васильевич дело говорит. Мне-то все равно кому...

Мирон только негодующе тряхнул замусоренной бородой.

Коробов не спеша разобрал вожжи, тронул коней с сочным причмоком. А они, легкие, дружно и гибко качнулись, повели дышлом. Воз, тесное нагромождение тучных узлов, расписных сундуков, берестяных коробов, величаво зашатался, ошинованные колеса беззвучно стали давить в пыли четкие колеи.

— Нынче мужик землей наелся... И лошадей мужик скоро выгонит в леса — живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божии не сеют, не жнут — сыты бывают... Сыты и веселы...

Дед Санко Овин вглядывался в даль, сквозь людей, размыленно голубым взором, и солнце сияло на его апостольской лысине.

Ему отозвался Петруха Черный:

— Птицы божии... Гы!..

Едва коробовский воз скрылся за бывшим пыхтуновским пятистенком, как раздался радостный выкрик:

— Гляньте-ка: Ваня Акуля едет!

И все сразу встряхнулись, зашевелились, заулыбались, потянулись поближе к дороге.

— Чтой-то лошадей не видать?

— Под шапкой-невидимкой оне.

— Зачем Ване лошади, когда и своих ног у него в хозяйстве много.

— Энти не надсядутся переезжаючи.

По дороге пылило шествие. Впереди — ребятня. Только старший из акуленков был в штанах, на каждом шагу мерцал в прореху голым коленом. Старшего звали странно — Иов, остальных — Анька, Манька, Ганька, Панька. Эти даже ростом мало отличались друг от друга — в рубахах из старой домотканины до колен и ниже, с одинаковыми рябыми головами, стриженными ступеньками бараньими ножницами, с одинаковыми ошпаренными

солнцем, облезшими носами, как один по-мышиному быстроглазые. Они рысили за Иовом, несли кто что успел ухватить — узелок, кочергу, щербатый заступ. Самому младшему, Паньке, ничего хорошего нести уже не досталось, он нес полено.

За ними в туче пыли с громоздким пестерем за спиной вышагивал сам знаменитый по селу Ваня Акуля. Он в лохматой зимней шапке, но бос, у него сорочье быстроглазое лицо, руки его, длинные, тонкие, как лапы паука-сенокосца, прижимают к паху закопченный чугунок. Ваня Акуля знает, что над ним зубоскалят, потому издалека, на подходе уже начинает выделывать паучьими ногами коленца: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..»

За ним отрешенно двигается его медлительная, водянистая, неряшливая жена. Она прижимает обеими руками к груди квашню. Квашня обмотана никогда не стиранной завеской-фартуком, по всему видать, переносит на новое место прямо с тестом — священный сосуд, дарующий жизнь.

Нет беднее в селе семьи. Акуленки даже жили не в избе, а в бане, банный полок служил им на ночь вместо полатей — бок к боку свободно умещались все семеро. Но сейчас они перебирались в дом Антона Коробова, один из самых — если не самый! — лучших в селе. Пятистенок под железной крышей, внутри крашеные полы, в отдельной светелке — особая печь-голландка, обложенная белыми, как молоко, гладкими, как лед, плитками.

Пылят акуленки, выплясывает сам Акуля с громадным, но не тяжким пестерем на спине, из которого торчат обкусанные валяные голенища. Акулькина баба прижимает к груди тяжкую квашню. Движется племя к новой жизни.

Антон же Коробов, что минуту назад откатил на паре гнедых с рискованно качающимся возом — смех и грех! — должен разместиться в акуленковской баньке с банным полком вместо полатей и, конечно же, некрашеными полами. Но сколько лет он, Антон Коробов, и его бездетная жена ходили по крашеным полам, жили под железной крышей! Свершилось — идет Ваня Акуля!

И мой отец, борцовски опустив плечи, наблюдает за передвижением акуленковского племени.

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!..— кричит не доходя Ваня Акуля.— Честной компании — мир и почтеньице!.. Федор Васильичу как вождю нашему и руководителю докладаю: Иван Семенихин, по

прозванию Акуля, задание партии выполняет. Да здравствует братство да равенство! Ур-ра-я!

— Иди, короста! — толкает его квашней жена.

— Ур-ра-я, граждане! Братству да равенству!..

И граждане веселятся.

— Кому-кому, а энтому от братства и равенства прямая польза!

— Верно сейчас дедко Овин сказал о птицах божьих — не сеют, не жнут, а веселы...

— Адам безгрешный, портки б только снять.

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!.. — Ваня Акуля вскидывает над головой закопченный чугунок.

— Иди, тошнотное! — качая жидкими телесами, сонная, хмурая, прошествовала мимо жена Акули. Руки ее бережно прижимали к груди заряженную квашню — сосуд жизни.

Антон Коробов со своим возом не остановился возле акуленковской баньки, а проехал из села на станцию. Жена его еще раньше ушла пешком туда же к знакомым. Коробов пропадал три дня, вернулся с пустой телегой, завернул сразу во двор бывшего пыхтуновского дома к новому хозяину Мирону Богаткину.

Мы, мальчишки, битый час торчали у забора, жались к штакетинам, ждали, когда выйдут Коробов с Мироном смотреть коней и бить по рукам.

Битья по рукам не случилось. Из избы неожиданно выскочил Мирон, как всегда в своей несменной длинной холщовой рубахе, как всегда выгоревшие до рыжины волосы встрепаны, двигался сейчас с непривычной юркостью, даже, казалось, стал меньше ростом.

Он скатился с крыльца к лошадям, а на крыльцо вышел Антон Коробов в парусиновой городской куртке с нагрудными карманами, в парусиновом картузе, сбитом на затылок, в своих высоких, по самое колено сапогах с твердыми, словно надутыми голенищами. На его смуглом с пепельной бородкой лице цвел вишневенький румянец, Коробов сосал толстую папиросу и жмурил светлые глаза на Мирона. А тот бегал вокруг лошадей, запинался, путался в ремнях — мальчишески усердный и мальчишески неумелый. Только один раз Коробов подал голос:

— Удило-то вынь, лапоть!

Мирон освободил от упряжи коней, с куриным прикудахтыванием: «Родненькие... Красавчики...» — утянул в темные распахнутые ворота сначала одного, потом другого. Кони шли за ним неохотно, вскидывали головами, храпели, пытались оглянуться на стоящего на крыльце хозяина.

— Родненькие... Красавчики... Золотые!..

Последний, тот самый, у которого были белые носки на передних ногах и розовые копыта, коротко и нежно проржал. Антон Коробов выплюнул папиросу и тут же достал вторую, но спички ломались в его руках, никак не мог раздобыть огня.

Мирон долго копался в конюшне, наконец выскочил наружу — юркий серый заяц,— быстро завел створки ворот, навесил замок, защелкнул его и с ключом, запеченным в коричневом кулаке, с землистым лицом, встрепанной бородой и глазами, что цвелая водица, двинулся на Коробова.

— Может, возьмешь все-таки деньги? — хрипло спросил он.— Все, что есть, отдам.

Коробов не сразу ответил, усиленно дышал дымом, сказал раздраженно:

— Какие твои деньги...

— Мотри! Станешь просить коней обратно — не выйдет!

— Чего зря воду толочь. Я же тебе бумагу дал. Твое! Владей! Пока владей, скоро отберут.

— Костьми лягу.

— Костьми...— сплюнул Коробов.— По твоим костям пройдут и хруста не услышат... Прощай. Будет круто, не поминай меня лихом.

— Небось...

Коробов отбросил папиросу, скользяще глянул в Мирона, сказал почти уважительно:

— А ты рисковый... Вот не чаешь, в ком смелость найдешь.

— Вовек не был смелым,— отозвался Мирон.

Тяжело ступая по ступенькам, Коробов спустился с крыльца и на последней споткнулся — из-за дощатых глухих ворот донеслось тоскующее нежное ржание. На холщовом лице Мирона враждебно зеленели глаза, он сжимал в кулаке ключ.

— Слышь, об одном прошу...— хрипло заговорил Коробов,— не бей их за-ради Христа, а лаской, лаской... Я их в жизни ни единова не ударил.

— Мои теперя — лизать буду, уж не сумневайся.

И еще раз прозвучало тоскующее ржание. Антон Коробов дергающейся походкой вышел со двора, не обратив на нас, мальчишек, никакого внимания.

Мирон проводил его настороженными рысьими глазами, и его взведенные костлявые плечи обмякли. Он постоял минуту, словно отдыхая, потом встрепенулся, кинулся к стае, прогремел замком, приоткрыв створку, пролез внутрь, закрылся, застучал деревянным засовом, запираясь вместе с конями от нас, от села, от всего мира.

До сих пор у Мирошки Богаткина самой большой ценностью в хозяйстве было оцинкованное корыто.

Оцинкованное корыто — вещь, а коробовским коням никто в селе цены дать не мог.

Презренный металл не осквернил эту небывалую сделку. Наверно, в тот год советский закон еще признавал права за хозяином частной собственности — хочешь, продавай, хочешь, так отдавай, хочешь, съешь с кашей. Умирал, но еще не умер совсем нэп, коллективизация только начиналась, новорожденный лозунг «Ликвидировать кулачество как класс!» еще не воспринимался со всей беспощадной буквальностью. Сумел ли бы через месяц Антон Коробов отделаться от своих коней? И принял ли бы через месяц Мирон Богаткин этот бесценный и злой подарок? Жизнь тогда менялась с каждым днем — что было законно на прошлой неделе, становилось преступным сейчас.

Меня тогда, разумеется, никак не трогали эти вопросы, однако хорошо помню, что почти все село осуждало Мирона:

— С огнем играет... Икнется ему кисло...

За полями, где кончается земля, холм, поросший лесом, походил на заснувшего медведя. Каждый вечер садившееся солнце выжигало на его спине дремучую шерсть.

В последние дни село по вечерам переживало сумасшедший час — висит красная пыль в воздухе, коровы, козы, овцы мечутся по улице, мычание, блеяние, остервенелые бабьи голоса:

— Марья! Гони ты мою от себя за-ради Христа!

— Пеструха! Пеструха! Пеструшенька! Сюды, любая, сюды! Мы с тобой нонче здеся живем!

— У-у, недоделанная! Каждый вечер ей вицей постановляю — все на старое воротит!

Возвращающаяся после выпасов скотина никак не может внять, что в селе произошло переселение.

Мужики в этой игре в салки участия не принимают. Они, как всегда, вылезают на крылечки, развязывают кисеты, палят табак. Мой отец тоже утверждается на своем крыльце, тоже вынимает кисет. Я пристраиваюсь у него с одного боку. С другого бока подруливает кто-то из мужиков, тянется к отцовскому кисету, завязывает разговор:

— Керосину в лавках нету и мыла. Нету спичек. Бабы ловчат, одну спичку вдоль щепают на четыре части...

— Историю на дыбки подымаем, а ты о спичках скулишь!

В тот вечер к отцу неожиданно подошел Антон Коробов в светлой куртке с карманами, в светлом картузе на затылке, со светлой улыбочкой в подстриженной бородке.

— Проститься пришел, Федор Васильевич.

Отец подвинулся:

— Садись.

Над улицей висела красная от заката пыль, бабы гонялись за скотиной, ругались и причитали.

— Радуйся, Федор Васильевич, нету больше зажиточного земледельца Антона Коробова, есть свободный пролетарий.— Свободный пролетарий протянул отцу надорванную пачку аппетитно толстых папирос «Пушка», отец не заметил их, взялся за свой кисет.— Был я у самого председателя РИКа товарища Смолевича Льва Борисовича. У товарища Смолевича забот полон рот. Ему, к примеру, в этом году нужно устроить сиротский приют, или — по-нынешнему — детдом. Вот я все, что нажил,— все, окроме дома, который ты у меня отобрал,— при самом товарище Смолевиче отдал обществу «Друг детей», получил за это членскую книжку «друга», значок с образом Ленина во младенческих годах и еще бумагу, в которой черным по белому прописано, что чист, ничего не утаил, скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности.

— Ловко.

— Обществу «Друг детей» не понадобилась скотина да справа. Товарищ Смолевич объяснил: молочный и тягловый скот, равно как и сельхозинвентарь, должны остаться в селе, так как вскорости здесь организуется артель. Все в целости, Федор Васильевич: инвентарь, какой был, я оставил при доме, Ваня Акуля теперь над ним хозяин —

доглядывайте. Корову женка отвела к бабке Ширяихе, а кони... кони у Мирона.

— Ловок, но и мы ведь не простаки.

— И еще по совету товарища Смолевича Льва Борисовича я написал письмо, в котором все как есть от души объяснил, почему я расстаюсь добровольно с презренной частной собственностью. И смею заметить, товарищ Смолевич Лев Борисович назвал мое письмо «пронзительной силы документ»! Он его посылает в газету и требует немедленного напечатания.

— Та-ак! — протянул мой отец.— Та-ак! Спасибо, что сообщил.

Коробов вежливенько улыбнулся своей тонкой улыбочкой:

— Ничего у тебя не получится, Федор Васильевич.

— И на Смолевича найдем управу!

— Товарищ Смолевич — ленинец, Федор Васильевич. Ленин тоже навстречу нашему брату шел — нэп утвердил.

Отец опустил крупную голову, произнес глухо:

— Ох и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит.

Коробов ласково щурился в висок моему отцу и не отвечал.

Висела над улицей красная пыль, колготились бабы, мычали коровы, за огородом в бурьяне неистово кричал дергач.

Над уличной неразберихой вознеслось победно-въедливое:

— С-сы дороги!.. Мы на горе всем буржуям!..

По самой середине закатно-красной дороги, приседая на длинных, ломких ногах, размахивая длинными, угловатыми руками — ни дать ни взять поднявшийся торчком паук-великан,— вышагивал Ваня Акуля.

— С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!..

Лохматая шапка наползала на нос, острокостистый, в цыплячьем пуху подбородок задран, портки коротки, открывают голени, босые ступни гегемона корявы и растоптанны.

— Нынче я хозяин! Беднея меня нету! Мне нова власть служит!.. Дор-рогу Иван Макарычу!.. Вот она, наша родима нова власть! Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Глянь сюды — гигемон пришел!

Гегемона качало посреди дороги.

— Новоселье праздную! В честь всех вождей нынче выпил! Да здравствуит!..

— Где деньги взял? — спросил отец.

— Кофик... Конфик-ско-вал!..— Ваня Акуля узрел Коробова.— Мироеду и кровопийцу! Наше вам с заплаточкой!.. От передового класса!..

— Что продал, передовой класс? — напомнил Коробов вопрос отца.

— Не жил-лаю буржуем быть! Брезгаю!..

— Уж не из инвентаря ли что?.. Смотри, Федор Васильевич, растащит он инвентарь, не соберете потом.

— Крышу я продал!.. Жылезо! Я хоть и первый ныне, но простой... Все живут под деревянными, а я под жылезной — не жил-лаю!

— Эге! — весело удивился Коробов.— Сколько хоть дали-то?

— Я простой!.. Ставь четверть — бери жылезо!.. Не жил-лаю!..

— Кому? — спросил отец.

— Коней завел! Жылеза захотел! А я презираю!

— Уж не Богаткину ли Мирону?..

— Ему! Жылеза захотел! Презираю!

— Пропал дом,— без особой жалости, пожалуй, даже с торжеством произнес Коробов.

— Не хочу кулацкого! Хочу бедняком! Потому что честь блюду! Потому что... вышли мы все из народу! Дети семьи трудовой!.. А хошь, повеселю партейного человека?.. И ты, мироед-кровопийца, смотри — разрешаю!..

И-их, лапти мои —
Скороходики!..

Ваня Акуля, развесив по сторонам руки-грабли, начал месить черными ногами дорожную пыль.

Все мы вышли из семьи —
Из народика!

И давно уже сбежались мои приятели-ребятишки. И бабы бросили загонять коров, и кой-кто из мужиков, кряхтя, сполз с крылечка, подчалил поближе.

Рожь в версту, овес с оглоблю
На плеши родилси!
Я советску власть люблю,
Не на той женил-си!

— Федор Васильевич кровь свою проливал, чтоб Ванька, кого за назем считали, во главу... Ги-ге-мон! Мы на горе всем буржуям мировой пожар... Тебя, Тонька Коробов, сковырнули — меня выдвинули! Во как!..

Коробов расхохотался. Мой отец, пряча лицо, глухо, с угрозой произнес в землю:

— Ступай, шут, проспись!

— Иду, Федор Васильевич, иду... Сею менуту!.. Но не спать!.. Не-ет!.. Да здравствует наша родная советска власть!

Он зашатался вдоль улицы на подламывающихся ногах, развесив длинные руки, неестественно большеголовый от напяленной лохматой шапки,— нескладное насекомое. И к накаленно закатным крышам возносился его голос:

— Мы на горе всем буржуям!..

Мой отец сутулил плечи, смотрел в землю. Антон Коробов, ухмыляясь, выуживал из надорванной пачки новую папиросу «Пушка».

Люди, посмеиваясь, расходились. Мои приятели-ребятишки удрали за развеселым Ваней Акулей. Я не тронулся, не хотел бросать своего отца, почему-то мне было его жаль сейчас.

— Ох-хо-хо! И вышла из дыма саранча на землю, и дадена была ей власть, кою имеют скорпивоны...— В длинной, до колен, белой рубахе, сам длинный, прямой, бестелесный, но с тяжелым кирпичным черепом, стоял в стороне Санко Овин.— Царем над собою саранча поимела ангела бездны по имени Аваддон... И сказано дале: энто только одно горе, аще два грядет... Ох-хо-хонюшки! Аще два ждите...— Дед Санко постоял, качнулся раз, отдохнул немного, качнулся другой раз, с натугой переставил тяжелый валенок, пошел, опираясь на сучковатую клюку.

Лиловые сумерки обволакивали село.

Коробов первым нарушил молчание:

— «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...» Когда что-то горит, акулькам весело — уж они, верь, доведут до пепла...

Отец не ответил, сидел словно каменный.

— Товарищ Смолевич поумней тебя будет.

Отец пошевелился и сказал негромко:

— Акулька много не спалит, а вот ежели б тебе волю дать...

— Мне б волю дать, я бы... великую Россию досыта накормил.

— И стал бы царем — на руках носи.

— Могёт быть.

По небу разлилось зеленое половодье, в нем стылым серебряным пузырьком висела блеклая звездочка. Село угомонилось, продолжал надрывно кричать дергач — таинственная птица, которую каждый слышит и никто не видит.

Коробов отбросил папиросу и встал:

— Прощай, Федор Васильевич. Мы еще усядемся вместе за красный стол... Хотя... ты прям, как дышло, такие не гнутся, да быстро ломаются. За красным столом я уж, верно, с товарищем Смолевичем посижу.

Коробов легко спрыгнул с крыльца, промаячил в темноте светлым кителем и растаял, но долго еще звучали в тишине прозрачно-звонкие, четкие шажочки. И по сей день я слышу их, и встает перед глазами статная, прямая фигура в летящей походочке — кулак, увильнувший от раскулачивания.

Отец зябко передернул плечами, тяжело поднялся:

— Пойдем в дом, Володька... Холодно что-то.

Шаги стихли. Кричал дергач.

На другой день по селу разносился громкий стук молотка о железо. Мирон Богаткин, босоногий, острозадый, ползал на карачках по крыше дома Антона Коробова и отдирал купленное у Вани Акули железо.

На другой стороне улицы стоял досужий люд, задрав головы на залатанный Миронов зад, судил:

— Неделю как и всего-то цинково корыто у него было.

— Растет репей.

— Прополют, нонче долго ли.

Самого Вани Акули средь досужих не было. Он после вчерашнего веселья отсыпался дома под грохот Миронова молотка. Во дворе на бревнышке, так, чтобы можно было видеть работающего Мирона, сидела серьезная жена Вани Акули, равнодушно лускала тыквенные семечки. Акуленковская ребятня, похожие друг на друга Анька, Манька, Ганька, Панька, тут же толкалась, радовалась — вон сколько собралось народу возле их дома! Старший, Иов, был диковат, от людей прятался.

Кто-то радостно возвестил:

— Партия сюды идет!

— Сейчас объяснит Мирошке на пальцах.

— Эй, Мирон, гость к тебе — встречай!

Мой отец подошел вплотную к дому, задрал голову и, когда Мирон появился с очередным листом на краю крыши, приказал:

— Слазь, Мирон!

Мирон с грохотом сбросил лист, деловито высморкался, вытер черные пальцы о портки, ответил с достоинством:

— Некогда мне, Федор Васильевич, слазить. Говори уж так.

— Разговор-то крупный, Мирон, и не для всех.

— Чего таиться, чай, не за воровство журить меня собрался. Купленное забираю.

— Детей, дурак, без отца оставишь.

— Жалеешь!

— Жалею.

— Тогда и заступишься.

— Не смогу заступиться. Ни я, ни кто другой.

— Слабак, значится. Ну и не путайся. Я, может, денек первым человеком в селе пожить желаю.

— Сам же недавно кулаков клял, теперь в клятые лезешь.

— Нынче другое звание мне вышло — не нищеброд.

— Дом отымем, коней отымем и накажем по закону!

Мирон распрямился на крыше во весь рост, снова презрительно высморкался. Снизу под оттопыренной рубахой был виден его голый тощий живот.

— Отымете?.. Эт пожалте. Только помни, Федор, я убью тебя, когда ты руку к моим коням протянешь. Я не Тонька Коробов, я без хитростев... Ничегошеньки не боюсь.— Мирон повернулся спиной, стал на четвереньки и полез наверх.

В это время из сеней выполз Ваня Акуля, должно быть, проснулся от наступившей после грохота тишины. Без знакомой шапки на голове, с протертым острым темечком, опухший, трупно-зеленый, с затравленно бегающими глазками, он двинулся по двору, мучительно морщась, бережно неся на весу свои дрожащие руки.

— Ми-иро-он! — плачущим, детски слабеньким голоском позвал он.— Миро-он!

— Чего тебе? — недовольно отозвался Мирон с высоты.

— Дай еще на полдиковинки, Мирон.

— Допрежь надо было торговаться.

— Ми-ир-он! Жылезо заберу... Полдиковинки, Мироша-а.

Мирон ожесточенно загремел молотком.

Ваня Акуля при каждом ударе вздрагивал опухшими губами и щеками, мучительно морщился, глядел на всех просительно увлажненными глазками. А все смеялись, советовали:

— Лезь на крышу, там ближе к богу.

— За ногу стяни.

— Смерть моя, братцы-ы! — стонал Ваня.

Вместе со всеми визгливо смеялись над отцом Анька, Манька, Ганька, Панька, а со стороны серьезно и невозмутимо поплевывала тыквенной шелухой жена, наблюдала.

— Федор Васильевич! — Ваня двинулся к моему отцу.— Будь защитником! Ограбил меня Мирошка!.. Я ж ему за дешевку!.. Реквизуй, Федор Васильевич! — Он шел на пригибающихся ногах, тянул к отцу длинные трясущиеся руки. А наверху, под синим небом, гремел железом Мирон.— Фе-е-дор Василь-ич!

Отец резко повернулся и пошел прочь — тугая широкая спина ссутулена, голова пригнута, почему-то мне опять до боли, до крика стало жаль отца.

Ваня Акуля проводил его долгим тоскующим взглядом, потоптался, снова обернулся к людям и вдруг с неожиданной силой и страстью заломил над головой руки:

— Братцы-ы! Смилуйтесь!.. Братцы-ы! Полдиковинки всего... Заставьте изверга миром, войдите в положение!.. Тош-не-хонь-ко! Бра-а-ат-цы!

Все глядели на него и покатывались, стонали от смеха. Анька, Манька, Ганька, Панька плясали, путаясь в длинных рубахах. Даже невозмутимая жена Вани Акули, не переставая выплевывать тыквенную шелуху, раскисала в улыбочке. Смеялся и я.

— Бра-ат-цы-ы! Тошне-хонь-ко!

В небе победно гремел железом Мирон.

Отец часто стал повторять одну фразу.

Сидел на крыльце вечером, слушал дергача, курил, вдруг встряхивался:

— Что-то тут не продумано.

Читал после обеда газеты, откладывал их, морщил лоб:

— Что-то тут не совсем...

Рассказывал матери об очередном собрании, обрывал себя на полуслове, задумывался:

— Что-то тут у нас...

Антон Коробов исчез из села в тот же вечер, сразу же после разговора с отцом. Он уже не слышал, как Мирон гремел железом на крыше его дома. Никто из наших больше не слышал об Антоне Коробове. Отец не сомневался: «Этот устроится... Что червяк в яблоке».

Во время дождей ободранная крыша коробовского пятистенка пропускала воду, как решето. Ваня Акуля, кляня кулацкие палаты, вместе с ребятишками, верной женой, прихватив квашню — сосуд жизни, перебрался обратно в свою баньку.

Несколько раз Мирон выезжал на своих конях. Гнедые кони по-прежнему лоснились, словно выкупанные, скупо отливали золотом. Мирон был темен лицом, расхлюстан, размахивая концами вожжей, он пролетал со стукотком из конца в конец — черноногий Илья-громовержец на колеснице. Мой отец ему больше не мешал: «Пусть... пока... Придет время, приведем в чувство».

Мирону, конечно, передавали эти слова, и он визгливо кричал: «Зоб вырву! Я нонче человек отчаянный!»

Отцу не довелось приводить в чувство Мирона. Его срочно перевели в другой район на более ответственную работу. Мы уехали из села.

Но уехали недалеко. На конференциях и областных совещаниях отец встречался с работниками старого района. Никто из них не вспоминал о Мироне Богаткине — шла сплошная коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами.

Нет, никому он не вырвал зоб, никого он не испугал, иначе вспомнили бы.

Отобрали ли у Мирона его оцинкованное корыто?..

Коней-то уж отобрали. Они вместе с брюхастой лошаденкой Петрухи Черного попали в колхозные конюшни... А какие кони были!

Позволю себе, когда это будет возможно, напрямую обращаться к документам. Не хочу и не могу давать развернутого обоснования, оно отяжелило бы и занаукообразило мой литературный труд. Самое большее, на что я способен, — бросить лишь документальную реплику по ходу дела.

Итак, первая документальная реплика.

По данным «Истории КПСС», изданной Госполитиздатом в 1960 году (с. 441), с начала 1930 по конец

1932 года было выселено 240 757 кулацких семей. Есть основание считать эту цифру сильно заниженной, хотя умиляет ее точность — не 240 тысяч и не 241 тысяча, а именно 240 757, ни больше, ни меньше, извольте верить, старались, считали, не закругляли. К слову сказать, и это уже всепланетный рекорд. Крестьянские семьи из пяти человек не считались большими. Помножив на пять указанное число высланных семейств, получаем более миллиона двухсот тысяч человек. До того времени история еще не знала столь массово грандиозных репрессивных кампаний[1].

Однако неопубликованная инструкция ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1930 года предлагала подвергнуть выселению свыше миллиона кулацких семейств, подразделяя их на три категории.

Первая. Самые непримиримые, совершающие террористические акты, подбивающие на восстания. Таких предположительно было чуть больше 60 тысяч. Инструкция требовала наказывать их вплоть до расстрела, а членов семей высылать в отдаленные районы.

Вторая. Кулаки наиболее богатые, но в терроризме не замеченные — около 150 тысяч хозяйств. Выселять с семьями, и подальше.

Третья. Умеренно богатые кулаки, а значит, и умеренно активные. Нетрудно подсчитать, что к этой категории относилось около 800 тысяч хозяйств. Выселять в места не столь отдаленные — в пределах того района, где проживали, на земли, не занятые колхозами. Следует заметить, что таковых земель — неколхозных — при сплошной коллективизации, увы, не оказалось, были лишь земли необжитые на окраинах нашей великой страны.

Выходит, что высокая инструкция так и не была полностью выполнена? Тогда чем объяснить громкие упреки в перегибах, высказанные самим Сталиным в громогласной статье «Головокружение от успехов»? Их повторяли и другие: например, журнал «Большевик» в 1930 году (№ 6, с. 20) писал, что в одном из сельсоветов некоего Батуринского района постановили раскулачить (а значит, и выслать) тридцать четыре хозяйства, при проверке же выяснилось — существует лишь три действительно кулацких семейства. Пример, показывающий, что инструкция

[1] По данным специальной проверки комиссии ВЦИК ВКП(б) за 1930—1931 годы была выселена 381 тысяча кулацких семей (Вопросы истории КПСС, 1975, № 5, с. 140).

выполнялась в десятикратном размере — за счет ареста середняков и бедняков.

Уинстон Черчилль в своей книге «The second world war» («Вторая мировая война») вспоминает о десяти пальцах Сталина, которые тот показал, отвечая ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных — брошенных в тюрьмы, высланных на голодную смерть крестьян разного достатка, мужчин и женщин, стариков и детей.

Историк Рой Медведев, у которого я позаимствовал здесь основные документальные сведения, приводит в своей книге «К суду истории» и свидетельскую картинку поэтапного крестьянского выселения: «Старый член партии Э. М. Ландау встретил в 1930 году в Сибири один из таких этапов. Зимой в сильный мороз большую группу кулаков с семьями перевозили на подводах на 300 километров вглубь области. Дети кричали и плакали от голода. Один из мужиков, не выдержав крика младенца, сосущего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево».

1969—1971

Хлеб для собаки

Лето 1933 года.

У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком — сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться — если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.

Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль».

Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал — вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и... затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей — по-обезьяньи сжимали деревья.

Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.

Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной — «смотри ты у меня!».

— Никто не выполз? — спрашивал он у начальника станции.

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.

Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика — ни на перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.

Начальник станции — «красная шапочка» — однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:

— Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
страна встает со славою
на встречу дня...

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки на дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.

А я стоял в стороне и — нет, не ревел вместе с ней — боялся, надо мной засмеются прохожие.

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре...

На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:

— Кто хочет?!

— Мне шматочек,— отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.

— И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..

Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.

— Всем не хватит! — Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.

— Мне! Мне! Корочку!..

Я отламывал всем по кусочку.

Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошлось по кускам, раздавило их.

— Пахорукий! — выругал меня Пашка.

И отошел. За ним все поползли в разные стороны.

На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял — она голодна тоже.

— Это кто ж такой сытый?

И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй со злорадством, объявили:

— Володька Тенков сытый! Он это!..

Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.

— В прошлый раз мы проходили правописание...— И замолчала.— В прошлый раз мы...— Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб.— Володя Тенков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала...

Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня,— враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж... попали в березняк.

Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником.

Дыбаков — первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.

В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребятишки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп на грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах.

Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:

— Поговорим, начальник.

Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку:

> Хорошо тому живется,
> У кого одна нога,—
> Сапогов не много надо
> И портошина одна.

— Аль боишься меня, начальник?

Из-за спины Дыбакова вынырнул райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:

— Мал-чать! Мал-чать!..

Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.

— Поговорим. Спрашивай — отвечу.

— Перед смертью скажи... за что... за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос.

— За это,— спокойно и холодно ответил Дыбаков.

— И признаешься! Ну-у, зверюга...

— Мал-чать! — подскочил опять товарищ Губанов.

И сиова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.

— Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?

— Что мне ваш чугун, с кашей есть?

— То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

— Не хотел.

— Почему?

— Всяк за свою свободушку стоит.

— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.

— Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? — сказал он.

— А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

— Кто знает.

— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.

Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.

Он лежал перед нами, мальчишками,— плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его

разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. «Если враг не сдается...» Здорово же его отделал Дыбаков.

И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить:

Враг-вражина,
Куркуль-кулачина,
Кору жрет,
Вошей бьет,
С куркулихой гуляет —
Ветром шатает.

Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена... И под горло подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь — уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:

— Заелись! С жиру беситесь!..

«С жиру бесился» я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих — меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел — «за ушами трещит».

— Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.

О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то все и начиналось...

Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выхо-

дили идейные борцы с кастовой сытостью — Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?

Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. «Если враг не сдается, его уничтожают!» А это «уничтожают» вот так, наверное, и должно выглядеть — черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза.

Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого — взрослые, старики, дети. Даже грудные дети... Про них-то уж никак не скажешь: «Если враг не сдается...»

Я сыт, очень сыт — до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью — врагов или не врагов?..

А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был — да! — но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе...

Я съел весь свой обед сам и ни с кем не поделился.

Есть мне приходится по три раза в день.

Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая «овечка». Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному — бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», как серебряные яички.

И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту — существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует — как это прекрасно! «Кукушка! Кукушка! Сколько мне?..» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Щедра без устали.

В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос

кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..

И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовский конюх Абрам едет «собирать падалицу». Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих — жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Гремит и стихает.

После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего... Но странно — нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..

Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! — Сильный, с вызовом баритон.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! — повторил мальчишеский альт.

Это тоже высланные куркули — отец и сын. Отец — высокий, костляво-плечистый, бородатый, сурово-важный, сын — жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.

Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.

Я не должен есть свои обеды один.

Я обязан с кем-то делиться.

С кем?..

Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.

Кто — самый?.. Как узнать?

Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все — самые, самые, иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение — разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним — можно свершить только тайком от других, только воровски!

Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело — на тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда — днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых — семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом — не самый...

Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их... Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой — еще не самая.

Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого Зильбербрунера раньше, то, как знать, возможно, решил — тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.

Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке — грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но

остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедля!

— Дяденька...

Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.

Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом — какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до трупной синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, — подушка.

Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.

Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.

— Спасибо, хлопчик, — сказал фистулой слон.

Я выложил ему все, что у меня было.

— Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-нибудь еще... — пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... На этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.

— Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..

Ко мне.

Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто — плечики

перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! И спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.

Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:

— Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?..— Она подмигивала и наступала на меня, я пятился.— Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын... Я — мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить... Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза... Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.

— Готова встать перед вами на колени. У вас такое доброе... у вас ангельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.

— Это я обещал...

Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:

— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын — мы гибнем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой — эх, спляшу! — еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная набок, как тонущая лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи

на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады — да и с голода тоже,— не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и... ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог — вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..

А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежевспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке,— недвижим и башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил...

У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.

— Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй никóго. Ни сына нэма, ни дочкы.

Я и без него об этом догадывался — Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.

— Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та грэбуе... Ой, лыхо, лыхо.— Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк.— Ой, лыхо мни, лыхо...

Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешаны бровями — спокойное, усталое лицо.

Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:

— Ты дал ему хлеба?

— Дал.

И он снова вглядывался в даль.

Я люблю своего отца и горжусь им.

О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!

Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.

Он слышал Ленина на Финляндском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым — не на памятнике.

Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого ревполка.

У него на шее рубец от колчаковского осколка.

Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»

Но он тихо спросил:

— Почему этому? Почему не другому?

— Этот подвернулся...

— Подвернется другой — дашь?

— Н-не знаю. Наверное, дам.

— А хватит ли у нас хлеба накормить всех?

Я молчал и смотрел в землю.

— У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок.— Отец легонько подтолкнул меня в плечо.— Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и... слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый изволоженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:

— Ма-а-льчик! По-ми-раю!..

И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.

На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех недостанет.

Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:

— Еще один шкилетник к Володьке приполз!

Мать ругалась:

— Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, ироды!

Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.

Мать приказала:

— Вот кувшин — за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!

Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.

Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетникам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный — никак не витаминный морс,— потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежачие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:

— Хлопчик, хлебца...

— По крошечке...

— Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть...

— Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..

Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

— Хле-ебца-а...

— Корочку...

— Хошь, руку свою?..

И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:

— Молодой человек! Молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:

— Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться без спешки, вяло.

А я не мог остановиться, кричал рыдающе:

— Уходи-те!!

С инструментом на плечах подошли работяги — бородатый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавшихся куркулей:

— Шакалы.

Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакальей игры.

Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг — и вспышка, шаг — и вспышка.

Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы.

Мать ахала и охала — ничего не ем, худею, синячищи под глазами... Она трижды на день устраивала мне пытку:

— Опять уставился в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посмей только отвернуться!

Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленым яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.

Гремела утренняя телега...

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня...

Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать — жалею своих врагов!

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной фуражке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

— Что это у нее шерсть так растет? — спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

— Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака... Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась... Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки — пусто, без выражения.

— Иди... Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал — не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделывали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной фуражке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Документальная реплика.

В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: «сделаем колхозы большевистскими», «сделаем колхозников — зажиточными».

Самые крайние из западных специалистов считают — на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Рой Медведев использует данные более объективные: «...вероятно, от 3 до 4 миллионов...» по всей стране.

Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство СССР» (М., 1936, с. 222) поразительную статистику. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году — 48,3, в 1931 году — 51,8, в 1932-м — 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна!»

«Сделаем всех колхозников зажиточными!»

1969—1970

Параня

Лето 1937 года.

Наш небольшой железнодорожный поселок осоловел от жары, от пыли, от едкого дыма шлаковых куч, выброшенных паровозами.

На площади перед районной чайной, в просторечии — тошниловкой, с утра до вечера звучно и бодро кричит со столба радио:

Побеждать мы не устали,
Побеждать мы не устанем!
Краю нашему дал Сталин
Мощь в плечах и силу в стане...

Кричит репродуктор. Скучают у изгрызенной коновязи колхозные лошаденки. Двое парней-шоферов мучают ручкой не желающий заводиться грузовик. Поперек крыльца чайной-тошниловки сладко спит облепленный мухами самый развеселый человек в поселке — Симаха Бучило.

В нашем сердце это имя,
На устах у всех наш Сталин...

Кричит репродуктор, а под столбом, посреди площади, обычное увеселение — поселковая ребятня окружила дурочку Параню.

— Параня! Параня! Кто твой жених?

— Уд-ди! Уд-ди!..— гудит Параня и судорожно вертится в хохочущем колесе, подставляя то зад, то бок под щипки и тычки.

Муравьиная толчея, легкая давка, ликующий визг, привлекающий даже взрослых. Несколько почтенных отцов семейств заинтересованно топчутся возле дурочки, похохатывают, подзуживают:

— Ты, Парасковья, не таись, ты, девка, откройся нам...

— Кто твой жених, Параня?!

Парни из деревень, кого не назовешь ни большими, ни малыми, увальни в смазанных сапогах, с младенчески наивным восторгом на опаленных физиономиях, хозяева лошадей, дремавших у коновязи, тычут в Параню кнутовищами.

— Парань! Эй!

— Уд-ди!

— Чтой тебя уж и тронуть нельзя, цяця?

— Дык засватана.

— Га! Дай-кось я...

— Уд-ди! Уд-ди!

Мимо — в белых парусиновых брючках и рубашке апаш — идет Андрей Андреевич Молодцов, холостой инкассатор, человек приятной наружности, культурного поведения, прекрасно исполнявший на мандолине «Светит месяц». По виду можно бы уловить — он презирает и осуждает. Можно бы, но трудно. И Андрей Андреевич Молодцов скрывается за углом, никем не понятый.

А баба из деревни с корзиной, увязанной платком, из-под которого высовывается голова петуха с бледным, свалившимся набок гребнем, не вытерпела, проста душа, и осуждения своего не скрыла:

— Ох бессовестники! Ох злыдни! Чем вам, ироды, помешала убогая?

— Тетка, спроси сама, кто жених-то... Никак не добьемся.

— Добром скажет — отстанем.

— Любо же знать...

— Гы-гы-гы!..

— Тьфу! Ошалелые! Креста на вас нет!

— Параня, кто твой?..

Параня ревет сильным сиплым мужским басом и по-детски размазывает черным тощеньким кулаком слезы и слюни.

— Ужо... Ужо... Зорьке Косому скажу, он вас ножиком зарежет...

А Зорька Косой сидит рядом, в тошниловке, у открытого окна, любуется на веселье — лицо узкое, бледное, черная челочка ровненько подрублена по самые брови, скрывает лоб, глаза трезвые, скучноватые.

Говорят, что он убил двоих, но сумел открутиться, отсидел только год в тюрьме. Зорька может выскочить на крыльцо, прикрикнуть тенорком: «Эй, вы-и! Шабаш!»

И все разойдутся. С Зорькой не шути, он благороден, но не часто... Сегодня сидит, скучновато посматривает.

Параня сипло ревет, трет костистым кулачком лицо, дрожит под мешковиной своим грязным, тощим, перекошенным телом.

— Уд-ди! Уд-ди!

И муравьиная толчея вокруг нее, и ликующие вопли, и звенящий детский смех, и короткое басовитое похохатывание взрослых...

И величание из репродуктора новым голосом, уже не просто бодрым, а проникновенным:

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Параня появилась в поселке года три тому назад и первое время на вопрос «кто твой жених?» простодушно отвечала:

— А сын божий Иисус Христос, вот кто.

С дико запутанной, густой, жесткой, как конская грива, шевелюрой, со щетинистыми, угрожающе угольными бровями, босоногая зимой и летом, в платье, сметанном из клейменного мешка, она сразу же вошла в пейзаж поселка, а имя ее — в незатейливый местный фольклор: «Хитрожоп, как Параня... Форсист, как Параня...»

Ей постоянно приходилось искать заступников. Сначала она провозглашала лишь имена добросердных поселковых баб:

— Ужо вот Анне Митриевне нажалуюсь... Бабушке Губиной ужо скажу...

Но добрые бабушки не в силах были спасти Параню от ребятни и изнывавших от безделья досужих взрослых, приходилось искать иных защитников:

— Вот Ване Душному скажу...

Ваня Душной, он же Савушкин, — милиционер, надзирающий за порядком, человек серьезный, положительный, с кем даже Зорька Косой считается. Ваня Душной ради порядка раз или два пробовал защищать Параню, но над ним стали смеяться:

— Ты, Иван, того... подходишь... Тебя, слышь, Параня-то женихом величает. Прежде у нее был Иисус Христос, нынче ты на замену. Ты ведь мужчина в соку, а потом — форма, светлые пуговицы. Юродивые светленькое-то любят...

И Ваня Душной стал исчезать с улицы, как только появлялась Параня.

В поселке у всех на языке было имя Дыбакова — наистарший средь районного начальства, даже пешком по улицам не ходил, ездил на единственной в округе легковой машине — тонкоколесом «газике» с брезентовым верхом.

— Дыбакову нажалуюсь — в тюрьму вас засадит.

Но посадили самого Дыбакова, на поверку оказалось — в красных перьях черная птица. И поселковая дурочка Параня выбросила его из числа своих почетных защитников.

— Зорьке Косому... Он вас ножиком...

Зорька Косой туманно смотрит из оконца чайной, не вмешивается — не в том настроении.

— Параня, посватайся за меня...

— Га-га-га!

— Гы-гы-гы!..

— Уморила Параня...

— Уд-ди! Уд-ди!..

Со Сталиным вольно живется на свете:
Как ясное солнце он греет и светит,
Пути пролагает к великой победе,
Чтоб радостней было и взрослым и детям...

— Уд-ди!.. Я вот Сталину... Вот ужо ему... Ужо он вас... врагов народа...

Какой-то мальчонка резанно взвизгнул: «Сталин — жених Парани!» — и получил по шее от протрезвевшего взрослого. Гагакнул один из парней с кнутом, но сразу же подавился нескромным смешком — сам допер, без доброжелателя.

Все видят его соколиные очи
И в светлые дни и в ненастные ночи.
Он вытер нам слезы, он счастье упрочил...—

кричало с высокого столба радио. Параня дрожала в своем клейменном платье, затравленно озиралась.

— Вот ужо...

Только что была плясавшая, паясничавшая карусель, только что стеной потные, оскаленные мальчишечьи лица, руки, руки со всех сторон, визг и стоны, голоса, голоса, захлебывающиеся, ласковые, вкрадчивые...

И тишина. Лишь тяжелое прерывистое дыхание да радио в небесах:

Он пишет законы векам и народам,
Чтоб мир осветился великим восходом...

Тишина, оглушающая больше, чем крик, визг, бесноватость. Глаза Парани дико косили, один в толпу, другой — куда-то вдоль улицы.

— Вот ужо...— Она пятилась.

Шоферы, крутившие заводную ручку грузовика, бросили возню, распрямились, недоуменно вглядываясь: что же случилось? И Зоренька Косой оперся локотком на подоконник, высунулся из окна.

— Вот ужо... Сталину... Родному и любимому...

Тесный круг разорвался, почтительно расступились перед дурочкой, и та бочком, бочком вышла из плена, остановилась, повела раскосмаченной гривой в одну сторону, в другую, смятенно кося горящими глазами... И вдруг сорвалась мелкой рысью, тряся мешковинным задом, стуча толстыми черными пятками... Споткнулась, упала, мешковина задралась, открыв тощие голубые ляжки. Параня съежилась, ожидая веселой бури, но буря не разразилась, никто не засмеялся...

Тогда она поднялась и, прихрамывая, торопливо ушла.

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Наверное, у нее нашлись наставники, так как на следующий день она держалась уже совсем иначе: на копотно-смуглом лице фатоватая озабоченность, глаза блестят истошно и сухо, косят сильней обычного, походочка мелкая, острым плечом вперед, с каким-то непривычным для нее напорцем.

Увидев прохожего, Параня останавливалась, принималась сучить ногами — черной заскорузлой пяткой скребла расчесанную до болячек голень, глаза на минуту останавливались — провально-темные, с диким разбродом, один направлен в душу, другой далеко в сторону. При первом же звуке сиплого голоса глаза срывались, начинали суетливую беготню.

— Он все видит!.. Он все знает!.. Ужо вас, ужо!.. На мне венец! Жених положил... Родной и любимый... На мне его благость... Ужо вас! Ужо!..

Слова, то сиплые, то гортанные, то невнятно жеванные, сыпались, как орехи из рогожи, пузырилась пена в углах синих губ.

— Забижали... Ужо вас... Он все видит... Родной и любимый, на мне венец...

Все сбегались к ней, сбивались в кучу, слушали словно в летаргии, не шевелясь, испытывая коробящую

неловкость, боясь и глядеть в косящие глаза дурочки и отводить взгляд.

— Великий вождь милостивый!.. Слышу! Слышу тебя!.. Иду! Иду!.. Раба твоя возлюбленная...

Любой и каждый много слышал о Сталине, но не такое и не из таких уст. Мороз продирал по коже, когда высочайший из людей, вождь всех народов, гений человечества вдруг становился рядом с косоглазой дурочкой. Мокрый от слюней подбородок, закипевшая пена в углах темных губ, пыльные, никогда не чесанные гривастые волосы, и блуждающие каждый по себе глаза, и перекошенные плечи, и черные, расчесанные до болячек ноги. Сталин — и Параня! Смешно?.. Нет, страшно.

Со всех сторон спешили, чтобы упиться этим преступным страхом. Слушали и молчали. Боже упаси обронить даже не слово, а вздох, дрогнуть хоть бровью. Боже упаси выделиться из остальных. Молчи и слушай, ничего не выражай лицом, кроме каменности.

— Вижу! Вижу! Свет ангельский!.. Свет! Свет! Светоч!.. Вождь и учитель... Венец принимаю!.. Ужо вам! Ужо! — Параня начинала дергаться, пена гуще вскипала в углах вывернутых губ.

Ваня Душной, придерживая кобуру нагана, припечатывая на каблук, подошел, озабоченно сопя, раздвинул плечом сборище, встал перед дурочкой. Та грозила в воздух немытым кулачком:

— Ужо вам!

— Ты!.. Тоже за агитацию?.. Сматывай, недоделанная, чтоб руки не пачкать! — Развернулся кругом, лицом к народу.— А вы!.. По какому случаю стянулись на митинг? Топай по домам, покуда я добрый!

Но из толпы подали голос:

— Высоко берешь, Ванька. Не сорвись. Она тут товарища Сталина хвалит, ты ей рот затыкать...

И Ваня Душной осекся, переступил с сапога на сапог.

— Но кто ее уполномочил?.. Что это будет, коль каждая шалава на вождя набросится, пусть даже с хвальбой?..

Посовестил, однако крутых мер не принял, рванул за инструкцией в отделение к товарищу Кнышеву.

Начальник районного отделения милиции Кнышев, человек пожилой, многосемейный, страдавший дамской болезнью мигренью, любил прибедняться: «Мы люди

маленькие, высокий замах не для нас. Пьяницу скрутить иль жулика сцапать — вот наш скромный вклад в дело социализма».

Люди с высоким районным замахом вроде Дыбакова, наверное, сейчас уже рубят лес где-то в холодной Сибири, а Кнышев как сидел, так и сидит на своем месте, рассчитывает сидеть и дальше.

Он схватился за голову, когда узнал о том, что поселковая дурочка Параня выдает себя за невесту товарища Сталина. Сразу же позвонил в одно место, в другое, во время разговоров сильно потел, сто раз говорил «виноват», наконец положил трубку и решительно приказал Ване Душному:

— Бери!

И вот через весь поселок Ваня Душной, время от времени прикладываясь коленом к тощему мешковинному заду, провел хнычущую невесту великого вождя всех народов в предварилку.

Параня не первая. Многих за вождя взяли в поселке и в прошлом году и в нынешнем, возмущаться — да боже упаси! — в голову не приходило. Наоборот, Симаха Бучило, после того как забрали Дыбакова, обличал его без просыпу трое суток:

— Он в очках ходил! И в галстуке! Простой народ нонче должон властвовать! Тот что без галстуков!.. Я — за!.. Я за расстрел голосую!..

И голосовал перед прохожими сразу обеими руками.

Симаха Бучило обличал бы и дальше, да Ваня Душной перебил — утащил в милицию на всякий случай, чтоб не докатился до перегибчиков.

Но странно — поселковые массы восприняли вдруг арест Парани неодобрительно. На улицах начались гадания не слишком потаенные, даже не шепотом, даже порой на басах.

— Она же товарища Сталина хвалила, не Троцкого.

— Зазорно вроде товарищу Сталину-то с ней жениХаться...

— Что тут зазорного? Прежде всегда ушибленных девок считали — Христовы, мол, невестушки.

— Сравнила, кума, шильце с рыльцем. Одно дело там Христос, другое — сам товарищ Сталин...

— А чего бы не сравнить? Христос богом был, куда уж выше, тыщу лет на него молились.

— Нет, как ни кинь, по-старому или по-новому, а промашечка вышла — хвалила, а ее цап!

— Промашечка? Ой, братцы, не тем пахнет! Не-ет! За любовь к отцу и учителю — в холодную? Не-ет, братцы, тут не промашечка, умысел ищи!

Находились и такие, кто даже Параню брал под сомнение: будь бдителен, враг повсюду, отцу родному не верь, почему нужно оказывать доверие какой-то дурочке?

— А что, ежели она того... замаскированный агент из какой-нибудь Англии?

— Вроде ты не знаешь, из какой такой она державы иностранной...

— Знать-то знаю, но все-таки... Могли и завербовать: притворяйся убогенькой, сообщай тайные сведения...

— Тайные-то сведения не на улицах валяются, они, простота, по учрежденьицам лежат. Вот если б она проникла куда, хоть в контору «Утильсырье», тогда подозревай, слова не скажу.

— Не замечено за Параней — чиста.

И общий возмущенный клич по поселку:

— Так за что ее, братцы, губят? Живая душа как-никак!

Никто другой из арестованных — тот же Дыбаков хотя бы — такой защиты не вызывал: «Живая душа гибнет!»

Шумел поселок, и ходил сторонкой в парусиновых брюках инкассатор Молодцов Андрей Андреевич, человек приятной наружности, культурного поведения — себе на уме...

— Писать надо, писать самому...

— До самого, поди, не долетит — высоконько. Лучше кому следует нужное словечко подпустить...

Нужное словечко было подпущено, и без промашки, кому следует.

Через несколько дней начальнику милиции Кнышеву позвонили:

— Ты, такой-рассякой, свихнулся?!

— Виноват...

— Думаешь, мы все с тобой за компанию отправимся петь в один голос «Солнце всходит и заходит»?

— Виноват, не пойму.

— Нет уж, пой ты, пташечка, мы послушаем...

— Виноват. Узнать позвольте, в чем дело?

— На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Виноват!

— Не отвертишься. Сигнальчик поступил, что ты, провокатор, за сердечное выражение любви и преданности к товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу людей в холодную сажаешь!..

Кнышев имел слабую голову, подверженную деликатной болезни, но достаточно крепкое сердце — удар снес и понял, что нужно срочно изобличить и обезвредить истинного виновника диверсии, иначе обезвредят его самого.

Он вызвал к себе Ваню Душного. Тот встал у дверей — приземистый, в выгоревшей до невнятного воробьиного цвета гимнастерке, просторный в плечах, ноги в неуклюжей косолапой стоечке, лицо губастое, простодушно-суровое и готовность на нем: кого, товарищ начальник?..

— А разреши-ка, Савушкин, проверить мне твое личное оружие... Как отдаешь, лапоть?! Как отдаешь?! Начальству оружие вместе с поясом и кобурой подают. Вежливенько!.. Вот так-то!.. Посмотрим, посмотрим... Ты им гвозди вбивал, что ли?

— Не гвозди — замок. У самогонщицы Глашки Плетухиной... Нет, говорит, ключей, и все тут. Пришлось сбить замок.

— А патроны куда использовал?

— Сроду их не бывало. Сами знаете — для красы носим эти штуки.

— Не в порядке оружие, не в порядке. Спрячем его...— И Кнышев сунул пояс с кобурой в свой письменный стол, а затем — как подменили вдруг человека — с замогильной угрозой: — На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Чего?

— На чистых советских людей поклепы возводишь?

— Чего?

— Они сердечно выражают любовь и преданность нашему вождю, а ты, провокатор, за шиворот их да в холодную!

— Да чего?.. Вы ведь сами...

— Сами?! Рассчитываешь, что я с тобой за компанию «Солнце всходит и заходит» петь отправлюсь? Нет, соловушка, пой один!..

Кнышев с рук на руки передал арестованного Ваню Душного дежурному Силину, а сам сел писать сопровождение: «Обманным путем вынудил дать соглашение на арест... терроризировал простых советских людей... прямая диверсия против Генсека...»

Параню выпустили.

Ее успели накоротко остричь. С грязно-серым, острым, как колун, черепом, угольно-пыльные косматые брови выглядят теперь еще более угрожающими, в знакомой клейменной мешковине — вовсе незнакомая Параня,

даже походка изменилась, не просто дерганно вихляющаяся, а с судорожным прискоком, словно ежеминутно кто-то кричал у нее над ухом. Но прежнее косоглазие и прежняя блуждающая оглядка по сторонам.

Ее успели не только остричь, но, наверное, и допросить. Новый мотив зазвучал в ее несвязных речах... И новые слова:

— Свирженье-покушенье!.. Свирженье-покушенье!.. Ножики точут! Ножи-ножики! На родного и любимого... Вжик! Вжик! Чую! Чую! Свирженье-покушенье!.. Вжик!.. Венец вижу! Кровь на венце!.. Осподи милостивец! Спаси и помилуй!.. Отца нашего и учителя... Свирженье-покушенье!.. О-оспо-ди!..

И жители поселка снова сбегались к Паране со всех сторон, слушали и обмирали от ужаса.

— Острое! Острое!.. Спаси и помилуй отца и учителя!.. Венец вижу! Кровь на венце!..

Толпа, теснясь, сопя, потея, окружала Параню, внимала ей в гробовом молчании.

Но ни начальник милиции Кнышев, ни те из ответственных товарищей, за которыми скромный Кнышев признавал право большого замаха, не успели прийти в беспокойство: сборища же, черт возьми! Незапланированные демонстрации! А потом — речи... Голов не сносить. Никто даже не успел подумать о своих головах, как...

Напротив чайной (а как ни кружи поселком, рано или поздно вернешься сюда, районная тошниловка — центр, местный пуп!) под столбом, с которого репродуктор бодро развивал тему «жить стало лучше, жить стало веселей», Параня утомленно бормотала о «венце», «ножах-ножиках», «свирженье-покушенье». Но вдруг она замолчала, одичавшие глаза разбежались в разные стороны, мокрогубый рот перекосился. Параня вскинула грязный, тонкий, как куриная кость, палец, нацелила его в толпу и завизжала:

— Ви-и-ижу! Ви-и-ижу-у! Во-о-о!.. Во-о!.. Он! Он! На родного и любимого!.. О-он!.. Свирженье-покушенье!.. О-он! Наскрозь вижу!..

Толпа качнулась, и под тощим пальцем оказался Гена Пестерев, инструктор Осоавиахима, он же преподаватель физкультуры, он же капитан местной футбольной команды, он же баянист Дома культуры. Гена Пестерев, или Генка Девочка, так как имел привычку обращаться ко всем, будь то старухи или старики, парни-одногодки или

совсем юная поросль школьников, «девочки»: «Девочки, не лезьте без очереди», «Девочки, а не погонять ли нам мяч...». Высокий, крепкошеий, с чубом — льняная волна, выпуклую грудь обтягивает майка-футболка, увешанная значками ГТО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок», сейчас он стоял под Параниным пальцем и бледнел.

— О-он!.. На родного и любимого! О-он!.. Ножи-ножики!.. Ви-ижу-у!..

— Девочки, что же это? — Гена криво улыбнулся и стал оглядываться, а все разномастные «девочки» пятились от него. С приклеенной улыбкой попятился и Гена.

— О-он!..— стонуще визжала Параня.— О-о-он! Держиите!.. Свирженье-покушенье!.. На родного и любимого!..

Держать Гену Девочку никто не стал, все разбежались от Парани, оставили ее одну под кричащим столбом.

Но поселок сразу же забурлил от догадок.

— А уж не учуяла ли чего Параня?

— Да полно вам, в жизнь не поверю. Чтоб Генка Девочка да того... Чтоб это он на самого... Да в жизнь не поверю!

— Ой, что-то ты спасаешь его. Ой, что-то неспроста...

— Да я же не о том... Мне Генка — тьфу! Не сват, не брат — седьмая вода на киселе.

— А спасаешь. Вроде и о бдительности никогда не слыхал. Вроде и задачи партии — твоя хата с краю...

— Не партийный я. Могу и ошибаться в чем-то...

— Ишь сиротинушка казанская. Я вот тоже беспартийный, но коммунист. Бдительность чту!

Кто-то петухом наскакивал. Кто-то распускал перья, с кого-то сходил холодный пот, и похаживал инкассатор Молодцов мимо разговоров, мимо людей. Наверное, и не он один, попробуй разгляди таких, когда молчат, в глаза не бросаются... не они стране, не страна им. Антиобщественны.

Шумел поселок, судили Генку Девочку, гадали про Параню — треплется ли зря от убогости или же простонапросто проницательна? Но на глаза Паране уже не лезли — кто знает, что в тебе разглядит убогая? Судили о ней да поглядывали издалека. С почтением.

А она шаталась по улицам — маленькая, колуном голова, грозные бровищи, просторное платье из мешка, походочка с судорожным прискоком. Какое-то время за ней на почтительном расстоянии держались ребятишки. Не дразнили, нет, просто глазели, но матери и бабки криком, угрозами отзывали их:

— Васька! Пашка! Домой, пащенки! Вот я вицей здоровой накормлю...

Дольше других торчали два брата Бочковы да рыжий Санька, сын пьяницы Симахи Бучило,—этих хоть с кашей съешь, родители не почешутся.

Как ни сторонился поселковый народ Парани, но к полудню она нашла-таки кого уличить.

Возле станции стоял ларек, в котором толстая Надька Жданова торговала морсом. Морс этот назывался витаминным, варился артелью инвалидов из еловой и сосновой хвои, но — секрет фирмы! — был бледно-розового цвета. Пить его просто так никто не осмеливался — им запивали. Надька тут же продавала в розлив водку, теплую на жаре и запашистую не хуже витаминно-хвойного морса. Клин вышибался клином, на стакан водки — стакан морсу, по крайней мере дешева закусочка — всего две копейки. И дела в ларьке шли хорошо, Надька перевыполняла план, считалась лучшей стахановкой средь торговых точек поселка, была поперек себя толще.

Вот к ней-то и притопала Параня.

— Паранюшка, хочешь морсику? — ласково спросила Надька и щедро нацедила в пивную кружку.

Параня дрожащей рукой поднесла ко рту мутно-розовую влагу... и кружка затряслась, витаминный морс расплескался на землю. Пуская пузыри, дергая острой головой, Параня закричала:

— На-аскрозь ви-ижу!.. Я-ад крысиный!.. Свирженье!.. Нареченного моего!.. Отца нашего любимого... Свирженье!..

Надька не Генка Девочка, так просто ее не смутишь, за словом в карман не полезет.

— У-у, недоделанная! — заголосила она.— Невестушка толстопятая! Яд!.. Тоже мне, откудова таких слов набралась? Вот я кружкой тебе по каторжной башке! Яд! Это лечебный-то морс! Его весь поселок пьет да хвалит!..

И пошла, и пошла, и начисто забила Параню. Та в страхе отступила, но недалеко, стояла в стороне, тыкала тощим пальцем, бормотала:

— Ви-ижу! Она... Свирженье-покушенье... Нажалуюсь...

И опять суды да пересуды.

— Ишь ты кого Параня унюхала.

— Давно бы пора толстомясую!

— Яд... А что, очень даже может... Я сам давно замечал: морс-то у нее розовый, а меня почему-то с него зеленым рвет.

Но наутро веселье примерзло. Утром по всему поселку разнеслась весть — Генка Девочка и толстая Надька арестованы. Без промашки те, на кого указала перстом Параня. Значит, неспроста она кричит, значит, вправду насквозь видит — вот тебе и убогая, вот тебе и дурочка, посомневайся-ка в ней теперь, когда солидные органы верят и свою веру делом доказывают.

У каждого появился холодок под сердцем — вроде сам ты свят и чист, но один бог без греха.

Параня шаталась по улицам — черные босые ноги пропахивают пыль, сплюснутое клином темечко жарит солнце, косые глаза гуляют под бровями...

Параня шаталась по улицам, и встречные издалека поворачивали обратно, простоволосые матери выскакивали из домов, хватали детишек, тащили с дороги, окна захлопывались, ларьки срочно закрывались: Параня идет!

Но магазины-то не закроешь перед Параней.

Она, бормоча, поднялась в лавку райпотребсоюза. Очередь за перловой крупой сразу же растаяла, покупатели один за другим, прижимаясь к стенке, повыскакивали на крыльцо. Отбежав, остановились кучкой, принялись жадно вслушиваться: что-то там сейчас?..

Обе продавщицы остолбенели при виде дурочки. Та, что постарше, бросилась к ящикам, стала хватать горстями пряники и конфеты:

— Паранюшка, на... Паранюшка, возьми гостинчик...

И Паранюшка взяла, стала грызть черствый пряник, мирно бормоча под нос:

— Венец... Благодать его... Нареченный... Родной и любимый... Светоч...

— Истинно, Паранюшка, истинно! Ты, милая, лучше конфетку пососи — сладкая! Для тебя нам ничего не жалко. Любим мы тебя...

Наконец, подергиваясь под мешковиной, Параня уже направилась к выходу, но тут случайно увидела в руках второй продавщицы, обмершей от страха молоденькой Тоси Филимоновой, огромный нож-хлеборез. Параня взвопила и забилась:

— Но-ож! Нож!.. Во-о! Нож!! Ой, свирженье!! Ой, покушенье!! Нож! На родного!.. Спаси-и!..

Ее крик вырвался на улицу, скучившиеся покупатели, ждавшие этого крика, двинулись было ближе к крыльцу,

но тут же шарахнулись в разные стороны — на крыльцо выскочила беснующаяся Параня.

Через каких-нибудь полчаса весь поселок уже знал, что указана Филимонова Тося.

Неужели и тут Параня не ошиблась?

А вот завтра узнаем — ошиблась ли, нет ли...

Утром Тося Филимонова была арестована.

Антип Федорович Рыгун, десять лет проработавший продавцом магазина-дежурки, построивший в центре поселка дом на кирпичном фундаменте, да так чисто, что не растратил ни единой государственной копеечки, первым вывесил над замком объявление: «Закрыто на переучет!» А уж за ним решили переучитываться и другие магазины...

«Параня идет! Параня идет!» — по улицам шепот, как ветер.

Параня идет! Пустеют улицы.

Известный всему поселку золотарь Никита исполнял свое дело, вез в бочке груз, заполняя воздух производственным ароматом. Впереди показалась Параня, одна на всей улице — походочка бочком, с прискоком, череп — словно колпак, подбитый бровями... Никита попробовал завернуть лошадь, но та от дряхлости была нерасторопна, несла золотаря прямо на Параню. И тогда Никита скатился с бочки, по-куличьи приседая на бегу, рванул по боковой улочке, бросив лошадь, бросив груз... Лошадь с полным грузом подошла под окна чайной-тошниловки и встала, вызвав ложные слухи: «А случаем, Никиту того... не обезвредили?..»

В поселковом скверике проводился пионерский сбор. Старшая вожатая перед строем детишек читала доклад «Лучший друг советских детей».

В скверике появилась Параня, и со старшей пионервожатой сделались судороги, девочки в строю заплакали, все стали разбегаться...

Вечером в Доме культуры сорвался показ кинокартины «Мы из Кронштадта». Параня села отдыхать на клубное крылечко, в кино никто не пошел. Готовы были пойти только братья Бочковы да Санька рыжий, сын Симохи Бучило, но их не пустили: «Даешь билеты!»

Кто она? Чем берет? Почему персту Парани подчиняются даже те, кого до смерти боится сам начальник милиции товарищ Кнышев?

Одни шептали:

— Сам-то, когда в ссылку ехал в Туруханский край, в деревне Бродах задержался, жандармы, видите ли, недоглядели... Вот когда только всплыло. Перед Параней держи под козырек, исполняй что скажет.

Другие возражали:

— Чтоб чрез нас да в Туруханский край—это какой надо крюк делать. Не-ет, просто в Паране дар большой раскрыт, потому органы ее в штат взяли, крупно платят. Мы еще, братцы, увидим Параню в гимнастерочке да ремнях, с петличками, где кубари комсоставские... Параня—тайна сия велика есть, непонятное чудотворство!..

Эту тайну знал начальник милиции Кнышев.

Вовсе не Параня была главным виновником арестов, а... Ваня Душной, сидящий ныне под крепким замком. На него, Ваню Душного (по паспорту—Савушкин Иван Васильевич), завели дело, его обличали как агента империализма, пробравшегося в ряды советской милиции. А какой агент действует в одиночку? Должны быть сообщники и у Вани Душного. Кто они?..

Вот тут-то легко встать в тупик. Ваню Душного знали все в поселке, стар и мал. Всех забрать просто нельзя. За перегибчики тоже наказывают. Но кого-то взять нужно. И наиболее подозрительных. Кто подозрителен? Не знаешь—прислушайся к массам.

Параня указывала?.. Нет! Поселковая дурочка для бдительных органов не авторитет. Но вот если массы начинают склонять имя того или иного жителя поселка, то на голос масс не реагировать просто преступно. Поэтому чутко прислушивались и... вылавливали. Правда, сами-то массы прислушивались к Паране, и, конечно, это было известно органам, но все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается! Кто смеет думать иначе?..

Кнышев знал и хранил, не открывал даже своей жене. Тайна сия велика есть—государственная тайна! Будь бдителен—враг повсюду! Болтун—находка для шпиона!

Параня идет!

Магазины закрыты на переучет или по болезни продавцов. Поторговывать снова начал лишь Антип Рыгун, но с черного хода.

Параня идет!

Однако жители поселка так ловко научились избегать с нею встреч, что аресты прекратились.

Параня идет — прячься!

И все-таки нашелся отчаянный, который не только не стал прятаться от Парани, а пошел ей навстречу.

Симаха Бучило почти каждодневно переживал моменты неудержимого энтузиазма — по поводу и без повода. Энтузиазм этот требовал большого расхода сил, а значит, и длительного отдыха. Места же для отдыха Симаха выбирал крайне неожиданные — поперек крыльца весьма посещаемой тошниловки, посреди дороги, богатырски раскинувшись в пыли, заставляя объезжать стороной конный и механизированный транспорт, на перроне вокзала, подгадывая ко времени прихода пассажирского поезда. Едва отдохнув, он сразу же начинал готовить себя к новому энтузиастскому взрыву.

Параня идет!..

Все попрятались, остался посреди улицы энтузиаст Симаха, которого покидывало из стороны в сторону. Сперва он безуспешно попытался ловить убегавших.

— Стой! Стой! Куд-ды?!

И тут увидел Параню.

Она шла посередине дороги, как Христос, возвращающийся из пустыни после сорокадневного поста,— спеченное от черноты личико, голова-дынька подставлена под палящее солнце, мешковинное платье-хламидка едва прикрывает усохшее тело.

— Паранюшка! — изумился Симаха Бучило и распахнул объятия.— Паранюшка! Родная душа! — И с раскрытыми объятиями двинулся на нее, не по прямой, а со сложными загибами то на одну сторону, то на другую, но все-таки упрямо приближаясь к цели.

Параня, от которой все в ужасе бежали, Параня, под чьим пальцем исчезали люди, эта Параня попятилась от бесстрашного Симахи.

— Уд-ди! Нажалуюсь!

Но не тут-то было, Симаха Бучило обхватил ее и облобызал в мокрые губы.

— Паранюшка! Люблю! Паранюшка! Уважаю! Преданна! Верна! До самого что ни на есть корня! Гению! Вождю! Светочу!.. Ур-ра-а!..

Он крепко взял за руку Параню, повернулся к отчужденно замкнутым бревенчатым домишкам и закричал:

— Да здравствует Параня, верный и преданный соратник!..

Дома слепо взирали наглухо захлопнутыми окнами.

— Да здравствует великий и мудрый товарищ Сталин!

Симаха потащил Параню по молчавшей, опустевшей улице, время от времени подымая ей руку, как судья на ринге победившему боксеру.

— Да здравствует Параня!

Выдвинутая нижняя челюсть, обросшая медной щетиной,—и плаксивое лицо Парани.

— Да здравствует великий Сталин!

Сжатые руки возносятся над головами.

На пути им повстречался случайно подвернувшийся инкассатор Молодцов, как всегда, в отутюженных парусиновых брючках и рубашке апаш. Он остолбенел, он побледнел, он съежился — один на всей улице, заметят, привяжутся, припутают, невольный свидетель, тут-то и возьмут на заметку, тут-то и заставят говорить. Однако Симаха Бучило и Параня прошли мимо, словно и не было этого Молодцова. Привыкли, что незаметен, неразличим, и есть вроде и нет его — пустое место, человек-невидимка. Прошли мимо...

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует великий и мудрый!..

На площади у тошниловки их встретил сумрачный Силин, пожилой, толстый милиционер, заменивший обезвреженного Ваню Душного.

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует...

Силин схватил Симаху за шиворот, деловито тряхнул:

— Пойдем!..

— Да здравствует великий Сталин!..

— Ид-ди, рвотное! — Силин оторвал Симаху от Парани.

— Да здравствует Параня! Верный и преданный...

Бенц по шее!

— Да здравствует великий Сталин!

Силин поднял кулак, но подумал и не ударил.

— Да здравствует Параня!

Удар!

— Да здравствует Сталин!

Пропуск удара.

— Да здравствует Параня!

Снова удар.

И так, под перемежающиеся удары и патриотические лозунги, ушел из жизни Симаха Бучило, развеселый человек.

Он не раз, сопровождаемый аккомпанементом по шее, уходил в милицию, но всегда быстренько возвращался. Теперь не вернулся, должно быть, попал в число сообщников Вани Душного. Что в общем-то верно — Симаха Бучило и Ваня Душной общались часто и энергично.

Бучило был последней жертвой Парани.

Кончилось все это неожиданно и печально.

Опять все на той же площади перед тошниловкой, под столбом, увенчанным неумолкающим громкоговорителем, Параня наткнулась на Зорьку Косого.

Все боялись Зорьки в поселке, но даже он, Зорька, сворачивал за угол, когда видел Параню. И вот случилось...

Параня, должно быть, вспомнила, что когда-то стращала им: «Ножиком вас зарежет...» Вспомнила про нож и подняла на Зорьку Косого пляшущий грязный палец:

— Во-о!.. Во-о!.. Виж-жу! Виж-ж...

И больше ничего не сказала. Зорька прыгнул, как петух на кошку.

— Заткнись, курва!

Коротко стукнул свинчаткой по острому стриженому темени.

Параня не вскрикнула, она только закружилась, развевая вокруг тощих расчесанных ног клейменный подол. И упала плашмя, ударилась плоским затылком об утоптанную землю, из-под изумленных бровей глаза уставились вверх на столб, на репродуктор.

А бодрствующий репродуктор на этот раз настойчиво славил Человека, не избранного, не гения из гениев, не великого средь малых, а просто Человека:

«Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости их низвергает...»

Словно из-под земли, из-за углов, из калиточек стали выползать люди. Помятенькие, завороженно притихшие, испуганные и сгорающие от любопытства, они окружили Параню.

Та лежала, раскинув тонкие руки, бестелесно плоская, хрупкая — уже готовые мощи с невинным лицом девочки и старухи. Бросались в глаза огромные ступни ног, разбитые вширь, с коряво торчавшими изувеченными пальцами, с чугунно твердыми подошвами. Ноги, не знавшие

обуви ни зимой, ни летом. Натруженные ноги исполина, носившие по грешной земле истощенное тельце нищенки. И щетинистые брови, изумленно вскинутые, и мутнеющий взгляд, нацеленный на репродуктор в синем небе.

А репродуктор славил с высоты неба:

«Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, идет свободный, гордый Человек...»

Зорька Косой пришел в себя и рванул на груди рубаху:

— Граждани-и! За чи-то она меня? Чи-то ей сделал Зорька Косой? Граждани-и! Будьте свидетелями-и!..

Граждане молчали и глядели не на Косого, а на чугунные исполинские ступни ног.

Зорька рванул на груди рубаху, а репродуктор перекрывал его рыдающий голос, внушал великое:

«Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед и выше, все — вперед и выше!»

В стороне же, на отдалении, стоял инкассатор Молодцов и плакал. Оплакивал Параню? Да нет. Молодцов — культурная личность — умел ценить высокое слово, да еще вовремя сказанное. А как нельзя более кстати напоминал репродуктор о мятежном Человеке, идущем вперед и выше. Плакал Молодцов тайком, не умел иначе. И, конечно же, слез его никто не заметил.

Зорьку Косого судили. На вопрос: «Что заставило вас совершить убийство?» — он отвечал:

— Да как же, граждане судьи, она ж меня по крайней умственной отсталости под статью пятьдесят восемь подвести могла, во враги бы народа Зорьку Косого записали! Никак не согласен! Уж лучше смертоубийство — статья сто тридцать шесть, милое дело...

За чистосердечное признание к нему снизошли — судили по статье сто тридцать шесть как убийцу, а не как презренного врага народа.

Документальная реплика.

Повально знаменитое в свое время фото — Сталин с девочкой в матроске. Подпись под ним: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Имя этой девочки — Геля, дочь наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардана Ангадыковича Маркизова.

27 января 1936 года в Кремле происходил прием руководителями партии и правительства трудящихся Бурят-Монгольской АССР. Делегацию из шестидесяти семи человек возглавляли секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) М. Н. Ербанов, председатель Совнаркома Бурят-Монголии Д. Д. Доржиев, председатель ЦИК республики И. Д. Дампилон. Присутствовал, разумеется, и отец Гели.

Во время торжественного заседания шестилетняя Геля поднесла букет цветов Сталину, и тот взял ее на руки. Этот момент и был запечатлен на снимках, облетевших всю страну, ставших плакатом.

— Что ты хочешь получить в подарок — часы или патефон? — спросил Сталин.

— И часы и патефон,— ответила Геля.

Действительно, на следующий день она получила золотые часы и патефон с набором пластинок. На том и на другом подарке было выгравировано: «Геле Маркизовой от вождя народов И. В. Сталина».

Отца Гели среди других наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Вскоре его арестовали и расстреляли вместе с Ербановым, Доржиевым и другими. Мать Гели сразу же после этого погибла при невыясненных обстоятельствах — на ночном дежурстве в городской больнице, где она работала врачом.

Геля осталась сиротой, долго жила в нищете и безвестности, хранила подарки Сталина.

1969—1971

Донна Анна

Лето 1942 года.

На небе чахнет смуглый закат, через всю сумеречную степь потянуло ветерком, по-ночному свежим и настойчиво горьким, полынным. Где-то на краю земли, под самым закатом — веселые, что треск горящего хвороста, выстрелы.

В одном месте, под закатом, перестрелка гуще, время от времени в той стороне слышатся удары, словно кто-то бьет черствую степь тупой киркой,— рвутся снаряды. Там, напротив одинокой птицефермы, окопалась пятая рота лейтенанта Мохнатова.

Чахнет закат, наливаются сумерки, война впадает в полудрему. При зыбком затишье во всех уголках фронтовой степи начинается движение, делаются дела и делишки, которым мешал дневной свет. Гудят тягачи, какие-то батареи перебираются на новые позиции. По степи без дорог расползаются машины с потушенными фарами, ощупью везут боеприпасы. Полевые кухни, начиненные неизменной пшенной сечкой, подъезжают к самым окопам, куда днем можно пробраться только ползком.

Не для дневного света, видать, и это дело, хотя и называется оно — показательное. Нас вызвали сюда из всех подразделений — рядовых, сержантов, даже из среднего комсостава.

Мы сидим на щетинистом, прогретом за день склоне пологой балки, свежий, горьковатый ветерок обдувает нас.

Внизу остановилась крытая машина, из нее один за другим выскочили несколько солдат, плотно сбитых, стремительных, в твердых тыловых фуражках, похожих друг на друга и совсем не похожих на нас, вялых, грязных окопников. Они деловито помогли вылезти серенькому,

расхлюстанному — гимнастерка распояской, ботинки без обмоток — солдатику.

Этот солдатик, смахивающий на помятого собакой перепела,— главное «показательное» лицо. Для него в десяти шагах от остановившейся машины на дне балки уже приготовлен неуставный окопчик с пыльно-глинистым бруствером — могила.

Командир, такой же плотный и стремительный, как и его подчиненные, стянутый туго портупейными ремнями, вполголоса, но энергично отдавал приказы, солдаты в фуражках действовали... И человек-перепел оказался на краю могилы в нательной рубахе с расхлюстанным воротом, в кальсонах со спадающей мотней. Сами же солдаты выстроились напротив в короткую шеренгу, развернув плечи, приставив к ноге винтовки.

И тут появился полный, вяловатый мужчина в комсоставском обмундировании, но с гражданской осаночкой. Он вынул из планшета бумагу, нашел нужный разворот, чтоб быть повернутым и к нам, зрителям, и к осужденному и чтоб тускнеющий закат бросал свет на лист...

Мы уже всё знали, даже больше, чем написано в его бумаге. Тот, кто сейчас стоял в исподнем спиной к могиле, был некто Иван Кислов, повозочный из хозтранспортной роты. В наряде на кухне он рубил мясо и отрубил себе указательный палец на правой руке.

Это случилось еще ранней весной, на формировке. Теперь уже разгар лета, наш полк неделю назад занял здесь, посреди степей, оборону. За два первых дня мы потеряли половину необстрелянного состава, но остановили рвущегося к Дону немца. Кажется, остановили...

А за нами сюда, на фронт, везли, оказывается, этого Кислова... Для показательности.

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал!..

Уличенный в умышленном членовредительстве Кислов стоит внизу в просторных казенных кальсонах, в сумерках не разглядишь выражение его лица.

А вчера утром у меня было два друга — Славка Колтунов и Сафа Шакиров, бойкий, звонкий, маленький, что подросток, башкирец. Вчера утром мы втроем хлебали сечку из одного котелка. Славку убило наповал на линии, а Сафу всего часа два тому назад я отправил на грузовике в санбат — пулевое в живот, тоже неизвестно, выживет ли.

— ...следствием установлено, что четырнадцатого марта тысяча девятьсот сорок второго года рядовой

Кислов Иван Васильевич, находясь в очередном наряде на кухне...

Чахнет закат. Стоят с отработанной выправочкой парни в фуражках, маячит напротив них нелепая домашне-постельная фигура. Могила приготовлена за ее спиной.

А Славка Колтунов, наверное, и сейчас лежит где-то посреди степи, некому выкопать для него могилу.

То, что через минуту на моих глазах пятеро вооруженных парней убьют шестого, растелешенного и безоружного, меня не волнует. Еще одна смерть. А сколько я понавидался их за эту неделю! С Иваном Кисловым из хозтранспортной роты я никогда не ел из одного котелка. Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли его врачи?..

— Зачем показывают нам этого ублюдка?..— Вопрос сердитым шепотом. Рядом со мной сидит командир химвзвода младший лейтенант Галчевский.

Мы познакомились по пути на фронт в эшелоне. Я дежурил у телефона в штабной теплушке. Была ночь, высокое полковое начальство, получив извещение, что до утра не тронемся, ушло спать. Возле денежного ящика сопел и переминался часовой. За шатким столиком при свете коптилки сидел дежурный из комсостава — юнец с белой девичьей шеей, курсантской стриженой головой, на тусклых полевых петлицах по рубиновой капле лейтенантских кубариков. Он писал что-то, углубленно и взволнованно, должно быть, письма домой, часто отрывался, пожирающе глядел широко распахнутыми глазами на огонек коптилки, снова ожесточенно набрасывался на бумагу, и перо его шуршало в тишине, словно стая взбесившихся тараканов.

Я валялся прямо на полу, на раскинутой плащ-палатке, возле телефона, время от времени испускал в пространство дендрологический речитатив:

— «Акация»! «Акация»!.. Я — «Дуб»!.. «Клен»! «Клен»!.. «Рябина»!.. «Пихта»! «Пихта»!.. Уснул, дерево?.. Я — «Дуб». Проверочка.

Дверь вагона-теплушки была приотворена, в щель глядела ночь. Влажная сырая темень плотна, хоть протяни руку и пощупай. Где-то в ней прячутся дома с занавесками на окнах. Там люди по утрам собираются на работу, там переживают заботы — раздобыть сена корове, купить дров... Выскочи сейчас из вагона в ночь, и, наверное, за каких-нибудь десять минут добежишь до такого

рая с занавесками на окнах. Десять минут — как близко! И недосягаемо! Для меня сейчас ближе неведомый, лежащий за сотни километров отсюда фронт. Стоит ночь над землей, и щемяще хочется не поймешь чего: или простенького — пройтись босиком по чисто вымытому домашнему полу, или невероятного, невиданно красивого... Чего-то такого, перед которым даже война померкнет.

Мне пришло время произнести свое заклинание: «Акация! Акация!..» Но вместо этого я с вызовом продекламировал:

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

И грохнул откинутый стул, и огонек коптилки захлебнулся, впустил на секунду ночь в теплушку. Часовой у денежного ящика вытянулся, замер по стойке «смирно», а младший лейтенант, вскочив за столом, глядел на меня провально темными глазами.

— Вы!.. Вы!.. Вы любите Блока?..— задохнувшись.

Я любил, что знал, а знал что-то из Блока, что-то из Есенина, из Маяковского, любил Григория Мелехова и деда Щукаря, д'Артаньяна с друзьями и несравненного Шерлока Холмса. Младший же лейтенант кой-кого испепеляюще ненавидел, например Есенина:

— Мещанин! Люмпен! Кабацкая душа! Быть нытиком во время революции!

Но он также любил и Блока, и Дюма, и Конан Дойля. А особенно любил кино — не комедии, а революционные и военные фильмы. Он бредил сценой расстрела моряков из «Мы из Кронштадта». Подавшись на меня всем телом, он с дрожью говорил:

— Вот бы так умереть — чтоб в глаза врагу, чтоб смеяться над ним!..— Лицо узкое, с мелкими чертами и тонкие губы в капризном изломе.

К кино я относился сдержанно, к военным картинам тем более. Войны хватало с избытком и без кинокартин. И умирать я не хотел, пусть красиво, пусть геройски глядя в глаза врагу. Впрочем, я стыдился признаться в этом даже самому себе.

«Дева Света! Где ты, донна Анна?..» Солдаты говорили о бабах. О бабах и о жратве — извечные, неиссякаемые темы. О жратве, пожалуй, говорили чаще, так как наши военные пайки были скудны, а старшины и повара без

зазрения совести еще рвали от них, мы всегда были голодны, тут, право, не до баб.

Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Мы наткнулись друг на друга, и он чуть ли не каждый день стал появляться перед нашим вагоном, вызывал меня, чтоб переброситься парой слов. Он разыскивал меня, когда я дежурил по ночам у телефона, просиживал часами, если все вокруг спали, рассказывал мне о своей маме:

— Более святого человека, поверь, на земле нет...

И зрачки его дышали, и губы его мученически изгибались, и я вместе с ним, страдая, любил его удивительную маму... А потом долго изнемогал от воспоминаний — о доме, о своей матери, об отце, который раньше меня ушел на фронт. Вот уже скоро год, как от отца пришло последнее письмо: «Подо мной убило лошадь. Жаль ее, свыкся... Видел воздушный бой...» Мой отец прошел через две большие войны — первую мировую и гражданскую,— но воздушный бой видел впервые в жизни.

Я не знал — благодарить ли мне Галчевского за эти воспоминания или проклинать его.

— Ради бога, зови меня просто Яриком, как звали дома...

Я был младшим сержантом, он — младшим лейтенантом, в армейском субординационном здании находился на целый этаж выше меня. Я постоянно чувствовал себя перед ним виноватым — не умею ответить ему тем же. Я напряженно следил за собой, чтоб не оступиться, не совершить нечаянно такое, что может не понравиться моему другу. И почему-то пугал меня капризный излом его губ.

Всю эту неделю, которую мы на фронте, я с ним не встречался. За эту неделю я пережил больше, чем за всю свою предыдущую жизнь.

Он увидел меня здесь, сел рядом, долговязый, тощий, с трогательной детской шеей.

— Зачем показывают этого ублюдка?.. Чтоб напугать нас?! Нас?.. Смертью?.. Смешно! — И мученический изгиб тонких губ. Кажется, и он хлебнул лиха за эту неделю...

Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли там его?..

Раздалась короткая резкая команда:

— Товсь!!

Приезжие парни в необмято-новеньких фуражках вскинули свои винтовки.

В невнятной темной степи стоял перед ними одинокий раздетый человек. Уже не солдат, да и человеком-то ему оставалось быть какую-нибудь секунду...

Гудели в глубине темной степи моторы тягачей. Весело потрескивали на окраине выстрелы. Тянул упрямый ветерок.

Нет, все-таки эта смерть отличается от тех, какие я успел увидеть в эти дни.

— Па-а-а и-из-мен-ни-ку ро-одины-ы!..— запел командир бравых ребят.

Гудели тягачи, и я слышал, как бьется в груди мое сердце.

— Ог-гонь!!

Я ждал карающий гром, но клочковатый, недружный залп прозвучал невнушительно. Трепыхнулись сумерки от огней, вырвавшись из пяти стволов. Мутно белеющая фигура какое-то время стояла в недоумении, достаточно долго, чтоб успеть почувствовать целую цепь переживаний — сперва мысль: «А ведь промахнулись!» — потом бездумное облегчение, наконец надежда: «Вдруг да холостыми, попугали, теперь помилуют...» — и даже стремительно вызревала вера в это, но не успела вызреть... Окутанный сумерками человек в белье качнулся и повалился вперед, в сторону солдат, еще не опустивших свои винтовки.

Тебя позвали смотреть на спектакль. И стреляли пятеро с десяти шагов, считай, что в упор,— промахнуться трудно.

По привычке пригибаясь, бежал к расстрелянному наш санинструктор с сумкой, чтоб освидетельствовать — дело сделано на совесть.

Зрители подымались. Кто-то усердно работал «катюшей», бил кресалом, чтоб запалить цигарку. Кто-то в тишине сказал в пространство громко и выразительно:

— Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами!

Галчевский дернулся от этих слов, но сразу же обмяк, процедил сквозь зубы:

— Шуточка идиота.

— Пошли,— сказал я.

Чего доброго, Ярик еще наскочит на шутника, примется его воспитывать.

Внизу, на дне балки, сгущались сумерки и бормотала машина. Слышалось застенчивое позвякиванье двух лопат...

Я опять вспомнил, что где-то посреди степи сейчас валяется Славка Колтунов, некому его похоронить.

Хлопнула дверка кабины, проскрежетали шестерни коробки передач, мотор забасил, машина развернулась.

Позвякивали лопаты. Трудился кто-то из наших, приезжие занимались только чистой работой.

Там, где было смуглое зарево, небо светилось сейчас пепельным, скучным до безнадежности светом. И по пепельной промоине скатывался огонек осветительной ракеты, как светлая дождевая капля по мутному окну... Это над ротой лейтенанта Мохнатова...

Ярик Галчевский шагал рядом со мной и кипел:

— Отмочил какой-то стервец, нашел время: «Наше дело правое». Но и судейские крючки хороши тоже... Собрали, мол, глядите, в случае чего и вас... Бойся нас пуще немца. Тьфу! Страшны фронтовику эти тыловые красавцы с дудками...

Галчевский кипел, а я слушал его краем уха и вертел в голове святую для меня фразу... Раз дело правое, то враг будет разбит. Враг не прав, мы правы. Раз мы правы — значит, сильны. Правда в конце концов всегда торжествует...

— Я, знаешь, хочу навсегда расстаться с химвзводом. Ни пава, ни ворона, каждой дыре затычка. Есть же начхим полка, зачем еще командир химвзвода?..

Над участком мохнатовской роты снова выползла ракета, на этот раз — зеленый переливчатый кристалл.

Мне не нравится кипятящийся сейчас без нужды Ярик Галчевский, мне не нравятся те ребята в парадных фуражках, что умело расправились с повозочным из хозроты Иваном Кисловым, и уж, конечно, сам Иван Кислов — гори все, я спрячусь! — нравиться мне не может... Но, кажется, больше всех не нравлюсь себе я сам. В простом сейчас заблудился, в трех соснах: «Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами». Очевидно же! Правда всегда побеждает, а вот поди ж ты, враг — неправедный — подошел к самому Дону...

— Возьму стрелковый взвод! Ванька-взводный — позвонок, мелкая косточка в становом хребте армии, на котором все держится!..

Бесплотным зверем бесшумно проскакало мимо нас перекати-поле — клубок колючек, умчалось в темень, в неуютную бесконечность степной равнины.

Но бесконечность степи обманчива, через какой-нибудь десяток-другой шагов эта степь круто ринется вниз из-под наших ног в гущу колючих кустов, растущих вдоль каменистого русла высохшего ручья. Здесь в зарослях дикого терновника прячется несколько землянок — штаб нашего полка. У меня землянки нет, есть окоп, длинная земляная щель, там беспризорно валяются два вещмешка — мой и Славки Колтунова. Был еще третий — Сафы Шакирова, но я его отправил вместе с хозяином в медсанбат. Этот окоп — мой дом. Сейчас доберусь до него, втиснусь в его каменно-твердые глинистые стены, завернусь в плащ-палатку и... провалюсь.

У меня теперь не осталось иного счастья в жизни — только лишь сон.

— «Клевер»! «Клевер»!

«Клевер» не отвечает. Где-то в прокаленной степи перебита тонкая нитка кабеля... Нет этого, я сплю.

Нечисто сладковатый, жирный запах, в примятой полыни валяются липко-черные трупы, победно гудят над ними тучи откормленных мух... Нет этого, я сплю.

Нет не вернувшегося с линии Славки Колтунова... Нет потного лица Сафы, его раскосых, блестяще-черных, с каким-то беспомощным птичьим страданием глаз... Нет! Нет! Я сплю.

Пока я сплю, нет войны.

Жаль, что спать мне выпадает в последнее время всего по два, по три часа в сутки.

И жаль еще, что сплю теперь обморочно, без всяких снов. Увидеть во сне хотя бы задернутое ветхой занавесочкой оконце нашего дома, за ним розовый рассвет с петушиным надсадным криком... Или ныряющий средь распластанных кувшиночных листьев поплавок, в радуге брызг вырванный из воды золотой неистовый окунь... Или склонившееся лицо матери, ее негромкий голос: «Вставай, Володька, в школу опоздаешь».

Не надо, мама, не буди! Как только кончится сон, начнется снова война.

Ночь над степью, далекая перестрелка. Я еще не добрался до своего окопа, я еще не сплю, но я уже чувствую себя счастливым. Благословенна природа, наградившая нас, живых, способностью на время забывать о жизни.

Но уснуть в этот раз не удалось.

В овраге, хрустя сапогами по каленому камешнику сухого русла, толпилось много солдат, охомутанных шинельными скатками, с вещмешками, с винтовками, в касках — в полном боевом. На меня с ходу налетел командир роты связи:

— Младший сержант Тенков! В распоряжение командира второго батальона! Не-мед-лен-но! Приказ начальника связи!..

Все ясно. Каждый день наши роты несут потери. Каждую ночь в стрелковые роты уходят нестроевики — обозники, помощники поваров, тыловые интендантские придурки. Даже взвод пешей разведки — аристократы полка, мастера ночных вылазок — занял нынче оборону, как простые автоматчики.

И в ротах всегда не хватает связистов. Чем сильней огонь, тем чаще рвется связь. Я же — радист без рации, телефонист-катушечник — на подхвате.

Спускаюсь в свой окоп, чтоб забрать вещмешок и скатку. Окоп, куда я возвращался каждую ночь, который считал своим домом... Где-то в другом окопе мне, быть может, удастся перехватить часок до рассвета. То ли удастся, то ли нет.

— Тенков! Володя!..

Меня ищет Ярик Галчевский. Эге! И он тоже — в каске, в плащ-палатке, с вещмешком.

— Нас вместе... В роту Мохнатова! — возбужденно объявляет он мне.

Что ж, я готов.

Степь, ржаво-бурая, прокаленная, лениценько ползет вверх к истошно синему небу. На гребне под небом даже невооруженным глазом улавливается шероховатая кромка их окопов. За гребнем — птицеферма. Должно быть, это маленький хуторок, несколько саманных, побеленных известкой домов и мутный, с истоптанными грязными берегами ставок. Должно быть... Эту птицеферму никто из наших в глаза не видел, зато каждый о ней слышал.

Птицеферма — самое высокое место в плоской степи.

Через птицеферму немцу легче всего подтянуть к нам вплотную свои танки и мотопехоту.

Птицеферма — трамплин, с которого немцу удобно свалиться на наши головы.

Рота Мохнатова занимала оборону напротив птицефермы. Имя лейтенанта Мохнатова в полку у всех на языке — от командира полка до последнего повозочного в обозе.

Я представлял его себе: дюжий мужчина с окопной небритой физиономией, с длинными руками, болтающимися у колен,— нечто гориллообразное! Мох-на-тов — одна фамилия чего стоит!

От общей траншеи, в которой можно ходить не сгибаясь, на шажок-другой вперед к противнику пробит тесный тупичок. В нем — земляная приступочка-насестик. Это наблюдательный пункт ротного командира. Тут восседает, упираясь пыльным сапожком в стенку, парнишка в выгоревшей до холщовой белизны гимнастерке. У него матово-смуглое, с мягким овалом, грязное лицо, сухая мочальная прядка из-под пилотки и сипловатый, задиристый, порой даже дающий петуха голос.

— Телефонист! — кричит он с несолидной агрессивностью.— Разыщи мне по проводам эту сволочь мордатую!..

«Сволочь мордатая» — ротный старшина, доставивший ночью слишком мало воды на позицию. Мохнатов угрожает упечь старшину в стрелковый взвод.

Над пыльной пилоткой ротного командира клокочет прозрачный, наливающийся зноем воздух — шуршат, шепелявят летящие через нас тяжелые снаряды, ноют, стенают пули, плетется зловещий шепот заблудившихся осколков. Внизу же, под ротным, на уровне его давно не чищенных сапожек, в тесноте прохладной траншеи идет деловитая и суматошная жизнь переднего края. Сутуловатой рысцой бегает связной Мохнатова, уже известный мне Вася Зяблик. Возле самых сапожек почтительно стоит зачуханный солдатик — пряжка брезентового ремня на боку, гимнастерка в пятнах машинного масла, свисающие штаны, неподтянутые обмотки и неделю — с самого начала нашей фронтовой жизни — не мытое, не бритое, полосатое лицо. Это Гаврилов, лучший пулеметчик в роте, а может, и во всем полку, мастерски давит из своего «максимки» огневые точки противника. Именно он сейчас вызвал гнев Мохнатова на старшину, сообщив, что скоро будет нечего заливать в кожух пулемета. Рядом с ним командир левофлангового взвода Дежкин, пожилой старший сержант грустно-бухгалтерского вида. Он вот уже без малого полчаса терпеливо выпрашивает у Мохнатова пулеметный расчет Гаврилова: «Уж больно стрекунов развелось напротив нас, попугать надо...» А Мохнатов не говорит ни да, ни нет, дипломатически, с излишней горячностью сволочит старшину:

— Брюхо в обозе нажрал! Морда солдатской задницы толще! При ясном солнышке и не увидишь красавца!..

— Санинструктора!.. Где санинструктор?..

По траншее ведут раненого. Он гол по пояс, правое плечо неуклюже замотано слепяще-белыми бинтами, на выступающих ребрах, по синюшной коже черные проточины засохшей крови. Один солдат теснится сзади раненого, придерживает его из-за спины за здоровый локоть. Второй, рослый, громогласный, выступает вперед, решительно, словно перед дракой, машет руками, взывает к санинструктору.

Мохнатов круто повернулся к ним на своем насесте:

— Пач-чему вдвоем? Пач-чему не всем взводом снялись?! Дежкин! Эт-та твои красавцы?

Но Дежкин ответить не успевает. Лейтенант Мохнатов валится на голову почтительно стоящего под ним пулеметчика Гаврилова. Траншея содрогается от взрыва, со стенок течет песок, с безоблачного неба на секунду падает тень.

Считается, нас не обстреливают, когда каска, положенная на бруствер, не падает со звоном обратно в окоп. Но даже и в такие тихие минуты не высовывайся без нужды — «запорошит глаза».

Обычно каска падает в течение всего дня. Но иногда бруствер просто метелит от свинца и стали, траншею лихорадит от взрывов, тут уж каска падает — не успеваешь досчитать до десяти.

— «Клевер»! «Клевер»! Как слышишь, «Клевер»?..

У меня остался тот же абонент, только вчера я ему кричал сверху вниз, из штаба полка: «Клевер! Клевер!» Теперь кричу снизу, из роты. И как бы ни стреляли, как бы ни тряслась земля от взрывов, как бы осколочная метель ни гуляла по брустверу, но если «Клевер» нас слышит, все прекрасно, живем — не продувает, от обстрела даже уютней. В земле как у Христа за пазухой, попробуй-ка достань!

Но вот...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Тупая немота в трубке.

И я толкаю своего напарника, еще не проснувшемуся сую трубку в руку:

— Держи. Я «гулять» пошел.

Днем «гуляем» строго по очереди. При прошлом обрыве «гулял» мой напарник. В более покойное время... Сейчас — падает каска... Через край окопа ныряй, как в прорубь.

Тянется в степь тонкая нитка кабеля. Над спиной, над твоей открытой, незащищенной спиной, над самым затылком гуляет многоголосая смерть.

Несложен язык резвящейся смерти. Его начинаешь постигать в первые же часы на фронте.

Нежно и тоскующе поют пули, растворяясь в толще воздуха. Не обращай на них внимания — пустышки. Если же пуля взвизгнет коротко и свирепо, обдаст кожу лица колючими брызгами земли — значит, бьют прицельно, значит, вторая или третья пуля может быть твоей, отрывайся от заклятого места и беги. Но не на ногах, а на спине, на животе катись по степи — небо, полынь, небо, полынь! — пока пули вновь успокаивающе не заноют в вышине.

Сухо шуршит и пришептывает осколок, тычется где-то совсем рядом, пошарь — найдешь. Тоже не страшен. Он долго блуждал в синеве, потерял свою убойную силу. Может ударить, даже ранить, но не смертельно.

Давящий душу вой, вой, сверлящий мозг... И нет ничего страшнее на войне, когда этот вой обрубается. Краткий миг оглушительной тишины. Многие после этой тишины уже ничего никогда не слышали. Но и тот еще не фронтовик, кто не коченел от нее неоднократно.

Кабель тянется через степь... Никого вокруг, далеко люди, если ранит — далека помощь. В самые опасные для себя минуты телефонист-катушечник воюет в одиночку.

Кабель тянется через степь... Стоп! Не тянется! Вот обрыв!.. Взрывом разбросало концы кабеля...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Нет «Клевера»... Сейчас будет. Отыскать отброшенный конец, срастить — минутное дело. Иногда, правда, осколки рвут кабель в клочья, но все равно невелик труд стянуть и срастить. Велик путь — туда и обратно.

В окопе встречает тебя взгляд напарника, в нем уважение и благодарность. Пусть он сам проделывает не раз на дню такие же путешествия, но все равно сейчас благоговеет передо мной, человеком, блуждающим возле того света.

Мы вдвоем обслуживаем деревянный, обшарпанный ящичек с трубкой. О своем напарнике я знаю только, что он сибиряк и что у него странная фамилия — Небаба.

Но сколько раз под затяжным обстрелом я ждал его с тоскливым напряжением! Сколько раз я радовался его возвращению и видел в его глазах точно такую же радость. Он мне родной брат, я ему — тоже, не сомневаюсь.

Но что он за человек? Что любит, а что не переносит? Женат или холост, весельчак по характеру или нытик?.. Не знаю даже, молод он или не очень. Под слоем окопной грязи мы все выглядим стариками.

Мы живем тесно и живем по очереди. Один из нас дежурит, другой непременно спит в это время, один выскакивает под огонь на линию, другой остается у телефонной трубки. Встречаемся мы лишь среди ночи, когда приходят полевые кухни, за котелком горячей пшенной сечки. В эти короткие минуты мы говорим не о себе — о деле и о посторонних.

— В первом взводе опять двоих ранило... Аппарат у нас что-то барахлит, должно быть, батареи сели.

— Заземление погляди — окислилось...

Близкие и далекие, братски спаянные и совсем незнакомые.

Я описываю это подробно, словно проходила неделя за неделей нашего сидения в ротной траншее. Нет, прошло всего двое суток, тягостно бесконечных, как ожидание, утомительно кошмарных, как сама война, однообразных, как любые будни.

На исходе вторых суток я услышал оживление на линии.

До меня, «Василька», прорвался с далекого «Колоса» самоличный бас ноль первого, командира полка по нашему коду. Потом поминутно стали требовать от «Клевера»: «Срочно к телефону Улыбочкина... Пошлите связного к Улыбочкину... Кого-нибудь из хозяйства Улыбочкина...» Я знал весь полковой и батальонный начсостав и по фамилиям и по номерам. Улыбочкина среди них не наблюдалось. Наконец в нашей растительной семье появилась новая сестрица — «Крапива». И эта «Крапива» с ходу начала заботиться об «угольках к самовару». Я понял — к нашему батальону придали минометную батарею.

Ночью явился сам командир батальона капитан Пухначев, влез в землянку к Мохнатову, через минуту выскочил оттуда Вася Зяблик. Над изрытой степью, над окопами захороводили в тихой ночи голоса:

— Дежкина к лейтенанту!.. Старшего сержанта Дежкина!.. Младшего лейтенанта Галчевского к командиру роты!..

Мохнатов созывал к себе взводных.

Рядом, шагах в десяти, наш пулеметчик, должно быть Гаврилов, отбил оглушительную очередь: не сплю,

поглядываю! С той стороны ответили. Я сидел на дне траншеи, но отчетливо представлял себе, как стороной над темной степью проплывают трассирующие пули.

— Это ты, Володя?..— Надо мной склонился Галчевский. Его лицо тонуло в глубокой каске, серел в сумерках острый подбородок, на тонкой шее неуклюже висел тяжелый ППД — только что с инструктажа.— Приказ: завтра взять птицеферму,— сказал он, опускаясь рядом.— Капитан Пухначев только что Мохнатову принес.

Я кивнул — мол, давно догадывался, для меня, телефониста, это не новость.

— Мохнатов сомневается, говорит, у нас кишка тонка.

— Мохнатов знает,— ответил я уклончиво.

— Он все-таки маловер.

Снова оглушительно пробила рядом пулеметная очередь, и снова с той стороны нам ответили. Шла обычная ночная вялая перестрелка. Раз такая перестрелка идет, значит, на фронте затишье. Можно вылезти из окопа, распрямиться во весь рост, встретить кухню, получить свою порцию похлебки, поверить и тихо порадоваться — будешь жить по крайней мере до утра.

От Галчевского в эту тихую минуту исходила какая-то тревожная наэлектризованность, он крутил каской, передергивал плечами и наконец начал говорить захлебывающимся, галопирующим голосом:

— Мы привыкаем к покорности! Мы каждый божий день учимся одному — бессилию! Воет снаряд, летит в твою сторону — останови! Нет, бессилен! Падай, раболепствуй! А наша жизнь на передовой?.. Не смей выскочить даже по нужде, сиди, как подневольный арестант, в яме, выкопанной твоими руками... Погребены заживо, покорны, смирнехоньки! Как я хочу... Как я хочу показать им!..— Галчевский дернул каской в сторону немца.— Черт возьми, показать, как я могу не-на-ви-деть!..— И вдруг продекламировал:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

На дне окопа этот книжный пафос звучал фальшиво, Ярик Галчевский и сам, видно, почувствовал:

— Ах, ерунда! Кривляние от скуки. Он всю жизнь ел на серебре... Не ерунда одно!.. Ходить прямо, а не пол-

зать на брюхе. Зачем они прилезли к нам? Зачем они меня выдернули из дома, не дали учиться дальше? Зачем заставляют волноваться мою мать? У моей мамы очень больное сердце... Не-на-ви-жу!

— Тебе надо отдохнуть, Ярик.

Он недоуменно поднялся, постоял молча секунду и произнес, спотыкаясь, с глухой дрожью:

— Ты сказал мамины слова... Точь-в-точь... Даже с маминой интонацией...

— «Василек»! «Василек»! — донеслось в трубку.

— Я — «Василек»!..

— Как самочувствие, «Василек»?

— Пока нормальное. Послезавтра спроси.

Дежурный коммутаторщик при штабе полка сочувственно рассмеялся. Переживу ли я свое завтра — бог весть.

— Я пошел...— Ярик полез из траншеи. Наверху он остановился.— Просили известить каждого солдата: будет общая атака по красной ракете. Мохнатов ракету кидает...

Я опять лишь кивнул в ответ.

— Если я упаду в этой атаке, то упаду головой вперед. Потому что не-на-ви-жу!

— Лучше не падай.

— Мне себя не жаль. Мне маму жаль.— И пошел легкими, какими-то путаными шажками.

Прогремела пулеметная очередь, грозная и равнодушная. Послушно ответил ей с той стороны немец-пулеметчик. Все в порядке, на нашем участке тихо.

А у Ярика сегодня даже походка непривычная, карусельная, как у пьяного.

Из степи донеслись скрип и позвякивание. По траншее из конца в конец полетели негромкие, приподнятые, почти ликующие слова: «Кухня!.. Кухня пришла!..»

— «Василек»! «Василек»!..

— Я — «Василек»!

— Двадцать девятого к телефону!

— Его нет, он впереди.

Двадцать девятый — лейтенант Мохнатов — сидит, как всегда, на своем командирском насестике, в пяти шагах от меня, чумазый мальчик с мочальной челкой из-под пилотки. Он прилип к биноклю, у него из кармана галифе торчит неуклюжая ручка средневекового пистолета — ракетница, заряженная красной ракетой.

Я решительно вру в трубку, что двадцать девятого нет на КП. Мохнатов слышит, не отрывается от бинокля.

Утром загудел, зашепелявил над нашими головами невидимый поток снарядов. За гребнем, где находилась птицеферма, раздались подвально-глухие удары. Позади нас, совсем рядом заквакали минометы новоявленного хозяйства Улыбочкина — «Крапивы» в телефонном обиходе. Немцы ответили: артиллерия через наши головы — по нашим тылам, из минометов и пулеметов — в нас. Каска падала усердней, чем всегда.

Вот тогда-то и началось единоборство лейтенанта Мохнатова с тыловым начальством.

— «Василек»! «Василек»! Двадцать девятого срочно!

И я послушно протягивал трубку:

— Вас срочно, товарищ лейтенант.

Он нехотя слезал со своего наблюдательного насестика, начинал разговор скучным голосом с шестнадцатым — комбатом Пухначевым:

— Никак невозможно, шестнадцатый... Убийство будет, наступления нет. У своих же окопов ляжем... Под арест?.. Пожалуй, товарищ шестнадцатый. Приезжай и арестуй, милости прошу. Не откладывай в долгий ящик.— И он небрежно совал мне трубку, фыркал: — Меня нет. Во взвод ушел.

Наконец в трубке зарокотал начальственный бас ноль первого:

— Быс-стра-а! И-с-пад земли!..

Сам командир полка! На этот раз Мохнатов не отмахнулся биноклем, сполз лениненько, подошел вразвалочку, но голосом отвечал бодрым, по-уставному:

— Есть, товарищ ноль первый!.. Есть!.. Есть!.. Попытаемся... Приложим все силы...

Прежде чем вернуть мне трубку, он склонился к моему лицу. И я впервые увидел в упор его глаза: прозрачные, с мелким игольчатым зрачком, набрякшие, окопно-грязные старческие подглазницы. Родниковые глаза! Сколько раз они близко видели смерть — свою и чужую? Сколько раз они так вот холодно смотрели сквозь прорезь — чистые глаза, опасно пустые?

— Слушай, кукушечка,— процедил мне в лицо Мохнатов,— я недогадливых не люблю.

И я после этого постарался быть догадливым.

— «Василек»! Приказы не исполняешь! Расстрела захотел, твою мать? Где двадцать девятый?..

— Послали за ним уже трех человек. Не могут пробиться — большой обстрел.

Лейтенант Мохнатов сидит, упираясь пыльным сапожком в глинистую стенку окопа, осторожненько выглядывает. Средневековая ручка пистолета, заряженного красной ракетой, торчит из кармана, но никто уже из снующих мимо солдат не ощупывает ее косым, значительным взглядом. Даже на фронте не всякое-то заряженное ружье стреляет.

— «Василек»! Немедленно тяните линию вперед! «Василек»! Приказ быть возле Мохнатова! Ни на шаг не отставать!.. «Василек», повторите приказание!..

— Есть тянуть линию вперед! Есть быть возле двадцать девятого!..— Я повторяю нарочито громко и вопросительно смотрю в затылок лейтенанта.

Тот небрежно через плечо мне советует:

— Да выдерни ты к едрене матери заземление.

Мохнатов втягивает меня в опасную игру. Оборвать своими руками налаженную связь в самый разгар боя... Ежели высокое начальство это узнает, даже не трибунал, а расстрел на месте, как за прямую диверсию. Но высокое начальство далеко, а Мохнатов близко.

— «Клевер»! «Клевер»! — сообщаю я.— Отключаюсь.

— Только быстренько, «Василек». Только быстренько...

Я выдернул всаженный в землю винтовочный штык, служивший заземлением, положил онемевшую и оглохшую трубку. Исправна линия, исправен аппарат, а связи нет, и со стороны сочувственно смотрит на меня мой напарник Небаба. Ему везет, а у меня даже дежурства несчастливые.

Глаза Небабы сорвались с моего лица, настороженно округлились. Я оглянулся. За моей спиной стоял младший лейтенант Галчевский. Он весь как-то жестко выпрямлен, стальной козырек каски низко надвинут на глаза, затянутый ремешком острый подбородок вздернут, взгляд из-под каски нацелен в спину Мохнатова. И свой тяжелый ППД он держит в руке возле белесого кирзового голенища стволом вниз.

Ярик Галчевский перешагнул через мои вытянутые ноги, произнес:

— Лейтенант Мохнатов!..

Подбородок вздернут, узкие плечи расправлены, каблуки сдвинуты, руки по швам, кажется, закончит свое обращение по-уставному: «По вашему приказанию явился!» Только вот автомат в руке — стволом вниз.

— Вы срываете наступление, лейтенант Мохнатов!

Мохнатов молча уставился на Галчевского. Сейчас Ярик видит вблизи его глаза. Чистые глаза, опасно пустые!

— Вы не подчиняетесь приказам командования, лейтенант Мохнатов!

— Иди, дурак, в свой взвод,— устало, без злобы, как-то слишком по-взрослому произнес Мохнатов.

— Ради спасения своей шкуры вы...

— Младший лейтенант! Смир-рна!!!

Спина Галчевского, без того натянутая, вздрогнула.

— Кр-ру-гом!!!

С птичьим горловым клекотом выкрик в ответ:

— Вы трус, лейтенант Мохнатов! Я вас презираю!

Локоть Мохнатова медленно, медленно отходит назад, кисть руки ползет по ремню к кобуре.

— Вы подлый трус! Вы шкурник! Вы изменник родины, Мохнатов!..

Синевой неба блеснул вороненый ствол пистолета в руке Мохнатова.

Галчевский передернулся, рванул автомат. Его узкую тощую спину лихорадило — грохот короткой очереди, запоздалый звон выплюнутой гильзы.

Мохнатов соскользнул со своего насеста, с неестественно серьезным и строгим выражением в широко распахнутых светлых глазах сделал шаг вперед и словно сломался, упал на колени, боднул головой глинистое крошево под кирзовыми сапогами Галчевского.

И тут я увидел связного Васю Зяблика, только что подбежавшего своей сутуловатой трусцой из глубины траншеи. Деревенское губастое лицо парня было сейчас каким-то непривычно чеканным, в глазах появилась мохнатовская родниковая пустота. Вася Зяблик спускал с плеча свой автомат.

Галчевский рывком нагнулся к Мохнатову и так же порывисто разогнулся, вскинул над каской широкоствольный пистолет-ракетницу.

А Вася Зяблик подымал на него автомат...

Галчевский выстрелил, выплеснулся тугой, перекрученный дым, в синеве неба повисла марганцево-прозрачная капля.

— Р-р-ро-та!! — закричал Галчевский рыдающе и, весь перекрутившись, выбросился наверх.

Вася Зяблик держал автомат на весу...

Подавились работавшие на флангах пулеметы, замерли окопы.

— Р-р-ро-та!!

Галчевский стоял на бруствере немыслимо долговязый — огромные кирзовые сапожищи рядом, дотянись рукой, а маленькая голова, упрятанная в каску, далеко в поднебесье. А еще дальше — в засасывающей синеве — вишневая переливчатая капля.

А из траншеи завороженно следил за ним Вася Зяблик с автоматом наизготовку, с чужим вдохновенным лицом.

— Слу-уша-ай мою команду! За-а р-ро-оди-ну! За-а Ста-али-и...

До поднебесья долговязая, нескладная фигура качнулась и исчезла.

— Ур-ра-а!!!

Не слухом, а всем телом, кожей, костями я ощутил через землю суету окопов — шевеление, сопение солдат, лезущих вверх из земли к небу.

— Р-ра-а-а!!

Вася Зяблик вдруг засуетился, губастое лицо сразу же утратило опасную чеканность, стало просто озабоченным. Он торопливо выскочил на бруствер, на какой-то миг закрыл от меня полнеба, сутуловатый, устремленный вперед, непривычно могучий... И словно провалился сквозь землю.

— Р-ра-а-а!!

Тускло-серая, ржавая степь, покатая, словно школьная парта. В ее неторопливом, упрямом устремлении к небу есть что-то щемяще жалкое, обожженная, неопрятная, тянется к непорочно чистому, недоступно высокому — нищета, мечтающая о величии.

Наверное, потому, что сама степь слишком уж велика и просторна, люди в ее бесконечности кажутся слишком вялыми, не спешат, устало бредут к синему небу. Бредут и подбадривают себя натужным, неуверенным криком:

— Р-раааа-а!

Среди паломников, бредущих к синему небу, возник грязно-желтый ватный ком...

— А-аааа!..— И смолкло.

Тугой взрыв мягко ударил мне в лицо. Ватный ком распался, поплыл над рыжей, тусклой землей, задевая рассыпанных людей нечистой дымной бородой. Далекое небо, перекрывающее неопрятную степь, в нескольких местах треснуло, из него полилось: тррат-тат-та-та-та! В степи началось кружение, столь же дремотно-вялое, бестолковое... Еще взрыв, еще! Грязно-серые бороды...

И колыхнулся окоп, и вспучилась дыбом земля, закрыла от меня степь, людей, дымчатые бороды. Траншеею залихорадило. Седой дым, жирный дым, живой, свивающийся, пухнущий, и сквозь него острыми потоками текущая вверх земля. Солнце начало играть в прятки — то скрывалось в дыму, то весело выглядывало. Тягуче запели вокруг осколки. Черствый град глинистых комьев забарабанил по брустверу, по пыльным кустикам жалкой полыни, по моим плечам...

Меня тянули сзади за ногу:

— Младший сержант!.. Младший...

На землистом лице Небабы распахнутые, выбеленные небом глаза. Только на дне траншеи я осознал, что случилось: немецкая артиллерия перекрыла путь тем, кто пытался бежать обратно. Стена напичканного осколками дыма, стена вздыбленной земли — не пробьешься...

А солнце играло в прятки, то светило, то скрывалось.

Комья земли еще продолжали падать — редкий, усталый град со знойного безоблачного неба. В воздухе раздался то ли назойливый звон, то ли вкрадчивый свист. Я не сразу понял, что это звенит у меня в ушах. От тишины.

Вспомнил о телефоне — заземление-то выдернуто! Всадил привязанный к проводу ржавый штык.

— «Клевер»! «Клевер»!

Немота, незримое четвертое измерение, где помещались «Клевер», «Колос», «Лютик», «Ландыш», исчезло — глухая стенка.

И Небаба деловито натянул на голову каску. Он всегда надевал каску, прежде чем выбраться из окопа на линию. Его очередь «гулять».

Мелькнули надо мной в небе ботинки с обмотками. В ушах серебряный тонкий звон, тоскуют летящие в высоте пули, где-то ухнул взрыв, сухой, трескучий,— значит, мина, не снаряд. Тишина. Боже мой, какая тишина!

Только тут я вдруг осознал, что я один... Совсем один во всех окопах. Минут десять тому назад здесь было сто с лишним человек, может, даже двести... Лежат в степи, далеко от меня. Один на все окопы, один перед лицом немцев. Я — маленький, слабый, еще никогда ни в кого не выстреливший, никого не убивший, умеющий лишь сматывать и разматывать катушки с кабелем, кричать в телефонную трубку. И до чего это странно, что я, мирный и слабый,— один перед грозным противником, запугавшим всю незнакомую мне Европу. Я даже не испытывал

от этого ужаса, только коченеющую, мертвящую тоску. Один...

Есть еще рядом он... Я успел забыть о нем. Он лежит в своем командирском тупичке, на дне, скрючившись, подтянув под живот колени, уткнувшись спутанными волосами в землю, правая рука неестественно выломлена, на боку зияет расстегнутая кобура, а вороненый пистолет валяется сзади, возле его нечищеных сапог. Так давно он упал под автоматной очередью, что я уже успел забыть о его смерти.

Тишина. Звон серебряных колокольчиков, кожей ощущаю тянущиеся во все стороны пустые, бессмысленные, мертвые ямы.

— «Клевер»! «Клевер»!..

Молчит «Клевер», нет надежды избавиться от одиночества. И я люто позавидовал Небабе. Опять ему повезло! Он тоже один, но не в пустых окопах — в привычной обстановке. Телефонист, выскочивший на неисправную линию, всегда один на один с войной. Нормально.

И раздался звук шагов, шорох одежды. Я ужаленно обернулся: расползшаяся пилотка, пряжка брезентового ремня на боку, полосатое от грязи лицо, утомленное и бесконечно унылое,— пулеметчик Гаврилов.

Господи! Какой он родной!

Я не могу прийти в себя, а он скребет небритую щеку, морщится, буднично спрашивает:

— Может, нам всем в одно место стянуться?

— Ты... Ты не ходил в атаку?

Гаврилов поглядел на меня с тусклым удивлением, скривил спеченные губы.

— А ты?

— Я ж привязан... к телефону.

— А я к станковому... С «максимкой» не побежишь... А ручные пулеметчики — те все...— Гаврилов горестно высморкался.— На левом фланге у Дежкина тоже станковый пулемет. Как и мы — два человека.

Как мало надо для счастья. Я не один — и я ликую, в душе, разумеется.

— От всей роты — пятеро...

— Шестеро,— бодро поправляю я.— Небаба мой выскочил на порыв.

— Прощупай давай, может, он уже того...

— «Клевер»! «Клевер»! Нету. А что-то долго. Далеко, видно, обрыв.

Гаврилов уселся возле меня, но сразу же поспешно встал, перешел на другое место. Он увидел в тупичке лейтенанта Мохнатова, бодающего простоволосой головой землю.

— У меня Петька Губин, второй номер, тоже с ума помаленьку сходит. Молитвы вслух читает: «Спаси, господи, люди твоя...» А может, все люди на земле сбесились, Петька-то из нас самый нормальный? — Гаврилов помолчал, подолбил каблуком ямку.— «Спаси, господи, люди твоя...» А из пулемета играет. Там тоже ведь не чурки падают.— Снова помолчал и с тоскливым, злым убеждением закончил: — Смирным жить на земле нельзя!

В стороне в траншею посыпалась земля, донесся влажный всхлип, и кто-то черный, взлохмаченный бескостно свалился вниз, дернулся, поерзал и затих. Доносилось только тяжелое, со всхлипами дыхание.

Гаврилов медленно-медленно поднялся, вздохнул:

— Оттуда.

Поднялся и я.

Он натужно, со всхлипами дышал, лопатки двигались под бурой гимнастеркой, немолодая, в морщинах коричневая шея.

— Эй, милок, ты ранен? — спросил Гаврилов.

Гость оттуда с усилием пошевелился, сел — черное лицо, яркие, почти обжигающие белки глаз, синие бескровные губы. Разлепив губы, сказал с влажным хрипом:

— Не знаю.

— Кто еще остался там живой?

— Не знаю.

— Может, ранен кто — вытащить?

— Не знаю.

Однако мучительно задумался, на пятнистом лбу проступила тугая вена, заговорил:

— Взводного нашего видел... Дежкина... Ползет, а ног-то нету. Ползет, а в лице-то ни кровиночки... Дайте пить, братцы.

Но тут я увидел еще одного — вынырнул в глубине траншеи из-за поворота, захромал к нам. По сутуловатой осаночке узнал — Вася Зяблик. Он вел себя очень странно — пробежит с прихрамыванием пять шагов и, судорожно барахтаясь, вылезает наверх, вглядывается куда-то в даль, спрыгивает вниз, а через пять шагов снова лезет... Весь какой-то скомканный, перекошенный, штанина брюк разорвана, без каски, без автомата, недоуменно торчат уши на пыльной плюшевой голове.

— Это ж он, сволочь! Это ж — он! — заговорил изумленным речитативом. — Жив, сука!

И тут же полез наверх, вытянул шею, раскрыл рот, насторожил торчащие уши.

— Так и есть! Он!.. Идет себе... Глядите! Глядите! Он!..

И мы с Гавриловым тоже полезли вверх.

Степь. Она все та же, тусклая, ржавая, пустынная, устремленная к небу. Она нисколько не изменилась. Отсюда не видно на ней воронок, не видно и трупов.

По этой запредельной степи шел одинокий человек... во весь рост. По нему стреляли, видно было — то там, то тут пылили очереди. Он не пригибался, вышагивал какой-то путаной, неровной карусельной походкой, нескладно долговязый, очень мне знакомый.

— Жи-ив! Надо же — жив!.. Всех на смерть, а сам — жив! — изумлялся Вася Зяблик лязгающей скороговорочкой.

— Заговорен он, что ли? — спросил Гаврилов.

— Дерьмо не тонет... Но ничего, ничего! Немцы не шлепнут, я его. За милую душу... Небось...

— Брось, парень, не кипятись. Покипятился вон — и роты как не бывало.

— Он лейтенанта шлепнул! За лейтенанта я его... Небось...

— Жив останется — для него же хуже.

Перед нашим бруствером, жгуче всхлипывая, срубая кустики полыни, заплясали пули. Мы дружно скатились на дно траншеи. Это приближался младший лейтенант Галчевский, нес с собой огонь.

Он неожиданно вырос над нами, маленькая голова в просторной каске где-то в поднебесье. Визжали пули, с треском, в лохмотья рвали воздух, а он маячил, перерезая весь голубой мир, смотрел на нас, прячущихся под землю, отрешенно и грустно. Серенькое костлявое лицо в глубине недоступной вселенной казалось значительным, как лицо бога. Затем он согнулся и бережно сел на край траншеи, спустил к нам свои кирзовые сапоги.

Мы стояли по обе стороны его свесившихся сапог и тупо таращились вверх.

— Вот я... — сказал он и вдруг закричал рыдающе, тем же голосом, каким звал роту в атаку: — Убейте меня! Убейте его!.. Кто ставил «Если завтра война»!.. Убейте его!!

Мы завороженно глядели снизу вверх, ничего не понимали, а он сидел, свесив к нам сапоги, рыдающе вопил:

— Уб-бей-те!!

Вася Зяблик схватил его за сапог, рванул вниз:

— Будя!..

— «Клевер»! «Клевер»!..— склонился я над телефоном.

Немота. Я положил трубку и полез наверх.

Небаба лежал всего в десяти шагах от траншеи, зарывшись лицом в пыльную полынь, отбросив левую руку на провод, пересекавший степь. Чуть дальше на спеченной земле была разбрызгана воронка — колючая, корявая звезда, воронка мины, не снаряда.

Ему везло... Братски близкий мне человек и совсем незнакомый. Познакомиться не успели...

Это было началом нашего отступления. До Волги, до Сталинграда...

Я видел переправу через Дон: горящие под берегом автомашины, занесенные приклады, оскаленные небритые физиономии, ожесточенный мат, выстрелы, падающие в мутную воду трупы — и раненые, лежащие на носилках, забытые всеми, никого не зовущие, не стонущие, обреченно молчаливые. Раненые люди молчали, а раненые лошади кричали жуткими, истеричными, почти женскими голосами.

Я видел на той стороне Дона полковников без полков в замызганных солдатских гимнастерках, в рваных ботинках с обмотками, видел майоров и капитанов в одних кальсонах. Возле нас какое-то время толкался молодец и вовсе в чем мать родила. Из жалости ему дали старую плащ-палатку. Он хватал за рукав наше начальство, со слезами уверял, что является личным адъютантом генерала Косматенко, умолял связаться со штабом армии. Никто из наших не имел представления ни о генерале Косматенко, ни о том, где сейчас штаб армии. И над вынырнувшим из мутной донской водицы адъютантом все смеялись с жестоким презрением, какое могут испытывать только одетые люди к голому. У нагого адъютанта из-под рваной плащ-палатки торчали легкие мускулистые ноги спортсмена...

«Наше дело правое...» Чудовищно неправый враг подошел вплотную к тихому Дону. И как жалко выглядели мы, правые. Обнаженная правота, облаченная в кальсоны...

Да всегда ли силен тот, кто прав? А может, наоборот? Правый всегда слабее, он чем-то ограничивает себя — не

бей со спины, не подставляй недозволенную подножку, не трогай лежачего. Неправый не знает этих обессиливающих помех. Но тогда мир завоюют мрачные негодяи. Те, кто обижает, кто насилует, кто обманывает. Жестокость станет доблестью, доброта — пороком. Стоит ли жить в таком безобразном мире? Мир, оказывается, не разумен, справедливость не всесильна, жизнь не драгоценна, а святой лозунг «Наше дело правое, враг будет разбит...» — ненужная фраза.

Но даже общее пожарище не выжгло тогда из моей памяти Ярика Галчевского. Минутами я видел его сидящим на бруствере и внутренне содрогался от его крика: «Убейте его!»

Кого?.. Да того, кто ставил «Если завтра война». Странно.

Дева Света! Где ты, донна Анна?..

Ярик любил стихи, еще больше любил кинофильмы. Он знал по именам всех известных и малоизвестных актеров. «Если завтра война»... До войны был такой фильм. «Если завтра...» Война сейчас, война идет, враг на том берегу Дона. «Дева Света! Где ты, донна Анна?» «Убейте его!»

В те дни, оказывается, не я один помнил о Галчевском, кой-кто еще...

Над степью выполз чумацкий месяц — ясный и щербатый. Солдаты спали прямо на ходу, во сне налетали друг на друга, даже не ругались, не было сил.

Пятый день блуждал по степи наш сильно поредевший полк, спали по два часа в сутки, пытались набрести на какой-то таинственный Пункт Сбора. Этот Пункт каждый раз, как мы приближались к нему, оказывался перемещенным в другое место, глубже в тыл, подальше от накатывающегося противника. Береженого, конечно, бог бережет, а солдату накладно.

Выполз месяц, значит, скоро разрешат привал — самый большой, ночной. И действительно, головной отряд свернул с пыльного тракта. Обгоняя нас, прыгая по неровностям, прокатила крытая машина.

Мутная при свете луны, отдыхающая степь. Где-то далеко-далеко раскаты. Далеко-далеко, чуть слышна война. Но все-таки слышна, хотя мы, колеся, и уходим от нее, спешим, выматываемся, спим только по два часа в сутки.

Нас подвели к остановившейся посреди степи машине, как могли, выстроили в шеренги, почему-то не разрешили садиться.

Майор Саночкин, заместитель комполка по строевой, досадовал и покрикивал на людей возле машины:

— Давайте, но только быстрей! Быстрей, ради бога! Люди устали!

И тут вывели его... Под жидкий свет луны, к отупевшему от усталости полку...

— Только, ради бога, не тяните резину!

Не было расторопных ребят в твердых тыловых фуражках. Из гущи спутавшихся рядов вытащили шестерых солдат из комендантского взвода, таких же, как и все мы, шатающихся от усталости.

Шестеро солдат, слепо толкаясь, выстроились напротив него. Он высоко держал на тонкой шее маленькую обкатанную голову, был в гимнастерке распояской, в комсоставских синих галифе, но босиком. За ним зыбко лежала мутно-лунная, безбрежная степь.

— Побыстрей же, прошу вас!

Шестеро парней из комендантского взвода знали — пусть не близко, со стороны — командира химвзвода младшего лейтенанта Галчевского. Теперь уже не младшего лейтенанта, и человеком ему оставалось быть считанные минуты.

Не было расторопных, знающих свое дело ребят. Его не раздели до белья, ему не выкопали даже могилы.

Выступило вперед сразу двое. Один из них осветил бумагу фонариком, другой принялся торжественно читать:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал... в составе...

Почему-то эти торжественные слова вносили в душу успокоение. Оказывается, и в бредовой неразберихе отступления кой-где сохранился порядок, кой-кто не забывал о своих обязанностях — жива какая-то дисциплина, жива армия.

— ...р-рас-смотрел дело по обвинению Галчевского Ярослава Сергеевича, военнослужащего, младшего лейтенанта, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения...

Смутная в лунном рассеянном свете степь за его спиной. В полынно настоянный воздух просочился божественно прекрасный запах разваренной свиной тушенки, подправленной дымком.

Сегодня днем на тракте наши задержали какие-то интендантские машины, потому сейчас и пахнет у нас давно забытой свиной тушенкой. Удивительный запах, он гонит прочь усталость, зовет к жизни. Повар комендантского взвода знаменитый Митька Калачев при отступлении оставил на той стороне Дона свою полевую кухню, но — ловок, бестия! — обзавелся банным котелком, умудряется в нем варить даже на ходу, не очень запаздывает с раздачей.

— ...При-говорил!.. Галчевского!.. Ярослава Сергеевича!.. — и умолк, его товарищ погасил фонарик.

Луна висела над необъятной степью, обессиленной, отдыхающей, и далеко-далеко погромыхивала чуть слышная война. Он стоял под луной, вытянув тонкую шею, теребя балахон гимнастерки.

А у организаторов произошла заминка, они топтались и шушукались.

— Кончайте! Что ж вы?.. — снова взъелся на них майор Саночкин.

— Скомандуйте вашим бойцам...

— Нет уж, увольте. Это ваше дело. И только побыстрей, побыстрей, солдаты падают от усталости!

И тогда тот, кто читал приговор, тяжело шагнул вперед, закричал дребезжащим, нестроевым, некомандирским голосом:

— По врагу нашей род-ди-ны!..

Солдаты, не получившие привычной команды взять наизготовку, нескладно, растерянно, вразброд вскинули винтовки.

И тут Галчевский вытянулся, напрягся, и заплескался в лунной степи его звенящий голос:

— Я не враг! Мне врали! Я верил! Я не враг! Да здравствует...

— Пли!!

У одного из стрелявших в стволе была заложена трассирующая пуля. Она плеснула огненным полотнищем, прошла сквозь узкую, бесплотную грудь Галчевского, полыхнула за его спиной.

Он упал на жесткую полынь, голубую при лунном свете траву.

У его мамы больное сердце...

В воздухе пахло разваренной тушенкой. Запах, обещающий жизнь.

На другой день мы вошли на станцию Садовая, окраину Сталинграда, еще оживленного, еще не разрушенного,

не спаленного города. Мы защищали его. В этом городе враг был разбит. Наше дело правое, победа оказалась за нами...

Документальная реплика.

Однако не нуждается в подтверждении никаких документов общеизвестный факт, что во время войны, которую мы все называем Отечественной, считаем не без основания народной, за спиной наших воюющих солдат стояли заградительные отряды с пулеметами. Им было приказано расстреливать отступающих.

Не слышал, чтоб когда-либо была попытка выполнить этот не только оскорбительный, но и бессмысленный приказ. Отступающие войска, как бы они ни были деморализованы, далеко не безоружны, а зачастую вооружены и более мощным оружием, чем пулеметы заградотрядцев,— пушками и минометами. И уж конечно, охваченные желанием спастись, отступающие войска, наткнувшись на огонь своих, просто не имели бы иного выхода, как вступить в бой, причем с озлобленной яростью, не сулящей пощады.

Заградотрядники это прекрасно понимали, а потому под победоносным натиском немцев первых лет войны дружно бежали вместе с отступающими, если не с большей прытью.

Декабрь 1969 — март 1971

Охота

Охота пуще неволи.

Осень 1948 года.

На Тверском бульваре за спиной чугунного Пушкина багряно неистовствуют клены, оцепенело сидят старички на скамейках, смеются дети.

Чугунная спина еще не выгнанного на площадь Пушкина — своего рода застава, от нее начинается литературная слобода столицы. Тут же на Тверском — дом Герцена. Подальше в конце бульвара — особняк, где доживал свои последние годы патриарх Горький, где он в свое время угощал литературными обедами Сталина, Молотова, Ворошилова, Ягоду и прочих с государственного Олимпа. На задворках этих гостеприимных патриарших палат уютно существовал Алексей Толстой, последний из графов Толстых в нашей литературе. Он был постоянным гостем на званых обедах у Горького, и злые языки утверждают — граф мастерски наловчился смешить олимпийцев, кувыркаясь на ковре через голову. А еще дальше, минуя старомосковские переулочки — Скатертный, Хлебный, Ножевой,— лежит бывшая Поварская улица, на ней помещичий особняк, прославленный в «Войне и мире» Львом Николаевичем Толстым. Здесь правление Союза писателей, здесь писательский клуб Москвы, здесь писательский ресторан. Здесь, собственно, конец литературной слободе.

Но, наверное, нигде литатмосфера так не густа, как в доме Герцена. И если там в сортире на стене вы прочтете начертанное вкривь и вкось: «Хер цена дому Герцена!», то не спешите возмущаться, ибо полностью это настенное откровение звучит так:

«Хер цена дому Герцена!»
Обычно заборные надписи плоски,
С этой согласен —

В. Маяковский!

Так сказать, симбиоз площадности с классикой.

В двадцатые годы здесь находился знаменитый кабачок «Стойло Пегаса»[1]. В бельэтаже тот же В. Маяковский, столь нещадно хуливший дом Герцена, гонял шары по бильярду, свирепым басом отстаивал право агитки в поэзии:

Нигде кроме
Как в Моссельпроме!

А под ним, в подвале, то есть в самом «Стойле», пьяный Есенин сердечно изливался дружкам-застольникам:

Грубым дается радость.
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Но осень 1948 года, давно повесился Есенин и застрелился Маяковский.

А в доме Герцена уже много лет государственное учреждение — Литературный институт имени Горького.

Это, должно быть, самый маленький институт в стране; на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас — конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами — студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походя читаются стихи и поется сочиненный недавно гимн:

---

[1] Уже после окончания повести я неожиданно узнал: увы, не слишком популярный клуб имажинистов под таким названием был не тут, а где-то на Тверской улице. Ни Маяковский, ни Есенин не снисходили до «Стойла», но посещали поэтическое кафе-ресторан дома Герцена. Не исправляю этого заблуждения потому, что все мы пребывали в нем в описываемое время, звонкую вывеску «Стойло Пегаса» принимали тогда как цеховое наследие.

И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать.

Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.

— Дайте закурить, ребята.

Он был автором повально знаменитой:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса!..

Детище бурно жило, забыв своего родителя. «Тачанку» пели во всех уголках страны, а Рудерману не хватало на табачок:

— Дайте закурить, ребята.

Его угощали «гвóздиками».

Где-то за спиной нашего института, на Большой Бронной, жил в те годы некий Юлий Маркович Искин. Он не осчастливил мир, подобно Рудерману, победной, как эпидемия, песней, не свалился в сиротство, не приходил к нам «стрельнуть гвоздик», а поэтому мы и не подозревали о его существовании, хотя в Союзе писателей он пользовался некоторой известностью, был даже старым другом самого Александра Фадеева.

У него, Юлия Искина, на Бронной небольшая, зато отдельная двухкомнатная квартира, забитая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь Дашенька ходит в школу. Хозяйство ведет тетя Клаша, пятидесятилетняя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью.

По всей улице Горького садили липы. Разгромив «Унтер ден Линден» в Берлине, мы старательно упрятывали под липы центральную улицу своей столицы. Давно замечено — победители подражают побежденному врагу.

«Deutschland, Deutschland über alles!» — «Германия — превыше!..» Ха!.. В прахе и в позоре! Кто превыше всего на поверку?..

Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..

Великий вождь на банкете поднял тост за здоровье русского народа:

— Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное — все враждебно. Папиросы-гвоздики «Норд» стали «Севером», французская булка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисона... Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета! Электрическую лампочку изобрел Яблочков! И самолет — не братья Райт, а Можайский. И паровую машину — не Уатт, а Ползунов. И уж конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио... Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а этот предок в незапамятные времена пасся на «просторах родины чудесной», а никак не в потусторонней Индии.

Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?

«Deutschland, Deutschland über alles!» Разбитую «Унтер ден Линден» усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново.

На улице Горького садили липы.

В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки.

Охотились и садили липы...

В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса.

Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли, и глаза

его при этом становились непроницаемо тусклые, какие-то глухие.

Его выбрали в институтский партком — за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности. Выбрали даже не секретарем, а рядовым членом.

И тут-то от заседания к заседанию Вася Малов начал показывать себя. Во-первых, он любил выступать, говорил длинно, обстоятельно, тихим, бесстрастным голосом, стараясь сам не волноваться и не волновать других. Во-вторых, ему, оказывается, просто невозможно было возразить ни по существу, ни в частностях. Пробитая осколком голова Васи Малова не терпела ни малейших возражений. Он сразу же начинал волноваться, краснел и бледнел одновременно — пятнами, полосами, кричал надрывным голосом, а глаза его наливались безумным мраком. К нему сразу же бросались, успокаивали, поддакивали, извинялись — иначе мог свалиться в припадке, не дай бог, тут же умереть на заседании.

Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов.

Вася Малов выступал на каждом парткоме, невзволнованно тихим голосом он называл имена: такой-то несет в себе заразу безродности!

Ему не возражали.

Вася Малов указал уже на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя.

Каждый из нас — кто таясь, а кто афишируя,— претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали — Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.

Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка — оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом его стихе знакомые вещи вдруг представали какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое — неожиданно хорошим.

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день едва ли
Бывало до календаря.

Шестнадцатого октября сорок первого в Москве была паника, повальное бегство. Позорный день, равносильный предательству. В печати его не вспоминали. Эмка вспомнил, мало того — взглянул на него по-своему:

Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну!
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.

Все поэты в стране писали о великом Сталине. Эмка Мандель тоже...

Там за текущею работой
Жил, воплотивши резвый век,
Суровый, жесткий человек —
Величье точного расчета.

Эмка искренне считал, что прославил Сталина, изумился ему. Другие могли понять иначе. Понять и указать перстом...

Но Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища все сдвигались и сдвигались, становились короче и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый, что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка — Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.

Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами.

Вася Малов был коренной москвич, в общежитии не жил. Каждое утро он вышагивал через сквер к институту

своей расчетливо бережной походочкой — шляпа посажена на твердые уши, табачного цвета костюмчик, галстук, белая сорочка — вычищенный, без пылинки, отглаженный без морщинки, тишайше скромный, меланхолично отсутствующий, слабый здоровьем, слабый голосом.

— Здравствуйте,— кивок шляпой, неулыбчивый взгляд.

Студенты переставали читать стихи, расступались. Наш и. о. директора спешил поздороваться с Васей за руку. Вася на него не смотрел, прислушивался к себе. А и. о. директора не обращал внимания на неулыбчивость, жал руку, улыбался сам.

Лично меня Вася ничуть не пугал. Я ни по каким статьям не подходил под безродного. Я был выходцем из самой что ни на есть российской гущи, по-северному окал, по-деревенски выглядел да и невежествен был тоже по-деревенски. И сочинял-то я о мужиках, не о балеринах — почвенник без подмесу.

Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)?

Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.

Вся советская литература, которой мы, шестьдесят два студента с пяти курсов, готовились служить, насчитывала тогда каких-нибудь три десятка лет.

Юлий Маркович Искин как литератор родился вместе с нею.

Революция помешала ему окончить реальное училище, заставила порвать с тетушками и дядюшками, владельцами галантерейных лавочек на Зацепе, преуспевающими подрядчиками, не слишком преуспевающими, средней руки адвокатами. В шестнадцать лет Юлий оказался в паровозоремонтных мастерских при станции Казанского вокзала. В семнадцать он стал плохим слесарем, но отменным активистом — председателем цеховой ячейки комсомола, написал свой первый репортаж о саботажниках на железнодорожном транспорте. Этот репортаж был напечатан в «Гудке», газете, выходящей тогда от случая к случаю. Юлий Искин стал рабкором.

Рабкоры... Как ни прославлены эти волонтеры революционной прессы, тем не менее мы имеем о них тусклое

представление, основанное главным образом на казенных междометиях.

Главная отличительная черта рабкоров — это вопиющая молодость и связанное с ней буйство чувств и незрелость мысли. Великая Октябрьская революция вообще была молода. Сорокасемилетний Ленин не только ее патриарх по авторитету, но и по возрасту. Троцкому тогда исполнилось тридцать восемь, Свердлову — тридцать два, Бухарину — двадцать девять, а рядовому революции Федору Тенкову, моему отцу — всего двадцать один год! В двадцать два он уже был комиссаром полка — отвечал за других, имел право судить и карать.

Рабкорами же становились те, кто жаждал активности, но еще не доспел до признания, а потому сверхвозбудимость, агрессивная честность при ничтожнейшем житейском опыте, порой при отсутствии элементарной грамотности. Они изредка помогали становлению разваленной жизни, но больше путали ее и разваливали по недомыслию.

Рабкора «Гудка» Юлия Искина не боялись деповские «мазурики», воровавшие из обтирочной драгоценный керосин, но его боялись начальники служб и дистанций, проверенные в деле спецы. Они требовали дисциплины, а рабкор Искин считал это зажимом, они пытались воевать с уравниловкой, распределяли допталоны на обеды среди наиболее квалифицированных рабочих, а рабкор Искин писал на них — подкуп, разделение на «любимчиков и постылых», нарушение принципа равенства, создание рабочей аристократии.

«Гудок» стал выходить регулярно, Юлия Искина как наиболее грамотного из рабкоров взяли в штат. Он печатался на второй и третьей — «серьезных» полосах газеты, а на последней, четвертой, затейливо-несерьезной, помещал рассказы уже получивший известность Валентин Катаев, гремел рифмами фельетонист Зубило — буйноволосый, приземистый Юрий Олеша, острили и подписывали пока что пустячки совсем никому не известные Илья Ильф и Евгений Петров.

Как-то само собой случилось, что Юлий Искин бросил писать о простоях вагонов и начал помещать критические статьи.

Он и в литературе остался рабкором, прямолинейным парнем, который весь мир резко делил на «наше» и «чужое», рабочее и буржуазное. Есенин мелкобуржуазен, значит, чужой, Маяковский хоть и горлопан, но насквозь

революционен — свой в доску! А в общем: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!» Это желание у ринувшихся в литературу рабкоров появилось намного раньше, чем Маяковский вслух его высказал.

Юлия Искина озадачила небольшая повесть. Ее написал не какой-нибудь недобитый белогвардеец, а свой парень, недавно скинувший красноармейскую шинель. Повесть о гражданской войне, но — странно! — не о победе, а... о разгроме. Она так и называлась — «Разгром». А ведь гражданская-то война кончилась нашей победой, уж никак не разгромом... Наша повесть или чужая, рабоче-крестьянская или буржуазная?..

От повести веяло тем величавым великодушием, которое свойственно только сильным, только уверенным в себе: мы не всегда бывали удачливы, не всегда сильны, умны и справедливы — тоже не всегда.

Юлий Искин впервые в жизни написал нерабкоровскую статью.

Они скоро встретились. Автор «Разгрома» был высок, статен, плечист, трогательно ушаст, улыбка на щекастом лице была подкупающе простодушна, а в веселом подрагивании зрачков ощущалось нечто большее, чем простодушие,— сердечность.

Я никогда не интересовался — любили ли Фадеева женщины? Наверное. Я постоянно слышал о том, как в него влюблялись мужчины.

Сам я Фадеева видел только со стороны.

О нем до сих пор ходят изустные легенды. Одна упрямо повторяется чаще других — легенда о том, как Александр Фадеев разом победил своих литературных врагов.

Называют при этом Авербаха... Позднее Твардовский в беседе с Хрущевым скажет свою знаменитую фразу: «В Союзе писателей есть птицы поющие и есть птицы клюющие». Авербах, похоже, ничего не спел, что запомнилось бы по сей день, исклевал же, как говорят, многих. Он и Фадеев не выносили друг друга, не здоровались при встречах. И это знали все.

Горький в очередной раз давал обед. Присутствовал Сталин с «верными соратниками». Собрался весь цвет нашей литературы — лучшие из певчих, виднейшие из литстервятников.

После соответствующих возлияний, в минуту, когда отмякают сердца, кто-то, едва ли не сам радушный

хозяин Алексей Максимович, прочувствованно изрек: «Как плохо, что среди братьев писателей существуют свары и склоки, как хорошо, если бы их не было». Этот проникновенный призыв к миру был почтен всеми минутой сочувственного молчания, скорбные взгляды устремились в сторону Авербаха и Фадеева. Неожиданно поднялся Сталин — с бокалом в руке или без оного,— подозвал к себе обоих.

— Нэ ха-ра-шо,— сказал он отечески.— Оч-чэнь нэ харашо. Плахой мир лучше доброй ссоры. Пратяните руки, памиритесь! Прашу!

Просил сам Сталин, не шуточка.

И Фадеев, доброжелательный, открытый, отнюдь не злопамятный, шагнул к Авербаху, протянул руку. Авербах с минуту глядел исподлобья, потом медленно убрал руки за спину. Рука Фадеева висела в воздухе, а за широким застольем обмирали гости — великий вождь и учитель попадал в неловкое положение вместе с Фадеевым.

Но Сталин не был бы Сталиным, если б вовремя не предал того, кто потерпел поражение. Он сощурил желтые глаза:

— То-варищ Фадэев! У вас сав-всэм нэт характера. Вы безвольный челавэк, то-варищ Фадэев. У Авэрбаха есть характэр. Он можэт пастаять за сэбя, вы — нэт!

И, наверное, был восторженно умиленный гул голосов, и можно представить, как пылали большие уши Фадеева, и, наверное, Авербах спесиво надувался сознанием своего превосходства.

Будто бы именно с того случая Фадеев стал круто подыматься над остальными писателями, его недоброжелатели сразу стушевались.

У Фадеева не было характера, у Авербаха он был... Авербаха вскоре арестовали, он бесследно исчез.

Это легенда. Правда? Вымысел? В какой мере?.. Я не знаю. Слышал ее не единожды из разных уст.

Когда у него началось несогласие с самим собой, в какое время? А оно было, непосильное несогласие, от него одна водка уже не помогала, к ней нужны были еще и приятели. И вовсе не обязательно застольные приятели должны петь величальную: мол, велик, неповторим, верим в тебя, верит народ!.. Нужен был общий язык, взаимное понимание и... взаимное восхищение. А это можно найти даже с теми, кто способен произносить всего лишь одну фразу в двух вариантах: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!»

Фадеев кидался в запои, пил с собратьями по перу, с высокопоставленными служащими, с истопниками, дворниками, случайными прохожими: «Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?!»

Юлий Искин пропускал рюмку только по праздникам, он никогда не делил с Фадеевым затяжные застолья. Юлий Маркович не находился в числе его приятелей. Он был другом Фадеева, верным и незаметным.

В Доме писателей на бывшей Поварской, в высоком, как колодец, зале, отделанном сумрачным дубом, шло очередное общее московское собрание литераторов. Председательствовал сам Фадеев. Обличали безродных космополитов, называли имена, раскрывали скобки, вспоминали, что такой-то, имярек, лет двадцать тому назад непочтительно отзывался о Маяковском, такой-то нападал на Макаренко, такой-то травил великомученика нашей литературы Николая Островского, кого даже враги называли «святым». И прокурорскими голосами читались выдержки из давным-давно забытых статей. Из зала неслись накаленные голоса:

— Позор!! Позор!!

От обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невнятно оправдывались.

— Позор!! Позор!! — Клич, взывающий к мести.

На возвышении за монументальным зеленым столом величаво восседал президиум — неподкупный трибунал во главе с Фадеевым. У Фадеева было спокойное, суровое выражение лица.

Он взял себе заключительное слово. Спокойно, но жестко, без кликушеского надрыва подтвердил состав преступления: «Идеологическая диверсия... Духовное ренегатство... Скрытое предательство по отношению к родине...» И вновь повторил имена, глядя в зал, где среди безвинных людей прятались виновники. И зал дружно ревел Фадееву:

— Позор!! Позор!!

Дружно. Восторженно. Благодарно.

Я находился наверху, на дубовых хорах. Я издалека любовался Фадеевым, его мужественной осанкой, открытым лицом, твердым и неподкупно суровым в эту минуту. Я верил ему.

Среди тех, кому кричали «Позор!», был некий Семен Вейсах, критик, литературовед, старый друг Юлия Марковича Искина.

Все расходились, одни спешили к раздевалке, другие тянулись в ресторан, чтоб за рюмкой армянского «три звездочки» перекинуться парой слов о прошедшем собрании. А Семен Вейсах стоял у стены, прижимаясь спиной к дубовой панели — размягше тучный, лицо серое, изрытое, свинцовое. На этом тяжелом корявом лице сам собою подмигивал глаз, каждому, кто проходил мимо, знакомым и незнакомым.

Вейсах стоял у самых дверей на выходе, и Юлий Маркович медлил в сторонке, мучительно решал про себя: пройти ли мимо, подчеркнуто не замечая друга Семена, или задержаться, приободрить: не все, мол, потеряно...

Юлий Маркович не кричал «Позор! Позор!». Он сидел в зале, слушал и... боялся. Хотя, казалось бы, чего?.. Не участвовал в оппозициях, не имел связей с заграницей, не примыкал к Серапионовым братьям, как некоторые, даже в критических статьях особенно не нагрешил — хвалил Маяковского, поругивал Есенина, всегда решительно поддерживал Фадеева. Но те, кто сейчас сидит по правую и левую руку от Фадеева, не очень-то хотят считаться с фактами. Они не стихами и драмами завоевали себе славу, а расправой. Им нужны жертвы...

Саша Фадеев отлично знает Юльку Искина. Однако он знал и Семена Вейсаха.

Вейсах, оплывше грузный, постаревший, стоит у выхода, со свинцового лица сам собой подмигивает глаз. Мимо него торопливо проходят и только потом запоздало оглядываются через плечо.

Юлий Маркович, склонив голову, решительной походочкой прошел мимо, боковым зрением уловил, как глаз друга Семена без участия хозяина подмигнул... Бессмысленный глаз, ничего не замечающий.

Чувство острой неловкости удалось потушить сразу же, еще не доходя до гардероба, на лестнице...

Семен Вейсах тоже ведь бывший рабкор. И, конечно же, рабкоровское, непримиримое в нем живо до сей поры: мир жестоко делится на своих и чужих, середины нет и быть не должно, любая половинчатость предосудительна, если не преступна. Раз твой друг попал в чужие, обязан ли ты ради дружбы, хоть на пядь, отойти от своих, хоть на секунду стать отщепенцем? Семен Вейсах поступил бы точно так же. Надо только выкинуть из головы изрытое, отяжелевшее лицо, мысленно зажмуриться и забыть сам собой подмигивающий глаз.

А в ресторане Дома писателей среди столиков бродил поэт Михаил Светлов. То тут, то там возникал его ломано-колючий профиль безунывного местечкового Мефистофеля. Михаил Светлов, пока шло собрание, обличали и каялись, кричали «Позор», не терял времени зря, он уже нетвердо стоял на ногах, морщился расслабленно беззащитной и в то же время едкой улыбочкой. А по углам Дома литераторов из уст в уста уже передавалась только что оброненная им острота:

— Я, право, понимаю русских — почему не любят евреев, но не могу понять — почему они любят негров?

Передавали да оглядывались, за такую вольность могли и прихватить.

В детстве над моей кроватью одно время висел плакат — три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо. Негр, китаец и европеец, черный, желтый и белый — три братские расы планеты, знаменующие собой Третий Интернационал. Едва ли не с младенчества любил я негров за то, что черны, за то, что обижены. «Хижину дяди Тома» я прочитал в числе самых первых книг, но ей-ей сердобольная миссис Бичер-Стоу уже ничего не добавила к моему всепланетному любвеобилию.

Михаила Светлова теперь нет в живых, шапочно был с ним знаком, редко виделись... Ах, Михаил Аркадьевич, Михаил Аркадьевич! А ведь мы вместе любили негров. Вы раньше, я вслед за вами. Разве «Гренада» не гимн этой любви?

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели.

Жена встретила Юлия Марковича в дверях, на мгновение замерла с широко распахнутыми глазами, словно всосала взгляд мужа в провальные зрачки, успокоилась и ничего не спросила.

— А у нас гостья.

Раиса, дочь тети Клаши. Давно уже шли разговоры, что она приедет в Москву погостить.

Сама тетя Клаша была плоскогруда, мослоковата, в угловатости костистого перекошенного тела, в каждой

спеченной морщинке на лице чувствовался многолетний безжалостный труд, состаривший, но не убивший выносливую бабу.

Раиса же оказалась угнетающе не похожа на мать: белокожая, грубо крашенная — с расчетом на «знойкость» — брюнетка. У нее каменно тупые скулы и мелкие глаза с липкими ресницами, пухлый рот жирным сердечком и вызывающе горделивое выражение буфетчицы: «Вас много, а я одна».

Дина Лазаревна, должно быть, сердилась на себя за то, что гостья не нравится, потому была преувеличенно сердечна:

— Еще чашечку, Раечка?.. Вы варенья не пробовали.

— Нет уж, извиняюсь. И так много вам благодарна.— И отодвигала чашку белой крупной рукой с чинно оттопыренным мизинцем.

А в посадке присмиревшей за столом Дашеньки, в округлившихся глазах таилась недоуменная детская неприязнь, быть может, ревность. Дашенька и тетя Клаша до беспамятства любили друг друга.

Клавдия Митрохина — тетя Клаша — выросла в деревне под названием — надо же! — Веселый Кавказ. Этот Веселый Кавказ стоял среди плоских, уныло распаханных полей, открытый ветрам. Здесь даже собаки ленились лаять, а девки и парни до войны ходили на игрища в село Бахвалово за семь верст.

А в войну Веселый Кавказ совсем опустел, какие были мужики, всех забрали, мужа Клавдии одним из первых. Он написал с формировки два письма: «Живем в городе Слободском в землянках, скоро пошлют на фронт», и... ни похоронной, как другим — «пал смертью храбрых»,— ни весточки о ранении, ничего — пропал.

В деревне же начался голод, из сенной трухи пекли колобашки, даже старую сбрую, оставшуюся с единоличных времен, сварили и съели. Райке исполнилось семнадцать лет, кожа синяя и прозрачная, глаза большущие, сонливые, с тусклым маслицем, шея и руки тоненькие, а живот большой и тугой. Невеста.

Надо было спасать Райку.

Из Веселого Кавказа сбежать нельзя. Без отпускных справок, без паспорта при первой же проверке схватят на дороге. Вся страна в патрулях, под строгим надзором. Есть только одна стежка на сторону — в лес. Туда не

только пропускают, туда гонят. Каждую зиму колхоз выставлял сезонников на лесозаготовки — людей и лошадей.

В лесу давали хлеб. И не так уж и мало — семьсот пятьдесят граммов на сутки, ежели выполнил норму. Но даже мужики не выдерживали там подолгу — с лучковой пилой на морозе, по пояс в снегу, от темна до темна, изо дня в день — каторга.

У Райки означился рисковый характер:

— Пойду, мамка. Что уж, здесь помирать, а там еще посмотрим...

А смотреть-то нечего — костью жидка, одежонка худа, на первой же неделе свалится.

Но поди знай, где наскочишь на счастье. Повезло Райке, что с голодухи ветром ее шатало, куда такой на лесоповал, пусть подкормится — сунули в столовку при лесопункте посуду мыть. Думали, на время, а Райка оказалась не из тех, кто свое упускает.

И стали приходить от нее редкие письма:

> Здравствуйте, родимая маменька Клавдия Васильевна!
>
> Низко кланяется вам ваша дочь Рая. Мое сердце без тебя, словно ива без ручья. Так что спешу сообщить: живу хорошо, чего и вам желаю. Нынче чай всегда с сахаром и даже с печеньем «Привет». Зовет меня к себе жить Иван Пятович Рычков. Он у нас прораб по вывозке, но уже два месяца заместо начальника. Начальник наш Певунов Авдей Алексеевич стал шибко кашлять, увезли в больницу, должно, скоро умрет от кашля этого и от старости. У Ивана Пятовича в леспромхозовском поселке свой дом, и жена тоже есть, но стара. А дети совсем большие, одного даже убило на фронте. Такие, как Иван Пятович, нынче на дороге не валяются. И меня тогда сразу переведут из раздатчиц вторым поваром, а может, и вовсе экспедитором сделают, потому что почерк хороший и считаю в уме быстро.
>
> Покуда, до свидания. Ваша дочь — Рая.
>
> Жду ответа, как соловей лета.

До лесопункта проселками от Веселого Кавказа каких-нибудь километров шестьдесят, но письма шли кружным путем неделями. И на каждом письме стоял лиловый штамп: «Проверено военной цензурой».

Райка пила чай с сахаром и печеньем «Привет», а Клавдия давно уже не пробовала чистого хлеба.

Весной начали опухать ноги.

В конце мая перед Троицыным днем она почувствовала себя лучше, потому что бригадирша Фроська схитрила — списала остатки семенного фонда, выдала вместо аванса. Клавдия напекла овсяных колобашек пополам с сушеной крапивкой, захлопнула поплотней дверь избы и отправилась к Райке. Родимая доченька, прими мамку, от смерти бежит!

А Райка уже не та — платье новое в лиловых цветочках чуть не лопается на грудях. Мать перед ней — ноги черные, на плечах полукафтанье — заплаты выкроены из старых мешков,— холщовая сума через плечо. У Райки под бровями, в сумраке раскосых глаз, что-то мечется, словно мышь в кувшине,— нет, не мать к ней пришла, а то старое, от чего сбежала, Веселый Кавказ нежданно-негаданно нагрянул, проклятая родина.

Холщовую сумку Райка набила до отказа: кирпич хлеба, две банки мясных консервов, сахару полкило, большая пачка настоящего чая, четыре брикетика пшенного концентрата, даже пачечку печенья «Привет» в цветной обертке сунула. Для подарка слишком много, для жизни мало — не растянешь до свежей картошки.

Дочь проводила Клавдию до того места, где от корявой, искалеченной лесовозными машинами дороги отходил в сторону Веселого Кавказа мягкий, травянистый проселок. И тут Райка впервые обняла мать, прижала к себе, заголосила раскаянно:

— Маменька родима-а-я! На погибель тебя отправля-а-ю! Не увидимся боле-е!..

Она шла лесами и полями, минуя тихие, оцепеневшие от голода деревни, ночуя то в заброшенной сторожке, то в прошлогоднем стожке сена. И тучное лето стояло вокруг. Радостно зелены были поля, сияюще зелены перелески, листва хранила еще весеннюю праздничность. И садилась отдыхать у родничков, жевала городской хлебец со сладкой поджаристой корочкой, запивала его из берестяных черпачков студеной, травянисто пахучей водицей и радовалась не знай чему. В такую счастливую минуту она набрела на счастливое решение. Пока шагала до дому, все толком обдумала.

В сельповской лавке села Бахвалова на полках с самого начала войны стояли пожелтевшие коробки с порошком «дуст» да деревянные клещи — заготовки для хому-

тов. Но продавщица Кутепова Мария в глубоких тайничках всегда держала бутылочку «московской», спасенную от продажи по спецталонам. Клавдия предложила Машке Кутеповой обмен — две банки мясных консервов за пол-литра под сургучом.

Председатель сельсовета Афонька Кривой ради советской державы готов был отдать жизнь, и не одну — много, но за бутылку «московской» он бы не пожалел и самой державы. Афонька Кривой написал Клавдии справку с чернильным штампом и круглой печатью.

Она доехала до Москвы и стала просить милостыню возле Курского вокзала, выбирая тех, у кого подобрей лица. Она протянула руку к офицерику:

— Христа ради, на пропитание.

Офицерик был невысок, шинель нескладно сидела на его узких плечах — рыжие бровки, нос клювиком, мягкие чистенькие морщинки.

— Откуда ты, бабушка?

Разговорились. Клавдия чистосердечно поведала, как бежала из Веселого Кавказа.

Юлий Маркович тогда только что демобилизовался. Всю войну он без особых тягостей прослужил во фронтовой газете, часто наезжал в Москву. Шинель с погонами майора он донашивал последние дни, несколько книжных издательств нуждались в его сотрудничестве, жена тоже работала, росла дочь, и ее не с кем было оставлять дома.

«Бабушка» оказалась старше его всего на три года. Поразили ее глаза — ненастно серые, ни боли в них, ни надежды, одно лишь бездонное терпение, глаза русской деревни, перевалившей через самую страшную в истории человечества войну.

Одиссея, начавшаяся в Веселом Кавказе, окончилась на Большой Бронной.

У порога нашего института, заполняя скверик, сиял бронзовый вечер. За сквериком, стороной, рыча, громыхая, давясь гудками, шелестя шинами, суетно и дерганно, равнодушно и напористо катился мимо город — нескончаемый поток необузданных машин и неприметно тихих прохожих.

Он был одним из этих тихих прохожих. В тщательно вычищенном пиджачке с протертыми до белизны локтями,

в тусклом галстучке, в умеренно отглаженных, со следами выведенных пятен брючках, с бледной немочью горожанина на узком лице, которую, впрочем, можно принять и за невыстраданную грусть.

Случайный человек оказался возле нас, нескольких бездельников, глубокомысленно наслаждающихся ласковым вечером. Тут не было ничего необычного, институтик карманного размера, готовящий стране писателей, вызывал у многих острое любопытство и... недоумение:

— Чему вас тут учат?

Мы гордились своей исключительностью и отвечали с величавой неохотой:

— Тратить стипендию.

Нам платили самую маленькую стипендию, какая существовала в институтах. Студенты технических вузов получали втрое больше нас. Нам ничего не оставалось, как презирать сребролюбие.

На этот раз прохожий, завернувший к нам с панели, не спросил, а сам стал нам объяснять — чему нас учат.

— Это ловко кто-то придумал — спрятать молодых писателей под одну крышу, под одну шапку,— заговорил он, разглядывая нас корыстными глазами барышника.— Да здравствует единомыслие! «Весь советский народ как один человек!»

И мы изволили обратить на него внимание: узкое лицо, хрящеватый нос, язвительная улыбочка на бледных губах, и подрагивающая острая коленка, и худая, как коршунья лапа, рука вкогтилась в пиджачный лацкан.

Кто-то из нас удостоил его ленивым ответом:

— Учение — свет, неучение — тьма, дядя. Неужели не слышал?

— Добронравная ложь, молодые люди. Не всякое учение свет.— Он глядел на нас с оскорбляющей прямизной и улыбался, похоже, сочувственно.

— Хотите сказать, что нас тут губят во цвете лет?

— О вас проявляют отеческую заботу. Думай, как все, шагай по струнке: «Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег».

— И куда же мы ушагаем, по-вашему?

— Уже пришли... В гущу классовой борьбы, классовой непримиримости, классовой ненависти. Вас учат ненавидеть, молодые люди.

— Классово ненавидеть, не забывай, дядя.

— А что такое классово?

Мы переглянулись. С таким же успехом нас можно было спросить, что такое красное или желтое, соленое или сладкое. Столь наглядно очевидное — не было нужды задумываться.

— Маркса надо читать, дядя.

— Маркс, молодые люди, в наше время попал бы в крайне затруднительное положение. Он делил мир просто — на имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых, ненавидь одних, защищай других! А ведь сейчас-то эти имущие эксплуататоры — фабриканты там или лавочники со своими частными лавочками — фюить! Ликвидированы как класс. Так кого же классово ненавидеть, кого любить?

— Частные лавочки исчезли, дядя, а лавочники-то в душе остались. Они глядят не по-нашему, думают не по-нашему.

— Думай, как я, гляди, как я,— единственный признак для определения классовости? А что если кто-то думает глубже меня, видит дальше меня? Или же такого быть не может?

— Не передергивай, дядя. Можешь думать не так, как я лично думаю, но изволь думать по-нашему.

Незнакомец глядел на нас с сочувствием столь откровенным, что оно казалось бесстыдным.

— По-нашему?.. А кто мы? Мы-то ведь тоже разные, среди нас могут быть профессора, могут быть и дворники... Согласитесь, профессору не так уж трудно понять ход мыслей дворника, а дворнику же профессора — не всегда-то под силу...

— Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что не по-дворницки думающий профессор чаще станет вызывать подозрение — не классовый ли он враг.

Мы снова переглянулись.

— И еще хочу напомнить,— продолжал незнакомец,— что дворников в стране куда больше, чем профессоров, молодые люди.

— «Восстань, пророк, и виждь и внемли!» Кто ты, пророк?

Тонкие губы незнакомца презрительно скривились.

— Увы!.. Я всего-навсего прохожий, который переходит улицу в положенном месте. Но когда нет рядом милиционера... хочется перебежать. Надеюсь, вы не из милиции, молодые люди?

— Не бойся, дядя. Мы лишь члены профсоюза.

— Очень рад. Тогда разрешите...

Он церемонно отбил нам поклон, показав вытертую макушку в жидких тусклых волосиках, и, вцепившись когтистыми пальцами в лацкан пиджака, подрагивающей походкой гордо удалился через сквер.

А город за сквериком лился мимо нас, рыча, покрикивая недоброжелательными гудками — необузданно шумные машины и тихие прохожие, переходящие улицы в положенном месте. И нас обступают молчаливые дома, тесно, этаж над этажом набитые все теми же прохожими, вернувшимися с разных улиц. Как приятно знать, что кругом тебя единомышленники. «Весь советский народ как один человек!» И как тревожно и неуютно, когда вдруг обнаруживаешь — есть отступники, не похожие на тебя! Нарушена великая семейственность, оскорблено святое чувство всеобъемлющего братства.

Тощий человек с узким лицом, с хрящеватым носом, пророк в потертом пиджачишке, неизвестно откуда появившийся, неизвестно куда исчезнувший. Не пригрезился ли он?..

Мы молчали и слушали шум вечернего города.

Из института вышел Вася Малов, необмятая шляпа на твердых ушах, защитный плащик поверх табачного костюма, кроткая усталость на лице и потасканный портфельчик под мышкой. Он остановился, потянул носом воздух, насыщенный запахом увядшей зелени и бензинового перегара, выдохнул:

— Вечерок... Да-а.

И в эту короткую минуту, пока Вася Малов с тихой миной, в расслабленном умилении стоял рядом со мной, я против воли вдруг испытал вину — сделал что-то нехорошее, нашалил, боюсь быть уличенным. Странно...

Я ведь не перебежал дорогу в недозволенном месте.

Всего-навсего я видел, как это сделал другой.

Отчего же неловкость? Почему вина?

Все молчали и слушали город.

— Вечерок... Да-а... Счастливо оставаться, ребята. До завтра.

Вася Малов ступил на землю, бережно пронес на твердых ушах свою необмятую шляпу через сквер на бульвар — личный вклад в общий поток. «Весь советский народ как один человек...»

Оказалось, Раиса приехала не просто погостить. В последнее время она работала в леспромхозовском орсе, там случились крупные неприятности, на Раису пытались повесить чужую растрату. И с Иван Пятычем пора было кончать. Он собирался разводиться с законной женой, а какой расчет связывать свою жизнь со стариком, когда молодые вернулись. Раиса намеревалась пустить корни в Москве.

Все это сообщила Юлию Марковичу тетя Клаша, ворча на дочь и вздыхая: «Не ндравится лисоньке малинку есть, на мясное, вишь ли, потягивает». Клавдия дочь не особо одобряла, но... помоги, Юлий Маркович.

Стихи и романы русских классиков, революционные лозунги, культура и политика, собственная совесть и государство — все изо дня в день, из года в год требовало от Юлия Марковича преклонения перед народом. Перед теми, кто пашет и стоит у станков, лишен образованности, но зато сохранил первозданную цельность, не философствует лукаво, не рефлексирует, не сентиментальничает, то есть не имеет тех неприглядных грехов, в каких погрязла интеллигенция. К интеллигенции как-то само собою ложатся непочтительные эпитеты, вплоть до уничтожающего — «растленная». Но чудовищно даже представить, чтоб кто-то осмелился произнести: «Растленный народ». Такого не бывает.

В последнее время слово «народ» получило новый заряд святости в сочетании со словом «русский». Украинский народ, казахский народ, узбекский, равно как народ манси, народ орочи — звучит, но не так. Сказано Сталиным, вошло во все прописи, узаконено: русский народ «наиболее выдающийся... руководящий народ». Народ из народов, не чета другим!

Тетя Клаша, баба из деревни Веселый Кавказ,— чистейший образец этого руководящего народа, честна, проста, не испорчена самомнением — золотая песчинка высокой пробы. И, конечно же, она по простоте своей неиспорченной души не подозревала о собственном величии.

— Деревня-то наша из самых что ни на есть никудышных. Нас-то кругом «черкесами» звали, обидней прозвища не было. Эвон, мол, «черкес» едет. А едет-то он, сердешный, на разбитой телеге, и лошадь-то у него на ходу валится, и обрать-то — веревочка, и сам-то «черкес» лыком подбит...

Юлий Маркович считал своим долгом открыть ей на все глаза:

— Вот ужо, Клавдия, оглянутся наши дети и внуки на таких, как ты, никудышных, памятники вам поставят.

— Чем же сподобились?

— Не малым. Мир спасли.

— Ишь ты, прежде-то один спаситель был — Христос, посля-то, выходит, многонько спасителей будет.

— Ты слыхала о нашествии татар?

— Как же. И пословица есть: незваный гость хуже татарина.

— Так вот немцы почище татар. Франция им двери с поклоном открыла, Англия от страха обмирала, Америку хлипкий японец бил. Казалось, на всем свете нет силы, которая остановила бы новых татар. Остановили мы.

— Слава те господи.

— Не господу слава, а тебе, Клавдия. Таким, как ты, которые кору жрали, а хлебом кормили и фронт, и тыл, и нас, захребетников-интеллигентов. Выносливости твоей слава, простая русская баба. Спасибо, что сама выжила и миру жизнь вернула...

Открывая глаза Клавдии, Юлий Маркович испытывал возвышающее очищение. Он не ел лепешек из толченой коры, не мерз в окопах. Он не мог сказать сейчас русской бабе Клавдии: «Нас с тобой побратала жизнь». Побратать могла лишь предельная искренность: ставлю тебя по заслугам выше над собой, не сомневаюсь, что поймешь меня, не осудишь, ибо я сам уже себя осудил.

И еще тем усердней он возвеличивал Клавдию перед Клавдией, что в последнее время постоянно чувствовал к себе настороженность: «Ты не тот, кто способен оценить все русское». Ан нет! Если его дед носил пейсы, это не значит, что русское закрыто для него.

Клавдия олицетворяла русский народ, а вот родная дочь ее, тоже ведь прошедшая через чистилище Веселого Кавказа, наглядно русской почему-то не казалась. Раиса держалась обходительно: «Доброе утро вам... Извиняюсь... Много вам благодарна...» Но каменные ресницы, манерно оттопыренный палец, выправочка буфетчицы — как не похожа она на свою простую, родственно понятную мать!

Мать просит: «Помоги!» То есть приюти, оставь под своей крышей, введи в свою семью.

Как-то раз Юлий Маркович застал Раису за странным занятием — обмеряла веревочкой простенок в коридоре.

Увидела Юлия Марковича, сунула веревочку в карман, похоже, смутилась, но только чуточку.

— Что это, Рая?—спросил он.

Она помедлила, глядя мимо, чопорно ответила:

— Сервант бы вам лучше сюда вынести, как раз встанет.

И ушла, ничего больше не объясняя,—голова в надменной посадочке: «Вас много, а я одна».

Старый сервант стоял в комнате Дины Лазаревны и Дашеньки. Зачем его выносить в тесный коридор? Юлий Маркович так ничего и не понял.

Ночью, перед сном, он вспомнил этот случай и рассказал жене. Дина Лазаревна долго молчала и вдруг тихо призналась:

— Я боюсь.

— Чего, Дина?

— Всего... И ты ведь тоже, не притворяйся... Юлик, хочу, чтоб она уехала.

Он помолчал и мягко возразил:

— Дина, вспомни Чехова.

— Что именно?

— Вспомни, как он говорил: надо, чтоб под дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и напоминал стуком, что есть несчастные. Дина, до сих пор мы были непозволительно счастливы. Она ела толченую кору. Нам стучат, Дина, а мы не хотим слышать.

Из окна падал свет уличного фонаря, освещал корешки книг и внушительный медный барометр, подарок одного морского капитана Юлию Марковичу. В эту осень барометр неизменно показывал «ясно». Над Москвой стояло затяжное бабье лето.

Со стены нашего общежития отсыревшим голосом кричал репродуктор:

— Новое снижение цен на продукты массового потребления!.. Рост экономического благосостояния!.. Расцветание!..

На моей тумбочке лежит письмо матери. Мать пишет из села:

«Картошки нынче накопала всего три мешка. Да мне одной много ли надо—проживу. Меня шибко выручает Маруська Бетехтина, она торгует сейчас в дежурке. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Карточки-

то отменили, а хлеб у нас все равно по спискам продают. Для районного начальства по особым спискам даже белый хлебец отпускается. Через Маруську-то и мне его перепадает. А вот сахару у нас нет ни для кого, даже для начальства...»

Надо матери послать килограмма два сахара. Такие расходы мой тощий карман как-нибудь выдержит.

— Очередное снижение!.. Рост благосостояния!.. Расцвет жизни!..

В Москве сахар не проблема. В бывшем Елисеевском на площади Пушкина прилавки ломятся от разных продуктов: колбасы всех сортов, окорока, художественно разрисованные торты, монолиты сливочного масла... Но из Москвы я не смогу отправить сахар матери — продуктовые посылки в городе не принимают. Придется сесть на электричку, уехать куда-нибудь под Загорск, подальше от столицы, оттуда отправить ящичек с двумя килограммами сахара в наше село, где хлеб распределяется по спискам и начальство пьет несладкий чай.

Радио бравурно наигрывает и хвалится:

— Снижение!.. Рост!.. Расцветание!..

Я подсчитал: от такого снижения в месяц сэкономлю... два рубля. Обед в столовой стоит худо-бедно пять рублей. «Снижение!.. Расцветание!..»

Эмка Мандель сидит на своей койке, чешет за пазухой, сопит, смотрит в одну точку и неожиданно рожает четверостишие:

— А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.

Радио восторженно играет, мы смеемся.

— Талант — штука опасная! — вдруг изрекает из угла некто Тихий Гришка.

Ему уже за тридцать, среди нас он считается стариком, всегда молчалив, всегда обособлен, в своем углу, как крот в норе. Но если он раскрывает рот, то почти всегда выдает закругленную истину — банальность и откровение одновременно.

Эмка отбивает мяч:

— Старик! Ты в полной безопасности!

Должно быть, Раиса родилась под счастливой звездой. Все получилось неожиданно легко и быстро. Без помех отыскался старый знакомый Семена Вейсаха, ко-

торый когда-то помог прописать Клавдию. Он по-прежнему работал в горисполкоме, занимал еще более высокое место, слышал о беде Семена, сочувствовал ему, готов был исполнить просьбу Юлия Марковича. Телефонного звонка в отделение милиции было достаточно, чтобы на периферийный паспорт Раисы поставили штамп: «Прописана временно». С Юлия же Марковича взяли лишь расписку, заверенную жилуправлением, что не возражает прописать на свою площадь гражданку Митрохину Раису Дмитриевну.

Операция проводилась с помощью имени Семена Вейсаха, а потому его пригласили на чашку чая. Юлий Маркович никак не мог забыть свинцового лица друга Семена, его самостийно подмигивающего глаза.

В пятнадцать лет Вейсах воевал у Котовского. Легендарный комбриг, как говорят, ласково называл его: «Образцово-показательный жид у меня». Вейсах специализировался по военной литературе, участвовал в свое время в разных объединениях — ВАППе, ЛЕФе, ЛОКАФе, из писателей больше всего чтил своего старшего друга Матэ Залку, в свое время рвался вместе с ним в Испанию, но что-то помешало — не уехал, еще недавно он носил на пухлых широких плечах полковничьи погоны. Сейчас у Семена на висках проступила нездоровая маслянистая желтизна, крупная нижняя губа отвалилась, как у деревенской заезженной лошади, во влажных глазах неизбывная печаль детей Авраамовых. Он пил чай, грустненько, в осторожных выражениях сообщал: «Воениздат» передал сборник очерков о партизанах другому составителю, договор на его книгу о Петре Вершигоре расторгнут...

Клавдия подсовывала Семену бутерброды с колбасой, вздыхала, а Раиса разглядывала его внимательным взглядом, словно оценивала про себя надетый на Семена пиджак. И Семен, должно, чувствовал этот взгляд, горбился, блуждал печальными глазами по сторонам.

— Юлик...— негромко произнес Семен после мучительного молчания,— Ася недавно продала свою шубу... И вот мы опять... без копейки.

— Да ради бога, Сима!..

Дина Лазаревна сорвалась с места, исчезла в соседней комнате, через полминуты вернулась с деньгами. Семен меланхолично их принял, опустил в карман и встретился взглядом с Раисой, веко его дернулось и глаз вызывающе подмигнул. Раиса равнодушно отвернулась, а Семен сразу заторопился:

— Мне пора... Уже поздно.

Юлий Маркович проводил его до дверей. В шляпе, в плаще, неповоротливо громоздкий Семен взял ватной рукой за локоть, дыхнул в лицо запахом только что съеденной колбасы.

— Юлька...— почти беззвучно шевельнул он отвалившейся лошадиной губой,— берегись!..— И качнул в сторону комнаты подбородком, где вместе со всеми за чайным столом сидела Раиса, произнес вслух, извиняясь: — Я теперь стал ясновидящим.

Он боком вывалился на лестничную площадку, оставив после себя тревожное предчувствие беды.

Беда вошла в дом через щель почтового ящика в служебном конверте со штампом вместо марки. Ничего особого — бумажка из парткома, Юлия Марковича просили явиться в назначенное время.

Секретаря парткома Юлий Маркович близко не знал, платил ему членские взносы и раскланивался в коридорах Дома литераторов. Ширпотребовский мятый костюмчик, обкатанная голова, простоватое лицо — когда-то что-то написал и напечатал, в свое время с должными усилиями прошел в члены Союза, не переживал головокружительного литературного успеха, ординарно скромен. Заурядность выдвигает людей чаще, чем дерзкая энергия и яркий талант. Заурядные никого не пугают. На тайных голосованиях эти люди получают подавляющее большинство голосов.

Секретарь парткома долго рылся в ящике письменного стола, и лицо его, кроме привычной озабоченности, выражало сейчас брюзгливенькое несчастье: «Вы тут черт-те что вытворяете, а я расхлебывай».

— Вот...— он вынул нужные бумаги, положил на них ладонь и взглянул на Юлия Марковича не начальственно, не строго, а скорей с досадою.— На вас поступила... М-м-м... Скажем так — жалоба.

— От кого?

Секретарь парткома пожал плечами, считая вопрос неуместным, продолжал:

— Надо признать — крайне глупая. Вот извольте, что стоит такое: «Кто это письмо прочтет, тот правду найдет...»

Тоскливенький холодок поплыл из глубины, от живота к горлу. Клавдия часто показывала Юлию Марковичу письма Раечки, он знал ее стиль: «Мое сердце без тебя, словно ива без ручья...»

— Вы, кажется, знаете, кто автор?

— Догадываюсь. Так что она там?..

— Она... гм... она пишет... «Член партии, писатель Искин Юлий Маркович принимает у себя дома подозрительных людей, которые ему жалуются на Советскую власть. Искин Ю. М. снабжает их деньгами на тайные цели. Он, Искин Ю. М., полный двурушник — в разговорах хвалит русскую нацию, а как на деле, то ненавидит. Простую русскую женщину, которую он у себя держит в прислугах, выпихнул на кухню, а сам живет в двух комнатах — одна шестнадцать квадратных метров, другая двадцать два...» — Секретарь, поморщившись, отодвинул письмо: — Вот, чем богаты, тем и рады.

«Сервант бы вам лучше сюда вынести...» До того, как он, Юлий Маркович, помог прописаться, она уже обмеривала веревочкой его жилплощадь.

— Вы хотите, чтоб я оправдывался? — спросил Юлий Маркович.

— А что делать? Мы обязаны внюхиваться, вы — очищаться.

— Письмо без подписи?

— Да, анонимка.

— Даже при царе Алексее Михайловиче не принимали анонимок. Каждый, кто кричал «Слово и дело!», должен был называть себя.

— При царе Горохе, может, и так, а я вот не могу выбросить этот букетик. Вписано в книгу, пронумеровано — документ!

— Тогда разрешите на него официально вам заявить: я не принимал у себя антисоветски настроенных людей, не вел с ними подрывные разговоры, не снабжал их деньгами на тайные цели... Вас это устроит?

— Вполне. Напишите объяснение, что у вас никто не бывал... кто бы вас мог как-то скомпрометировать.

Секретарь ждал краткого и решительного — никто. Но Юлий Маркович не мог так ответить. Соврать ради простоты столь же опасно, как выбросить в мусорную корзину анонимку.

— У меня бывал Вейсах... Семен Вейсах... Мы с ним двадцать пять лет знакомы.

Секретарь парткома тоскливо отвел глаза, и лицо его сразу же стало брюзгливо несчастным.

— Не хочу допрашивать вас, о чем вы там с ним говорили, но надеюсь... надеюсь — вы хотя бы не давали ему денег.

— Давал... Он сейчас без копейки.

В громадной, отделанной черным дубом комнате с величественным камином, где в углу сиротливо (за неимением другого места) ютился стол секретаря парткома, наступила тишина.

— Худо, Юлий Маркович, худо...— произнес наконец секретарь.— Я не хотел это выносить на обсуждение комитета... Не могу.

Это «не могу» были последние дружелюбные слова — взгляд стал скользить куда-то мимо уха Юлия Марковича, лицо обрело деловую сухость.

Позднее Юлий Маркович вспоминал об этом человеке только с обидой. Как быстро в нем иссякло сочувствие! Как легко он согласился на «не могу»! Как мало в нем было человеческого!

Но что бы ты сделал на его месте?

Выбросил письмо-анонимку в мусорную корзину, зная наперед, что при первой же проверке документации обнаружилось бы — исчезла бесследно бумага под входящим номером таким-то?

Или отмахнулся от факта, что такой-то имярек принимал человека, обличенного в нелояльности, ссужал ему деньги?

Но ты, конечно, постарался хотя бы посочувствовать — не глядел бы мимо, не корчил бы постную рожу.

Отказать в помощи и посочувствовать — экая добродетель! Куда честней откровенно признаться: не могу по справедливости, могу только по-казенному. Бесчувственное лицо, взгляд мимо.

Но иногда же нужно и через не могу. Во имя человечности будь подвижником!

Напрашивается вопрос: каждый ли на это способен?

Честно спроси себя: способен ли ты?

Ну, а если даже способен, то новый вопрос, уже совсем крамольный: так ли спасительно благородное подвижничество?

На минуту представим себе нечто невозможное: например, все сытые в голодном тридцать третьем году стали вдруг подвижниками, решили в ущерб себе делиться с голодающими последним куском хлеба. Невозможно, но представим — все сытые подвижники! И что же, спасет их подвижничество страну от голода? Увы! Причина голода не в том, что кто-то чрезмерно обжирается. Нужны какие-то иные меры, не подвижничество, иная деятельность, не столь героическая и красивая.

Джордано Бруно подвижнически взошел на костер. Но прежде он открыл некие секреты мироздания, создал новые теории. Сначала создал, а уж потом имел мужество не отказаться от созданного.

А вот Галилей таким мужеством не обладал или же не считал нужным его проявлять. Он отрекся от своих теорий, его подвижничество подмочено. Но благодарное человечество все-таки чаще обращается к имени Галилея, чем к Джордано Бруно. Просто потому, что Галилей больше создал для науки.

До сих пор люди еще не желают понять, что мужество без созидания — бессмыслица!

Изменить жизнь подвижничеством, делать ставку на некие героические акты. Нет! На такое можно решиться не от хорошей жизни. Да и не от большого ума.

Не мной первым сказано: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Только Дашенька легла спать, в стенах, тесно обложенных книгами, собралось все население квартиры — Дина Лазаревна с цветущим красными пятнами лицом, Клавдия, приткнувшаяся на краешке дивана, и Раиса, плотно опустившаяся на предложенный стул.

Она подрагивает крашеными ресницами, глядит в сторону — губы обиженно поджаты, скулы каменны. Юлий Маркович возвышается над ней. Он старается изо всех сил, чтоб голос звучал спокойно и холодно.

— Раиса Дмитриевна! Прошу ответить!..

Суд при всех, суд на глазах ее матери. Он не продлится долго. Юлий Маркович вынесет приговор и протянет руку к двери: «Убирайтесь вон! Вам здесь не место!»

Подрагивающие угольные ресницы, обиженно поджатые губы, упрямая твердость в широких скулах. Она начнет сейчас оскорбляться: «Ничего не знаю, напрасно вы...» Не поможет! Рука в сторону двери: «Вон!» Неколебимо.

Но Раиса, метнув пасмурный из-под ресниц взгляд, порозовев скулами, проговорила с вызывающей сипотцой:

— Ну, сделала...

Юлий Маркович растерянно молчал.

— Потому что должна же правду найти.

— Правду?

— Образованные, а недогадливые. Вы вона как широко устроились — втроем в двух комнатах с кухней, а нам

у порожка местечко из милости — живите да себя помните. А помнить-то себя вы должны, потому что люди-то вы какие... Не забывайтеся! — Упрямая убежденность и скрытая угроза в сипловатом голосе.

— Какие люди, Раиса Дмитриевна?

— Да уж не такие, как мы. Сами, поди, знаете. Разрослись по нашей земле цветики-василечки, колосу места нету.

Прямой взгляд из-под крашеных ресниц, прямой и неломкий, с тлеющей искрой. И Юлию Марковичу стало не по себе. Эта женщина ничем не может гордиться: ни умом, ни талантом, ни красотой, только одним — на своей земле живу! Единственное, что есть за душой, попробуй отнять.

Юлий Маркович обернулся к Клавдии и увидел в ее глазах и в ее печальной вязи морщинок мягкую укоризну: «Ты что, милушко, дивишься? Ты же сам мне все время только то и втолковывал, что вы-де, русские, в Веселом Кавказе рожденные, не чета нам всем, миром кланяться нам должны...»

Светлые, бесхитростные глаза, никак не схожие с глазами дочери, заполненными угрюмой, обжигающей неприязнью, глаза любящие и всепрощающие, ласковые и преданные... Тем страшней приговор, что вынесен с любовью.

Он стоял и тупо смотрел на Клавдию, смотрел и не шевелился. И вдруг вскинула руки Дина Лазаревна, вцепилась в волосы, рухнула на диван. Между стенами, забитыми книгами, заметался ее клокочущий горловой голос:

— Господи! Господи! Куда спрятаться? Ку-уд-да?!

Раньше Юлия Марковича встрепенулась Клавдия:

— Динушка! Да ты что, родная?.. Да успокойсь, успокойсь! Христос с тобой!

Раиса сидела величавым памятником посреди комнаты, только крашеные ресницы подрагивали на розовом лице. Юлий Маркович пришел в себя:

— Уходи-те! Все уходите!.. Раиса Дмитриевна, ради бога!.. И ты, Клавдия, тоже!..

Нет, он не говорил «вон!». Не требовал, а просил: «Ради бога!»

Раиса не шевелилась.

Секретарь парткома произнес свое «не могу» и передал вопрос на обсуждение комитета.

Казалось бы, ну и что?

Один ум хорошо, два лучше. Если уж секретарь парткома, никак не Сократ, своим умом дошел — нечистоплотная ложь, то, наверное, двадцать пять членов парткома это поймут скорей.

Один ум, два ума, три... Простое сложение редко дает верный результат в жизни. Опасность таилась именно в численности комитетского поголовья — двадцать пять членов! Среди них наверняка окажется хотя бы один, который носит испепеляющее желание проявить себя любыми способами, не считаясь ни с кем и ни с чем. Хотя бы один... Но скорей всего таких будет больше.

По всей стране идет облава на космополитов. Тому, кто желает проявить себя любыми путями, как упустить удобную жертву, как не крикнуть: «Ату его!»

Несколько человек — скажем, пятеро — прокричат кровожадно охотничье «ату», а два десятка их не поддержат. Два десятка против пяти — явное большинство, это ли не гарантия, что Юлий Искин вне опасности.

Увы, легион не всегда сильнее кучки.

Идет облава по стране, радио и газеты подогревают охотничий азарт. Легко крикнуть: «Ату!», почти невозможно: «Побойтесь бога!» Безопасно гнать дичь, опасно ее спасать.

Если даже один — только один! — начнет травить Искина, остальные будут молчать. «Ату его!» может раздаться над любым.

Положение еще обострялось и тем, что Юлию Искину не могли вынести легкого наказания. Или встреча с Вейсахом и деньги, ему данные,— просто дружеское участие, помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, что в общем-то непредосудительно и уж никак не наказуемо. Или же эта встреча — некий акт групповых действий, а деньги — не что иное, как практическая помощь при тайном заговоре. В этом случае партком обязан прекратить обсуждение и передать Искина вместе с его тяжелой виной уже в руки... госбезопасности. Или — или, середины нет.

Что называется, пахло жареным.

Он никогда ни о чем не просил своего старого друга Фадеева, ни разу не прибегал к его высокой помощи. Но или — или, тут уж не до щепетильности.

Он позвонил Фадееву на дом...

Еще не выслушав всего до конца, Фадеев взорвался на том конце провода:

— Да что они с ума сошли! Идиоты! Перестраховщики! Бдительность подменять мнительностью!..— Тут же с ходу он нашел решение: — Иди прямо в райком! А я туда немедленно позвоню.

Это, право же, был простой и верный ход. Глава советских писателей Александр Фадеев не мог вмешиваться в работу партийного комитета: «Прекратите, мол, дурить!» В райкоме же партии непременно прислушаются к слову известного писателя, члена ЦК. Партком полностью подчинен райкому. «Прекратите дурить!» И прекратят. И забудут.

Юлий Маркович в Краснопресненском райкоме был незамедлительно принят одним из секретарей, женщиной средних лет в темно-синем костюме и белой кофточке, с моложавым миловидным лицом, с чистым голубым взором.

Странно, но под этим голубым взором Юлий Маркович сразу почти физически ощутил, что у него семитский изгиб носа, рыжина неславянского оттенка, врожденная скорбность в складках губ, характерная для разбросанного по планете мессианского племени.

— Вы давно знаете Вейсаха? — участливый вопрос.

— Лет двадцать пять, если не больше.

— И в последнее время тоже были близко знакомы?

— Боле-мене.

— Вы не замечали в его поведении ничего предосудительного?

— Ничего.— Мог ли он ответить иначе.

— Вы были на собрании, когда обсуждали Вейсаха?

— Был.

— Почему же вы тогда не протестовали?

Голубой взор и участливый голос. Юлий Маркович ощущал признаки семитства на своей физиономии. Секретарь райкома глядела на него, он молчал.

— Вашего старого друга осуждали. И вы знали, что он ни в чем не повинен. Так почему же вы не встали и открыто не заявили об этом?

Голубые глаза, прилежно завитые светлые волосы, в миловидном лице терпеливая, почти материнская требовательность: почему?

На собрании тогда кричали: «Позор! Позор!» И он сидел в самом углу, тихо сидел... И после собрания он не

осмелился подойти к другу Семену... Оплывшая фигура, свинцовая физиономия, сам собой подмигивающий глаз.

Юлий Маркович ответил сколовшимся голосом:

— Я... Я, наверное, не обладаю достаточным мужеством...

Сокрушенная гримаска в ответ.

И он понял: летит вниз, надо сию же минуту за что-то ухватиться. Он заговорил с раздраженной обидой:

— Послушайте, почему вы не вспоминаете о письме? Без этого письма никто и не подумал бы меня подозревать! Освободите меня сначала от ложных обвинений, а уж потом накажите... за слепоту, за отсутствие бдительности, за трусость, наконец! Со строгостью!..

— Письмо?..— удивилась она.— Ах да, да...— И брезгливо передернула плечиками: — Эта анонимка... Товарищ Искин! Не считаете ли вы, что мы идем на поводу анонимщиков?.. Лично я исхожу сейчас только из фактов, которые вы мне изложили.

Нужно ли вспоминать о прогоревшей спичке, когда уже вспыхнул пожар. Юлий Маркович сидел, уронив голову.

Секретарь райкома встала, ласково протянула ему руку:

— Мы попросим, чтоб товарищи разобрались в вашем деле со всей беспристрастностью.

Он был уже у дверей, когда она его окликнула:

— Товарищ Искин! А между прочим, Александр Александрович Фадеев на том собрании выступал против этого... Вейсаха. Да! И со всей решительностью.

Юлий Маркович в ту минуту был слишком оглушен неудачей, не осознал трагической значительности этой фразы.

Для секретаря райкома с миловидным лицом и голубым взором открылось странное...

Фадеев ходатайствует о защите некоего Искина.

Этот Искин — старый друг осужденного писательской общественностью Вейсаха.

И не только друг... Искин сам признался: не выступил в защиту Вейсаха потому лишь, что не обладал достаточным мужеством. Не только друг, но и единомышленник.

Фадеев вместе со всеми осуждал Вейсаха. Больше того, он возглавлял это осуждение.

И Фадеев защищает единомышленника Вейсаха!

Странно и многозначительно.

Голубоокий секретарь райкома не мог взять на себя ответственность — уличить, осудить, наказать! Слишком гигантская фигура Александр Фадеев, чтоб схватить его белой ручкой за воротник — не дотянешься. И секретарь райкома сделала то, что и следовало в таких случаях делать,— передала на рассмотрение в более высокую инстанцию, в горком партии.

Но и в Московском горкоме не нашлось охотников хватать Фадеева за воротник. Передали дальше, в ЦК.

А в здании на Старой площади, в правом крыле, в отделе культуры — заминочка. Уж кто-кто, а Фадеев-то хорошо известен Самому. Тащить наверх, к Самому?.. Дело-то не очень значительное, никак не срочное, подумаешь, Фадеев защищает какого-то Искина... Спрятать под сукно, забыть — тоже опасно. Литераторы народ скандальный, ревниво следят друг за другом, вдруг кто-нибудь из маститых заявит... Сталин шутить не любит.

И в кулуарах Дома литераторов потянуло сквознячком, зашелестело имя Фадеева. И кой-кто уже мысленно рисовал себе картину — Союз писателей без Фадеева во главе. А кто — вместо? А кто будет вместо того, кто — вместо? Возможна крупная перестроечка... Слухи, слухи, осторожненькая возня.

А в «Литературной газете» — статья о связи с народом, перечислялись еще раз ранее разоблаченные безродные космополиты, среди них Семен Вейсах... И целый абзац посвящен Юлию Искину — тоже оторвавшийся, тоже безродный.

Каждому ясно: Искин — ничтожная фигура. Бьют Искина, а попадают-то по...

Он — безродный.

Если вдуматься, что за странное обвинение. Каждый человек где-то родился, каждый может указать место на карте: «Я появился на свет здесь!» И при этом нелепо испытывать стыд или гордость, считать — удачно родился или неудачно. Можно рассуждать о том, чем и как отличаются Холмогоры от Симбирска: меньше по населению — больше, дальше от коммуникаций — ближе к ним, культурней — некультурней, но никак нельзя оценить эти два географических пункта в плане родины — мол, предпочтительней в Симбирске, чем в Холмогорах, одно лучше, другое хуже. И уж совсем нелепо оценивать

человека по месту рождения: мол, имеет достойную родину, а потому и сам достоин уважения, и наоборот.

Он, Юлий Маркович Искин,— безродный!..

Да нет же! Он родился в самом центре России — в Москве! Так уж случилось, тут нет его личной заслуги. Он всю жизнь провел в этом городе, помнит Охотный ряд с бабами-пирожницами, сидящими на морозе на горшках с углями, помнит и Красную площадь без Мавзолея, и Садовое кольцо, когда оно действительно было садовым.

И все-таки безродный!

Но почему бы тогда не называть безродным великого Сталина? Право же, родился в Грузии, с юности живет в России, чаще говорит по-русски, чем по-грузински, а не столь давно на весь мир заявил: русская нация «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», русский народ — «руководящий народ». Выходит, предпочел чужую нацию своей, чужой народ своему кровному — космополитический акт, безродный по духу.

И Сталина славят за эту безродность.

А Юлия Искина клянут: не имеешь права считать своей родиной Москву, всю Россию!

Неудачно родился, не там, где следует.

А где?..

Если можно отнять жизнь, отнять свободу, то почему нельзя отнять у человека родину?..

Быть может, впервые в жизни Юлий Маркович бунтовал,про себя, тихо, тайком, закрывшись один в кабинете, боясь поделиться своим бунтарством даже с женой.

В самом начале тридцатых годов мимо него прошла коллективизация — не бунтовал, даже восхищался: «Революция сверху!»

В тридцать седьмом уже не восхищался. «Господи! Киршона арестовали!..» Но смиренно жил, добропорядочно думал, не доходил в мыслях до бунта.

Тихий, тихий бунт в одиночку, когда сам себе становишься страшен.

Раздался телефонный звонок. Юлий Маркович почувствовал, как на ладонях выступил пот, бунтующие мысли легкой стаей, все до единой, выпорхнули вон из головы, осторожно снял трубку.

— Я вас слушаю.

Тишина, слышно только чье-то тяжелое дыхание.

— Я вас слушаю.

И сдавленный кашель, и слежавшийся голос:

— Это я... Выйди на улицу. Сейчас. Очень нужно.

Щелчок, короткие гудки — трубку повесили.

Юлия Марковича вдруг без перехода опалила злоба: это он! И он еще смеет звонить! Ему еще нужны тайные свидания под покровом темноты! Ему мало, что из-за него он, Юлий Искин, попал в петлю! Оставь хоть сейчас-то в покое! Нет!.. «Выйди, очень нужно».

И тем не менее Юлий Маркович, кипя внутри, поднялся из-за стола, пошел к вешалке.

В кухне друг против друга сидели Клавдия и Раиса, на столе перед ними стоял чайник, лежал батон белого хлеба. Пьют чай, о чем-то беседуют. Им тепло, им уютно — чай с сахаром, белый хлеб с маслом. Беседуют... О чем?

В зеркале у вешалки отразилось его лицо, зеленое, перекошенное, с беспокойными неискренними глазами. Страдая, что его видят из кухни, натянул пальто, надел шапку...

Большая Бронная, задворки Тверского бульвара, была тускло освещена и пустынна. За смутными нагромождениями домов слышался приглушенный шум моторов, перекличка машин. На празднично освещенной площади Пушкина, на улице Горького все еще бурлила вечерняя жизнь столицы.

Метнувшейся тенью пересекла вымершую мостовую кошка...

Он появился неожиданно, словно родился из каменной стены: облаченный в просторный плащ, с головой, втянутой в широкие плечи, походка ощупью, словно шагает по скользкому льду.

Юлий Маркович запустил поглубже руки в карманы, вскинул повыше голову, расправил грудь, приготовился встретить: «Ты заразен! Не хочу играть с тобой в конспираторы!»

Вейсах приблизился — свистящее астматическое дыхание, навешенный лоб, отвалившаяся лошадиная губа. Юлий Маркович не успел открыть рот.

— Ты!.. — свистящий в лицо шепот. — Ты негодяй!.. Знаешь, в каком я положении, и треплешь всюду мое имя! Обо мне снова вспомнили, за меня снова взялись!

И у Юлия Марковича потемнело в глазах:

— Я?! Я — негодяй?!. А ты? Ты — прокаженный! Ты бы должен тихо сидеть!.. Лез за сочувствием!.. По твоей милости...

— Я — никого, ни одного имени, а ты?.. Ты сразу на блюдечке...

— Кто — кого на блюдечке или в завернутом виде!

— Не смей!

— Смею.

— Ты провокатор!

— Ты подсадная утка!

На обочине пустынной улицы, друг против друга, охваченные общим ужасом, бессильной ненавистью.

В стороне послышался торопливый стук каблучков по асфальту. Они сразу замолчали. Прошла женщина, стихли в глубине улицы ее шаги. Они продолжали неловко молчать.

Наконец первым, дрогнув губой, со всхлипом произнес Семен:

— За мной, кажется, скоро придут.

— Теперь неизвестно, за кем раньше.

— Юлик, извини... Я просто не нахожу себе места.

— Нам не надо делать новых глупостей, Семен.

— Да, да, не надо... Я пошел.

— До свидания, Сеня.

Только и всего. Ненависть выгнала их навстречу друг другу, обоюдная жалость вновь их разъединила.

Время от времени Фадеев отказывался нести бремя власти.

Ибо кто, кроме царя, может считать себя несчастным от потери царства? — сказал некогда Блез Паскаль, подразумевая, что, помимо высокого несчастья, царь не избавлен и от обычных человеческих несчастий, может, как все, страдать от несварения желудка и камней в почках, как все, горевать об утрате близких. Так сказать, царь более несчастное существо, чем его подданный. А еще проще — высокопоставленному живется труднее.

И в самые трудные моменты, когда события перепутывались в тугой узел, когда высокие обязанности начинали противоречить совести, когда черное нужно было принимать за белое, а белое за черное, Александр Фадеев делал вдруг — должно быть, неожиданный сам для себя — нырок... на дно. Исчезал из предопределенной ему жизни.

Его ждал загруженный день. С утра он хотел усадить себя за стол. Он все еще жил надсадной надеждой, что наткнется на что-то такое, откроет сокровенное, удивит

мир силой своего таланта. Он сыт был славой, нужно самопризнание.

К двенадцати дня он должен быть в Правлении Союза. В час он принимал у себя известного латиноамериканского писателя. В три — совещание секретариата: отчет комиссии по литературам братских республик, обсуждение кандидатур, выдвинутых на Сталинскую премию, вопрос о возобновлении издания очеркового альманаха, основанного еще Горьким, прекратившего с войной свое существование. В шесть часов он должен быть в ЦК в Отделе культуры — звонили вчера вечером, договорились о встрече: «Нужно утрясти один вопросик». В ЦК его вызывали часто, этому звонку он не придавал особого значения.

Как всегда, усевшись за стол, он принялся ворошить газеты. В «Литературке» сразу же наткнулся на статью, где целым абзацем разоблачался Юлий Искин...

Сразу стало ясно, почему в последние дни он часто перехватывал испытующие взгляды, почему при его приближении наступало молчание... И вчерашний звонок из ЦК: «Утрясти вопросик...» — наигранно небрежным голосом.

Не впервой с некоторым опозданием он открывал для себя притаившееся, тесно сплоченное недоброжелательство тех, кто всегда преданно смотрит ему в рот. И каждый раз это вызывало не возмущение, не гнев, а тягостную безнадежность.

Что, собственно, стоит его шумный успех? Что стоят неумеренные восторги по роману «Молодая гвардия» — скоропалительной библии послевоенных лет! — который он написал по заказу, против своего желания, вначале стыдился, потом уверовал: если принимает народ, то в самом деле, должно быть, хорош. И что стоят его выступления на многочисленных собраниях, когда он говорит не то, что чувствует, а то, что от него ждут. Он поступает не так, как считает нужным,— приспосабливается. Не хозяин положения, не хозяин себе, и все, что он делает, завтра будет погребено под новым наслоением столь же незначительных дел. Он временщик и творит временное.

И, как всегда, от мутной безнадежности потянуло куда-то, к кому-то, нет, не к тем, кто способен помочь,— этого никто не может,— способен понять.

И он заторопился, заранее страдая от того, что могут окликнуть, задержать, что на лестнице, возможно, встретятся знакомые, придется здороваться, говорить о пустяках и прятать, прятать голодное выражение лица.

Дощатые забегаловки и пивные ларьки, где продавали водку в розлив, открывались поздно, и алчущие сбивались к гастрономическим магазинам. Рыхлые, с темными воспаленными физиономиями, с ухватками службистов — деловитые завсегдатаи-алкаши; не завсегдатаи — просто желающие «поправиться», болезненно зябнущие после вчерашнего перепоя; свихнувшиеся папаши хороших семейств, прячущие в поднятые воротники пальто истомленно-брезгливые лица; рабочие, еще не ставшие подонками; подонки, еще не свалившиеся под свой последний забор,— разнообразен состав тех, кто не может начать день грядущий без ста пятидесяти граммов. Среди них бывали люди, которыми гордится Россия.

Навстречу Фадееву сразу же качнулся мужчина в расхлюстанном без пуговиц полупальто, с физиономией, состоящей из мешочков, складочек и ржавой щетины.

— Башашкиным будешь?

Башашкин — недавно вошедший в известность футболист, третий номер в защите. И член ЦК, глава советских писателей Александр Фадеев согласился стать «Башашкиным». Раньше Фадеева к ржавомордому примкнул парень-рабочий с волевой челюстью и виновато увиливающими от прямого взгляда зрачками, начинающий алкоголик, еще сохранивший пока способность стыдиться самого себя.

Через пять минут они сидели на скамейке в истоптанном скверике, истово делили водку из зеленой поллитровки в граненый стакан, заблаговременно припасенный ржавомордым. Стакан был один, пили по очереди:

— Будьте здоровы!

От всего сердца, почти влюбленно.

Фадеев сразу же послал за второй бутылкой. И, опрокинув по второй, он заговорил, что жизнь становится «сквозно бессовестной». Говорил Фадеев с фадеевской искренней силой, которая пьянила самых трезвых, искушенных делала сентиментальными. Два случайных алкоголика — старый и молодой — слушали его, не понимали, но верили каждому звуку. Молодой не выдержал и воскликнул:

— Мать честна! Живешь среди свиней да вдруг наскочишь — какие люди бывают на свете!

Этого полупьяного признания было достаточно,— Фадеев поднялся и потребовал:

— Пошли!

Они продолжали в грязном, дымном ресторане Павелецкого вокзала. Там свалился старый алкаш и вместо

него подхвачен какой-то командированный. И уже кончились возвышенные речи, были только излияния:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Его любили и уважали здесь не за то, что знаменитый писатель, высокопоставленное лицо, просто так — «за натуру».

А в Правлении Союза легкий переполох: латиноамериканца должен принимать кто-то другой. И обзванивали членов секретариата: «Александр Александрович болен. Александр Александрович сегодня не может присутствовать. И завтра навряд ли...»

У Павелецкого вокзала они взяли такси и поехали за город, в Переделкино.

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Латиноамериканский писатель счел своим долгом вежливо осведомиться: какая болезнь свалила господина Фадеева? Ему любезно и скупо ответили: «Сердечная недостаточность». Совещание секретариата решили не откладывать. Жизнь продолжала течь по своему руслу.

А Фадеев выбросился из этой мутной реки на счастливый остров:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Так могло тянуться несколько дней, недель, целый месяц — в сплошном угаре любви и уважения.

Рано ли поздно угар проходит, надо снова окунаться в мутный поток неоскудевающей жизни, обессиленно отдаваться течению.

И телефонный звонок из Отдела культуры ЦК партии уже сторожил его:

— Александр Александрович, тут нужно бы уяснить нам с вами... Не выберете ли время?..

В высшем органе партии сидят вовсе не враждебные Фадееву люди. Фадеева дискредитирует сейчас малое — странное заступничество за Искина. Всем известно, что Искин друг и единомышленник Вейсаха, Вейсах осужден самим Фадеевым, так в чем же дело?..

— Александр Александрович, вы должны отмежеваться... и решительно!

А если он этого не захочет?!

Снова беги и выбрасывайся на счастливый берег?

Все равно рано или поздно приплывешь к тому же месту, откуда выбрасывался. Ты человек государственный, сам себе не принадлежишь.

Под дубовыми сводами тесного зала вновь собрались литераторы Москвы, прославленные и безвестные, пережившие самих себя и еще совсем незрелая мелкота, вроде нас, студентов Литинститута, сумевших просочиться в этот высокий ареопаг.

Фадеев сидел на председательском месте, во главе президиума, расправив широкие плечи, с высоко поднятой головой — величественный без спесивости, суровый без насупленности — вождь, не утративший демократической простоты. Мягкая седина, обрамлявшая красивый лоб, оттенялась строгим мраком парадного костюма, застенчиво искрилась блестка лауреатской медали на лацкане.

А собрание шло, как всегда,— возбужденно до неистовости. Выступающие потрясали кулаками над трибуной, а из зала неслись вопли: «Позор! Позор!!»

И по обычаю требовали — на трибуну! На лобное место! Чтобы лицезреть! Чтоб наслаждаться! Юлий Искин, сутулящийся под тяжестью головы, с несолидным носом ястребенка, еще не созревшего до хищника, мертвенно-бледный, вызвал у зала брезгливую жалость и чувство победности.

— Позор! Позор!!

Со всей благородной неистовостью.

Мой отец неукротимо верил в лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Всех стран, всех наций! И над моей кроватью когда-то висел плакат — негр, китаец и европеец под красным знаменем. И в моей школьной хрестоматии была тогда помещена «Гренада», поэма Михаила Светлова, который сейчас находится где-то здесь рядом, в ресторане, а может, даже и в самом зале.

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

В наших северных лесах как-то не водились евреи, мне чаще приходилось о них слышать, а не видеть, как о неграх, как о китайских кули, как и об испанцах... Я любил далеких евреев наряду с неграми. Позднее я столкнулся с ними и немного разочаровался — слишком уж обычны, не лучше меня, не несчастнее.

Что такое космополитизм?

И что такое интернационализм?

Как бы ответил на эти вопросы мой отец?

Отца нет — погиб на фронте, спросить не могу.

— По-зор! По-зор!!

Я не кричал вместе со всеми. Что-то меня останавливало.

Зал притих, когда Фадеев двинулся к трибуне. Что скажет? Как объяснит свою попытку спасти растленного космополита Искина?

Фадеев разложил на трибуне бумаги, нацепил очки и стал профессорски строг.

— Товарищи!..

Зал притих, зал внимал.

— Идеологическая диверсия... Люди без роду без племени — готовый материал для диверсантов... Учиться бдительности... Никто не гарантирован от благодушествования... Должен открыто сознаться... Искин! Один из первых комсомольцев, рабкор, вспоенный и вскормленный... Где и когда ты, Юлий Искин, продал родину?..

Зал аплодировал, зал воодушевленно вопил:

— Позор! Позор!!

На Тверском бульваре стояли синие сумерки, еще не зажглись фонари. Под ногами шуршал палый лист, и пахло почему-то мякинной пресностью давно сжатых полей. Бабье лето так затянулось, оно так устойчиво прекрасно, что становится даже не по себе — уж не перед страшным ли судом отпущена эта благодать в таком излишке?

Все ребята разбрелись кто куда. Те, у кого были хоть какие-то деньги, остались в ярко освещенном, шумном ресторане Дома литераторов. У кого в Москве были знакомые, укатили в гости. В нашем студенческом подвале сейчас пусто, praнивает плесенью и лежалым бельем, как в каптерке ротного старшины.

Парочки по-весеннему целуются на скамейках. Я выбрал скамейку, свободную от парочек, и уселся. Шаркая подошвами по палым листьям, двигались бесконечные прохожие. Вспыхнули фонари — матовые луны по ранжиру среди голых ветвей.

Рядом со мной опустился человек в кепке с длинным твердым козырьком, с узким лицом и ломко хрящеватым носом. И я сразу узнал его — тот самый пророк прохо-

жий, который рассуждал с нами о классовой ненависти. Я обрадовался: худо быть одному в населенном бульваре, где целуются парочки.

— Вы не помните меня?

Он не спеша с достоинством повернул в мою сторону свой угловатый нос под твердым, агрессивно выпирающим козырьком, сказал:

— Так ли уж важно — помню ли я, помните вы. Вам хочется услышать человеческий голос, мне — тоже. Поговорим.

— Хороший вечер, господин непомнящий.

— Вам хочется что-то спросить меня. Не стесняйтесь.

И я спросил:

— Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?

Он ответил почти любезно:

— Должно быть, тем же, чем голова от башки.

— Почему же тогда космополитизм осуждается?

— Действительно — почему? Белинский называл себя космополитом, и Маркс... Люди, пользующиеся у нас уважением.

— Ну, а сионисты, эта организация... Они не выдуманы, они на самом деле есть?

— Если были немецкие националисты, если есть русские, то почему бы не быть еврейским?

— Как-то вы всех в одну кучу.

— Несхожи?

— Нет.

— Комнатная болонка тоже не похожа на дога, но суть-то у них одна — собачья.

— Одна суть у немецких фашистов и у сионистов?

— И у наших русопятов тоже. Не выгораживайте. Все одной собачьей породы, только возможности разные. Если б сионисты были столь же крупны и зубасты, как германские нацисты, наверняка стали бы так же опасны для мира.

— Мы крупны... Мы, наверное, и зубасты...— произнес я, чувствуя, как подымается во мне враждебность к этому бесцеремонному человеку.

— То-то и оно,— не моргнув глазом, согласился незнакомец.— Известный ученый Лоренц как-то сказал: «Я счастлив, что принадлежу к нации, слишком маленькой для того, чтобы совершать большие глупости». Он был голландцем, ну а мы с вами — русские. Нас двести миллионов.

— Вы стыдитесь, что вы русский? — спросил я.

Он сидел, распрямившись, тощий, со взведенными хрупкими плечиками,— узкое лицо, скривленный нос, остро врезающийся в густую тень под козырьком, надежно укрытые глаза.

— Нет,— сказал он наконец.— Но боюсь... Боюсь, как бы не пришлось стыдиться.— Помолчал, ощупывая меня из мрака настороженным под козырьком взглядом, добавил: — Молодой человек, разве вы не видите, что на это есть основания.

Почуяв в доме беду, заплакала в соседней комнате Дашенька. Дина Лазаревна оставила Юлия Марковича одного.

В кухне, как всегда по вечерам, сидели Клавдия с Раисой друг против друга за чайником, за початым батоном.

Тихо...

Стряслось непонятное. Сорок семь лет прожил на свете Юлий Маркович, мимо него прошли тысячи людей, знаменитых и безвестных, талантливых и заурядных. Самым ярким из этих тысяч, самым достойным был Саша Фадеев. Сколько раз глядел на него со стороны и удивлялся: умен, талантлив, открыт душой, даже внешность его какая-то триумфальная, в ней — мужество, в ней — сила, в ней — простота, бывают же такие! Юлий Маркович как одним из самых больших достижений своей жизни гордился, что в числе первых разглядел Фадеева. И этот лучший из людей сегодня на глазах всех, без жалости, не терзаясь совестью... И ложь, ложь, грубая, наглая, бесстыдная! «Вспоенный, вскормленный, продал родину!..» Лучший из людей! Противоестественно! Безобразное чудо! Не хочется жить.

Зазвонил на столе телефон. Опять Вейсах?.. Ах, все равно, все равно! Он не станет ругаться с Семеном. И встречаться с ним тоже не станет. Зачем?..

— Я слушаю.

— Юлий... Выйди, пожалуйста... К памятнику Пушкина.

Щелчок. Трубку положили. Набегающие друг на друга гудки.

Не Вейсах, другой голос. И Юлий Маркович запоздало узнал — перехватило дыхание.

Голос Фадеева звал его.

Шли мимо прохожие. И один из прохожих в потасканном пальтишке, в кепке с длинным козырьком сидел передо мной.

Я переспросил его:

— Как бы не пришлось стыдиться?.. Чего?

— Того же, чего стыдится сейчас любой честный немец: газовых камер, рвов, набитых расстрелянными детьми, мыла, сваренного из человеческих трупов.

— Гитлер же со своей сволочью повинен, не нация. Отделяйте одно от другого,— сердито сказал я.

— Гитлеры-то, молодой человек, появляются не по божьей воле, их творит нация.

— Виновата нация, что Гитлер?..

— Да.

— Вся немецкая нация, весь немецкий народ?

— «Немцы — высшая раса»! И немцев от этого не стошнило, нравилось! Если вырастает вождь-убийца, значит, есть и питательная среда.

— Вы против народа?

— Народ свят и безгрешен? Ой нет, народ — всякое! Выплескивает из себя и светлое и мутное.

Шли мимо нас занятые собой прохожие.

Я глухо потребовал:

— Ну, дальше.

— Разве не все сказано?

— А разве только ради немцев вы вспомнили мертвого Гитлера?

Под твердым козырьком, словно зыбкая луна в омуте, поблескивал глубоко упрятанный глаз. Незнакомец приподнял вверх свою костлявую руку, словно держал в ней хрупкий бокал, заговорил с грузинским акцентом:

— «Я подымаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и... терпение». Не правда ли, подкупающая лесть: «И терпение...»

— Передергиваете, господин хороший,— возмутился я.— Разве свою нацию хвалит этот человек?

— Национализм не проявление родословных симпатий, молодой человек, а политика. И не забывайте, что Гитлер совсем не походил на классического арийца — белокурую бестию. Выкресты были наиболее злобными антисемитами. Почему бы грузину не стать великоросским шовинистом, когда это выгодно.

— Чем ему выгодно? Чем?!

— Твоя нация превыше всего, твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая.

— Она выгодна Сталину?

— Она выгодна недоумкам, у которых нет ничего за душой. Она выгодна всем обиженным и обойденным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтоб вырвать себе благополучие. Какой политик отказывался от силы?.. — Незнакомец сделал паузу и с улыбочкой добавил: — Тем более, что лозунг времен революции «Бей буржуев! Грабь награбленное!» сейчас стал небезопасен. «Бей жидов, спасай Россию» — надежней.

Я поднялся. Передо мной сидел тощий человек с костлявым лицом и немощными руками.

Шли мимо нас равнодушные прохожие.

Он сидел и бледненько улыбался. С этой невнятной улыбочкой он оплевал сейчас все — мою родину, ее великого руководителя, революционные лозунги, за которые воевал и погиб мой отец. Я прошел сквозь жестокие испытания. Я видел, как во время коллективизации выселяли мужицкие семьи — баб, детишек, стариков. Видел, как в пристанционном березнячке умирали от голода такие высланные, я помню, как по ночам исчезали соседи по дому... Видел и страдал, и недоумевал, но я выдержал, не треснул — верен родине, верен отцовским лозунгам! А этот тип рассчитывает — расколоть меня словом!

Бледненько улыбался пожилой человек на скамейке. Шли мимо прохожие.

— Уходи! — сказал я ему.

Я боялся, что он не послушается, не двинется с места, будет глядеть и улыбаться своей бледной, презрительной улыбочкой. И тогда мне придется его бить. Его, старого, жалкого, с шеей, похожей на петушиную лапу. Я возвышался над ним во всем величии своих двадцати пяти лет, чувствуя тяжесть разведенных плеч, налитость опущенных рук. Эх, если б не так стар и тощ был противник моего отечества!

— Ты слышишь?.. Проваливай!

Он понял и покорно встал, долговязый, в обвисшем пальто, под твердым козырьком зыбкий блеск упрятанных глаз. Он отвернулся, шагнул и остановился, задрал твердый козырек к фонарю.

— С кем?.. Кто?.. Кто живой?.. Пустыня! — сквозь стиснутые зубы скулящим стоном.

Я стоял праведным монументом.

Он толкнул себя с места, сутуля узкую спину, волоча ноги, двинулся прочь.

Шли прохожие.

Жив ли ты? Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец. Время заставило меня поумнеть. Теперь я сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются. Пытаюсь... И часто — ох, как часто! — меня не понимают даже самые близкие. И хочется скулить на фонари: «С кем?.. Кто живой?.. Пустыня вокруг!»

Прости меня.

Шли прохожие. Одни — от меня, в глубь вечернего города. Другие — навстречу, чтобы миновать меня и тоже исчезнуть в городской суетливой пучине. Возникают и исчезают, возникают и исчезают — прохожие, не замечающие моего существования.

Внезапно я вздрогнул: на меня двигалась пара...

Высокий человек в белом пыльнике, натянутом поверх темного костюма, как халат хирурга, в пролетарской кепочке на голове. А рядом с ним, парадно рослым,— невысокий, со скособоченными плечиками, из-под шляпы торчит гнутый, не вызревший до хищности нос.

Я не верил своим глазам: на меня рука об руку шли Фадеев и этот... Искин. Судья и преступник — вместе. Праведность и порок — плечо в плечо, в мирной беседе, среди гуляющей публики.

Они прошли мимо меня, совсем рядом. Мимо меня, увлеченные друг другом. До чего же странен мир!..

Сильная рука бережно держала Юлия Марковича за локоть. Знакомо ощущение этой дружеской руки. Лет двадцать тому назад они вот так же бродили ночами по московским бульварам, говорили о мировой революции, о жертвенности во имя ее. И цокали тогда по булыжнику подковы извозчичьих лошадей, и тенорами кричали лотошники, предлагая нехитрый товар: «Карамель из Парижа — «Нотр-Дам» для ваших дам! Леденчики — для младенчиков!»

Иные времена, иные речи, иной голос у Саши Фадеева, только рука на локте прежняя.

— Ты думаешь, Юлька, я шкуру свою хотел спасти, свой петушиный насест! Нет, не испугался бы встать перед всеми и сказать: очнитесь! Какой к черту космополит Юлька Искин! И ты ведь представляешь вопль вселенский, представляешь ярость. Добро бы, против меня, но ведь и против тебя, Юлька. В первую очередь против тебя! Троекратная, десятикратная ярость! Вспыхнул бы ты на ней, как мотылек в пламени. Поэтому и не встал грудью, что бесполезно. Лишнее масло лить в огонь.

— Это же страшно, Саша! Неправда, выходит, непобедима.

— Неправда, Юлька?.. Мы, видно, плохо еще представляем, какой пожар мы запалили. Пожар, уничтожающий дикий лес, чтоб вместо дикорастущих росли полезные злаки. В сжигающем нас огне, Юлька,— глубинная правда!

— Но почему нам гореть вместе с дикорастущими? Мы же этот пожар подпаливали. Он, выходит, уже не наш, неуправляем?

— А ты считаешь, что пожар должен служить нам и только нам? Да какое основание тебе, мне, кому-либо другому считать эту полыхающую революцию своей собственностью? Мол, пусть обжигает другого, а меня минует. Пусть Есенина, Маяковского, пусть Бабеля, гори они ярким пламенем, только не я.

— Революция выжигает своих!

— А вот в этом, Юлька, можно посомневаться.

— Саша, ты считаешь: я враг революции?

— Нет. Но и Есенин, и Бабель врагами революции не были, а были ли они ей своими? Сомнительно.

— Саша! Это бесчеловечно!

— А к нам, Юлька, наверное, человеческие мерки неприменимы.

— Как так?!

— Мы не люди, Юлька, мы солдаты, по трупам которых идут к победе. Люди будут жить после нас.

— После меня, Саша, будет жить моя дочь. Ей сейчас всего десять лет, но по ней уже шагают — дочь безродного космополита, сама безродная.

Фадеев не ответил.

Они дошли до памятника Тимирязеву, безобразного каменного столба, заканчивающего Тверской бульвар. Фадеев остановился, запустил кулаки в карманы пыльника — натянутая на лоб кепчонка, сведенные челюсти.

— Юлька...— произнес он,— ты, наверное, думаешь, что я подлец, коль так легко говорю о жертвах... Сам

в благополучии, в славе, в почете. Да, в славе, да, в почете! А все равно — жду, жду... огня под собой. Знаю: придет и мой черед. Даже чувствую — он близок.

— Я б хотел, Саша, чтоб с тобой такого не случилось,— сказал Юлий Маркович.

И снова Фадеев промолчал, сжимал в карманах кулаки и глядел вдаль через узкую площадь в смутные кущи Гоголевского бульвара — сведенные челюсти, натянутая кепчонка.

— Юлька... тебе, может, деньги понадобятся... Юлька, помни, я по-прежнему твой, несмотря ни на что.

— Спасибо,— обронил Юлий Маркович.

У Фадеева был неуверенный голос, и Юлий Маркович понял, что с этого вечера он свой Саше Фадееву только в темноте, только по ночам, при свете дня — они чужие. Понимал это и все-таки был благодарен за сочувствие.

Мы собирались спать. На этот раз спор на сон грядущий что-то не разгорелся в нашем подвале. Затронули Редьярда Киплинга:

Пыль! Пыль! Пыль от шагающих сапог!
И отдыха нет на войне сол-да-ту!

Но большинство знало Киплинга только по детским изданиям «Маугли». Не хватало дров для большого огня.

Посапывал в своем углу Тихий Гришка, горел свет под потолком. Кто-то должен встать, пробежать босиком по цементному полу до двери и щелкнуть выключателем. Кто-то... Каждый из нас подвижнически выжидал, что это сделает его сосед.

Неожиданно раздался громкий, требовательный стук в дверь. Никто не успел подать голоса, дверь резко распахнулась, показалась дремучая борода нашего дворника. Дворник посторонился, и один за другим с бодрой, даже несколько заносчивой решительностью вошли незнакомые люди — трое похожих друг на друга, как братья, в синих плащах и новеньких серых фуражках, четвертый военный с погонами майора.

— Ваши документы! — чеканный голос над моей головой.

Под серой плотно надетой фуражкой настороженные глаза, лицо молодое и по-деревенски обычное, с крутыми салазками, с твердыми обветренными скулами.

— Ваши документы! — столь же чеканно, но уже не мне, а моему соседу.

Испытывая острую беспомощную неловкость — неодетый перед одетым! — я с покорной поспешностью лезу из-под одеяла, тянусь к висящей на стуле одежде, суетливо в ней роюсь — нужен, наверное, паспорт, куда же я его сунул?

— Ваши документы!.. Ваши!.. — возле других коек.

Мой скуластенький терпеливо ждет. Но столько, оказывается, карманов в моей одежке! Путаюсь, попадаю трижды в один и тот же карман, не могу разыскать паспорта.

Неожиданно настороженность под козырьком серой фуражки погасла, скуластый заинтересованно повернулся в сторону.

Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги:

— Вы арестованы!

Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подсунутую к его лицу бумагу.

— Оружие есть?

Эмка бормочет каким-то булькающим голосом:

— Что же это?.. За что?.. Товарищи...

— Оружие есть?

— За что?.. Что же это?.. То-ва-рищи!..

— Одевайтесь. Собирайте свои вещи!

Эмка покорно выползает наружу, путается в брюках, еще не успев их как следует надеть, начинает выгребать из-под койки грязное белье, неумело его сворачивает. То самое белье, которое он раз в году возил стирать в Киев к своей маме.

— Да что же это?.. Я, кажется, ничего...

На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем.

Эмка натягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает на голову буденовку. С потным, сведенным в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:

— А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...

Он действительно вот уже целый месяц таскал всюду «Капитал» вместе с томиком стихов Блока, кричал, что глава о стоимости написана гениальным поэтом.

От неуместного признания лица гостей чуточку твердеют, что должно означать: пора! Один из штатских вежливо трогает Эмку за суконное плечо:

— Идемте.

— Можно, я прощусь?

— Пожалуйста.

Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям:

— Владик, до свидания. Сашуня... Володя...

Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку.

Фонарь с улицы светил в окно, освещал корешки книг на полке и большой медный барометр. Потайной шелестящий шепот в темноте:

— Дина, в случае чего ты не береги книги, ты продавай их. На книги можно прожить, Дина. Ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

— Дина, ты что?.. Ты плачешь, Дина... Не надо. Ведь ничего еще не случилось, может, ничего и не случится. Я просто на всякий случай. Дина, ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

Свет фонаря падал с улицы, на стене поблескивал большой медный барометр, упрямо показывающий «ясно».

Звонкая пустота заполнила наш подвал, набитый койками. Лампочка под потолком, казалось, стала светить яростнее.

Я все еще ощущал на щеке влажный Эмкин поцелуй. Как два куска в горле, застряли во мне два чувства: щемящая жалость к Эмке и замораживающая настороженность к нему. Нелепый, беспомощный, такого — в тюрьму: пропадет. А что, если он лишь с виду прост и неуклюж?.. Что, если это гениальный актер?.. Не с Иудой ли Искариотом я только что нежно обнимался? Влажный поцелуй на щеке...

— А я что говорил! — подал голос проснувшийся в своем углу во время ареста Тихий Гришка.— Талант — она штука опасная!

Кто-то равнодушно, без злобы ему бросил:

— Ты дурак.

— Я дурак, дурак, но ду-ра-ак! — напевное торжество в голосе Тихого Гришки.

Кажется, Владик Бахнов первый произнес короткий, как междометие, вопрос:

— Кто?..

Все перестали шевелиться, перестали смотреть друг на друга, молчали. Кто-то донес на Эмку. Кто-то из нас... Кто?

Яростно светила лампочка под потолком.

Юлия Марковича Искина арестовали в ту же ночь, только позже, часа в четыре. Звонок в дверь — трое в штатском, один в военном...

На следующий день нас удивил Вася Малов. Узнав об аресте Эмки Манделя, он побледнел и задышал зрачками:

— Вчера?.. Манделя?.. Эмку Манделя!..

И вдруг впал в неистовое бешенство:

— Кто эт-та сволочь?! Кто настучал?! Талант продали, гады!!

Вася Малов, человек с поврежденными немецким осколком мозгами, Вася Малов — гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делясь, страдальчески любил стихи Эмки...

Вася Малов умер сразу же после окончания института. От старой раны в голову. Умер в одиночестве, всеми забытый, окруженный ненавистью соседей по коммунальной квартире, которых он пугал своей дикой вспыльчивостью.

Александр Фадеев застрелился днем 13 мая 1956 года на своей даче в Переделкине. Сынишка вбежал наверх, чтобы позвать отца обедать, и увидел его лежащим на диване. И лужа крови на полу. И пистолет рядом на столике.

Примчался черный «ЗИС», товарищи в штатском, молодые энергичные люди, явились на место происшествия. В качестве понятых приглашены были соседи Фадеева, известные писатели, кажется Федин и Всеволод Иванов. Они-то позднее и рассказали, как один из приезжих товарищей поднял со столика письмо, лежавшее рядом с пистолетом, вслух прочитал на конверте: «В ЦК

КПСС»... и опустил в карман. Никто этого письма больше не видел. Что в нем, миру неведомо.[1]

Но какой-то ответ Фадеев на него получил.

Через два дня в газетах было опубликовано: «Центральный Комитет КПСС с прискорбием извещает...» И к этому «прискорбному извещению» было приложено так называемое *«Медицинское заключение о болезни и смерти товарища Фадеева Александра Александровича».*

Документ этот краток и выразительно откровенен:

А. А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом. За последние три года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени. Он неоднократно лечился в больнице и санатории (в 1954 году — 4 месяца, в 1955 году — 5 1/2 месяцев и в 1956 году — 2 1/2 месяца).

13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством.

Доктор медицинских наук, профессор
Стрельчук И. В.
Кандидат медицинских наук Геращенко И. В.
Доктор — Оксентович К. Л.
Начальник Четвертого управления Минздрава СССР
Марков А. М.

14 мая 1956 г.

Итак, Фадеев — алкоголик, запойный пьяница, в «очередном приступе недуга», то есть по пьянке, покончил с собой.

Был ли еще такой случай в истории, чтоб официальное сообщение провозглашало: причина смерти достойного человека — пьянство? Наши же официальные сообщения никогда не грешили неосмотрительной откровенностью. Конечно, не некие Стрельчук, Геращенко, Оксентович на свой страх и риск дозволили широковещательно оскорбительный попрек в пьянстве лежащему в гробу Фадееву.

Накануне Фадеев весь вечер просидел у Юрия Либединского, пил чай, был угнетен, говорил лишь на одну тему. Какая трагическая судьба у писателей в России — Пушкин и Лермонтов, Есенин и Маяковский, Бабель и Мандельштам... И многих из тех, кто умер в постели, можно считать тоже убитыми. Фадеев называл Бориса Горбатова — умер

---

[1] Предсмертное письмо А. А. Фадеева опубликовано в еженедельнике «Гласность» № 15 от 20 сентября 1990 года. *(Н. А.)*

от инфаркта, но перед этим у него посадили отца, жену, сам он ждал с минуты на минуту звонка в дверь.

Юрий Либединский написал об этом разговоре статью, разумеется, она так и не увидела свет.

Нет, трезвой рукой направил на себя пистолет Александр Фадеев. И все-таки открытым текстом: «страдал тяжелым... алкоголизмом», перечислено даже, когда именно лечился... Зачем? С какой стати?.. Ответ один — письмо! За пять минут до смерти Фадеев взбунтовался.

Но как-никак бунт-то пятиминутный, нельзя же за эти пять непокорных минут перечеркнуть всю добропорядочную жизнь Александра Фадеева: напротив, следовало показать — верный, преданный, послушный сын, достойный скорби. И гроб с телом Фадеева устанавливается в Колонном зале Дома союзов, к нему открыт доступ трудящимся для прощания. На этом месте трудящиеся прощались с Лениным, прощались со Сталиным. Редчайшие покойники удостаиваются такой чести. Из Колонного зала обычно один путь — на Красную площадь, если не в сам Мавзолей, то уж рядышком — под Кремлевскую стену. Обычай нарушен — обозвав алкоголиком, оказав редкий почет, Фадеева везут хоронить на Новодевичье кладбище, где обычно и хоронят писателей такого ранга. Инцидент исчерпан — квиты.

В тот год началась широкая реабилитация политических заключенных. Без оркестров, без митингов, без цветов, тихо, скромно, потаенно встречала Москва тех, кого в тридцать седьмом и сорок восьмом она отправляла в Анинск, на Колыму, в Воркуту.

А неподалеку от Лубянки в общественной уборной бывшие службисты Берии запирались в кабинках, доставали пистолеты, умирали над унитазами. Они верили — за страшные дела их ждет страшное возмездие. Палачи тоже могут быть сентиментально наивными.

В тот год вернулся в Москву и Эмка Мандель. Через восемь лет после ареста. Он скоро стал поэтом Коржавиным. И Краткая Литературная Энциклопедия приняла его в свои объятия:

> КОРЖАВИН Н. (псевд.; наст. имя — Наум Моисеевич Мандель; р. 14.X.1925, Киев) — рус. сов. поэт. Окончил горный техникум в Караганде... Стихам К. свойственны гражданственность и филос. лиризм...[1]

[1] Эмигрировал в США в 1972 г.

С Юлием Марковичем Искиным я познакомился в Малеевке — писательском Доме творчества. Вечерами мы предавались там воспоминаниям.

С сивой от седины шевелюрой, рыжими недоуменными бровками, скорбной складочкой в блеклых губах, он тихим голосом повествовал о том, чего я не знал.

Сейчас Юлий Маркович живет в новой квартире на проспекте Вернадского. Старую квартиру на Большой Бронной по-прежнему занимает Раиса. У нее семья — муж и двое детей. Тетя Клаша вынянчила внуков и... недавно вернулась к Искиным. Дашенька вышла замуж, родила сына. Тетя Клаша не может жить, чтоб кого-то не нянчить.

И Юлий Маркович хвалит ее с теплотой в голосе:

— Все-таки редкой души... Самозабвенна...

О Фадееве же он отзывается более горячо, почти со слезами на глазах:

— Нет, нет! Александр Александрович — честнейший человек, трагическая личность. Он — жертва, никак не преступник. Боже упаси вас думать о нем плохо!

Наверное, так оно и есть. Не осмелюсь спорить. Не думаю плохо.

Однако кроткий Юлий Маркович обвиняет других: Раису, секретаря парткома, который слабодушно развел руками: «Не могу» и... того, кого величали гением человечества, отцом и учителем, светочем эпохи.

— Историю, знаете ли, делают личности.

Пакостят историю личности? И только-то? Не слишком ли это просто? Нет ли более глубокой причины?..

Но стоп! Это отдельный большой разговор. Никак не мимоходом.

Документальная реплика.
Документ, вырвавшийся из канцелярии М. В. Келдыша.

Президенту АН СССР академику М. В. Келдышу.
Резолюция академика
Келдыша: *«Ознакомить».*

За последнее время я неоднократно сталкивался с распространяемыми обо мне среди членов отделения философии и права Академии наук СССР утверждениями, будто я скрываю свою подлинную национальность, поскольку я якобы являюсь в действительности «польским евреем». Я мог бы игнорировать эти слухи, если бы не то обстоятельство, что они находятся в прозрачной

связи с фактом выдвижения меня в кандидаты на избрание в члены-корреспонденты Академии наук СССР.

Указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер, и они никоим образом не соответствуют фактам. А последние таковы.

Я родился 18 ноября 1920 года в г. Моршанске Тамбовской области. Мой отец Нарский Сергей Васильевич — русский, командир Красной Армии. После демобилизации в 1920 году работал на различных счетных должностях и умер в Моршанске в январе 1941 года, где он в 1896 г. и родился.

Родители моего отца...

(Из сострадания к читателю опускаю подробнейшие перечисления родителей отца и матери автора сего послания не только по мужской и женской линии, но и по боковым ветвям — упомянуты даже престарелые тетки, проживающие в Моршанске и Москве. Особый упор автор делает на фамилии, со скрупулезной точностью указывая, какие были в девичестве, какие в замужестве, чтоб, не дай бог, не возникло сомнение — не прокрался ли в родню чужекровный выходец из Палестины. Нельзя не признать, что все без исключения фамилии не вызывают никакого сомнения в чистоте породы — Ковритины, Шолоховы, Третьяковы... Что же касается собственной фамилии автора «Нарский», то она «представляет собой изменение исходной фамилии «Нарских», которую носили предки Василия Андреевича (деда автора.— *В. Т.*), выходцы из Сибири, прежде проживавшие в районе реки Нара».)

Акты гражданского состояния по г. Моршанску и Моршанскому уезду,— пишется далее,— насколько мне известно, в период Отечественной войны не эвакуировались и не уничтожались.

К сказанному могу добавить, что в свойственном мне хорошем знании нескольких иностранных языков (кроме польского, я владею другими славянскими, не говоря уже об основных западноевропейских языках) не вижу для советского ученого ничего предосудительного или «подозрительного». Что касается именно польского языка, то он был изучен мною в 1945—1946 гг.,

когда по долгу моей службы в советской разведке я находился и работал на польской территории. Эта моя работа отмечена правительственными наградами, в том числе несколькими орденами.

Я прошу ознакомить с настоящим заявлением членов отделения философии и права АН СССР. В случае, если Вы сочтете мое письмо неудовлетворительным, прошу назначить расследование.

Доктор философских наук, профессор МГУ, старший научный сотрудник АН СССР (по совместительству)

И. С. Нарский

10 октября 1970 г. Москва.

Хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства:

Знаменательно, этот документ появился спустя 20 (!) лет после кампании борьбы с безродными космополитами. «Жив, жив курилка!»

Автор не просто профессор прославленного Московского университета, а явно преуспевающий. Не каждый-то профессор МГУ рассчитывает стать членом-корреспондентом Академии наук.

Напористое требование ознакомить членов отделения философии и права со своей столь непорочной родословной вызвана, думается, не только непроходимой глупостью, характерной для любого националиста. Не случайна тревога, столь откровенно звучащая в письме. Возможно, Нарский знал, каких взглядов «на чистокровность» придерживаются ученые, которые представляют в АН философию и право. Не это ли заставило его бояться обвинений в еврействе?

Впрочем, принятые предосторожности не помогли. Академики не избрали Нарского в членкоры. Ему осталось только сетовать на происки сионистов.

Август — ноябрь 1971 г.

На блаженном острове коммунизма

Слепая Фемида изощренно пошутила, предоставив Хрущеву расправиться со Сталиным. Судьей палача стал человек, которого Сталин считал шутом.

Сталина я видел всего лишь раз в жизни — 7 ноября 1945 года, проходя среди многих и многих людских тысяч по Красной площади мимо Мавзолея. Помню: поразили меня его маленький рост — вдавлен в трибуну по самую фуражку с твердым околышем — и бескостно-дряхлый жест дедовской руки, вызывавший вулканический рев обезумевшей от восторга площади. Разумеется, и я обезумевше вопил вместе со всеми...

Хрущева же я видел и слышал много раз, издалека и достаточно близко, хотя лично, увы, не беседовал, не был допущен до рукопожатия.

Одна встреча, право же, стоит того, чтоб поведать о ней. Я тогда удостоился чести провести день в коммунизме. Да, да, в том усиленно обещанном, шумно прославляемом коммунизме, попасть в который никто из здравомыслящих граждан нашей страны давным-давно уже не рассчитывает.

1

15 июля 1960 года. Мне позвонили из Правления Союза писателей:

— Просим зайти завтра в течение дня. Очень важное дело.

А так как Союз писателей, надо отдать ему должное, делами меня не обременял, тем более важными, то я послушно заехал на улицу Воровского. Там мне вручили

конверт с праздничного вида билетом на лощеной бумаге, заставили расписаться.

В билете значилось, что товарищ Тенков В. Ф. с супругой приглашаются на встречу руководителей партии и правительства с деятелями науки и культуры, просьба прибыть в 9 часов утра. На обратной стороне билета — схема маршрута: по Каширскому шоссе, поворот на сто двадцатом километре, к совхозу «Семеновскому»...

— Место в машине для вас оставить? — спросили меня.

Я пожелал остаться независимым:

— У меня своя машина.

У меня был видавший виды «Москвич», который я мыл в году раза по два — по вдохновению или ради какого-нибудь исключительного случая вроде техосмотра. Встреча с правительством — случай тоже из ряда вон выходящий, и я мысленно дал себе слово помыть машину.

Но не сдержал его: в тот день домой вернулся ночью, а утром встал, когда стрелки часов перевалили за восемь, где уж тут мыть машину, сломя голову надо нестись, чтоб если и опоздать, то не безбожно.

Я влез в свой единственный светлый костюм, вместе с женой сбежал к своему неумытому «Москвичу», ринулся через Москву к Каширскому шоссе.

Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмешишь... У меня вечные нелады со столь мудрыми остережениями, а потому на выезде из Москвы коварно спустил баллон. И я, скинув свой светлый, но удушающе плотный, жаркий, что мужицкая поддевка, пиджак, кляня норовистую машину, правительственную затею, самого себя и ни в чем не повинную жену, принялся на солнцепеке менять заскорузлое от грязи колесо. А мимо по шоссе скользили, отливая безупречной полировкой, черные «ЗИЛы» и монументальные «Чайки» — еще не примелькавшаяся новинка тех лет,— все они, разумеется, спешили туда, куда спешил и я.

Наконец колесо поставлено, багажник захлопнут, руки наспех вытерты тряпкой — вперед! Я выжимал из своего неумытого все, что тот мог дать, не особенно считался с дорожными знаками, выскакивал на левую сторону, держа наготове пригласительный билет на лощеной бумаге. Если только милиция остановит, сразу под нос обезоруживающий документ: глядите, спешу не к теще в гости, вам надлежит не осуждать, а хвалить меня за рвение. Шоссе было густо заставлено милицией, чуть ли не на каждом километре посты, но, должно быть, они по

слишком откровенному нахальству, с каким я нарушал правила, догадывались о приготовленном для них лощеном билете и лишь провожали меня осуждающими взглядами. И уж только когда я совершил вовсе недопустимое — у железнодорожного шлагбаума по левой стороне обошел черные лимузины и бесцеремонно подставил бок «Чайке»,— ко мне подошел представитель милиции с погонами подполковника и скорбно-осуждающим лицом. Он даже не попросил у меня водительские права, даже не спросил меня, куда это я так рвусь, даже лощеный билет, увы, не понадобился. Подполковник всего-навсего укоряюще сказал:

— Нельзя же так. Можете аварию устроить. Нехорошо.

И затронул лучшие струны моей души, заставил искренне устыдиться. Я и дальше продолжал гнать своего неумытого, но старался уже не нагличать.

Неожиданно я почувствовал, что шоссе вокруг меня пусто, трясется впереди лишь расхлябанный грузовичок — ни черных лимузинов, ни гордых «Чаек» с золочеными хвостами... И я понял, что переусердствовал — проскочил заветный поворот, указанный на обратной стороне билета. Пришлось разворачиваться...

Стандартный кирпич на обочине, запрещающий произвольный проезд, нитка асфальта через поле к раскинувшейся хвойной купе.

Наш «Москвич» оказался в очереди машин перед четырехметровым сплошным забором, выкрашенным в стандартную солдатски-зеленую краску.

Молодцеватые военные с голубыми околышами и петлицами заулыбались, когда после сияющих «ЗИЛов» и «Чаек» подрулил я. Через опущенное стекло было слышно, как один проницательно заметил другому:

— Гляди — частник приехал!

Я показал им приготовленный билет, они мне с подчеркнутой вежливостью откозыряли, и я въехал под сень соснового леса, недоуменно оглядываясь — где же тут можно приткнуться? Узенькая — на ширину одной машины, не больше — асфальтовая стежка привела к асфальтовому пятачку, и к нам двинулся молодой человек.

Он был высок, плечист, гибок, он не шагал по земле, он скользил по ней, темный костюм на нем, облегающий широкую грудь и тонкую талию, лишь на локтевых сгибах собирался в скупые, почти музыкальные складки. И голова его курчавей, чем у Пушкина и Василия Захар-

ченко, и лицо правильное, мужественное, способное выражать лишь открытую доброжелательность. Он без всякого содрогания положил свою сильную руку в немнущемся рукаве с высовывающейся ослепительной полоской манжеты на ручку давно не мытой дверцы, с силой распахнул ее, пророкотал моей жене:

— Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу вас.

И жена, смущенная его великолепием, его рыцарской услужливостью, вылезла из неумытого «Москвича» на священный асфальт. Встречающий с силой захлопнул дверцу, небрежно махнул мне рукой:

— А ты поезжай! Поезжай дальше.

Вот те раз!..

Впрочем, моя особа всегда почему-то вызывает недоверие у швейцаров и официантов. Швейцары меня стараются не пустить за порог, официанты же меня с ходу предупреждают, что пиво в их заведении стоит дороже, чем в пивном киоске напротив.

Однако недоразумение сразу раскрылось, наш встречающий рассыпался в извинениях и все же настойчиво предложил ехать дальше. Жена, только что ступившая на землю обетованную, вновь залезла в машину, и мы покатили по узкой дорожке — дальше, в глубь леса.

Неожиданно лес оборвался. Мы выехали за ворота, мимо военных с голубыми петлицами — в поле, под ослепительно синее небо, на жестокий солнцепек. По обеим сторонам дороги на обочинах тесно стояли машины, и я понял, что пересек границу, где царствует дух гостеприимства и доброжелательности, вновь попал в места с волчьими законами, где рви — не зевай!

«ЗИЛы» и «Чайки», «Чайки» и «ЗИЛы», сияющие черным лаком, светлым, промытым стеклом, горящие начищенным никелем. Возле каждой машины развалился на солнышке шофер. Все они, как и их машины, похожи друг на друга, стандартны — тучные, распаренно-красные, ленивые. Даже на расстоянии чувствую их презрение к себе — странный тип, забравшийся в столь ослепительное общество на потасканном и до безобразия неопрятном «москвичишке».

Подавленный их сановитым презрением, я ехал и ехал, растерянно и безнадежно приглядываясь — не откроется ли в сиятельных рядах щель, куда можно втиснуться. Нет, не открылась. Я проехал с добрый километр, пока сплошные шеренги машин не кончились, не открылось чисто-поле. И тут-то я развернулся и поставил своего неумытого на то

место, какого он был достоин,— на самых задворках великолепного становища.

Я закрыл машину, переглянулся с женой:

— Пошли?

— Пошли.

И пошли мы, солнцем палимы, вновь вдоль блистательных рядов, под презрительными взглядами вельможной шоферни. Набравшее лютую силу солнце, взгляды, светлый костюм, в котором, пожалуй, можно и зимой гулять без пальто, с каждым шагом все больше и больше накаляли меня. Сначала тихо, затем все громче и громче я начал кипеть, проклиная все на свете — яркий день, безоблачное небо, сытых олухов на обочине, затею со встречей у черта на куличках. И пот стекал по спине под светлым пиджаком, и хотелось пить...

Дорога впереди пересекала мелкий овражек, за мостиком с легкими перильцами уже маячили ворота в зеленом заборе, военный возле него. Еще немного... Но как хочется пить!

Совсем неожиданно прямо из-под мостика выскочил — эдакий ванька-встанька! — человек в соломенной шляпе, застыл в недоуменной стоечке, спросил тенорком:

— Вам куда?

— Как — куда? — удивился я.— Сюда! — кивнул на ворота.

Объяснение не очень-то вразумительное, но на большее я был уже не способен. Однако...

— Пожалуйста! — Соломенная шляпа с готовностью нырнула под мост.

До ворот оставалось каких-нибудь пятнадцать шагов, когда я вдруг похолодел под своим жарким пиджаком.

— Послушай, а билет?..

Билет остался в машине у ветрового стекла.

Военные откозыряли, участливо выслушали меня, пожали офицерскими погонами:

— Не можем.

— Вы понимаете, что только идиот стал бы рваться сюда без билета. Он у меня есть — поверьте. А топать туда и обратно по такой жарище — сдохнем.

— Верим. Сочувствуем. Но не можем.

Я видел, что они верят мне, и сам прекрасно их понимал — впустить меня, пока я не махну перед ними кусочком лощеной бумаги, значит свершить самое тяжкое преступление, какое только для них возможно, значит признать ненужность и бессмысленность своего существования. И я стоял перед военными запаленно жалкий,

потный, убитый, решал — не плюнуть ли мне на всю эту затею, не совершить ли рейд по солнцепеку, не развернуть ли своего неумытого носом к дому... Право же, военные были славные ребята — сочувствовали.

Вдруг один из славных ребят вгляделся в сторону, махнул рукой, властно крикнул:

— А ну сюда!

Подкатила странная машина, пожалуй, даже более странная, чем мой «Москвич» — дряхлая «Победа» и тоже давно не мытая, пропыленная. За ее рулем сидел уныло носатый человек наглядно иудейского вида.

— Возьмешь этих товарищей, довезешь до их машины, привезешь их обратно. Ясно?!

— У меня кардан...

— Тебе сказано: свозишь товарищей туда и обратно! Ясно?.. Садитесь, пожалуйста.

И мы, преисполненные благодарности, влезли в душную, пыльную, пахнущую чем-то кислым «Победу». Едва тронув с места, носатый начал брюзгливо жаловаться:

— У меня кардан разваливается... И на одной подвеске езжу... До гаража не доберусь...

Мы слушали, виновато молчали, но ехали мимо выстроившихся парадных машин, мимо возлежащих шоферов.

Билет упал с ветрового стекла вниз, и пока я его поднимал, «Победа» вместе с носатым водителем бесследно исчезла.

И снова мы, солнцем палимые,— мимо, мимо... Как хочется пить! Пригласительным билетом прикрываю накаленную макушку. Я уже никого не кляну, не ругаюсь, киплю в себе, боюсь взорваться.

Наконец-то заплетающиеся ноги доносят нас к мостику с перильцами — уже теперь близко!

Из-под мостика бодренько выскакивает человек в соломенной шляпе — Сивка-Бурка, вещая Каурка:

— Вы куда?

Меня прорвало:

— А ты чего — не видишь? Второй раз мимо проходим! Зачем тебе только деньги платят!

Плечи Сивки-Бурки опустились, руки упали, морщинистое лицо смятенно вытянулось под шляпой.

— А что вы обижаетесь? — Тонким тенорком с жалобной беззащитностью: — Ведь я же на работе.

И нырнул под мост.

Я сегодня второй раз почувствовал угрызение совести: в самом деле, виноват ли он, если приходится зарабатывать

хлеб такой странной службой — под мостом? А потом я здесь гость у высоких хозяев, значит, барин, мне легко его обложить по-барски...

Но особо рефлексировать некогда, мы уже приблизились к распахнутым воротам. Я взмахиваю волшебным билетом — сезам, откройся! — мне почтительно козыряют, и мы перешагиваем заповедную черту.

На нас сразу ложится благостная тень. И шум хвои над головой. И прохладный, смолистый, ласково обнимающий воздух. Иной мир.

Я хочу пить, я умираю от жажды...

Едва я мысленно произнес эти слова, как сразу же, словно по щучьему велению, увидел перед собой бегущий средь деревьев ручей, прямо в нем, утопая в струях ножками, — стол, под столом из воды торчат горлышки бутылок — боржом, ессентуки, ситро, на выбор. За столом дородная, краснощекая, улыбчивая девица в жестко накрахмаленном кокошнике звенит тонкими фужерами, разливает воду, и пузыри мечутся за отпотевшим стеклом.

Я ринулся к столу, встал за спиной еще одного жаждущего, готовый с привычной воинственностью отшивать тех, кто полезет без очереди. Но сказочная боярышня уже тянет мне наполненный фужер, улыбается.

Вода холодная, впитавшая родниковую свежесть ручья.

— Ох, спасибо!.. Если можно — еще.

— Пожалуйста.

И новый запотевший фужер, и новая улыбка.

— Спасибо...

— Вам еще?

— Хва-атит.

Я лезу в карман за мелочью, на меня все смотрят с насмешливыми, но вовсе не обидными улыбками — то-то простота.

И я понял, куда я попал. Какие тут деньги! Здесь все бесплатно — смолистый воздух, охлаждающая вода, доброта румяной девицы в кокошнике и журчание ручья.

2

В глубоком детстве, еще до школы, мы услышали фразу: «Коммунизм на горизонте!»

Горизонт, как известно — кажущаяся, но не существующая линия, которая неизменно удаляется при приближении. Мы шли к коммунизму, коммунизм удалялся от нас.

А что, собственно, это такое — коммунизм? Как он должен выглядеть?

Мы всегда скудно жили — плохо питались, некрасиво одевались, очереди в магазинах и коммунальные многосемейные, удушающе тесные квартиры были нормой нашего быта, а потому и вожделенный коммунизм нам представлялся не иначе как некий жирный кусок, которого с избытком хватает на всех — ешь не хочу!

Карл Маркс высмеивал такое потребительское понимание, называл его коммунизмом ложки. Он бросил миру формулу: «От каждого — по способностям, каждому — по потребности». Подозрительно благостна она и туманна. И нет никого, кто более толково бы объяснил коммунизм. Последователи ограничивались лишь заверениями о пришествии: «На горизонте!»

Нужно ли удивляться, что неискушенное большинство определяет для себя коммунизм по внешнему, но весьма зримому признаку: существуют деньги в обиходе — нет его, коммунизма, будут трижды проклятые деньги похерены — пришествие совершилось.

С меня не взяли денег за минеральную воду, не возьмут их и за торжественный обед, который несомненно ждет меня впереди. Кошелек в моем кармане сегодня — самая не нужная для меня вещь.

3

— Если вам хочется выкупаться, то пожалуйста...

Какой-то старожил коммунизма, прибывший сюда на полчаса раньше меня, успевший уже оглядеться и освоиться, произнес эту фразу.

Черт возьми! Предложения рождаются раньше, чем возникают желания. Я вдруг почувствовал, насколько липко мое тело, как разъедает кожу соль, какое бы наслаждение окунуться сейчас, но...

— Кто же знал, что на встречу с правительством следует захватывать с собой плавки.

— Э-э, не беспокойтесь, там дают плавки... с поклончиком. Вот по этой дорожке выйдете на берег озера, увидите в стороне две будочки — купальни, мужская и женская... И в лодочке ежели желаете покататься, тоже пожалуйста.

Внимание к личности столь велико, что ничего не остается как покориться — для собственного же блага и удовольствия.

Атлетически сложенные юноши, эдакие простецкие, на русский лад, Аполлоны и Меркурии, выкручивали и раздавали мокрые плавки. Впрочем, тут-таки произошла досадная неувязочка — плавок на всех желающих, однако, не хватило, мне достались трусы, только что кем-то использованные, но зато добросовестно выжатые.

Просторный пруд раздвинул сосновый лес, берега натуральные, с травкой, с осокой, не забраны в казенный камень. Правда, вокруг широкого пруда — асфальтированные дорожки, скамеечки и деревянные стойки, услужливо предлагающие бамбуковые удочки. И рыбаков на сей раз что-то не видно...

В прошлую встречу деятелей культуры и правительства на берегах водоемов через каждые десять — пятнадцать шагов застывшие рыбаки с удочками. Константин Георгиевич Паустовский, сам вдохновенный рыбак, рассказывал мне, как он по простоте душевной подсел к одному и без задней мысли полюбопытствовал:

— Как клюет?

Рыбак молчал и взирал на неподвижный поплавок с каменным лицом.

— А на что вы тут ловите? На мотыля или на червя?

Ни слова в ответ... И тут-то до Паустовского дошло: рыбака интересует не та рыбка, что плавает в воде, и, должно быть, ему дана строгая инструкция — в разговоры не вступать.

Сейчас берега свободны, инструктированных рыбаков нет, а гости не интересуются удочками.

У купальни оживление, и вокруг меня все знакомые лица, я словно попал в некий филиал Московского отделения Союза писателей. Алексей Сурков вытряхивает из штанины муравья и, морщась, жалуется:

— Ест поедом, сатана, словно озверевший критик.

— Наберитесь терпения — он правительственный,— осмеливаюсь посоветовать я.

Сурков смеется. Когда он не выполняет высокие секретарские обязанности, с ним можно шутить, и даже вольно.

Чуть в стороне, сосредоточенно посапывая, не спеша облачается искупавшийся Леонид Леонов. А в воде под берегом происходит встреча — Валентин Катаев, нагоняя волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко улыбающуюся физиономию Доризо и громко сетует:

— Стоило ехать за сто с лишним километров, чтоб узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу!

Погруженный в воду Николай Доризо улыбается в ответ с приятной, обезоруживающей невозмутимостью.

На отдалении сидит налитой розовым соком человек — при галстуке, в белоснежной сорочке, отутюженных брюках, волосы сухие, значит, не купался и, похоже, не собирается, просто отдыхает. Совсем еще недавно он был скромным сотрудником «Комсомольской правды»... Алексей Аджубей, зять Хрущева! Мы как-то однажды нечаянно познакомились, даже чокались за столом за здоровье друг друга, сейчас старательно смотрим в разные стороны. Он, мнится мне, ждет, что я непременно уловлю — уж постараюсь! — его взгляд и услужливо поздороваюсь. Но он здесь хозяин, я же — гость, его долг замечать и привечать. И я, нарядившись во влажные правительственные трусы, лезу в воду, так и не замеченный Аджубеем, делая вид, что в свою очередь не замечаю его.

И вот я, освеженный, всем довольный, гуляю под сенью сосен, встречаю знакомых, с одними чинно раскланиваюсь, с другими останавливаюсь поболтать.

Все предупредительно вежливы друг с другом, на лицах разлита тихая пасхальная благость, каждый подавлен кротостью, готов забыть обиды, любить врагов, «Христос воскресе», да и только. Вот-вот дойдет — Эренбург облобызает Грибачева, а я со слезами умиления обнимусь с Кочетовым.

Однако нельзя долго пребывать в состоянии некой блаженной невесомости, когда от умиротворения «в зобу дыханье сперло», невольно переводишь дух и опускаешься на грешную землю. Я вдруг представил, что так вот гулять по асфальтовым дорожкам, под хвойной тенью придется целый день, до вечера, до обещанного обеда и торжественных речей. И невольно зашевелилась крамольная мыслишка: «А в этом коммунизме того... скушновато, право».

Но еще не появилось правительство. Оно-то должно внести какое-то разнообразие.

4

Это была уже вторая встреча с правительством. На первую я не удостоился чести быть приглашенным, а жаль — она потрясла очевидцев.

Хрущев тогда во время обеда, что называется, стремительно заложил за воротник и... покатил «вдоль по Питерской» со всей русской удалью.

Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь с чинами и авторитетами, мимоходом изрекая сочные сентенции: «Украина — это вам не жук на палочке!..» И острил так, что, кажется, даже краснел вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Молотов.

Затем Хрущев огрел мимоходом Мариэтту Шагинян. Никто и не запомнил — за что именно. Просто в ответ на какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо престарелой писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та строптиво оскорбилась: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!» И демонстративно покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус, принялась хулить шоферам правительство. Что, однако, никак не отразилось на ходе торжества.

Крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идейности в литературе — «лакировщики не такие уж плохие ребята... Мы не станем цацкаться с теми, кто нам исподтишка пакостит!» — под восторженные выкрики верноподданных литераторов, которые тут же по ходу дела стали указывать перстами на своих собратьев: куси их, Никита Сергеевич! свой орган завели — «Литературная Москва»!

Альманах «Литературная Москва» был основан инициативной группой писателей, формально никому не подчинялся, фактически был полностью подчинен, как и все печатные издания, капризам цензуры, тем не менее пугал независимостью. Казакевич, общепризнанный инициатор, на этот раз почему-то избежал особого внимания, весь свой монарший гнев Хрущев неожиданно обрушил на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими участвовала в выпуске альманаха.

— Вы идеологический диверсант! Отрыжка капиталистического Запада!..

— Никита Сергеевич, что вы говорите?.. Я же коммунистка, член партии...

Хрупкая, маленькая, в чем душа держится, Алигер — человек умеренных взглядов, автор правоверных стихов, в мыслях никогда не допускавшая какой-либо недоброжелательности к правительству,— стояла перед разъяренным багроволицым главой могущественнейшего в мире государства и робко, тонким девичьим голосом пыталась возражать. Но Хрущев обрывал ее:

— Лжете! Не верю таким коммунистам! Вот беспартийному Соболеву верю!..

Осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник Петербургского кадетского корпуса, автор известного ро-

мана «Капитальный ремонт», усердно вскакивал, услужливо выкрикивал:

— Верно, Никита Сергеевич! Верно! Нельзя им верить!

Хрущев свирепо неистовствовал, все съежились и замерли, а в это время набежали тучи, загремел гром, хлынул бурный ливень. Ей-ей, сам господь бог решил принять участие в разыгрывавшейся трагедии, неизобретательно прибегая к избитым драматическим приемам.

Натянутый над праздничными столами тент прогнулся под тяжестью воды, на членов правительства потекло. Как из-под земли вынырнули бравые парни в отутюженных костюмах, вооруженные швабрами и кольями, вскочили за спинами правительства на ограждающий барьер, стали подпирать просевший тент, сливать воду — на себя. Потоки стекали на их головы, на их отутюженные костюмы, но парни стоически боролись — самоотверженные атланты, поддерживающие правительственный свод. А гром не переставал греметь, а ливень хлестал, и Хрущев неистовствовал:

— Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам!..

Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла вытянувшись и уже не пыталась возражать.

Гости гнулись к столам, поеживались от страха перед державным гневом и от струек воды, пробивающихся сквозь тент,— атланты оберегали только правительство. И смущенный Микоян услужливо угощал ближайших к нему гостей отборной клубникой с правительственного стола. И Соболев неустанно усердствовал:

— Нельзя верить, Никита Сергеевич! Опасения законные, Никита Сергеевич!..

Жена, дама в широкополой шляпе, с ожесточенным лицом дергала мужа за рукав и нашептывала. И муж внял, обиженно засуетился:

— Ведь я, Никита Сергеевич, имею право на уважение, но вот никак... никак не могу добиться, чтоб мне дали... гараж для машины.

Жена с удовлетворенностью закивала широкой шляпой.

А гром продолжал раскалывать небо, мокрые атланты возвышались с вознесенными швабрами. Затерянный среди гостей Самуил Маршак с бледным, вытянутым лицом время от времени сдавленно изрекал:

— Что там Шекспир!.. Шекспиру такое не снилось...

В завершение Соболева от усердия и перевозбуждения... хватил удар. Его уносили с торжественной встречи на носилках, а жена в черных перчатках по локоть бежала рядом и обмахивала пострадавшего мужа широкополой шляпой.

Маргарита Алигер шла к выходу одна, к ней боялись приблизиться — заклеймена, прокажена. Лишь Валентин Овечкин догнал ее, подхватил под локоть, демонстративно повел. За ними сразу двинулись влажные атланты... Нет, не опека опальной Алигер их настораживала, а гриб... Овечкин случайно нашел под правительственным деревом крупный белый гриб и не удержался, сорвал его. Одной рукой он придерживал Алигер, в другой нес гриб... Почему гриб? Не закамуфлированная ли это бомба?.. Атланты проводили их до выхода.

Дождь прошел, светило солнце.

Через несколько дней по Москве разнесся слух, что поведение Никиты Сергеевича на приеме осуждается... даже в его ближайших кругах.

Да, прошлая встреча у всех свежа в памяти. Сегодня каждый ждет появления Хрущева со жгучим интересом: как-то он поведет себя? не сорвется ли снова? а вдруг да раскаянье толкнет его в обратную сторону — ко всепрощению и любви? Неисповедимы пути твои, господи! От Хрущева всего можно ждать...

5

Уинстон Черчилль якобы, незадолго до смерти узнав о падении Хрущева, выдал миру едва ли не последнюю в своей жизни остроту: «Этот человек всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приема».

Революционные скачки́ Маркс положил в основу своей теории, мы применили их на практике. Хрущев всей душой хотел резво перескочить пропасть между существующим социализмом и сказочным коммунизмом. Раз! — и догнать сытую Америку по мясу и молоку! Два! — оставить ее далеко позади в неприглядной реальности, самим оказаться в сказке! Был отдан приказ: режь скот, чтоб было больше мяса! Не учтено лишь то, что этот скот надо сначала вырастить. Великая страна взвилась в прыжке, но пропасть не преодолела — свалилась. Конфуз? Да нет, боже упаси! Снова прыгаем в изобилие, на этот раз кукуруза — опора...

Мне рассказывали: в Мурманской области — территория чуть меньше Англии и больше Болгарии — в редких закрытых от ветра горами долинах, на солнечных склонах, на каких-то пяти тысячах гектаров высаживали холодоустойчивые сорта картошки и капусты. И тут Хрущев потребовал выделить пятьсот гектаров на кукурузу!

— Так все равно же не вырастет, Никита Сергеевич,— осмелились возразить ему.

— А вдруг да вырастет. Какой тогда будет политический резонанс!

А вдруг да... Расчет прыгуна, свято верящего, что и посреди пропасти существует опора.

Государственному руководителю часто свойственна заурядность мышления. Великие мысли, прозорливые открытия никогда не рождаются сразу в миллионах голов, массовых озарений не существует в природе. Великие мысли и открытия возникают у тех, кто способен мыслить намного глубже других, у своего рода чемпионов разума и проницательности. И надо время, и немалое, чтобы заурядно мыслящие массы поняли и приняли то, чего достигли чемпионы человеческого мышления. Прошло более двух столетий, пока открытие Коперника стало общепризнанным.

Но государственный политический деятель занимается-то вопросами текущей жизни, сталкивается с задачами, требующими, как правило, немедленного решения. Он не может ждать сотни, пусть даже десятки лет, чтоб быть понятым. А потому политический руководитель вынужден прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным понятиям, духовно соответствовать некой усредненной заурядности в человеческом обществе. Как это ни обидно, но ум и проницательность среди высоких политических деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью,— скорей исключение, а не нормальное явление.

Наполеона, скажем, не назовешь дураком, но как бесплоден был его ум! Он не принес ничего, что пошло бы на пользу человечеству. А бесплодный, безрезультативный ум — какой в нем прок, он не имеет преимуществ перед глупостью.

Авраам Линкольн и Джон Кеннеди, прежде чем проявить себя более здравомыслящими в сравнении с простым обывателем, сперва подделывались под

обывательское шаблонное мышление, угождали ему, а как только поднялись над ним, были убраны.

Тот же Черчилль прославился хитростью, изворотливостью, остроумием, обрел славу глубокомысленного политика, но как часто он действовал с поразительным тупоумием и не подозревал об этом. Откроем наугад его мемуары. Вот, к примеру, он с серьезной важностью повествует... Май 1942 года. Почти вся Европа проглочена гитлеровцами, немецкие войска в глубине России. Именно в это время Черчилль, с одной стороны, и Молотов по поручительству Сталина, с другой, встретились в Лондоне для переговоров. Они договариваются, как победить грозного и опасного противника?.. Да нет, они торгуются: кому будут принадлежать прибалтийские государства и Восточная Польша? С истовой недоверчивостью друг к другу делят кусок шкуры еще не убитого, напротив, могучего и опасного медведя. И делают это столь упоенно, что вопрос, как убить медведя, не представляется им существенным. «Помимо вопроса о договоре,— небрежно бросает Черчилль,— Молотов приехал в Лондон, чтобы узнать наши взгляды по поводу открытия второго фронта. Ввиду этого утром 22 мая я имел с ним официальную беседу». И все! Небрежно, мимоходом — сие не стоит внимания. Поведение смехотворно глупейшее, особенно на фоне последующих трагических событий — немцы, чью шкуру столь страстно делили, с новой силой ударили по России, захватили шестисоттысячную группировку под Харьковом, продвинулись до Кавказа и Волги. И вот спустя много лет осведомленный Черчилль многозначительно, без какой-либо иронии повествует: делили, делали дело,— то есть пребывает в прежней глупости.

Глупость легко перерастает в аморальность. Черчилль, узнав от Сталина, что коллективизация в СССР достигнута ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов — шутка сказать! — «маленьких людей», не ужасается и не осуждает, а благостно оправдывает: «Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина». Воистину блаженны нищие духом, не ведают они, что творят. Хрущев тут оказался куда проницательней — на такие слова у него не повернулся бы язык.

Да, сам по себе Хрущев был безрасчетно, упоенно глуп, глуп с русским размахом, но, право же, он прин-

ципиально ничем не отличался от других видных политиков, страдал их общей бедой. И конечно же, его вседержавная самонадеянность нравственно калечила общество — воспитывала лжецов, льстецов, жестоких, беспардонных прохвостов типа «рязанского чудотворца» Ларионова, делающих карьеру на чиновном разбое.

Но вот что странно — бывают же такие поразительные парадоксы в истории! — именно экзальтированность Хрущева и помогла совершить смелый прогрессивный переворот в стране. Хитроумный политик сэр Уинстон Черчилль не принес столько пользы Англии, сколько принес Никита Хрущев многонациональной Стране Советов одним своим выступлением на XX съезде партии!..

Однако мы увлеклись рассуждениями, а тем временем появились сами гостеприимные хозяева...

6

Члены правительства без торжества, без предупреждения вдруг оказались на асфальтовой дорожке под соснами. Улыбающийся добродушно Хрущев — в легком пиджаке, в вышитой украинской рубахе, стянутой у шеи цветным шнурком, прозванной в обиходе «антисемиткой». Трясущийся от дряхлости Ворошилов в штатской шляпе. Микоян с навешенным носом над траурными, не тронутыми сединой усами. И уже нет плакатно примелькавшихся Молотова и Кагановича, высоких участников прошлой встречи. Осмелились не угодить, и Хрущев их погнал вон. Нет, не упрятал за колючую проволоку, не расстрелял в подвалах, как это делал Сталин в компании тех же молотовых-кагановичей, а просто спихнул с Олимпа — черт с вами, живите на пенсионном содержании! Вместе с ними слетел Шепилов — «и примкнувший к ним». Презрительная оговорочка вскрывала политическую худородность данной фигуры. Худороден?.. Вполне возможно, только не для таких, как я. Этот худородный командовал культурой страны — указывал и направлял, возносил и ниспровергал, карал и жаловал. Почему-то именно он у меня вызывает минорный мотив: «Куда, куда вы удалились?..»

Правительство появилось, и сразу вокруг него возникла кипучая, угодливая карусель. Деятели искусства и литературы, разумеется не все, а те, кто считал себя достаточно заметными, способными претендовать на

близость, оттирая друг друга, со счастливыми улыбками на потных лицах начали толкучечку, протискивались поближе. Пыхтел, топтался, выдерживал толчки тучный Софронов, блестела под солнцем голая голова Грибачева, сутулился от почтительности и семеняще выплясывал все тот же Леонид Соболев, получивший не только гараж — как убоги были их семейные мечты! — но и специально для него созданный Союз писателей Российской Федерации. То с одной стороны, то с другой вырастал Сергей Михалков, несравненный «дядя Степа», никогда не упускающий случая напомнить о себе.

По правую руку Хрущева прорвался украинский композитор Майборода, вскинул вверх плоскую, широкую, лоснящуюся физиономию, закатил глаза и залился сладкоголосо:

Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю...

Хрущев, добродушно расплываясь, подхватил неустойчивым баритончиком:

Чому я не сокил,
Чому не летаю...

А к нему лезли и лезли, заглядывали в глаза, толкались, оттирали, теснились и улыбались, улыбались... Все это были люди солидные, полные, осанисто-степенные. Повстречай каждого из них на улице или в коридоре учреждения, представить невозможно, что столь барственная особа способна на такие мелкие телодвижения.

Здесь тенистый остров коммунизма, в его тесных границах монаршее внимание имеет лишь чисто моральное значение — заметил, помнит, назвал твою фамилию, пожал руку, приятно! Но завтра все окажутся за пределами этого счастливого острова, в океане, где качает и опрокидывает, где всегда кто-то тонет, кого-то выбрасывает наверх, надо быть сильным и сноровистым, чтоб удержаться на волне. И каждый, кто сейчас пробился поближе, прикоснулся к всесильной руке, рассчитывает унести в себе частицу самодержавной силы. Толкотня, кружение, оттирание, щеки, раздвинутые в улыбке,— смотр рыцарей удачи!

Я стоял в стороне, всматривался в умилительную карусель и вдруг... Вдруг через головы толкущихся я встретился с направленным прямо на меня — могу поручиться! — взглядом Хрущева. Он только что подпевал Майбороде: «Чому я не сокил, чому не летаю...» — толь-

ко что добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее от жары, было отдыхающим, право же, выражало удовольствие. Только что — секунду назад, долю секунды!.. Сейчас я через головы, на расстоянии видел уже совсем иное лицо — не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напряженное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от усталости, а взгляд, направленный на меня,— подозрительно-недоверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть только на врага.

Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом. Но тем не менее...

Причин пугаться у меня не было, я прекрасно понимал, что плотная стена угодников и кусок пространства в десять шагов — надежная защита. Я не опустил глаза, продолжал с удивлением вглядываться в преображенное лицо Хрущева.

Наша встреча взглядами едва ли продолжалась секунду. Чья-то лысина заслонила от меня главу государства, а когда я вновь его увидел, Хрущев уже добродушно улыбался, разговаривая с кем-то.

Ну и ну!.. Улыбается, шутит, подпевает, вид отдыхающего человека — не верь глазам своим: он напряжен внутри, настороженно-собран, полон подозрительности. И я невольно пожалел его: «А трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни».

Даже жена, стоявшая рядом со мной локоть к локтю, не заметила этой переглядки. Правда, я тут же сказал ей, она на минуту заинтересовалась и... сразу же забыла. Не столь уж и важный случай, чтоб придавать ему какое-то значение.

А я не мог забыть. Мы ушли от этой карусели, бродили по тихим дорожкам, раскланивались со знакомыми и снова натыкались на осажденное правительство. Я опять останавливался и подолгу смотрел на добродушного, веселого Хрущева, ждал — встречусь с ним взглядом, хотел, чтоб все повторилось, убедило меня: мне не пригрезилось.

Но Хрущев уже не замечал меня больше.

7

Все, кто сегодня был приглашен на остров коммунизма — и те, кто не осмеливался подойти близко к правительству, и те, кто, толкаясь и оттесняя друг друга,

кружился возле него, как мухи вокруг банки с вареньем,— принадлежали к интеллигенции, наиболее заметной в стране.

Интеллигенция... Люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, то есть имеющие прямое отношение к тому, что, собственно, и является высоким отличием человека,— к разуму. Казалось бы, эта часть рода людского должна признаваться в обществе как наиболее значительная, пользоваться неизменным всеобщим уважением. Увы! К интеллигенции всегда было настороженное, а часто и вовсе неприязненное отношение. Именно от нее-то обычно исходят идеи и взгляды, противоречащие привычным шаблонам, смущающие обывателя, осложняющие деятельность государственных руководителей.

Ленин не любил либеральную интеллигенцию, не доверял ей, считал ее прислужницей буржуазии. «...влияние *интеллигенции*,— писал он в 1907 году,— непосредственно не участвующей в эксплуатации, обученной оперировать с общими словами и понятиями, носящейся со всякими «хорошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию возводящей свое междуклассовое положение в *принцип* внеклассовых партий и внеклассовой политики,— влияние этой буржуазной интеллигенции на народ опасно».

Став во главе государства, он уже с откровенностью бросает интеллигенции: «В вашей дряблости мы никогда не сомневались. Но что вы нам нужны — этого мы не отрицаем, потому что вы являлись единственным культурным элементом». То есть была интеллигенция прислужницей — и оставайся ею. В конце жизни Ленин часто с горечью говорил, как ему не хватает истинных интеллигентов-единомышленников.

Сталин прислужничество сделал основой существования нового государства: низший по службе безропотно, безоглядно, бездумно подчинялся высшему, этот высший еще более высшему, и так до конца, до венчающей вершины, на которой восседала никому не подчиненная, всех подчиняющая личность — сам Сталин. Наиболее характерной фигурой в обществе стал некий службистский Янус с ликом диктатора в одну сторону и лакея в другую.

И только тот, кто непосредственно занимался созидательным трудом, лишен был каких бы то ни было диктаторских прав. Если ты пашешь поле, сам пашешь, а не руководишь на расстоянии пахотой, диктовать, приказывать тебе просто некому. Если ты пишешь книгу, созда-

ешь музыкальное произведение, решаешь научную проблему, ты при всем желании не можешь стать диктатором. Только переложив пахоту, книгу, музыкальное произведение, научные изыскания на кого-то другого, ты получаешь возможность превратиться в диктатора. Творческое созидание исключает диктаторство, но от лакейского положения оно не освобождает. Ты приказывать не можешь — некому! — а тебе — почему бы и нет. А если ты вдруг окажешься недостаточно покорным, проявишь строптивость, то почему бы к тебе не применить насилие вплоть до изоляции в лагерях со строгим режимом, избиений, пыток, расстрела, наконец.

Сталин превратил интеллигенцию в безропотную прислужницу, покорно выполняющую — чаще тупо, очень редко даровито и изобретательно — правительственные заказы от создания новых бомбардировщиков до «философского» обоснования великой научной ценности сталинских работ по языкознанию.

И вот теперь тесная, потная карусель, клубок тел — это кружатся интеллигенты сталинского времени. А Хрущев со свитой, столбовая ось этой карусели,— сталинские чиновники, Сталиным поднятые, Сталиным вскормленные и воспитанные янусы с двойными ликами диктаторов и лакеев.

Хрущев не представлял себе иного устройства, кроме того, какое было при покойном Сталине. Хрущев искренне считал, что мир расколот враждой и ненавистью, что государство ежедневно, ежечасно должно укреплять свою мощь, блюсти железную дисциплину подчиненности, сохранять абсолютизм власти... Генеральная линия партии в годы сталинизма была безупречно правильной, но...

Он вскормлен Сталиным, воспитан Сталиным, а потому лучше кого бы то ни было знает, сколь тягостно и чревато опасностями это воспитание. На его глазах хватали виднейших государственных деятелей и ставили к стенке... Добро бы просто к стенке, а то рвали ногти, ломали кости, отбивали почки, грубо измывались, подлейше унижали, прежде чем спровадить на тот свет. Сам Хрущев многие годы ждал своего часа, засыпал ночью, не надеясь увидеть утро, шел на прием к Сталину и не рассчитывал вернуться обратно. Жил и ждал, ждал и дрожал. Вскормлен и воспитан, но благодарности к воспитателю не испытывал.

Генеральная линия партии во время Сталина была безупречно правильной, только сам Сталин не прав —

претила жестокость, мутило от безвинно пролитой крови. Хрущев ничего из сталинского не собирался менять — пусть останется все как было! — но Сталина следует осудить и выбросить из истории. Трудно даже представить более нелепое решение. Уж раз бывший вождь был полновластным диктатором и отдавал неверные приказания, которые усердно исполнялись, то почему партия и страна тогда должны жить и действовать правильно? Или он никакой не диктатор, его власть ничего не значила, не за что осуждать и развенчивать, или был диктатором — осуждай, но уже вместе с тем путем, на какой толкала его неправедная власть. Одно с другим тесно связано...

Но если б Хрущев мог как-то связывать причину со следствием, частное с общим!.. К счастью, он был младенчески прост: хочу — и баста, никакая логика мне не указ! Простота в не меньшей степени, чем ум, может быть отважной. Хрущев решительно ниспроверг на XX съезде Сталина: сгинь, нечистый! Тоже прыжок сломя голову...

Не случись этого, нам до сих пор бы внушали: идем по сталинскому пути! «Черные вороны» рыскали бы по улицам наших городов, пыточных дел мастера усердствовали бы в застенках, и наверняка продолжалась бы агрессивно-остервенелая внешняя политика, ни о каком мирном сосуществовании не могло быть и речи. Не исключено, над планетой проросли бы грибы термоядерных взрывов, человечество вымирало бы от радиоактивности. Кто знает, как все-таки велика роль случая в истории, той пресловутой «бабочки Брэдбери», меняющей облик будущего.

Воистину хвала случаю! Хвала простоте, ее отважному носителю Никите Сергеевичу Хрущеву! Народы всех континентов должны вспоминать о нем с благодарностью!

Но если сам Хрущев простодушно не считался с элементарной логикой, то другие-то этого не могли себе позволить. Поведение Сталина осуждено — прекрасно! Однако сказал «господи», скажи и «помилуй»...

Джинн выпущен из бутылки, бродят дрожжи сомнений. На обсуждение книги Дудинцева к московскому Дому литераторов собралось столько беспокойных читателей, что пришлось вызвать наряд конной милиции — явление небывалое! А в дружественной Венгрии вспыхивает бунт, приходится прибегать к вооруженному подавлению, срочно менять правительство, ставленное в свое время Сталиным.

В прошлую встречу Хрущев сорвался на прямую ругань, а сейчас он знает, что здесь у него в гостях интеллигенты, и не только такие, кто униженно лезет к ручке. И вот мимолетный взгляд из-под маски гостеприимного хозяина...

Я нескромно подглядел, что у царя Мидаса длинные уши.

8

Солнце за кронами сосен подалось к закату. Нас четверо — художник Орест Верейский и наши жены,— углубляемся в пустынные боковые дорожки. Здесь должен быть не только обихоженный лес, наверняка где-то стоит и дача правительства. Пока мы не замечали и следа каких-либо построек. Я тянул в сторону нашу маленькую компанию: «Разведаем. Делать-то все равно нечего».

Далеко приглушенные голоса, сдержанное праздничное брожение. А тут безмятежно стучит дятел. Отрешенная тишина, хочется говорить вполголоса.

Из боковой аллейки появился прохожий, идет нам навстречу. И мы замолчали, невольно испытывая смущение — идущий навстречу человек нам хорошо знаком, зато нас он, разумеется, знать не знает. Как держать себя в таких случаях: пройти мимо, сделав вид, что не узнали,— противоестественно, но естественно ли здороваться, не будет ли это принято за подобострастие, не получим ли мы в ответ безразличный взгляд и оскорбительно-вельможный кивок? Извечная рефлексия русского интеллигента, раздираемого самолюбивыми противоречиями по ничтожному поводу. Встречный приближается и здоровается первым. Без вельможности. Леонид Ильич Брежнев.

В глубине леса раздаются выстрелы. Нет, мы не вздрагиваем и не переглядываемся недоуменно. Маниакальная мысль — не покушение ли? — не приходит нам в голову. Явно какое-то праздничное развлечение. Не спеша идем навстречу выстрелам, провожаемые стуком невспугнутого дятла.

Поляна среди леса. Две кучки зрителей. Прямо на траве — несколько стульев и два стола, на одном лежат ружья, другой весь заставлен затейливыми фарфоровыми безделушками — призы за удачную стрельбу. Возле столов — Хрущев, Мжаванадзе и еще какие-то лица, мне совсем незнакомые.

На расстоянии сотни шагов почти незаметные, поросшие травой землянки, из них в воздух вылетают тарелочки одна за другой через равные промежутки времени. Они разлетаются от выстрелов высокого, холено-полного молодого человека.

Молодой человек отстрелялся, положил ружье, удалился с горделивой и независимой осанкой. Должно быть, он близок к Хрущеву настолько, что может вести себя в его присутствии свободно, без смущения и раболепства. Зато Мжаванадзе явно не по себе. Он старается быть поближе к хозяину и в то же время боится оскорбить излишней близостью, сохраняет неустойчивое расстояние в полтора шага, отрывисто хохочет. Он сейчас очень похож на алкаша, попавшего в чистую компанию, жаждущего, но не очень надеющегося, что ему поднесут спасительную стопочку.

Хрущев хозяйским жестом указывает Мжаванадзе на стол:

— А ну-ка!

И Мжаванадзе с готовностью хватает со стола ружье.

В синее небо летит тарелочка. Бац! — вдребезги! Новая тарелочка... Бац! — вдребезги!.. Еще, еще, еще... Мжаванадзе с веселым лицом, выражая всем телом предельную вежливость, осторожненько положил ружье на прежнее место. Ему уже протянули приз — фарфоровую статуэтку, густо покрытую позолотой. Он прижимает ее к паху.

Хрущев решительно стягивает с себя пиджак.

А в стороне из тесной кучки зрителей раздаются замечания откровенно насмешливые: мол, держись, посыплются сейчас черепки. Я с любопытством оглядываюсь — интересно, кто это позволяет себе так вольно высказываться в адрес главы государства? Узнаю среди зрителей тяжеловесную Нину Петровну, понимаю, что тут собралось семейство Хрущева. Эти могут себе позволить.

В расшитой «антисемиточке», расставив короткие ноги, розовые уши настороженно торчат — Хрущев на изготовке с ружьем.

Взвивается в небо тарелочка. Бац — мимо! Тарелочка падает к земле. Вторая... Бац — мимо!.. Бац! Бац! — тарелочки целы... Оцепенел с прижатым к паху позолоченным призом Мжаванадзе.

Только одну тарелочку из десяти разбил Хрущев. Он положил ружье и сел на стул...

Полные плечи обмякли, руки повисли, отполированная голова опущена, уши, невинно-розовые, обиженно торчат в стороны — неутешно мальчишеское во всей рыхлой фигуре. Право, так и хочется подойти, погладить по лысой макушке: «Брось, лапушка, горевать. Эка беда, на другом сноровку покажешь».

А в стороне безжалостно посмеиваются:

— Настрелял уток — не унести.

И стоит перед убитым Хрущевым Мжаванадзе, прижимает к паху золоченый приз, мнется и не знает, куда смотреть. Вот уж кому не позавидуешь...

И вольные шуточки со стороны семейства.

Вдруг Хрущев встает. Тело его, только что обмякшее, становится сбитым, движения скупые, лицо не в шутку сурово, и розовые уши торчат уже не обиженно, а почти угрожающе.

Шуточки со стороны не прекращаются, но Мжаванадзе вышел из столбнячка, облегченно распрямился, с преданной собачьей надеждой смотрит, как Хрущев берет ружье.

Рукава «антисемиточки» подтянуты, ноги расставлены, тяжелым корпусом вперед, голова склонена — бычок посреди дороги, объезжай кругом!

Летит тарелочка... Выстрел! Осколки осыпаются на землю. Выстрел!.. Осколки!.. Выстрел! Выстрел! Выстрел!.. Черт возьми! Возможно ли это? Лишь одна тарелочка падает целой на траву.

Хрущев победно кладет ружье.

Я не знаю, было ли тут холопское жульничество. Не знаю, каким способом выбрасываются в воздух тарелочки. Можно ли за несколько минут сделать так, чтоб они сами по себе разлетались в воздухе, да еще согласованно с выстрелами. Но если это и ловкий лакейский фокус, то в него всей душой поверил и сам Хрущев.

Он положил ружье и прошелся... Просто взад-вперед возле столов. Плечи его играли, грудь и живот, соперничая, рвались вперед, голова вздернута, походочка с радостным содроганием, как у плясуна, входящего в круг, на расстоянии чувствовалось, что каждый мускул под тугим жирком, каждая жилочка возбуждены. Нужно быть воистину гениальным актером, чтоб столь нешаблонно, столь доподлинно разыграть победное счастье — и плечами, и животом, и ногами, ушами даже! Ой нет, так вести себя может лишь человек, который действительно переполнен торжеством, хотел бы, да не в силах его скрыть — распирает!

Родственники со стороны продолжали острить, ничуть не пораженные и не восхищенные удачей, а я, признаться, стоял озадаченный.

Да и теперь этот маленький случай для меня — необъяснимая загадка, почти что чудо. И единственное объяснение, какое могу дать,— недюжинность характера Хрущева. Он, не откажешь, обладал сокрушающим напором и мужицким неуступчивым упрямством. Его борьба со Сталиным — доказательство тому. Уже мертвый и развенчанный вождь всех народов отчаянно сопротивлялся. Его вытаскивали из Мавзолея, но он снова в него ложился. Его старались убить умолчанием, а Сталин напоминал о себе тысячами своих бронзовых, мраморных, гипсовых копий, стоящих по городам и весям страны, географическими названиями, глухим ропотом поклонников. Однако Хрущев выкинул Сталина из Мавзолея, выкорчевал по стране его памятники, стер его имя с географических карт, не испугался миллионного ропота поклонников. Попробуйте отказать этому человеку в характере!

Сейчас он с детской непосредственностью радовался одержанной победе — разбил-таки тарелочки, доказал свою сноровку! Ай да я!

К нему сразу же бросились с фарфоровым призом. Он с серьезной важностью, не без величия, как и подобает государственному мужу, принял его и... бросил взгляд на приз Мжаванадзе. А Мжаванадзе ликовал, Мжаванадзе весь лучился — слава те, господи, пронесло! — умильно заглядывал в глаза Хрущеву...

И улыбка сползла с лица Мжаванадзе, он перехватил взгляд хозяина и опустил глаза к своему призу, который обеими руками стеснительно прижимал к стыдному месту: ей-ей, случилась небольшая оплошность — на затейливой фарфоровой статуэтке Мжаванадзе явно больше позолоты... Хрущев изучающе разглядывал не принадлежащий ему приз.

И Мжаванадзе вскинулся, с готовностью протянул:

— Сменяемся, Никита Сергеевич.

Нет, я ничего не придумываю ради красного словца, все было именно так, как я рассказываю, прошу верить. Да, да, Хрущев сменялся, взял приз Мжаванадзе, на котором оказалось больше позолоты. И оба были явно довольны этим обменом.

Тут по всему лесу загремело радио:

— Дорогие гости! Просим вас к столу. Дорогие гости! Просим вас!..

И все потянулись к большому полосатому тенту, растянутому среди сосен. Под ним тесно стояли длинные столы.

Я там был, мед-пиво пил...

Чтоб не упрекнули в голословности, прилагаю сохранившийся документ — карточку меню.

Обед:

Икра зернистая, расстегаи
Судак фаршированный
Сельдь дунайская
Индейка с фруктами
Салат из овощей
Раки в пиве

Окрошка мясная
Бульон с пирожком

Форель в белом вине
Шашлык
Капуста цветная в сухарях

Дыня
Кофе, пирожное, ассорти, фрукты

с. Семеновское, 17 июля 1960 года.

Стеснительно не упомянуты напитки.

Знатоки утверждают, что в прошлый раз стол был куда обильнее и утонченнее.

Март 1974 г.

Люди или нéлюди

НАРОД м. люд, народившийся на известном пространстве; люди вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним языком; обыватели государства, страны, состоящие под одним управлением; чернь, простолюдье, низшие, податные сословия; множество людей, толпа.

В. Даль. Толковый словарь

Человек с ласковым взором несчастен, доброго везде презирают. Человек, на которого надеешься, бессердечен. Нет справедливости. Земля — это приют злодеев.

Из древнего египетского манускрипта

1

Я дважды в жизни пережил редкостно прекрасное чувство любви. Нет, не к женщине, не к отдельному человеку, а к людям вообще. Просто к людям за то, что они добры друг к другу, душевно красивы.

В первый раз это случилось на подступах к Сталинграду поздним сумрачным январским вечером 1943 года.

Я возвращался из дивизионных мастерских, в противогазной сумке нес заряженный аккумулятор для своей радиостанции. И не то чтобы я заблудился... Просто, пока я торчал в тылу, шло наступление, стрелковые роты, штабы, минометные и артиллерийские батареи двигались вперед. Целый день все менялось и перемешивалось, сейчас остановилось на ночь. Солдаты долбили мерзлую землю, как могли укрывались от шальных пуль, от мин, от холода, кому повезло, попрятались в оставшихся после немца землянках. И сумей-ка теперь разыскать своих.

Я шатался по степи, натыкаясь на чужие подразделения.

— Случаем, не знаете, где штаб Сорок четвертого?..

От меня отмахивались:

— Тут нет. Топай, друг, не маячь.

И я снова выходил в степь, заснеженную, взорванную воронками. Ночь устало переругивалась выстрелами. Там, где невнятная степь смыкалась с черным низким небом, тускло сочились отсветы далеких пожаров — сальные пятна сукровицы израненной планеты. Не видишь, но кожей чувствуешь, что земля под серым снегом начинена железом, рваным, зазубренным, уже не горячим, остывшим, потерявшим свою злую силу. Это невзошедшие семена смерти. Чуть ли не на каждом шагу торчит или вывернутый локоть, или каменное плечо, обтянутое шинельным сукном, или гладкая, ледяно-прокаленная каска, скрывающая глазницы, запорошенные снегом.

Я привык к трупам, они давно для меня часть быта, ненужная, как для лесоруба старые пни. А когда-то содрогался при виде их...

И вот на этом бескрайнем поле, покинутом всеми, я увидел еще одно бесприютное живое существо. На сукровичное пятно далекого пожара из темноты выковыляла лошадь, на трех ногах, нелепо кланяясь при каждом скоке. Выковыляла и стала понуро — любуйся всласть: голова уронена, натруженная холка выпирает горбом, обвислый зад, страдающе поджата перебитая нога. Ранена и брошена, всю жизнь работала, нажила горб, теперь — не нужна, лень даже пристрелить, зачем, когда и так подохнет от голода, холода, кровоточащей раны.

Я привык к человеческим трупам, но выгнанная на смерть и продолжающая жить с понурым упрямством лошадь обожгла меня жалостью. А нет ничего опаснее жалости на войне.

Некто окаменевший в снегу с вывернутым локтем. Вывернутый локоть — значит, пытался встать, стонал, ждал помощи и... как не пожалеть его. Нет, не смей!

За жалостью сразу придет мысль: ты сам не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — ты с вывернутым локтем, с застывшим оскалом, с невыдавленным стоном. И уж тут-то день за днем пойдут в кошмаре ожидания. Ты заранее почувствуешь себя погибшим, на тебя найдет сонная одурь, будешь вяло двигаться, не кланяться под пулями, не припадать к земле при звуке летящего снаряда, неохотно долбить окоп — зачем, все

одно конец. И такой очумелый долго не протянет — не свалит осколок, доконает мороз.

Не смей жалеть и не смей лишка думать — война! Огрубей и очерствей, стань деревом!

Я не заметил, как одеревенел. Вот привык к трупам — старые пни в лесу...

Трупы привычно, а выгнанная на смерть рабочая лошадь, знать не знающая о великом сумасшествии, неведающая, непричастная, слепо доверчивая, живая военная бессмыслица, нет, не привычно. К тому же я очень устал, а потому не выдержал, отравился опасной жалостью.

Отравленная мысль, как всегда, метнулась к спасительному: «Вот кончится война!..» И споткнулась... «Да, кончится. Может, ты и выживешь... Ты, привыкший к трупам — старые пни в лесу! Выживет, может, и тот, кто выгнал лошадь... Выживете, но как будете жить? Разучились жалеть, страдать, равнодушны до древесности! Как жить вам потом — порченым среди порченых? Неужели ты думаешь, такая страшная война выветрится из тебя, из других? Выветрится без следа?.. Да оглянись кругом, разве такое не может навсегда войти в душу. Может! Войдет!»

В тусклом отсвете потустороннего пожара горбатилась рабочая коняга — среди окоченелости комок стынущей плоти, лишняя вещь на земле. И я себя в ту минуту тоже почувствовал лишним — кому буду нужен такой, отупевший от войны! Будущее казалось столь холодным, столь неуютным, что даже надежда — «А вдруг да выживу!» — никак не радовала, а пугала. Я едва ли не завидовал тем, кто уже лежит в снегу, накрывшись прокаленной морозом каской.

Но мерзли ноги в сапогах и в рукава шинели пробирался колючий ветер — я жил и надо было исполнять солдатские обязанности, искать штаб своего полка. Я двинулся дальше средь воронок и трупов — к людям! Оставив в одиночестве лошадь — не нужна миру, мне тоже...

Через сотню метров я наткнулся на землянку.

Густой воздух, жирно пахнущий парафином от горящих немецких плошек и тем прекрасным, оглушающим с мороза, едким до слез запахом солдатских портянок, овчины, пота, мокрых валенок, который — хошь, не хошь,— а с такой покоряющей силой доказывает неистребимость жизни, что заставляет забывать о войне. И этот густой — топор вешай — воздух колеблется от

мощного, переливчатого, с изнеможенными стонами, с восторженными захлебами храпа. Так упоенно спать могут лишь солдаты, которым не каждую-то неделю удается растянуться в тепле во весь рост. А здесь даже многие скинули с ног валенки, недаром же среди всех прочих запахов победно господствует портяночный. И, колеблемые храпом, шевелятся огоньки плошек, и сквозь накат, через толщу земли смутно-смутно доносятся вой и похлесты поземки, гуляющей по снежной степи. Нет, что ни говори, а райский угол, обиталище счастливцев.

Счастливцы лежали вповалку на полу, тесно друг к другу — ладонь не просунешь. От стены к стене, под нарами, на нарах, всюду — буйное пиршество сна.

Один счастливец не спал, голый по пояс (во как тепло!), освободив дородные и уже немолодые телеса, самозабвенно, с явным наслаждением бил вшей в нательной рубахе, и отсветы качающихся огоньков от плошек хороводились на его лысеющем, без малого ленинском, лбу.

— Эй, ты! Дверь! — крикнул он, отрываясь от рубахи, но тут же подобрел голосом: — Радист! Ты как сюда?..

Я узнал его — дядя Паша из комендантского взвода, постоянно торчал на часах у землянки штаба полка, недавно его вместе с помощниками поваров, химвзводниками, хозяйственниками направили в стрелковую роту. В ротах повыбило людей.

Значит, я все-таки добрался до своих.

— Проскочил ты штаб полка, парень, обратно придется топать. Да это недалече, километра три. Рядом батальонные связисты, от них по кабелю — не собьешься. Покуда лезь сюда, погрейся.— Дядя Паша потеснился.

Наступая на спящих, которые со вздохами шевелились, невнятно мычали и внятно посылали меня по матушке, но не просыпались, я пробрался к нарам и тут же споткнулся о чьи-то ноги. На этот раз спящий беспокойно завозился под нарами и выполз на свет плошек. Передо мной предстал... немец. Щекастенький, сонно розовый, в просторном, сумеречного сукна мундире с бляшками-пуговицами, он жмурился и застенчиво улыбался, словно хотел сказать: «Извините, пожалуйста, что я вас так удивил».

— Что это? — не выдержал я.

Круглая мясистая физиономия дяди Паши раздвинулась в ухмылке:

— Вот обзавелись... Третьеводни, смех и грех, среди ночи с кухней на нашу позицию въехал. Заблудился

в степи и — наше вам, здравствуйте. Кашу его съели, самого хотели в штаб, да там нынче не очень-то нуждаются в таких «языках». Вот и прижился... Рад поди, Вилли, что отвоевался?..

Вилли жмурился и улыбался, у него были длинные белесые ресницы, детское простодушие на щекастом лице — лет восемнадцати и того, пожалуй, нет. Мне в тот год едва перевалило за девятнадцать, и я без ошибки, чутьем угадывал — кто моложе меня.

По землянке прошла волна холодного воздуха.

— Эй, Вилли! Якушин пришел, встречай,— объявил дядя Паша, натягивая на себя рубаху.

Приземистый солдат — из-под вязаного заиндевелого подшлемника лишь воспаленные глаза — переминался у входа, примеряясь, как бы не потоптать спящих. Наконец он, втискивая заснеженные валенки между телами, подошел к нам, стянул с головы морозную каску, оказался в ушанке, снял ушанку, остался в подшлемнике, содрал наконец и подшлемник, открыл давно не бритое, чугунное от стужи и усталости мужицкое, обильно губастое лицо.

А Вилли тем временем успел нырнуть под нары, вытащил оттуда объемистый узел, стал суетливо его разворачивать — ватник, плащ-палатка, вафельное, почти что чистое полотенце — и, счастливо рдея, протянул скинувшему полушубок Якушину котелок.

Якушин довольно хмыкнул, потер узловатые красные руки, непослушными пальцами выудил из валенка ложку.

— Ишь ты, заботушка — теплое...— Потеснив меня, он сел на край нар, сурово приказал Вилли: — Садись!

Вилли, взмахивая невинными ресницами, улыбался.

— Кому говорят?.. Навернем сейчас на пару.

Дядя Паша подтолкнул Вилли в спину.

— Шнель! Шнель! Коли просит, чего уж...

И Вилли смущенно пристроился к котелку.

Немецкий парнишка и русский мужик — голова к голове. Я сидел за спиной Якушина, видел его крутой затылок на просторных плечах, усердно двигающиеся уши, Вилли, вежливо работающего ложкой, дядю Пашу, следящего из-под лоснящегося лба увлажненно добрым взглядом.

Стесняясь своего доброго взгляда, дядя Паша, блуждая извиняющейся улыбочкой, объяснял мне через две склоненные головы:

— Хороший парень Вилли, душевный... Хошь и немец, а человек. Да-а... Это же Якушин его с кухни стащил, а теперь, вишь вон, душа в душу живут.

А я не нуждался в объяснениях, тем более извинительных. Во мне бурно таяла тяжелая вселенская тоска, которую я принес сюда со взрытой снарядами, заваленной окоченевшими трупами степи. Да, трупы, да, пожарища, да, где-то замерзает лошадь, нажившая на работе горб и выгнанная без жалости. Война! Страшило: она кончится, а жестокость останется. И вот — голова к голове над одним котелком...

Немец начал эту войну, трупы в степи — его вина, велика к нему ненависть, даже у поэта в стихах: «Убей его!» А солдат Якушин, убивавший немцев, делит сейчас свою кашу с немецким пареньком.

Война пройдет, а деревянность и жестокость останутся?.. Как я был глуп! Война в разгаре, рядом линия фронта, с той и другой стороны нацелены пулеметы, а уже двое врагов забыли вражду, где она, деревянность, где жестокость?

Голова к голове, ложка за ложкой и — хлеб пополам.

Кончится война, и доброта Якушина, доброта Вилли — их сотни миллионов, большинство на земле! — как половодье, затопит мир!

Навряд ли я тогда думал точно такими словами. В девятнадцать лет больше чувствуют, чем размышляют. Я просто задыхался от нахлынувшей любви. Любви к Якушину, к Вилли, к дяде Паше, к храпящим солдатам, ко всему роду людскому, который столь отходчив от зла и неизменчив к добру. Слезы душили горло. Слезы счастья, слезы гордости за все человечество!

Я вырос атеистом, не читал тогда Евангелия от Матфея, не знал слов из Нагорной проповеди: «Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас... ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?»

Но, кажется, в ту минуту я сам собой до них дозрел, с наивной страстью простодушно верил в невозможное.

2

Второй раз нечто подобное случилось четырнадцать лет спустя в Пекине.

Я был в составе так называемой культурной делегации Общества советско-китайской дружбы. Мы летали по

всему Китаю, и всюду нас встречали пышно, бурно, празднично — толпы, цветы, восторженные лица, страстно тянущиеся руки, церемонно длинные обеды с бесконечной чередой блюд, экзотических до несъедобности. Вкушали змей с хризантемами, пробовали ласточкины гнезда, пили рисовую водку — вкус самогона — за вечную дружбу, братство, за общий путь до конца, и гостеприимные хозяева кричали нам: «Гамбей!»

По европейскому календарю наступал Новый, 1957 год. Китайцы свой Новый год празднуют весной. Но почему-то в наш праздник нас не предоставили самим себе — мол, отдохните от встреч, выпейте, закусите, поздравьте друг друга,— наоборот, решили усиленно показывать нас молодежи.

Ритуальные беседы за чаем, трибуны, речь о великой дружбе двух великих народов. Попадаем в недавно организованный Пекинский институт кинематографии. Должно быть, в этот институт принимают не по таланту, а по стати. Нас встречают не по-китайски рослые, разбитные и жизнерадостные парни, одетые, как один, в безупречные европейские вечерние костюмы. И девушки в костюмах национальных — яркие шелка, золотое шитье. Столько красавиц, собранных вместе, я не видел в своей жизни — и до, и после, увы! Были и величавые, до оторопи, до зябкости — мраморные в горделивой посадке тонкие лица, на вскинутых, утонченно чеканных бровях покоится непомерная спесь Востока, чужеватый разрез глаз прекрасен, как непостижимое мастерство древнего азиатского ремесленника, и нет плоти, есть воздушность, нет походки, есть плывучесть. Но были и с той щемящей одухотворенностью, не столь красивы, как просты, не бьющие в глаза с налету, а лишь останавливающие взгляд затаенной добротой, и... ты уже непоправимо несчастен, твое сердце тоскливо сжимается — такое вот чудо человеческое, мелькнув раз, пройдет мимо тебя!..

Традиционные кружки чая, но вместо традиционных речей — танцы.

Мне, право же, стыдно за себя и обидно — экий пентюх! Как-то так получилось, что я всегда оказывался в стороне от танцплощадок. Сказать — не поверят: ни разу в жизни не танцевал!

Однако мне не дают сидеть бирюком, подходят.

— Товалис...

И взгляд в зрачки, и ожидание, и просьба.

Стыд. Но сильней самого стыда — страх перед стыдом грядущим: вдруг да, черт возьми, осрамлюсь!

И надменнобровая красавица с легким удрученным румянцем отплывает от меня. Обидел ее! Надо же!

Новый танец, и снова:

— Товалис...

И взгляд в зрачки. И надежда... А эта из тех — земных, не воздушных, одухотворенных добротой. Да провались все в тартарары! Была не была!

И я впервые в жизни выхожу с намерением совершить ритуальные движения под музыку. И, к своему удивлению, с грехом пополам совершаю, хотя и костенею плечами, поджимаю живот к позвоночнику, стараюсь, стараюсь до испарины.

Но не завидую больше ни старому Валентину Катаеву, плавающему среди кружащихся пар, как рыба в воде, ни нашему степенному главе делегации, президенту Академии педнаук Каирову, теснящему толстым животом некое сверхвоздушное создание. И мы, братцы, не лыком шиты!

— Кал-ла-со! Кал-ла-со!

Господи! Меня поняли, меня подбадривают! Славная ты моя, спасибо тебе за доброе слово, только, ради бога, береги свои маленькие ножки — никак не поручусь за себя.

Я готов танцевать и дальше, лиха беда начало, но...

Уже несколько раз к каждому из нас склоняются китайские товарищи из нашей свиты, почтительнейше шепчут:

— Нас ждут в Педагогическом университете.

Опять трибуна, опять речи о нерушимой дружбе — не больно-то охота, сегодня же у нас праздник. Мы дружно и горячо высказываем желание остаться здесь.

— Надо ехать, надо...

Скорбные покачивания головами, понимающе поджатые губы, полнейшее сочувствие, однако:

— Надо! Нас ждут. На два часа опаздываем.

Вкрадчивая китайская вежливость побеждает русское упрямство: «А, черт! Надо так надо! Пошли — все равно не отцепятся!»

Подъезжая к Педагогическому университету, мы невольно переглядываемся друг с другом и... прячем глаза, поеживаемся. Нас ждут — да! Целая толпа. Ждут уже два часа, если не больше. Ждут на морозе — Пекин не Кантон, зима здесь нешуточная, а одежонка всех китайцев, тем более студентов — ситчик на рыбьем меху. Нас ждут, и вопль восторга встречает нас. Толпа хлынула, только

что не бросаются под машины, все стараются заглянуть в окна, поймать наш взгляд, хоть на секунду, хоть на миг показать счастливое — сплошная улыбка! — лицо. Добровольцы-активисты теснят толпу, иначе не откроешь дверцы машин, мы, закупоренные общим восторгом, не сумеем выбраться наружу.

Один за другим вылезаем, и к каждому из нас тянутся руки, десятки рук с отчаянной страстностью, через головы впереди стоящих. Нам не рекомендуют, да мы и сами не решаемся пожимать их. Протянутых рук всегда столько, что церемония рукопожатия может затянуться на добрый час, а мы и так безбожно опоздали. Нас ждут не только эти встречающие энтузиасты. И мы снова виновато переглядываемся — экие сукины дети, засиделись у веселья.

Толпа выдавливает из себя тщедушного студентика с посиневшим от ожидания лицом и мученически вскинутыми бровями — все ясно, выдающийся знаток русского языка, которому надлежит приветствовать высоких гостей. Оттого-то мученически и задраны его брови.

Он встает перед нами, некоторое время собирается с духом, наконец размеренно изрекает:

— Добы-ро пожа-лу-ват, до-ро-гие то-ва-риш-ши! — И сразу же бойко спрашивает: — Что?! — То есть не совсем уверен, то ли сказал.

А так как мы с готовностью слушаем, он продолжает, почти четко, без запинки:

— Вы наши братья!.. Что?!

На этом запас его русского красноречия иссякает, мы жмем ему руки, для ободрения хлопаем его по плечу, и он нас ведет, правда, сначала совсем не в ту сторону, но бдительная толпа и возгласами и тесным напором исправляет его смятенную ошибку, поворачивает на нужный путь.

Нас пытаются усадить за чай, но в воздухе разлито лихорадящее нетерпение, им заражены мы, заражаются и наши хозяева. Кружки с чаем остаются нетронутыми. Поспешно ведут на сцену...

Зал взрывается аплодисментами. Зал... Едва я кинул в него взгляд, как почувствовал, что встречаюсь с чем-то небывалым для меня, столь властным, чего я не чувствовал ни в одной аудитории.

А мы облетели уже большую часть Китая, в каждом городе, в каждой провинции — по нескольку митингов. Мы привыкли к китайскому многолюдию и сборищами

в две, даже в три тысячи нас не удивишь, всюду — восторженность, жадное внимание, щедрые аплодисменты.

Здесь, в общем-то, не так уж и много народу — может, тысяча, может, чуть больше. Не всех желающих вместил этот зал, но вместить еще — хотя бы одного человека — он уже не в состоянии. Никаких скамей, никто не сидит, все плотно стоят. Все вокруг донельзя туго набито лицами. Каждое повернуто на тебя, от каждого истекает напряженное ожидание чего-то особого, непременно счастливого. Лица сливаются в нечто единое, монолитное, а поэтому истекающее от них ожидание тоже столь слитно едино, что обретает плоть, я его физически чувствую, мне почти больно.

И как они умудряются еще аплодировать в такой тесноте?

Но аплодисменты стихают, а ожидание возрастает — до взрывоопасности!

Я случайно кидаю взгляд на самый первый ряд, на тех, кто вплотную придавлен к сцене. Лица рядом, от моих ботинок — один шаг, рукой дотянись. Лица девчонок с сияющими глазами. На них нет национальных красочных одежд, они в затасканных, застиранных хлопчатобумажных робах, в которых ходит весь Китай, мужчины и женщины, рикши и министры. Но почему-то девочки кажутся празднично нарядными. От светлых улыбок, от сияющих глаз?..

Не только.

Они и в самом деле принарядились. Как могли, каждая. У одной в черных волосах кокетливый бантик, у другой цветная косыночка на шее, у третьей ворот затасканной робы расстегнут и старательно расправлен, чтоб видна была белая глаженая кофточка. Очень белая, очень чистая, похоже, что шелковая, не для каждого дня.

И меня оглушает простая мысль: они стоят в первом ряду, в самом первом! Но, чтоб занять этот ряд, девочки должны прийти сюда не два часа назад, ко времени назначенной встречи. Чтоб быть ближе к нам, девочки явились сюда, по крайней мере, часа за четыре. Целых четыре часа, добрую половину рабочего дня они стояли и ждали, ждали, ждали.

Чего?

Чтоб увидеть меня и моих товарищей, людей весьма заурядной наружности? Может, они читали наши книги — Валентина Катаева, мои,— с девичьей экзальтированностью

полюбили нас? Ой нет, не так-то мы известны в Китае, нас едва знают профессионалы, те, кто специально занимается русской литературой. А уж девочки-то наверняка и не слышали наших фамилий. Но что-то заставило их ждать четыре часа. Никто не требовал от них этой жертвы, не организаторы же вечера принудили нацепить кокетливые бантики, повязать праздничные косыночки. Мы им нужны. Ждали, ждут! Ждет и оглушает нас своим требовательным, счастливым ожиданием переполненный зал. Каждое лицо словно излучает свет. Тысячи направленных на тебя лиц, больно от их мощного света — слепят, сжигают. Все замерло, как перед чудом.

И позднее я ни разу не испытывал на себе столь сплоченное, любовное — да, любовное, нельзя назвать иначе! — людское внимание. Наверное, только выдающиеся пророки и великие вожди испытывали такое. Мы не пророки и не вожди, ни наших имен, ни наших дел не ведают в этой стране. Почему нам это, испепеляющее?.. Почему?

Только теперь я как-то могу объяснить: мы тогда были олицетворенной надеждой, наглядным будущим. Этим парням и девушкам настойчиво твердили, и они все с готовностью верили: впереди вас ждет земной коммунистический рай! Русские отвоевали его раньше, они уже люди будущего, почти что райские жители. Как пропустить встречу с ними, как не постараться встать к ним поближе, к ним, счастливцам, чтобы увидеть воочию то, что ждет тебя! Здесь собралась только молодежь, из разных углов Китая, из разных слоев народа, нищего китайского народа, забитого, затравленного, надрывающегося в непосильном и неблагодарном труде. Народа, лишенного в течение тысячелетий даже каких-либо надежд. Молодежь легко убедить надеждой — грядущее прекрасно! Да окажись вы на их месте, в их возрасте, с их надеждами, разве не ринулись бы вы на встречу... с будущим?

Прав ли я?.. В тот момент я и не искал ответа. Ко мне повернуты лица, лица, лица. Зал распирает от счастливых молодых лиц. И кто-то не сумел сюда втиснуться. Здесь малая часть народа. Юная его часть. Молодость необъятного народа взирает на меня. И снизу, с расстояния в один шаг — девичьи сияющие глаза. От меня ждут... ждут великого. Если б я мог сейчас отдать свою жизнь! Что моя маленькая жизнь по сравнению с этим народным ожиданием?.. Если б мог!..

То же самое, должно быть, чувствовали и мои товарищи, я видел, как все они подобрались, подтянулись, вскинули головы, у каждого выражение почти трагической взволнованности. И подозрительно блестят глаза. Даже у Пети, стукача нашей делегации, который и раньше бывал в Китае с какими-то заданиями, хвалился нам, что сиживал за одним столом с Чан Кай-ши, ругал китайцев за темноту, за восточную льстивость, за жестокость друг к другу. И этот Петя сейчас сдерживает слезы, как и я...

От любви к девочкам с сияющими глазами, от любви к тем, кто стоит за ними, к людям за этими стенами, людям этой страны, ко всем, всем людям на свете! Всемирно необъятное чувство, задыхаешься от него!..

3

О Бояны, соловьи старых и новых времен! Кто из вас, «скача по мыслену древу, летая умом под облакы», не воспевал народ?

Совесть народа, воля народа — нечто запредельно высокое, чему нет сравнения. Сила народа неисчислима, мудрость народа безгранична. От него и только от него исходит та сокровенная доброта, которая и поддерживает жизнь на земле.

Сталин постоянно низкопоклонничал перед народом, главным образом, русским: «...Потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Непримиримый враг сталинизма Солженицын тоже утверждает за народом приоритет ясности ума и стойкости характера. В его романе «В круге первом» не высокоученые и высоконравственные интеллигенты, собранные злой волей Сталина-Берии-Абакумова в «шарагу», несут слово обличающей мудрости, его произносит старик сторож, представитель простого народа: «Волкодав — прав, людоед — нет!» Философское кредо объемистого романа.

Ну, а кумир современного витийства Евтушенко с завидным апломбом и прямотой объявляет:

Все, кто мыслит, — тот народ,
Остальные — населенье!

Гитлеровцы, сжигая в печах Майданека и Освенцима детей, сталинисты, разорявшие и ссылавшие миллионы крестьян, миллионами расстреливавшие своих едино-

мышленников, маоисты, заварившие кровавую кашу «культурной революции», респектабельное правительство Трумэна, бросавшее на уже обескровленную, сломленную Японию атомные бомбы,— все они, столь разноликие, действовали от имени народа, во благо его, не иначе!

Великие русские писатели прошлого столетия, как никто, восславляли народ, исходя из общепринятого положения, что в нем — и только в нем, народе! — заложены лучшие духовные качества. И лишь у Пушкина настораживающим диссонансом прорывается что-то противоположное:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Стихи Некрасова, романы Достоевского, мятущиеся поиски Льва Толстого по сути — развитие и углубление старинной притчи о добром самаритянине, простонародном носителе бесхитростной и спасительной для мира человечности.

В меру своих сил я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования.

4

Я пробыл в той живительно душной, упоенно храпящей землянке каких-нибудь полчаса, а казалось, набрался надежды на всю жизнь. Если только будет у меня эта жизнь, если посчастливится увидеть конец войны, то меня окружат люди, уставшие от крови и ненависти, истосковавшиеся по любви... И тогда немец повернется раскаянным лицом к русскому. И, как это ни невероятно — да, да! — матери простят им погибших сыновей, сыновья — потерянных отцов. Так нужно, так будет. Якушин, хлебавший из одного котелка с Вилли,— тому порука.

А утром снова забесновались артиллерийские батареи, залаяли минометы, гулом отозвалась земля с чужой стороны — мы поднялись в наступление. Вперед к Ста-

линграду, где сидят зажатые со всех сторон немцы. Уже близко!

После полудня вошли в хутор где-то на подступах к Воропонову.

Средь придавленно плоской белой степи раскиданы черные, свежие углища, в каждом из них горбатится печь, даже трубы и те сбиты снарядами. По измятой гусеницами земле тянется нечистый дымок, угарно пахнущий горелым мясом, паленой шерстью. Брошенная гаубица глядит тупым рылом в невнятную просинь ясного зимнего неба и похожа на сидящую гигантскую собаку, только что не воет. И под ногами немецкие противогазы в жестянках, каски, игрушечно красивые ручные гранаты, как крашеные пасхальные яйца.

Хутор? Нет. След от него. Таких снесенных с земли селений осталось много за нашей спиной. Мы даже не успевали поинтересоваться, как они называются.

Печные трубы сбиты снарядами, а колодезный журавель остался — косо торчит, сиротливо смотрится. Под ним плотно сбитая, плечом к плечу, куча солдат — шинели, овчинные полушубки, белые маскхалаты, торчащие винтовки, покачивается тяжелый ствол противотанкового ружья,— а вокруг суетня, сбегаются любопытные, втискиваются в толпу, другие выползают, сердито крутят шапками, жестикулируют, и все краснолицы. Что-то там случилось, что-то особое, солдаты возбуждены, а уж их-то в наступлении трудно чем-либо удивить.

Я тоже, как и все, спешу к общей куче, придерживая на груди автомат.

Навстречу бежит солдатик, путается валенками в полах шинели, лицо вареное, бабье, тонко по-старушечьи причитает:

— Люди добрые! Да что же это?.. Изверги! Семя проклятущее!..

Второй солдат, низкий, кряжистый, эдакая глыба, упрятанная в полушубок, вываливается из толпы, с минуту одурело стоит, с бычьей бодливостью склонив каску, с усилием разгибается, на темной заросшей физиономии белые, невидящие глаза.

— Якушин! — узнаю я его.— Что тут?

Он, глядя слепым выбеленным взглядом мимо меня, выдавливает тяжелое ругательство:

— В бога, мать их! Миловался! Ну, теперя обласкаю!..

И, качнувшись, идет с напором, широкие плечи угрожающе опущены, каской вперед.

Спины с тощими вещмешками, в каждой напряженная сутулость. А за этими спинами мечется, как осатаневшая лиса в капкане, надрывно слезливый, с горловыми руладами голос:

— Брат-тцы! Любуйтесь!.. Брат-цы-ы! Это не зверье даже! Это!.. Это!.. Слов нету, брат-цы!..

Я плечом раздвигаю спины, протискиваюсь вперед, толкаюсь, цепляюсь автоматом, но никто не замечает этого, не огрызается.

Обледенелый сруб колодца, грузная обледенелая бадья в воздухе, обледенелая с наплывами земля. На толстой наледи — два странных ледяных бугра, похожих на мутно-зеленые, безобразно искривленные, расползшиеся церковные колокола, намертво спаянные с землей, выросшие из нее. В первую минуту я ничего не понимаю, только чувствую, как от живота ползет вверх страх, сковывает грудь.

— Брат-цы-ы! Мы их в плен берем! Чтоб живы остались, чтоб хлеб наш ели!..

Я не могу оторвать взгляда от ледяных колоколов, лишь краем глаза улавливаю ораторствующего парня без шапки, с развороченной на груди шинелью.

И вдруг... Внизу, там, где колокол расползается непомерно вширь, кто-то пешней или штыком выбил широкую лунку, в ее сахарной боковинке что-то впаяно, похоже на очищенную вареную картофелину... Пятка! Голая смерзшаяся человеческая пятка! И сквозь туманную толщу, как собственная смерть из непроглядного будущего, смутно проступили плечи, уроненная голова — человек! Там — внутри ледяного нароста! Окруженный пышным ледяным кринолином. Перевожу взгляд на второй колокол — и там...

Их трудно разглядеть, похожи на тени, на призрачную игру света с толщей неподатливо прозрачного льда. Не тени, не обман зрения — наглухо запечатанные, стоящие на коленях люди. Оттого-то и угловаты эти припаянные к земле колокола. Нет, нет! Не хочется верить! Но мои глаза настолько свыкаются, что я уже начинаю различать нательное белье, покрывающее плечи тех, что внутри. И пятка торчит из выбитой лунки, желтая, похожая на вареную смерзшуюся картофелину.

Простоволосый парень рвет на груди лацканы шинели, машет зажатой в кулак шапкой.

— Так их, брат-цы!.. Потроха вытягивать из живых!..

И кто-то угнетенно угрюмо, без запальчивости произносит:

— Это те... Из пешей разведки... Третьего дня двое не вернулось.

— Брат-цы-ы!!

А толпу качнуло. Сначала негромко, угрожающе глухо:

— Опсовели.

— И в войну знай меру...

— Того и себе, видно, хотят.

— Да мы ж их теперь!..

И осатанелый всплеск:

— Захаркают кровью!

— Потроха из живых!

— Так их в душу мать!

— О-о-о!

— У-у-у!

И я тоже вопил что-то злое и бессмысленное.

— Тих-ха!

На расползшуюся наледь выскочил пехотинец в копотном полушубке, вскинул над ушанкой сжатые в рукавицах кулаки — дядя Паша, непохожий на себя. На багровой физиономии раздуты белые ноздри, желтые прокуренные зубы в оскале.

— Тих-ха! Слушайте!.. Коль они так, то и мы так! Чего зря глотки драть! С-час!.. Вот с-час покажем. Отольются кошке мышкины слезы!

— Отольются — жди!

— Покуда доберемся до них — подобреем!

— Всегда так — покричим да остынем!

— Тих-ха!! Побежали уже... С-час! Вот с-час приведут...

Я ничего не понимал и, как все, с надеждой взирал на дядю Пашу с чужим оскалом на красном лице, неповоротливого, в завоженном окопном полушубке судию, вещающего отмщение. И я хотел этого отмщения, всей воспаленной душой, каждой взвинченной клеточкой негодующего тела.

Очнулся от ликующего до рези в ушах вопля:

— Веду-ут!!

Толпа протащила меня в одну сторону, в другую и распалась, давая проход. Еще не до конца понимая, еще ничего не видя, я успел ощутить некую отрезвляющую неуютность.

И она сразу же сменилась ужасом... Пополам согнут, головой вперед, на русой прилизанной макушке вздыбленный хохолок. Вскинулось от толчка и вновь упало

к земле лицо, одеревенело бледное и щекастое — Вилли! Двое солдат заламывали ему руки — один незнаком, второй — пузырящаяся каска лежит прямо на широких плечах. Якушин...

Толпа развалилась, давая проход, но упруго колыхалась, готовая вот-вот сомкнуться, обрушиться на заломанную жертву.

Дядя Паша, пророк-судия в окопном полушубке, уже успокоившийся, без оскала, степенный, важный, сознавая свою высокую ответственность, сдерживал накаленную толпу:

— Тих-ха! Тиха! Не лезь! Не больно-то... Что толку — сомнете. Живым его надо...

И простоволосый парень в расхристанной шинели приплясывал в проходе, сучил ногами, отступая шажок за шажком перед жертвой, захлебывался:

— Братцы! Только не все! Только раньше времени не смейте... Вежливенько, братцы, вежливенько!..

И толпа сжималась, напирала, но натужно сдерживалась. Из нее вылетали лишь советы, трезвые и беспощадные:

— Башку ему подымите, пусть посмотрит!

— Верно! Пусть знает — что за что!

— Проникайся, гад!

Якушин с добровольцем-помощником вытолкнули Вилли к колодцу на наледь. Он разогнулся, зеленый, как лед, с раскрытым ртом, помятый, стал дико оглядываться, явно не замечая ледяных колоколов.

А парень-активист в расхристанной шинели тыкал шапкой в ледяные колокола и восторженно, почти умиленно взахлеб:

— Ты, милый, сюда смотри, сю-юда-а!

Вилли глядел на напиравших людей, на обросшие, искаженные ненавистью солдатские лица. У Вилли была крупная голова и узкие, нескладные плечи под суконным мешковатым мундиром.

— Хватя! Раздевай! — приказал сурово дядя Паша.

И парень в расхристанной шинели деловито насадил на голову шапку, уцепился за мундир Вилли, и тут-то толпа ринулась, десятки рук вцепились в одежду. Вилли закричал, не по-детски, даже не по-человечьи — сипло каркающе, с захлебом.

Я уже не видел Вилли — закрыли, слышал только его рвущийся крик и озабоченные голоса:

— Ишь, сучье вымя, дергается.

— Держи, держи, я стяну...

— На колени ставьте!

И торжествующий возглас парня:

— Брат-цы! Воду!..

Заскрипел, стал нагибаться колодезный журавель, а я, вцепившись обеими руками в автомат, попятился, натыкаясь спиной на суетящихся людей.

Нет, я не сорвал автомат с шеи, не остановил, я даже не крикнул. Люди перестали быть людьми, я их боялся.

Что мой голос для них? И что мой автомат? Здесь был вооружен каждый. Я трусливо пятился.

Склонялся и выметывался колодезный журавель. Давился в крике Вилли.

5

Продолжение второй моей истории наблюдал в 1966 году китаевед Желоховцев.

Вот отрывок из его записок[1].

«У библиотеки соорудили высокий дощатый помост — не то трибуну, не то эстраду, не то эшафот. На фоне красных знамен на нем стоят выстроенные в шеренгу люди, опустив на грудь головы в ушастых бумажных колпаках. На многих бумажные накидки, сплошь покрытые надписями. В руках они держат фанерные щиты с перечнем «преступлений». На груди у некоторых висят плакатики: «Черный бандит».

— Склони голову! — вдруг услыхал я возглас за спиной и резко обернулся: к импровизированному эшафоту вели сравнительно молодого человека. Двое держали его под руки, а третий ударял по затылку — человек этот не желал опускать голову, он стойко и упрямо выпрямлялся.

Тогда конвойные остановились, стали осыпать осужденного бранью и бить куда попало. Избиваемый не сопротивлялся, он шатался из стороны в сторону, пытаясь устоять. Проходившие по аллее студенты сгрудились вокруг жертвы.

— Контра! Сволочь! — неслись выкрики.

Человек упал, и все наперебой стали пинать его ногами, но он не издал ни одного стона или крика.

Вдруг от собравшейся на судилище толпы отделились человек пять и бегом понеслись к нему, крича:

---

[1] Желоховцев А. «Культурная революция» с близкого расстояния». М., 1973.

— Его будут судить массы. Ведите его сюда!

Разъяренная толпа, только что с холодным ожесточением избивавшая беззащитного человека, при властном крике мгновенно дисциплинированно расступилась. Жертва недвижимо лежала на асфальте.

— Вставай! — крикнули подбежавшие студенты еле дышавшему человеку, подняли его и потащили к эстраде. Избитый из последних сил несколько раз пытался поднять голову, но, получив затрещины, беспомощно ронял ее снова. Я смотрел, как его вытащили на сцену и прислонили к заднику, обтянутому красной тканью. Он соскользнул на пол. Ему приказали встать на ноги и влепили несколько увесистых пощечин, но тщетно. Тогда подошел здоровенный детина — кто-то из ведущих активистов — и заработал солдатским ремнем. Удары ремня привели избитого в чувство, он встал на ноги. На него натянули бумажный колпак клоуна и накинули бумажную хламиду. Двое юнцов начали быстро что-то писать на ней черной тушью. Еще один парень замазал его лицо белой краской, макая кисть в большую консервную банку — в старом национальном театре злодеев гримировали белым...»

Читаю дальше: «В тот же день я возвращался из клуба советского посольства. Собрание перед библиотекой продолжалось. Осужденные по-прежнему стояли шеренгой, у самого края рампы, держа на вытянутых руках над головой фанерные щитки с перечнем своих «преступлений». Время шло, и вдруг люди начали один за другим мешковато валиться на помост. Все глазели на них, но никто не подходил, не трогал их — это, видимо, никого не удивляло. Я был настолько потрясен этим зрелищем, что не удержался и спросил стоявшего рядом паренька с красной повязкой, что с ними.

— Они стоят так целый день. Человек же не может простоять долго, держа руки над головой, вот они и падают,— охотно объяснил он мне, нарушая строгий запрет вступать в разговор с иностранцами.— Только их нечего жалеть. Ведь это черные бандиты и предатели. Они захватили власть в парткоме и насаждали здесь черное царство. Зато теперь пришло время и революционные массы спросят с них.

А в это время на эстраду, освещенную ярким светом ламп, вышли молодые ребята с ремнями в руках и принялись самозабвенно хлестать упавших. Те поднимались, снова падали, фигуры «революционеров» прыгали вокруг

них, пряжки ремней поблескивали в лучах света, а возбужденная толпа, требуя смерти, скандировала:

— Ша! Ша! Ша![1]»

Все это происходило в том самом Педагогическом университете, где я пережил одни из самых светлых минут своей жизни.

6

Едва ли не всю жизнь меня отравляла загадка дяди Паши и Якушина. Учился в институте, спорил до хрипоты о судьбах человечества, читал умные, выстраданные книги, ездил по стране, сам стал писать книги и всегда помнил рвущийся крик Вилли.

Были же добры в землянке эти дядя Паша с Якушиным. Что за нужда им притворяться. «Душевный человек Вилли...» И: «Братцы! Воду! Живьем его!»

Доброта и лютая жестокость — как это может находиться в одной шкуре? Когда дядя Паша и Якушин были сами собой — в землянке или у колодца?

Кто они, собственно,— люди или не́люди?!

Там, у колодца, озверела целая толпа. И невольно припоминаешь годы, когда едва ли не весь наш народ вопил в исступлении: «Требуем высшей меры наказания презренным выродкам, врагам народа!» Требуем смерти, жаждем крови! Нет, нет! Дядя Паша и Якушин — не случайное уродство, к ним применимо избитое выражение «типичные представители».

По капле воды можно судить о химическом составе океана. Того океана, который зовется Великим Русским народом, за которым всеми признается широта и доброта души!

Я горжусь своим народом, он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова — великих человеколюбцев. И вот теперь впору задать себе вопрос: мой народ, частицей которого я являюсь,— люди или не́люди?!

Как тут не отчаиваться, не сходить с ума!

Подозреваю: такой же вопрос может задать любой и каждый человек на планете о своем народе.

---

[1] Смерть! *(кит.)*

7

В Кремлевском зале шел III съезд советских писателей. Выступал сам Хрущев, учил писателей, как надо писать и о чем писать.

Рядом со мной сидел сотрудник отдела культуры ЦК Игорь Черноуцан и растерянно крутил головой.

— Ни одного слова. Ну, ни одного...

Как и положено, выступление было заранее запланировано и подготовлено. Сейчас Черноуцан слушал своего высокого хозяина, изумленно крутил головой и тихо сетовал — ни слова из написанного Хрущев не произносит, вдохновенно импровизирует. И куда только его не заносит, даже в поэзию. Вспомнил неожиданно некого Махотько, шахтера, писавшего стихи в отдаленные времена хрущевской юности. Перед избранными писателями страны с энтузиазмом были прочитаны махотькинские шедевры. Кто-то стыдливо клонил голову долу, кто-то пожимал плечами, кто-то ухмылялся про себя, ну а кто-то ликующе взрывался аплодисментами, вскакивал с места, чтоб его ликование не осталось незамеченным.

Впоследствии газеты устроили усиленную облаву на этого Махотько, хотели напечатать, прославить, прочесали страну во всех направлениях и... не нашли. Подпочвенный поэт, шахтер Махотько оказался странным мифом. Многие заподозрили — уж не сам ли Хрущев легкомысленно грешил в молодости стихосочинительством, застенчиво прикрывшись сейчас псевдонимом?

Хрущев наконец иссяк и сошел с трибуны. Казалось бы, после Юпитера и боги и смертные должны молчать, следует объявить долгожданный перерыв. Ан нет, слово предоставляется Корнейчуку. И тот, захлебываясь от восторга, в течение двадцати минут с упоенным усердием, по-лакейски грубо поет аллилуйю Юпитеру:

— Историческая речь Никиты Сергеевича... Мудрое слово Никиты Сергеевича... Мы все потрясены... Мы прозрели...

Тут уж стыдно было, кажется, всем без исключения, и тем, кто сидел в президиуме рядом с Хрущевым, и тем — кто в зале. Клонились ниц, прятали глаза, не вскакивали с мест в ликовании. Не испытывали стыда только двое — вдохновенный Корнейчук и сам Юпитер. Хрущев сидел с горделивой осаночкой, высоко держал голову, величаво взирал — очень, очень ему нравилось!

С должным запалом, с приличествующим — до мокроты в голосе — проникновением Корнейчук произнес здравицу и с чувством исполненного долга ретировался. Перерыв! Расходитесь! Э-э нет, погоди — еще один ритуал.

Хрущев занимает место на выходе, и каждый из членов президиума съезда, проходя, обязан с изъявлением чувств пожать ему руку. Тут уж — кто во что горазд, со всей изобретательностью.

Почтенный глава Союза писателей Константин Федин с картинной благоговейностью берется за руку Хрущева и сгибается — раз, другой, причем поразительно низко, к самым хрущевским коленям. Рука в рукопожатии оказывается намного выше седого затылка. Какая, однако, гибкая спина у этого старейшего писателя, воистину резиновая.

Леонид Соболев, напротив, жадно хватает руку Хрущева обеими руками и трясет, трясет, столь судорожно, что сам весь жидко трясется. Трясется и приседает в изнеможении, набирается усилий, разгибает ноги и снова трясется, снова обессиленно оседает... Уф! Наконец-то кончил, испарился.

Не столь приметные члены президиума — из союзных республик — подкатывали бочком, коснувшись руки, обмирали и ускользали.

Александр Твардовский с подчеркнутым достоинством подошел, с подчеркнутой вежливостью пожал руку — не задержался.

И вот сцена опустела, на ней остались только двое — Хрущев, дежурящий у входа, и в самом дальнем углу Валентин Овечкин, с прядью, уроненной на лоб, с поднятыми плечами. Он что-то не торопился подыматься. А Хрущев ждал, не уходил.

Делегаты съезда, дружно освобождавшие зал, замешкались, кто застыл в охотничьей стойке, кто опускался на первое же попавшееся место, выжидательно тянул шею.

Овечкин в углу, недвижимый Хрущев у входа — руки по швам, спина деревянно пряма, живот подобран, лоб бодливо склонен. Томительная минутка...

Но вот Овечкин решительно встает, напористо идет к выходу. Выход загорожен, и Овечкин останавливается.

Склоненный лоб против склоненного лба, коренасто подобранный Овечкин и тяжеловесно плотный, взведенный Хрущев, у обоих руки по швам. В двух шагах, глядят исподлобья, не шевелятся.

Овечкин дернулся, плечом вперед, с явным намерением прорвать осаду. И Хрущев не выдержал, поспешно, даже с некоторой несолидной суетливостью вскинул руку. Овечкин походя тряхнул ее и исчез.

Я, веселясь про себя, направился в гостиницу «Москва», где остановился Овечкин.

Не скинув пиджака, он ходил по номеру, раздраженно зелен, мелкие, обычно рассеянно добрые глаза сейчас колючи, в углах губ жесткие складочки.

— Ты что комедию ломаешь?

Он пнул монументальный плюшевый стул старой гостиницы.

— Комедию начал он!

— Напоминало ребячью игру в гляделки — кто кого?

— Знает, что мне противно жать ему руку, оттого-то и ждал — пугану, мол, в штаны наложит.

— Ты что, объявлял ему об этом «противно»?

— Письма писал.

— Насчет рукопожатия?

— Насчет всего. В открытую! Без беллетристики. Сначала писал вежливо, потом сердито, а уж последние письма — матерные! Писем двадцать пять! Не могли они мимо пройти, особенно последние — показали, не сомневаюсь! И ни на одно!.. Ни на одно не ответил!

— Рассчитывал его образумить?

Овечкин яростно повернулся ко мне, схватил за лацканы пиджака.

— А на что можно рассчитывать стране? На какую силу?! На крикунов, которые снова готовы звать Русь к топору? Не хватит ли играть в эти игрища? От них только реки крови да кровавые болота! Снова старым голосом петь: «Весь мир насилья мы разрушим!..» Разрушим, но не построим! От змеи змея рождается, от насилия — насилие! Хочу силу направить на разумное! А у нас теперь есть одна сила — власть!

— Считаешь — власть может все?

Овечкин выпустил из рук мой пиджак, устало сел.

— Все,— сказал он тихо и убежденно.— Даже больше, может и невозможное.

— Например?

— От примеров деваться некуда. Взбалмошный человек заставляет: делай, страна, что моя левая нога захочет! Прикажет на Луне сеять кукурузу — будем! Сам по себе

он бессилен, а его власть сильна. Ее бы направить на полезное дело!..

— У любого из русских царей было, ей-ей, не меньше власти — самодержцы всея Руси! — напомнил я.— А могли бы они заставить сеять кукурузу?

— Хреновые, видать, самодержцы. Четыре царя, начиная с Екатерины, картошку вводили. Восемьдесят лет волынили — льготы, премии, бунты усмиряли. И ввели потому только, что в конце концов мужик разнюхал — полезна картошка. А кукурузу за Полярным кругом — нет уж, жидковаты самодержцы!

— Бунты усмиряли... А у нас, заметь, без всяких усилий — не только бунтов, маломальского непослушания не было. С какой стати ты нашей власти приписываешь силу, которой она и не применяла? На чем ты ее сумел увидеть?

Он долго молчал, смотрел в окно на рыжую кремлевскую стену, дыбящуюся из зелени Александровского сада.

— Знаешь,— глухо произнес он наконец,— это страх! Дикий страх перед властью, убивающий рассудок.

— Но слишком уж невнушительны сейчас методы запугивания — ни карательных отрядов, ни репрессий, самое большее — начальнический окрик да удар кулака по столу. Право же, причин пугаться нет.

— Сейчас невнушительно... Сейчас! А вспомни, что было. Не только вслух говорить — думать боялись, как бы «черный ворон» ночью не выгреб из постели к следователю, который прежде, чем ушлет за колючую проволоку или поставит к стенке, потешится — прикажет ломать кости, вгонять под ногти иголки. Говорят: Моисей сорок лет водил евреев по пустыням, чтоб вымерло поколение рабов, вместе с ними исчез из народа рабский дух. У нас, наверное, тоже должны смениться поколения, чтоб исчез страх перед властью, даже перед начальническим окриком.

— Да страх ли? — усомнился я.— Припомни сам, как люди во времена «черных воронов» бесновались на собраниях. Скажешь, не было восторга в этих беснованиях? Искреннего восторга, поклонения перед жестокостью. Да я подростком сам его переживал, видел — переживают и взрослые. От страха ли такая искренность?

Овечкин молчал, смотрел в гостиничное окно на кремлевскую стену. Лицо его было каменно, и только подобранные губы судорожно напряжены. Он молчал, значит, сознавал мою правоту, иначе уж обрушился бы с возражениями. Он молчал и, кто знает, не вспоминал ли, что

сам верил и восторгался. Унизительные воспоминания — кто из нас может избежать их?

Поддержанный его молчанием, я решился на крамольное:

— Мы считаем, что «черные вороны» Сталина — причина испорченности народа. Страхом, видите ли, заразили, поколения должны вымереть, чтоб исчез сей порок. А может, все наоборот — оттого и «черные вороны» стали рыскать по ночам, что сам народ был подпорчен — покорностью, безынициативностью, той же рабской трусостью.

Овечкин резко повернулся ко мне.

— Думай, что говоришь! — почти с угрозой.

— То есть не святотатствуй! — подсказал я с вызовом.

— На народ списывать?!

— Ну да, народ же свят и чист! Совесть его — запредельна, воля — несокрушима, мудрость — непостижима. И вот почему только те, у кого нет ни совести, ни воли, ни мудрости, подчиняют, извращают столь сильный и святой состав человечества?

Овечкин закричал:

— Списывать на народ!.. На на-род!! Все равно, что кивать — стихия виновата, на то воля божья! Как можно жить с таким бессильем? Жить и еще писать книги!

Он был прав — жить трудно. И сам скоро подтвердил это, пустив себе из ружья пулю в голову. Пуля, задев мозг, выбила глаз. Овечкин остался жить.

Из Курска, из центральной России, которую столь хорошо знал и любил, изувеченный и больной, он уехал в Ташкент к сыновьям... Там и умер, неприкаянный, забытый, непримиримый.

Наш спор с ним так и остался незаконченным.

8

Но я продолжал спорить с самим собой — все эти шестнадцать лет после разговора в гостинице «Москва». И образ дяди Паши мучил меня — «типичный представитель»? Жестокая загадка.

— Народ — стихия. Не столь ли бессмысленно упрекать его, скажем, в жестокости, как разверзшийся вулкан?

— А, собственно, что такое народ? Как он выглядит?

— Обычно мы представляем себе бесчисленных дядей Паш, некую величественную человеческую массу, нечто необъятное и бесформенное. Но бесформенным-то народ

никогда не бывает. Во все времена, любой народ представлял из себя определенное устройство.

— Ну и что? Разве это как-нибудь меняет наше отношение к народу?

— Меняет в корне. Мы считаем, что История слагается именно из действий личностей.

— И это не верно? Неужели человек не причастен к своей истории?

— Не верно уже потому, что человек постоянно вынужден поступать вопреки своим личным интересам, своим желаниям. Хочу одного, а делаю совсем иное.

— Например?

— Примеры на каждом шагу. Вот хотя бы самый бытовой, незначительный... По дороге с работы мне нужно зайти в магазин, купить колбасы к ужину. А к продавцу очередь. Я устал, я голоден, мое насущное желание — поскорей попасть домой, поужинать, растянуться на диване. Но я становлюсь в очередь, жду, вынужден пропускать вперед себя других, терять время, поступать вопреки своим желаниям.

— Какое это имеет отношение к истории?

— Иллюстрирует на малом, что человек крайне зависим в своих поступках, не хозяин сам себе.

— Открыл Америку!

— То-то и оно, что всем это известно, глаза намозолило, но странно — никто не принимает этой очевидности в расчет. А ведь, кажется, ясно — если все так зависимы даже в столь мелких человеческих построениях, как очередь к прилавку с колбасой, то уж, наверное, грандиозные общественные построения еще с большей силой должны заставлять любого и каждого поступать против своих интересов, против личных желаний. История слагается из действий личностей. Как бы не так! Сами-то личности действуют не самостоятельно.

— Так кто ими крутит? Господь бог?

— Устройство общества.

— Но общество-то устроено из чего? Из людей же, из отдельных личностей!

— Почка и мозг тоже построены из одних белковых веществ, да по-разному, а потому различно и функционируют. В США живут такие же люди, но представить себе нельзя, чтоб там могла развернуться широкая кукурузная кампания. Все понимали: вредно, бессмысленно сеять эту южную культуру в Приполярье, а сеяли — массовый идиотизм! Нельзя же допустить, что русские от природы

дурей американцев. Устройство иное, иное и поведение людей.

— Значит — каково устройство, таковы и люди? Ну, а как объяснить чудовищную жестокость дяди Паши у обледенелого колодца? Тоже система заставила?

— Да. Начать с того, что дядя Паша и Якушин находились в весьма своеобразном человеческом устройстве, именуемом действующим фронтом, где одни людские вооруженные массы расположены против других вооруженных масс. Одно это противорасположение уже заставляет прятаться и выслеживать, защищаться и убивать, пребывать в постоянной настороженности и ожесточенности. Землянка на короткое время укрыла солдат от войны. Не надо прятаться, выслеживать, убивать. И дядя Паша с Якушиным на короткое время стали теми, какими были в мирной обстановке. Нет, они тут не притворялись добрыми. Они были ими!

А как ни жестока война, но и в ней существует свой предел жестокости. Обстоятельства на фронте обычно не складываются для солдата так, чтоб он ради выполнения приказа или спасения себя становился перед необходимостью изуверски пытать противника.

И вот ледяные колокола — случай необычный, из ряда вон выходящий, вызывающий необычные чувства. А они, в свою очередь, толкают и на необычные действия, причем направленные, требующие какой-то организации. Солдаты, сами того не желая, создали своеобразную карательную систему. Да, да, систему, где люди по-своему взаиморасположены и связаны — с добровольцами-исполнителями, с ведущими и ведомыми. Система действует, перевоплощает солдат в палачей. Дядю Пашу и Якушина в том числе.

— Ну и заврался. Сам сказал: сначала солдаты стали действовать, система сложилась потом в результате их действий. Значит, и палачами стали раньше, система в том не повинна.

— Ан нет, все-таки без сложившейся системы дядя Паша бы до палача не дорос.

9

Автобус катит по московской улице — газетный киоск, убегающие вывески магазинов, громоздкий автокран у обочины, строительный новенький желтый забор, выпирающий на середину мостовой...

Неожиданно из-за забора с перекрестной улицы выскакивает такси. И... скрежет тормозов, как снопы под ветром, валятся друг на друга пассажиры в проходе. Тупой, с причмоком удар и крик женщины, гортанно-резкий, словно голос морской чайки.

В такси оцепеневший шофер, почти мальчишка — подрубленные бачки, нечесаная, по моде, волосня, невызревше угловатый профиль устремлен вперед, куда-то вдаль. За ним грузин в громадной плоской кепке-«аэродром». Он темпераментно крутит «аэродром», дергается всем телом на взирающего в неблагополучную даль паренька, кипятится. Удар пришелся на переднее крыло, крышка капота отскочила, в ней, изувеченной, живая дрожь.

После чаечного крика женщины в автобусе накаленная тишина, ни шороха, ни шевеления, лишь вливается влажная свежесть улицы в раскрывшиеся при ударе дверцы. Наконец прорезался густой, недовольный баритон:

— Сук-кин сын!

Сразу же въедливо тонкий, со слезной мокрецой голос:

— Сажают за руль сопляков!

И всколыхнулся оскорбленный, грозово растущий ропот:

— Хорошо — без жертв.

— Как сказать, я вот по рылу получил.

— Ох, господи! Не отдышусь...

— Старую задавили.

— Без-зоб-разие!

Ропот выметает из автобуса одного из пассажиров. Он в жарко распахнутой дошке, в болтающемся на шее кашне, в посаженной на уши шляпе, выхватывает из кармана бутылку и начинает ею угрожающе манипулировать с приплясом:

— Т-ты! Опусти стекло! Т-ты! Ды-вад-цать пять человек из-за тебя, плюгавого, нервами сейчас оборвались! Может, тут такие едут, т-ты пальца их не стоишь!.. Опусти стекло! Я тебя бутылкой, бутылкой!..

Парнишка-шофер лишь втягивает свою волосатую голову в плечи и продолжает вглядываться в даль, с другой стороны дергается, крутит кепкой-«аэродромом» грузин.

А внутри автобуса растет раздражение — пассажиры зажигаются воинственностью человека с бутылкой:

— Ехали себе и — какой-то хмырь!

— Из-за него по рылу мне, могло и покалечить.
— Старую придавили чуть ли не насмерть.
— Ох, миленькие, не отдышусь...
— Врежь ему, врежь!
— Открой дверцу, лапоть! Вытащи!
— Не справишься — поможем!
— Кости пощупаем!
— Кос-ти! Таким головы отвинчивать!

И гневно краснеют лица, и расправляются плечи, и победные переглядки, и толкучка возле открытых дверей — дергаются, сучат ногами, готовы выскочить.

Человек с бутылкой, чуя поддержку, возбуждается до неистовства, пляшут ноги, разлетаются полы дошки, кашне сползает с шеи, вот-вот упадет, будет затоптано, и бутылка, отблескивая, крутится над шляпой, и голос тоньшает, рвется от злобы:

— Стекло! Кому сказано — опусти стекло! Все равно не спрячешься! Бутылкой тебе! Бутылкой!

Играет спина под дошкой, сверкает бутылка, автобус подогревает:

— Врежь ему! Врежь!
— Крикни кацо, пусть дверку отомкнет.
— Ударь по стеклу, чего уж жалеть!

И человечек с бутылкой уже воет нечленораздельно:

— У-о-х т-те-бя!!

Возле него вырастают два парня — простовато одеты, внушительно рослы, должно быть, рабочие с автокрана.

— А ну, раскудахтался!
— Человек влип, без тебя не сладко.
— Рад, скотина, чужой беде!

Бутылка опускается, перепляс замирает, в расхристанной фигуре ни тени неистовства, шляпа, натянутая на самые уши, ползет в плечи.

— Так ведь он что... аварию устроил!
— Без тебя разберутся, мотай отсюда!

В автобусе озадаченная заминка, все тянут шеи, недовольно разглядывают типа в распахнутой дошке, держащего в руке бутылку. И вновь густой недовольный баритон:

— Действительно.

Баритон не дозвучал, как уже подхватили:

— Что верно, то верно — у парня беда.
— Не расхлебается — затаскают теперь.
— Молоденький!
— Слава богу, без жертв — не посадят.

— Зато влетит в трудовую копеечку — машину-то гробанул.

И как прежде — грозово растущий ропот:

— Бутылку выхватил!..

— Нализался, скотина!

— Ему бы бутылкой по шляпе!

— Эй вы! Врежьте ему! Врежьте!

Те же самые люди, теми же голосами.

— Видишь, какие фортели выкидывает толпа. А что если предположить, что в автобусе, не считая выскочившего человека с бутылкой, находился всего один пассажир. Так ли бы он вел себя?

— Смотря какой по характеру. Импульсивный, наверное, так же бы возмущался.

10

— В том-то и дело, что не так, не столь бурно. Даже самый импульсивный. Он бы, конечно, возмутился, однако на его возмущение никто бы не откликнулся, оно не получило бы поддержки, не подогрелось бы, не стало расти дальше, не достигло степени той активности.

— Хочешь сказать, что и дядя Паша, столкнись он с колоколами в одиночку, не дошел бы до жестокой крайности?

— А разве можно в этом сомневаться? Казнить человека, да еще таким страшным способом, взять на себя (только на себя!) тяжелую ответственность — нет, тут надо быть патологическим садистом. Дядя Паша им не был — нормальный человек, мог поделиться пайкой хлеба с товарищем, наверное, с риском для жизни мог вытащить из-под огня раненого — человеческое ему присуще.

— То-то и страшно — человеческое присуще, а поступить бесчеловечно способен!

— Не сам по себе, только в компании. Толпа вокруг ледяных колоколов распалила себя, стала той благоприятной средой, где страшный процесс трансформации человека в садиста мог дозреть до конца.

— Почему же тогда ты в этой толпе не дозрел? И вообще не кажется ли тебе, что ты своими рассуждениями убиваешь личность? Человек живет в окружении других людей, как правило, выстроенных в какой-то порядок,

а значит, воздействующих на отдельного человека, направляющих его поступки. А действует ли когда-нибудь человек, как того ему хочется? Бывает ли он сам собой? Имеет ли право называться личностью?

11

Личность — тема, не одного меня пугающая своей непосильной сложностью. Формирование личности, ее восприимчивость, зависимость, эмоциональные и рациональные особенности... великие умы блуждали тут, как в лесу, не добираясь до заповедных ответов.

Нет, не решусь влезать в личность и свою дремучую некомпетентность могу компенсировать одним — рассказать случай, который, как мне кажется, существенно «подправил» мое «я».

Случай внешне незначительный, но для меня постыдный. Было время — думал, что не сообщу его ни матери, ни брату, ни жене, ни детям своим, сам забуду, погребу в глубине души. Но вот, считай, прожил жизнь, и, кажется, она дает мне право быть предельно искренним — открывать то, что обжигало стыдом за себя.

Маршевая рота шла на фронт. Тусклую, высушенную, безнадежно бескрайнюю степь накрывало вылинявшее необъятное небо. Иногда в нем появлялась «рама» — немецкий двухфюзеляжный корректировщик. Не торопясь, не прячась, с хозяйской деловитостью, нарушая нутряным урчанием моторов тихую грусть осеннего воздуха, «рама» кружила над землей. Сотня захомутанных в шершавые скатки солдат, растянувшихся по дороге, не привлекала ее внимания — не дислокация войск, не переброска техники, так себе — блукающие.

Все мы пробыли месяц в запасном полку за Волгой в селе Пологое Займище. Мы, это так — мусор отступления, остатки разбитых за Доном частей, докатившихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливцы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых... два свинцово-тяжелых сухаря на день, мутная водица вместо похлебки, ватные ноги и головокружение от голода и с утра до вечера ненужная маршировка с деревянными, грубо выструганными из досок ружьями:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..

Отправку на фронт встретили с радостью.

Лейтенант, которому была вручена маршевая рота, сбился с маршрута, шестые сутки мы блуждали по степи, а продпункты, на которых мы должны были получать пропитание, оставались где-то, бог весть, в стороне. Давно был съеден НЗ, четвертый день никто ничего не ел. Шли, и падающих помкомвзводы подымали сапогами...

Еще в Пологом Займище я сошелся с одним старшим сержантом. Он относился ко мне покровительственно, свысока, и я за это был ему благодарен. Солдат кадровой службы, лет под тридцать, для меня многоопытный старик. Ему нравилось учить меня житейской мудрости, которая вся вмещалась в одно слово—«находчивость». Под ним подразумевалось умение обмануть, и главным образом старшину. Ходячее мнение—нет во всех вооруженных силах такого старшины, который бы не обворовывал солдат. Я совсем не обладал находчивостью, страдал от этого, презирал себя.

Нет, нет, во время похода старший сержант не был рядом со мной, не руководил мною. Истощенные, движущиеся, как тени, мы уже не в состоянии были проявлять друг к другу внимание, каждый боролся за себя в одиночку.

Очередной хутор на нашем пути, населенный не мирными жителями, а военными. Мы все попадали на обочину дороги, а наш бестолковый лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.

Через полчаса старшина вернулся.

— Ребята!—объявил он вдохновенно.— Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!

Восторга сообщение старшины, разумеется, не вызвало. Каждый мечтал, что в конце концов нам выдадут за все голодные дни—ешь до отвала. А тут, как милостыню, кусок хлеба.

— Ладно, ладно вам! Понимать должны—от себя люди оторвали, имели право послать нас по матушке... Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты!—Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем.

Дом с невысоким крылечком. Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки — семь и еще половина. Мягкий пахнущий хлеб!

В ту секунду, когда старшина ткнул в меня пальцем — «Давай ты!» — у меня вспыхнула мыслишка... о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая. Я и сам не верил ей — где уж мне...

Тащился с плащ-палаткой за старшиной, а мыслишка жила и заполняла меня отравой. Я расстилал плащ-палатку на затоптанном крыльце, и у меня дрожали руки. Я ненавидел себя за эту гнусную дрожь, ненавидел за трусость, за мягкотелую добропорядочность, за постоянную несчастливость — не находчив, не умею жить, никогда не научусь! Ненавидел и в эти же секунды успевал мечтать: принесу старшему сержанту хлеб, он хлопнет меня по плечу, скажет: «Э-э, да ты, брат, не лапоть!»

Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.

Плотный, невысокий, чуть кривоногий старшина вышагивал впереди меня поступью спасителя, а я тащился за ним, сгибаясь под плащ-палаткой, и с каждым шагом все отчетливей осознавал бессмысленность и чудовищность своего поступка. Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Военная находчивость, да нет — я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет известно... Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!

В жизни мне случалось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться со своим уличным врагом Игорем Рявкиным, и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел толстый, как полено, пожелтевший от старости голавль, и снял его с крюка... Но всякий раз я находил для себя оправдание: наврал учителю, что был болен, не выучил задание — надо было дочитать книгу, которую мне дали на один день, подрался снова с Игорем, так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля — рыбацкое воровство! — но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашел...

Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку! Но, расправив плечи, заломив фуражку, вышагивал старшина-кормилец, ни на шаг нельзя от него отстать.

Я был бы рад, если б сейчас налетели немецкие самолеты, шальной осколок — и меня нет. Смерть — это так привычно, меня сейчас ждет что-то более страшное.

С обочины дороги навстречу нам с усилием — ноет каждая косточка — стали подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.

Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.

В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:

— А где?.. Тут полбуханка была!

Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.

— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!

Я молчал.

— Да ты что — за дурака меня считаешь?

Мне больше всего на свете хотелось вернуть украденный хлеб: да будь он трижды проклят! Вернуть, но как? Вести людей за этим спрятанным хлебом, доставать его на глазах у всех, совершить то, что уже совершил, только в обратном порядке? Нет, не могу! А ведь еще потребуют: объясни — почему, оправдывайся...

— Где?!

Скуластое лицо старшины, гневное вздрагивание нацеленных зрачков. Я молчал. И пыльные люди с темными лицами обступали меня.

— Я же помню, братцы! Из ума еще не выжил — полбуханки тут было! На ходу тиснул!

Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:

— Лучше, парень, будет, коли признаешься.

Я окаменело молчал.

И тогда взорвались молодые:

— У кого рвешь, гнида?! У товарищей рвешь!

— У голодных из горла!

— Он больше нас есть хочет!

— Рождаются же такие на свете...

Я бы сам кричал то же и тем же изумленно-ненавидящим голосом. Нет мне прощения, и нисколько не жаль себя.

— А ну, подыми морду! В глаза нам гляди!

И я поднял глаза, а это так трудно! Должен поднять, должен до конца пережить свой позор, они вправе от

меня этого требовать. Я поднял глаза, но это вызвало лишь новое возмущение:

— Гляньте: пялится, не стыдится!

— Да какой стыд у такого!

— Ну и люди бывают...

— Не люди — воши, чужой кровушкой сыты!

— Парень, повинись, лучше будет.

В голосе пожилого солдата — крупица странного, почти неправдоподобного сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.

— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.

И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.

— Не бойся! — с презрением проговорил он.— Бить тебя... Руки пачкать.

А я хотел возмездия, если б меня избили, если б!.. Было бы легче. Я дернулся по привычке, тело жило помимо меня, оно испугалось, не я.

И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — темные, измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные, особенно у того парня, который поправил пилотку: «Бить тебя — руки пачкать!» Каждый из обступивших меня по-своему красив, даже старик солдат со своими голубенькими глазками в красных веках и сивым подбородком. Среди красивых людей — я безобразный.

— Пусть подавится нашим хлебом, давайте делить, что есть.

Старшина покачал перед моим носом крепким кулаком.

— Не возьмешь ты спрятанное, глаз с тебя не спущу! И здесь тебе — не жди — не отколется.

Он отвернулся к плащ-палатке.

Господи! Мог ли я теперь есть тот преступный хлеб, что лежал под крыльцом,— он хуже отравы. И на пайку хлеба я рассчитывать не хотел. Хоть малым, да наказать себя!

На секунду передо мной мелькнул знакомый мне старший сержант. Он стоял все это время позади всех — лицо бесстрастное, считай, что тоже осуждает. Но он-то лучше других понимал, что случилось, возможно, лучше меня самого. Старший сержант тоже казался сейчас мне красивым.

Когда хлеб был разделен, а я забыто стоял в стороне, бочком подошли ко мне двое: мужичонка в расползшейся

пилотке, нос пуговицей, дряблые губы во влажной улыбочке, и угловатый кавказец, полфизиономии погружено в мрачную небритость, глаза бархатные.

— Братишечка,— осторожным шепотком,— ты зря тушуешься. Три к носу — все пройдет.

— Правыл-но сдэлал. Ма-ла-дэц!

— Ты нам скажи — где? Тебе-то несподручно, а мы — мигом.

— Дэлым на тры, па совесты!

Я послал их, как умел.

Мы шли еще более суток. Я ничего не ел, но голода не чувствовал. Не чувствовал я и усталости. Много разных людей прошло за эти сутки мимо меня. И большинство поражало меня своей красотой. Едва ли не каждый... Но встречались и некрасивые.

Мужичонка с дряблыми губами и небритый кавказец — да, шакалы, но все-таки они лучше меня — имеют право спокойно говорить с другими людьми, шутить, смеяться, я этого не достоин.

Во встречной колонне двое озлобленных и усталых солдат тащат третьего — молод, растерзан, рожа полосатая от грязи, от слез, от распущенных соплей. Раскис в походе, «лабушит» — это чаще бывает не от физической немочи, от ужаса перед приближающимся фронтом. Но и этот лучше меня — «оклемается», мое — непоправимо.

На повозке тыловик старшина — хромовые сапожки, ряха, как кусок сырого мяса,— конечно, ворует, но не так, как я, чище, а потому и честней меня.

А на обочине дороги возле убитой лошади убитый ездовой (попал под бомбежку) — счастливей меня.

Тогда мне было неполных девятнадцать лет, с тех пор прошло тридцать три года, случалось в жизни всякое. Ой нет, не всегда был доволен собой, не всегда поступал достойно, как часто досадовал на себя! Но чтоб испытывать отвращение к себе — такого не помню.

Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед самим собой. Тот, кто это носит в себе,— потенциальный самоубийца.

Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой позор. Но какое-то время я не падал на землю при звуке приближающегося снаряда, ходил под пулями, распрямившись во весь рост,— убьют, пусть, нисколько не жалко. Самоубийство на фронте — зачем, когда и так легко найти смерть.

Мелкими поступками раз за разом я завоевывал себе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя катушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали — нормально. А это-то мне и было нужно, я не претендовал на исключительность, не смел и мечтать стать лучше других.

Странно, но окончательно излечился от презрения к себе я лишь тогда, когда... украл второй раз. Наше наступление остановилось под хутором Старые Рогачи. Посреди заснеженного поля мы принялись долбить землянки. Я и направился на кухню с котелками. И возле этой, запряженной унылыми лошаденками, дымящейся кухни я заметил прислоненное к колесу ветровое стекло от немецкой автомашины. Кто-то из солдат раздобыл его, услужливо принес повару за лишний котелок кулеша, пайку хлеба, возможно, и за стакан водки. Мне налили в котелки похлебку, и, отправляясь к своим, я прихватил ветровое стекло. Моя совесть на этот раз была совершенно спокойна. Повар и так был наделен благами, какие нам могли только сниться, он не ползал по передовой, не рисковал жизнью каждый день, не ел из общего котла и землянку сам не долбил, за него это делали доброхоты, которых он прикармливал. И стекло это повар оплатил из нашего солдатского кошта, нашим наваром, нашей водкой. Услужливый солдатик за стекло свое получил — обижаться не мог,— а сам повар на стекло прав имел не больше, чем я, чем мои товарищи. Я же самоутверждался в своих глазах: чувствую, что можно, а что нельзя, подлости не совершу, но и удачи не упущу, перед жизнью уже не робею.

В обороне под Старыми Рогачами мы жили в светлой, с окном — моим стеклом — в крыше, землянке — роскошь, не доступная даже офицерам.

Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.

12

Украденный у голодных товарищей хлеб — лично для меня случай, наверное, даже более значительный, чем страшный эпизод у обледенелого колодца. Дядя Паша

и Якушин заставили меня тревожно задуматься, украденные полбуханки хлеба, пожалуй, определили мою жизнь. Я узнал, что значит — презрение к самому себе! Самосуд без оправдания, самоубийственное чувство — ты хуже любого встречного, навоз среди людей! Можно ли при этом испытывать радость бытия? А существовать без радости — есть, пить, спать, встречаться с женщинами, даже работать, приносить какую-то пользу и быть отравленным своей ничтожностью — тошно! Тут уж единственный выход — крюк в потолке.

Я стал литератором, не считал себя приспособленцем, но всякий раз, обдумывая замысел новой повести, взвешивал — это пройдет, это не пройдет, прямо не лгал, лишь молчал о том, что под запретом. Молчащий писатель — вдумаемся! — дойная корова, не дающая молока.

И я почувствовал, как начинает копиться неуважение к себе.

Не случись истории с украденным хлебом, я бы, наверное, не насторожился сразу, продолжал перед собой оправдывать свое угодливое умолчание, пока в один несчастный день не открыл себе — жизнь моя мелочна и бесцельна, тяну ее через силу.

Всех нас жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения, через детское «пожалуйста» — нормы человеческого общения.

Всех учит, но, право же, не все одинаково способны учиться.

13

В Москве проходило очередное помпезное совещание писателей, кажется, опять съезд. Я собирался на него, чтоб потолкаться в кулуарах Колонного зала, встретить знакомых, уже натянул пальто, нахлобучил шапку, двинулся к двери, как в дверь позвонили.

На пороге стоял невысокий человек — одет вполне прилично, добротное ширпотребовское пальто, мальчиковая кепочка-«бобочка», пестрое кашне. И лицо, широкое, скуластое, с едва уловимой азиатчинкой, снующий взгляд черных глаз. Из глубины моей биографии, из толщи лет на меня поплыли зыбкие, еще бесформенные воспоминания.

— Узнаешь? — спросил он.

— Шурка! Шубуров!

— Я. Здравствуй, Володя.

Ни мало ни много, тридцать лет назад в селе Подосиновец мы сидели с ним за одной школьной партой. Он скоро бросил школу, исчез из села.

А несколько лет спустя просочился слух — гуляет по городам, рвет, что плохо лежит.

В первые дни войны один из моих знакомых, возвращавшийся в село через Москву, встретил Шурку на Казанском вокзале. Тот был взвинчен, даже не захотел разговаривать, несколько раз появлялся и исчезал, крутился вокруг грузного мужчины с маленьким потрепанным чемоданчиком.

Наконец Шурка надолго исчез, появился лишь к вечеру, в руках его был потертый чемоданчик.

— Пошли!

Завел в глухой закуток, стал лицом к стене.

— Гляди, да не вякай. Кабана подоил.

Он приоткрыл крышку, чемодан был набит пачками денег.

Мой приятель любил присочинить. Чемодан, полный денег,— эдакая традиционная оглушающая деталь ходячего мифа об удачливом воре. Скорей всего, баснословного чемодана не было. Шурка Шубуров работал скромнее.

Вот он с прилизанными волосами, в тесноватом пиджачке — скромен и приличен — сидит передо мной. И легкий шрамик на скуле под глазом — знакомый мне с детства.

— Давно завязал. У меня семья, двое детей, квартира в Кирове, но жизни нет, съедают, не верят, что жить по-человечески могу.

Он скупенько рассказал, что прошел по всем лагерям:

— По колено в крови, бывало, ходил...

Лет восемь назад он отбыл последний срок и... жить негде, жить не на что, на работу никуда не принимают, прописки не дают. Бродил по Москве, не зная, куда прислонить голову — с вокзалов гнали, с отчаяния решился: пришел на Красную площадь и направился прямо в Спасские ворота Кремля. Его остановила охрана:

— Куда?

— К Никите Сергеевичу Хрущеву. Не пропустите — здесь лягу, идти мне некуда. Или берите обратно, откуда пришел.

Лечь ему под Спасскими воротами не позволили, забрать обратно не решились — за старую вину отсидел, новой еще не приобрел. Его начали передавать с одной охранной инстанции в другую, и везде он твердил одно:

— Хочу встречи с Никитой Сергеевичем. Кроме, как у него, правды не найду.

Раскаявшийся преступник, жаждущий ступить на путь добродетели, еще во времена, когда рыскали «черные вороны», вызывал симпатии, прошел косяком по нашей литературе, выдавался за образец высокого человеколюбия: «Ни одна блоха не плоха!» Жестокость редко обходится без сентиментальности. И это-то помогло Шурке Шубурову. Охранные органы прониклись сочувствием настолько, что доложили о нем, бывшем воре, желающем стать честным советским гражданином, Хрущеву. А уж тот кинул через плечо: помочь! И Шурку ласково, почти с почетом отправляют в главный город той области, где он родился, там его ждет квартира, предоставляется работа. Но...

— Съедают. Не могут простить — Хрущев мне помог.

Нельзя не верить — теперь все, что связано с ниспровергнутым главой, вызывает недоверие и вражду. Нельзя и забыть, что сидел с ним за одной партой, шрамик на скуле — не след лагерной жизни, помню его с детских времен.

Но как и чем помочь? Я не Хрущев, кинуть через плечо — помогите! — не могу. Но есть какие-то знакомые в Кирове, не попробовать ли действовать через них?

— Знаешь, я без копейки. А здесь жена и дети...

У меня в эту минуту в кошельке только двадцать пять рублей. Договариваемся о встрече — выясню, заручусь поддержкой, отправишься обратно, ну, а о деньгах на дорогу не беспокойся.

Друг детства, натянув свою кепочку, уходит от меня.

Через час я в Колонном зале, встречаюсь с писателем из Кирова, на помощь которого рассчитываю. Он уже знает о появлении в Москве Шурки Шубурова, Шуркина жена нашла его на совещании, пожаловалась на безденежье, взяла... двадцать пять рублей.

Жена с детишками на следующий день приходит ко мне на дом, но меня не застает. Мои домашние, как могли, обласкали ее, посадили за стол, умилялись детишками, снова дали денег.

А спустя еще день или два я получаю по почте извещение — явитесь к следователю в одиннадцатое отделение милиции, что находится рядом с ГУМом.

Следователь милиции, молодой человек со значком юридического вуза в петлице, объявляет: Шубуров арестован в ГУМе — залез в карман. Мелкое воровство осложняется воровским прошлым.

— Провинция,— не скрывает следователь своего презрения.— В ГУМе стал промышлять. Масса народу, толкучка — удобно, а не знает, что где-где, а уж тут-то следят вовсю — не развернешься. В его кармане найдены деньги — восемнадцать рублей, указывает на вас — дали вы.

— Дал.

Я рассказываю о нашей встрече, подписываю протокол, прошу следователя: не нарушая законности, проявить снисходительность и человеческое понимание — двое детей на руках и, вполне возможно, вернуться на прежний путь вынудила его травля, которой он подвергался в родном городе.

Следователь обещает мне, но без особого энтузиазма:

— Право же, мало чем могу помочь. Схвачен на преступлении, заведено дело — не прикроешь. Разрешите, я распишусь на повестке, иначе вас отсюда не выпустят.

И действительно, милиционер с монументальной фигурой и сумрачной физиономией, стоящий у выхода, придирчиво и подозрительно оглядывает меня с головы до ног. Не то место, где оказывают доверие.

Я чувствовал себя пакостно, словно Шурка попытался обворовать не какого-то неизвестного покупателя в ГУМе, а меня. Зачем ему это было нужно? Какие-то деньги он имел, голодным не был, знал, что скоро встретимся, мог рассчитывать на мою помощь.

В толкучке прохожих на людной Октябрьской улице, неся досаду и недоумение, я вдруг подумал: Шурку уж наверняка не раз уличали, как меня с украденным хлебом, и он снова и снова повторял тот же номер. Значит, не проникался к себе самоубийственным презрением — проходило мимо, ничуть не задевало.

Жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения...

А чему я, собственно, удивляюсь: из многих миллионов только один человек оказался столь чуток, что заметил в упавшем яблоке всемирно масштабное. Мне доступно такое? Ой нет.

Все люди сходны друг с другом, никто не может похвастаться, что имеет больше органов чувств, принципиально иное устройство мозга, любой про себя может сказать: «Ничто человеческое мне не чуждо». Но как эти

люди не похожи, как по-разному они глядят на мир, различно чувствуют, различно поступают.

Никак не проникнемся азбучным: личность по-своему воспринимает мир.

Сколько личностей — столько миров!

Хотелось бы знать: а как случай у обледенелого колодца подействовал на дядю Пашу? Изменился ли он после своего палачества? Может, стал садистом или, напротив, казнит себя за содеянное?

Навряд ли, скорей всего остался прежним. Если уцелел на войне, то теперь он уже почтенный старик. Прожил жизнь, родные и знакомые, наверно, не считали его злым человеком.

14

Во мне обнаружилось нечто мое личное лишь после того, как я, голодный, столкнулся из-за полбуханки хлеба с голодными товарищами.

Кто я таков? Каковы мои личные качества? Я это могу узнать только тогда, когда соприкоснусь с окружением, почувствую на себе его влияние.

Бессмысленно говорить о личности, отрывая ее от окружающей среды. Без нее личность просто не проявится.

А для любого и каждого самой существенной частью окружающей среды является его человеческое окружение, всегда каким-то образом построенное.

Каждый реагирует на него по-своему, не похоже на других.

И каждый находится от него в зависимости.

Зависимость еще не значит обезличивание. Наоборот, влияние человеческого окружения и открывает уникальные особенности отдельного человека.

Ты среди масс порождаешь меня. Я в числе прочих — тебя.

До сих пор мы рассматривали случаи, когда массы дурно влияют на личность. Однако бывает же и наоборот.

В конце августа 1947 года я возвращался из своего села, где проводил каникулы, снова в институт. В Кирове — пересадка на московский поезд.

Еще страна не улеглась после войны, еще продолжали возвращаться и эвакуированные, и демобилизованные, и партии вербованных рабочих катили — одни на восток, в Сибирь, другие — на запад, в разрушенные войной области, и соединялись разбросанные семьи, и началось уже бегство из голодных деревень, и потоки командированных... Великая страна кочевала, заполняя вокзалы пестрым народом, спящим вповалку, мечущимся, голодающим, напивающимся, страдательно мечтающим об одном — о билете на нужный поезд!

К окошечку билетной кассы выстроилась огромная, через всю привокзальную площадь, очередь, тревожно колышущаяся и в то же время обреченно терпеливая, охваченная зыбкими надеждами. Все надеяться не могли — очередь слишком велика, билетов выбрасывалось слишком мало. Растянутый хвост гудел от сдержанных голосов, там сочинялись легенды: «Могут пустить «Пятьсот веселый», дополнительный поезд с товарными вагонами, тогда-то уедем все...» Творили легенды и тут же опровергали их: «Пятьсот веселый» в столицу?.. Не ждите, Москва «веселые» поезда пропускает стороной». Хвост очереди шумел, с легкостью отказывался от надежд, а голова — отрешенно молчалива, замороженно неподвижна. Здесь в счастливой близости к закрытому окошечку кассы стояли те, кто выстрадал это счастье несколькими сутками вокзальной жизни, кто в этой очереди коротал бессонные ночи, много раз впадал в отчаяние, истерзан, изнеможен, держится из последних сил, полон сомнений, не верит уже в удачу. Очередь через всю пасмурную, мокрую от дождя площадь — парад ватников, брезентовых плащей, шинелей со споротыми погонами, платков, кепок, меховых не по сезону шапок, громоздких мешков, чемоданов, вместительных, как сундуки, сундуков, приспособленных под чемоданы.

Наконец голова очереди, стоявшая вблизи окошечка в отрешенном окоченении, вздрогнула, подалась вперед, и дрожь прошла по всей длинной очереди, подавив смех, смыв улыбки, оборвав на полуслове разговоры. Касса открылась! И перекатный ропот от начала в конец, удивленный и недовольный — кассирша вывесила цифру мест, предназначенных для распродажи. Роптать не было ни нужды, ни смысла, без того каждый знал — на всех не хватит. И ропот быстро сменился деловым шевелением.

Середина очереди, ее обильное туловище, выслала незамедлительно вперед своих делегатов-добровольцев,

чтоб досматривали и не пускали ловкачей, желающих просочиться к заветному окошечку. Сразу же среди пятка решительных делегатов, в те минуты, пока они шагали к голове, выделился атаман — дюжий парень, кубаночка венчает рубленую физиономию, напущенный чуб, нахальные глаза, золотой искрой зуб во рту.

— Стройся! Стройся по порядочку! — напористым старшинским тенорком начал командовать он.— Вы, гражданочка, стояли тут или только приклеились? А то мы можем и за локоток. У нас быст-ра!..

Но ему сразу же пришлось почтительно отступить перед плечом с малиновым погоном, перед фуражкой с малиновым верхом — железнодорожный милиционер с дремотно недовольным лицом бесцеремонно растолкал очередь и кивнул молодой женщине:

— Сюда!

Втолкнул ее третьей от окошечка.

Женщина была нищенски одета, из просторного, с мужского плеча, затасканного ватника тянулась тонкая, беззащитная шея, щеки в нездоровой зелени, запавшие глаза в сухом беспокойном блеске, руки зябко прячутся в длинные рукава.

— Правонарушителей опекаешь, браток? — понимающе осведомился парень в кубанке.

Милиционер не счел нужным повести в его сторону даже бровью, все с тем же дремотным недовольством на лице, выражающим, однако, убежденность в своей силе и величии, удалился.

Парень долго и оценивающе изучал женщину, слепо глядящую перед собой, наконец авторитетно пояснил:

— Лагерная шалава, из заключения. Стараются сплавить быстрей, чтоб не шманала на вокзале.

— А выгодно, братцы, быть жуликом.

— Заботятся.

— Мы тут четвертый день околачиваемся, нас бы кто за ручку подвел.

С головы к хвосту по всей очереди потек недоброжелательный говорок:

— Попробовать тоже... авторитет заработать.

— Попробуй, тогда на казенный счет отправят.

— Только не в ту сторону, куда целишься.

— Это чтой там случилось?

— Да партию лагерных девок поставили в очередь.

— Ну-у, теперь нам еще сидеть.

— За нас лагерные сучки поедут!

— Ах, мать-перемать! Нет жизни честному человеку!..

А парень в кубаночке ораторствовал, подогревал:

— Чей-то билет ей достанется! Может, мой, может, твой!.. Я за родину кровь проливал, а она державе пакостила. Зазря бы в лагеря не сунули. И вот ее берегут, а на меня плевать!..

Женщина молчала, напряженно распрямившаяся, с вытянутой из ватника бледной тонкой шеей, худое лицо безжизненно замкнуто, глаза прячутся в глазницах, только в неестественно вскинутых плечах ощущалось — все слышит, переживает враждебность.

Наконец два человека, стоявшие впереди нее, не участвовавшие в осуждении, получили свои билеты, с резвостью исчезли. Женщина пригнулась к окошечку кассы. И все кругом замолчали, только ели глазами ее спину в объемистом ватнике, уже не находили слов, чтоб выразить свою неприязнь и обиду. Даже парень в кубанке только сплюнул в сердцах.

Но что-то случилось возле окошечка, женщина задерживалась, волновалась, сдавленно объясняла.

— Ну, что там? Бери да проваливай! — не выдержал парень.

Мужичонка с лисьей физиономией и тяжким сидором на горбу, который, однако, не мешал прыткой подвижности, сунулся сбоку, прислушался и откачнулся в ликовании:

— А у нее, ребятушки, денег-то нету! Торгуется — на билет недостает!

Парень в кубанке победно из-под чуба оглядел свое окружение, расправил плечи и крикнул уже по-начальнически:

— Пусть проваливает! Эй, кума, чисти место!

Женщина послушно откачнулась от кассы, серое в нездоровую зелень узкое лицо, плавящиеся в глубоких глазницах глаза.

— Не выгорело! — Парень показывал радостно золотой зуб, выпячивал грудь, чувствовал себя героем.— Сходи-ка с ручкой к тем, кто привел. Может, отвалят.

И женщина с трудом разлепила бледные губы:

— Смейся!.. К детям еду, сама больна... Нету денег, откуда?.. Сколько было — хранила, двое суток уже не ела... Смейся!

— Вот, вот, пожалуйся, а я пожалею,— парень, показывая золотой зуб, картинно поворачивался в разные стороны, ждал поддержки.

Но на этот раз кучная голова очереди не отозвалась, все угрюмо отворачивались. Отворачивались, не хотели знать чужой беды. Минутная неловкая тишина. Женщина грязным рукавом ватника досадливо смахивала слезы. И мужичонка с большим сидором глядел на нее, конфузливо мялся, покрякивал.

Из-за его спины — «ну-кося, расшарашился!» — вынырнула старушка, развязала платочек, скупенько заковырялась в нем сухонькими пальцами, протянула бумажку.

— Сколь не хватает-то? Немного, чай?.. Возьми, милая, может, еще кто даст. Больше-то не могу...

Старушка совала бумажку женщине, та слабо отмахивалась:

— Не, бабушка, что уж...

— Да бери, бери! Стыдного нет. Не все же без сердца — поймут...

Мужичонка с сидором решительно крякнул, с досадою полез за пазуху.

— И правда, девка, с миру по нитке — голому рубаха. Я тоже вот к детям еду, с гостинцами... Да бери ты, коли дают!

Женщина глядела в землю и не шевелилась, над впалыми щеками проступили два вишневых пятна. Чей-то густой решительный бас взорвался за платками и кепками:

— Чего вы как нищенке суете! Пройди кто по очереди да собери! Не откажут!

Парень в кубанке с размаху хлопнул себя по коленке:

— Вер-на! Организация нужна!..

Он сорвал с себя кубанку, достал из кармана пятирублевую бумажку, повертел ее перед толпой — любуйтесь, что жертвую! — шагнул к старухе.

— Кидай, бабуся, свой рублишко! И ты, дядя!.. Граждане! Кто сочувствует... Граждане! Не обременяя себя, так сказать, по мере возможности!.. Каждый может оказаться в стеснительном положении... Спасибо!.. Тронут!.. Еще спасибо...

Очередь уставших, издерганных людей, только что накаленных недоброжелательством, только что презиравшая эту приведенную милицией женщину, завидовавшая ей, считавшая едва ли не врагом, теперь охотно бросала в подставленную кубанку смятые деньги.

А женщина смотрела вниз, щеки ее цвели пятнами и блестели от слез.

Парень, разрумянясь, посверкивая зубом, прижимая кубанку, прошествовал к окошечку кассы, обернулся к очереди.

— Прошу кого-нибудь сюда — для контроля! Хотя бы ты, дядя, проследи: не для себя, пользуясь случаем, только для нее!.. Чтоб не было неприятных недоразумений, чтоб честно и благородно до конца!

И опять из-за платков и кепок прокатился давящий бас:

— Бери и себе заодно, раз так! Что уж, всех одним билетом не спасешь!

— Нет, я честно и благородно до конца!.. Ни в коем разе!

Женщина стояла, уронив вдоль тела рукава ватника, и плакала.

15

Парень в кубанке достал билет, сел в поезд. И что — стал другим, уже не хамовитым по натуре, а чутким? Наивно думать. Он остался прежним.

Но если он окажется в таком человеческом устройстве, которое заставит его не от случая к случаю, а год за годом поступать отзывчиво, не хамовито, то можно ли сомневаться, что отзывчивость у него превратится в привычку, привычка — в характер. Изменится личность.

Люби ближнего своего, не убий, не лжесвидетельствуй!.. Пророки и поэты, педагоги и философы тысячелетиями на разные голоса обращались к отдельно взятому человеку: совершенствуйся сам, внутри себя!

Я бы рад самоусовершенствоваться — любить, не убивать, не лгать,— но стоит мне попасть в общественное устройство, раздираемое непримиримым антагонизмом, как приходится люто ненавидеть, война — и я становлюсь убийцей, государственная система выдвигает диктатора, он сажает и казнит, заставляет раболепствовать, я вижу это и молчу, а то даже славлю — отец и учитель, гений человечества! В том и другом случае лгу и не могу поступить иначе.

Благие призывы моралистов ко мне: совершенствуйся! Они давно доказали свое бессилие.

Мы все воедино связаны друг с другом, жизненно зависим друг от друга — в одиночку не существуем,— а

потому самосовершенствование каждого лежит не внутри нас: мое — в тебе, твое — во мне!

Не отсюда ли должна начинаться мысль, меняющая наше бытие?

* * *

Итак, перед нами прошли картинки нашей истории. Сам их видел, сам играл в них скромную роль. В биографии одного человека не умещается необъятная жизнь народа. А потому все-таки картинки, нечто отрывочное, не охватывающее пройденный период истории целиком. Однако и это отрывочное заставляет задумываться...

Существует широко распространенное убеждение — люди своим дурным поведением сами портят себе жизнь. Если б каждый из нас силой своей воли заставил себя быть честным, а не лживым, добрым, а не злым, любил, а не ненавидел ближнего своего, то мир и благоденствие наступили бы на белом свете. Именно к этому испокон веков призывала религия, именно так в свое время считал и я, противник религиозности, так думают теперь едва ли не все, кто недоволен жизнью.

Но приглядимся повнимательней к самим себе, к своему поведению, подойдем к нему с беспристрастно строгой оценкой. Всегда ли мы ведем себя безупречно, не совершаем ли поступков, наперед зная, что они недостойны, могут принести несомненный вред? И только ли потому мы это делаем, что подвержены некоторой порче — недостаточно стойки нравственно, слабовольны и пр. и пр.? Да нет же, нас часто заставляют обстоятельства, они оказываются намного сильней нас. Внешние обстоятельства, внешние по отношению ко мне... Из всего внешнего на меня больше всего влияет не окружающая природа, не некая умозрительная среда, а окружающие люди. Опять же, не было, нет и не будет человека, способного жить сам по себе, независимого ни от кого.

Окружающие нас люди — бесформенная масса, случайное скопление? Нет, люди вокруг нас всегда намеренно или невольно выстраиваются в определенную структуру, в упорядоченную систему. Самые всеобъемлющие человеческие построения — это общественные, вмещающие в себя многомиллионные массы, целые народы.

Они не застывше неподвижны, они деятельны, эти величественные структурные объединения людей. Что же определяет их деятельность? Казалось бы, сам собой

напрашивается ответ: да личности, стоящие у власти. Монарх или парламент, узурпатор или избранная группа отдают приказы, а люди их исполняют с охотой или под принуждением.

И что же, эти правители вольны отдать любой приказ, заставить общественное устройство действовать так, как им заблагорассудится? Увы, приказания могут и не соответствовать устройству. Никакими усилиями шофер не заставит автомашину совершить полет к облакам, данная конструкция не способна к таким действиям. Напротив, действия самого шофера находятся в прямой зависимости от конструкции, он может проявлять себя лишь в определенном диапазоне ее возможностей.

В такой же зависимости от общественного устройства находятся и правители. Не они устанавливают характер деятельности, они только регулируют ее в заданном направлении. Заданном не кем-то свыше, а спецификой человеческого построения, сложившегося в ходе развития.

Мир вопит о злодеяниях Сталина, но наивно думать, что Сталин сам по себе смог бы выбросить десять миллионов крестьян из своих домов, загнать их в гиблые места Сибири или же произвести кошмарно кровавую чистку по всей стране великой. Это делали опять же миллионы граждан, фатально выстроенные в своеобразный всеохватывающий механизм, способный в силу своего устройства действовать именно так, именно с такой чудовищной жестокостью. Не Сталин создал мясорубочный аппарат, как уверяют теперь многие исследователи. Этот аппарат существовал до того, как он, Сталин, пришел к власти, правда, был не до конца еще отлажен, нуждался в соответствующем управлении. Никакая более или менее гуманно настроенная фигура не могла занять место у его пульта, подходил только тот, чьи личные качества не препятствовали, а, наоборот, помогли бы проявить заложенные в общественном устройстве возможности. Сталин лишь объездил монстра и умело им правил.

Общественный монстр ныне заметно одряхлел, утратил былую кровожадность, но продолжает жить, не хочет умирать, а в агонии может быть страшен. Никак не гарантировано, что не произойдет новой вспышки бешенства.

Каждый из нас — живая клеточка его организма, а потому бешенство монстра станет и нашим невольным бешенством. Вновь наша история запестрит трагическими картинками.

Рисуя перед вами картинки не столь далекого прошлого, я не сомневался — у читателя должны возникнуть те же вопросы, что и у меня.

Как нам выбраться из шкуры монстра?

Существует ли возможность преобразовать нашу бесчеловечную систему?

И какой должна быть система человечная?

Какой?!.

Раз уж вопросы возникли, то возникает и необходимость ответить на них. Пусть хотя бы в виде прикидочных соображений, пусть поиск методом нащупывания, но только не безнадежное отмахивание — «где уж нам уж выйти замуж».

Собственно, все, что вы сейчас прочитали,— не что иное, как затянувшееся предисловие к соображениям на тему переустройства нашей жизни.

Предисловие кончилось, поговорим по существу.

1975—1976

Революция! Революция! Революция!

Ряд волшебных изменений
Милого лица.

А. Фет

«Это драма — драма идей»,— сказал Эйнштейн о физике. Когда-то я поразился горделивой емкости его слов, теперь они вызывают у меня чувство горького снисхождения, которое можно сравнить лишь с искушенным чувством взрослого, глядящего на слёзы обиженного ребенка: «Такие ли обиды, дорогой мой, бывают в жизни». Такие ли драмы переживают идеи, рожденные стремлением познать и изменить человеческие отношения.

В 1956-м мне пошел тридцать третий год — пресловутый возраст Христа. В тот год начали открыто суесловить по адресу бога, рабы на минуту почувствовали себя свободными, трусы возомнили себя храбрецами, свято верующие вынуждены были притворяться безбожниками, а меня охватило запоздалое, зато пронзительное до нетерпимости желание оглянуться назад: где, в каком месте случился идеологический поворот? Когда идеи свободы стали идеями насилия? Как это Сталин оказался вместо Ленина?

Отца давно уже не было в живых. Его ровесники — те, кто день за днем прошли по истории,— знали не больше моего. Они охотно рассказывали эпизоды, легенды, анекдоты прошлых лет, но не могли объяснить — где, когда, почему? Да и был ли этот несчастный поворот? Должен быть!

И я решил обратиться к самому... Ленину: укажи, Владимир Ильич.

Без преувеличения, я стал ленинцем со дня своего рождения. Право же, среди многих миллионов ленинцев немногие имеют возможность произнести такие слова.

Я родился в глухой вологодской деревне, которая и сейчас-то глуха — сто четыре километра от железной дороги. Меня назвали Владимиром в честь Ленина, его именем. Уже тогда, еще при жизни Ленина, преданные ему рядовые революции называли своих детей Владимирами, Владленами, Ленинианами — в честь Бога-Спасителя, зовущего из царства мрака и насилия в царство Свободы и Справедливости.

Мой отец, подпасок и чернорабочий, красногвардеец и комиссар полка, член большевистской партии с 1918 года, в своей преданности пошел еще дальше. Ленин называл религию «духовной сивухой» — и мой отец наотрез отказался крестить своего сына.

И это в лесной звериной глуши, где христианство было сплавлено с языческими суевериями, где почтение к церковным обрядам уживалось с дремучим животным страхом перед лешими и домовыми. Ни деды, ни прадеды слыхом не слыхали, чтоб кто-то отказался крестить подкидыша, даже незаконнорожденного, презренного «выблядка». Без этого у человека не могло быть имени, не представлялось, как можно без купели. Иногда младенец умирал раньше, чем поп опускал его в купель, и тогда его хоронили не на кладбище, а зарывали тайком, стыдливо, страдая о погубленной душе.

И вот родной отец в трезвом сознании, в твердой памяти лишает кровного сына святого крещения!..

Бесхитростные семейные предания, услышанные мной в глубоком детстве, повествуют о том, как со всей округи шли старики и старухи к моей люльке. Некоторые приходили за пятьдесят верст по трескучему морозу, по заметенным дорогам, чтоб взглянуть одним глазком «на антихриста во младенчестве». За пятьдесят верст! А зима в тот год, говорят, была свирепая.

Моя мать показывала странникам мой младенческий зад («глядите — хвоста нет»), мои ноги («нет копытец») — ребенок как у всех. Но сердобольные старухи причитали надо мной:

— Ох, все одно не жилец! Ох, долго не протянет!

Если электрическую лампочку, изобретенную Эдисоном, внесенную в деревенскую избу, называли тогда «лампочкой Ильича», считали, что она не только светит, но и пропагандирует ленинские идеи, ленинские завоевания, то, наверное, и мой младенческий зад без признаков хвоста, без каких-либо бесовских отличий с полным основанием можно внести в ленинский пропагандистский

актив. А меня, обладателя столь знаменательного зада, позволительно называть ленинцем самым юным, какого только можно представить.

Ленин в те дни лежал в последнем параличе, ровно через сорок семь дней после моего появления на свет его не стало.

Когда я научился произносить его имя, распознавать его на портретах, ощущать как величайшего из великих спасителей мира? Нет, это так же невозможно вспомнить, как и свое первое «мама».

С семи лет я стал октябренком, вместе с картонной пятиконечной звездой, обшитой кумачом, носил на груди значок с портретом трехлетнего Ленина — милого мальчика с пышными расчесанными кудрями.

С девяти — я пионер. И на требовательное: «За дело Ленина — Сталина — будьте готовы!», отвечал, вскидывая над головой руку: «Всегда готовы!»

С пятнадцати — комсомолец. Комсомольский билет — мое самое первое удостоверение в жизни.

Этот комсомольский билет я спрятал в пилотку, когда пробовал переплыть через Дон, спасаясь от наступающих немцев. Я тогда все утопил — гимнастерку, штаны, сапоги, нижнее белье,— все потом пришлось надеть чужое. Но я твердо знал — билет потеряю только с головой. Спас свою голову, спас и билет с профилем Ленина на обложке.

Через какой-нибудь год с небольшим я сменял этот билет на книжку кандидата партии, а затем получил и членский партийный билет. И по сей день я член той партии, которую Ленин организовал в свое время.

Не было для меня авторитета выше на свете. Кто еще, как не он, мог объяснить мне все?

Грудой дел,
                    суматохой явлений
день отошел,
                    постепенно стемнев.
Двое в комнате.
                    Я
                    и Ленин —
фотографией
                    на белой стене.

Днем я писал повести о секретарях райкомов, конфликтующих с председателями колхозов, а вечерами...

Вечерами я начал разговаривать с Лениным, с тридцатью красными томами его сочинений — единственное наследство, оставшееся мне от отца.

Разговаривать — не читать, не штудировать, как это было прежде, когда приходилось сдавать экзамены по марксизму-ленинизму,— на равных, не боясь уже сомневаться и возражать.

И Ленин оказался неожиданным собеседником. Вместо того, чтобы бичевать отступников, сокрушать Сталина, он начал опровергать... самого себя.

Ленин против Ленина. Великого, непогрешимого! Никогда еще я не соприкасался с такой крамолой — Ленин против Ленина! И долго я не мог отделаться от ощущения — вершу недопустимое, я — еретик, я — преступник! Хотя, казалось бы, при чем тут я? Это Ленин, заключенный в ледерин красного цвета, выпущенный по стране в миллионах экземпляров, говорит крамольное.

Двое в комнате.
Я
и Ленин...

Тогда-то я и начал мало-помалу понимать: это драма — драма идей, всечеловеческая, всепланетная. Бывала ли в истории драма грандиознее? Навряд ли.

В то время случай свел меня с неким Иванниковым...

Одна из городских библиотек пригласила меня выступить. Как всегда после встречи, был «лестничный» разговор,— уже одетые в пальто и шапки наиболее неуемные из читателей продолжали выяснять со мной отношения. Как всегда, нашелся желающий проводить:

— До метро, если вы не против.

В поношенном пальто из тяжеловесного ратина, в шляпе, в клетчатом кашне — по виду служащий, еще не дослужившийся до обеспеченного оклада, отдельной квартиры и той независимости, которая появляется вместе с правом ставить рядом со своей фамилией на деловых бумагах слово «заведующий».

Сначала и лицо его показалось мне заурядным — не определившееся до полной зрелости, чуть тронутое нездоровой полнотой,— лицо оседлого горожанина, чья молодость прошла мимо спортивных площадок, морских пляжей, горных троп и лесных костров. Но, приглядываясь, я постепенно начал улавливать в нем надсадную настороженность, резкие перемены от искренности к подозрительности. И речь его была отрывиста, полна многозначительных недомолвок. Он как бы выстреливал

откровением, а потом пугался, что я его не пойму,— отчужденно замолкал.

— Я завтра встречаю отца,— выпалил он без предисловий, едва мы оказались на улице.

Мне надлежало догадаться, что это, в общем-то заурядное сообщение произнесено не спроста. И я счел обязанным вежливо осведомиться:

— Давно не виделись?

— Девятнадцать лет и три месяца! — резкий ответ.

— Ого!

— Из лагерей! Реабилитирован!

— Значит, у вас большая радость.

Он передернулся:

— Не знаю...

— Почему?

— Не плюнет ли мне в лицо отец при встрече!..

Так началась исповедь Максимилиана Иванникова, рваная, сумбурная, где откровенность самосвежевания сменялась почти враждебными сомнениями: «Зачем вам это?.. С какой стати вам знать мое?..»

Эта исповедь продолжалась больше месяца, так как в тот вечер, побродив по московским улицам добрых часа два, я на прощание дал Иванникову свой телефон, попросил заходить ко мне. И он приходил и рассказывал, рассказывал...

Встреча его с отцом прошла сердечно. Отец некоторое время жил у него, но очень скоро получил комнату, освободил сына от опеки.

Нет, Иванников и я не стали друзьями, нас связывала только его исповедь. В его судьбе я видел свою судьбу, но в чудовищно кривом зеркале — искалеченную, обезображенную. Он же нуждался в слушателе. Словом — «она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним...».

Рано или поздно исповедь должна была иссякнуть, а мы расстаться. Иванников исчез из моей жизни...

Но по вечерам я продолжал другие встречи — «двое в комнате: я и Ленин...». Беседовал с Лениным и вспоминал Иванникова. В эпохальную драму социальных идей невольно влезала личная драма случайного человека в поношенном ратиновом пальто, моего ровесника, моего соотечественника.

Сейчас я сам исповедуюсь, собираюсь раскрыть самые сокровенные мысли, вызванные многолетней беседой с Лениным в третьем издании тридцати красных томов. И в этих выношенных мыслях путается Иван-

ников со своей историей. Говоря о Ленине, не могу не говорить о нем.

Вынужден поэтому гнать «в пристяжке» две повести сразу.

I

О живых деспотах, как о покойниках, говорят или хорошо, или молчат. Деспоты обычно редко сталкиваются с открытым негодованием. Проклинаемый издалека Герценом, Николай I жил окруженный восторженным подобострастием.

А его сын Александр II — царь-реформатор, который плохо ли, хорошо ли провел наконец отмену крепостного права и допустил в России суд присяжных заседателей, погиб от рук бомбистов.

В 1866 году студент Дмитрий Каракозов делает одну попытку. В 1880 году кроткого вида и трезвого поведения столяр Степан Халтурин совершает следующую — взрыв в Зимнем дворце. Убито и искалечено пятьдесят крестьянских парней — солдат Финляндского полка, находившихся в караульном помещении. Александр II и его семья — целы и невредимы. Побиты лишь куверты на столе, накрытом для торжественного приема принца Гессенского.

А год спустя, 1 марта, в Петербурге среди бела дня взрываются одна за другой две бомбы. Первая разносит царскую карету, вторая смертельно ранит царя. Вместе с царем замертво падает и его убийца, мальчишка Гриневицкий...

Россия начала добывать свободу...

Александр Ульянов в Петербургском университете на последнем курсе — пишет самостоятельную работу о каких-то, зоологически не до конца исследованных, червях, признанную выдающейся, и вступает в террористический кружок. Как шесть лет назад, программа проста: убить Александра III. Юные террористы назначают покушение снова на 1 марта...

В этот день их всех арестовывают.

8-го мая Александр Ульянов и пять его товарищей повешены.

Слово сожаления о нем роняет сам Менделеев,— о нем и о Кибальчиче, как о талантах, вырванных из науки революционным движением, которое для великого химика кажется делом безнадежным и бессмысленным.

«Мы пойдем другим путем!» — такова поздняя легенда о ранней мудрости нового Спасителя. Слишком уж наивно тенденциозны эти слова, чтоб быть правдой.

В эти дни Владимир кончает гимназию, и вопрос — кем быть — встает перед ним со всей требовательностью. «Кем быть?» — тот родник, откуда начинает течь деятельная жизнь личности. Только у испорченных с детства натур он бывает мутным — с примесью себялюбивой корысти.

Одна семья воспитала Александра и Владимира. Если что и удалось доказать Александру неудачным подвигом, то это свою нравственную чистоту. Можно ли сомневаться, что Александр из могилы помог младшему брату выбрать свой путь? «Пепел Клааса стучит в мое сердце!»

1

Иванников был младше меня на несколько месяцев. Он родился уже после смерти Ленина.

Осенью 1919 года продотряд, сформированный на котельном заводе Бари, выехал на Рязанщину за хлебом. Вместе с реквизированным хлебом он привез в Москву семнадцатилетнюю девчонку Глафиру Патлову.

Она сиротствовала. Родни — целая деревня: дядьки, тетки, сватьи, кумовья по отцу и матери, но всем лишняя. Отец Глафиры пропал на войне, мать и раньше прихварывала, а без отца пришлось на себе тащить дом. Косила на болоте — простыла, слегла и не встала. В наследство Глашке достались изба, корова, овчинный полушубок да икона святого отрока Варфоломея в углу. Глашкин крестный забрал себе корову, за это обязался кормить девчонку «до взрослости». Он же перенес к себе икону отрока Варфоломея. Старая же изба стояла пустой, тащили с нее что могли — рамы с уцелевшими стеклами, двери с петель, даже изношенные половицы выбрали. До взрослости у крестного Глашка не дожила — скотину обиходь, навоз выгреби, за детишками догляди, летом в поле помогай, только что не пашут на тебе — обрыдло! Ушла к соседям, там семья поменьше. Соседи в дом приняли — лишняя пара рук как-никак,— но не могли простить, что корова Глашкина осталась у прежних хозяев: «За будь здоров тебя держим, помни!» Потерпела да взъелась: «Пропади вы пропадом, благодетели!» Перебралась к свояченице матери, а там и вовсе не рады, есть суют:

«На! Подавись!» Сирота неприкаянная, даже с сумой по миру не пойдешь — кругом голод, нынче не подают.

Прибыл хлебный отряд. Мужики попрятали зерно: «Поищите, комиссарики!» И тут-то подала голос Глашка: «Пошли. Уж я-то знаю, где у кого лежит». К первому привела — к крестному: «А ну, мироед, подымай половицы, в подклетье у тебя ковырнем».

После этого оставаться в деревне нельзя — убьют.

О Москве по деревням ходила суровая молва: «Москва слезам не верит». Но Глашка Патлова слезы лить и не собиралась. В старом родительском полушубке, от которого все еще несло прокисшим пойлом чужой скотины, в солдатских башмаках (выданы из особых фондов по заготовке хлебных излишков), в вылинявшем до лирической ясноты кумачовом платочке, глаза холодновато пустынные в размахе жадных ресниц, Глашка в огромном, обношенном, суетно многолюдном городе сразу почувствовала себя своей. То, что в родной деревне считалось пороком — нищета, голь перекатная! — здесь ставилось в заслугу — из беднейших слоев. В родной деревне совали — «На, подавись!» — здесь требуй, бери за горло: «Даешь, и точка!»

Ее сначала пристроили к женотделу котельного завода. Бабы собрались крикливые, тертые, им ли слушать девчонку, сироту из деревни. А эта сирота вдруг заговорила о том, о чем все только и думали,— о хлебе.

— Мужики выбивать хлеб ездят. Баба-то нюхом найдет, чем детишек накормить. Пусть нам наганы дадут и ружья, даже одного мужика взять можем для страху,— хлебный бабий отряд организуем.

Бабий отряд не получился — кого ни хвати, семью бросить не может,— но крику о нем было много. И Глашку заметили, стали выдвигать в комиссии, послали на учебу...

Через два года она уже заведовала женорганизациями одного из районов Москвы, носила гимнастерку с широким ремнем, юбку в обтяжечку, курила козьи ножки, чтоб не казаться слишком молодой. Ей часто приходилось бывать в Наркомате труда, и там она встретилась с Николаем Иванниковым, бывшим военным комиссаром, прошедшим через колчаковский и польский фронты.

Умер Ленин. На Красной площади под Кремлевской стеной за несколько дней был поставлен деревянный мавзолей.

Николай Иванников в партию вступил еще в семнадцатом, сразу после революции. Глафира Иванникова, в девичестве Патлова, подала заявление.

На собрании ее спросили:

— Историю классовой борьбы знаешь?

Вспомнила свою деревню, ответила:

— С пеленок ею нанюхалась.

— А ну, скажи: кто такой был Максимилиан Робеспьер?

Глафира о таком не слыхивала, но ее все равно приняли.

Николай прямо с собрания отвел ее в родильный дом Грауэрмана. Родился мальчик, и Глафира назвала его Максимилианом — в честь Робеспьера.

II

Безвестная могила Александра Ульянова и пятерых его товарищей, неудачных цареубийц, зарастала травой. Их путь ненадежен, нужен иной — новый.

А этот «новый путь» не так уж и нов, он провозглашен за тридцать три года до казни Александра Ульянова.

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма...

История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов...»

За год до рождения Владимира Ульянова столбовой дворянин бунтовщик Бакунин в Женеве переводит на русский язык «Коммунистический манифест». Но в Россию едва ли проникает несколько экземпляров этой книги.

Примерно в это же время Герман Лопатин, близко знавший Маркса и Энгельса, избранный даже в Генеральный совет I Интернационала, начинает перевод «Капитала», но не успевает окончить. Лопатина арестуют по подозрению в организации побега Чернышевского из ссылки. Начатый перевод кончает за него публицист-народник Даниельсон.

Первый том «Капитала» выходит в свет, но это замечает лишь узкий круг людей, как правило тех, кто уже знаком с работами Маркса по иностранным изданиям.

И лишь десять лет спустя Плеханов — опять в той же Женеве — выпускает второй перевод «Манифеста».

«Призрак» двинулся по России. В далекой Казани вокруг бывшего гимназиста Федосеева — тесный кружок молодежи, открывающей себе Маркса. Среди них появляется и Володя Ульянов, уже исключенный из университета за участие в студенческой сходке, уже посидевший в ссылке в казанской деревне Кокушкино.

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».

Классовая борьба — скрытая пружина, которая движет историю человечества вперед. Здесь, в Казани, Владимир начинает верить в это — раз и навсегда, безоглядно, на всю жизнь. Аксиома, не требующая доказательств.

Впрочем, в это же верил, как в «Отче наш»,— просто верил, не утруждал себя доказательствами — и сам патриарх Карл Маркс.

Он пишет: «Мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов».

«Буржуазные историки...» Наиболее известный из них Гизо был одновременно и видным деятелем при дворе вернувшихся на престол Бурбонов — никак не революционер. Он заявлял: «Борьба классов — не теория и не гипотеза, это — самый простой факт... Не только нет никакой заслуги за теми, которые его видят, но почти смешно отрицать его».

И для Маркса тоже — «не теория и не гипотеза, это — самый простой факт», который столь же мало нуждается в каких-либо доказательствах, как и то, что две параллельные прямые при своем продолжении не пересекаются. Аксиомы недоказуемы.

Но вглядимся в историю: такое ли уж большое место занимает в ней классовая борьба?

Греки воевали с персами, Рим с Карфагеном, Англия с Францией, то есть одно государство, одно общество, состоящее из свободных и рабов, патрициев и плебеев, помещиков и крепостных, боролось с другим таким же — за право властвовать, за право пользоваться независимостью, за новые рынки сбыта.

И внутри этих государств постоянно наблюдается борьба — кровавая или бескровная, явная или скрытая — не между свободными и рабами, помещиками и крепостными, а между невнятными, с точки зрения классовости, группами и партиями. Знатные и незнатные, угнетающие и угнетенные католики Франции резали знатных и незнатных гугенотов. Опричники царя Ивана Грозного душили как высокородных бояр, так и худородную челядь... Можно ли Галилея, отстаивающего идею движения

Земли, называть выразителем интересов каких-либо классов? А папу Урбана VIII, врага Галилея, только с чудовищной натяжкой можно окрестить защитником феодальной верхушки. А как называть, скажем, такие памятные для русской истории моменты — Куликовская битва и Ледовое побоище на Чудском озере, когда высокие князья-феодалы — Дмитрий Донской, Александр Невский — шли плечо в плечо с подневольными смердами, охваченные единым желанием — остановить, опрокинуть общего врага? Перед лицом опасности — своеобразная классовая солидарность. Есть ли на Земле народ, который бы не переживал подобных моментов?

Борьба классов — почему бы ей и не быть? Но утверждать: история есть не что иное, как только эта борьба,— не слишком ли упрощать историю?

Тот, кто пытался рассуждать подобным образом, сразу же вызывал подозрение. Всякое сомнение в исцеляющей силе классовой борьбы выглядело как враждебный акт против свободолюбия. Не смей сомневаться! Не смей доказывать противное! Принимай, не рассуждая, на веру!

В мире рождалась новая вера, которая отличалась от старых, как и положено, лишь своими догматами.

2

Тезка Робеспьера, Максимилиан Иванников, был отдан матерью под присмотр дворничихи Фатимы, щекастой, грудастой бабы с сиплым голосом. Она пела над кроваткой татарские песни, нескончаемые, как галоп коня по степи.

Фатима приходила только днем, по вечерам Максимилианом занимались родители. Чаще отец, чем мать. Отец менял пеленки, мыл сына в большом тазу, укачивал на ночь. Бывший военный комиссар колыбельных песен не знал, пел революционные:

Эй, живей, живей, живей
На фонари буржуев вздернем!
Эй, живей, живей, живей —
Хватило б только фонарей!..

Над детской кроваткой — песня о расправе, песня, весело славящая жестокость.

Но сам Николай Степанович Иванников, право же, жестоким не был.

Он вырос на станции Ирпень, в большой семье паровозного кочегара, переведенного потом в машинисты маневровой «кукушки». Машинисты поездов дальнего следования имели свои дома, кой у кого даже крытые железом, «кукушечники» же ютились в бараках.

В тринадцать лет Кольку отдали учеником на склады — «Скобяные товары. Хамлюгин и К°» — огромные, темные, гулкие, пахнущие железной свалкой. Зимой в них было едва ли не холодней, чем на улице.

Он знал грамоту, научился вести приходно-расходные книги, отправлял партии гвоздей, через несколько лет стал младшим приказчиком, купил себе суконную тройку, цеплял к жилету цепочку, мечтал завести часы...

Летом шестнадцатого его взяли в солдаты. Он попал не в окопы, а в минные классы при крепости Свеаборг. Вместе с ним учился вольноопределяющийся первого разряда, бывший студент Крашенинников. От него-то впервые Николай услышал, что мир извечно расколот враждой: «Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной...»

Почти не изучена, не признана важной война, протянувшаяся через 1917 год — с февраля по октябрь. Война, в общем-то, не кровавая, но люто ожесточенная. Война не армий, а мнений. Не орудийных залпов, а речей. Разномастные пророки-провидцы, какими всегда была богата Россия, постные последователи графа Толстого, мужиковствующие опрощенцы и эстетствующие западники, анархисты, взывающие: «Рыцари ночи, станьте рыцарями дня!», многочисленные партии, раздробленные на группы и группочки, неистово враждующие между собой,— все вырвались наружу, заголосили, схлестнулись. Площади, улицы, заводские цеха, казармы, монастыри и пансионы благородных девиц стали местом словесных баталий. В них побеждали не самые справедливые и не самые умные, а самые доходчивые, возвещавшие наиболее простые мысли, которые без напряжения могло понять неискушенное большинство.

«Экспроприируй экспроприаторов!» — в русском переводе: «Грабь награбленное!» — более категоричного и ясного требования представить невозможно. Каждый обездоленный должен ухватиться за него. А на Руси обездоленных подавляющее большинство. Испокон веков на святой Руси дешево стоила человеческая жизнь и ничего не стоило человеческое достоинство. Всего пятьдесят шесть лет тому назад можно было продать человека,

запороть его до смерти, не боясь ответственности перед законом. И те, кто восставали против этого, тоже не отличались человеколюбием. Вот что писалось в прокламации «Молодая Россия», распространявшейся в Москве через год после отмены крепостного права:

«С полною верой в себя, в свои силы, в сочувствие народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: к топору! И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что кто тогда будет не с нами, тот будет против; кто против — наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами. Да здравствует социальная и демократическая республика русская!»

И вот — «грабь награбленное!». При таком воззвании нет никакой нужды размышлять, надо действовать, причем решительно и недвусмысленно: «Грабь!» И только через это «кто был ничем, тот станет всем!». Не столь уж и важно, как будет выглядеть заветное «всем», оно любому и каждому представлялось весьма и весьма смутно. К чему гадать, мудрствовать лукаво — грабь, действуй! Обездоленная Русь подымалась на дыбы.

Николай Иванников никогда не приписывал себе больших подвигов в революции, но один случай из своей военной жизни он вспоминал часто и с гордостью.

Он рассказывал...

Загнали мы колчаковцев в болото, уйти им нельзя — кругом трясина. И много их там сидело, не знали, что наши части дальше пошли, догонять тех, кто вырвался. Нас осталось и всего-то — десятка два штыков да три «макси́ма». И ребята наши еле держатся — трое суток не спали, голодные, мокрые. Ждем: ну как полезет саранча, три наших пулемета не удержат. Все на меня смотрят: мол, ты здесь старший, решай. И я решился — снял с себя пояс с наганом, отправился.

Денек серенький, дождичек сыплет, прыгаю с кочки на кочку, слышу:

— Стой! Кто идет?

— Парламентер! — говорю.— Для переговоров.

А сам с кочки на кочку, ближе да ближе... Подпустили, полезли на меня со всех сторон — рожи черные, бороды в тине, черти из преисподней краше.

— Ты кто, сучий сын?

— Комиссар четыреста пятнадцатого революционного полка.

— Ком-мис-сар! Ах, сволочь! Эй, братцы, сам комиссар к нам пожаловал! Пришьем, падло!

— А жить,— говорю,— хотите?

— Бог не выдаст, свинья не съест. Про нас, мол, видно будет, а ты откомиссарил. Молись на кочку, нехристь!

— Валяйте, я без оружия. Только обмозгуйте: на много ли меня переживете?

Потолкались, пошушукались и снова ко мне:

— Чего ты от нас хочешь?

— Во,— говорю,— похоже на разговор. Слушайте наши условия: выходить по двадцать человек, сдавать оружие. И помните — под наведенными пулеметами выходить придется, так что уж лучше без шуточек.

— А там нас всех к стенке?

— Офицеров возьмем в плен, а солдатам — выбор: кто хочет — оставайся у нас, не захочет — катись на все четыре стороны, без оружия, конечно.

Пооглядывались, пошептались, приказывают:

— Отойди в сторонку. Мы тут обсудим.

Отошел, сел на пенечек, закурил у всех на виду, делаю вид, что мне черт не брат, ничего не боюсь. А солдатня сбилась, митинг устроила: кричат, винтовками трясут, никак не договорятся.

И вдруг — бац! Воздухом в ухо ударило. Пуля-то, поди, на вершок от уха прошла. И тут все, кто митинговал, шарахнулись — кусты затрещали. Смотрю — уж ломают кого-то, морду бьют, матерятся:

— Хочешь, чтоб искрошили нас?! Так твою перетак! Сам сдыхай — мы не желаем!

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Выстрел-то и решил все. Тут же дружно стали разбиваться на двадцатки...

До утра мы принимали из болота гостей — партию за партией.

А вечером, уже в селе, приводят мне на суд четверых: три офицера да еще бородатый с лычкой на погоне. Он-то в меня и стрелял. Встал перед столом, руки по швам, борода вперед — мужик служилый.

— Откуда ты?—спрашиваю.
— Из Олонецкой губернии, деревня Броды.
— Семью имеешь?
— Баба да трое детей.
— А земли сколько?
— Так что совсем мало—три десятины всего, да и та худая. Деготь в лесах гоним, тем и живем.
— Бедняк же. Что ж ты не своим делом занялся? Их благородиям положено в меня стрелять, не тебе, борода.
— Так что разрешите доложить: нехристи вы, Христа продали, креста не носите.
— Темнота, темнота! Что мне с тобой делать?
— Так что ваша взяла—анафемская. Ставь к стенке, а я уж помолясь...
— Трое детей у тебя, дерево дремучее.
— Что уж, бог не оставит. Одна надежда.
— Эй, отведите его в обоз, пусть за конями следит. И не вздумай шалить, дядя. Второй раз не спустим.

Такого легко простить—из своих, заблудился по слепоте. Но суда ждали три офицера, один пожилой, полный, с эдакой осаночкой, два других совсем мальчишки—шеи кадычками, мундиры мятые, в грязи, а лица бледные, чистенькие, глазастые.

Пожилой шагнул на меня, уставился в переносицу—барский взгляд,—говорит:
— Я вижу—вы добрый человек, поэтому осмелюсь обратиться к вам с просьбой.
— Говори.
— Я ваш враг, вот уже двадцать пять лет ношу офицерские погоны, по мордам таких, как вы, учил, расстреливал, не отказываюсь—«ваше благородие» в полном смысле ваших представлений. И откровенно признаюсь—меняться не хочу, товарищем вам не стану. Но вот эти молодые люди... Поверьте, они еще не успели ни в чем согрешить против вас. Осмелюсь просить: рассчитайтесь со мной, разрешите им жить.

А глазастые офицерики мне ответить не дали, вскинулись:
— Господин штабс-капитан! Да как вы смеете!.. Да мы не нуждаемся! Тут только что простой русский мужик—пример мужества!..

Похоже, его благородие говорил правду—больших грехов за мальчишками нет. Но простить их, как простил бородача из деревни Броды?.. Призадумаешься да почешешься. Получалось бы, комиссар прощает всех подряд,

даже дворянских волчат. И это в самый-то, что ни на есть, обостренный разгар классовой борьбы!

Да волчата и не хотели моей милости — сами рвались на смерть.

Говорят, когда их вывели на расстрел, они обнялись и... запели. Нет, не «Боже, царя храни», а «Как ныне сбирается вещий Олег»... Черт их разберет!

Один из мальчишек, сказывают, пел — заслушаешься. Штабс-капитан подтягивал ему и плакал, словно баба.

Отец Максимилиана, вспоминая, всегда ронял слово жалости к мальчишкам-офицерам, но никогда не раскаивался, что пришлось их расстрелять.

Эй, живей, живей, живей
На фонари буржуев вздернем!..

Над колыбелью сына — верую в искупляющую силу фонаря-виселицы.

III

Маркс и Энгельс были противниками «верую» — «Наше учение не догма, а руководство к действию».

1899 год. Николаю Степановичу Иванникову не исполнилось еще и трех лет.

Владимир Ульянов — уже заметная фигура среди русских революционеров. Он резок и решителен, придерживается в марксизме самых крайних позиций. Ходит по рукам его работа «Что такое «друзья народа» — три тетради против народников. Они в разное время отпечатаны на гектографе — всего каких-нибудь двести с небольшим экземпляров. Мало. Но ее читают в Вильно и Пензе, во Владимире и Чернигове, в Киеве и Томске, даже в Вене, не говоря уже о Петербурге и Москве.

«От брошюры, исполненной желчных характеристик... веяло подлинной революционной страстностью и плебейской грубостью, напоминавшей о временах демократической полемики 60-х годов. Несмотря на некоторую тяжеловесность изложения, плохую архитектонику статей и отдельные скороспелые мысли, брошюра обнаруживала и литературное дарование и зрелую политическую мысль человека, сотканного из материала, из которого создаются партийные вожди».

Эти слова сказаны Юлием Мартовым, уже ставшим врагом Ленина, умиравшим от чахотки в изгнании.

Несколько лет назад в Петербурге была создана организация социал-демократов из семнадцати человек, «которая,— по словам все того же Мартова, одного из семнадцати,— знаменовала собой первый шаг по превращению идейного течения в партию». Скоро их станут называть «стариками». Ульянову тут двадцать пять лет, среди этих «стариков» он еще не вождь, но уже первый среди равных.

В самом начале года в Германии выходит книга Эдуарда Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии». Бернштейн и прежде пытался «пересмотреть» марксизм, в новой книге он пробует логически обосновать свой пересмотр. Бернштейном возмущены Роза Люксембург и Гельфанд-Парвус, Плеханов и Каутский. Возмущен в Шушенском и Ульянов, он же Владимир Ильин, автор солидного «Развития капитализма в России», только что вышедшего из печати.

Нет, он не считает, что марксизм нельзя поправлять и критиковать. «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса,— пишет он,— как на нечто законченное и неприкосновенное...» Но боится, что подпевающие буржуазии теоретики постараются «убить марксизм» «посредством мягкости», «удушить посредством объятий».

Ульянов гневно нападает на известного пропагандиста марксизма Струве, который тоже высказывается против «ортодоксальных перепевов» Маркса.

Он отвечает ему из Сибири: «Нет, уж лучше останемся-ка «под знаком ортодоксии»! Не будем верить тому, что ортодоксия позволяет брать что бы то ни было на веру, что ортодоксия исключает критическое претворение и дальнейшее развитие, что она позволяет заслонять исторические вопросы абстрактными схемами. Если и есть ортодоксальные ученики, повинные в этих действительно тяжких грехах, то вина падает всецело на таких учеников, а отнюдь не на ортодоксию, которая отличается диаметрально противоположными качествами».

Итак, партии еще не существует. Но раньше самой партии в пылу полемики уже рождаются крылатые словечки типа «ревизионизм» и «ортодоксия». А «ревизионизму» теперь суждено сопровождать учение Маркса, клеймя и бичуя вероотступников — до сего дня.

Ревизионизм нынче — тяжкое государственное преступление. За него судят и садят в тюрьмы. За него без суда и следствия запирают в больницы для умалишенных. Кошмар ревизионизма перешагнул границы нашей страны, поливает кровью землю Китая...

3

Одно из ранних воспоминаний детства Максимилиана Иванникова.

Пасмурный день за окном, взрослых нет, они на работе, квартира предоставлена детям. У Максимки обычный гость — Ленка, дочь Ивана Ивановича Крашенинникова, того самого вольноопределяющегося из свеаборгских минных классов, который учил бывшего приказчика скобяных складов, рядового Николая Иванникова — азбуке классовой борьбы. Максимкиного отца и Крашенинникова не раз разносила жизнь в разные стороны, но они помнили друг друга, искали и находили, продолжая оставаться один учителем, другой учеником. Крашенинников руководил крупным главком, отец Максимки был его заместителем. Они даже жили рядом, дверь в дверь, напротив — два шага через узкий коридор.

Ленка моложе Максимки на восемь месяцев, светлая, голубоглазая, тщательно причесанная, с торжественным бантом в волосах, в коротком платьице, легкая, как бабочка. Она хорошо помнила, что Максимка старший, подчинялась во всем.

У дяди Вани на стене висела сабля, именная, полученная в гражданскую войну за храбрость,— ножны украшены тусклым серебром, как и рукоятка, вкрадчиво изогнутая, просящая руки. Самая красивая вещь на свете! Максимке казалось, что за нее не жалко отдать и жизнь.

Изредка дядя Ваня снимал ее со стены и разрешал вынимать из ножен. Максимка держал в руках узкую, излучающую холодный свет полосу стали, и душа его заполнялась жаркой отвагой. Он чувствовал — становится другим человеком, не маленьким мальчишкой, который с трудом открывает тяжелую входную дверь, а высоким, сильным, красивым. Он лучше всех, он смелее всех, он с этой сталью в руке презирал не только Ленку, но даже отца и дядю Ваню. Оттягивающая руку узкая полоса, по ней стекает свет, хотелось торжествующе кричать. И Максимка не выдерживал, кричал, пытался взмахнуть саблей... Тогда ее у него отбирали, вешали на стену. «Боец растет — держись, чемберлены!»

И Максимка вооружался деревянной саблей, а Ленка палкой от мухобойки. Он рубил поставленные друг на друга игрушки: кубики, кукол с отбитыми носами, оловянных солдатиков...

— Буржуйских пап! Буржуйских мам! Буржуйских сынков! Буржуйских солдат! — кричал Максимка.

И Ленка, потрясая бантом, с девчоночьей неумелостью орудуя палкой, поддерживала:

— Буржуйских девочек! Буржуйских извозчиков! Буржуйских почтальонов! Буржуйских рабочих!..

— Буржуйских рабочих нельзя! — кричит Максимка.

— Почему? — распахивала голубые глаза Ленка.

— Они не буржуйские!

— А какие?

Этого Максимка объяснить не мог. Он знал лишь, что слово «рабочий» всегда произносилось с глубоким почтением папой, мамой и дядей Ваней Крашенинниковым.

Примерно в это же время — или чуть позднее — на всю страну прошумела история Павлика Морозова, донесшего на своего отца. Его именем стали называть школы и дворцы пионеров, ему ставили в скверах памятники, со страниц «Пионерской правды», с кумачовых плакатов внушалось детям: «Будьте как Павлик Морозов!»

Спустя семь или восемь лет во Всесоюзном пионерском лагере Артеке состоится слет мальчиков и девочек, предавших своих отцов и матерей в руки правосудия, отрекшихся от них.

IV

Я воспитан в почтении к диктатуре пролетариата, с детства принимал ее, не задумываясь. Сейчас вот задумался, и всплывают сотни вопросов, простых и требовательных до недоуменной оторопи. Как это раньше они у меня не возникли? И даже не слышал, чтоб их задавали другие. Диктатура — пугающее слово для тех, кто мечтает о свободе.

Диктатура — ничем не ограниченная власть пролетариата, рабочего класса. Возможно ли, чтоб весь класс, миллионы людей просто так, скопом могли властвовать? Миллионы у власти?.. Каким образом?

Через выборных?.. Из тысяч и миллионов общим голосованием выбрать считанные единицы, облечь их диктаторской властью? Но их диктаторство ничего не будет стоить, если не станет опираться на какую-то силу. На какую?.. Армию? Полицию? Или на что-то иное?..

Ну, а что как эти выбранные диктаторы, заручившись силой армии и полиции, вместо того чтобы проводить

интересы многомиллионного класса, станут проводить свои интересы — узко клановые, а возможно, и просто шкурнические? Или же такая опасность начисто исключена?

Но допустим, в диктаторы попадают предельно честные люди, но люди же! Людям свойственно ошибаться. Ошибки диктаторов, наделенных неограниченной властью, никому не подконтрольных, легко могут стать обязательными для всех правилами, неукоснительными законами. Общество, узаконивающее ошибки, проводящее их в жизнь,— не страшно ли?..

Наивные вопросы, бесхитростные. Но у меня от них сплошной туман в голове и гнетущий страх.

Двое в комнате.
Я
и Ленин...

Жадно ищу каждое новое высказывание Ленина о диктатуре пролетариата — год за годом, с самых ранних упоминаний...

«Для уничтожения сословий требуется «диктатура» низшего, угнетенного сословия,— точно так же, как для уничтожения классов вообще и класса пролетариев в том числе требуется диктатура пролетариата».

Это сказано еще в 1903 году, перед II съездом партии. Здесь даже в первом случае слово «диктатура» стеснительно взято в кавычки. Но о том, как она, диктатура, выглядит,— не сказано, одно лишь настойчивое — «требуется»!

1905 год. «Штык поставлен в порядок дня», позади «Кровавое воскресенье», Ленин в Женеве выпускает работу «Две тактики социал-демократии». В ней он пишет:

«Великие вопросы в жизни народов решаются только силой».

«...Защита от контрреволюции и фактическое устранение всего, противоречащего самодержавию народа. Это и есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура».

И опять слова, слова — «защита от контрреволюции», «самодержавие народа»,— а что за ними кроется, как сие будет выглядеть на практике — увы, ничего. Лишь «новоискровцу» Мартынову брошено вскользь замечание, что понятие диктатуры класса отличается от диктатуры личности.

Через полтора года, разбирая статью Каутского (еще не «ренегата»), полностью солидаризируясь с ним, Ленин заявляет, что Маркс имел в виду «конечно, диктатуру (т. е. не ограниченную ничем власть) массы над кучкой, а не обратно». Запомним это.

Говоря о диктатуре, Ленин никогда ее не подслащивает: «Диктатура есть государственная власть, опирающаяся непосредственно на **насилие.** Насилие в эпоху XX века,—как и вообще в эпоху цивилизации,—это не кулак и не дубина, а **войско**». «Нет ни грана марксизма... если бы мы сказали: мы против применения насилия!»

1917 год. В России переворот. В «Письмах из далека» Ленин пишет: «Пролетариат же, если он хочет отстоять завоевания данной революции и пойти дальше, завоевать мир, хлеб и свободу, должен **«разбить»,** выражаясь словами Маркса, эту «готовую» государственную машину и заменить ее новой, **сливая** полицию, армию и бюрократию с **поголовно вооруженным народом**».

Ага! Диктатура пролетариата это—«поголовно вооруженный народ», слившийся с полицией, армией, бюрократией. Но как этот альянс будет выглядеть в натуре? Как организован, подчинен ли кому? Или же об организации и подчинении не может быть и речи? Стихийная, разобщенная, неуправляемая вольница, где каждый действует по принципу—что хочу, то и ворочу?..

Месяц спустя Ленин размышляет: «Такая власть является диктатурой, т. е. опирается непосредственно на насилие. Насилие—орудие силы. Каким же образом Советы станут применять эту власть? Вернутся ли они к старому управлению через полицию, будут ли вести управление посредством старых органов власти? По-моему, они этого сделать не могут...» Ответа по-прежнему нет.

А еще через несколько месяцев, прячась от Временного правительства, Ленин в своей знаменитой работе «Государство и революция» настойчиво и многократно повторяет, что диктатура пролетариата—«власть, опирающаяся непосредственно на вооруженную силу масс».

«Народ подавить эксплуататоров может и при очень простой «машине», почти что без «машины», без особого аппарата, простой **организацией вооруженных масс».**

До власти остаются считанные дни, а что такое диктатура пролетариата, право же, не ясно. Общий ответ: «простой организацией вооруженных масс»—никак не удовлетворяет. В качестве организующей силы предлагаются Советы рабочих, крестьянских и солдатских депута-

тов. Предположим, выборные Советы станут контролировать действия масс, учтите — вооруженных масс! Но контроль станет пустой формальностью, если он не подкреплен требованиями — поступай так, а не иначе, контроль — неизбежно какая-то форма подчинения. А подчинение в любом виде требует наличия силы. Для контроля над — шутка сказать! — вооруженными массами Советы должны, по-видимому, опираться тоже на силу оружия, и притом не иначе, как тоже на массовую. Тогда законно спросить: кто же диктатор — массы или те, кто над массами? И не приведет ли такое противопоставление двух вооруженных сил к антагонистическим столкновениям? А при наличии такой опасности не лучше ли Советам воспрепятствовать вооружению масс? Но тут уж между диктатурой Советов и диктатурой пролетариата никак нельзя ставить знак равенства!

Ясности нет, а время подошло, теоретизировать поздно. Может, Ленин, став у власти, практически найдет нужные формы?..

Но вот примерно через полгода после захвата власти он делает неожиданнейшие заявления:

«Что диктатура отдельных лиц (!!! — *В. Т.*) очень часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов, об этом говорит непререкаемый опыт истории».

«...Поэтому решительно никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим.— *В. Т.*) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц нет».

«Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного».

Двое в комнате.

Я

и Ленин...

Я не могу прийти в себя от панического изумления.

Ленин только что говорил о вооруженных массах, не столь давно повторял вслед за Марксом, что диктатура для него — это неограниченная власть «массы над кучкой, а не обратно». И нате вам, какие там массы — нет, даже не кучка, а диктаторская власть отдельных лиц! Оказывается, «выразитель, носитель, проводник» диктатуры революционных классов — некий диктатор, «подчиняющий

волю тысяч воле одного»! Так вот как выглядит форма диктатуры пролетариата — как она знакома! — все тот же неизменный самодержец-правитель! Непонятно только, зачем было сбрасывать царя-батюшку, коронованного диктатора? Зачем было столь долго и упорно бороться против царизма, кричать об узурпации, сидеть в тюрьмах, подымать восстания, поливать кровью улицы городов и поля без того многострадальной России? Все это для того лишь, чтоб вместо Николая II посадить кого-то другого?

Диктатура одного лица!.. Даже Сталин во время своей монаршей власти не осмелился произнести такие слова — воистину издевательские, сводящие к полной бессмыслице значение революции!

Что это — предательство прежних свободолюбивых принципов, предательство марксизма? Чудовищный трюк беззастенчивого политикана, готовящего под маркой диктатуры пролетариата почву для самоличного диктаторства?

Ой нет, не так-то все просто.

Вглядимся еще раз в идеи, проповедуемые Лениным.

Борьба классов — путь к освобождению. Раз ты согласился с этим положением, тогда согласись и с необходимостью насильственной диктатуры. Как можно бороться, не применяя насилия?

Как можно удержать победу над врагами, не применяя к ним диктаторских мер? Рассчитывать, что побежденных — а значит, и озлобленных — врагов можно сделать друзьями путем уговоров, взывая к их рассудку и совести, может только идиллически настроенный дурак.

Ты согласился на диктатуру победившего класса, на массовую диктатуру. А как еще можно представить ее себе, если не в виде вооруженных масс, некогда угнетенных, ныне победоносных? Диктаторство проводится только силой, а сила — это «не кулак, не дубина», это — оружие!

Вооруженные диктаторские массы — как опять же понимать сие? Не так ли, что каждый носящий оружие — сам по себе диктатор, никому не подчинен, а всех подчиняет? Столь нелепый кошмар даже во сне не приснится. Неорганизованная вооруженная масса — отрицание какого бы то ни было порядка, какой бы то ни было власти, это гибельный для общества анархический хаос.

Диктаторство через вооруженные массы — нелепость. Любая власть откажется от такой химерической затеи

с первых же шагов своей деятельности, неизбежно станет ратовать за жесткое подчинение самих стихийных масс.

А реализовать массовое подчинение легче всего, проще всего одним способом — «подчинением воли тысяч воле одного».

Что и требовалось доказать.

Нет, тут не предательство марксизма! Маркс на месте Ленина или бы отказался от своего учения, или неизбежно пришел к тому же, как и любой и каждый из рыцарей свободолюбия. Уж коль признал классовую борьбу, признай рано или поздно необходимость диктаторства личности, вернись обратно к идее монаршей власти. Деться некуда.

Противники Ленина не раз называли его диктатором, не раз уличали его в жестокости. Мол, что стоит одно его замечание в письме к Курскому: «Расширить применение расстрела» — или его высказывания в пользу террора: «Террор — это средство убеждения...»

Да, Ленин не был подвижником человеколюбия и не мог им быть. Да, он задолго до Октябрьской революции признавал необходимость террора. Еще в 1905 году на III съезде РСДРП Ленин, ссылаясь на Маркса, заявил: «Он (Маркс.— *В. Т.*) говорил: «Террор 1793 г. есть ничто иное, как плебейский способ разделаться с абсолютизмом и контр-революцией». Мы тоже предпочитаем разделываться с русским самодержавием «плебейским» способом и предоставляем «Искре» способы жирондистские». В том же году Ленин повторяет это и в своей работе «Две тактики социал-демократии»: «Удастся решительная победа революции,— тогда мы разделаемся с царизмом по-якобински, или, если хотите, по-плебейски».

Однако в первые дни после Октябрьского переворота он высказывает определенную надежду: «Нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, не применяли и, надеюсь, не будем применять... так как за нами сила».

Террор, за который стоит Ленин, все-таки отличается от якобинского — ограниченней, сдержанней.

«Было бы смешно и нелепо отказываться от террора и подавления по отношению к помещикам и капиталистам, продающим Россию иностранным «союзным» империалистам... Но так же,— если не более,— нелепо и смешно было бы настаивать на одной только тактике подавления и террора по отношению к мелкобуржуазной

демократии, когда ход вещей заставляет ее поворачивать к нам».

Действительно, как обойтись без террора в революции, когда голодная, разрушенная страна охвачена братоубийственной гражданской войной. И можно ли в такой обстановке ждать от человека проявлений отвлеченного и возвышенного гуманизма, если этот человек убежденно верует, что «ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием». И сложившаяся обстановка, и само учение, принятое им, толкает на жестокость, избежать ее нельзя, зато легко можно утратить меру, стать слепо жестоким, безоглядно беспощадным, превратить кровавый террор в единственный способ проведения своих идей в жизнь. Таким в свое время стал Максимилиан Робеспьер, чья жуткая фигура, ей-ей, еще снисходительно оценена историками.

Ленин выгодно отличается от этого революционера. Он в самый разгар борьбы, когда одно упоминание о капитализме вызывало всеобщую бешеную ненависть, предлагает призвать на помощь... капитализм — пусть государственный, но капитализм! И что удивительней, проводит это предложение в жизнь! Он, Ленин, презиравший интеллигенцию, не доверявший ей, считавший ее «прислужницей буржуазии», тем не менее настойчиво стремится «использовать» ее, готов подкупить высокими окладами. И, наконец, делает решительный шаг в сторону частного собственника — нэп! Все это отнюдь не обостряло классовую борьбу, а стушевывало ее, мешало распространению массового террора, глушило кровавый разгул.

Можно отыскать факты, уличающие Ленина в жестокости, но нельзя и забывать, что он проявил себя совсем в ином плане.

Его называли диктатором, а кто из политических деятелей такого масштаба избежал подобного упрека? Но вспомним, что он, стоя во главе правительства, добивался проведения своих взглядов только через ожесточенную полемику с теми, кто делил с ним власть, порой даже оставался в одиночестве. И голов рубить не пытался, и в тюрьму за несогласие не бросал. Были случаи, он не стеснялся публично признавать свои ошибки: «Эта мысль (придать законодательные функции Госплану.— *В. Т.*) выдвигалась тов. Троцким, кажется, давно. Я выступал противником ее... Но по внимательном рассмотрении дела я нахожу, что, в сущности, тут есть здоровая мысль...» Он

не украшал себя высокими званиями и наградами, лично не стремился выделиться. Право же, это не характерно для единовластного диктатора.

Он произносил диктаторские слова, звал к узурпаторству, но сам узурпатором не был. Он жертва железной логики. Жертва слепого, фанатичного верования. Жертва социального недомыслия.

Это драма — драма идей.

4

Однажды мать, вернувшись с работы, принесла домой рулон глянцевитой бумаги. Развернула — оказался портрет Сталина.

— Какой дом без вождя,— сказала мать.

Без вождя?.. Без вождя не жили. С незапамятных для Максимки времен на стене, над комодом висел портрет Ленина — взгляд с прищуром, галстук в горошек. Этот прищур, этот галстук славился в стихах, воспевался в песнях. Ленин давно был членом их семьи — почетным и неназойливым.

Портрет Сталина оказался очень большим — занял всю свободную часть стены — и цветным. Статный, в зеленом полувоенном кителе вождь стоял за столом, опираясь в разложенные бумаги согнутыми пальцами, под черными усами таилась доброжелательная улыбочка. Маленький, одноцветный, изрядно выгоревший Ленин сразу потерялся.

Максимка первый заметил — в какой угол комнаты ни отойди, Сталин с портрета все равно смотрит на тебя. С улыбочкой. Пристально. Без прищура.

Матери это понравилось:

— Как живой!

А Максимку немного пугало и озадачивало: как же так — живой, когда он на бумаге.

К Сталину следовало привыкнуть.

V

Диктатура пролетариата — насилие одного класса над другими...

И сразу же встал вопрос: как тут быть с крестьянством?

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.

Его, извечно стонавшего от непосильного угнетения, снова под насильственную диктаторскую власть?..

Крестьянин сомнительный помощник в революции. «Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей», а крестьянину, хоть и мизерна его собственность, но она ему так же дорога, как помещику обширные поместья, фабриканту фабрика, терять ее не хочется.

Кроме того, крестьянство «не представляет из себя особого класса». Одни из сельчан, разбогатев, стали кулаками-эксплуататорами, другие, обеднев, оказались батраками-пролетариями, кому «нечего терять», а есть еще середняки — имеют собственность, но хлеб добывают своим горбом и, разумеется, мечтают разбогатеть.

Диктатура? Над кем из них? В какой мере?

Российские революционеры по-разному отвечали на эти вопросы. Одни считали — освободить крестьянство, дать ему землю — главная и единственная задача грядущей революции. «Эсеры» — духовные последователи Александра Ульянова.

Другие — вроде Троцкого с товарищами — вообще отказывались доверять крестьянству, предлагали после революции зажать их без содрогания диктаторской рукой.

А Ленин?..

Он мечтал о союзе. Всегда резкий, угловатый, вызывающе бескомпромиссный в выражениях, он тут даже впадал в благодушно медоточивый тон, присущий утопистам всех времен и народов.

«Когда рабочий класс победит всю буржуазию,— писал Ленин,— тогда он отымет землю у крупных хозяев, тогда он устроит на крупных экономиях **товарищеское хозяйство,** чтобы землю обрабатывали рабочие вместе, сообща, выбирая свободно доверенных людей в распорядители, имея всякие машины для облегчения труда, работая посменно не более восьми (а то и шести) часов в день каждый. Тогда и мелкий крестьянин, который захочет еще по-старому в одиночку хозяйничать, будет хозяйничать не на рынок, не на продажу первому встречному, а на товарищества рабочих: мелкий крестьянин будет доставлять товариществу рабочих хлеб, мясо, овощи, а рабочие будут без денег давать ему машины, скот, удобрения, одежду и все, что ему нужно. Тогда не будет борьбы

между крупным и мелким хозяином из-за денег, тогда не будет работы по найму, на чужих людей, а все работники будут работать на себя, все улучшения в работе и машины пойдут на пользу самим рабочим, для облегчения труда, для улучшения жизни».

Не правда ли, заманчивая идиллия!

Ну, а чего же ждали сами крестьяне от революции?

В начале сентября 1917 года «Известия Совета Крестьянских Депутатов» — газета эсеров — напечатала «Примерный наказ, составленный на основании 242-х наказов» крестьян. Он требовал:

«Право собственности на землю отменяется навсегда...

Наемный труд не допускается...

Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися...

Формы пользования землею должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках».

Поразительна оперативность Ленина. Он в это время прячется от Временного правительства, но тем не менее сразу же не только замечает «Наказ», но и откликается статьей «Крестьяне и рабочие», где оценивает этот материал как «единственный в своем роде», считает, что он «должен быть в руках каждого члена партии».

Через несколько недель — Октябрьская революция, и «Наказ» ложится в основу «Декрета о земле». И Ленин дает объяснения делегатам съезда Советов: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны... Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам».

Но очень скоро в стране начинается голод. Ленин вынужден призывать: «Нужен массовый, «крестовый» поход передовых рабочих ко всякому пункту производства хлеба...» То есть «крестовый поход» на крестьянина. Приходится забыть высокие слова о «полной свободе творчества». Не отдашь хлеб — отберем силой!

Вот тогда-то и начинает выясняться, что крестьянин чрезвычайно устойчив против силы. Как ивовый прут — гнется, но не ломается. Он в своем хозяйстве всегда может найти укромное местечко, куда спрятать хлеб, что

никакие «крестоносцы» его не найдут. Крестьянских хозяйств по стране миллионы, над каждым не поставишь контролера от государства. Мало того, на излишне сильный нажим крестьянин может ответить бойкотом: берете у меня хлеб, а взамен ничего не даете, так я не стану лишка стараться, посею только для себя, а сверх того — шалишь.

Вспомним назидательный рассказ Льва Толстого «Много ли человеку земли надо». Воистину безмерна жадность крестьянина к земле, ее он готов оплатить ценой жизни. Ради земли он пошел за революцией. И вот этот крестьянин, только что исступленно мечтавший о земле, стал от нее отказываться: «Зачем она мне? Что ни посей — отберут. Чего зря-то хрипт ломать!» Посевные площади стали стремительно сокращаться, поступление хлеба в город грозило прекратиться совсем. Костлявая рука голода душила молодое государство.

С мужиком, оказывается, можно делать дела только полюбовно: дай ситец, керосин, сапоги — получи хлеб. А в стране разруха — ситец не ткется, керосин не добывается. Новое государство попадало в зависимое положение, его диктаторская власть оказывалась беспомощной. А выход?..

Он был. В обобществлении разрозненных крестьянских хозяйств в крупные, над которыми можно было бы осуществить контроль. В крупном контролируемом хозяйстве уже не спрячешь хлеб, и землю обрабатывать там не трудно заставить. Государство получило бы власть над крестьянином.

Рассчитывать, что сами крестьяне добровольно станут объединяться,— утопия. Не зря же они из всех форм свободного землепользования, предоставленных «Декретом», выбрали не артельную, не общинную, а почти поголовно — «подворную» форму единоличного землепользования. Тысячелетиями мужик стремился к независимости через собственность.

Земля в длину и ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.
И никого не спрашивай.
Себя лишь уважай.
Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай.

Применить диктаторское насилие? Но какая нужна сила, чтоб заставить миллионы крестьян жить и работать

не так, как они хотят! Государство, переживающее разруху и войну, такой силы еще не имело. Да это было бы не что иное, как насилие в масштабе всей нации. Правительство, решившееся на такой узурпаторский акт, могло с полным основанием называться антинародным. Кроме того, и классики марксизма тут прямо и недвусмысленно высказывались против применения силы. «Энгельс подчеркивал,— напоминал Ленин,— что социалисты в мыслях не имеют экспроприировать мелких крестьян, что лишь **силой примера** будут выяснять им преимущества машинного, социалистического земледелия».

Нет, коллективизация деревни через приказ и оружие не в духе Ленина. В марте 1919 года с трибуны VIII съезда партии он предостерегает:

«...Коммуны мы поощряем, но они должны быть поставлены так, **чтобы завоевать доверие крестьянина.** А до тех пор мы — учащиеся у крестьян, а ие учителя их... **Нет ничего глупее, как самая мысль о насилии в области хозяйственных отношений среднего крестьянина.**

Задача здесь сводится не к экспроприации среднего крестьянина, а к тому, чтобы учесть особенности жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способности перехода к лучшему строю и не сметь командовать! Вот правило, которое мы себе поставили! *(Аплодисменты всего съезда.)*».

И Ленин от коммун повернул в обратную сторону — к признанию частной собственности и свободной торговли, к нэпу!

Не все соглашались с ним. Троцкий, например, кидал грозные лозунги — «индустриализация за счет деревни», «завинчивание гаек», то есть применение силы. Троцкий был бесхитростно откровенен — пагубное качество для политика,— его выбросили из страны и предали анафеме.

А вот после смерти Ленина в числе чуть ли не самых активных сторонников «мягкого» обращения с крестьянством стал... Кто?.. Представьте себе — Сталин! На XIV съезде в своем политотчете он, можно сказать, в какой-то степени взял даже под защиту кулака.

«Если задать вопрос коммунистам,— говорил он,— к чему больше готова партия — к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия больше всего подготовлена к лозунгу: бей кулака. Дай только,— и мигом разденут кулака. А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести

более сложную политику изоляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается. Вот почему я думаю, что в своей борьбе против обоих уклонов партия все же должна сосредоточить огонь на борьбе со вторым уклоном (т. е. «бей кулака».— *В. Т.*)».

И эти слова тоже встречены аплодисментами съезда. Произнесены они в конце 1925 года, до начала сплошной коллективизации оставалось немногим больше трех лет.

Через два года, на XV съезде, Сталин все еще благонравно корит: «Не правы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать, и точка. Это средство — легкое, но далеко не действенное. Кулака надо взять мерами экономического порядка, на основании революционной законности».

Спустя год с небольшим после того, как прозвучало это заявление, началась поголовная коллективизация — своеобразная облава на многомиллионное крестьянство. И начал ее не кто иной, как Сталин со своим аппаратом, ни с кем не посоветовавшись, ни у кого не испросив благословения.

XVI съезд партии только послушно признал свершившийся факт, с раболепной услужливостью запоздало одобрил его.

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно! —
Но им без волненья
Внимать невозможно.

История корчит гримасы.

5

Был вечер, обычный, летний. Старая ржавая крыша напротив под лучами садящегося солнца, казалось, раскалилась до вишневой спелости. В затененной влажной глубине между домами суетливо жила знакомая улица — приходили и уходили трамваи, крякали гудки редких автомобилей, стучали по булыжнику колеса ломовых телег.

Отец пришел с работы раньше матери. Они всегда приходили в разное время — то мать раньше, то отец — и редко когда входили в дверь вместе. Отец умывался на кухне, слышался плеск воды и довольное фырчанье.

В дверь кто-то робко поскребся — может быть, Ленка. Максимка бросился открывать.

За дверью, вплотную — куча странного народу. Впереди высокий, тощий старик с сухой, пыльной бородой.

— Сынок,— спросил он слабым голосом, словно был в чем-то очень виноват,— тятька-то твой дома ли?

Максимка понял — спрашивают отца, отошел в сторону, пропуская старика.

Старик обернулся к тем, кто стоял у него за спиной, кивнул головой, первый переступил порог.

Их было пятеро: сам старик, длинный, перекрученный, с жилистой коричневой шеей и кривым хрящеватым носом над спутанной бородой, старуха с плоским морщинистым лицом, женщина, похожая на старуху, в низко повязанном платке, прятавшем глаза, девчонка в рваной кофте, свисавшей ниже колен, и, наконец, мальчишка чуть, верно, моложе Максимки — мокрый нос, белые-белые выгоревшие космы и открытый недоуменно рот. Что-то цыгански пестрое, дорожное, прокаленное солнцем, пропыленное насквозь, круто пахнущее потом заполнило не слишком просторную комнату. Старик и старуха были обуты в лапти, детишки босые. Старик озирался кругом, мял скрюченными пальцами шапку, мальчишка как вошел, так сразу сел прямо на пол, уставился на Максимку с открытым ртом, словно перед ним был не обычный человек шести лет, а слон из зоопарка.

— Тятька-то твой дома ли? — несмело переспросил старик.

Отец вышел на голоса, в нательной рубахе с распахнутым воротом, с красным лицом, красной натертой полотенцем шеей, чистый, свежий, неприлично сильный перед этим цыгански пыльным народом.

Он ничего не успел сказать, только взметнул вверх брови,— первым старик, за ним женщины, за женщинами девчонка в длинной кофте повалились на колени с сухим шорохом. Только мальчонка как сидел, так и остался сидеть с открытым ртом, завороженно уставившись на Максимку.

Старик с размаху поклонился нечесаной головой до полу, разогнулся, сутулясь, глядя снизу на отца, мигая красными веками, заговорил тонким, рвущимся, торопливым голосом:

— Не оставь нас, отец родной! Не оставь, кормилец!

И у него дрожала вытянутая вперед сухая борода, прыгал под бороду кадык.

— Вы... кто? — выдавил из себя отец.— Встаньте! Встаньте!..

— Не оставь, Христом-богом просим! Изводят, со свету сживают... Ты глянь, глянь на нас!.. Коли б мы со старухой одне были, так бог с нами, со старыми да некорыстными. Пожили — хватит. А то ведь, глянь, детей малых наказывают...

— Вы встаньте сначала.

— Не встанем, отец, с места не двинемся, покуда ты нашу беду не разведешь. А беда-а! Бедовей-то не стрясется... Справедливец ты наш, по-людски нельзя, по совести, так хоть вспомни — какая-никакая, но родня мы тебе...

— Да кто вы, право? — У отца не сходила багровость с лица и шеи.

— Мы же, любой, из Патлов. Мы же родня прямая жинке-то твоей Глафире Андреевне. Я вот дядей ей прихожусь, она мне племянница будет.

— Дядя?!

— Знает она меня хорошо, на руках носить приходилось. Ее-то покойный отец, царство ему небесное, Андрей Емельянович,— брат мой кровный. Он — Андрей, а я — Василий Емельянович.

— Встань, Василий Емельянович, расскажи толком... Да встань ты с колен! Что я тебе, губернатор царский или генерал, чтоб передо мной лоб разбивать!

— Да вы нонче господа почище царских-то будете, даром что с виду просты. Вон и Глашка высоконько прыгнула — рукой не достанешь. А давно ли из рукава кусок выглядывала.

— Подымайся!

Но упрямый старик продолжал стоять на коленях, задирал пыльную бороду, плоский в груди, иссушенно тощий, казалось, еще раз поклонится до полу — хрустнет и сломается пополам.

— Мы уж в ножках валялись у Глафиры-то Андреевны. Мы к ней в присутствие ходили. Отыскали, Бог помог, слезьми горючими молили. Да, не в обиду будь сказано, крутенька Глафира-то, камушек у нее заместо сердца — слушать не захотела, прогнала. А про тебя, слышь, говорят — добрый, и власти у тебя больше Глашкиной.

В уголках красных век старика копились слезы. А мальчишка у порога, по-прежнему открыв рот, не сводил с Максимки взгляда. Максимке хотелось спрятаться, и щипало в носу, как после песни «Позабыт, позаброшен».

С задранной дрожащей бороды сыпались суетливые, перепутанные слова:

— Санька-то, это старший-то мой, не стерпел — он тоже порох хороший,— ударил вгорячах Фролку Микишина. Фролка-то нынче в начальство вышел. Саньку сразу под наганом увели, а у нас начисто все переписали да в высылку... Детей бы пожалели, грудной-то помер в дороге... В высылку, на кукуй, в холодные места! А за что?! Ну, пусть Санька, садова голова, виноват. Спроси с него как следует, а нас почто?.. А детей?.. Всех в кулаки чохом!

Максимка всей кожей вдруг озябшего тела переживал за старика. Как хорошо, что он пришел к отцу. Отец выручит. И зря они ходили к матери.

Но голос отца был такой, что не только Максимка оторопело обернулся к нему, а даже мальчишка с открытым ртом перевел глаза.

— А как вы попали сюда?

Задранная борода старика медленно поползла вниз.

— Как вы оказались в Москве?

Старик молчал, смотрел в пол.

— Ну?!

— С поезда сошли за кипятком...

— Сбежали с поезда?

Старик затравленно пошевелился.

— Детишек спасти хотелось. Далеко ли отъехали, а один уж помер в дороге. Что с этими станется? Они-то в чем виноваты? И курица своих цыплят бережет, ай не понятно? У тебя вон сын растет...

— Работников держал?

— Работников!.. Эва! Да с сыном мы, с Санькой, вдвоем ломали. На одной кобыленке восемь десятин распахивали. Жилы из себя тянули. За это нас и в кулаки сунули, что баклуши не били. Кому на землю плевать, те в силе да в почете. Фролка Микишин вон — чепуховый человек, только горло драть умеет, в жизни, поди, с первыми петухами не вставал...

Борода старика уперлась в грудь, он смотрел не в лицо отцу, а в ноги. И отец тоже отводил от него взгляд.

— Не могу я решение изменить,— сказал он глухо.

— Сердца у вас нет.

— Сердце есть, нет пути иного. Приходится перешагивать кой через кого...

— Через кого?! Через него шагаете! — Старик дернул бородой в сторону завороженного мальчишки, сидящего под порогом.— И не жалко вам?

— Жалко,— хрипло ответил отец.

— Так пожалей! Просим же! Про-сим!

— Могу к себе взять... обоих.

И тут вдруг вскинулась женщина в низко надвинутом на глаза платке, сутуло стоявшая на коленях за спиной старика:

— Не от-дам-м!! — Стекла в окне отозвались зудящим стоном.— Еще и детей! Последнее!! Не от-дам!! Умру с ними!

Старуха темной рукой тянула сзади старика за полу:

— Пойдем, Христа ради. Пойдем уж...

— Отца загубили! Из родного дому повыгнали! Теперя — детей отдай!

— Вам же лучше, пока не устроитесь...— Отец блуждал глазами в стороне.

— Убейте лучше! Убей-те!! Меня! Детей! Всех!! Вот мы — нате, ешьте!

Мальчишка, видать, привык к таким крикам, не обращал на мать внимания, снова разглядывал Максимку ясными, остановившимися глазами.

Старик с трудом поднялся с колен, сгорбленный, с упавшими к коленям тяжелыми, плоскими руками, с повисшей пыльной бородой:

— Нет сердца у вас, нет! Не грешите уж... Эх!

Он натянул на жидкие волосы шапку, сердито выговаривая, помог подняться с колен женщине:

— Окстись, непутевая, окстись! Разве их криком возьмешь. Ну-кось... Нет у вас сердца, нет...

Девчонка в кофте сердито дернула за руку мальчишку, тот наконец оторвал от Максимки глаза, закрыл рот, сопя стал подыматься с полу.

Захлопнулась дверь, в комнате стало пугающе пусто.

Дверь — медная, захватанная до блеска ручка, медные, но тусклые шляпки гвоздей, там, где гвозди давно выпали, клеенка пузырится, внизу, у самого пола, она и совсем порвалась — торчат клочья серой ваты. Что может быть привычней двери, в которую ты входишь и выходишь десятки раз за день!

У отца на виске у самых волос — дышала жилка, словно силилась уползти, спрятаться. Он почувствовал взгляд сына, повернулся, шагнул, поднял его с пола, на уровень тоскующих глаз. И Максимкино лицо само стало кривиться, по щекам потекли слезы.

Отец прижал сына к себе, пронес по комнате — подальше от закрытой двери, опустился на стул, стал гла-

дить волосы. Он гладил, а Максимка ждал, что отец скажет обычное: «Ну-ну, мужчины не плачут».

Но тот сказал другое:

— Придет время, сынок, когда мы будем так сильны, что начнем жалеть даже своих врагов. Даже их.

— Почему сейчас нельзя?

— Рано...

— Я хочу сейчас...

— Сейчас весь мир наши враги. Во всем мире готовят пушки и танки. Пушки, чтоб убить меня, маму. И тебя тоже.

— Но этот дедушка...

Старик никак не походил на врага. Таких с бородой рисовали на картинках — крестьянин с косой и рабочий с молотом пожимают друг другу руки. Даже на деньгах нарисованы рабочий и бородатый крестьянин.

Отец сухо ответил:

— Он — кулак. Кулаки хотят спрятать хлеб, чтоб все мы умерли с голоду.

— А мальчик, папа? Неужели и он кулак?

— А мальчик — нет.

— Так почему ты не оставил его у нас? Тебе хотелось... Я бы ему все игрушки...

Отец долго молчал, глядя поверх головы Максимки. В серых глазах под бровями — застойная тоска.

— Хотелось,— произнес он наконец.— И мальчика, и девочку... Но не смог...

Тяжелые и сильные руки отца бережно обнимали сына. Комната затягивалась сумерками, с улицы доносился скрежет трамвая.

Тихий, тихий вопрос усталым голосом:

— Что они будут делать в городе? У них наверняка нет ни копейки...

И Максимка представил себе, как бродят они под фонарями — босые и пыльные, впереди тощий, высокий, перекрученный старик. Идут и не знают куда. А люди спешат мимо них, все незнакомые люди. И они не догадываются, что это враги — кулаки, которые убивают не пушками, а голодом.

А все-таки как их жаль! И отцу тоже...

А матери было нисколько не жаль.

— Мало я у этих родственничков христарадничала? Обстирывала, сопли детишкам подтирала, из болот на

хребте траву таскала, чтоб они молоко топленое трескали. А слышала одно: «Побирушка, голытьба непутевая! Помни, чей хлеб ешь!» Нет, Колька, сдавать что-то стал в тебе классовый боец. Через стенку бы тебя продавать — за красную девку сошел.

Отец виновато отмалчивался.

VI

Владимир Ильич! Пора. Поговорим о нравственности.

2 октября 1920 года на III Всероссийском съезде комсомола Вы сами подняли этот вопрос:

«Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем».

Но в этом же выступлении Вы произнесли иные слова: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

И Вы навряд ли стали бы отрицать, что какие-то законы нравственности, открытые человечеством в практике жизни, входят составной частью в те духовные богатства, обогащаться которыми Вы призываете. Тем более что еще раньше, мечтая о будущем бесклассовом обществе, Вы отмечали, что «люди постепенно **привыкнут** к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторяющихся во всех прописях правил общежития...». Не будем судить, насколько реально упование на такую «постепенную привычку», отметим лишь, что Вы тут не отрицали преемственности в новом обществе старых, вековых правил общежития, ложащихся в основу нравственных понятий. Тогда почему столь категоричное утверждение: «Мы в вечную нравственность не верим»? Конечно, нет ничего вечного в мире сем, какие-то понятия нравственности устаревают, подлежат пересмотру, изменениям, но отметать чохом «вечную нравственность» — не верим! Перебор, который ставит Вас в противоречие не только ко всей человеческой культуре, но даже в противоречие к самому себе.

Вы недовольны старой нравственностью, а потому сочли возможным сделать следующее заявление: «Нравственно то, что полезно для революции».

Вдумаемся же в это.

Нравственность — совокупность правил поведения людей друг к другу и к обществу, то есть в каком-то смысле это правила человеческих отношений. Вы всю жизнь напористо стремились изменить бытующие человеческие отношения — существует классовое различие и классовый антагонизм, необходимо добиться, чтоб этого не было; существует эксплуатация, следует уничтожить ее, бездельник не должен жить за счет труженика... Новые отношения, значит, и новые правила поведения, новая, более высокая нравственность, ради нее стоит бороться, подымать революцию. Ради нее...

И вдруг оказывается — «нравственно то, что полезно для революции». Не революция для нравственности, а совсем наоборот — нравственность тут служит и применяется к революции. Революция уже не средство достижения чего-то нового, она — сама по себе цель. Выходит, ценны сами по себе разруха, голод, кровопролития, горы трупов и прочее, что неизбежно сопровождает революционные взрывы. Что может быть страшнее такого чудовищного абсурда?

Даже Ваши враги не осмеливались называть Вас безнравственным человеком, но именно Вы стали проповедником нравственности, поощряющей насилие ради насилия, соглашающейся на кровопролитие ради кровопролития.

И следует ли удивляться, что через двенадцать лет после Октябрьского переворота, когда государство проводит небывалое в мировой истории насилие по меньшей мере над десятками миллионов крестьян, страна молчит, никто не возмущается, больше того, вовсю славится этот сверхмасштабный насильнический акт. Миллионы семейств выгоняются из собственных домов, ссылаются в необжитые места Сибири и Крайнего Севера, мрут от голода и болезней. Мрут сосланные старики, женщины, сосланные дети! Подавляющее большинство уже уверовало: «нравственно то, что полезно революции», значит, все правильно.

В то время, когда Вы произнесли эти слова, революция уже переросла в государство. Уже тогда было можно перефразировать: «Нравственно то, что полезно

государству». Практически смысл нисколько не менялся. Все, что ни делалось во имя революции, делалось для укрепления нового государства, во славу его. И конечно же, наиболее деятельным тут был Ленин, основоположник и глава возрожденного революцией государства.

Но именно Вы, Ленин, считались одним из самых яростных противников государства как общественного учреждения. Даже отец анархизма Петр Кропоткин бледнеет перед Вами, столь убийственно он на государство не обрушивался.

«Всякое государство,— писали Вы буквально перед самой революцией,— есть «особая сила для подавления» угнетенного класса. Поэтому **всякое** (Вы подчеркиваете это слово, а не я.— *В. Т.*) государство несвободно и ненародно».

«Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».

Есть ли нужда приводить другие Ваши высказывания? Их много, и все они в том же духе — непримиримы!

6

Максимилиан Иванников стал ходить в школу.

В его классе под портретом Бубнова, нового наркома просвещения, висела карта мира, два полушария — бледно-голубые океаны и пестрые, составленные из разноцветных стран-лоскутков континенты. Вверху одного полушария — наша страна, не лоскуток, а полотнище, словно развернутое красное знамя над планетой. Максимка путешествовал...

Африка — там угнетенные негры.

Америка — больше всего капиталистов. И негры угнетенные тоже есть. Их когда-то привезли в цепях из Африки.

Индия окрашена в зеленый цвет, как и маленькая Англия. Англичане богатеют, индусы умирают от голода.

Китай... Там даже ездят на людях, как на лошадях. Но там сейчас война, и есть уже своя Красная Армия.

Во всем пестром мире нет места, где бы простые люди жили хорошо. Только в нашей стране все не так, как всюду. Наша страна окрашена в красный цвет — цвет революции!

К нам прибыли испанские дети. Максимке сшили синюю шапочку с красной кисточкой — испанка, в таких теперь ходят все мальчишки и девчонки. И все знают два испанских слова: «Но пасаран!» — «Они не пройдут!». Но пасаран! И — «лучше умереть стоя, чем жить на коленях!».

Разбился самолет «Максим Горький», самый большой самолет в мире.

Умер сам великий писатель Горький.

А перед этим умер его сын Максим, которого Горький очень любил.

А помните злодейское убийство Кирова?..

И появились первые плакаты на заборах: «Будь бдителен — враг повсюду!» И новые портреты Сталина — с девочкой Мамлакат на руках: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство!»

Максимка — как все мальчишки — мечтает стать летчиком.

Нам разум дал стальные руки-крылья
И вместо сердца пламенный мотор.

Портрет Бубнова сняли со стены.

VII

Ленин ненавидит государство: «**Всякое** государство **не**свободно и **не**народно». Всякое! В том числе и пролетарское.

Но на первых порах без государства не обойтись.

«Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров и для **руководства** громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетария, в деле «налаживания» социалистического хозяйства».

То есть мышьяк — яд, но в руках врача он спасительное лекарство. Государство само по себе — орган угнетения, но только через него можно добиться желанной свободы.

И Ленин рисует картину освобождения: «**Все** граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. **Все** граждане становятся служащими и рабочими **одного** всенародного, государственного «синдиката». Все дело в том, чтобы они

работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну».

«Все общество,— повторяет он,— будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы».

Простой рабочий и директор завода оказываются в одинаковом положении. Как тот, так и другой наняты государством. Как тому, так и другому идет одинаковая заработная плата. Привилегии отменены и чины тоже. Не может быть и речи об угнетении кого-то, об эксплуатации. Даже карьеристические стремления уйдут безвозвратно в прошлое. Какая нужда стремиться к высоким должностям? Всюду равенство труда и платы.

«Такое начало,— утверждает Ленин,— на базе крупного производства, само собою ведет к постепенному «отмиранию» всякого чиновничества, к постепенному созданию такого порядка,— порядка без кавычек, порядка, не похожего на наемное рабство,— такого порядка, когда все более упрощающиеся функции надсмотра и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут затем становиться привычкой и, наконец, отпадут, как **особые** функции особого слоя людей».

И... «будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, **в подчинении** одного человека другому, одной части населения другой его части, ибо люди **привыкнут** к соблюдению элементарных условий общественности **без насилия** и **без подчинения**».

И, разумеется, государство, как орган подавления и угнетения, станет просто ненужным, оно отомрет само собой за ненадобностью.

Такова картина нового общества, нарисованная Лениным в знаменитой работе «Государство и революция».

В 1920 году в речи на III съезде комсомола Ленин заявил, что «поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество».

Пятнадцатилетним той поры вот-вот перевалит за семьдесят!

Так оглянемся же кругом!..

7

Дядя Ваня Крашенинников часто заходил по вечерам «на чаек». Из одной двери в другую, два шага через коридор. В нательной рубахе, перехваченной подтяжка-

ми, сквозь распахнутый ворот видна поросшая рыжим волосом грудь, с разведенными плечами, с выпирающим тугим животиком, просторный лоб сливается со сверкающей лысиной, короткие руки глубоко запущены в карманы брюк.

— Как жизнь, смена? — вопрос к Максимке.

Последнее время дядя Ваня защищал какого-то Постникова, который выступал против рекордов.

Мать Максимки нападала на дядю Ваню:

— Кого под крылышко берешь, Иван? Из столбовых дворян твой Постников. Не дивно, что ему у нас все не нравится.

— Забываешь, что и Ленин из дворян.

— Сравнил.

— Постникова революция в Минусинске застала, не по своей воле там оказался. Он известный профессор-экономист, чье слово дороже — его или твое? Давно ли ты, Глафира, по складам «папа-мама» читать научилась?

Мать затягивалась папиросой, сводила над переносицей тугие брови:

— Государство у нас пролетарское. Я, Иван, пролетарка без подмесу, от сохи да от лаптей. Потому и слово мое цени больше.

— Только потому, что в лаптях ходила, твое невежество ценней знаний? Ну, так мы индустрию не подымем.

У матери в голосе глуховатые перекатцы, глаза под сведенными бровями колючи:

— Весь народ, Иван, как я, не профессора. Ты хочешь народ активности лишить — заткнитесь, мол, перед умными интеллигентиками. Не выпляшется! Открой газету, Иван. Кто с первой полосы глядит, чье слово печатают? Паши Ангелиной! Такая, как я, сельская девка учит уму-разуму твоего умного профессора. А мне запрещено? Ну-у, нет, от своих прав не откажусь: буду учить и пусть передо мной руки по швам держит, слушается. Моя-то народная активность для нашей державы дороже книжных знаний. Так-то!

Мать победоносно всадила окурок в блюдечко, а Иван Крашенинников задумчиво стоял, сияя под лампой лысиной, глядел в пол.

— Активность дороже знаний?..

— Народная, Иван, народная активность!

— Народная... Да-а... Ты, случаем, не читала — есть у Чехова рассказец, «Унтер Пришибеев» называется?

— Не читала! — отрезала мать.

— А вот Максимка, должно быть, читал.

— Читал,— с готовностью отозвался Максимка.— Вредный такой, всех разгонял.

— Активность народа... А кто среди народа всех активней? Да унтеры Пришибеевы, кто в каждую щель лезет со своим указом, правоту кулаком доказывает. Если верить Чехову, за такую активность судить надо, а мы... Кто в деревне после революции встал во главе сельсовета? Самый умный мужик? Нет, самый крикливый, самый активный — отставной унтер Пришибеев, не иначе. Вот и дожили: профессора Постниковы, интеллигенты, воспитанные на Марксе и Герцене, бросавшие кафедры ради революции... Руки по швам, Постниковы, перед активистами Пришибеевыми, не читавшими даже Чехова!

Отец, как всегда, молчал в спорах. Но было ясно — он на стороне дяди Вани Крашенинникова. Дядя Ваня — учитель отца.

VIII

«Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства».

По найму?..

Но эта весьма нехитрая операция — основа основ капиталистических отношений. Я имею капитал, вложенный в производство, ты не имеешь ничего, кроме пары рабочих рук. Я тебя нанимаю, и я диктую тебе свои условия, назначаю тебе зарплату, какую считаю нужной. А уж раз я плачу тебе, то обязан и проследить за тобой — хорошо ли работаешь. Наивно полагаться на твою совесть. Я вынужден не доверять тебе, вынужден ставить над тобой надсмотрщиков и контролеров. И конечно, только прекраснодушный идеалист может рассчитывать, что в ответ на мое недоверие ты ответишь доверием. И я, чтоб твое недоверие не переросло в открытую вражду, из своих доходов плачу на содержание чиновников, которые составляют выгодные для меня законы, плачу на полицию и армию, которые в случае нужды заставят тебя, недовольного, подчиняться мне.

Так выглядело «по найму» при капитализме.

А «по найму» у государства?..

И здесь, раз уж нанимают рабочего, не он сам назначает себе зарплату, а кто-то другой, облеченный этим

правом. Значит, останутся недоверие и проверка. И так же, как при капитализме, взаимное недоверие столь же легко, как и прежде, сможет перерасти в антагонизм.

«Государство, бывшее органом угнетения и ограбления народа,— признается Ленин,— оставило нам в наследство величайшую ненависть и недоверие масс ко всему государственному».

А почему должна исчезнуть эта «величайшая ненависть и недоверие масс» к новому государству, пользующемуся старой формой найма? Раз будут нанимать, то будет и антагонизм, будет ненависть, придется издавать сдерживающие законы, прибегать к поддержке организаций полицейского типа. И уж конечно, речи о «вооруженных массах» рабочих быть не может. Неразумно нанимателю доверять оружие тем, кого он нанимает.

Если ты решил строить машину по старому принципу пара, толкающего поршень, то мало надежды, что она взлетит за облака, скорей всего у тебя получится разновидность дедовского паровоза, способного ползать по рельсам.

Бессмысленно рассчитывать, что старый способ «по найму» приведет к новому обществу, к новым общественным отношениям. Нет, общество будет построено сходно со старым — с диктующим условия нанимателем, с бесправным нанятым и прочими вспомогательными фигурами, вплоть до тех, кто оберегает нанимателя силой оружия. И уж конечно, это, столь схожее с прежним, общество будет и жить похоже, болеть теми же болезнями, нести в себе старую вражду и старую ненависть.

Но стоп! Мы совсем забыли ленинское равенство труда и платы. Оно же в корне меняет все наши рассуждения. Если это равенство провести в жизнь, то новое государство в отличие от капиталиста, нанимая рабочего, меньше всего будет вступать с ним в торгашеские отношения — отдай свои рабочие руки, заплачу. Новое государство всех нанимает, всем поровну платит. Нет повода для недоверия, для обоюдной вражды и ненависти. Существенная поправка, и — все меняется...

Однако к нам стучится история Максимилиана Иванникова, происходящая двадцать лет спустя, как Ленин отложил в сторону неоконченную рукопись «Государство и революция», заявив: «Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

8

Максимка открыл глаза. Било через крышу соседнего дома солнце в окно, привычно погромыхивал трамвай внизу, влетали в открытую форточку заносчивые гудки автомобилей.

Но что-то тихо в комнате. Неужели проспал,— отец и мать ушли, а он, Максимка, опоздал в школу?

Отец и мать сидели за столом, друг против друга, готовые встать и идти на работу. Друг против друга, молчащие, неподвижные. А стол пуст — не стоит чайник, не расставлены чашки. Тихо в комнате.

Не спуская глаз с родителей, Максимка полез из-под одеяла. И мать с отцом разом обернулись, а Максимка вздрогнул.

У матери известково белый лоб, под самыми глазами на скулах два красных пятна, и сами глаза, широко открытые, не видят сына, скользят куда-то мимо.

Прежде он никогда не замечал седину на висках у отца. А она есть, и лицо желтое, усохшее. Взгляд такой же, как у матери,— пустынный, скользящий.

Что-то случилось... Он, Максимка, вроде ничего такого — окон не разбивал, не дрался, учителям не грубил. Да и кому придет в голову жаловаться на Максимку ночью. Вчера-то вечером было все в порядке.

— Надо идти,— устало сказал отец и не поднялся со стула.

Мать помолчала, перекатила желваками, процедила сквозь зубы:

— У сердца шакала держали.

— Надо идти. Пора,— засуетился отец. И это было на него не похоже.

— Папа, что?..— подал голос Максимка.

Отец оторвал наконец себя от стула, глядя поверх Максимкиной головы, сказал:

— Подымайся, сынок. Скоро в школу идти.

Решительно встала и мать, бросила резко:

— Чайник сам разогреешь. В шкафчике — колбаса, масло!

И они поспешно ушли, как сбежали.

Било солнце в окно. Улица внизу была накрыта сырой, пахучей утренней тенью.

Дом, где жили Иванниковы, когда-то был гостиницей, в ней пьянствовали старорежимные купцы. Двери выходили в длинный коридор. Никто из ребят его не любил —

темный, пустой, гулкий, да и играть в нем не разрешалось, со всех сторон сразу высовывались головы: «А ну, марш во двор! Раскричались!» Здесь жили служащие,и все ответственные, только в самом конце коридора — музыкант из симфонического оркестра, Борис Моисеевич Шольцман. Он постоянно таскал с собой огромную, как чемодан, виолончель.

Обычно в то время, когда Максимка выходил, открывалась дверь напротив, из квартиры дяди Вани появлялась Ленка. Она стала тощей и длинной, на полголовы переросла Максимку, хотя и училась на класс ниже. Косички крендельками, отутюженные воротнички, вздернутый нос — выглядит старше и задается этим.

— Здравствуй, Робеспьерчик,— говорила она с чуточной улыбочкой.

— Здравствуй,— ворчал он. Его сердила эта улыбочка чуть-чуть, этот «Робеспьерчик» вместо имени. Но попробуй рассердиться вслух — округлит глаза, невинно спросит: «А что я такого сказала?» И правда — что? Робеспьер не ругань, не придерешься.

— Тебе, наверно, опять снились самолетики?

— А тебе — мальчики!

— Конечно, Робеспьерчик, такие, как ты. С ума по ним схожу.

Так, препираясь, они шли до школы и там на пороге расставались на весь день.

Сегодня Максимка уходил рано, и соседняя дверь не открылась навстречу. Она даже показалась какой-то особенно глухой, словно за ней не просто спали — хотя давно пора всем вставать,— а никого нет, квартира пуста, уехали надолго на курорт.

Под дверью что-то валялось, он поднял — старая тряпичная кукла с облупившейся рожицей из папье-маше. Он вспомнил ее. С этой куклой Ленка приходила к нему в детстве. Не раз эта кукла испытывала удары его деревянной сабли, она и тогда была уже старой, ее не жалели. Наверное, Ленка давным-давно не играет в куклы, да еще такие замызганные. Почему вдруг она выбросила ее сюда?

Максимка кинул куклу на старое место и направился к лестнице.

Внизу в парадном стояла дворничиха Фатима, скрестив на пухлой груди руки, встречала издалека взглядом. Сегодня все вели себя как-то странно,— у Фатимы раскисшие глаза, лицо огорченное, ожидающее. Словно он,

Максимка, сделал во дворе что-то такое серьезное, что она уже не сердится на него, а жалеет: вот, мол, идет совсем пропащий человек.

— Здравствуй, тетя Фатима.

Он хотел проскочить мимо — на всякий случай, вдруг да и в самом деле что открылось! — но Фатима схватила его за рукав, приблизила расстроенное лицо:

— Ее не видел?

— Кого?

— Ох, Дуся бедный, Ленка бедный!

— Почему — бедные?

— Ай, ты что? — Фатима отстранилась в ужасе.— Ай, он не знает!

— Чего?

— Он не знает! — И пригнулась к Максимкиному уху, жарко задышала: — Забрал его. Машина приехал большой. Как хлеб возит... Забрал!

— Не понимаю — кого забрал?

— Иван Иваныч.

— Дядю Ваню? Куда?!

— Кричи громче, кричи... Тюрьма знаешь?

— Дядю Ваню? В тюрьму? Зачем?

— Ай, какой глупый, ка-кой глупый! Зачем тюрьма?.. Врага народа зачем?.. Дуся бедный, Ленка бедный...

Он стоял, и плыло в сторону широкое лицо Фатимы.

Старая тряпичная кукла под наглухо закрытой дверью... «У сердца шакала держали...»

Враг народа!

Он почувствовал, что Фатима выталкивает его на улицу:

— Иди, иди!.. Ай, байбак, опоздай в школа.

Сегодня — странная улица. Она залита ясным, уже полетнему припекающим солнцем.

Та же трамвайная остановка, булочная, мастерская «Ремонт часов», магазин «Галантерея» — шнурки, пуговицы, сорочки,— знакомая, грудастая, похожая на тетю Фатиму, мороженщица на углу со своей тележкой. Военный и девушка едят мороженое и... смеются. Им в ответ смеется мороженщица.

Сегодня смеются! Странная улица.

А за стеклом «Ремонт часов», в прохладной полутьме, окруженный разными циферблатами — часовщик, нос, как клюв попугая, врос в верхнюю губу, копается себе. И вчера он так же копался.

Широким шагом идут парни в одинаковых белых свитерах, в одинаковых белых тапочках, с одинаковыми маленькими чемоданчиками, одинаковым напористым шагом — спортсмены из какой-то команды, спешат на тренировку, перебрасываются громкими словами. И тоже смеются...

Странная улица,— на ней много счастливых и совсем нет несчастных. Не видно, не плачут.

Нет, кажется, все-таки есть — старуха, должно из деревни, вид растерянный и расстроенный, бросается то к одному прохожему, то к другому, все останавливаются, терпеливо слушают ее, неуверенно качают головами, идут дальше, забыв о несчастной старухе.

Со своей бедой старуха бросилась и к Максимке:

— Сынок! Родимый! Скажи ради Христа, где Третий Верхне-Михайловский проезд? Там дочка живет. К ней приехала, три года не виделись...

Максимка, как и другие, покачал головой.

Странная улица... Никому не известно, что произошло здесь, рядом, в большом доме!

Школа была непривычно пуста и настораживающе таинственна. Слышно, как где-то на другом этаже стучит щеткой уборщица. Одинокий, заблудившийся в ненаселенной школе звук.

Но властно и вызывающе грохнула входная дверь, раздались высокие девчоночьи голоса, еще громыхание двери, еще... И школа проснулась, загудела — топот ног по длинным коридорам, хлопанье классных дверей, смех... В школе стало, как и на улице, много счастливых и совсем нет несчастных.

Максимка болтался в этой счастливой коридорной шумихе, с кем-то здоровался, от кого-то отмахивался и все оглядывался, искал...

Почти у каждого мальчишки, помимо товарищей, с кем возишься на переменках, меняешься марками, ходишь в кино, есть в школе герой-избранник, кого не часто видишь, еще реже с ним говоришь, больше наблюдаешь со стороны, хочешь походить на него. Иногда это учитель, чаще старшеклассник. Для Максимки таким был Лешка Корякин из десятого «А».

Во-первых, Лешка — сын героя. Его отец, паровозный машинист, не захотел отдать деникинцам груженный снарядами поезд, врезался в забитую станцию,— взлетели

в воздух вагоны, вместе с ними и Лешкин отец. Лешка совсем отца не знал, так как родился тогда, когда отец его уже вел свой последний поезд к станции, занятой деникинцами.

Во-вторых, Лешка никого не обижал из малышей, был самым справедливым из всех ребят. Лешкиной справедливости боялись даже учителя.

И в-третьих, Лешка—оратор, выступал на каждом собрании, его всегда почтительно слушали.

Кто-то должен объяснить все. Сейчас! Немедленно! Иначе—умереть! Кто-то умней, старше, честней... Максимка искал в коридорной шумной суете Лешку.

Лешка был долговяз, худ, весь составлен из угловатых костей, узкое лицо, сплющенные бледные тонкие губы, большие, выпуклые, прозрачно-желтые глаза. От него, словно от наточенной бритвы, исходила опасная острота.

— Леш-ка-а...— Максимка задохнулся от волнения.

И Лешка понял, что его остановили неспроста, его взгляд стал вязким, как свежий мед.

— Что?

— Ленку Крашенинникову из пятого «Б» знаешь?

— Ну?

— Я с ней рядом живу...

— Ну, так что?

— Ее отца... ночью сегодня.

Лешка удивился, но не слишком, только вязкая желтизна глаз потемнела:

— Так!

— Он же герой гражданской!..

— Тухачевского тоже героем считали.

— Леш-ка-а! Мне страшно!

— Одним врагом меньше стало. Ты радоваться должен.

Но Максимка не мог заставить себя радоваться, произнес тоскливо:

— Кому верить теперь?

— Народу!—твердо ответил Лешка.—Тебе мало?

Максимка не посмел спросить у Лешки: кто такой народ? Уж это-то, наверное, сам знать должен, не маленький. Народ—это все, это те, кто ходят по улице. Еще вчера, как все, ходил по улице и дядя Ваня Крашенинников, тоже, поди, считался «народом».

Легче от разговора с Лешкой не стало.

Первым уроком была ботаника. Учитель рассказывал о строении цветка — цветоножка, чашечка, лепестки, тычинки, пестики... Максимка почувствовал вдруг, что слушает с удовольствием.

Представлялся луг, синее небо с тугими горбатыми облачками, высокая, таящая у корней влагу трава, облитые солнцем яркие цветы, гудят пчелы над ними. Солнце и цветы, в каждом цветке тычинки и пестики. Пчелы пьют нектар, пачкаются в пыльце, несут ее на другие цветы, лепестки облетают, созревают семена, падают на влажную землю, из земли тайком выползает слабенький росток, тянется вверх, крепнет, выбрасывает новый цветок с лепестками, тычинками, пестиками... И все начинается сначала. Ясная, чистая жизнь.

Он даже забыл на время о дяде Ване.

IX

Итак, «все дело в том, чтоб они (граждане.— *В. Т.*) работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну».

Зададим невинный вопрос: а как быть с теми, кто любит свою работу? Не для всех же труд — проклятие, неприятная обязанность, разве мало таких, для кого работа — захватывающая творческая деятельность. Увлеченный творчеством человек скорей всего не станет ревниво оглядываться на других, чтоб соблюсти меру. А как же принцип равенства?

Можно согласиться: перерабатывайте, коль уж вам так хочется, однако получать за свой самоотверженный труд вы станете поровну со всеми. Но можно ли считать передовым и прогрессивным то общество, которое ничем не стимулирует деятельность талантов, низводит их до уровня посредственностей? Скорей всего такое общество станет медленно развиваться, скудно жить, его участь — неизбежная отсталость.

Работать поровну, получать поровну — Ленин выдвигает в интересах рабочих, желая посадить «техников, надсмотрщиков» и прочих управляющих чиновников на «заработную плату рабочего». Но каждому ли рабочему столь уж выгодно это равенство труда и оплаты? Не будет ли лучший, опытнейший, хорошо обученный, квалифицированный рабочий считать себя обиженным, «получая поровну» с только что явившимся на завод желторотым учени-

ком? Значит, чтоб соблюсти меру, есть один выход — опытный и толковый работник должен опуститься до уровня неумелого. Но тогда производительность труда в обществе неизбежно станет падать, а народ нищать.

Если квалифицированный рабочий будет трудиться в силу своих возможностей, а ученик в силу своих, а получать оба станут поровну; то произойдет весьма неприятное явление: неумека и лодырь станет забирать для себя то, что сделано квалифицированными руками, то есть присваивать себе часть чужого труда.

Нет, квалифицированного — наиболее полезного для общества — рабочего такое равенство труда и платы вряд ли устроит. Но в таком случае имеет ли право такой рабочий требовать равенства платы по отношению, скажем, к своему техническому руководителю, возможно уникальному специалисту в своем деле? Я, мол, с учеником равняться не хочу, а уж с инженером меня поравнять извольте. Тут уже рабочий выступает в порочной роли присваивателя труда.

Вся революционная деятельность Ленина была направлена только к одному — уничтожить присвоение чужого труда, уничтожить эксплуатацию! Бездельник не может жить за счет труженика! Ради этого, собственно, и было провозглашено: «Работать поровну, получать поровну!» И вот парадокс — именно это породило зловещую обстановку, когда бездарь и бездельник становятся эксплуататорами деятельных талантов, узаконило общественный паразитизм. Согласитесь — такой вид эксплуатации более гнусный и опасный, чем старый.

«Все дело в том, чтобы работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну». Право же, эти слова родственны по духу ветхозаветным: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься». Как в первой фразе, так и во второй отражен взгляд подневольного раба, для кого работа была игом, тяжкой и унизительной обязанностью, наказанием божьим, а вовсе не взгляд гражданина свободного общества, для кого труд — творческая потребность.

И конечно же, провести в жизнь столь ультраархаические взгляды в двадцатом столетии просто невозможно. Они сразу бы привели к полнейшему развалу. Ленин формально не отказался от них, не заявил во всеуслышанье: извините, но моя теория оказалась тут весьма неразумной. Он просто забыл ее и одним из первых выступил против уравниловки.

Сначала стали высоко платить спецам — тем самым «техникам и надсмотрщикам», организаторам производства, против которых столь усиленно выступал Ленин.

«Подобного рода,— вспоминает он в 1921 году,— исключительно высокое, по-буржуазному высокое, вознаграждение специалистов не входило первоначально в план Советской власти и не соответствовало даже целому ряду декретов 1917 года. Но в начале 1918 г. были прямые указания нашей партии на то, что в этом отношении мы должны сделать шаг назад и принять известный «компромисс» (я употребляю это слово, которое тогда употреблялось). Решением ВЦИК от 29 апреля 1918 г. было признано необходимым эту перемену в общей системе оплаты произвести».

Новая система оплаты начала постепенно охватывать все слои. Пока был жив Ленин, сохранялся «партмаксимум» как некий глухой отзвук неосуществленной мечты о равенстве труда и платы. Скоро он сменился солидными, год от года растущими, окладами. А позднее вошли в моду еще и сверх того подачки «в пакетах», тайно подсовываемые видным партийным и государственным чиновникам.

Не последователи Ленина, а сам Ленин нарушил свой утопический принцип равенства, тем самым уже окончательно превратил государство в нанимателя по старому, капиталистическому образцу. Государство нанимало, определяло зарплату, следило, как она оправдывается, проявляло недоверие к труженику, вызывало у труженика ответное недоверие к себе, которое перерастало в антагонизм, в ненависть, вынуждало государство содержать верных, хорошо оплачиваемых чиновников, создавать мощные организации полицейско-жандармского типа, регулярную армию.

Произошла победоносная революция, и народ получил вместо многих раздробленных хозяев-частников одного монолитного хозяина. Повоевали, победовали, полили кровушки и вернулись к старому. Казалось бы, какая разница — что ни поп, то батька. Ан нет, разница! Внутри нового общества назревают грозные перемены.

9

В коридоре под дверями дяди Вани Максимка снова увидел куклу. Она валялась там, где он ее бросил. За день прошло по коридору много народу, и никто даже не сдвинул ее с места.

В школе Ленки не было. Что с ней? Может, умерла с горя? Он поднял куклу и позвонил.

За дверью тихо. Но он вдруг всей кожей почувствовал — кто-то там стоит. Стоит и не шевелится, не подает голоса. Тут! Прямо за дверью!

Стало жутковато, приложил губы к замочной скважине, произнес:

— Ленка, Ленка. Это я — Максимка.

И там явственно зашевелились, но снова притихли.

— Ленка. Это же я. Открой.

Секунды мертвой тишины, и внезапно, заставив вздрогнуть Максимку, щелкнул — как выстрелил — замок. Дверь, глухая, безжизненная, тихо подалась... Пугающе темные, совсем незнакомые глаза. А дверь медленно приоткрывалась все шире. Максимка проскользнул внутрь, навстречу пугающему погребным мраком взгляду.

Она нервно одергивала мятое платье. У нее на зеленом съежившемся личике распухший вишневый нос, волосы не заплетены в косички-крендельки, падают на грязные щеки, на вздернутые плечи, а глаза, сухие, провально горячие, не прежние, совсем не Ленкины.

— Ленка,— сказал Максимка сердито,— думал, ты уже не жива.

А она смотрела странными глазами и все одергивала, одергивала платье.

Максимка, зажав в руках куклу, чтоб только не встречаться с Ленкиными глазами, стал оглядываться. Знакомая комната... Из нее словно собирались выезжать. Пустая этажерка выдвинута на середину, книги свалены в угол, накрыты старым ковриком. Этот коврик висел раньше на стене, а на нем — сабля. Максимка вертел головой, отыскивал саблю, но со всех сторон его встречали потревоженные вещи. У них был человечески расстроенный вид, какой и подобает при переездах, при расставаниях. Часы-будильник лежали на полу, а на маленьком столике, где прежде они находились, покоилась подушка, на ней щетка для ботинок. А кукла оказалась даже за дверью. Старая забытая кукла, он все еще держал ее в руке, хотел отдать Ленке, но постеснялся — очень-то нужна сейчас — и потихоньку уронил на пол.

Ленка разлепила губы:

— Тут все было разбросано. Я немного прибрала.

Хорошо же прибрала — ваксяная щетка на подушке. А Ленкина мама?! Совсем вылетело из головы, что и она должна быть здесь.

— Где тетя Дуся?

Ленка снова зашевелила непослушными губами:

— Утром ушла... Хлопотать... за папу.

— Хлопотать?!

Для Максимки это было целое открытие. Оказывается, не все кончено, оказывается, еще можно хлопотать, можно доказывать, что дядя Ваня невиновен. А он-то думал: раз арестован — сомневаться просто нельзя.

Дядя Ваня — лучший друг отца! Ведь если дядя Ваня виноват, тогда и отца подозревай. А это уж совсем, совсем — даже представить невозможно.

Максимка снова завертел головой, отыскивая именную саблю, но так и не отыскал. Ясно — случилась ошибка, нужно только похлопотать. Ему стало почти весело, даже сиротливые, не на своих местах вещи уже не расстраивали, как прежде.

Ленка всхлипнула без слез:

— До сих пор ее нет.

Он деловито задал вопрос, какой задала бы тетя Дуся:

— Ленка, ты ела?

— Не хочу.

— Нет, Ленка, тебе силы нужны. Еще умрешь.

Искать в перевернутой квартире еду он не хотел — пришлось бы тревожить и так кем-то потревоженные вещи. Он сказал:

— Ты дверь не запирай. Я сейчас...

— Не уходи, я боюсь.

— На минутку только. Не закрывай. Тебе силы нужны.

Бросился в коридор, суетясь, открыл свою квартиру. Ни мать, ни отец еще не вернулись с работы. В кухонном шкафу похватал, что подвернулось под руку — хлеб, сахар, колбасу...

В кухне у Ленки он отыскал чайник, включил плитку, приказал:

— Садись!

Она врала, что не хотела есть, она была очень голодна. Ела хлеб, грызла сахар, он глядел на ее перепутанные волосы, на распухший нос, и у него все переворачивалось внутри от жалости. И, наверное, Ленка почувствовала его жалость, ей стало жаль самое себя, она заплакала. Грызла сахар, а слезы текли по щекам.

— Ты чего?

— Папа...

— Ты не плачь.— Он вдруг стал суров. За хлеб, за сахар, за доброту он — почувствовал — имеет право быть

суровым и строгим, как старший.— Ну, чего зря нюни распускать. Хлопотать же ушли. Он сразу и вернется, если невиновен.

— Невиновен,— жалким эхом повторила она.

— Ну, это еще проверить надо. Вот проверят — и вернется как ни в чем не бывало.

— А вдруг... не вернется.

— Тогда — виновен! Тогда — не жалей! Ты подумай только: тебя обманывал, родную дочь! Тебя! Меня! Твою маму! Всех!

Он говорил и сам удивлялся высокой справедливости своих слов. Ему вдруг стало все ясно и просто: не враг — вернется, а раз враг — жалеть нечего. Иначе и быть не может. Просто и ясно, и на душе спокойно.

И Ленка не возражала, она слушала, плакала и давилась хлебом, принесенным Максимкой.

Их застала тетя Дуся. Она как-то неслышно открыла дверь, неслышно выросла на пороге кухни.

Максимка никогда не видел тетю Дусю без яркого румянца во всю щеку, не видел ее и без фартука, если только на Первое мая и на Седьмое ноября перед демонстрацией. И всегда тетя Дуся вкусно пахла свежевыстиранным полотенцем и туалетным мылом.

Сейчас тетя Дуся была одета как на демонстрацию — пальто с ворсом, шляпка с большой брошкой, из которой торчит острое перышко, а лицо чужое,— оно отекло вниз, глаза распахнутые, сухие, точь-в-точь какие были недавно у Ленки.

Тетя Дуся оглядела стол, куски хлеба, рассыпанный сахар, колбасу, кружку перед Ленкой, положила на голову Максимки ладонь, сказала:

— Золотое у тебя сердечко... А сейчас — иди домой. Иди, милый...

И он ушел, так и не успев до конца убедить Ленку.

Мать встретила его словами:

— Ты был у н и х?!

Ровные брови вскинуты высоко на лоб, глаза холодные, знобящие, а голос непривычный, как из пустой бочки.

— Ленка... Я ей есть приносил.

— Чтоб больше ты не переступал их порог!

— Почему?

— Ты слышал, что я тебе сказала?! Не сметь! Ни одной ногой! Кто они тебе — родня, приятели? Не сметь!

Отец плечами загромождал окно, стоял спиной. Он не пошевелился, не остановил мать: «Глаша!» А Максимка рассчитывал — отец придет пораньше, можно будет без матери поговорить с ним обо всем. Отец молчит, отец даже не обернулся.

Ему легче всех доказать: «Если дядя Ваня виновен, то считайте тогда виновным и меня!» А это невозможно даже представить. Почему отец молчит? Почему он сейчас не остановил мать? Почему тетя Дуся не пришла к нему?..

Стало вдруг холодно и неуютно, и где-то, где-то копошилась невнятная мыслишка, совсем маленькая, беспомощная, но... страшная. Нельзя на нее обращать внимание, иначе совсем всему перестанешь верить.

Мать ходила нервно по комнате, сердито переставляла стулья, поправляла скатерть на столе.

Неожиданно отец заговорил:

— Ты помнишь?..

Мать вздрогнула и остановилась посреди комнаты, глядя в спину отцу.

— Ты помнишь тот процесс?.. Царского карателя, полковника... как его, Бесхлебова, что ли? Которого в Костроме выудили, он в портного перекрасился. Эдакий седенький старичок с тихим голосом — воды не замутит.

— Ты к чему? — спросила мать.

— Живьем сукин сын сжигал баб и детей в амбарах!

— Не пойму, что за нужда вспоминать царского холуя!

— Но ты помнишь, как он ответил на вопрос: что заставило вас так зверствовать?

— Не помню и помнить не хочу!

— Он ответил двумя словами: «Власть и служба!»

— За-мол-чи!! — неожиданно закричала мать.

Отец покосился на Максимку и замолчал, снова отвернулся к окну. Не нравился сегодня отец.

А какое у него лицо. Он только на минутку отвернулся от окна, но Максимка успел разглядеть: желтая кожа туго обтягивает лоб, глаза провалились в ямы, челюсть тяжело и упрямо выдается вперед — чужой, недобрый, не похожий на себя. И что-то скрывает.

Мать не скрывает, мать проще.

Вечером, перед тем как заснуть, уже лежа под одеялом, Максимка снова представил себе луг, осыпанный цветами. Летали пчелы. Цветоножка, чашечка, лепестки, тычинки, пестики... И ласточки купаются в синем воздухе...

А интересно, куда девалась сабля дяди Вани, ее тоже арестовали?

X

Ленин набросал краткую историю рождения советского бюрократизма:

«5 мая 1918 года бюрократизм в поле нашего зрения еще не стоит. Через полгода после Октябрьской революции, после того, как мы разбили старый бюрократический аппарат сверху донизу, мы еще не ощущаем этого зла.

Проходит еще год. На VIII съезде РКП, 18—23 марта 1919 года, принимается новая программа партии, и в этой программе мы говорим прямо, не боясь признать зла, а желая раскрыть его, разоблачить, выставить на позор, вызвать мысль и волю, энергию, действие для борьбы со злом, мы говорим **«о частичном возрождении бюрократизма внутри советского строя»**.

Прошло еще два года. Весной 1921 года, после VIII съезда Советов, обсуждавшего (декабрь 1920 г.) вопрос о бюрократизме, после X съезда РКП (март 1921 г.), подводившего итоги спорам, теснейше связанным с анализом бюрократизма, мы видим **это** зло еще ясней, еще отчетливее, еще грознее перед собой».

Тон у Ленина здесь почему-то достаточно бодрый, зато содержание этого краткого обзора удручающее: «разоблачение, выставление на позор, вызывание мысли и воли, энергии, действия для борьбы со злом» не только не помогли, не уменьшили зло — нет, наоборот, зло стало «еще ясней, еще отчетливей, еще грознее». Если речь шла «о частичном возрождении», то через два года — только через два! — наверное, нужно говорить уже как о повсеместной всепроникающей заразе. И Ленин не раз признается: «Наше государство с бюрократическими извращениями», то есть бюрократизм становится определенным отличительным признаком нового государства.

А Ленин-то недавно мечтал о таком начале, которое «само собой ведет к постепенному «отмиранию» всякого чиновничества». По его мнению, чиновничество, даже не бюрократическое,— «паразит на теле общества». И словно в насмешку сразу же после революции — грозный рост бюрократизма! Процесс прямо противоположный замыслам Ленина.

Что же заставило так бурно прорасти этот сорняк?

Ленин тут видит две причины.

Первая: «Царистские бюрократы,— говорит он,— стали переходить в советские учреждения и проводить бюро-

кратизм, перекрашиваясь в коммунистов и для большей успешности карьеры доставая членские билеты РКП. Таким образом, после того как их прогнали в дверь, они влезают в окно!»

Вторая: «...экономический корень бюрократизма: раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие **оборота** между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодействия между ними».

Теперь, полвека спустя, «царистские бюрократы» давно повымерли, а бюрократизм жив, мало того, в наши дни он куда обширней, чем при царе-батюшке.

И давно у нас уже нет мелкого производителя, а значит, его раздробленности и распыленности, ликвидирована неграмотность, нет в стране былой некультурности, бездорожье не столь ужасающее и оборот между земледелием и промышленностью плохо ли, хорошо ли налажен. А бюрократизм неисправимо цветет и множится.

Так чем же тогда жив бюрократизм? Что питает его?

10

Турник, брусья, козлы убраны, кольца подтянуты к потолку, внесены стулья и деревянные скамьи. Общешкольные собрания всегда проходили в спортзале.

Ленка сидела рядом с Максимкой. Волосы у нее снова расчесаны волосок к волоску и платье выглаженное с чистым кружевным воротничком, наверное, старалась вовсю, чтобы выглядеть как всегда — девчонка-аккуратистка. За эти дни она стала еще тоньше и, казалось, длинней, лицо острое и прозрачное, шея — как восковая свеча. В набитом зале она сумела отыскать Максимку, села рядом. Мать не разрешает встречаться с нею и разговаривать, сидеть рядом, пусть даже молча, наверно, тоже не разрешает, но не гнать же ее Максимке, пусть сидит.

Выступал Лешка Корякин, шея рвалась вперед из распахнутого воротника выгоревшей футболки, щетинились волосы, рассекал воздух сухой кулак.

Лешка говорил о фашистах, которые сжигают на городских площадях книги, требуют пушек вместо масла, точат зубы на нашу страну. Лешка говорил, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!».

Максимка знал — Лешка скоро начнет говорить про Ленкиного отца, косился на Ленку: «Не выдержит, заплачет, дура, подумают — жаль контру».

Тетя Дуся каждое утро уходила куда-то «хлопотать», но, похоже, у нее ничего не получалось — дядю Ваню не отпускали. И Максимка мало-помалу стал привыкать к мысли — дядя Ваня виноват, недаром же отец за него не заступается — молчит.

У Ленки — острый нос, желтые запавшие щеки, остановившиеся глаза, слушает, ждет.

И вот Лешка дошел:

— Недавно обезврежены враги народа Крашенинников и Сотников. Их дети учатся в нашей школе. Было бы несправедливо считать Елену Крашенинникову и Григория Сотникова нашими врагами...

Лешка справедливый человек, справедливее матери Максимки — та теперь и Ленку, и тетю Дусю считает врагами, не здоровается.

— Но мы должны спросить их открыто и честно, в глаза: за кого вы? Что вам дороже — революция или отцы? С нами вы или нет?.. Я требую, чтоб они встали сейчас и сказали. Честно! Открыто!..

Ленка слушала, и по-прежнему неподвижно торчал ее восковой нос — не плакала, глядела стеклянным глазом вперед, мимо трибуны, мимо Лешки, в стену с портретом Сталина. Сталин держал на руках Мамлакат: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство!» И только щеки Ленки из желтых стали зеленовато-серыми, да Максимку пугал ее стеклянный глаз. «А все-таки не плачет!»

Не он один оглядывался на Ленку. Ближние оглядывались стеснительно, словно невзначай и сразу же отводили глаза, а с дальних рядов откровенно подымались, вытягивали шеи, чтоб разглядеть.

В другом углу зала тоже шевелились головы, тоже поднимались с мест,— там сидел Гришка Сотников.

Лешка соскочил с трибуны и сел за столом президиума — с краю, на угловой стул.

А в центре сидела директриса. Она поднялась, полная, с крупным мужским лицом, с коротко подстриженными волосами, все — и ребята и учителя — ее очень боялись, хотя она и разговаривала обычно тихо, без крика.

— Думается, мы не станем устраивать здесь допрос,— сказала она, как всегда, негромко, и, как всегда, ее было слышно всем.— Давайте закругляться...

Но Лешка громко выкрикнул со своего углового стула:

— Если они не трусы, пусть выступят!

— Пусть выступят, если захотят. А не захотят — не потянем. Плохи мы были бы, если б без выступлений не знали, чем живут и что думают наши товарищи...

И Лешка опять выкрикнул на весь зал:

— Если спрячутся за спины, они нам не товарищи! Сотников! Если ты не трус, встань и скажи!

И Сотников послушно поднялся в своем углу, долговязый, сутуловатый, длиннорукий,— его знали все, он играл вратарем за сборную школы, играл классно.

Сотников поднялся, и в зале стало тихо. А директриса постояла, постояла и села, низко склонилась над красным столом.

Зал молчал, Сотников стоял и перебирал большими руками пуговицы на пиджаке.

Зал молчал, не дыша; все головы были повернуты в сторону Сотникова.

— Я...— наконец выдавил он из себя. И еще тише стало в зале — вдруг да не послушается.— Я...— Словно освобождался от удушья. И громче: — Отрекаюсь...— И снова глухо, так что в мертвой тишине еле-еле можно услышать: — Отрекаюсь... Он достоин... наказания...

И сел.

По залу прошел шорох, все головы повернулись теперь в сторону Максимки и Ленки.

Ленка сидела, согнувшись, торчал нос, стеклянно блестел глаз.

Тихо в зале, блестит Ленкин глаз.

А со всех сторон повернутые лица, со всех сторон разглядывают в упор. Тихо в зале. Ждут.

И вдруг Максимка понял, что Ленка не собирается вставать с места, не хочет говорить: «Отрекаюсь!» Пробежал по спине мороз, поджались пальцы ног. Вот так так... Вот она какая — отец дороже...

Но все-таки было жаль Ленку — нос острый, шея как свеча, и блестит глаз. Ленку хотелось спасти.

— Ты чего? — прошептал Максимка.

Она слышала, не могла не слышать, но не пошевелилась.

— Ты чего? Вставай.

У нее отливали зеленью щеки и блестел остекленевший глаз. А все продолжали жадно глядеть, зал ждал, не дыша.

И тогда Максимка отодвинулся подальше от Ленки.

Директриса снова поднялась, в тишине шелестяще потек ее усталый голос:

— Мы часто повторяем слова: «Надо держать порох сухим». Верные слова — порох сухим для врагов! Но это не значит, что его следует тратить на каждого встречного...

Ленкин глаз потух, она опустила лицо, из тощей шеи выступала тупая косточка, колени стискивали сплюснутые ладони. От нее и от Максимки начали отворачиваться,— говорила директриса, а ее привыкли слушать и слушаться. Максимка теснился подальше от Ленки.

На этот раз ребята выходили из зала, не шумя, не толкаясь, не дурачась — степенно. Взрослая серьезность на ребячьих лицах: сделали дело, не какое-нибудь обычное, школьное, а государственное — обсудили и осудили преступников. Взрослая, торжественная, почти похоронная серьезность.

Зал пустел. Максимка, одним из первых сорвавшийся со своего места, топтался у входа, не в силах был совсем сбежать от Ленки.

Она сидела в опустевшем зале. Видна была ее согнутая узкая спина, тонкая, донельзя натянутая шея над кружевным воротничком, затылок с аккуратным пробором, косички крендельками возле ушей. Одна в пустом зале...

Не мог не смотреть на нее. Да и все выходящие оглядывались.

Он долго топтался в коридоре у дверей спортзала, ждал ее и понимал: это же почти предательство, ей враг-отец дороже революции! Понимал, сердился на себя, но все-таки медлил уходить.

Наконец пришла злость, а вместе с ней облегчение — да что это он? Пусть живет одна. Вместе со всеми не хочет — пусть одна...

Вышел из школы.

У автобусной остановки, прислонившись лбом к фонарному столбу, стоял Гришка Сотников. Он плакал и морщился, стирая кулаком слезы со щек. Прохожие оглядывались на него, но не останавливались. Они не знали, что у Гришки арестован отец. И вообще все это выглядело как-то некрасиво,— на улице много счастливых, и только один долговязый балбес льет слезы. Много счастливых — один несчастный.

Сказал, что отрекается, а слезы-то льет. Никому нельзя верить. Никому!

Даже Ленке.

А дома, в подъезде, все от той же Фатимы он узнал, что исчезла тетя Дуся.

Утром, после того как взрослые ушли на работу, а ребята в школу, тетя Дуся, надев свою праздничную шляпку с колючим перышком из брошки, вышла из подъезда. Напротив давно стояла машина, самая обыкновенная, легковая — черная «эмка». Из машины вышел человек в песочном костюме и бежевых полуботинках, открыл дверцу и очень вежливо пригласил сесть.

Фатима рассказывала:

— Она наверх поглядел. Наверх — на окно. И сел в машина, мне рукой махнул... Ай-яй, совсем бедный Ленка.

Окна Крашенинниковых выходили во двор, тетя Дуся могла видеть только окно Максимкиной квартиры. Может, в последнюю минуту она хотела увидеть его, Максимку? «Золотое у тебя сердечко». Она знала, что он дружит с Ленкой.

Может быть, еще тетя Дуся и вернется. Может быть...

А если нет?

Значит, и она... Никому нельзя верить. Целое гнездо. И Ленка жила в нем.

Тетя Дуся не вернулась ни к ночи, ни к утру, ни на следующий вечер. Ленка не показывалась из дому, а Максимке все время хотелось ее видеть...

На третий день рано утром, пока Максимка спал, мать куда-то увела Ленку. Максимка догадывался — мать боялась, как бы отец не стал настаивать, чтоб взять Ленку к себе вместо дочери. А это было бы неплохо. Максимка ее перевоспитал бы.

Так он и не видел Ленку после собрания — опущенное лицо, натянутая шея, проступает тупая косточка сквозь кожу, чистенький кружевной воротничок. И уж никогда он не встречал ее в жизни.

Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет...
Я осталась сиротою —
Счастья-доли мне нет...

Так всегда пела Ленка, убаюкивая своих тряпичных кукол. Это была песня ее матери, бывшей когда-то беспризорницей.

XI

Так отчего же появился бюрократизм?

Но прежде, чтоб не было недоразумений, уточним: а что, собственно, это такое? Первый же подвернувшийся под руку словарь нам сообщает: «БЮРОКРАТИЗМ — метод управления или ведения дела, отличающийся преобладанием канцелярщины, волокиты, заботы о формальной стороне вопроса, отсутствием интереса к существу дела, оторванностью от народа, пренебрежением к его нуждам и потребностям».

Канцелярщина, волокита, отсутствие интереса к существу и прочее — частные проявления формального отношения к делу. Поэтому будет проще сказать: БЮРОКРАТИЗМ — метод формального ведения дела.

Любое дело — забивание гвоздя, работа за станком, управление страной — представляет из себя систему, неизбежно состоящую из трех компонентов: управляемого объекта, непосредственно управляющего, средств связи между ними. Если одна из трех составных — даже только одна — будет как-то не соответствовать системе, то и действия всей системы станут грешить неточностью, не достигать нужной цели, сама деятельность будет носить внешний характер — формальный.

Теперь попробуем приложить эту схему к послереволюционной России.

Объект, подлежащий управлению,— народ. Насколько он был подходящим «материалом» для организации, для управления? Ленин постоянно говорит о невежестве народных масс, о поголовной неграмотности, о «слишком тонком культурном слое», способном понять поставленные задачи, проникнуться общественной необходимостью. А «величайшая ненависть и недоверие масс ко всему государственному»!.. А голод и разруха, усугублявшие эти ненависть и недоверие!.. А некое пренебрежительное отношение к авторитетам, внушенное революционными лозунгами, отвергавшими старую власть, старых хозяев... Кроме того, революция ущемляла и чисто экономические интересы того же крестьянства, подавляющей части населения, силой отбирая у них хлеб и не давая взамен ничего. Явно — народ послереволюционной России был труден, если не сказать — неподатлив для управления.

А сами управляющие — правительство нового государства во главе с Лениным?.. Провозгласить идею влас-

ти как организации вооруженных масс и отказаться от этого? Объявить о необходимости равенства труда и платы — и снова отказаться. Обещать народу фабрики, заводы и прочие атрибуты капиталистической собственности и в то же время, не мудрствуя лукаво, поставить капиталистический принцип «по найму» в основу общественной организации... Все эти крайне несовместимые противоречия между словом и делом говорят о неясности поставленных задач, о теоретической непоследовательности самого Ленина и его соратников. Увы, правительство нового государства было далеко не безупречно.

Ну, а средства связи между неподатливым для управления народом и не подготовленным к управлению правительством в огромной, разбросанной, разделенной войной на враждебные зоны, технически отсталой стране, где господствовала разруха, быть удовлетворительными не могли!

Известно, что достаточно одному из трех компонентов не соответствовать системе, как вся система станет грешить формальными действиями. А тут плохи все три компонента! Плоха система вообще, где уж тут говорить о результативности. Если такая система и начнет творить дела, то исключительно формальными методами.

Бюрократизм — метод формального ведения дел. Напрасно Ленин кивал на «царистских бюрократов, пролезших в окно». Напрасно сваливал в одну кучу разнозначные понятия, как то «раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, безграмотность», — все это говорит о полной беспомощности в данном вопросе.

У царской России три составных компонента государственной системы были отмечены теми же недостатками — народ невежественен, правительство находилось в маразме, средства связи хоть не тронуты разрухой и революционным разбродом, но отнюдь не блестящи. Однако в русском обществе того времени был многочисленным слой людей, который в силу своего положения не мирился с формальным ведением дел, сдерживал распространение бюрократии, гнал ее от себя. И, как ни кощунственно для нас это звучит, в первую очередь это были... частные собственники, те самые презренные и проклятые капиталисты.

Капиталист кровно заинтересован в наиболее эффективной эксплуатации своей фабрики. Если на фабрике дело будет делаться формально, то ее хозяин не получит

дохода, прогорит, пустит по миру себя и свою семью. Капиталист — враг бюрократизма. Он, правда, готов холить и лелеять государственную бюрократию — штатскую и военную, охраняющую его права и покой, но до разумных пределов. Главная его заслуга в том, что он, капиталист, не допускает бюрократию в святая святых — производство материальных благ.

Революция ликвидировала частных собственников. «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства». И нет ни у кого ничего своего — все общее, обезличенное, все принадлежит не тебе, не мне, а некому расплывчатому хозяину — государству. Рабочий, привозящий на строительство кирпичи, сгружает их, не заботясь о том, сколько их побьется. Кирпичи не его, не его и строительный объект, на котором он работает. Рабочему важно сгрузить, выполнить сам процесс, получить за это деньги, сделать дело формально, не заботясь о результатах. Наивное заблуждение, что бюрократ-формалист обитает только в чиновных кабинетах, за монументальными письменными столами. Среди простых тружеников, кто пашет землю, стоит у станка, бюрократов-формалистов нисколько не меньше, а скорее всего еще больше.

Рабочий разорительно формально сгружает кирпичи, а директор предприятия от этого уж очень большого страдания не испытывает. Предприятие терпит урон, но директор, как и рабочий, здесь на службе. От слишком низкого дохода с предприятия сам директор не обанкротится, с сумой по миру не пойдет, в худшем случае будет снят с понижением.

Формальный подход. Директора не грызет совесть, он не лишается покоя, ни он, ни кто другой — все общество служит. Все по-службистски озабочены не столько реальными результатами, сколько добросовестным исполнением формальных обязанностей.

Страна непроизводительно трудится, непродуктивно тратит силы, терпит чудовищные убытки. Все в той или иной степени страдают от них и... безразлично сносят. Ибо нет таких людей в новом, социалистическом государстве, которые в силу поставленных обстоятельств вынуждены были бы сильней других чувствовать на собственной шкуре разорительность бюрократического хозяйничанья. «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму...» Всем гражданам — до лампочки!

И честный человек в такой обстановке портится, а талант попадает в незавидное положение.

Но оскуднение страны не единственное бедствие, порожденное бюрократизмом.

При бюрократизме уже не столько люди бездушны и жестоки друг к другу, сколько сама система агрессивно безжалостна к человеку. Сама система! Все — служащие по найму, все общество превращается в ступенчатую лестницу из приказывающих и подчиняющихся — высший над низшим, низший над еще более низшим... А так как приказы и их исполнение определяются не столько реальной пользой, сколько чисто формальными показателями — делай, не рассуждая, не сообразуясь ни с чем другим, как только с буквой приказа,— то приказ старшего абсолютен, он не ограничивается ничем — даже наглядной очевидностью жизненных фактов,— он воистину обретает абсолютный диктаторский характер.

Все общество состоит из разномасштабных диктаторов. Разномасштабных — да! Но не считайте, что со снижением масштабности снижается и абсолютизм диктаторской власти. Даже самый низший из начальников — тот, кто обязан безропотно исполнять приказы вышестоящих, тоже неограниченный диктатор, не считающийся ни со здравым смыслом, ни с реальными обстоятельствами, ни с наглядной логикой, буквально ни с чем, кроме диктаторства возвышающихся над ним лиц. Дух диктаторства господствует всюду.

Теперь предположим, что кто-то не выполнил диктаторский приказ своего ближайшего начальника — из-за того ли, что этот приказ противоречил реальной обстановке, иль просто по нерасторопности — не столь важно. Важно то, что этим невыполнением он подводит своего начальника, вынуждает и его не выполнять приказ. А тот начальник невольно вызовет неподчинение уже своего еще более высокого начальства. И так далее... Неподчинение, в каком бы звене оно ни произошло, болезненно отзывается по всей цепи, в той или иной степени расшатывает *всю систему*, а потому для бюрократической системы жизненно важно бороться против *всякого* неподчинения, любыми способами его подавлять, вплоть до насилия.

Бюрократ перестанет существовать, если он не будет насильником. Насильником над самостоятельно

мыслящей личностью, просто над тем, кто проявляет здравый смысл, насильником над народом, чьи жизненные интересы противоречат формальным требованиям, насильником над другим бюрократом, повинным в нерасторопности и даже не повинным еще, а просто подозреваемым, что способен как-то провиниться.

И наша история сплошь состоит из примеров чудовищного бюрократического насилия.

До полного разгула бюрократического насилия Ленин не дожил. Судьба к нему была благосклонна.

11

Он стал замечать, что по вечерам отца и мать пугают шаги за дверью. По длинному коридору бывшей гостиницы, как осторожно ни иди, все равно слышно во всех комнатах.

Освещенный стол под абажуром, сумрак по углам, окно, задернутое занавеской, тишина. Отец сидит за столом, блестит на свету крупный лоб, глаза в тени. Перед ним — пепельница, в нее он тычет окурок за окурком. Мать, тоже закусив папиросу, ходит из комнаты в кухню, убирает со стола. Потом она садится в кресло, берет пяльцы. Она недавно начала вышивать крестиком салфетку — розочки и листочки. Это так не похоже на мать, но говорит — успокаивает. Мать усаживается в кресло, кладет пяльцы на колени и забывает о них. Время от времени она исподтишка поглядывает на отца. Странно, в последнее время она его боится.

И Максимка боится отца — часами курит и молчит, о чем-то думает, думает, думает без конца.

Вот в такие-то глухие минуты обычно и раздаются шаги, сначала далеко, в конце коридора...

Отец оживает, подымает голову, и на его бровастом, с отполированным лбом, запавшими глазами и упрямо выдвинутой челюстью лице появляется то виноватое и растерянное выражение, какое Максимка видел давным-давно в детстве, когда тощий старик со своей семьей встал перед ним на колени. Подымает голову и мать, смотрит перед собой в стенку, и глаза ее дышат.

А шаги ближе, ближе... У отца чадит в руке забытая папироса.

Шаги под самой дверью...

У матери лицо вытягивается, становится известковым. У отца на лбу под лампой вздувается вена.

Шаги мимо двери. И отец опускает голову, вспоминает о чадящей папиросе. Мать начинает очень внимательно разглядывать розочки на пяльцах, потом спохватывается, кидает взгляд на часы, строго говорит:

— Максимилиан! Ложись спать.

С утра до вечера у Максимки все натянуто, он плохо учится, только для вида сидит дома над тетрадями, не живет, а слоняется, но страшно устает. А тут еще тишина в комнате, шаги, к которым и он начинает тоже с тревогой прислушиваться. Он охотно направляется к своей кровати, раздевается, залезает под одеяло и сразу засыпает.

Так и в тот вечер родились, прозвучали под дверью, заглохли в глубине коридора очередные шаги. Отец, словно разбуженный, поднял голову, провел по лицу рукой, объяснил:

— Прошлой ночью мне приснился сон.

Мать вздрогнула, посмотрела на часы:

— Максимилиан! Ложись спать.

— Сон...— продолжал отец.— По улице едет коляска-самокат. На вокзалах теперь такие. Замечала?.. Водитель стоит впереди, а сзади багаж... Но тут эта коляска едет не по вокзальному перрону, а по нашей улице. И везет она не багаж, а кучу-малу здоровенных веселых парней — цепляются друг за друга, ржут, кричат. И водитель хохочет... Вдруг он оступается и начинает падать, его со смехом держат, что-то орут, а коляска несется. Водителя корчит от смеха, хохочет и падает... Не удержали — упал. Головой о камни. Хруст, как от лопнувшего арбуза. Кровь на мостовой...

— Завел на ночь глядя.

— Коляска останавливается, вся компания соскакивает, окружает мертвого водителя — показывают пальцами и смеются, трясутся, за животы хватаются. Публика подходит, тоже начинает смеяться. Всем смешно, никому не страшно. Страшно только мне одному...

— Слабонервный. С какого времени тебя сны пугать стали?

— С тех пор, как жизнь наяву стала походить на кошмарный сон.

— Очнись! Сын рядом!

— Я еще до конца не досказал. Слушай...

— С меня хватит!

— Я сам засмеялся вместе со всеми. От страха, что другие заметят. Как все, за живот держался, покатывался... От страха.

— Максимилиан! Ложись спать!

Максимка послушно поднялся со своего места.

Когда он натягивал на голову одеяло, пришла странная мысль: а что, если и в самом деле все снится? Уж слишком не похоже на настоящее. Уснет вот, проснется — и все как было прежде. Войдет дядя Ваня в потертом кожаном пальто, в полувоенной зеленой фуражке, собравшийся идти на работу вместе с отцом: «Как жизнь, смена?» Мать стряхивает со своего черного костюма пылинки щеткой, ворчит, что смена растет ленивая, долго спит. И через коридор, в комнате напротив собирается в школу Ленка. Она чуточку презирает Максимку, зовет его «Робеспьерчиком». Все как прежде. Приснилось... И он никому бы не рассказывал свой сон, сам постарался поскорей его забыть.

Уснуть и проснуться в настоящей жизни.

И он уснул, с неприязнью вспоминая нехороший сон отца.

Ему снились скользкие крыши после дождя. Далеко внизу, в узком дворе лужи, по лужам гоняют мяч знакомые ребята. Максимке очень хочется вместе с ними играть в мяч, но не знает, как слезть, страшно, что сорвется, коченеет все тело. С крыши на крышу перекинута длинная доска, с крыши на крышу через весь узкий двор. Доска еле держится на краю, а верхом на ней сидит Ленка в платьице с кружевным воротничком. Она цепляется руками за доску и плачет. Мяч, ребята внизу среди луж, непослушное от страха тело, и все-таки Максимка ступает на доску, двигается к Ленке. Но доска гнется, конец ее срывается со скользкого края крыши. Мощеный двор, лужи, ребята, задравшие головы, мяч, летящий навстречу, и сзади, из открытого окна, крик матери:

— Перерожденец!!

Максимка проснулся. Мать сдавленно кричала:

— Перерожденец! Ты становишься грязной контрой!

Ей отвечал сдержанно гудящий голос отца:

— Очнись. И Дуся, его жена, агент? Ее тоже упрятали... на всякий случай.

— Ты очнись! Ты! Против кого?.. Против народа идешь!

— Разве страна и народ предлагают мне выбор: будь тюремщиком или арестантом?

— Ты не веришь Сталину, Николай!

Молчание на минуту и тихий голос отца:

— Хотел бы, да не могу.

И мать взвизгнула:

— Нико-лай!!!

— Вот-вот, истерика вместо доказательства.

— Николай! Приди в себя!

— Одних ставят к стенке, других прячут за колючую проволоку, а тех, кого не трогают,—живи холопами. Так кто же предает революцию?

— Что ты говоришь? Что?! Какие слова!

— Говорю простые и ясные вещи, а ты уж понять их не в состоянии.

— Мало сажают! Погибнем от сволочи! Захлебнемся от интеллигентской блевотины!.. О-о! И это мой муж! Мой муж! Четырнадцать лет вместе!.. Классовый выродок!

— Невменяема,—обронил отец грустно и спокойно.

И Максимка услышал задушенные подушкой рыдания матери.

Он лежал в темноте, окаменев, не в силах пошевелиться, не осмеливаясь дышать. Он еще ничего не понял, но каждой немеющей клеткой своего тела ощущал ужас.

А вокруг глухая ночь, цепенел за окном город, и на потолке зябко вздрагивал заброшенный со дна улицы свет. Потайное время суток, не обжитое людьми.

И только мать за тонкой стенкой, в нескольких шагах от Максимки продолжала бороться с рыданиями, душила сама себя подушкой.

«Хотел бы, да не могу...» Что он хотел? Чего он не может?.. Ах, верить. Кому?.. Нет! Нет! Не надо! Лучше лежать, лучше закрыть крепко глаза... Это сон. Новый нехороший сон.

Мать наконец сумела задушить себя, перестала рыдать, некоторое время стонуще повздыхала, поворочалась и замерла. Стало совсем, совсем тихо. Оглушительно тихо. В такой вот могильной тишине, должно быть, и оживают те, кто днем прячется от людей, те, против кого зовут плакаты со стен и заборов: «Будь бдителен!..» От-тец!..

Не сразу, исподволь, в омертвевшее, отравленное горем тело пролилась греющая волна, затопила... Максимка почувствовал, что любит...

Да, его! Да, отца!

С каждой секундой все сильней, все невыносимей.

Так любят тех, с кем прощаются. Отец! Отец!

Отец не слышит, отца не слышно. Свет далекого фонаря вздрагивал на потолке. Воровской, непрошеный свет.

Отец! Отец! Люблю! Не выдержу! Умру от любви!

Тихо. Мертво. Отец не слышит.

Прошло полчаса, час или два часа — в непонятном мире и время стало непонятным,— и хлынули тихие, теплые слезы. Они принесли облегчение, но какое-то тупое, безнадежное.

XII

Захватило вас трудное время
Не готовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.

Говорят, вернувшийся из вилюйской ссылки Чернышевский разрыдался над этими строками.

Но нет, тут не рефлектирующий Чернышевский, тут было все иначе. Похоронные интонации здесь неуместны. Были силы, был чудовищный заряд неистовой энергии, была сжигающая вера в себя и в дело. И даже слепая Фортуна держалась угодливой служанкой. Сколько рискованных моментов, сколько ничтожных случайностей могли круто изменить ход событий! У дряблого Временного правительства мог случайно оказаться под рукой решительный солдафон, и наспех сколоченные, почти не обученные, плохо вооруженные солдатские и рабочие отряды наткнулись бы октябрьской ночью у Зимнего дворца не на деморализованных казаков, не на кучку желторотых юнкеров, не на смехотворно опереточный женский батальон... История потекла бы по другому руслу, о Ленине бы вспоминали вскользь, как об одной из эпизодических фигур бурного времени.

Судьба благоволила к Ленину. За всю свою жизнь он не терпит ни одного серьезного поражения, не встречает противника, который бы заставил его, хоть на минуту, усомниться в своих силах и своей правоте. Ленин — сплошная деятельность, всесокрушающая, победная, воистину титаническая, вызывающая почтительное изумление даже у врагов.

И вот, словно в насмешку над этим торжествующим героем, коварно-благожелательная судьба посылает врага... в лице его самого! Но ни он сам и — как это ни странно — никто, никто во всем мире не замечает, что Ленин со свойственным ему фанатическим неистовством начинает сокрушать Ленина же, жестоко, безжалостно, бескомпромиссно!

Кто сильней Ленина, страстней его желал отдать власть в руки народа, в руки рабочих — по его мнению, лучшей, передовой части человечества! Никогда не хотел Ленин власти для себя, только народу, угнетенному, обиженному и униженному!

И кто, как не Ленин, сделал все возможное и невозможное, чтобы диктаторская, ничем не ограниченная власть попала к государственным чиновникам, к тем, кого Ленин называл «паразитом на теле общества», к тем, кто, по его мнению, были всегда орудием насилия и закабаления народа.

Он мечтал о равенстве, и он же похоронил его, украв у ненавистных капиталистов отвергающий какое-либо равенство способ найма.

Он звал к свободе, к бесклассовому обществу, где не должно быть места антагонизму, не будет повода для обоюдной вражды. Он ненавидел государство вообще — всякое государство! И он основал государство, где насилие стало способом жизнедеятельности, где расстреливали сразу сотнями тысяч, а сажали за колючую проволоку десятками миллионов.

О чем бы он ни мечтал, к чему бы он ни стремился, сам решительно отвергал и хоронил.

Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.

Нет, нет, дано! Как никто, Вы свершили чрезвычайно много, чтоб смертельно поразить в трудной борьбе собственные благие порывы и помыслы.

Человеческая фантазия создала много странных в своей противоречивости образов. Не удивителен ли, например, Нарцисс, гибнущий от неразделенной любви к себе, или же Дон Кихот, чьи добрые дела карикатурно оборачивались злом! Но ни старые мифотворцы, ни современные романисты еще не нарисовали героя, который бы с доблестной отвагой и беспримерной энергией беспощадно поражал сам себя. А если вдуматься, это едва ли

не самый распространенный герой человеческого бытия. «Так как не противоречащий себе предмет есть чистое отвлечение рассудка»,— сказал мудрый Гегель, и почитающий диалектику Ленин тут солидаризировался с ним.

Но...

Вы еще не в могиле, вы живы...

Еще не кончена Ваша многотрудная борьба с самим собой.

12

Утро. Солнце в окно.

Привычно гремит чайная посуда, чайник накрыт чистым полотенцем, ждет Максимку. Максимка сам перед собой притворяется спящим.

Отец собирается на работу, повязывает галстук, рыжий в полоску, единственный и неизменный в праздники и будни. Подбородок отца гладко выбрит, лицо обычное, не хмурое и не радостное. Отец спокоен. Вот он натянул пиджак, застегнул пуговицы, озабоченно взглянул на часы, направился к вешалке у двери — серый плащ, кепка блином.

Максимка следит с кровати за отцом, лихорадочно роется в себе, ищет ночную — до не могу, до умру — любовь к отцу. Любовь или ненависть, что-то должно же быть.

Но утро. Солнце в окно. То, что рождается глухой ночью, при солнце жить не может, Максимка находит в себе лишь тихое благодарное облегчение — оттого, что отец такой знакомый, такой «всегдашний», нисколько не изменившийся за страшную ночь — по-прежнему свой.

Отец, как всегда, молча исчезает за дверью. И Максимка мысленно следует за ним по коридору, по лестнице...

Вот отец выходит на улицу. На улице влажная тень, солнце еще не добралось до булыжного дна. Люди топчутся на трамвайной остановке, замызганная стена булочной, мастерская «Ремонт часов», и нет еще пока за стеклом часовщика с носом попугая. На знакомой улице сейчас появился знакомый человек — серый плащ, кепка блином,— кому придет охота оглянуться на него. Гляди не гляди, все равно не заметишь ничего особенного — серый плащ, кепка блином, таких много.

На этом месте мысли Максимки спотыкаются, болотными пузырями со дна души подымается тревога. Но солнце в окно! Солнце!..

Не надо ни о чем думать.

У матери хмурое, оплывшее лицо.

— Долго будешь отлеживаться? Я, что ли, пойду за тебя в школу?

И голос раздраженный, но, в общем-то, обычный, утренний. Как часто мать подымала Максимку этими словами.

— Мама... Дядя Ваня не виноват?

Мать вздрогнула, угрюмые, сонные глаза вспыхнули, через плечо оглянулась на дверь.

— Тиш-ше!

Боком пошла на него, хрипло спросила:

— Ты?..

— Да,— ответил он виновато.

Она подошла вплотную, с затаенной неприязнью смотря в лицо Максимки:

— Ты ничего не знаешь. Ты ничего не слышал!

— Но папа же...

Мать снова оглянулась на дверь:

— Тиш-ше!

И вдруг ее глаза налились слезами, она нагнулась и порывисто обняла сына за шею, всхлипнула:

— Он — дурак. Он с ума сходит, твой отец... Голубчик, миленький, забудь все. Никто ничего не должен знать. Никто — ничего!

Мать обнимала, а это так странно — никогда еще не случалось. Ночью она кричала на отца, сейчас ласково, почти униженно упрашивает: забудь все. Непонятно, опять какой-то перекос.

Руки матери гладили его голову:

— Он опамятуется. У него заскок... Скоро пройдет... Голубчик, миленький — никому. Тебе просто приснилось.

От ее ласки, такой непривычной, неумелой, беспомощной, неуютность в душе и разлад. И пугают ее постоянные оглядывания на запертую дверь.

Знакомая улица — булочная, галантерея, мастерская «Ремонт часов». Все на месте, даже часовщик торчит за стеклом попугаем.

Максимка привык уже, что на улице много счастливых и нет несчастных. Ему не хочется думать. Думать —

значит, возвращаться в ночь. Отец! Отец!.. Весна, солнце, он счастлив, как все. Верит в отца, любит отца, знает — отец остался таким, каким был. Забудь все, просила мать, никому — ничего, тебе приснилось. И гладила по голове...

Но не приснилось же, нет! Мать лжет, хочет, чтоб и он, Максимка, лгал, притворялся — ничего не случилось.

Если мать лжет, то почему не может отец? Что, если отец не такой, каким всегда казался? Что, если он никогда и не был таким?..

Эй, живей, живей, живей
На фонари буржуев вздернем!

Знакомая улица, привычные прохожие — много счастливых, и нет несчастных. И Максимке приходит в голову дикая мысль: вдруг да все... все кругом притворяются, делают друг перед другом вид — счастливы, на самом же деле несчастны. Что, если у каждого есть свое: никому — ничего!

Славное утро, много солнца, люди, люди, непонятные, таинственные люди кругом.

И снова вломилась невыносимая, истощающая любовь к отцу. Внезапная, как приступ жестокой до умопомешательства боли — задыхайся, кричи...

Почти все счастливые минуты жизни связаны с ним, только с ним, не с матерью. Мать даже хвалила его так, что это не доставляло радости:

— «Отлично» получил — молодец! Всегда бы так.

Не помнит, чтобы мать приносила ему подарок. А давно-давно отец принес ему в сетке мяч, раскрашенный в два цвета — красный и синий, настолько большой, что маленький Максимка едва обхватывал его руками. Почему вспомнился этот мяч? Отец приносил много подарков. Мяч давно порвался, выброшен, забыт, но вот вспомнился. Этой зимой отец купил коньки с ботинками, Максимка им очень радовался, но не как мячу...

А однажды Максимка заболел скарлатиной, и отец перестал ходить на работу, ночами носил его на руках, укачивал... Отцовские руки, крупные, бережные, уютные, постоянное прибежище в горестях и радостях. Отцовское лицо вблизи — подпаленные лохматые брови, сумеречный покой под ними... Отцовский глуховатый голос... Все самое важное в жизни рассказано Максимке этим голосом: что было до его рождения, что будет, когда он

вырастет, и что есть на свете зло и есть справедливость, враги и друзья. Отец! Отец! Неужели ты притворялся? Ты не такой?.. Нет! Нет! Быть не может!

Если можно верить отцу, то можно верить и людям. Если не верить отцу, то уж никому, никому на свете верить нельзя!

Люди шли по знакомой улице мимо растерянного, раздавленного любовью Максимки.

После уроков он не спешил домой. Пустая квартира для него сейчас самое страшное место. Там нельзя не думать об отце. «Никому — ничего!»

Его тянуло в старый класс, где он проучился четыре года, где все еще висела на стене знакомая карта мира.

Она на прежнем месте, хотя за это время школу не раз ремонтировали, красили стену, конечно, снимали карту и снова вешали. Висел над ней когда-то портрет Бубнова... врага народа.

Лицо мира в двух полушариях. И защемило сердце при виде Африки, где живут угнетенные негры... «Когда я вырасту большой...» Мир терпеливо ждет этого, и в Атлантическом океане плавает, привязанная к Европе, Испания. «Но пасаран!» Они не пройдут!.. А Мадрид пал. Об Испании теперь говорят мало.

«Когда я вырасту большой...» Но может ли он мечтать теперь, как мечтал? Отец! Отец! «Никому — ничего!» Мир перед глазами — блекло-голубые океаны, сшитые из стран-лоскутков континенты, красным полотнищем наша страна. Твое большое хозяйство, в котором ты должен навести порядок,— не все страны мира окрашены в красный цвет...

Он, Максимка, недавно отодвинулся от Ленки: отец ей дороже. А тебе?.. Ленка тоже любила своего отца. Ленку увели за руку, где она?.. Не все страны мира окрашены в красный цвет.

Открылась дверь, в класс вошли двое старшеклассников — Лешка Корякин и Панов. Этот Панов в школе считался лучшим художником, посещал какую-то студию, недавно нарисовал большую картину — первомайский парад на Красной площади, получил за нее премию.

Не обратив внимания на Максимку, Корякин и Панов стали оглядывать стены, обсуждать, много ли можно повесить на них картин. В школе открывалась районная выставка детского рисунка.

— Три класса и коридор — хватит,— авторитетно заявил Панов.

Этого парня, случалось, принимали уже за учителя. Он одевался в хорошие костюмы, брился раз в неделю, говорил устойчивым баском. Лешке Корякину далеко до Панова, еще не бреется, но байковая курточка тесна в плечах, мятые брюки коротки, открывают тощие щиколотки, и в голосе Лешки тоже нет-нет да и прорываются рокочущие раскатцы. Уже не мальчишка.

«Когда вырасту большой...» Максимка вдруг сейчас понял, что это «вырасту» не так уж и далеко, скоро случится. Лешка и Панов, считай, выросли — через месяц расстанутся со школой. Скоро... И что-то новое стрясется в мире, похлеще Испании. Скоро... И с саблей в руке под красным знаменем Лешка Корякин поскачет по новым Испаниям. Не все страны мира еще окрашены в красный цвет! Скоро... Но ведь Лешка поскачет с кем-то другим! Лешка не доверял Гришке Сотникову, не доверял Ленке, почему он должен доверять ему, Максимилиану Иванникову?.. Отец! Отец! Как жить дальше?

Ребята двинулись к дверям.

— Леш...— позвал Максимка.

Панов в это время уже исчез за дверью, а Лешка обернулся.

— Лешка, а где... где сейчас Гришка Сотников?

— Бросил школу. Зачем он тебе?

— Лешка... вот твой отец...

Лешка подобрался, уставился чистыми, вязкими глазами.

— Вот твой отец, Лешка, был героем...

— Ну?

— Вот если б он сейчас жил...

— Ну?

— И если б вдруг его... Лешка?

— Отца?! Моего?!

— Если б вдруг...

— Мой — отец — отдал — жизнь — за революцию! — откусывая каждое слово, напомнил Лешка.

— Многие отдавали.

— Отдавали, да не отдали — живы остались.

— Тогда верь только тем, кто погиб?

— Ты это для чего?..

— Ты вот даже ни разу не видел своего отца и то любишь. А Гришка Сотников... Как ему не любить... отца.

— Н-не пойму. Что-то ты тут плетешь?

— Да ты, Лешка, представь — про твоего отца вдруг... Как ты тогда?

У Лешки на скулах проступили пятна, глаза потемнели, кулаки сжались, он шагнул на Максимку:

— Мой отец погиб! Понимаешь — погиб! За революцию! Чтоб ее враги не сожрали! Никто не смеет думать плохо о моем отце! А тебе-то уж, огарок, и вовсе не разрешу!

Но на Максимку нашло упрямство:

— Хорошо, Лешка, не отец... Ну, а мать если вдруг... Мать-то у тебя жива, за революцию не погибла.

И, похоже, он попал в слабое место, Лешка не набросился с кулаками, не закричал — отвел глаза в сторону.

— Мать... У нее нет никого, кроме меня...

На этот раз не понял Максимка — к чему сказал это Лешка?

— Любит! А она баба,— продолжал Лешка в сторону.— Чтоб мне хорошо было, она все сделает. Она и на вражью удочку клюнуть может, если мне хорошую жизнь пообещают. В матери я так не уверен, как в отце. Несознательная еще.

— И если, Лешка... Если вдруг клюнет? Как ты тогда?..

— Тогда я ей не сын! — отрезал Лешка.— Ясно?

И повернулся к дверям.

— Ясно,— произнес Максимка.— А ты ее сильно любишь, Лешка?

Лешка обернулся в дверях.

— Да! — сказал он.— Да! Она в депо работает, обтирщицей, все дни в грязи, для меня жилы тянет. Я, может, себя так не люблю, как ее.

— И все равно, если вдруг она?.. Все равно ты ей не сын?

— Отец за наше дело себя... А я могу себя жалеть?.. Или ее даже!

Максимка промолчал. Лешка захлопнул дверь.

XIII

Второй приступ паралича, не действует правая рука и правая нога, но говорить он еще может. Ленин диктует. Начинается самый последний период его деятельности.

Он короток — всего каких-нибудь два месяца. За это время Ленин успевает надиктовать семь работ, среди них

знаменитое «Письмо к съезду», получившее позднее название «Завещания». И пишется все это прикованным к постели, полупарализованным человеком.

Ленин не скрывает своей тревоги.

«Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны...»

«...Он только слегка подкрашен сверху, а в остальных отношениях является самым старым из нашего старого госаппарата...»

«Мы аппарат, в сущности, взяли старый от царя и от буржуазии...»

«Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего госаппарата, но это именно только суетня, которая за пять лет доказала лишь свою непригодность, или даже свою бесполезность, или даже свою вредность. Как суетня, она давала нам видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги».

Он невесело окидывает взглядом тех, кто остается у власти после него.

Сталин... «сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». Он «слишком груб», и Ленин попросту предлагает снять его, назначить более терпимого, вежливого, лояльного, внимательного.

Троцкий... «пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением административной стороной дела». Не идеолог.

Зиновьев и Каменев... Нет, Ленин не ставит им в вину «неслыханное штрейкбрехерство» перед революционным переворотом, но и не считает его случайностью. Больше об этих руководителях ни слова.

Бухарин... «ценнейший и крупнейший теоретик», любимец партии, но... не вполне марксист, «ибо в нем есть нечто схоластическое». Убийственная характеристика для теоретика, да к тому же «крупнейшего и ценнейшего», который и не пытался проявить себя где-либо, помимо марксизма.

Пятаков... «человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно положиться в серьезном политическом деле».

О других Ленин и не упоминает.

Из рук вон плох госаппарат, и нет таких, кто мог бы заняться его исправлением. Плоха голова, но и само тело не лучше. Страна крайне некультурна, больше того, она нецивилизованна. Не зря ли заварили кашу? Ленин пытается успокоить себя и других фразой Наполеона: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже будет видно». Очень смахивает на русский «авось» — авось как-нибудь да вытанцуется.

И все-таки Ленин, разбитый параличом, чувствующий свой близкий конец, видящий удручающую — до отвратительности — несовершенность старообразного, бюрократического государственного аппарата, продолжает на что-то надеяться.

На что конкретно, на какие меры?

Он предлагает:

«...надо увеличить число членов ЦК, сейчас их 27 человек, пусть будет 50 или даже все 100 за счет введения не успевших еще обюрократиться рабочих;

...надо передать Госплану законодательные функции;

...надо усилить состав Рабоче-крестьянской инспекции».

И при этом он, Ленин, клеймит за «суетню», непригодную, бесполезную, вредную, засоряющую учреждения и мозги.

А разве предложенные им меры не суетны по своей мелкотравчатости и робости?

Какая разница, 27 или 100 человек будут заседать на пленумах ЦК? Где гарантия, что рабочие, вошедшие в этот наивысший партийный орган, наверняка не сведущие в деле управления, наверняка не обладающие большой теоретической подготовкой, а подчас и элементарной грамотностью, не пойдут на поводу у наловчившихся политиканов? И где гарантия того, что эти честные рабочие вскорости не забуреют, не станут самыми заурядными бюрократами?

Госплан получит право издавать законы. Ну и что? Это учреждение умней и прозорливей других правительственных органов? Почему законы, изданные чиновниками Госплана, должны быть лучше законов, предложенных чиновниками, скажем, того же Совнаркома?

И усиление Рабкрина, если и поможет — если! — схватить за руку лишнего зарвавшегося бюрократа, то уж рассчитывать, что оно этим изменит бюрократическое, созданное по типу царского, буржуазного, государственное устройство, по крайней мере, наивно.

Суета сует, причем вредная уже тем только, что увеличивает еще больше число бюрократов. Этой суетой заполнена лебединая песня охваченного тревогой Ленина.

Но в лебединой песне звучит и новое — величальные нотки тому, что прежде Ленин не допускал близко к сердцу, считал чужим, тогда как его учителя, Маркс и Энгельс, чужим отнюдь не считали, даже видели в том зачатки грядущего коммунизма.

Речь пойдет о кооперации.

13

Что дороже — отец или революция?

Лешка Корякин больше себя любит свою мать, но революция ему дороже матери.

Он, Максимка, еще никогда не любил так своего отца. Кровь стынет в жилах от неизвестности: что с ним такое? «Хотел бы, да не могу». Не может верить тому, во что верят все, все кругом. Во что верит он, Максимка. Но это же отец научил его верить, это он первый рассказал ему о революции, от отца первого он услышал о врагах:

Эй, живей, живей, живей
На фонари буржуев вздернем!

Еще не известно — перерожденец ли он, но одно ясно — отец несчастен. «Хотел бы, да не могу». Отцу плохо, нельзя не жалеть его, не любить его.

Максимка возвращался домой. Знакомая улица... Он уже не замечал ее, он ничего и никого не видел вокруг — отец заполнял все, весь мир, страдающий отец, непонятный отец!

Дома, открыв дверь своим ключом, Максимка увидел отца, сидящего за столом, без пиджака, без галстука, с книгой. Матери еще не было.

Отец оторвал всклокоченную голову от книги и встретил Максимку молчаливым кивком, снова склонился, спрятал лицо. И спина его сгорбленна, и тяжелые руки, перевитые крупными венами, устало покоятся возле книги, и сединой тронуты виски. И в стороне валяются забытые матерью пяльцы с неоконченной вышивкой — розочки и листочки.

Близился вечер, легкие сумерки затопили улицу за окном, внизу привычно погромыхивал трамвай. За закрытой на защелку английского замка входной дверью, напротив, через коридор — другая дверь, все время ощу-

щаешь ее. Наглухо закупоренная, опечатанная дверь, ведущая в пустую квартиру. Как неправдоподобно далеко то время, когда там жили дядя Ваня, тетя Дуся, Ленка. А прошла лишь какая-то неделя. Дядя Ваня... Мысль о нем уже не ужасает, кажется, так и должно быть.

Это ему, Максимке, так кажется, а отцу?.. Для отца отказаться от дяди Вани, наверное, так же трудно, как Максимке от отца. Отец лучше всех знал этого человека, лучше матери, лучше Максимки, даже тети Дуси, наверно,— тетя Дуся позже познакомилась с дядей Ваней. А Сталин, пожалуй, и совсем не знал дядю Ваню. «Хотел бы, да не могу». Конечно, не может, как тут не понять. Отец вдруг становился понятным.

— Пап...— произнес в сторону Максимка.

Сейчас он признается во всем.

— Пап...— осипшим голосом ломая неподатливую тишину комнаты, нежилую тишину лежащего за дверью коридора.

Отец не поднял головы, похоже, он еще ниже склонился над книгой.

— Пап, дядя Ваня... не виноват? Да?

Если скажет: «Не виноват», все будет ясно. Раз он верит в это, раз верит, то понятны и его слова: «Хотел бы, да не могу». Произошла ошибка, редкая, чудовищная, с которой никак нельзя согласиться. Один отец, один из всей страны знает правду. И как от этого тяжело отцу, как ему одиноко, знающему среди незнающих! Он, Максимка, будет жалеть его и любить, страдать вместе с ним, вместе с ним искать выход — как доказать. Не в дяде Ване дело — в правде, без которой нельзя жить.

Отец неохотно, очень неохотно и очень медленно оторвался от книги, поднял всклокоченную голову, уставился мимо Максимки в стену. Он молчал минуту, другую, молчал и глядел куда-то...

И Максимка содрогнулся — сейчас, сейчас, в эти минуты, с первым звуком отцовского голоса случится непоправимое! Уж лучше бы ничего не спрашивать.

— Раз — его — арестовали...— произнес отец медленно, с усилием, негромко, но внятно. Лицо какое-то неподвижное, чугунное, взгляд далекий, проходящий стороной.— Раз так — значит... виноват.

Последнее слово выронил с облегчением, как тяжелый камень, который пришлось долго нести. И опустил голову к книге, всем видом показывая, что не желает больше разговаривать.

За окном под закатом тлела крыша соседнего дома, вливала в комнату угрюмый медно-красный свет.

Максимка вдруг как-то весь устал — заломило плечи, спину, появилась неприятная слабость в ногах,— он опустился на кровать, но глаз с отца не спускал.

Отец! Отец!

Отец сидел, не подымая головы.

Ты лжешь, отец! Ты так не думаешь. Думаешь одно, а говоришь другое. Тебе нельзя верить, отец! Про лучшего друга, про самого лучшего сказал страшную неправду. Отец! Отец!

И отец сидел, окутанный рассеянным медным светом, клонил голову к книге, прятал лицо.

Не прячь, я все равно помню твое лицо.

Твои брови с подпалинкой...

Твои глубокие складки от носа к губам...

Твои глаза, в которые я так часто глядел...

И даже сейчас, не произнося ни звука, ты умудряешься лгать: делаешь вид, что читаешь книгу, и забываешь даже — надо переворачивать страницы. Отец! Отец!

Короткий разговор с глазу на глаз — вопрос и ответ. И случилось непоправимое — Максимка терял отца. Но все равно он продолжал исступленно любить его, даже такого, с сединой у висков, с новой непривычной, надсадной сгорбленностью. Любил его и не верил ему, любил, и ужасался, и обмирал перед непонятной двуличностью этого близкого, родного из родных, человека.

Отец! Отец!

Через много лет Максимилиан Иванников запоздало понял его. Через много лет и постепенно...

Наши отцы, свершившие революцию, уцелевшие в ней! Все получалось не так, как вы рассчитывали. Вы стремились к свободе, а строили тюрьмы, вы мечтали о равенстве, а пресмыкались перед начальством, вы пели гордо «Весь мир насилья мы разрушим до основанья», а сами увязали в горах трупов.

Наши отцы, нет, слава о вашем мужестве не досужая выдумка!

...отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм!

Было мужество!

Но для того, чтобы признать — не то, не так, все иначе,— мало одного мужества, нужно и понимание — почему? Не понимали...

Наши мужественные отцы, вы стали бояться смотреть правде в глаза, отворачивались от чудовищных фактов, не хотели их видеть. Не верили даже себе! Но больше себя вы оберегали от убийственной правды нас, своих детей, твердили: самое передовое, самое справедливое, самое свободное, самое гуманное!.. Самое, самое! Кто из вас не лгал нам в малом и большом?!

Лжем и мы сейчас своим детям, только не так, как вы,— не самозабвенно, скучно, по обязанности и по привычке, уже сами не веря в свою ложь.

Максимилиан Иванников поймал отца на лжи. По простоте душевной, по детскому неведенью он не догадывался, что ложь стала наркотической потребностью наших отцов.

Ленин был едва ли не последним большевиком, который жестоко заблуждался, но не терпел прямой лжи. Но Ленин умер еще до рождения Максимилиана Иванникова.

XIV

Разбирая опыт Парижской коммуны, Маркс говорит: «Коммуна должна была... стать политической формой даже самой маленькой деревни».

Маркс не сомневался — кооперация может стать зародышем коммунизма. Вот его слова: «А если кооперативное производство не звук пустой и не обман, если оно должно вытеснить капиталистическую систему, если ассоциации организуют национальное производство по общему плану, возьмут его в свое заведование и этим прекратят постоянную анархию и периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве,— не будет ли это, спрашиваем мы вас, милостивые государи, коммунизмом, «возможным» коммунизмом?»

Кооперация в том или ином виде существовала и в царской России. Это было хорошо известно Ленину. В 1905 году он говорит: «Да, отвечают революционеры, мы согласны, что потребительные (кооперативные.— *В. Т.*) общества есть в известном смысле кусочек социализма... Пока власть остается в руках буржуазии...

жалкий кусочек, никаких серьезных перемен не гарантирующий... Навыки, приобретенные рабочими в потребительных обществах, очень полезны, спора нет. Но поприще для серьезного приложения этих навыков может создать лишь переход власти к пролетариату».

И вот переход совершается, Ленин, ревнитель интересов пролетариата, становится общепризнанным главой правительства, казалось бы, тут-то и пришло время повернуться ему лицом к кооперации. Но странно, он теперь о ней говорит совсем иные слова:

«Кооперация есть тоже вид государственного капитализма, но менее простой, менее отчетливо-очерченный, более запутанный и потому ставящий перед нашей властью большие трудности».

«Свобода и права кооперации, при данных условиях России, означает свободу и права капитализму».

Не поразительно ли — «кусочек социализма» при власти, которую Ленин искренне считал пролетарской, превращается вдруг в капиталистический ломоть!

И при этом сам Ленин мечтал о коллективном творчестве масс. Казалось бы, раз мечтаешь, то постарайся использовать любую возможность. А совместная деятельность тружеников на общих паях, при общих интересах вполне может стать школой массового, коллективного творчества. На чем еще и учиться людям, как не на практической деятельности? Нет, возражает Ленин: «Кооперативы в большинстве случаев имеют в качестве своих вождей буржуазных специалистов, сплошь и рядом действительных белогвардейцев». Но что за беда, буржуазные спецы ставились тогда и во главе государственных предприятий, Ленин тут не возражал, напротив, призывал привлекать их, заманивая высокими окладами. Если вожди отдельных кооперативов буржуазны, враждебны, то это не означает, что и кооперация как явление буржуазна. Борись с вождями, зачем же простых тружеников, объединяющихся для совместной деятельности, ставить на одну доску с частниками-концессионерами, с узаконенными спекулянтами — комиссионерами?

Странный поворот? Да нет, закономерный. Ленин, придя к власти, мерил с позиций: «**Все** граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства». И тут концессионеры-капиталисты, торговцы-комиссионеры, арендаторы, равно как и труженики-кооператоры, не являются полностью «государственными людьми», сохраняют за собой какую-то автономию. А потому, как бы ни

разительно они отличались друг от друга, для главы нового государства Ленина — они одного поля ягоды. И он сваливает их всех в одну общую кучу — государственный капитализм!

Ленин противоречит Марксу, он противоречит и самому себе — более раннему Ленину,— и тут невольно приходит в голову крамольный вопрос: можно ли его в данный момент называть коммунистом по стремлениям? Он не хочет, он препятствует проявлению творческой инициативы масс, мешает самостоятельной деятельности народных организаций, тем самым сознательно укрепляет диктаторские позиции государственного чиновника-бюрократа.

Но вот последние усилия больного Ленина, последние мысли диктуются непослушным голосом, вместе с тревогой за косный, страдающий всеми старыми пороками госаппарат, вновь бросок в сторону кооперации. На этот раз Ленин говорит о ней уже совсем иным голосом: «При условии максимального кооперирования населения сам собой достигает цели тот социализм, который ранее вызывал законные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение к себе со стороны людей, справедливо убежденных в необходимости классовой борьбы, борьбы за политическую власть и т. д.» «...Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма».

Кооперация-падчерица возвращается в лоно семьи, снова — «кусочек социализма», даже больше — надежда его. И одновременно суетные меры чисто бюрократического переустройства — увеличение ЦК, законодательность Госплана, усиление Рабкрина. В ряду их надежды на кооперацию показывают лишь растерянность мечущегося на смертном одре вождя революции.

14

Как всегда, он утром отправился в школу: выгоревшая фуражка с надломленным козырьком, жмущий под мышками пиджачок, штаны с пузырями на коленях, потасканный портфель с учебниками и озабоченное выражение физиономии, которое должно говорить любому и каждому: вот идет мальчик, у него в голове нет других мыслей, кроме мысли не опоздать сейчас на урок.

Но на самом деле Максимке меньше всего хотелось оказаться в школе, торчать на уроках, терпеть шумные и людные перемены. В школе волей-неволей придется сравнивать себя с другими ребятами: у всех отцы как отцы, никому нет нужды ничего скрывать, ты — не такой. Лучше спрятаться, лучше быть одному. Но делает вид, что спешит, притворяется перед собой и перед прохожими.

Отец вчера лгал. Теперь Максимке нужно лгать всем: отцу, матери, Лешке Корякину, даже незнакомым прохожим на улице. Вот спешит мальчик в школу... Притворяйся, притворяйся, никому — ничего! Прячь проклятую тайну об отце! С этого утра — всю жизнь! Отец лжет. Мать тоже лжет. Вся семья лжива.

У каждого есть друзья, у тебя их не будет. Какие друзья, если ты не сможешь им довериться.

У каждого есть страна, у тебя ее нет. Ты скрываешь от нее преступника.

Каждый мальчишка с легким сердцем ждет: когда вырасту большой... Не смей ждать! Вырастешь, и все равно тебе придется притворяться — такая уж жизнь.

Был недоволен Ленкой — отец дороже. Презирал Гришку Сотникова — лил слезы под фонарным столбом... по отцу. Никому нельзя верить.

Теперь нельзя верить тебе!

Несколько дней назад — всего несколько дней! — он холодел, представляя себе: среди обыкновенных, самых обыкновенных прохожих ходят те, кто прячет внутри тайные мысли. Люди с нормальными телами, с нормальными — не уродливыми — лицами, нормально одетые могут ласково говорить, мило улыбаться, а внутри ненормальны — выродки!

А сейчас бежит по знакомой улице мальчишка, самый нормальный с виду, с ломаным козырьком на фуражке, с обычным озабоченным лицом. Кому придет в голову, что нормальный мальчишка вовсе не нормален!

Скажи ему вчера: станешь выродком — не поверил бы ни за что! Или умер от горя. А сейчас вот бежит по улице — и ничего... не умирает.

И Максимка неожиданно позавидовал Ленке и Гришке. Они счастливее, даже они! Им уже не надо притворяться, все знают, кто их отцы, а ты прячься, холодей от страха — узнают, раскроют!..

Идти в школу — нет, нет! Вернуться домой — нет! Сбежать?.. Куда?.. Станут искать через милицию. И найдут. И спросят: почему убежал?..

Рычали на мостовой тяжелые грузовики, давили асфальт узорными скатами. И Максимка со странным интересом начал к ним приглядываться. Лязгая, шли мимо трамваи, набитые людьми,— как легко сорваться под их колеса!.. А в глубине скверика, помнится, стоит железная будка, на ее дверцах выведен череп и кости: «Опасно! Высокое напряжение!» Внутри будки сидит смерть. Улица заполнена не только живыми людьми... Странные мысли приходят сегодня. Странные, но нисколько не страшные.

Вспомнился почему-то сон, рассказанный недавно отцом: треснувшая, как арбуз, голова водителя автокара, общий смех... Отец! Отец! Можно ли жить так, как живешь ты?! И ни на минуту не переставал любить отца.

Решение созрело столь стремительно, что Максимка почувствовал легкое головокружение. В общем-то, старое решение, но с новой силой.

Надо идти к отцу, сейчас, немедля! Надо его спросить: «Отец, ты учил меня любить революцию?» И он ответит: «Учил, сын».— «Ненавидеть врагов ты учил?» — «Учил, сын».— «Тогда скажи, отец, как мне поступить, ведь ты мне солгал...» Это надо было спросить еще вчера. Он, Максимка, просто растерялся. Появилась надежда.

А если все уже неисправимо?..

Тогда пусть лучше убьет.

XV

«А что, если б он был жив?»

Бессонными ночами, вслушиваясь в шаги за дверью, в одиночных камерах, в лагерных зонах за колючей проволокой, притаившиеся и обреченные, исступленно верующие и утратившие веру, экзальтированные по натуре и сугубо трезвые, с простодушием и со страстью, с тайным негодованием или усталым стоном — во время репрессий чаще всего люди задавали себе один вопрос: «А что, если б?..» Ведь он так рано умер,— ему не исполнилось и пятидесяти четырех лет! В годы коллективизации Ленину было бы всего шестьдесят, в 1937-м году — шестьдесят семь.

Наверняка этот бессильный вопрос задавали себе, ожидая расстрела, повально знаменитые бывшие вожди — зиновьевы, пятаковы, бухарины, рыковы. Наверняка над этим задумывался Федор Тенков, мой отец, неприметный советский служащий, из-за неприметности счастливо избежавший ареста.

Праздный вопрос мечтателей, считающих: «Будь нос Клеопатры покороче,— иным выглядел бы лик земли». Будь здоровье Ленина покрепче...

Но все же попробуем представить: что, если б?.. Без прекраснодушных упований и сантиментов: что, если б данная историческая личность продолжала жить и действовать, как ее деятельность сказалась бы тогда на ходе истории?

Мысленно продолжим жизнь Ленина, и тогда естественно предположить, что его недовольство сложившимся государственным аппаратом должно было расти. И скорей всего он наконец пришел бы к мысли, что изменить можно, лишь ломая весь механизм. Но что пользы в ломке, если не знаешь, чем заменить.

Чем? Каким устройством?

Маркс подсказать не мог. Ленин сам в свое время объявил: «**Открывать** политические **формы** этого будущего Маркс не брался». Ленин предложил форму — «по найму у государства», передал этим диктаторскую власть бюрократии. Энергичный и деятельный Ленин в течение всей своей жизни так и не сумел найти ничего лучшего. Можно ли тогда ждать, что на закате дней он вдруг проявил бы несвойственную ему проницательность, открыл нечто принципиально иное, не намеченное Марксом, переворачивающее наизнанку все, что сам творил прежде, отвергающее то, к чему стремился? Маловероятно.

Он думал, что все дело в плохих аппаратчиках, и уже предлагал заменить их новыми. Со временем эти предложения переросли бы в настойчивые требования, в некие действия, энергичные и решительные, как всегда у Ленина.

Но наивно предполагать, что старые аппаратчики стали бы покорно ждать своего отстранения, не вступили бы в противоборство с опасным для них вождем. Итог этой борьбы мог быть двояким: или аппаратчики побеждают Ленина, добиваются его отставки, не исключено, физически его уничтожают, или Ленин, при поддержке новых претендентов на государственные должности, сметает своих бывших соратников.

Однако сам-то аппарат по устройству остается прежним. Какими бы ни были честными и принципиальными новые его члены, они станут выполнять старые функции, пользоваться старыми методами. От таких дворцовых переворотов народ по стране не станет культурней,

правительство теоретически подкованней, средства связи совершенней — истоки для процветания бюрократизма останутся прежними. И рано или поздно назреет необходимость устранить и этих обюрократившихся аппаратчиков. Не бессмысленная ли песня про белого бычка?

Можно предположить, что дело не дойдет до прямой вражды между Лениным и аппаратчиками. Будет продолжаться то, что уже шло,— суетная борьба мнений, жестокая дискуссионная разноголосица, плодящая оппозиционные группировки.

Вот тут-то Ленин рисковал бы вызвать массовое недовольство низовых бюрократов, тех, кто недавно был оторван от станка и сохи, тех, кто обычно заполнял места в залах съездов, кто тогда большинством голосов еще решал — что принять, кого поддержать. Они, эти рядовые бюрократы, не могли быть довольны разноголосицей в командных верхах. Они ждали простых, ясных, четких приказов — делай так-то, делай то-то,— дискуссионная неразбериха, оппозиционная грызня путает их исполнительскую деятельность, осложняет бюрократическое бытие. Кого слушать, кому подчиняться, чьим указаниям следовать? Рядовому бюрократу нужно единоначалие — непререкаемый авторитет, железный вождь, абсолютизм власти. И чем проще этот вождь, чем понятней его приказы, тем легче жить и действовать добросовестному бюрократу-исполнителю.

Быть простым, не влезать в слишком наболевшие, в слишком очевидные противоречия сложившегося общества мог или уж человек совсем примитивного склада, или полностью беспринципный прохвост, умеющий видеть лишь то, что выгодно. Ленин ни тем, ни другим не был.

Поживи он подольше, наверняка стал бы мало-помалу утрачивать свой высокий авторитет, его имя перестали бы окружать ореолом святости, его прах не положили бы в мавзолей для поклонения. Похоже, что смерть пришла вовремя к этому человеку. Великая драма — драма идей не стала его личной трагедией.

Все это гадания на тему: что, если б...

Но незадолго до смерти, когда Ленин лежал в параличе, несколько незначительных, можно сказать микроскопически малых, событий заставляют задуматься: а не терял ли уже тогда он свой авторитет, по крайней мере среди ближайшего окружения?

15

Громадное шестиэтажное серое здание. В нем несколько подъездов, у каждого подъезда по нескольку скромных вывесок, каждая вывеска — учреждение. За дверями подъездов, как на вокзале, всегда толпится много народу, одни кого-то ждут, другие кому-то дозваниваются по внутренним телефонам, третьи спешат по широким лестницам, четвертые степенно ждут у лифта. Лифт старинный, тесный, с решетками, медными ручками, с зеркалами, от которых всегда кажется, что подымается вдвое больше людей — целая толпа, терпеливо молчащая, посапывающая.

Незнакомый человек легко может заблудиться в коридорах, бесконечно длинных, днем и ночью освещенных тусклыми лампочками. Но Максимка знал нужные ему коридоры, не раз бывал у отца по мелким мальчишечьим делам — чаще попросить денег на кино. Среди одинаково высоких, одинаково обитых коричневым дерматином дверей — нужная дверь. За ней комнатка-приемная с рядом выстроенных стульев вдоль стены, стол с громадной пишущей машинкой, секретарша, добрая, бойкая старушка со странным именем Цецилия — Цецилия Львовна. По одну сторону от нее дверь, ведущая в кабинет отца, по другую — дверь, за которой раньше сидел дядя Ваня, самый старший начальник над всеми кабинетами, расположенными вдоль бесконечно длинного коридора.

— Ты к папе, мальчик? — спросила Цецилия Львовна, кинув взгляд на Максимку через косо сидящие очки.

На стульях вдоль стены неподвижно восседали люди с тяжелыми портфелями на коленях, молчаливо и строго до осуждения, до враждебности — так казалось Максимке — взирали на неуместно явившегося мальчишку.

— Он сейчас очень занят. Совещание.— Цецилия Львовна кивнула на дверь, но не на отцовскую — на дверь кабинета дяди Вани.

Максимка, послушно следуя взглядом за кивком, вдруг увидел на этих дверях табличку: «Н. С. Иванников». Отец переселился, отец теперь там, где раньше находился дядя Ваня! У Максимки по всему телу разбежались мурашки...

Хотя что тут такого, он должен бы раньше догадаться: отец всегда замещал дядю Ваню. Раз дяди Вани нет, то старшим вместо него посажен отец. Самым старшим по всему длинному коридору, над всеми кабинетами!

Отец, оказавшийся неожиданно на чужом месте, становился еще более чужим. И молча, пугающе строго разглядывали Максимку незнакомые дяди с тяжелыми портфелями на коленях.

— Пойди погуляй с полчасика, дружок. И не уходи далеко. Будет перерыв, тогда успеешь переговорить с папой.

Максимка выскользнул из приемной, прочь от чинной, важной, замороженной очереди с толстыми портфелями.

Коридор, уносящийся в тусклые сумерки, лампочки под серым, пыльным потолком, одинаковые двери без числа. И почему-то дрожали колени и прыгало сердце.

«Н. С. ИВАННИКОВ» — серебром по черному, табличка на дверях, за которыми всегда сидел дядя Ваня. Отец вместо дяди Вани! Отец теперь тут самый старший, изо всех дверей идут к нему, над всеми командует, все его слушаются. И эта строгая, молчаливая очередь с толстыми портфелями... Дрожь в коленях.

А казалось,так просто встретиться, все сказать: «Отец, ты учил меня?..» — «Учил, сын». Просто сказать старому отцу, сидящему на старом месте. На новом месте у отца уже ничего не остается от прежнего — над всем коридором, над всеми дверями!.. И нет уверенности — захочет ли он слушать? Кабинет, однажды прятавший преступного человека, прячет сейчас отца. Озноб в теле, дрожь в коленях.

Через полчаса — только через полчаса! — он освободится. Перерыв на несколько минут, и за эти минуты сказать?.. «Отец, ты учил меня?..» Скорей всего отец будет среди людей, среди тех с толстыми портфелями. Такие разговоры на людях не ведут.

И не ко времени просочилось непрошеное воспоминание: Максимка сидит на отцовских коленях, зарывается лицом в его грудь. Отец обнимает и гладит голову тяжелой, теплой рукой. У отца тоскующий голос: «Придет время, сынок, когда мы будем так сильны, что станем жалеть даже своих врагов». Отец! Отец! Ты не дождался, ты не вытерпел, ты стал жалеть раньше!.. Хочу тебя видеть прежним, не надо иного! Люблю того, кто пел: «На фонари буржуев вздернем!» Непонятного ненавижу! Отец! Отец!

Через полчаса перерыв...

Неожиданно он обратил внимание, что в простенке между дверями висит плакат: «Болтун — находка для

шпиона!» Не удивительно, этот плакат не сразу бросился в глаза — такие плакаты примелькались, на них постоянно натыкался на улице, они висели в школе: «Болтун — находка...» А ведь болтун выдает секреты нечаянно, сам того не желая...

Длинный, тонущий в тусклом сумраке коридор, не знающий дневного света, двери, двери, двери, незнакомые люди сидят за ними. Из всех дверей несут секреты к его отцу... Максимка изнемогал от любви к отцу — к прежнему отцу! Изнемогал от ненависти и страха к отцу переменившемуся. Отец! Отец!

Двери, двери, они открывались, из них выходили люди, куда-то спешили. За закрытыми дверями раздавались телефонные звонки. Со всех концов страны звонят, со всех концов страны стекаются сюда секреты. Сюда — к отцу, в чужой кабинет. Прежний отец толкал Максимку, требовал — спасай, действуй, нельзя медлить, даже болтун — находка...

Дрожь в коленках.

Дверь напротив, похожая в точности на все другие двери. Дверь рядом с плакатом. Максимка, сдерживая дрожь, шагнул к ней, отчаянно дернул за ручку...

Кабинет, светлый, скучно чистый, с неизменным портретом Сталина на стене. За новеньким желтым письменным столом сидит невзрачный, с невнятным, словно выглаженным лицом лысеющий человек. Он уставился на Максимку.

Молчание.

— Тебе чего? — наконец удивленный вопрос.

Максимкина решимость кончилась, он охотно повернул бы обратно, но в упор глаза, озадаченные, обеспокоенные,— бежать невозможно.

Хозяин привстал и с тревогой спросил:

— Что случилось, мальчик?

По щекам Максимки потекли слезы.

— Что с тобой? Кто ты?.. Да садись, садись. Вот сюда.

Максимка послушно опустился в холодное клеенчатое кресло.

У человека за столом бегали глаза, дрожали кончики пальцев. Чтобы скрыть дрожь, он время от времени начинал тихонечко выстукивать по столу: «Чижик-пыжик, где ты был?..» И бегал глазами по кабинету, и не смотрел на Максимку.

Он несколько раз протягивал руку к телефону и опускал. Наконец решился, поднял трубку, прокашлялся

и осипшим голосом назвал номер. Пока соединяли, он выстукивал тихонечко: «Чижик-пыжик...»

— Товарищ Дербенев... Это из сто восьмой. Очень нужно, чтоб зашли сейчас. Особый случай, не тревожил бы.

И поспешно бросил трубку. «Чижик-пыжик, где ты был?.. Чижик-пыжик, где ты был?..»

Появился второй, грузный, страдающий одышкой, сразу же завалился в кресло и после первых же слов стал мрачнеть. Слушал и мрачнел, глубже вдавливался в кресло. Полное лицо его было грозовым, недовольным. Глаза он тоже прятал.

Он задал Максимке только один вопрос:

— Тебе сколько лет?

— Тринадцать...

— Всего?..

После этого хозяин кабинета и гость с минуту глядели друг другу в глаза, у одного лицо было испуганное, затравленное, у другого — угрюмое и недоверчиво подозрительное. Наконец оба опустили головы, отвернулись. Хозяин нервно начал выстукивать: «Чижик-пыжик...»

XVI

Рассказывают, что ставился вопрос о выпуске специальной газеты в единственном экземпляре для больного Ленина, откуда были бы изъяты все сообщения неприятного характера, способные взволновать вождя, а значит, пагубно отразиться на его пошатнувшемся здоровье. Какая исключительная заботливость, какая нежная предусмотрительность! Я не верю в столь умилительные причины, для меня проявление столь сердобольной опеки легче объяснить другими, отнюдь не сентиментальными мотивами.

Несмотря на болезнь, Ленин продолжал быть деятельным, и эта деятельность кой у кого вызывала беспокойство за свою судьбу. Кой-кому было выгодно изолировать Ленина, подсовывая фальшивую, успокаивающую информацию. Ленин, ложно информированный, невпопад бы и реагировал, а уж тогда его указания можно не принимать в расчет. И не столь важно, что эту, в общем-то нереальную, авантюрную затею не привели в исполнение, важно — такое желание имело место.

Другой факт: Сталин проявляет бестактную грубость к Н. К. Крупской и, по всей вероятности, неоднократно.

Больной Ленин ответил на это возмущенной запиской, требуя от Сталина извинений.

Обычно в этом конфликте видят лишь проявление неприглядных личных качеств Сталина, некие черты будущего деспота. Для меня тут знаменательней другое — Сталин *осмелился* грубить Крупской, самому близкому для Ленина человеку, считал это *не опасным* для себя.

Он, Сталин, как никто другой, любил и поощрял впоследствии самые грубые, неприкрыто льстивые, низменные проявления лакейства в свой адрес. Он порой даже не замечал, что неумеренная лесть обретает комический характер, мельчит его фигуру. Зачем, например, тому, кого уже величают светочем человечества, быть еще и лучшим другом советских физкультурников? *Ни разу*, как бы неумеренны, как бы порочаще грубы ни были лакейские восхваления, Сталина это не возмутило, ни разу он не одернул льстецов. Нужно быть в душе самому непритязательным лакеем, чтоб не смущаясь выносить бесстыдный, подчас гротесковый подхалимаж.

Лакейство вылезало у него и раньше, до монаршей власти.

15 января 1918 года на III Всероссийском съезде Советов он делает доклад по национальному вопросу. Прежде чем произнести традиционное «товарищи», он провозглашает: «Да здравствуют вожди мировой революции — Ленин, Троцкий, Зиновьев!» Нам сейчас кажется такое начало доклада весьма заурядным только потому, что мы прошли в свое время сталинскую выучку, но в начале 1918 года, сразу после революции, когда большинство искренне верило в идеи равноправия, когда вожди еще не стали предметом культового поклонения, когда слово «товарищ», заменившее «господин», еще воспринималось во всей благородной первозданности, открывать деловой доклад со здравицы было своеобразным новаторством. Неискушенные делегаты приняли эти слова за очередной революционный лозунг и проаплодировали, но никто из выступавших не повторил номера, да и впоследствии долгое время не находилось подражателей.

Трезвые историки могут не считать столь мелкую деталь достаточным доказательством лакейской натуры Сталина, но они не должны забывать, что искусство, вскрывающее общие закономерности, держится главным образом на таких вот внешне мелких, кажущихся случайными деталях. Несколько пустых, самих по себе незнача-

щих фраз Манилова открывают характерную не только для современников Гоголя, но и для нас с вами человеческую черту — маниловщину. Галоши и зонтик некоего учителя гимназии Беликова помогают увидеть особый, опять же общественно характерный тип, «человека в футляре». И то, что Сталин первый в революции пропел льстивую здравицу, дает мне полное право подозревать — лакейство органически было присуще ему. Грубость и высокомерие, которые он проявлял позже в столь неумеренных размерах, не противоречат этому выводу, наоборот, подтверждают его: лакей, став господином, должен быть груб и нетерпим.

И вот такой человек лакейского склада, пусть не прямо, пусть косвенно, через жену, проявляет пренебрежительную грубость к Ленину. Это может означать только одно — вокруг Ленина уже тогда сложилась атмосфера пренебрежения. Для широких масс он все еще великий вождь, непогрешимый гений, для окружения же — парализованный человек, политик, сходящий со сцены. Сходящий, но еще не сошедший, еще достаточно опасный.

И чем-то вызвана была дошедшая до наших дней в свое время общеизвестная в партийных кругах фраза Крупской, произнесенная в 1927 году: «Живи сегодня Ильич, эти интриганы посадили бы его в тюрьму».

Позднее Крупская таких слов не повторяла, жила под негласным надзором, панически боялась Сталина.

Ленин умер и перестал быть опасным для аппаратчиков, напротив, теперь им выгодно его возвеличить до святости, чтоб прикрываться его высоким авторитетом, выдавая себя за его преемников.

Сам Ленин умер, а ленинизм продолжал жить. Не был ли опасен и он?..

16

Максимка стоял у окна.

Внизу под окном жила с незапамятного детства знакомая улица: приходили и уходили трамваи, появлялись и исчезали грузовики, менялись люди на трамвайной остановке, суетливо бежали прохожие, и поток их не оскудевал и не кончался.

Максимка стоял у окна и ждал — вернется с работы отец или нет? Обычно он в эти часы уже появлялся на

трамвайной остановке. Максимка несколько раз ловил себя на том, что выстукивает по подоконнику: «Чижик-пыжик, где ты был?..»

Внизу среди прохожих появилась мать. Впервые Максимка с особым вниманием разглядывал, как она ведет себя среди людей. Пришпиленная к густым волосам беретка, вздернутая голова, даже сверху видно — выделяется средь других, красива, чуточку презирает обыкновенных, не отличающихся друг от друга прохожих. Спешивший по мостовой мужчина дернулся всем телом, уступил ей дорогу, обернулся вслед, а она прошла, не заметив его. Но походка у нее усталая — волочит ноги. Скоро она появится в этой комнате.

Он обещал матери молчать: никому — ничего.

Минут через десять за дверями послышались шаги, царапнул ключ о скважину, щелкнул замок,— мать...

— Ты обедал? — устало спросила она с порога.

Максимка только сейчас вспомнил, что существуют в жизни такие вещи, как обеды.

— Ты чего вдруг — столбом у окна?..

Он взял стул и книгу, стул поставил к окну, книгу положил на подоконник. Мать ушла в кухню, загремела посудой. А он снова стал жадно глядеть в окно, вслушиваться — не дребезжит ли трамвай.

И вдруг он заметил на улице человека... Тот стоял на трамвайной остановке, но не в куче, а в стороне,— полный, плотный мужчина в черной шляпе. Да, похож, очень похож... Лицо его трудно разглядеть из окна четвертого этажа. Но похож на того, который вошел в кабинет после телефонного вызова, мрачно спросил, сколько Максимке лет. Одно ясно — этого человека не было на трамвайной остановке, он появился, пока Максимка разговаривал с матерью.

Прошел трамвай, человек в черной шляпе остался, он даже не пошевелился. И еще один трамвай,— человек стоял и вглядывался в тех, кто выходил. Он кого-то ждал, Максимка заметил, как он несколько раз подносил рукав плаща к лицу, вглядывался в часы.

Издалека задребезжал третий трамвай. Человек в шляпе переминался с ноги на ногу, глядел в сторону приближающегося трамвая.

Трамвай остановился, из него вывалился народ, и человек наконец шагнул вперед. И тут-то Максимка увидел отца — серый плащ, кепка блином, неотличимо похожий на других.

Человек в шляпе остановил отца. Они стояли друг перед другом, о чем-то беседуя, явно негромко и, казалось, вяло, говорил больше тот, отец нехотя покачивал головой, в чем-то сомневался. Так они простояли минуты три-четыре, потом незнакомец притронулся к шляпе и отошел. Отец неторопливой раскачкой двинулся к дому. В это время подошел еще трамвай, и Максимка увидел, как человек в шляпе протискивается к площадке.

За дверью послышались тяжелые шаги отца. Мать их тоже услышала, вышла из кухни, стала накрывать стол.

Все шло как вчера, как позавчера, как год и пять лет назад, по заведенному порядку: отец, помыв руки, сел за стол, Максимка тоже занял свое место, мать начала разливать суп. Как вчера, как позавчера, с успокаивающей точностью.

По заведенному порядку отец должен был задать вопрос о школе: «Сколько сегодня нахватал «неудов»?» В школе давно уже не ставили «уды» и «неуды», а «посредственно» и «плохо», но отец все еще продолжал называть отметки по-старому.

Он и сейчас спросил, но не о школе:

— Цецилия Львовна говорила, что ты приходил ко мне?

Мать вздрогнула, бросила затравленный взгляд на Максимку. Максимка спокойно кивнул головой: «Приходил».

— В чем дело? — поинтересовался отец.

Уткнувшись в тарелку, Максимка ответил:

— Славка Борков... продает марки... всю коллекцию...

Славка Борков жил этажом ниже, свою знаменитую коллекцию марок он продал еще месяц назад. Никто из ребят и не мечтал ее купить — там одна лишь серия тувинских марок стоила столько, столько стоит новый фотоаппарат.

— Ну и что же?

— Я раздумал.

И снова молчание до конца обеда.

Отец поднялся из-за стола, сел к окну на стул, на котором недавно сидел Максимка, глядя на улицу, неожиданно сообщил:

— Сейчас у самого дома меня остановил... Дербенев.

Мать, собиравшая посуду со стола, замерла.

— Мне показалось, что он ждал меня.

— Что ему нужно? — едва слышно спросила мать.

— Советовал куда-нибудь поехать... отдохнуть. Даже предлагал быстро оформить отпуск.

Мать медленно бледнела, на известковом лбу вздернуты резкие брови, глаза остановившиеся, темные.

— Может, тебе поехать к брату в Городню? Он звал...— тихо сказала она.

Отец не ответил.

— Там лес, река... На самом деле отдохнешь,— приглушенно настаивала мать.

Отвернувшись к окну, отец глухо сказал:

— Где сейчас отдохнешь? В каком месте?.. Только если, как цыгане гадают, в казенном доме.

— Поезжай в Городню.— С тихим упрямством, просяще.

— Нет! — Отец встал.— Нет, не хочу.

Максимка понял весь разговор. Оказывается, тот толстый Дербенев хотел спасти отца, ждал у трамвайной остановки, чтоб посоветовать — уезжай. Недаром он тогда в кабинете сидел мрачный, должно быть, любит Максимкиного отца. Быть может, он, Дербенев, такой же, как отец, так же думает: «Хотел бы, да не могу...» И странно, сейчас это не ужаснуло Максимку. Он хотел, чтоб отец послушался Дербенева, уехал в Городню к брату. Было даже радостно от того, что отца кто-то спасает. Максимка не замечал — он сейчас на стороне отца. Тайком от самого себя.

На кухне мать схватила Максимку за рукав мокрой рукой, приблизила лицо, шепотом спросила:

— Ты никому — ничего?

— Не,— ответил Максимка и выдержал взгляд, не опустил глаза.

Он соврал отцу, почему должен говорить правду матери?

А вечером следующего дня из скупых разговоров отца с матерью Максимка узнал, что толстый Дербенев выступал на собрании против отца, всячески поносил его. Совсем непонятно, путалось все. Но Максимка уже устал удивляться.

Отец пока ходил на свободе.

XVII

В подчиненном обществе, где опасно проявлять мысль и волю, неизбежно возникает фетишизация лиц, стоящих у власти.

Причем степень фетишизации власть имущих должна возрастать пропорционально высоте занимаемого положения. Председатель колхоза почитается меньше, чем председатель райисполкома или секретарь райкома, секретарь райкома вызывает куда меньшее почтение, чем секретарь обкома, и дальше — больше. Фетишизация достигает предела относительно самой высшей точки государственной пирамиды. Личность, сидящая на самом бюрократическом поднебесье,— источник первичных приказов, собственно, начало начал, то есть бог. Для бездумного исполнителя чужой воли — а такими вольно или невольно становится все население страны — бюрократ над бюрократами должен быть всезнающим, неспособным ошибаться высшим существом, желания которого — непреложный закон жизни.

Такого «совершенства» бюрократическая система достигает не сразу и далеко не мирным путем. Сначала вне бюрократической зависимости оказалось крестьянство, раздробленное на миллионы мелких хозяйств. Им трудно приказывать, потому что невозможно проследить за этими миллионами, как они исполняют приказы. Необходимо собрать раздробленные хозяйства в крупные, тогда контроль за исполнением приказов уже легко осуществить. И бюрократическое государство подымается войной на крестьянство. Жестокая и быстрая победа, не вызвавшая ни сопротивления, ни даже заметного возмущения, говорит уже о могуществе системы, о ее безотказности. «Революция сверху»,— назвал ее Сталин. Что ж, пожалуй, и в самом деле — переворот в обществе.

Бюрократизм подчинил крестьянство, но опасность таилась и внутри самой системы.

Вместе с ростом бюрократической системы рос и авторитет покойного Ленина. Фетишизация власти не могла обойтись без фетишизации создателя этой власти. Но Ленин был слишком сложной фигурой, не все, что он говорил, подходило для крепнущей бюрократии — недовольство существующим госаппаратом, ненависть к самому бюрократизму как явлению, рассуждения о творческой инициативе масс, и пр., и пр. Правда, сами по себе мертвые святые никогда не были большой помехой для переродившихся последователей, если даже и высказывали неприемлемое. Человеколюбивые заповеди Христа не помешали святой инквизиции жечь и пытать во славу этого спасителя рода человеческого. Высказывания Маркса о кооперации

не помешали ортодоксальному марксисту Ленину отнести эту кооперацию в разряд капитализма. Обошлись бы надлежащим образом и с самим Лениным, если б не оставалось тех, кто слишком буквально его понимал.

В послереволюционной стране было много революционных романтиков, которые продолжали мечтать о несбыточном — о равенстве, свободе, народовластии. Им не могло нравиться диктаторское бюрократическое насилие с возрождающимся обожествленным монархом. Их несбыточные мечты, их неприязнь к возникающей деспотии находили опору у покойного Ленина, в той части ленинизма, которая неприемлема для бюрократии. Сами по себе идиллические, ирреальные, неприемлемые для практических действий ленинские упования на равноправие и народовластие тем не менее придавали силу и неуязвимость революционным романтикам. Все, что от Ленина, то свято!

Они осложняли бытие рядового бюрократа, вызывая досадные сомнения и путаницу в мозгах исполнителей, нарушая простоту установившихся деловых отношений (приказ — исполнение!), а значит, мешали работе аппарата.

Они, эти революционные романтики, представляли прямую угрозу и для бюрократического бога. Большинство из них помнило Сталина как одного из довольно скромных деятелей партии — пигмеем среди революционных гигантов. Они не могли не презирать его за узость кругозора, за ординарность мышления. Наконец, в их руках имелось такое опасное оружие, как высказывание Ленина о Сталине в «Завещании». Богу неспокойно, бог не мог терпеть их рядом.

И все это осложнялось еще и тем, что революционные романтики, недовольные бюрократическими порядками, как правило, сами были бюрократами, ставленными на власть в ленинские времена. Бюрократическая система несла в себе чужеродную гниль.

Только что прошла грандиозная и жестокая операция с крестьянством, где бюрократическая машина доказала свою безотказность. И это придало решительности, совершается нечто совсем невероятное — бюрократический бог отдает бюрократической системе приказ: пожирай... бюрократов! Нет, не только тронутых гнилью, не одних лишь революционных романтиков — кто их разберет, кто с гнильцой, а кто нет,— на всякий случай заметай всех подряд!

Казалось бы, приказ просто дикий, система-то состоит из живых людей, эти люди могут не подчиняться из одного лишь животного инстинкта самосохранения. Но вот вам наглядное доказательство, что история вовсе не слагается из действий и желаний отдельных личностей.

Личность в истории, как правило, подчинена системе. Та или иная общественная система развивается так не потому, что большинству людей, ее представляющих, это выгодно, а потому, что эти люди соединены в такую конструкцию, которая может действовать лишь определенным образом. И никакой могущественный властитель не может заставить систему совершать то, что ей не свойственно.

Удивляются жестокости Сталина, решившегося на массовые репрессии, но, мне кажется, достойна большего удивления бюрократическая система, для которой дикий по жестокости сигнал — пожирай своих членов! — не был противоестественен. Напротив. Сигнал был брошен, и система заработала со свойственным для бюрократизма усердием.

Однако здесь есть уже готовые возражения. «Но сегодня создается новый миф,— пишет, как всегда, с гневом и непререкаемостью Солженицын.— Всякий печатный рассказ, всякое печатное упоминание о 37-м годе — это непременно рассказ о трагедии коммунистов-руководителей. И вот уже нас уверили, и мы невольно поддаемся, что 37-й — 38-й тюремный год состоял в **посадке** именно крупных коммунистов — и как будто больше никого. Но от миллионов, взятых тогда, никак не могли составить видные партийные и государственные чины более 10 процентов. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц».

То есть, сталинская бюрократическая система была просто стихийно кровожадна, садила и уничтожала не целенаправленно, доставалось больше тем, кто был чужероден системе.

Я не беру на себя смелость назвать более точный процент потерпевших государственных и партийных деятелей, готов даже согласиться с той малой цифрой, которую называет Солженицын. Но не всегда-то арифметическое число определяет существо дела. При добывании граммов золота приходится перерабатывать многие тонны породы. Обмолоченного зерна бывает много меньше соломы, прошедшей через ту же молотилку.

Когда дело касалось рабочих, рядовых служащих, ученых, деятелей искусств, молотящая кампания 37-го года не отличалась строгой последовательностью — хватали и сажали по подозрению, по случайным доносам, просто по оказии, особо не ограничиваясь, не жалея и не церемонясь. И только в отношении коммунистов-руководителей наблюдалась явная жестокая тенденция. Буквально в каждой области, в каждом районе было арестовано и расстреляно по два, по три, а то и по четыре раза основное руководство. Хватали одних — ставили других, хватали этих — ставили новых, и так по нескольку раз. Хватали не потому, что это были плохие, непослушные или ненадежно мыслящие бюрократы, просто потому, что они занимали достаточно видное место в бюрократической системе. Причина уничтожения — причастность к бюрократизму!

Видных бюрократов могло быть и не столь много в общей численности потерпевших в стране, но почти все они попали под расправу, уцелели лишь считанные единицы. Цель, собственно, была определенная — уничтожить стареволюционные веянья, опасный для бюрократизма ленинизм, но делалось это способом сплошной дезинфекции, лучше уничтожить всех подряд, чтоб быть уверенным в полной стерильности. Бюрократизм неизобретателен.

И после того, как по всей стране, во всех бюрократических инстанциях провели дважды, трижды такую кровавую дезинфекцию, сама система стала качественно иной. Новые бюрократы, наконец утвердившиеся на старых местах, уже не походили на прежних. Им совершенно чужды были какие-либо свободолюбивые мечтания, демократические симпатии. Каждый бюрократ превратился в четко сформированного двуликого януса — деспота и раба одновременно. Безжалостного деспота по отношению к нижестоящему, униженно преданного раба по отношению к вышестоящему. И никаких колебаний, никаких сомнений, никаких человеческих побуждений — только исполнительность, слепая, бездушная, не считающаяся ни с очевидными фактами, ни с самой жизнью. Новый бюрократ прекрасно знал, что такое система, в которой он находится, с ней шутки плохи.

Вот тут-то можно сказать, что революция сверху кончилась, стабилизовав на неопределенное время наше общество. Воистину Великая Бюрократическая революция! Она прямое продолжение Великой Октябрьской, ее чудо-

вищное детище. Она в какой-то мере завершила ту будущую драму — драму идей, порожденных благородными свободолюбивыми стремлениями. В какой-то мере, на какое-то время, потому что вообще-то драма идей кончится лишь вместе с мятущимся человечеством.

Ну, а в моем хаотическом повествовании две истории, шагавшие каждая сама по себе, здесь сходятся — величественная история бунтарских идей с историей мальчишки, моего сверстника.

17

Он проснулся от негромкого голоса, произнесшего романтически неправдоподобную фразу, какую до сих пор Максимка слышал только в кино:

— Оружие есть?

Горел свет, и в комнате было много народу — двое в плащах и кепках, двое военных, затянутых ремнями. Полуодетая мать жалась к стене, держалась за горло, волосы рассыпались по плечам. А чужие люди вели себя тихо, держались даже с какой-то неловкостью, словно рабочие из мебельного магазина — собираются вынести из комнаты тяжелый шкаф и стесняются, что попали в незнакомую квартиру, стесняются, что их так много, потому и говорят приглушенными голосами.

— Оружие есть?

Отец сидел у окна на стуле, прямой, неподвижный, положивший большие, перевитые венами руки на колени — массивный мужчина в позе примерного мальчика. Запавшие глазницы до краев залиты тенью. А мать жалась к стене, держалась за горло обеими руками, остановившимися глазами глядела на нешумливых, стеснительных гостей.

— В нижнем ящике комода, в левом углу — браунинг,— так же тихо и внятно ответил отец от окна.

У отца был старый браунинг, принесенный с войны, на него имелось удостоверение, Максимка это знал, но так как ему не давали его держать в руках, как саблю дяди Вани, то он не видел этот браунинг в глаза по многу лет и забывал о его существовании.

— Есть ли еще какое-нибудь оружие?

— Нет.

— Приступайте к обыску.

Начались деловитое движение.

И тут Максимка увидел, что у порога сидит еще один человек — дворничиха Фатима. Она, как и отец, послушно сложила руки на коленях, у нее блестят щеки. Максимка понял — она плачет.

Но сам он не заплакал, лежал, натянув на подбородок одеяло, смотрел и слушал. Упала книга на пол, скрипел паркет под сапогами, шуршали плащи...

Один из военных согнутым пальцем обстукивал стены. Тук-тук... Пауза. Тук-тук-тук... Как ленивый дятел в лесу. Его товарищи рылись на полке с книгами, а Максимка из-под одеяла и мать от стены следили за рукой военного. Тук-тук! Тук-тук-тук!.. Стучал и прислушивался, передвигался вдоль стены. Максимка завороженно следил. Рука военного дошла до портрета Сталина. Тук!.. И оборвалось. Сталин поверх плеча военного смотрел на Максимку, с улыбочкой, доброжелательно. Военный не притронулся к портрету, почтительно пропустил, застучал дальше: тук-тук... тук-тук-тук...

Он подошел к Максимкиной кровати, они встретились взглядами. С молодого лица, не выражавшего ни враждебности, ни участия,— глаза уличного прохожего.

— Попрошу,— сказал он.

Максимка не понял и сильнее натянул на себя одеяло.

— Попрошу,— повторил он терпеливо.

— Максимилиан! Встань! — сорвавшимся голосом крикнула мать.

И Максимка торопливо вылез из-под одеяла, встал босыми ногами на холодный пол. Перед одетым, затянутым в ремни человеком он, Максимка, в трусах и майке чувствовал острый стыд. А военный деловито начал ощупывать его постель. Должно быть, это очень неприятно — шарить руками по нагретой постели, да еще когда на тебя смотрят со стороны. Движения военного, сначала деловитые, постепенно становились какими-то натянутыми, неловкими — так гладят бездомную собаку, боясь запачкаться, подцепить заразу. Он помял подушку, откинул одеяло и матрац, заглянул под него, ничего не увидел, кроме пружин кровати, небрежно бросил все на прежнее место, проворчал:

— Попрошу.

Верно, он предлагал Максимке ложиться обратно, но постель была разворочена, Максимка продолжал стоять босыми ногами на полу, у него дрожали колени.

Если б военный еще раз сказал свое «попрошу», Максимка, наверное, лег бы в развороченную постель... от страха. Но военный не повторил, отошел.

Шла работа: шелестела бумага, шуршали плащи, падали на пол книги, выбрасывались из ящиков комода мамины платья. Шла работа, и комната преображалась — без шума, без крика в ней нарастал разгром. А за окном — притихшая улица, а ночь со всех сторон обнимала большой, плотно населенный, крепко спящий дом. И никому не было дела до нешумного, деловитого ночного разгрома. И гости выглядели буднично озабоченными, скупо перебрасывались между собой вполголоса, почему-то дружно оглядывались, когда падала на пол толстая книга или нечаянно сбитая локтем со стола пепельница.

В разгроме не участвовал лишь один гость в сером, в елочку пальто. Он сидел в мамином кресле, скучающе разглядывал ногти, позевывал.

А у порога тихо плакала Фатима.

— Встать!

Отец с усилием поднялся, навесив над коленями руки.

— Можете взять с собой смену белья, полотенце и прочие предметы туалета.

Мать с усилием оторвала себя от стены, побрела, пошатываясь, среди разбросанных вещей. А отец стоял и глядел в пол.

И вот он у дверей, одет в пальто, почему-то в зимнюю шапку, держит в руках узелок. Отец отвел рукой военного, шагнул к матери:

— Ну...

Мать боязливо подалась навстречу ему. Отец обнял, поцеловал, еще раз сказал:

— Ну...

Максимка стоял босыми ногами на холодном полу и дрожал.

Отец повернулся к нему, и Максимка кинулся:

— Па-п-па!

От его выкрика ночные гости угрожающе сдвинулись.

— Па-па! Папа!

Шершавая щека отца прижалась к его щеке. Они так стояли несколько секунд, может, четверть минуты. И эти секунды были такими покойными, было так хорошо в объятиях отца, что Максимка забыл об озабоченных людях, смотрящих в упор с расстояния двух шагов. Отец рядом, больше ничего, ничего не надо.

Отец резко разогнулся:

— Максимка, будь всегда честным человеком.

Темное лицо, под зимней шапкой в провалах влажное мерцание, еще раз с трудом выдавленные, тяжелые слова:

— Будь честным.

— Па-а!

Спина в ремнях отгородила его от отца.

Из раскрытой двери повеяло холодом по босым ногам.

— Па-а!..

Дверь захлопнулась, сквозняк прекратился.

Не было даже Фатимы,— у порога стоял лишь пустой стул.

Пол усеян бумагами, некуда ступить — всюду книги, белье, платья матери. Мать сидела на полу среди разбросанных вещей, запустив пальцы в распущенные волосы, легонько покачивалась.

А Максимка стоял босиком на холодном паркете, глядел в захлопнувшуюся дверь и дрожал.

Шум шагов по коридору давно заглох. Мать продолжала раскачиваться. За окном, внизу, на спящей улице взревел мотор машины.

Тишина.

XVIII

Двое в комнате.
Я
и Ленин...

Наша беседа кончилась, Владимир Ильич.

После того, что я услышал от Вас, может показаться, что я должен проникнуться к Вам недоброжелательством, если не лютой ненавистью — такое, мол, натворить в истории! Но тогда я должен считать, что от Вас зависел ход истории. А я на протяжении всей беседы пытался доказать обратное: не Вы поворачивали течение жизни, а жизнь сама тащила Вас, занося в омуты. Вы — яркий пример человеческой самонадеянности и человеческого бессилия. Пробежав за несколько тысячелетий от первобытного костра до двигателя внутреннего сгорания, человек уже возомнил, что может управлять собственными судьбами. Не так-то просто, оказывается. И на непомерные претензии — издевка: выдвинут вождь народов, у которого буквально все благие намерения оборачивались тягчайшим злом.

Не будь Вас, был бы кто-то другой, похожий. И Ваше место в истории не могла занять фигура типа Эйнштейна

от социологии. Нет, тот другой непременно оказался бы столь же незатейливо прост, категоричен, фанатичен, резок до агрессивности, чтоб неискушенный народ мог понять его, выразить через него свою ненависть, скопившуюся от безысходной нищеты, забитости и угнетения. Не будь Вас, пошли бы за Львом Троцким,—вполне подходил. Так можно ли винить Вас, Владимир Ильич, что Вы оказались именно таким, какой нужен народу?

Винить народ—тоже глупо. Яблоко не виновато, что оно зелено.

Вы и Ваша деятельность, Владимир Ильич,—частное проявление общего человеческого развития, некой исторической неспелости.

Вы—сын своего времени, я—своего. За те полвека, которые нас разделяют, произошло так много наглядно больного, уродливого, что не понять заблуждений прошлого мог только законсервированный идиот. То, о чем я здесь говорил, никак не великие откровения. Это теперь если не осознает, то чувствует уже каждый. Нынче даже школьник скептически относится к официальному славословию по Вашему адресу, а я и в двадцать с лишним лет еще молился на Вас с восторгом.

Если б я сейчас проникся к Вам ненавистью, это доказывало бы лишь одно: я разуверился в прежнем божестве, считаю себя обманутым — не получил спасительного средства. Значит, я не рассчитываю сам понять, сам открыть, надеюсь на благодать свыше. Значит, я, каким был верующим, таким и остался, готов сменить лишь идола.

Нет, хватит! Хочу мыслить, а не верить в чьи-то готовые догматы! Хочу искать и понимать, не считаясь с обожествленными авторитетами!

Двое в комнате.
Я
и Ленин...

Прощайте.

18

Ночь не уходила из города, и город не просыпался. Временами начинало казаться, что на этот раз день не наступит. Свет был потушен, Максимке и матери хотелось спрятаться друг от друга в темноте.

Максимка лежал и напряженно ждал, что снова раздадутся по коридору шаги, дверь откроется, появится отец, сорвет с головы зимнюю шапку:

— Черт-те что! Глупое недоразумение.

Максимка хорошо понимал, что этого быть не может, но ждал, ждал каждой клеточкой натянутого тела.

— Глупое недоразумение...

А потом наступит утро, и тогда забудется ночь. Ночь для того и создана, чтобы наводить на людей кошмары. Днем такого не могло бы произойти, не представляется.

Но ночь не кончалась, свет уличного фонаря тихонько поеживался на потолке. Максимка лежал в оцепенении, мысленно представлял по-ночному тускло освещенный коридор и ждал... Ждал шагов. И понимал — глупо.

Сколько бы раз он потом ни вспоминал эту ночь, всегда удивлялся одному — тогда не чувствовал себя преступником, мучился за отца и не мучился угрызениями совести. Он даже забыл о том, что считал отца виновным. Он просто самозабвенно, страдальчески жалел его, только жалел и ничего больше чувствовать был не в состоянии. Вытянувшись в постели, окаменев, он ждал, ждал шагов, ждал, что откроется дверь, ждал отцовского голоса: «Глупое недоразумение». Ждал вопреки рассудку, понимая, что не случится, не думая ни о вине отца, ни о своем собственном поступке, перестав связывать события друг с другом.

Возможно, это было мальчишеским самосохранением. В ту ночь отдать себя на суд совести — самоубийство. А в тринадцать лет еще трудно отказаться от жизни.

Темнота напирала из углов, только на потолке зыбкий свет. Он глядел в потолок, вслушивался... И постепенно выполз наружу человек с выглаженным лицом, выстукивающий дрожащими пальцами «чижик-пыжик». Он не хотел, чтоб ему рассказывали, не хотел слышать о вине отца, но не оборвал, не прогнал Максимку, не позвал отца. Этот с выглаженным лицом кого-то боялся...

Но, конечно же, не того, второго, не толстого Дербенева. Дербенев тоже не хотел зла отцу, сидел хмурый, а потом ждал отца на трамвайной остановке... Толстый Дербенев тоже кого-то сильно боялся.

Темнота напирала из углов, угарная, удушливая темнота, прячущая мать.

И даже военный, что согнал Максимку с кровати — «попрошу», наверное, не очень-то радовался отцовскому аресту. Он был какой-то равнодушный, ему все равно, его

заставили, вот он и приехал, согнал Максимку с кровати, разворошил без удовольствия постель. Кто-то заставил, кому-то нужно.

Кто-то! Кого все боятся. Кто-то без лица, без имени. Он не человек, он всюду, он невидимка, прячется сейчас здесь. Он, может, даже залез внутрь Максимки, давно в нем устроился...

Отравляющая застойная темнота. Максимка лежал и коченел от страха и жалости, а коридор за дверью молчал — люди спят, шагов не слышно. В такую ночь способен ходить только Кто-то, без тела, без лица, без имени — Вездесущий. Его шаги не уловишь, не надейся.

Наконец свет на потолке стал бледнеть, воздух в комнате тоскливо посерел, и сперва вкрадчиво, потом назойливо поползли в глаза разбросанные на полу бумаги, смятое белье, старые отцовские башмаки...

Загремел первый трамвай, и мать со сдавленным стоном поднялась. Поднялся и Максимка, стал торопливо одеваться.

Не говоря друг другу ни слова, они принялись прибирать. Наступал день, к его приходу хоть как-то надо замести следы кошмарной ночи.

Утром мать, как всегда умытая, причесанная, одетая в свой черный костюм, но с бледным и помятым лицом — на известковом лбу яркие брови, под глазами тени — отправилась на работу.

Раз мать уходила на работу, он должен идти в школу — так заведено. Максимка сейчас хотел прежнего порядка.

Он собрался и вышел следом за матерью.

По коридору выступал Борис Моисеевич Шольцман — виолончелист из оркестра, тот, что жил в самом конце коридора — последняя дверь с правой стороны. Он всегда первый кивал Максимке причесанной до глянца головой.

Максимка поздоровался с ним и сейчас, но Борис Моисеевич промаршировал мимо, замороженно прямой, с ярким шелковым кашне под подбородком, со своим громоздким инструментом, упрятанным в матерчатый чехол. Прошел мимо, холодно глядя прямо перед собой, мягко ступая начищенными туфлями.

Максимка двинулся вслед за ним, и виолончелист заторопился, неприязненно передергивая плечиками.

На третьем этаже на Максимку выскочил Славка Борков, собиратель марок. Он двинулся было к Максимке, боком, осторожно, с лицом, полным ожидания, но из глубины коридора раздался голос его матери:

— Славочка! Вернись!

И, не сводя с Максимки глаз, Славка попятился задом.

Внизу в парадном стояла Фатима, подпирая толстыми руками тяжелые груди, встречающие глаза с широкого лица — как у больной собаки.

— Здравствуй, тетя Фатима,— сказал робко Максимка.

И она торопливо сунула ему что-то в руку, сердито закричала:

— Иди! Иди!

Сжимая в руке бумажный сверток, он вышел на улицу, прошел с десяток шагов, остановился, отвернулся к стене. Хоронясь от прохожих, он развернул сверток.

В нем оказались леденцы, какие Фатима приносила ему в детстве.

И тут он впервые за все эти дни заплакал.

XIX

При раскопках библиотеки Ашшурбанапала была найдена глиняная табличка со стихотворением. Автор его неизвестен, у историков он условно называется «Вавилонский Экклезиаст».

Что же плачу я, о боги? Ничему не учатся люди...

Увы, с тех пор и до сего дня.

1964—1973

Публицистика

Метаморфозы собственности

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.

Апостол Павел. *Первое послание к Коринфянам. 15, 33*

1

Маркс гордо заявил: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его».

И, казалось бы, коль ты задался целью что-то изменить — покрой ли штанов или мир,— значит, должен себе наперед представлять, как будет выглядеть данный объект в измененном виде. Нельзя вообразить столь придурковатого портного, который бы взялся шить новые штаны, задаваясь лишь целью не повторять старые образцы, и при этом совсем не ведал, какими будущие штаны окажутся.

Каким станет измененное будущее? Насколько отчетливо представлял себе Маркс мир, заменяющий неприглядный мир капиталистический? Ленин без смущения признается: «*Открывать* политические *формы* этого будущего Маркс не брался».

Но политические формы общества целиком определяются его внутренним устройством: как выглядит аппарат управления, какими силами воздействия на массы он располагает, как он создается — через ступенчатые или всеобщие выборы, а может, возникает самопроизвольно, стихийно? — через какие каналы он получает нужную для управления информацию, каким образом осуществляет контроль, и т. д., и т. п. Политические формы — это в первую очередь организационно-управленческие формы.

признаваться: они-де нам неизвестны — значит расписываться в своем полном неведении будущего общества.

Тем не менее Маркс все-таки пытался вообразить себе в общих чертах заветное коммунистическое будущее. Привожу наиболее известное его высказывание:

«В высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение разделению труда, а вместе с тем и противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни и станет сам первой жизненной потребностью; когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы, и все источники коллективного богатства польются полным потоком — лишь тогда... общество сможет написать на своем знамени: каждый по способностям, каждому по потребностям!»

Легче всего отмахнуться от этих голо-декларативных заявлений — исчезнет, перестанет, разовьются, вырастут, польются полным потоком... Ну а что, если в них все-таки вдуматься — возможно ли в принципе то, о чем Маркс так громогласно вещает?

Начнем с первого: «...Исчезнет порабощающее человека подчинение разделению труда...» Это утверждение, отдельно взятое, выглядит весьма туманно, понять его нам поможет хотя бы такое место из «Манифеста»: «Вследствие возрастающего применения машин и разделения труда труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлекательность для рабочего. Рабочий становится простым придатком машины, от него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы».

Как же избежать этого?

«Вместо разделения труда, которое неизбежно порождается в обмене меновыми стоимостями,— предлагает Маркс,— здесь имела бы место организация труда...»

Организация труда?! Но разве она при капитализме не имела места? Да нет, организация труда появилась много раньше.

Человек — общественное животное, его деятельность всегда была коллективной. Коллективные же действия требуют согласованности. Облавы первобытных охотников на диких зверей уже толкали к разумной организации, которая выражалась главным образом в том, что вся охота как бы разбивалась на более простые действия,

выполнять которые поручалось разным членам общины. И уже тут мы сталкиваемся не с чем иным, как с примитивным разделением труда — одни подымают и гонят зверя, другие перекрывают «слабые» места, третьи ждут в засаде с оружием в руках.

Чем труд коллективней по своему характеру, тем он больше нуждается в организации. И эта организация не исключает, не подменяет разделение труда, а, напротив, *порождает* его.

При капитализме происходит небывалый в истории скачок в коллективизации труда; до сей поры человечество не знало столь крупных, столь сложных по своей внутренней взаимосвязи, столь многочисленных по числу работающих предприятий. И нет никаких оснований считать, что и в будущем труд станет менее коллективным, скорее всего, человечество будет иметь куда более масштабные, более сложные предприятия, а потому возрастет роль организации труда, вместе с нею возрастет необходимость разделять целое на составные части, общий труд на отдельные операции. Разделение труда исчезнет только со способностью человека общественно трудиться.

А предлагать *вместо* разделения труда организацию труда столь же нелепо, как менять целый пятак на его оборотную сторону.

После этого даже такое, казалось бы, бесспорное заявление Маркса — «а вместе с тем (исчезнет.— *В. Т.*) противоположность умственного и физического труда» — выглядит сомнительным. Противоположность-то, да, исчезнет, но не *«вместе с тем»,* а скорей наоборот — *благодаря тому,* то есть разделению труда, неразрывно связанному с применением машин, когда трудоемкие процессы разбиваются на простейшие действия, не требующие больших физических усилий.

Трудно возразить Марксу, что «труд перестанет быть только средством для жизни и станет сам первой жизненной потребностью». Трудно, как и на любое благостное упование. Можно лишь добавить, что если подобное и случится, то непременно при разделении труда, которое Маркс считает «порабощающим».

А вот столь же голословное утверждение — «вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы» — кажется уже не просто благостным, но и чрезвычайно сомнительным. На жизнь общества, в том числе и на рост его производительных сил,

больше влияют не всесторонне развитые индивидуумы, а те, чье развитие сильно гипертрофировано в какую-то одну определенную сторону — они преимущественно физики или химики, конструкторы каких-то машин или проницательные экономисты, специалисты в чем-то одном, а никак не во всем. Спору быть не может, общество должно прививать человеку общую, разностороннюю культуру, но в то же время целенаправленно развивать в нем какую-то одну природную способность, препятствовать разбросанности.

И наконец, мы подходим к знаменитой надписи на знамени коммунизма: «Каждый по способностям, каждому по потребностям!»

«Каждый по способностям...» Беспристрастно вглядываясь, можно увидеть, что эту часть заветного лозунга имеет право начертать на своем знамени и современный капитализм — проявляй себя, свои способности, запрета прямого нет! Есть неисчислимые препятствия, какие всегда ставит жизнь на пути любого человека, утверждающего себя в обществе. Есть общественная косность, которая всегда была и всегда будет. Какой бы высокой культуры ни достигли массы, все равно уровень их восприятия и мышления останется массовым, то есть для данного момента развития — заурядным. И тот, кто вырывается из общей заурядности, дальше видит, глубже думает, не сразу получит признание, станет непременно вызывать недоверие, настороженность, а порой и враждебность как инакомыслящий. В золотой век Афин, подаривший миру изумительное искусство и глубокую философию, Сократ был приговорен к смерти, а Фидий брошен в тюрьму. Препятствия к проявлению способностей неизбежны, совершенно устранить их вряд ли когда будет возможно. Но если общество предоставляет право любому получить посильное образование, уничтожает сословные и национальные преграды, не зажимает инициативность и предприимчивость, уже можно считать — проводит в жизнь принцип «каждый по способностям». А это сейчас существует не в одной, а во многих капиталистических странах.

Если «каждый по способностям» — не такое уж несбыточное явление, то «каждому по потребностям» — неосуществимая фантастика. Тут предполагается невероятное — потребности любого и каждого могут быть полностью удовлетворены. Представим на минуту, что такое случилось. Вам всего достаточно, вы ничего больше не желаете, нет ничего, в чем испытывали бы необходимость,— нечего до-

стигать, не к чему стремиться, бесцельное существование, бездействующие силы, неиспользованный ум, собственно, деградация. Только неудовлетворенные потребности могут вернуть вас к деятельности, к жизни.

Но, возразят мне, марксизм потребности понимает не столь всеобъемлюще, а лишь в плане материального обеспечения — пусть люди не думают о хлебе насущном, о крыше над головой, об одежде, этого вполне достаточно, чтоб исчезла зависть, злоба, осуществилось вожделенное равенство, умер антагонизм. Если бы... Вглядимся в историю: желание избавиться от нищеты пролило там крови ничуть не меньше, чем стремление к престижности, к славе или отстаивание по-своему понятой истины и справедливости. Сытостью не замажешь противоречий жизни, и потребности людей беспредельны,— достигнув одного, они не перестанут желать большего. Неутоленность старухи из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», начавшей с разбитого корыта, а кончившей — «хочу быть владычицей морскою»,— характерная черта всего рода человеческого. Маркс столь очевидного, ставшего давно нарицательным, понять не пожелал, обещал несбыточное — «каждому по потребностям».

Чувствую, напрашивается пренебрежительный упрек: так многословно, с такими усилиями опровергать то, во что теперь уже не верят присяжные апологеты светлого коммунистического завтра. Зачем?

Но разве дело только в неверности приведенной цитаты, в декларативной ошибочности высокого авторитета? Тут всплывает трагедия нашей неистовой эпохи — бессмысленность великого социального движения, охватившего всю планету. «Хочу то, не знай что», и за это «не знай что» с ожесточенным вдохновением звали к сокрушительной борьбе: «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Обильные реки крови пролила эта борьба. Борьба продолжается, кровь льется... За «не знай что».

2

Однако у марксистов тут есть веское возражение: не нами эта борьба выдумана, не нами раздута, она существовала на протяжении всей обозримой истории, с того

незапамятного момента, когда появился на земле первый раб и первый господин.

Более того. Эта классовая борьба, считает марксизм, двигала вперед историю. Именно через нее и происходило развитие человечества.

Развитие через борьбу, через антагонизм, через враждебность? Каким образом? Откуда возникло такое убеждение?

В 1812 году, когда Наполеон шел к своему поражению в России, в заштатном тогда Нюрнберге совершается очередная победа человеческого разума — двумя частями выходит первый том «Науки логики» Гегеля. И в нем уже в общих чертах определено то, что мы теперь называем законом единства и борьбы противоположностей.

Гегель считает, что в природе нет предмета, в котором нельзя было бы найти противоречия, противоречие же есть корень всякого движения и жизненности. «Почка,— говорит он,— исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она опровергается цветком... Эти формы не только различаются между собой, но вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время моментами органического единства, в котором они не только противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой; и только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь целого».

Силы отталкивания и притяжения существуют в атомных ядрах, противоречивые силы держат в стабильном состоянии и взрывают звезды. Куда бы мы ни обратили взор — всюду противоречия. Именно они определяют сущность вещей, через них происходят изменения, осуществляется развитие.

Бурно развивающееся человечество не может быть исключением в природе, и если даже не очень внимательно присмотреться к любому обществу, то сразу же бросится в глаза общее для всех противоречие — между господствующими и угнетенными классами.

Маркс признается, что не ему принадлежит заслуга открытия классовой борьбы, но, похоже, никто до него не считал эту борьбу именно тем основным противоречием, которое определяет сущность человечества, приводит к изменениям, толкает на развитие.

«История всех доныне существующих обществ двигалась в классовых противоположностях, которые в различные эпохи складывались различно». А посему: классовая борьба — движущая сила истории.

Похоже, что это категорическое определение впервые высказал Энгельс: «...В борьбе этих трех больших классов (аристократии, буржуазии, пролетариата.— *В. Т.*) и в столкновениях их интересов заключается движущая сила (разрядка моя.— *В. Т.*) всей новейшей истории...»

Но в то же время Маркс и Энгельс утверждали, что *«вся история* есть не что иное, как образование человека человеческим трудом».

Человеческий труд — чем он, собственно, характерен? Навряд ли только одною борьбой.

В Олоргейсайли (юго-западная Кения) археологи обнаружили следы древнейшей охоты на павианов. Среди костей этих животных лежало более тонны каменных орудий и круглых камней различной величины. Было установлено, что камни перенесены за тридцать с лишним километров — право, совершен нелегкий труд. Явно, тут происходила не просто совместная стихийная деятельность, а заранее согласованное и относительно высоко организованное сотрудничество. И это около полумиллиона лет тому назад! Людьми, еще не относящимися к виду Homo sapiens.

Человеческий труд в первую очередь характеризуется сообщностью, совместными усилиями. С древнейших времен до наших дней в основе людской жизнедеятельности лежит сотрудничество в различных формах и взаимоотношениях. Если б люди действовали поодиночке, не согласуясь между собой, не сливаясь в трудовые коллективы, они наверняка не стали бы теми, что есть сейчас. Скорей всего, их история так бы никогда и не началась.

«Вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом», характерной чертой которого является сотрудничество. Но тем не менее движущей силой истории признается нечто, разрушающее сотрудничество,— межчеловеческая классовая борьба! Не странно ли? Тут какая-то неувязка...

Обычно под сотрудничеством понимается совместный труд, совершаемый исключительно на добровольных началах. Но добровольность — понятие чрезвычайно условное. Труд всегда вызывался необходимостью, редко когда он доставляет наслаждение, чаще всего при выполнении работы присутствует элемент самопринуждения — надо сделать, надо потратить время и силы. А в коллективном труде самопринуждением дело не ограничивается, проявляется и принуждение. Вполне можно предположить,

что среди далеких олоргейсайльских охотников, совершавших нелегкую операцию по перетаскиванию камней за тридцать километров, находились и больные, и слабосильные, и просто апатично-ленивые люди, которые вынуждены были действовать не столько по своей доброй воле, сколько под давлением более энергичных сородичей.

В том, что сильный и предприимчивый член патриархального общества заставил обрабатывать свою землю слабейшего, привыкли видеть только акт грубого насилия. Но совсем забывают, что без такого насилия человечество остановилось бы в своем развитии.

Подневольный раб как производитель материальных ценностей сам по себе, пожалуй, был ниже свободного труженика — не на себя работал, по принуждению, из-под палки. Однако из таких рабов, сконцентрированных в одном месте под единым началом, создавался более могучий, а значит, и более производительный хозяйственный механизм, чем патриархальная семья. Его усилиями можно освоить уже обширные земельные площади, провести оросительные каналы, создать совершенные транспортные средства; скажем, не утлые лодки, а сравнительно большие корабли, способные совершать дальние плаванья,— тем самым раздвинуть рамки существующего мира, одни народы сблизить с другими, расширить торговлю и культурный обмен.

Рабовладельческое хозяйство не только позволяло концентрировать силы на достижении целей, о каких и мечтать не могли патриархальные труженики, но оно ставило досель неведомо сложные задачи по организации труда, по техническому оснащению, по учету и планированию, а значит, стимулировало интеллектуальное развитие.

Именно ведение расширившегося и усложнившегося рабовладельческого хозяйства толкнуло людей к письменности, к математике, приучило мыслить абстрактными категориями. Раб, на которого взвалили весь тяжкий физический труд, труд изматывающий, доводивший до животного состояния, сам того не желая, предоставил господину и его приближенным свободное время для занятий умственным трудом.

Наивное заблуждение, что господин, палкой заставлявший работать раба, стал пребывать в праздности, превратился в тунеядца, остался в стороне от трудового процесса. Нет, господин участвовал в труде ничуть не

менее активно, чем раб, только он взял на себя более сложные функции — организации, корректирования, контроля, сиречь управления. Без действий господина рабовладельческое хозяйство — неуправляемое, хаотическое — неминуемо бы развалилось, в лучшем случае вновь бы превратилось в мелкие, непроизводительные патриархальные хозяйства. Господин и раб — две неотъемлемые части одного целого, особая форма *сотрудничества.*

И то, что это сотрудничество возникло на насилии, а отнюдь не на добровольных началах, не может быть поводом для отрицания его.

Когда люди от охоты и собирательства перешли к земледелию, когда это оседлое земледелие вынудило досель общую землю делить на свою, мне принадлежащую, и чужую, тогда более сложный процесс труда, требовавший изобретения более совершенных орудий, более глубокого прогнозирования своего будущего (не съешь весь полученный урожай, оставь на семена, чтобы быть сытым на следующий год), резко повысил сознание, духовно обогатил и усложнил людей, а вместе с тем и дифференцировал их на более развитых и менее развитых. Как только все это произошло, неизбежно должно было случиться — одни поработили других. Неизбежно! Другой, более благородной формы сотрудничества — не на насилии — просто не могло возникнуть.

Впрочем, вряд ли это вызовет у кого-либо возражения. Естественную закономерность и прогрессивный характер рабства признает и марксизм, но последнее достоинство приписывает влиянию антагонизма. «Без антагонизма нет прогресса,— заявляет Маркс.— Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней».

Но разве антагонизм давал возможность трудиться? Разве с помощью борьбы добывался хлеб и строились здания? Нет, это совершалось через *объединение* господина и раба — да, неравноправное! — через *сотрудничество* — да, держащееся на прямом и грубом подчинении! — через *насильственный союз!*

А вот как только такое сотрудничество установилось, как только грозная палка господина вознеслась над головой подневольного раба, то сразу же возникает нечто противоположное сотрудничеству. Раб уже не может не испытывать ненависти к господину-насильнику, господин не в состоянии отказаться от насильничанья. *Сотрудничество порождает антагонизм!* Трудовая деятельность

человека начинает представлять собой своеобразное единство противоположностей, которое по закону Гегеля наблюдается всюду в текучей природе.

Раб и господин сотрудничают, создавая материальные ценности, поддерживающие их существование. Раб и господин при этом «ведут непрерывную, то скрытую, то явную борьбу». Марксизм видит только борьбу, но сотрудничества, как оно ни очевидно, замечать не хочет.

По сути дела, марксизм берет лишь одну сторону всеохватного противоречия в обществе. Явно тут ввело в заблуждение то, что эта сторона сама по себе уж слишком наглядно противоречива — антагонизм же, борьба! — зачем еще искать другое противоречие, вот он, тот «корень всякого движения и жизненности» рода людского.

В природе же «нет предмета, в котором нельзя было бы найти противоречия». И всегда локальное противоречие становится составной частью противоречия более общего. Каждый атом — совмещение противоположных сил, но атомы складываются в молекулы, которые, в свою очередь, тоже противоречивы. Простые предметы постоянно органически сливаются в сложные, из одних противоречий возникают противоречия более высокого уровня...

Бросающаяся в глаза противоречивость классовой борьбы помешала разглядеть скрытое основное, определяющее человеческое развитие противоречие *между классовым сотрудничеством* и *классовой борьбой.*

3

Но какой же дурак станет утверждать, скажут мне, что человечество-де добывает себе хлеб насущный междоусобной борьбой. Просто наличие сотрудничества настолько явно, что упоминать о нем специально нужды нет, это подразумевается само собою.

Можно лишь говорить о несовершенстве существующего сотрудничества, о необходимости заменить его более совершенными формами, а для этого надо старые формы разрушить. Тут уже ничем другим нельзя воспользоваться, как только классовой борьбой. Она, борьба, и вызвана-то к жизни массовым решительным неприятием старого, а следовательно, несет в себе идеи нового сотрудничества, где уже хлеб наш насущный будет добы-

ваться без угнетения человека человеком. Именно так и представляет общественное развитие классический марксизм, выделяя из общего противоречия наиболее действенную, мобильную сторону, толкающую к изменениям,— классовую борьбу, движущую силу, своего рода пружину развития.

А правомерно ли выделять при единстве противоположностей некую активную сторону в противовес другой — пассивной? Можно ли, скажем, в атомном ядре указать, что одна из сил — отталкивания или притяжения — наиболее активна? Или разве звезда взрывается потому, что победа оказалась на стороне внутреннего давления, оно, мол, в конечном счете активней сжатия? Да нет, чем больше сжимающая сила, тем сильней возрастало давление изнутри, давление зависело от сжатия. Взрыв звезды — результат *обеих* сил, *единый* процесс, в котором бессмысленно выделять активную сторону.

В плане развития классовое сотрудничество нисколько не пассивней классовой борьбы. Оно тоже содержит в себе свои внутренние противоречия, которые толкают общество на изменения. Их тоже с таким же успехом можно назвать движущей силой.

Чтобы не быть голословным, попробую исторические изменения проследить на том же рабовладельческом обществе. Но заранее оговорюсь: картина, которую собираюсь набросать, будет условно-схематической, в жизни, разумеется, все происходило намного сложнее.

Рабовладельческое хозяйство оказалось производительнее старых раздробленных патриархальных хозяйств, а значит, получило возможность интенсивнее расти, расширяться.

В сравнительно малом хозяйстве, при ограниченном числе рабов, господин управлял сам, прибегая к палке и к поощрениям. Но как только хозяйство увеличилось настолько, что господский глаз уже не в состоянии был уследить за всеми рабами, а господская палка — дотянуться до каждого непослушного и ленивого, появляется необходимость в надсмотрщиках. Надсмотрщик сам ничего не производит, но стоит хозяйству во много раз дороже раба, создающего материальные ценности. До поры до времени затраты на надсмотрщиков компенсируются доходами разрастающегося хозяйства. Но в какой-то момент хозяин приходит к огорчительному выводу, что уже не в состоянии уследить сам за всеми своими надсмотрщиками. Надо и над ними ставить более

высоких надсмотрщиков, а значит, и более высокообеспечиваемых. Новый рост хозяйства принуждает создать новую касту управляющих, чьи обязанности чрезвычайно высоки, следовательно, соответствующе высоким должно быть и их обеспечение.

Получается, численность управляющего персонала возрастает *непропорционально* количеству рабов-производителей. Рабы в хозяйстве растут, так сказать, в одном измерении, а управленческий штат сразу в двух — не только вширь, но и вверх, заполняя возникающие иерархические ступеньки. Управление начинает пожирать плоды рабовладельческого производства. Неизбежные новые расходы вновь ложатся на плечи безответного раба...

Дойдет ли отчаявшийся раб до открытой классовой борьбы или же просто подохнет от дикой эксплуатации, неся хозяину разорение,— так или иначе многовековой насильственный союз господина и раба обречен на развал.

Героическое восстание Спартака, потрясшее римлян, вызывающее почтительное уважение у нас, да, способствовало возникновению феодализма, но ничуть не больше, чем кризис управления в обширнейших рабовладельческих монополиях Римской империи, который прошел незамеченным для историков. В сложном противоречии сотрудничества и антагонизма сама собой вызрела необходимость предоставить рабу клочок земли, дать ему относительную свободу распоряжаться им. И нельзя считать, что эти эпохально-общественные изменения были исключительно завоеванием рабов. Господа не в меньшей степени способствовали этому.

Как видите, скрытая и явная классовая борьба играет определенную роль в истории. Но нисколько не большую, чем хозяйственно-экономические противоречия внутри классового сотрудничества. Как то, так и другое — единый процесс развития.

4

Считая классовую борьбу движущей силой, марксизм призывает к ее обострению, вплоть до общественных катаклизмов в виде революционных взрывов.

«Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильствен-

ного ниспровержения всего существующего общественного строя».

Ну, а как выглядят сами цели?

Тот же «Манифест коммунистической партии» заявляет: «...Они (коммунисты.— *В. Т.*) выдвигают вопрос о собственности, как основной вопрос движения...» «В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности».

Не одни марксисты считали роль частной собственности зловещей. Чтобы уяснить ее, нам придется обратиться в непроглядно далекое прошлое, так сказать, танцевать от печки. Когда наш обезьяний предок схватил своими передними конечностями (их даже нельзя еще было назвать руками) палку, то этим сразу усовершенствовал свои природные возможности. Для того чтобы сделать шаг к человеку, нужно было *обзавестись* каким-то орудием, *заиметь* нечто такое, что помогало бы воздействовать на окружение, делало более приспособленным к жизни.

На первых порах «заиметь» носило эпизодический характер: заостренный сук, каким выкапывался глубоко сидящий съедобный корень, отбрасывался в сторону, как только корень был добыт; приготовленная для охоты дубина забывалась, когда надобность в ней исчезала, для новой охоты подбиралась уже новая дубина.

Но человек, развиваясь, стремился создать все более эффективные, более совершенные орудия. Каменный топор не так просто сделать, как дубину, надо долго повозиться с неподатливым материалом, чтобы придать нужную форму. Непозволительное расточительство — выбрасывать его после первого же употребления. И топор сохраняется в постоянном владении, применяется по мере надобности. В данном случае орудие приобретает пока еще слабые, едва наметившиеся черты *собственности*.

Однако ни топор, ни более сложные — считай, примитивные механизмы — лук и стрелы еще не были настолько сложны, трудоемки, чтобы стать малодоступными. Если не любой и каждый, то подавляющее большинство из тех, кто в них нуждался, могли обзавестись ими. *Обладание* каменным топором, а в особенности луком и стрелами, резко выделило человека среди других существ, населявших Землю. Но такое *обладание* не могло заметно выделить хозяина орудий среди своих соплеменников. «Собственник» орудия еще не способен стать насильником.

Появление земледелия не изменило положения, пока оно осуществлялось деревянной мотыгой. Опять же, каждый мог ею обзавестись, как и клочком земли, которой было кругом достаточно, только не ленись ее обрабатывать. Но вот появляется новое средство производства, превосходящее все существовавшие орудия земледелия и по эффективности, и по трудности приобретения,— вол, запряженный в соху. Любой и каждый этим обзавестись уже не мог. Тому, кто мотыжит землю, и самому-то себя прокормить трудно, а тут выкармливай вола в течение нескольких лет, не рассчитывая при этом получить хоть какую-то пользу. Не у каждого-то хватало сил и настойчивости, не каждому благоприятствовали обстоятельства. Зато те, кому это удавалось, сразу же становились могущественнее остальных. Владелец вола начинал осваивать столько земли, что она не только кормила его с семьей, а давала возможность накопить излишки, достаточные, чтобы содержать раба. *Нет, не грозный меч, но и кормящая соха возродила классовое насилие.* Имущие постепенно оказались господами положения, подчинили себе неимущих, в мире появились угнетатели и угнетенные.

Это не могло не сказаться на нравственном поведении людей. Раб, никогда не знавший жалости к себе, знавший только презрение, только жестокость, не испытывал сочувствия и к своему товарищу, при первой возможности сам готов был проявить жестокость. Господин, не терпящий своеволия раба, не считающийся с его человеческим достоинством, не станет терпеть самостоятельности и достоинства в других, тупую покорность воспримет как добродетель и будет униженно пресмыкаться перед сильнейшим. Жестокость нравов охватывает общество, пропитывает насквозь всю жизнь. Труд остается коллективным, а орудия и плоды труда — в частном владении.

Растлевающее значение частной собственности было замечено давным-давно, делались даже отчаянные попытки освободиться от нее. Вот что, например, пишет Филон Александрийский о еврейской секте ессеев, существовавшей в I—II веках до н. э.:

«Никто из них не имеет ничего собственного: ни дома, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе, создавая товарищества по типу фиасов и сес-

ситий[1], и все время проводят в работе на общую пользу»[2].

Увы, подобные содружества широкого распространения не получили. Почему? Не случайно.

Трудовая организация, построенная на принципе — все трудятся, все получают поровну, не может быть стабильно производительной. Люди самой природой не наделены одинаковой способностью к труду — кто-то неизбежно оказывается выносливей, сноровистей, активней, кто-то слабей, неуклюжей, ленивей по характеру. Одни вкладывают больше в общий фонд, другие меньше, а получают поровну. Выходит, ленивый живет за счет работоспособного, пользуется его силой, присваивает его труд. По сути, культивируется паразитизм.

При равном распределении неизбежно наиболее продуктивный работник начинал снижать свои усилия в работе под уровень бездельника, вызывая тем самым обнищание общины, прекращение ее жизнедеятельности. И даже внушения чисто идейного и религиозного характера могли тут лишь оттянуть печальную развязку, но не спасти. На голых внушениях жизнь держаться не может.

Впрочем, противники частной собственности далеко не всегда считали нужным ограничиваться одними внушениями. В благословенном городе Солнца, созданном фантазией Кампанеллы на основах общего владения, распоряжающиеся «имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных». В исключительных случаях применяется и смертная казнь. Любопытна и такая деталь в жизни равноправного государства Кампанеллы: «...Никакой телесный недостаток не принуждает их (жителей.— *В. Т.*) к праздности... ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его хотя бы в деревне и служит соглядатаем, доносят государству обо всем, что услышит».

Выходит, вымечтанное равноправное государство прибегает к насильственным методам, и если нуждается в доносчиках и соглядатаях против своих граждан, значит, насилие достаточно велико, доверием не пахнет.

Марксизм не открыл, а вновь поставил древний вопрос об уничтожении частной собственности. И сделал это с воинственной решительностью в середине просвещенного

---

[1] Фиасы — культовые ассоциации в Древней Греции; сесситии — общие трапезы в древней Спарте.
[2] Амусин И. Д. Рукописи Мертвого моря. М., 1961, с. 200—201.

XIX века, в период капитализма, способ производства которого и общественные отношения людей резко отличались от предыдущих формаций.

В основном все, что нам преподносилось о капитализме, главным образом порочило значительную эпоху. Попробуем взглянуть на эту эпоху еще раз, но уже непредвзято.

5

Не исключено, что еще до того, как имущий сделал неимущего своим рабом, наиболее состоятельные семьи патриархальной общины в горячую пору земледельческих работ нанимали себе в помощь работников из числа тех, кто по каким-то причинам был свободен. Как только горячая пора кончалась, хозяева расставались с работником, чем-то компенсировав его труд. Держать работника при себе и дальше было невыгодно — пришлось бы кормить его и в те глухие для земледелия периоды, когда никаких работ не производилось. Возможно, наемный работник появился раньше раба. Появился, но широко не распространился.

Раб оказался выгоднее наемного работника. Однако этот наемный работник совершенно не исчез, он неприметно существовал при рабстве, продолжал существовать и при феодализме. Для торжества способа по найму должны были появиться высокопроизводительные орудия труда. Появились машины, и способ по найму, многие тысячелетия влачивший скромное существование, наконец-то дождался своего часа, стал господствующим.

Появились машины — началась новая эпоха в жизни человечества, капиталистическая!

Рождение нового сопровождается родовыми муками. Энгельс в своей ранней книге «Положение рабочего класса в Англии» показывает воистину мучительные картины возникающего капитализма. Беру наугад одну.

«По случаю осмотра трупа 45-летней Анны Голуэй господином Картером, следователем из Суррея, 14 ноября 1843 г., в газетах было описано жилище умершей. Она занимала вместе со своим мужем и 19-летним сыном маленькую комнатку... там не было ни кровати, ни постельных принадлежностей, ни какой-либо мебели. Мертвая лежала рядом со своим сыном на куче перьев, которые пристали к ее почти голому телу, ибо не было ни

одеяла, ни простыни. Перья так крепко облепили весь труп, что его нельзя было исследовать, пока его не очистили, и тогда врач нашел его крайне истощенным и сплошь искусанным насекомыми. Часть пола в комнате была сорвана, и вся семья пользовалась этим отверстием в качестве отхожего места».

По мнению Энгельса, жизнь прежнего рабочего-ремесленника была воистину райской по сравнению с существованием нового промышленного рабочего: «Они чувствовали себя хорошо в своей тихой растительной жизни, и, не будь промышленной революции, они никогда не расстались бы с этим образом жизни...», «Промышленная революция довела дело до конца, полностью превратив рабочих в простые машины и лишив их последнего остатка самостоятельной деятельности. Но тем самым она заставила их думать, заставила добиваться положения, достойного человека».

Насколько грандиозно было промышленное движение, разорившее ремесленников, видно из приводимой Энгельсом таблицы роста населения в городах Англии за тридцать лет (с 1801 г. по 1831 г.):

В Брадфорде с 29 000 до 77 000;
В Галифаксе с 63 000 до 110 000;
В Хаддерсфильде с 15 000 до 34 000;
В Лидсе с 53 000 до 123 000.

Великие тысячи, покинувшие отеческие места, сталкиваются с самым безжалостным к себе отношением, разделяют судьбу Анны Голуэй.

Но это еще только капиталистические цветочки, предупреждают Маркс и Энгельс, в будущем следует ждать худшего.

«...Современный рабочий с прогрессом промышленности не подымается, а все более опускается ниже условий существования своего собственного класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм растет еще быстрее, чем население и богатство».

Если феодал-крепостник был все-таки как-то заинтересован в здравии своего смерда — с потерей его теряется один из кормильцев,— то уж капиталиста нисколько не волнует состояние рабочего: надорвется, умрет — туда ему и дорога, уже не собственность, не трудно нанять другого. И Маркс выдвигает свою знаменитую теорию относительного и абсолютного обнищания рабочего класса.

Можно ли сомневаться, что чем дальше, тем больше будет применяться машин, что они станут более совер-

шенными, производительность труда сильно возрастет, общество станет неуклонно богатеть. Общество, но не труженик! Те же машины освободят огромное количество рабочих рук, труд рабочих начнет катастрофически дешеветь, уровень их жизни столь же катастрофически падать. Огромное количество рабочих и вовсе окажется ненужным, скатится в ряды пауперов, которым придется существовать на случайные подачки, а скорее всего, просто медленно вымирать. Несомненно, рабочий станет все более нищим относительно богатеющего общества, его положение будет ухудшаться год от году. Относительное и абсолютное обнищание впереди!

Жуткая картина. В предвиденьи таких событий невольно решишься на самый отчаянный шаг, на насильственный переворот: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей!»

Однако все в той же книге «Положение рабочего класса в Англии» Энгельс вскользь упоминает о весьма знаменательном событии, которое противоречит страшному пророчеству.

В 1824 году палата общин Англии принимает закон, который «отменил все акты, ранее воспрещавшие объединение рабочих для защиты своих интересов. Рабочие получили *право ассоциаций* — право, принадлежавшее до тех пор только аристократии и буржуазии... Во всех отраслях труда образовались такие союзы (trades unions), открыто стремившиеся оградить отдельных рабочих от тирании и бездушного отношения буржуазии. Они ставили себе целью: установить заработную плату, вести переговоры с работодателями коллективно, как *сила,* регулировать заработную плату сообразно с прибылью работодателя, повышать заработную плату при удобном случае и удерживать ее для каждой профессии повсюду на одинаковом уровне».

И сорока лет не прошло с первого практического применения паровой машины Уатта, ознаменовавшего начало промышленной революции (появление промышленного капитализма, надо думать, произошло еще позднее), еще не прогорел последний костер святой инквизиции (он вспыхнет в 1826 году в Валенсии, торжественно сжигая учителя Кайетано Риполи), а капитализм уже признал за потомками рабов и крепостных право на защиту своих интересов. Событие, небывалое в истории.

И не случайное.

А в 1918 году Франц Меринг пишет: «...Широкие слои рабочего класса обеспечили себе на почве капиталистиче-

ского строя условия существования, стоящие даже выше жизненных условий мелкобуржуазных слоев населения».

В новой форме капиталистического сотрудничества уже вместо прямого насилия проступил элемент добровольности — *по найму*. Хочешь у меня работать — предлагаю тебе условия. Эти условия я не сам выдумал, они продиктованы мне сложившимися обстоятельствами — конъюнктурой рынка, наличием свободной рабочей силы, общественным давлением. А коль я зависим от обстоятельств, то не в моей возможности — даже если я и пожелаю — облагодетельствовать тебя. Дам тебе за работу больше, чем следует,— моя продукция вздорожает, окажусь неконкурентоспособным, разорюсь. Если предложу тебе меньше того, что диктуют обстоятельства,— не согласишься ты, останусь без рабочей силы, обреку себя на простои, понесу ущерб. У тебя теперь больше возможности бороться за свои интересы, чем было при феодализме. У меня меньше прав на тебя, чем у прежних господ.

Но и это относительно добровольное сотрудничество по найму по-прежнему далеко еще не равноправно. Шутка сказать, у одного — мощнейшие средства для производства материальных благ, у другого — ничего, кроме богом данных рук. Равноправие уже уничтожается самим актом найма — рабочий вынужден признавать чьи-то хозяйские права на себя. В силу своего превосходящего положения наниматель диктует: будешь делать то-то и то-то, получать столько-то, а значит, так-то питаться, так-то одеваться, в таких-то условиях существовать. Выходит, что вся жизнь рабочего поставлена в зависимость от хозяина. Капиталистическое сотрудничество зависимости не уничтожает.

Общество, живущее сотрудничеством по найму, охраняя свои интересы, *вынуждено* поддерживать хозяев-нанимателей своими законами, а коль они нарушаются, то и силой. Хозяин-капиталист от лица общества получает господские права над рабочим. Значит, по мнению марксистов, общественное устройство по-прежнему препятствует возникновению взаимопонимания, создает атмосферу враждебности; капитализм по-прежнему держится на частной собственности, именно ее наличие, несмотря на баснословное экономическое благополучие, и сохраняет раздирающий антагонизм. И ничего нельзя придумать иного, как вернуться к старому: необходимо уничтожить частную собственность, сделать ее всеобщей!

Только — как?..

6

Все усилия классического марксизма направлены на — уничтожить, отобрать!.. А как *превратить* отобранную частную собственность в общественную, всем принадлежащую, обходится стороной. Подразумевается, что она, злосчастная собственность, сама собой станет общей, когда останется без хозяина.

Сама собой?

Отберем у хозяина завод, объявим рабочим: он ваш! Никак не исключено, что рабочие охотно поверят в это. Но достаточно ли одной веры, чтоб все и на самом деле стали хозяевами?

А что, собственно, значит — быть хозяином? В чем выражаются его права, в чем — обязанности?

Чтобы ответить на этот, казалось бы, столь наивно-простой вопрос, необходимо вспомнить — ради чего приобретается собственность? Ради того, чтобы создать с ее помощью некие материальные ценности? Да, но прежде чем что-то создать, необходимо вложить, раскошелиться на постройку самого завода, на его оборудование, на сырье, и т. д., и т. п. И разумеется, полученные материальные ценности должны превышать вложения, иначе собственность — тот же завод — бесполезна и даже обременительна.

Собственность должна приносить доход, и в этом, право, нехитрый смысл обладания ею.

Доход... Поэты не воспевали его в стихах, напротив, прочно сложилось крайне пренебрежительное отношение к этому скучному бухгалтерскому понятию. Доход — нечто меркантильное, утилитарно низменное, связанное с человеческой корыстью, золотой телец, которому поклоняется ненасытный капиталист.

Но он, доход, уже тем достоин почтительного уважения, что любой труд был бы бессмыслен без него. Какому сумасшедшему землеробу придет в голову надрываться на поле ради того, чтобы получить столько же (или меньше) зерна, сколько он побросал в борозду! Всегда люди стремились обрести что-то сверх вложенных затрат, этим «сверх» жили. Именно доход содержал и содержит человечество, более того, стремление повышать его заставляло людей идти на ухищрения, совершенствовать свои возможности. Доход не только кормил, поддерживал жизнь, но неизменно способствовал и развитию.

Тот еще не хозяин, кто получает доход, в его получении неизменно участвовали раб, крепостной и рабочий. Но нельзя назвать хозяином и того, кто просто кладет кем-то полученный доход в свой карман, не задумываясь использует его на себя. Растрачивать доход и не заботиться хотя бы о том, чтобы возместить из него вложенные затраты, значит, подрывать хозяйство вплоть до полного разорения, быть врагом хозяйских интересов.

Хозяин тот, кто *распоряжается* доходом, *распределяет* его с учетом не только своих личных потребностей, но и потребностей самого хозяйства, обеспечивающих его нормальную деятельность, его дальнейшее развитие.

Объявить всем рабочим — завод ваш, вы собственники, полноправные хозяева — еще не значит сделать их хозяевами. Необходимо *всех допустить к распределению* дохода. Всех, вплоть до тех, кто выметает из-под станков мусор.

Легко сказать, но как это сделать? Мол, все собираются, вникают, обсуждают, совместно распределяют... На предприятии, где работает десяток-другой рабочих, такая коллективная операция в принципе возможна. Почему бы и нет? Каждый, кто имеет собственное мнение, может изложить его всем, будет выслушан, принят во внимание. Из отдельных мнений выбираются наиболее удачные, принимаются, так сказать, на вооружение...

Но столь мелкие предприятия в наш промышленный век не характерны для общества. Современные производства, как правило,— крупные объединения, вмещающие в себя многие сотни, а то и десятки тысяч тружеников. Как тут проводить совместные распределения дохода? Собираться и обсуждать многотысячными коллективами? Нечего и мечтать, что мнение каждого из этих многих тысяч будет услышано и принято во внимание другими, обязательно подавляющая масса останется в стороне, окажется лишенной хозяйских прав. Лишь наиболее энергичные и напористые единицы станут навязывать свое мнение. Не исключено, что перед лицом неорганизованной массы они станут сплачиваться в корпоративные группы, присваивать себе хозяйские права. И даже если этого не случится, то все равно не избежать несогласованности в столь великом многоголосье, страшного разброда во мнениях. Неслаженно громоздкой и, по сути, малоэффективной предстает здесь операция распределения.

Предположим, что с помощью каких-то организационных мер ее удастся упорядочить. Предположим! Но

сразу же придется столкнуться с другим, еще более пугающим обстоятельством.

Нельзя распределение дохода свести к простой дележке — мол, кому сколько полагается — отдай и не греши! Распределение дохода в первую очередь — важная хозяйственная задача: от того, как распределяется доход, зависит будущее всего производства. Обратимся к тому же Марксу. В «Критике Готской программы» он решительно выступает против проповедников «неурезанного дохода труда», перечисляя изъятия, какие необходимо сделать из дохода для нужд предприятия.

«*Во-первых*: расходы по возмещению потребленных средств производства. (Израсходованное сырье, износ машин, амортизация зданий, и пр., и пр.— все возмещай, чтобы работать и дальше.— *В. Т.*)

Во-вторых: добавочную часть для расширения производства.

В-третьих: резервный или страховой фонд для страхования от несчастных случаев, стихийных бедствий и пр.».

Не сделай этого, предприятие тут же закончит свое существование, а любые ошибки при распределении непременно отразятся на его продуктивности, а значит, и на заработках рабочих.

«Эти вычеты из «неурезанного дохода труда»,— пишет Маркс,— экономическая необходимость, и размеры их должны быть определены на основе наличных средств и сил, отчасти на основе теории вероятностей, но никоим образом не поддаются вычислению на основе справедливости».

Оказывается, не так-то просто произвести распределение. Задача распределения неимоверно осложняется еще и тем, что необходимо предвидеть не только будущее своего предприятия, но и всего, с ним связанного,— состояние сырьевых баз, разбросанных по стране, возможные затруднения с транспортом, потенциальное состояние потребителей и конкурирующих предприятий, внедрение научно-технических достижений, которые могут внести изменения в техническое оснащение, и пр., и пр. Распределение дохода крупного завода непосильно для одного человека, будь он даже семи пядей во лбу. Хозяин-капиталист, как правило, призывает себе на помощь различных специалистов.

Ну а как разобраться в этой непосильной сложности простому рабочему? Он достаточно хорошо знает лишь

свой станок, а «наличие средств и сил» своего завода представляет весьма и весьма смутно, не говоря уже о том, что находится за его пределами. О теории же вероятностей и прочих ученых ухищрениях рабочий зачастую и вовсе не слышал. И если такой рабочий выскажет свое мнение, то оно будет наверняка некомпетентным.

Невольно возникает крамольный вопрос: следует ли вообще выносить на общее суждение столь жизненно важную и сложную операцию, каковой является распределение дохода? Неизбежно профессиональная разработка, знания и просвещенные мнения специалистов столкнутся с невежеством, причем массовым, игнорировать которое чрезвычайно трудно. Неизбежно ошибочность решений вызовет уродливые эксцессы в развитии предприятия, снизит производительность его. И если это станет нормой жизни, общество окажется под угрозой нищеты, и первыми ее почувствуют простые труженики.

Как видите, отобрав собственность у частника, нечего рассчитывать, что она, собственность, сама собой превратится в общественную. Труженик просто не подготовлен владеть ею.

И тем не менее марксизм неистово взывает: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Против господ-собственников! Отнимай у них то, чем владеют!

А дальше?.. Молчок? Да нет, не совсем.

Среди мер, которые Маркс и Энгельс предлагают в «Манифесте» провести «почти повсеместно» после захвата власти пролетариатом, есть — под номером восемь — такая:

«Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия».

На отнятой у частников собственности — «одинаковая обязательность труда для всех», поголовная принудительная мобилизация в промышленные армии. Хочешь не хочешь, а забудь о себе, о какой-либо самостоятельности, изволь подчиняться армейской дисциплине, а следовательно, и армейской субординации, о равенстве и свободе не мечтай! «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». Мир, где снова — цепи, еще более тяжелые, воинского образца.

Государство наивного Кампанеллы с отечески незлобивым битьем провинившихся, с физически неполно-

ценными, зато получающими хорошее содержание соглядатаями-доносчиками, пожалуй, рай сравнительно со всеобщей военной казармой, предложенной Марксом и Энгельсом.

7

Для Маркса и Энгельса власть пролетариата была далеким, заветным, неопределившимся будущим, а потому «открывать политические формы этого будущего Маркс не брался» — преждевременно.

Ленин же попадает в самое время, заветные надежды сбывались. В разгар революции, еще гонимый, но уже верящий, что победа близка, не завтра послезавтра власть будет завоевана, он, Ленин, набрасывает проект грядущего общества, где, разумеется, дает ответ — как поступить с отобранной частной собственностью. Ответ этот поражает завидной простотой и категоричностью: собственность должна быть национализирована, целиком переходит к государству, а «*все* граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие».

Способ по найму в свое время лег в основу нового общественного сотрудничества, породил капитализм. И тут — нет! — мы нисколько не противоречим самому Марксу.

«Условием существования капитала,— говорится в «Манифесте»,— является наемный труд».

Маркс специально исследует это в знаменитой работе «Наемный труд и капитал»: «Капитал и наемный труд суть две стороны одного и того же отношения. Одна сторона обусловливает другую, как обусловливают друг друга ростовщик и мот». Там, говорит Маркс, где существует наемный труд, неизбежно должен возникать и капитализм — «они создают друг друга».

Завершая доклад «Заработная плата, цена и прибыль», прочитанный на двух заседаниях Генерального совета Интернационала, Маркс требует: «На место *консервативного* лозунга: *«Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день»*, они (рабочие.— *В. Т.*) должны на своем знамени написать *революционный* девиз: *«Уничтожение системы наемного труда»*.

Ленин был, как никто, образованным марксистом, уж он-то не мог не знать этих высказываний. Всегда неистово защищавший Маркса, кипуче ненавидевший тех, кто

проявлял самые невинные сомнения в его правоте, даже легкий ревизионизм расценивавший как прямое предательство, он, Ленин, вдруг предает Маркса в основном, в том, что определяло отношение Маркса к прошлому, существующему и будущему! Забыв про революционный девиз: «Уничтожение системы наемного труда», Ленин снова предлагает обратиться к этой ниспровергнутой системе, тем самым вернуть старый капиталистический способ производства, старые капиталистические отношения. Совершить тяжелую кровопролитную борьбу, довести страну до полной разрухи, не считаясь ни с чем, добиться победы и утвердить то, против чего столь ожесточенно боролся,— не вопиющая ли бессмыслица? Право, Маркс должен был перевернуться на Хайгетском кладбище.

Но что бы предложил сам Маркс, окажись он на месте Ленина? А предложить-то надо ни много ни мало — новый, более совершенный способ производства, принципиально отличающийся от капиталистического уже тем, что основывается не на частной собственности.

На протяжении всей истории только трижды происходила смена способа производства — с патриархального на рабовладельческий, с рабовладельческого на феодальный, с феодального на капиталистический. И вызывались эти эпохальные перемены не простой перестановкой сил, не политическими преобразованиями, а появлением новых средств производства, изменявших характер труда, характер человеческой деятельности, всей жизни, в том числе и человеческих отношений. Ни Маркс, ни кто-либо другой не могли подарить роду людскому новые средства производства, скажем, некие более совершенные, небывало производительные машины, внедрение которых каким-то чудесным образом сделало бы невыгодным наемный труд. К тому же надо помнить, что Маркс был искренне убежден — историческое развитие двигается классовой борьбой, а потому следует жать лишь на эту пружину, совершать не созидательные процессы, а разрушительное насилие. Предложения Маркса могли быть только в плане того, что мы уже знаем из «Манифеста» — обязательный труд для всех, мобилизованных в промышленные армии, труд под принуждением иерархически выстроенного командного состава, требующего неукоснительной дисциплины, наделенного правом наказывать за неисполнительность. Это уже не возврат к сравнительно лояльному капитализму, бери дальше — к откровенно грубым, насильственным отношениям рабовладения и феодализма.

Многое из предложенного Лениным было незамедлительно отвергнуто жизнью.

Ленин считал: «Чиновничество и постоянная армия, это — «паразит» на теле буржуазного общества...», а потому их следует уничтожить. Правда, он оговаривался: «Об уничтожении чиновничества сразу, повсюду, до конца не может быть и речи. Это — утопия. Но *разбить* сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать строить новую, позволяющую сводить на нет всякое чиновничество, это *не* утопия...» Увы, новое чиновничество свести «на нет» не удалось, напротив, оно начало плодиться с небывалой силой.

Ленин рассчитывал на создание «власти, не разделяемой ни с кем и опирающейся непосредственно на вооруженную силу масс». Не получилось. Нераздельно властвовать над массами с помощью вооруженных же масс — ей-ей, некая тавтология. Власть попросту будет в зависимости от масс, не сможет проявлять свою активность, не станет организующим началом. Это равнозначно безвластию. И потому новая власть поспешно создала постоянные армии, организации полицейского типа, опиралась только на них.

Ленин надеялся ввести порядки, по которым бы все «правильно соблюдали меру работы и получали поровну». Но спустя несколько месяцев после революции сам Ленин начал энергично воевать против уравниловки в оплате труда.

Жизнь опрокидывала упования Ленина одно за другим, однако предложение — все граждане превращаются в служащих по найму у государства — привилось сразу по той простой причине, что способ по найму давно уже существовал. Капитализм свергнут! Да здравствует капитализм! Вот уж воистину, баш на баш менять.

Но собственность-то не принадлежит какому-то одному лицу, ее теперь не назовешь частной, стала государственной — ничья конкретно, всех вообще. Разве это не принципиальное отличие, не происходит ли тут перерождение безобразной капиталистической лягушки в некую Василису Прекрасную, знаменующую собой новое общество? Однако теперь-то мы знаем, что отнятая у частного владельца собственность сама по себе не становится всеобщей.

Сам способ по найму исключает для труженика всякую возможность чувствовать себя собственником. Если трактор, станок, завод — мой, то явная бессмыслица на-

ниматься мне для работы на них. Меня нанимают — одно это непреложно доказывает наличие чужой мне собственности. Прежде меня нанимал от лица капиталиста его служащий, теперь от лица государства — служащий государственный. Сколько угодно могут втолковывать: государство — это все, в том числе и ты, потому и государственная собственность — твоя, наряду со всеми, всеобщая, всенародное достояние, но жизнь опрокидывает столь наивную логику. Твоя! Ты хозяин! А при найме диктуют — делай то-то, получишь столько-то, гляди из чужих рук, пребывай в зависимости. Изменилось только одно — прежде было множество хозяев, теперь единственный, всенародный. Хрен редьки не слаще.

Не слаще ли?

При капитализме рабочий имел хоть какую-то призрачную самостоятельность выбора — у одного хозяина условия не подходили, искал другого, авось будет поповкладистей. Теперь и эта некорыстная самостоятельность сильно урезана. Хозяин-то повсюду один, выбирать не из чего.

Диктаторство разрозненных хозяев-частников было ограничено уже тем, что таких диктаторов много, их интересы часто не совпадают, больше того — противоречат, ведется конкурентная борьба, заставляющая заигрывать с рабочими.

В капиталистическом прошлом диктаторы-наниматели хоть и весьма влиятельная, пусть даже господствующая часть общества, но часть, не исключающая существования каких-то не зависимых от них социальных групп. И тот факт, что капиталисты-наниматели вынуждены были мириться с профсоюзным движением рабочих, говорит, что их диктаторское господство далеко не всемогуще.

Но вот государство-хозяин получает диктаторские права, и других, помимо него, диктаторов нет. А так как у него *все* служащие по найму, *все* от него зависимы, никто и ничто не сдерживает, то диктаторство государственной власти становится беспредельным, может дозволить себе прямое насилие, не останавливаться перед крайними жестокостями — сажать, ссылать, расстреливать, пытать в застенках. И тут уже не человек человеку волк, нет, все общество в лице государства хищнически безжалостно к каждому своему члену. К каждому! Высокопоставленные служащие по найму так же не застрахованы от диктаторских насилий, как и простые труженики. Вспомним, сколько их в свое время погибло в застенках.

И пусть любой из высокопоставленных честно вспомнит, как часто ему приходилось трепетать перед наказанием.

Антагонизм уже не просто раскалывает общество на непримиримые лагеря, как было раньше. Все — служащие по найму, выстроившиеся один над другим, наделенные правом диктаторски приказывать и обязанные повиноваться. Все — служащие, все под властью старшего по чину, который вынужден относиться с подозрительной недоверчивостью — того гляди, не исполнит, подведет! На недоверие трудно отвечать прекраснодушным доверием, диктаторское принуждение не может вызывать добрые чувства и обоюдное взаимопонимание. Общество так устроено, что все противопоставлены друг другу. Антагонизм уже теряет былой классовый характер, он воистину становится всеобщим достоянием, пронизывает служащих граждан сверху донизу.

И складывается самая благоприятная обстановка для проявления низменных качеств — трусости и жестокости, чванства и подхалимажа, лицемерия и беспринципности. И крайне неблагоприятная для проявления качеств высоких — внимательности и уважения, самостоятельности и сохранения личного достоинства. Не смей держать себя независимо, не смей говорить во всеуслышание, что думаешь, не смей даже быть недовольным! Ты не принадлежишь себе, ты — раб системы!

Но и это еще не все. Есть одно растлевающее обстоятельство, которое не присуще капитализму старой закваски. Если все — служащие по найму, то никто не в состоянии считать государственную собственность своей — никому не принадлежит, обезличена. В обществе не существует таких людей, которые были бы кровно заинтересованы в эксплуатации тех средств производства, которыми, собственно, и поддерживается жизнь.

Если при рабовладении закабаленный раб питал отвращение к труду, не был заинтересован в эффективном использовании той же земли, с которой кормится, то господина-то в этой незаинтересованности заподозрить нельзя. Уж он-то старался сделать все возможное и невозможное, чтобы земля давала наибольший урожай. Господин со своей палкой был своего рода катализатором производительности в обществе.

Крепостничество потому и сменило рабство, что не только сам феодал, но и крепостной крестьянин, бывший раб, обрел какую-то жалкую заинтересованность — лучше сделать, больше получить, из большего легче ублаготворить хозяина, оставить себе лишнюю толику.

Капиталист-хозяин подхлестывал заинтересованность рабочего рублем, всеми силами стремился поднять производительность.

Теперь все служащие. Столь кровной заинтересованности в деле, какая была у хозяев, у них быть не может, в лучшем случае можно рассчитывать на их службистскую добросовестность. Впервые в истории общество лишилось тех, кто был катализатором производительности. И вот Россия, извечный поставщик хлеба в другие страны, вынуждена покупать хлеб, и заработанный рубль никогда у нас не покрывается товарами — всегда очереди к прилавкам магазинов, и устрашающий вандализм к государственной собственности — ценная аппаратура валяется под снегом, из десяти выкопанных с поля картофелин только одна попадает на стол потребителя...

Нельзя не ужасаться вопиющим эксцессам, которые совершались у нас в стране после революции,— насилие во время коллективизации над миллионами крестьянских семей, чудовищные репрессии тридцатых — сороковых — пятидесятых, государственная травля евреев под лозунгом борьбы с безродными космополитами, врачами-убийцами... Но едва ли не страшней всего — растлевающее нашу жизнь обезличивание собственности!

Сотрудничество служащих по найму у государства на базе обезличенной собственности не только порождает антагонистически безнравственные отношения людей друг к другу, но и *безнравственное отношение гражданина к самому себе.*

К каким гримасам привела, однако, война против частной собственности!

8

Но пока эта война шла, лилась кровь, выкорчевывалось хозяйское отношение к собственности, в капиталистических странах неприметно перерождалась... Что бы вы думали? Да, да, та самая частная собственность, которую с таким неистовством жаждали уничтожить.

«Экономическая жизнь (промышленного капитализма.— *В. Т.*) начиналась с небольших фирм, с небольшого капитала, которыми распоряжалась властная рука единоличного хозяина»[1].

---

[1] Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.

Фирмы разрастались, рос капитал, росли одновременно и требования общества, начали бурно возникать объединенные акционерные компании. Любой, распоряжающийся свободными деньгами, мог приобрести акции, соответственно им претендовать на долю в распределении дохода. Казалось бы, у собственности, какой располагали такие объединенные компании, стало множество хозяев, частной ее назвать уже нельзя.

Однако вспомним, что пользоваться доходом еще не значит быть хозяином. Одни вкладывали ничтожно малую часть в дело, другие, сравнительно со всеми,— подавляюще большую. Мелким вкладчикам приходилось лишь удовлетворяться теми жалкими отчислениями с дохода, но сами они к распределению дохода не допускались, это делал наиболее крупный держатель акций. Он был полновластным хозяином. Корпоративная собственность долгое время продолжает оставаться частной.

«Семьдесят лет назад,— сообщает американский экономист Гэлбрейт,— корпорация была инструментом ее владельцев и отражением их индивидуальности. Имена этих магнатов — Карнеги, Рокфеллер, Гарриман, Мелон, Гугенгейм, Форд — были известны всей стране».

И они же, эти магнаты, сделали все возможное, чтоб их потомки утратили свое владычество. Именно они всячески способствовали, чтобы их корпорации чудовищно разрастались и разветвлялись по планете, становились индустриальными империями. И в такой империи «распоряжаться властной рукой единоличного хозяина» уже стало невозможно — одному человеку уже непосильно распределять сложнейший всеимперский доход.

«Таким образом,— продолжает Гэлбрейт,— решение, принимаемое в современном предприятии,— это продукт деятельности не отдельных личностей, а групп. Эти группы достаточно многочисленны, они могут быть официальными и неофициальными, их состав постоянно изменяется».

Вкупе деятельность таких групп представляет не что иное, как управление предприятием.

И вот, отмечает Гэлбрейт: «В течение трех последних десятилетий накапливалось все больше доказательств того, что власть в современной крупной корпорации постепенно переходит от собственников капитала к управляющим».

Дж. Кэннет Гэлбрейт — не только один из видных профессоров-экономистов, он активный деятель в поли-

тической жизни США, был участником «мозгового треста» президента Кеннеди. В его компетентности сомневаться не приходится. А сообщает он воистину исторически знаменательное: происходит постепенный самораспад того, что устойчиво держалось с самого начала цивилизации,— собственность перестает быть орудием власти, владыка-собственник сменился коллективным управителем, «чья доля в капитале, как правило, невелика». Не обещает ли это заветное — мечты о всеобщей собственности в скором времени сбудутся?

Но какой бы многочисленной ни представлялась Гэлбрейту та группа лиц — от высокопоставленных до «синих воротничков»,— которая подменяет собой единоличного хозяина, она все же далеко еще не охватывает всех работающих в корпорации. К примеру, в 1964 году в компании «Форд мотор» насчитывалось около 317 тысяч рабочих и служащих. Наверняка среди этих тысяч, равных населению солидного города, к хозяйской группе имела отношение сравнительно ничтожная часть. Рабочий по-прежнему остается в положении по найму, по-прежнему ему диктуют условия жизни, и то, что это делает не единоличный хозяин собственности, а некое многоликое руководство, ему, право, безразлично. И нет никаких предпосылок, что в будущем, пусть даже далеком, корпоративное управление вместит в себя и массы рабочих. Наемный труд как таковой не исчезнет, извечный антагонизм не кончится. Нельзя рассчитывать, что наступит эра истинной человеческой сообщности.

Сам Гэлбрейт начинает свой труд о Новом индустриальном обществе весьма меланхоличным замечанием:

«Но значительных перемен уже больше не ждут. По каждому поводу и на любой официальной церемонии экономическая система Соединенных Штатов превозносится как нечто достигшее в основном совершенства. И это относится не только к экономике. Трудно усовершенствовать то, что уже совершенно. Перемены происходят, и они довольно внушительны, но, если не считать того, что возрастает выпуск товаров, все остается по-прежнему».

Может насторожить и обнадежить один факт, сообщенный Гэлбрейтом: «...Начался упадок профсоюзов. Число членов профсоюзов в США достигло максимума в 1956 году. С тех пор занятость продолжает расти, а число членов профсоюзов уменьшилось».

Не означает ли это, что проклятый антагонизм в США изживает себя — рабочему нет необходимости

прибегать к помощи союза, его права и без того удовлетворяются. Вполне возможно, что в какой-то степени так оно и есть: «возрастает выпуск товаров», борьба за кусок хлеба теряет остроту. А профсоюзы помогают защищать главным образом материальную обеспеченность, интересы рабочего желудка. Но еще и еще раз — не хлебом единым жив человек, рабочий по-прежнему чувствует себя зависимым, отнюдь не хозяином не только грандиозных средств производства, а даже и самого себя. Сытый должен ощущать зависимость острей голодного. Внутри американского общества продолжают кипеть страсти, не прекращаются острые столкновения, не сокращаются акты насилия. США пока еще не могут похвастаться нравственным отношением людей друг к другу. Антагонизм жив. И порождает его столь высокопродуктивный, приведший к экономическому изобилию способ производства Нового индустриального общества. Ибо «способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще».

Гэлбрейт чувствует это. Он говорит:

«Нельзя также сказать, что эти идеи (Индустриального общества.— *В. Т.*) сами по себе открывают путь в светлое будущее. Подчинять свои убеждения соображениям необходимости и удобства, диктуемым индустриальным развитием, отнюдь не соответствует высшим идеалам человечества».

9

Но Гэлбрейт видит будущее современной корпорационной системы, которую по старой привычке все еще величают «капиталистической», в сближении с нашей системой государства-хозяина, в основу которой положен ленинский принцип — «все служащие по найму». «...Конвергенция двух как будто различных индустриальных систем,— говорит Гэлбрейт,— происходит во всех важнейших областях».

Уже сейчас в США ряд крупнейших фирм находится в прямой зависимости от государства уже потому, что оно, государство, является их основным заказчиком. У «Боинг», например, к середине 60-х годов 65% всей продукции шло государству, у «Райтон» — 70%, у «Локхид» — 81%, а у «Рипаблик авиэйшн» — все 100%. Однако

и те фирмы, которые не держатся преимущественно на государственных заказах, зависят от государства в «стабилизации заработной платы и цен, прямом или косвенном субсидировании особо дорогой техники и обеспечении обученными и образованными кадрами», то есть в том, на чем, собственно, держится как производство, так и сбыт продукции. Государство уже теперь как бы объединяет корпорации в единый экономический комплекс. «Пройдет время, и граница между этими двумя институтами исчезнет».

Но нет, простым исчезновением границы дело не обойдется. Явно происходит прямое государственное подчинение, реальные признаки которого подмечаются Гэлбрейтом:

«Вероятность того, что президент «Рипаблик авиэйшн» станет публично критиковать командование военно-воздушных сил или хотя бы беспристрастно судить о нем, незначительна. Ни один из современных руководителей «Форд мотор компани» ни за что не будет реагировать на предполагаемое безрассудство Вашингтона с такой же безоглядной резкостью, как это делал в свое время ее учредитель. Никто из тех, кто возглавляет «Монтгомери Уорд», не станет теперь выказывать полное пренебрежение к президентам США, как это делал Сьюэл Эйвери. Это отчасти объясняется изменением нравов. Но сдерживающим фактором служит здесь и сознание того, что «на карту поставлено слишком много».

По данным более чем десятилетней давности «на долю пятисот крупнейших корпораций приходится почти половина всех товаров и услуг, производимых в Соединенных Штатах». Подчинить только их — уже стать едва ли не полноправным хозяином всего общества. И неудержимо идет процесс укрупнения мелких хозяйств. «Теперь,— пишет Гэлбрейт,— корпорации охватывают также бакалейную торговлю, мукомольное дело, издание газет и увеселительные предприятия,— словом, все виды деятельности, которые некогда были уделом индивидуального собственника или небольшой фирмы». Рано или поздно все окажется под непосредственной властью государства, оно станет возглавлять и производство.

Но пока государственное владычество наталкивается на одну сакраментальную фигуру — акционера. Частный собственник, потерявший право распоряжаться собственностью, сохраняет за собой неброское, неактивное, но существенное влияние. Акционер — бездельник, не

принимающий никакого участия в создании общественного продукта, но берущий из него для себя значительную часть,— по сути явление паразитическое. А попробуй не удовлетворить его паразитизм, он сразу же изымет свой вклад из капитала, приведет предприятие к банкротству. Предприятие вынуждено соблюдать частные интересы акционера в первую очередь, даже если они противоречат интересам государства.

Паразитизм акционера наносит материальный ущерб государству, оно могло бы с каждого предприятия брать больше на свои нужды. Но даже и это не главное — акционер лишает государство полноты власти. Пока существуют акционеры, экономика в той или иной степени останется независимой, нецентрализованной.

Паразитизм акционера чрезвычайно тягостен и для управляющих компаний. Работники предприятий трудятся в поте лица, а плодами их труда пользуются ничего не делающие держатели акций. Для управляющих куда как выгодно было бы пустить ту часть дохода, что исчезает в карманах захребетников, на укрепление и расширение производства, на увеличение фонда заработной платы. Сами управляющие хотя и распоряжаются акционерным капиталом, но их личная доля в нем чаще всего незначительна. По сведениям проф. Гордона, собранным еще до войны, пакеты акций, принадлежавшие администрации компаний, составляли в среднем 2,1% акционерного капитала. В 56% компаний администрация владела менее 1% акций. В 1952 году эта доля была еще меньше.

Тунеядец акционер не устраивает государство, не устраивает и экономических боссов и, разумеется, меньше всего устраивает простого труженика. «Бесшумное устранение акционеров от власти» (выражение Гэлбрейта) уже свершилось, и нет оснований считать, что начавшийся процесс остановится на полпути, не закончится полным исчезновением акционеров. И если это произойдет — до конца бесшумно, с бурным ли завершением,— для гэлбрейтовского Индустриального общества оно будет событием, равносильным революционному перевороту. Понятия «компания», «корпорация», предусматривающие объединения многих частных капиталов, станут изжившим себя анахронизмом — последние пережитки частновладения исчезают, а вместе с ним исчезает экономическая независимость. Заводы, фабрики и пр. уже начинают принадлежать всем вообще, населению страны, сиречь государству как органу управления данной страной.

Гэлбрейт очень осторожно оговаривается: «Вполне возможно, что сочетание государственной и экономической власти таит в себе опасность». Попробуем разобраться.

Предприятие попадает в полное и непосредственное подчинение государства. Теперь ему уже нет нужды вступать с предприятиями в добровольно-договорные отношения, можно требовать, чтобы удовлетворили государственные интересы. А как часто эти интересы не совпадают. Современные компании постоянно вступают в скрытую или явную борьбу с правительством, открыто судятся, скрытно интригуют, подкупают сторонников в законодательных органах, порой даже прибегают к преступным методам. Не исключено, что пуля, сразившая президента Кеннеди, была направлена по воле могущественной компании. И это происходит, когда государство еще ограничено в средствах воздействия. Ну а если оно окажется полновластным хозяином в стране, то можно ли сомневаться — куда чаще будет ущемлять интересы локальных предприятий.

Прежде управляющий предприятием решений в одиночку не принимал, обращался за помощью к тем группам специалистов, которые доставляли ценную для дела информацию, подсказывающую оптимальные решения. Такой групповой метод управления — результат многолетнего развития капитализма. Его вполне можно считать несомненным достижением: трудовой процесс стал более гибким, упорядоченным, быстро приспосабливающимся к обстоятельствам, менее зависящим от досадных случайностей, а значит, и продуктивным. Небывало высокая в истории экономическая обеспеченность во многом обязана появлению этого информированного управления.

Но теперь-то главному управляющему бессмысленно кидаться за помощью к специалистам. Их знания и опыт могут лишь доказательно подтвердить, насколько требования государства не сходятся с интересами предприятия. Помощь сведущих специалистов только осложнит критический момент. У управляющего просто не останется иного выхода, как отдать приказ — выполнять, не рассуждая!

Сочетание государственной и экономической власти сам Гэлбрейт видит в подчинении экономических деятелей государственным. Он даже осмеливается произнести неприглядное слово «рабство», правда, тут же спешит успокоить: «Все это в целом выльется в конечном счете

не в жестокое рабство плантационного работника, а в мягкое рабство домашней работницы, приученной любить свою хозяйку и рассматривать ее интересы как свои собственные». Какое благостное, однако, упование!

Подчинение производства государству сразу же вызовет изменения внутри предприятий. Групповое информированное управление заменит администраторский приказ. Ему в помощь неизбежно придут драконовские законы. «Мягкого рабства», на какое рассчитывал Гэлбрейт, увы, не получится, все шансы — оказаться в «жестоком рабстве плантационного работника» или в хаосе разбалансированной экономики.

Конечно, любые прогнозы крайне рискованны. Наверняка моя логическая схема несовершенна. Но еще меньшее доверие должны вызывать упования Гэлбрейта на конвергенцию двух систем.

Мы настолько недовольны своим существованием, что все чаще и вожделенней оглядываемся за Запад, пребывающий в развитом капитализме, постепенно освобождающийся от извечной власти частной собственности. А они, видя наше несовершенство, не без основания считая нас несвободным миром, поглядывают с надеждой на нас. Убежден, что, безоглядно устремившись по пути, которым уже прошло западное общество, мы неизбежно окажемся в тупике.

10

Собственность теряет своего хозяина! Пожалуй, по значению это явление можно сравнить лишь с одним — с *возникновением собственности.*

Возникнув во времена первобытности, собственность торжествующе процветала, утверждая господствующую власть имущих над неимущими. Она, собственность, меняла лишь форму, свое обличье. И эти перемены становились самыми великими историческими событиями, каждое из которых являет собой эпоху в существовании человечества — рабовладение, феодализм, капитализм...

И если так исторически значимы лишь видоизменения собственности, то ее возникновение можно считать явлением совершенно беспрецедентным. По сути, оно возрождает саму историю, знаменует начало цивилизации, определяет уклад всей жизни рода людского.

В наше время происходит нечто обратное — собственность, столь незыблемая на протяжении всей истории,

утрачивает свою собственническую сущность! Всего-навсего лишь видоизменения частной собственности приводили к эпохальным переворотам в человеческом бытии, тогда что же последует за ее исчезновением? В начале какого переворота мы стоим? Начало ли это возрождения на новом уровне или начало конца?

С одной стороны, частная собственность всегда была источником антагонизма, жестокого насилия, безнравственных отношений между людьми. С другой — в обществе, где нет собственников, где все орудия жизнеобеспечения не свои, непременно должна возникнуть *всеобщая* безответственность перед жизнью. А это уже не что иное, как медленная деградация.

Стремление противостоять такой гибельной незаинтересованности приводит к необходимости применять опять же насилие. Оно становится непреложным законом жизни — трудись через «не хочу»! И тогда уже не просто человек угнетает человека, а само общество, сложившаяся определенным образом человеческая система, оказывается беспощадной к каждому своему члену — все несамостоятельны, и хотя господ уже нет, однако все рабы идеи выживания.

Издавна люди мечтали освободиться от ига частной собственности, это освобождение пришло. И вместо равноправия — всеобщее рабство, вместо творческого труда — труд насильственный. Неисповедимы пути твои, господи!

Итак, собственность теряет своего хозяина-частника. Но вообще можно ли хозяйствовать сообща, всем скопом? Не случайно все трудовые коммунистические организации — вроде известной нам секты ессеев — были нежизнеспособны.

В примитивно коммунистических организациях все могло быть общим, начиная от обработанной земли, кончая обеденными ложками, но при этом вовсе не обязательно все тут были хозяевами. При общей собственности доходом могла распоряжаться обособившаяся группа лиц, а то и одно главенствующее лицо. Общность собственности, как мы уже уяснили в свое время, еще не делает всех хозяевами. Иначе вопрос решался бы просто, по Марксу: стоит только уничтожить частную собственность — и владеть ею станут не иначе как труженики. То-то и оно, что просто не получается.

Коммунистические сообщества типа ессеев не столь и частое явление в истории; а вот совместное, коллективное

ведение хозяйства, если внимательно вглядеться, большой редкостью, право, не было.

Историков поражает, как быстро отстраивалась после пожаров старая Москва. А отстраивалась она преимущественно свободными плотницкими артелями, где топор мог иметь каждый, но уже «пила-растируха» или «баба» для забивания свай были общими. Конечно, во многих этих артелях нравы были отнюдь не свободными, хозяйскую власть забирал кто-то один. Но забирал ее не потому, что считал себя собственником артели,— завоевывал преимущественное положение своими личными данными. Однако часто такого выделения единоначальника и не происходило, все деловые вопросы решались сообща — артельно. И уж конечно, в первую очередь сообща распределялся полученный доход, который никогда не ограничивался простой дележкой — тебе пай, мне пай! — а заставлял заботиться о дальнейшей жизнедеятельности артели. Неграмотные плотники, по существу, исполняли то, на что указывал Маркс в своей «Критике Готской программы»: выделяли на расходы возмещения потребленных средств (на гвозди, скобы, изношенный инструмент — загодя отложи), на расширение производства («а не прикупить ли нам, братцы, станок-дранницу!»), на страховой фонд — «на оказию». То есть всем тесным коллективом исполняли хозяйские функции.

Разумеется, не все одинаково проявляли себя хозяевами, всегда оказывался кто-то более толковым, кто-то — менее, чей-то авторитет уважался больше, с чьим-то мнением совсем не считались. Коллективность вовсе не означает нивелировку. Но не означает она и уравниловку. Если опытный, мастеровитый работник станет получать при распределении наравне с неумелым учеником, значит, будет поощряться неумелость, возникнет пренебрежение к труду. Важно, чтоб коллектив решил — кто умел, а кто нет, в силу своих возможностей оценил достоинства каждого. Для этого к каждому надо приглядеться с вниманием, а это возможно лишь тогда, когда артель не очень многочисленна, все на виду у всех.

Свободные артели — не единственная форма трудовой организации, где возникало коллективное самоуправление. Не единственная, да и не самая, кстати, распространенная. Наверняка чаще хозяйственный коллективизм устанавливался в крестьянских семьях, порой сравнительно больших, пестрых по составу, особенно в так называемых «не разделенных». Каждый член такого семейного

клана, от подростков до глубоких стариков, имел право голоса в хозяйственных вопросах.

Труд на общих началах с коллективным правлением, как и наемный труд, существовал с незапамятных времен, но широко распространиться не мог. Производительные силы раннего капитализма оказались недостаточно развитыми, чтоб в обществе назрела потребность в коллективном самоуправлении.

Но с тех не столь уж и давних пор производительные силы возросли с небывалой интенсивностью. Технически мощные современные предприятия стали достаточно высокодоходными. Сложность и гигантизм индустриальной собственности оказался непосильным для единоличного владения, но эти же индустриальные гиганты уже никак не приспособлены и для владения общего. Вот если б каким-то чудом удалось снова вернуться к мелким производствам, пусть не таким примитивным, как плотницкие артели, но все же достаточно простым, то задача превращения обезличенной собственности в действительно коллективную вовсе не казалась бы неразрешимой.

11

Ни одно крупное и сложное индустриальное предприятие не бывает бесструктурным монолитом, всегда оно складывается из отдельных производственных блоков, имеющих свою внутреннюю организацию, занимающих свое определенное место, выполняющих свою часть труда в общем процессе. Завод состоит из цехов, цеха, в свою очередь, делятся на бригады, бригады — зачастую на мелкие звенья. И чем крупнее предприятие, чем сложнее его устройство, тем больше в нем составных частей, тем отчетливей их разделение между собой, тем определенней исполняемые ими функции.

Если вглядимся в такую обособленную малую часть крупного предприятия, то заметим — ее деятельность в основных положениях повторяет деятельность всего данного производства. Большое предприятие с помощью имеющихся у него средств превращает некое сырье в необходимый обществу продукт. Скажем, листы и болванки из металла, механическая и электрическая аппаратура, изделия из резины и пр., поступающие с других предприятий, воплощаются в автомашины. Какой-нибудь токарный цех этого же автомобильного завода действует по

той же схеме: получает сырье в виде заготовок из формовочного цеха и создает свою продукцию — обработанные детали, используемые в сборочном цехе. Процессы в общих чертах сходны, разница лишь в том, что трудовой процесс предприятия в целом объемен, многоступенчат, чрезвычайно сложен, а у его составной производственной ячейки несравнимо короток и прост.

Но как бы мал и прост он ни был, а его результаты тоже можно перевести на денежный эквивалент, представить в виде некоего дохода. Обычно этот доход не выделяется в самостоятельную величину, не распределяется, а идет, так сказать, в общий котел всего предприятия, растворяется в нем.

Ничто не мешает его выделить и распределять на основании тех требований, какие предъявляются любому доходу. Как только мы это сделаем, то сразу же заметим, что исчезают, казалось бы, непреодолимые препятствия, возникающие при привлечении рядовых тружеников к исполнению хозяйских обязанностей.

Труженик находится внутри производственной ячейки, одной из многих, составляющих крупное предприятие. Ее границы невелики, она доступна для обозрения с любого рабочего места, ничто не закрыто, все на глазах, хозяйственная деятельность проста, посильна для понимания. Рабочий без особого труда может уяснить себе, из чего складывается доход, какие затраты следует возместить.

Несложный доход с несложного хозяйства перестает быть для рабочего некой непостижимой тайной, рабочий способен принять участие в его распределении. А распределение дохода — чисто хозяйская прерогатива. Все дело в том, что ячейка стала самостоятельной, вместе с ней обретают хозяйскую самостоятельность и входящие в нее труженики.

И еще одно обстоятельство способствует выполнению хозяйских обязанностей — весьма ограниченное число работающих в производственной ячейке. Это вовсе не многотысячный коллектив, где отдельная личность теряется в общей массе, не в состоянии проявить себя, а всего десяток-другой людей, работающих бок о бок, постоянно общающихся между собой и достаточно хорошо знающих друг друга. Тут уже каждый на виду, произнесенное слово легко будет услышано всеми, мнение любого нетрудно принять во внимание.

Производственной ячейке предоставлена самостоятельность, однако при любых обстоятельствах эта самостоятельность все-таки относительна. Как-никак, ячей-

ка — составная часть общего производства, зависит от него полностью. Если общее производство получит невыгодные заказы, приобретет некачественное сырье, не сумеет должным образом наладить внутри себя взаимоотношения между составными частями, то это непременно плачевно отзовется на автономной рабочей ячейке.

Рабочие окажутся дурными хозяевами, если не станут всячески способствовать четкости и согласованности предприятия в целом, четкости и энергичности централизованного управления. Способствовать не значит блюсти некий активный пиетет, общее управление нуждается в определенных расходах, поэтому при распределении своего дохода рабочие-хозяева должны учитывать и эту статью изъятий.

Кроме того, каждый рабочий является членом общества, которое тоже тратится и на управление, и на строительство школ, содержит больницы, научно-исследовательские институты, армию (без нее, увы, пока не обойтись) и пр., и пр.— никто не может остаться в стороне от таких всенародных расходов. Рабочий должен быть готов к тому, что государство станет взимать с его хозяйства налог соответственно величине получаемого дохода.

Эти необходимые затраты всегда существовали и всегда лежали на плечах труженика, только совершались без его ведома. Теперь рабочий видит их, а уже одна осведомленность о их величине будет в какой-то степени помогать ему ограждать себя от произвола.

Раньше при найме он ждал из чужих рук — сколько дадут за труд. Сейчас рабочий сам дает — нанятым считать его нельзя. Труд по найму уступает труду на самостоятельных началах. Вместо хозяина-частника появляется коллективный хозяин в лице тружеников. Зловещая обезличенность собственности исчезает, в ней непосредственно заинтересованы уже не сравнительно узкие слои имущих, а широкие массы, едва ли не все общество.

Но это может произойти только тогда, когда в сколь угодно разросшемся индустриальном монолите будут существовать мелкие автономные объекты.

12

Похоже, что кое-что в этом плане уже намечается. Часто приходится слышать о так называемых комплексных бригадах в сельском хозяйстве, о бригадном методе в строительстве, о переходе «на хозрасчет».

Но «хозрасчетная» политика не становится всеобъемлющей. Вот уже много лет она неизменно находится на экспериментальном уровне. Комплексные бригады и звенья в сельском хозяйстве возникают от случая к случаю, не завоевывают колхозы и совхозы страны. Бригадный метод с правом распоряжаться отпущенными средствами не охватил все строительные организации и совсем не проник в промышленность. А страна изнемогает от повальной незаинтересованности в труде. Казалось бы, хоть и робкое, но все-таки проявление самостоятельности вызовет какую-то заинтересованность труженика, повысит его производительность труда, подымет экономику страны! Однако дальше редких экспериментов дело не идет.

И не может идти. Все граждане являются служащими по найму у государства. Рабочие бригад, поставленных «на хозрасчет», нанятыми быть не перестают. Средства, которые им с оглядкой вручают, это не их собственность, а некая государственная ссуда. Не более.

Государство не может предоставить работнику хоть малую самостоятельность, не выпустив в чем-то его из-под контроля, не поступившись своим влиянием на него. Если предположить, что все труженики окажутся в относительно самостоятельных коллективах, то уже диктовать им станет труднее, какие-то приказы они игнорируют, в чем-то станут поступать по своему усмотрению.

Наша же система служащих по найму держится исключительно на безоговорочном повиновении младшего старшему, старшего наистаршему и т. д., звено за звеном, инстанция за инстанцией, по ступенькам вверх. Если труженик хоть изредка станет не выполнять приказания, то вся возвышающаяся над ним система утратит надежность. Находящийся в самом низу труженик в любой момент может подвести своего непосредственного начальника, а этот невысокого ранга начальник оказывается неисполнительным перед начальником более высокого ранга, тот, в свою очередь, перед еще более высоким начальством... В существующей цепной системе начнется опасный разлад, неупорядоченность, которая, того и гляди, кончится полным развалом.

Обезличенность собственности ставит общество в угрожающе тяжелое положение. Нет таких, кто был бы заинтересован в эксплуатации ничейных средств производства, продуктивна или непродуктивна эта эксплуатация, хорош или плох результат труда — никого уже особенно не волнует. Жизнедеятельность общества теряет

стимул. И делаются робкие непоследовательные попытки заинтересовать труженика делом, предоставить ему жалкую самостоятельность. Но даже такая жалкая самостоятельность несовместима с общественным устройством, где все граждане служат по найму у государства.

Есть возможность отказаться от найма, предоставив труженикам возможность исполнять хозяйские обязанности в производственных ячейках, автономно обособленных внутри крупных предприятий. Но тогда придется перестраивать *все* грандиозное сооружение нашего общества снизу доверху. Легко сказать...

Прежде чем решиться на столь великое, следует убедиться: а принципиально допустимы ли эти соблазнительные изменения? Не натолкнемся ли на что-то глубинно скрытое, непреодолимое?

Подвергнем самым беспощадным сомнениям наши социальные замыслы, постараемся быть пристрастно жестокими к себе.

13

В первую очередь попробуем разобраться с автономностью какой-то части единого производства. Возможна ли она?

Предположим, ваша рабочая ячейка выделена в отдельное хозяйство, вам предоставлено самоуправление. Значит ли это, что вы действительно автономны, не управляемы сверху, что ваша повседневная деятельность вышла из-под общего контроля? Вы, рабочие локального трудового коллектива, можете видеть лишь свою ограниченную ячейку, знать только свои нужды, свои интересы и вовсе не ведать о том, что происходит за пределами вашего куцего хозяйства. Ваши нужды и ваши интересы могут часто противоречить нуждам и интересам других таких же рабочих ячеек. В своем святом неведении вы станете добиваться того, что всем остальным пойдет во вред,— работать несогласованно, поступать несолидарно. Но при этом вы — составная часть общего производства, для которого несогласованная деятельность частей означает развал. Все составные части самоуправляющиеся — не кошмарно ли? Кто в лес, кто по дрова — не единственный ли результат такой неразумной затеи?

К тому же никак не исключено, что подобные рабочие коллективы, предоставленные самим себе, будут

заражаться коллективным эгоизмом: видим, что правим не туда, куда всем прочим нужно, но нам-то какое дело до всех — самоуправляемы; не смейте мешать! Хочешь не хочешь, а придется брать под строгий контроль, придется приказывать, держать в подчинении. Какое уж тут самоуправление? Какие хозяева своему делу? Все превращается в абсурд.

Но вглядимся еще раз повнимательней. Ячейка выделена в отдельное хозяйство, да, автономна, да, самостоятельна в управлении! И в то же время она не перестанет быть составной частью целого производства, одним из звеньев общего трудового процесса. Она органически связана с другими такими же производственными звеньями, без них не в состоянии работать, сама по себе просто-напросто не может существовать. Токарный цех остановится, если формовочный перестанет поставлять ему заготовки. Формовочный без токарного также встанет — некуда посылать заготовки, незачем их делать. Одна ячейка продолжает деятельность другой, они созданы друг для друга, едины и неразделимы. И каждая по отдельности — бессмыслица. И действия в таких ячейках диктуются общей деятельностью всего предприятия. Диктуются! Не самостоятельны! Тогда могут ли они считаться самоуправляющимися? Несамостоятельность и самоуправление, казалось бы, явления несовместимые, взаимно исключающие друг друга.

Так ли? Система зажигания в автомобиле самоуправляема, никто и ничто не диктует извне, в какой момент, в каком цилиндре зажечь смесь. Но эта распределяющая зажигание система прямо зависима от генератора, который, в свою очередь, крутится мотором... и т. д. И вместе они представляют единое неразрывное целое, зависимое от общего — автомашины, составным элементом которой являются. Автомашина подчинена водителю, управляется им. Трудно даже вообразить, в каком незавидном положении окажется водитель, решивший взять на себя управление зажиганием, непосредственно дозирующий — в какой момент и в каком цилиндре следует воспламенить смесь.

Чем больше в автомашине рабочих операций поставлено на самоуправление, тем легче водителю управлять ею, тем четче и налаженней действует эта комплексная система. И наоборот, *отсутствие самоуправляющихся составных элементов доказывает несовершенство общей системы* — примитивно организована, не способна быстро и точно действовать, не отзывчива к управлению.

В интересах тех, кто управляет общим производством, перевести на самоуправление находящиеся в подчинении производственные ячейки. Традиционная фигура всезнающего, всевидящего, во все вмешивающегося и всюду поспевающего волевого центрального руководителя порождена убогим примитивизмом нашего общественного устройства на всех его этажах.

Рабочие-хозяева будут не в состоянии замкнуться в тесных границах своих маленьких хозяйств, им придется — нужда заставит! — интересоваться работой других хозяйств. При самоуправляющихся производственных звеньях неизбежно должен возникнуть и *обоюдный самоконтроль,* причем столь пристрастный, на какой не способно самое дотошное центральное руководство.

Но чуткости и быстроты реакции еще недостаточно для отчетливого понимания сложившихся обстоятельств. Рабочие в своей ячейке сразу почувствуют — где-то образовалась прореха, но где? Из ячейки не охватишь взглядом все обширное и сложное производство, в лучшем случае доступны для наблюдения лишь смежные звенья, а причина болезненных нарушений может лежать глубоко. Поэтому рабочие, допущенные до самоуправления, будут вынуждены прибегать к помощи тех, кто по их сигналу способен увидеть, проанализировать, подсказать — какие меры следует принять. То есть прибегать к помощи тех, кто занимает достаточно высокие наблюдательные посты, чтоб охватывать взглядом производство в целом, обладает необходимыми знаниями и опытом организации и регулирования столь масштабного объекта. Самоуправляющиеся рабочие неизбежно станут *нуждаться* в централизованном управлении. А уж коль нуждаться в нем, то и способствовать ему.

Испокон веков управляющий воспринимался тружеником как представитель враждебного лагеря. И раб, и крепостной, и наемный рабочий считали управление неизбежным злом. Коллективный труженик, сам причастный к управлению, *вынужден* будет признавать стоящее над ним управление как продолжение своих же правящих функций.

14

Но тут вступает в силу следующее сомнение. Простые рабочие не обладают ни глубокими специальными знаниями, ни научными методами, в лучшем случае они

наделены практической сметкой, природным здравым смыслом и трудовым опытом. Пусть они будут поставлены в рамки мелкого, крайне несложного хозяйства, где доход складывается из весьма ограниченного числа элементов, в нем хорошо или плохо способен разобраться любой заурядный человек. Однако как бы хорошо ни разбирался в своем хозяйстве простой неискушенный рабочий — обученный специалист все-таки окажется тут более сведущим, а значит, и более толковым управителем. Не рабочий, а специалист точней определит хозяйственные нужды, подскажет, как выгоднее распределить силы, как эффективнее использовать технику, быстрей разглядит, какие затруднения возникнут впереди, и найдет оптимальный выход. И тем не менее хозяйственное управление вручается не специалисту, а коллективу рабочих — умных и глупых, опытных и неопытных, честных и шкурников, всяких качеств и оттенков.

Вряд ли тут стоит утешаться ходячей поговоркой — один, мол, ум хорошо, а два лучше, совокупное же мнение целого коллектива вообще должно превосходить по мудрости любого отдельно взятого человека, пусть он будет семи пядей во лбу. Из сложения нескольких заурядных мнений никогда не получается одно гениальное откровение.

Не опасное ли легкомыслие доверять людям, недостаточно сведущим: их некомпетентность наверняка неблагоприятно отразится на жизненном уровне всего общества. И то, что у тружеников появится хозяйская заинтересованность в использовании собственности, опасности не снимет. Заинтересованность людей, не понимающих толком, что к чему! Она заставит активней вникать в дело, а значит, совершать больше ошибок, вносить бестолковщину. И не единственное ли тут спасение — не допускать недостаточно сведущих до коллективного хозяйничанья, передать бразды правления специалистам, то есть вернуться к тому, что было,— к поставленным сверху руководителям, к... обезличенной собственности!

Здесь мы невольно ставим себя перед альтернативой — или коллективное управление рабочих, или единоличное управление знающего специалиста. Или — или, третьего не дано? Не может ли коллективное самоуправление тружеников совместиться с управлением компетентного специалиста?

Не станем отрицать, что хозяйские возможности современного рабочего крайне незначительны. Да и откуда им быть большими? Современный наемный рабочий *изо-*

лирован от дела, в котором участвует. Он покорно трудится по чужому указанию, порой не зная, для чего нужна деталь, которую он обрабатывает. О каком распределении дохода может идти речь? Как быть ему хозяином, когда современный способ производства держит его в духовной тюрьме?

И все-таки попробуем представить себе, каким образом такой вот духовно закрепощенный рабочий станет исполнять самую основную хозяйскую обязанность — распределять доход своего маленького автономного хозяйства?

Единственное, что он обязан усвоить сразу, незамедлительно,— доход не чей-то, а его вкупе со всеми, и от него зависит, увеличится ли этот доход, а значит, получит ли он больше для себя. Усвоить такой мотив, право же, легко, для этого не надо приобретать ни новых знаний, ни новых навыков. Даже от индивидуалистических наклонностей отделываться не обязательно — пусть они подогревают интерес к общему, всем принадлежащему доходу.

Но, усвоив столь элементарное, волей-неволей придется усвоить и следующее: доход не просто общая миска, знай черпай из нее до дна — тебе ложка, мне ложка. Любой заурядный человек это воспримет и... окажется перед необходимостью не дележки, а распределения дохода с учетом всех нужд, возникших в прошлом и в значительной мере определяющих предвидимое будущее. И приступит он к распределению не в одиночку, а вместе со всем коллективом таких же рабочих.

Труд неизбежно столкнет всех с одними и теми же задачами управления пусть небольшой и несложной хозяйственной организации, с некоей жизнедеятельной человеческой системой, находящейся в связи с другими такими же системами. Незримые стены духовной тюрьмы, в которой пребывал наемный рабочий, рушатся, кругозор рабочего становится шире. Приходится задумываться над более сложным кругом вопросов. И конечно же, при этом неподготовленный рабочий станет все острее ощущать свое бессилие, а следовательно, необходимость привлечения специалистов.

Однако заурядность, как правило, относится настороженно, если не откровенно враждебно ко всему, что подымается над ее уровнем. Не напрашивается ли сам собой вывод о несовместимости рабочих коллективов со специалистами, трудящихся масс с носителями тех знаний, какие обрело человечество в своем развитии?

15

Нельзя не учитывать и наследия прошлого. Ни раб, ни крепостной, ни наемный рабочий не испытывали необходимости ценить знания, приобретенные другим лицом. Какой им от них прок — ведь только хозяин мог воспользоваться чужими знаниями. И тот, кто получал знания, становился помощником хозяина, а потому для антагонистически настроенного наемного рабочего наличие образования — признак принадлежности к враждебному классу. Отсюда и неприязненное отношение к интеллигенции.

Идеологи классовой борьбы разделяли и не считали нужным скрывать эту неприязнь. «...Русская передовая, либеральная, «демократическая» интеллигенция была интеллигенцией буржуазной»,— писал Ленин еще в 1894 году. Только одно слово «демократическая» стоит тут в иронических кавычках, слово «передовая» надо, по-видимому, понимать в прямом значении. И вот передовая русская интеллигенция, помимо всего прочего подарившая миру едва ли не самую человеколюбивую литературу,— «буржуазная». А все буржуазное для Ленина подлежит уничтожению. Спустя двадцать четыре года, уже после революции, ратуя за организацию новой жизни, он заявляет: «Задача организационная сплетается в одно неразрывное целое с задачей беспощадного военного подавления вчерашних рабовладельцев (капиталистов) и своры их лакеев — господ буржуазных интеллигентов». Однако при всей своей явной враждебности Ленин не прочь эту «свору лакеев» использовать: «Если понадобятся интеллигенты-специалисты, мы их пошлем (в деревню.— *В. Т.*). Они в большинстве хоть и контрреволюционеры, но комбеды сумеют их запрячь, и они будут работать для народа не хуже, чем работали раньше для эксплуататоров». Поэтому готов даже взять «свору» под опеку: «Если бы мы «натравливали» на «интеллигенцию», нас следовало бы за это повесить. Но мы не только не натравливали народ на нее, а проповедовали от имени партии и от имени власти необходимость предоставления интеллигенции лучших условий работы». Почему-то Ленин забыл свой не столь давний призыв к «беспощадному военному подавлению».

Ленин не был противником знаний, он призывал молодежь учиться, учиться и учиться. Он мечтал вырастить *свою* интеллигенцию, которая бы происходила из рабочих и крестьян, полностью совмещалась с ними. Но притом сам рабочий, по замыслу Ленина, должен оставаться

служащим по найму у государства. И тот из рабочих, кто сумел выучиться, получить полезные знания, неизбежно превращался в служащего более высокого ранга. Выучить и вновь вернуть его к тому же станку, от которого ушел, значит не использовать обретенных знаний, признать бессмысленность обучения. Неумолимая целесообразность требует — ставь его руководить многими станками. А для нанятых рабочих, что трудятся за этими станками, обученный превращается в начальника, ставленника государства-хозяина. *Пока существует труд по найму, для простого труженика носитель знаний не может стать своим* — он одушевленное орудие подчинения.

Вдумаемся, развитие Homo sapiens, по существу, выражается в накоплении и практическом использовании знаний. Значит, тех, кто способствует такому накоплению, кто несет накопленные знания в жизнь, можно по праву назвать самым активным элементом развития. Неприязненно антагонистическая позиция к ним — позиция, задерживающая развитие человечества. Общество, живущее трудом по найму, ставит труженика в положение реакционера.

В рабочем самоуправляющемся коллективе кто-то знает нечто полезное, о чем не ведаю я. Теперь это уже не чужие и не безразличные для меня знания. Я вместе со всеми кровно заинтересован в получении более высокого дохода, который зависит не только от того, насколько усердно мы трудимся, но и от того, с каким успехом мы решаем свои хозяйственные задачи. Тут нельзя обойтись без соответствующих знаний. И тот, кто ими располагает, приносит пользу не только себе, но и мне — получу больше вместе со всеми, стану жить лучше. Если я не оценил полезности чужих знаний, отмахнулся от них,— обворовываю сам себя. А уж коль я их оценил, то буду бесчувственным истуканом, если не испытаю благодарного уважения за ту пользу, которую получил от знающего товарища. Уважение к знаниям других людей становится моей жизненной потребностью. Самоуправление развалится, если такая потребность не возникнет у каждого члена рабочего коллектива.

Доверенный коллектива, нанятый им специалист подотчетен коллективу, подконтролен ему, но тем не менее такой человек сразу же займет обособленное место среди рабочих — старший среди равных. Он, как никто другой, будет влиять на общую деятельность, как никто, он должен уметь подмечать досадные мелочи, догадываться

о последствиях, делать выводы, принимать решения. Повседневное руководство выгоднее поручить тому, кто более других сведущ в деле. И чем более сведущ, тем лучше.

Произнесено слово «нанять». Что это — снова труд по найму? Да, но в перевернутом виде. Не управляющий от лица хозяина нанимает труженика, а труженик-хозяин нанимает управляющего, *ставя его над собой*. И с таким же успехом этот труженик-хозяин вправе снять своего управляющего, если тот не оправдает его надежд.

Нам, служащим по найму у государства, находящимся в жестком и неукоснительном подчинении у старшего по службе, такая перевернутость может показаться фантастичной. Но подобный найм, однако, достаточно широко распространен в капиталистических странах.

В Англии, по пути из Оксфорда в Стредфорд-на-Эйвоне, я имел возможность встретиться с одним фермером, по английским меркам, далеко не богатым (около 90 га земли, 180 голов овец, откормочная свиноферма). Все хозяйство достаточно механизировано, фермер управляется вместе с женой, работников не держит. Но раз в году, каждой весной, он нанимает специалиста, который дает советы, как лучше вести хозяйство. В эти дни хозяин как бы ставит себя в подчиненное положение к нанятому специалисту, платит ему куда больше, чем, исходя из поденной раскидки годовой прибыли, получает сам. Но нанимает — выгодно. Знания специалиста с лихвой оправдывают затраченные на него расходы.

Точно так же рабочий самоуправляющегося коллектива будет блюсти свои выгоды, а для этого постарается заполучить в управление специалиста с наиболее «доходными» знаниями. А заполучив, уже не станет скупиться на его обеспечение, иначе тот, того гляди, уйдет со своими знаниями к другим, более щедрым рабочим-нанимателям. Скорее всего, рабочие коллективы начнут конкурировать друг с другом за привлечение более опытных и образованных специалистов.

Знания окажутся дефицитом.

16

До сих пор исполнение хозяйских обязанностей рабочими не противоречило их индивидуалистическим интересам. Естественное желание лучше обеспечить *свою*

жизнь, больше получить *для себя*, присущее в равной степени всем членам коллектива, никак не мешало, а, напротив, заставляло думать и действовать в одном направлении. Каждый стремится получить высокий доход, а потому каждый в меру своих сил и способностей будет распределять имеющиеся средства с таким расчетом, чтобы не подорвать, а усилить свое хозяйство, избежать ошибок, снижающих производительность труда, ценить полезные знания, привлекать знающих специалистов. Это в личных интересах любого из рабочих, в интересах локального хозяйства, в интересах предприятия в целом, в интересах всего общества, которое тоже станет жить лучше, если рабочие получат высокие доходы. Эгоистическое полностью совмещается с общественным, способствует укреплению коллективизма.

Но при распределении дохода существует один важный момент, когда индивидуалистические интересы начинают противоречить коллективным, заставляют заботиться только о себе и забывать общее. После того как из дохода возместили производственные затраты, как выделили средства на расширение и модернизацию хозяйства, отложили какую-то часть на непредвиденные расходы, отчислили заранее условленные суммы на нужды предприятия и общества, остается та конечная доля дохода, которая уже принадлежит только рабочим. То есть фонд заработной платы, предназначенный для распределения по рукам.

Недопустимая глупость проводить это распределение по принципу—мол, все на равных правах, а потому всем поровну. Права-то равные, да люди не равны друг другу. Дележка поровну, не предусматривающая личные достоинства труженика в деле, гибельна для трудового коллектива.

Ну а так ли просто определить эти достоинства— одного признать лучшим, наделить, у другого, худшего, урезать? Так ли уж покорно урезанные согласятся со своей участью? Тут единство кончается, каждый рабочий в этот момент перестает быть членом коллектива, становится индивидуалистом, защищающим от других себя. Момент разобщающий, сводящий на нет всю коллективную деятельность.

У нас были предприняты попытки перевести некоторые театры «на хозрасчет». Конечно, это было вызвано не желанием предоставить театрам самостоятельность. Просто государство не хотело содержать их на дотации.

Актеры получали право распределять между собой определенную часть доходов со сборов. И, как правило, такое распределение превращалось в унизительную грызню, подчас со слезами, с истериками, кончавшуюся если не полным развалом труппы, то безнадежно испорченной рабочей атмосферой. О благополучном исходе подобных затей мне слышать не приходилось. Казалось бы, уж если актеры, носители культуры, не в состоянии договориться между собой, то можно ли того ждать от рабочих?

Самое безнадежное дело — строить расчет на культурном уровне и сознательности. Всегда могут подвести. Культурные люди вовсе не лишены эгоистичности, а те, чей культурный уровень невысок, часто бывают не лишены высокой альтруистичности.

Но вглядимся: рабочие, которым надлежит распределять доход, находятся совсем в ином положении, чем театральные работники.

Бессмысленно приступать к распределению, когда не знаешь, из чего доход складывается, не имеешь о нем точного представления. А, помимо вложенных ранее средств, он, доход, складывается еще из того, что сделал каждый по отдельности рабочий, какую именно трудовую лепту внес. Узнать это точно, а не приблизительно, можно лишь одним способом — своевременно, в процессе получения дохода проводить точный, постоянный, изо дня в день повторяющийся *персональный учет* результатов труда. Не тогда, когда доход уже на руках, а во время его создания.

Такой учет силами всего коллектива исполнять неразумно и навряд ли практически возможно — все проверяют всех, каждый на свой лад оценивает другого, субъективизм, безответственность, неразбериха. Проще поручить это дело кому-то одному, хотя бы руководителю коллектива. Но каким бы доверием ни пользовался такой учетчик, он не застрахован ни от ошибок, ни от пристрастного отношения. Необходим контроль над учетом.

Если непосредственно сам учет проводить коллективными усилиями нельзя, то в контроле над ним легко могут участвовать все. Для этого стоит лишь представить на общее обозрение учетный лист, показывающий, кто какую работу совершил. В отношении к тебе допущена намеренная или случайная ошибка, объяви свое несогласие, но помни, что все знакомы с данными учета, каждый имеет свое мнение, может быть арбитром между тобой и учетчиком. Отстаивать тут индивидуалистиче-

ские требования — желаю-де получить больше! — крайне затруднительно, если вообще возможно.

Итак, персональный учет, осуществляемый одним доверенным лицом, и контроль над этим учетом со стороны всех. Собственно, коллективное распределение дохода начинается уже здесь, задолго до того, как сам доход примет окончательный вид. Плохо, если к решающему моменту распределения не будут сняты все спорные вопросы, связанные с учетом. Это значит — учет проведен недостаточно точно, доход окончательно не определен, подступаться к нему преждевременно.

Определение заработной платы становится как бы неотъемлемой частью повседневного трудового процесса. Неизбежные конфликты решаются по ходу дела. Они не носят скрытый характер, а значит, и не копятся, не назревают, не дают развиться антагонистическим настроениям. Заранее известно тебе: сколько ты сделал, столько и получи из общего фонда, никаких споров и претензий в момент распределения быть не может.

Впрочем, не следует забывать, что самоуправляющиеся рабочие будут сталкиваться с затруднениями при определении доли в общем продукте духовных ценностей. Чей-то проницательный совет поможет увеличить доход, а вместе с ним и заработки самих рабочих. Совет — духовная ценность, даже если знать абсолютно точно, на сколько рублей повысился новый доход, ценность совета из этой суммы вывести крайне трудно, навряд ли ее можно выразить точно в рублях. Не строгим расчетом, а лишь совестью коллектива будет определяться достоинство подобных духовных ценностей. Да и то только тогда, когда коллектив поймет, примет, реализует их, а и это не всегда-то станет получаться. Недооценка духовных ценностей, увы, обычное явление в жизни, навряд ли самое совершенное общественное устройство полностью застрахует от них род людской. В утешение могу только заметить, что такая недооценка станет наказывать рабочий коллектив, учить внимательному отношению к духовному.

17

Не слишком ли оптимистичны наши рассуждения — свершится, сбудется, изменится, придут к пониманию... Нет большего врага прогнозов, чем самоуверенный

оптимизм! Достаточно не учесть одного не бросающегося в глаза фактора — и вся выстроенная логическая цепь будет эфемерной. А не бросается в глаза то, что большей частью лежит на поверхности, кажется само собой разумеющимся.

Для нас до сих пор само собой разумелось, что рабочие *стремятся* стать хозяевами, *желают* освободиться от зависимости, *жаждут* самоуправления. Если же у них такого желания нет, то и бессмысленно распинаться о том, как все им получше устроить. Не получается ли, что мы сватаем того, кто вовсе и не собирается жениться?

Снова напомним себе, что рабочий, на которого мы уповаем, трудится и трудился по найму, никогда не знал самостоятельности, привык к тому, что за него решают и думают другие; ему всегда приходилось отвечать лишь за себя и только за себя, потому обязанности его крайне несложны, а бесправность ныне не настолько уже невыносима, чтобы нельзя было ее терпеть. В наш век развитой техники рабочего не заставляют надрываться на непосильной работе от зари до зари, не лишают отдыха, не морят голодом. И вот такому-то рабочему предлагают: взвали помимо своей работы на плечи и хозяйские обязанности, осложни свою жизнь, смени покой на беспокойство. Да захочет ли этого современный рабочий?

Можно представить себе, как будут выглядеть самоуправляющиеся коллективы, составленные из таких индифферентных рабочих. Атмосфера тупого безразличия установится в них. Да и зачем, собственно, городить новый огород, когда они, рабочие, прижились в старом загоне?

Рабочие не желают, правящие чиновники не могут желать, навряд ли и массовый обыватель так уж ждет не дождется перемен. Скорей всего, необходимость их осознает какая-то часть интеллигенции, реденько рассеянная по стране.

Но если подавляющее большинство населения относится с полным безразличием — а какая-то немалая часть с явной враждой — к общественным изменениям, то это вовсе не означает, что они не произойдут. Их появление не зависит от человеческих желаний и нежеланий, грозные противоречия, назревшие в данный исторический момент, в наши дни, ставят перед неизбежностью крутого поворота. Весь вопрос — куда именно повернет наша жизнь?

Средства производства, средства нашего жизнеобеспечения мощно возросли, утрачивают хозяев, обезличиваются. Происходит абсурдное, с точки зрения всех пре-

дыдущих поколений, явление — к тому, что поддерживает жизнь, утрачивается интерес. Все служащие по найму работают не на себя, на кого-то, поголовно у всех нехозяйское, наплевательское отношение к делу. Общество начинает медленно хиреть и разлагаться. Возникает объективная необходимость в стимулирующих мерах. А так как человечество пока не знало иного способа стимуляции труда, кроме насилия, то и меры напрашиваются не иначе как насильственные.

Все — служащие по найму, всем свойственно наплевательское отношение, ко всем насильственные меры. Ко всем? Но со стороны кого же?.. Мы так привыкли, что насильником должен быть непременно кто-то конкретный, на кого можно указать пальцем, назвать по имени. Насилие творят насильники — стало аксиомой, не требующей доказательств. А не может ли быть наоборот — вызванное обстоятельствами насилие порождает насильников?

Не Сталин создал механизм жестокого насилия, а механизм служащих по найму, где низший действует под диктаторством высшего, выдвинул соответствующего себе верховного насильника. Более лояльные и демократичные личности не могли встать у пульта такого механизма. Не умри Ленин вовремя, созданный им механизм отверг бы его.

Но служащий, которому дано право погонять другого служащего, не заинтересован в существе дела, готов удовлетвориться формальным исполнением — лишь бы отчитаться перед старшим погонялой. Насильственное принуждение к труду не даст высокой производительности. Напротив, чем нерезультативней труд, тем усиленней придется погонять, тем больше потребуется погонял. Число непроизводительных захребетников станет катастрофически расти. Насилие в конце концов сожрет общество — такое общество обречено!

Чем заменить обреченное на самопогибель общественное устройство? Именно тем сейчас мы и занимаемся, предлагая труженику условия, где он перестает быть наемным, зависящим от чужой воли работником.

Человек не может требовать большего, кроме как благоприятных условий для жизни, для своей деятельности. Однако даже к самым благоприятным условиям, если они не похожи на прежние, надо приспособиться, освобождаясь от старых привычек. Нелепо было бы рассчитывать — в только что возникшие условия труда войдут уже готовенькие труженики, заранее ко всему приспособленные. Откуда они возьмутся?

Маркс решительно считал — необходимо изменить мир, условия, окружающие человека, а об изменении человека заботиться особенно не следует, авось сам как-нибудь.

Совершенно противоположной точки зрения придерживался современник Маркса — Герберт Спенсер. В своей книге «Грядущее рабство» он писал: «...Благоденствие общества и справедливость его учреждений зависят, в сущности, от характера его членов... Природные недостатки граждан неминуемо проявятся в дурном действии всякой социальной системы, в какой бы их ни устроили. Нет такой политической алхимии, посредством которой можно было бы получать золотое поведение из свинцовых инстинктов».

Если это так, то безнадежно рассчитывать на какие-либо желательные изменения нашей жизни — недостатки граждан заложены самой природой, они предопределены, неизменны, а потому при любых условиях останутся прежними, по-прежнему будут отравлять жизнь.

Тем не менее тот же Спенсер вряд ли бы осмелился отрицать общепризнанную способность любых живых существ приспосабливаться к новым условиям. Изменялись внешние условия, менялись и животные, менялся их образ жизни, их поведение.

Человек всем своим существованием доказал, что именно он больше других обладает способностью приспособляться к новым условиям. И еще раз следует подчеркнуть, что для каждого из нас в отдельности наиболее влиятельно из всех внешних условий — наше человеческое окружение, всегда определенным образом построенное, всегда представляющее собой как малые социальные устройства, так и всеобъемлющие. Эти устройства — системы действующие. Каждый из нас вынужден подчиняться им, приспособляться к ним. Нам приходится постоянно поступать против своих желаний, своей воли, в равной степени и против своих инстинктов, какими бы они ни были — золотыми или свинцовыми.

Человеческие действующие системы, столь влияющие на поведение личности, в основном складываются стихийно, но нельзя и отрицать принципиальной возможности *сознательного изменения* социальных организаций с таким расчетом, чтоб они мешали проявлять людям, находящимся внутри них, свои природные недостатки, раскрепощали их природные достоинства, душили свинцовые инстинкты, принуждали к золотому поведению.

Маркс, в отличие от Спенсера, признавал зависимость людей от социальных построений, подчеркивал, что ре-

шающее влияние на весь образ жизни человека оказывают те общественные конструкции, которые возникают в процессе основной жизнеобеспечивающей деятельности — трудовой. Каким способом организуется труд, таковы и нормы поведения человека. «Способ производства материальной жизни обусловливает... процессы жизни вообще». Но он верил и в другое — изменения в мире должны происходить стремительно, революционным скачком. Допустим на минуту, что каким-то чудом такой скачок создал некие благоприятные условия, но и тогда преждевременно считать жизнь изменившейся. Не могут моментально измениться люди, нужен какой-то срок, чтобы приспособиться к новым условиям. Приспособиться, внутренне перестроиться, по сути — переродиться. А это процесс не только небыстрый, но и мучительный.

Положение рабочих, получивших автономию, можно сравнить с положением переселенцев, попавших на необжитое место. Условий для жизни пока нет, но существуют плодородные земли, способные кормить, есть леса, чтобы построить жилье, есть пригнанный с собой скот и привезенные семена, то есть есть все необходимое, чтобы устроиться,— предпосылки будущей жизни, которые следует реализовать не кому-то, а тем, кто сюда прибыл. Никто за них этого не сделает. Все преобразования смогут начаться лишь в том случае, если рабочие будут заинтересованы в этом. А мы как раз высказали небезосновательные опасения в наличии такой заинтересованности у современного рабочего. Умозрительное желание стать хозяином легко может исчезнуть, когда наступит время ломать старые привычки. Как разобраться в сомнениях?..

Удивительно, но у нас был проведен весьма любопытный эксперимент. Им было охвачено около ста тысяч человек, длился он почти семь лет. Об этом эксперименте в свое время писала «Экономическая газета»; выпущены были две брошюры — в Ташкенте и в Москве. Писал о нем и я. Но привлечь к нему внимание так и не сумел. Дело не столь и давнее, но уже почти похороненное.

18

Летом 1971 года «Литературная газета» послала в Узбекистан двух писателей — Гранина и меня — вместе со своим спецкором Травинским. Мы были почетно приняты всем секретариатом ЦК, нам предоставили

специальный самолет и отправили по республике — Хорезм, Бухара, Самарканд, Голодная Степь, величавые минареты с узорными куполами, ожившие сказки Шахразады, колхозы-миллионеры, выжженные пустыни, экскаваторы и бульдозеры, обживающие ее, кабинетные и застольные встречи...

В Самарканде, как и положено, сразу с самолета — к первому секретарю обкома. Сравнительно молодой человек, едва за сорок,— нет, лицо не отмечено печатью многозначительной деревянности, которой обычно афишируется руководящее достоинство, напротив, оно располагающе живое, в глазах сдержанное любопытство, движения быстрые. Так мы знакомимся с Саидом Нугмановичем Усмановым, впервые слышим о «самаркандском почине».

Саид Усманов вырвался на олимпийские высоты своей республики, должно быть, во время «оттепели», когда Хрущев провозгласил анафему Сталину и начались перестановки в руководстве. Окончивший Академию общественных наук в Москве, защитившийся на звание кандидата, Усманов сразу был вознесен в секретари ЦК, но через некоторое время по каким-то причинам его посылают за океан — советником по сельскому хозяйству на Кубу. Там он слушает нескончаемые речи Фиделя Кастро, пытается наладить какую-то показательную бригаду, но... «на соседней улице началась стрельба», интерес к бригаде у кубинских руководителей пропадает, и через два бесплодных года Усманов возвращается обратно. Его направляют в Самарканд первым секретарем обкома.

Прославленный в веках «Рим Востока» — Самарканд по сути и теперь вторая узбекская столица. Но Самаркандская область — одна из самых отстающих по хлопку. Область южная, однако расположена на возвышенности — около 700 м над уровнем моря,— причем лежит на северном склоне, а потому в ней всегда чуть холодней, чем в других хлопководческих областях, всего на какихнибудь два-три градуса. Но именно эти-то недостающие градусы зачастую и тормозят созревание хлопка. И нет никаких резервов, за которые можно бы уцепиться.

Новые руководители обычно обрушиваются с нерастраченной силой и ожесточенностью: давай-давай, жми, сотру в порошок! Кандидат экономических наук Усманов решил вглядеться в экономику области.

Во многих колхозах бригады поставлены «на хозрасчет». Казалось бы, даже при фиктивном хозрасчете, ка-

кой допускает наше государство, необходимо все же сообщить, что именно бригада обязана сделать и в какую сумму уложиться. То и другое выводится из общего производственно-финансового плана колхоза. Такой план составляют после подведения итогов по окончании года. Пока-то эти итоги в колхозной бухгалтерии подбиваются, пока-то утверждаются правлением, пока-то их вынесут на общее собрание, наступает апрель месяц, надо выезжать сеять. Бригада отсевается, хлопок начинает расти, идут своей чередой прополки, подкормки, а в это время не спеша оформляются в канцелярии побригадные планы. К концу мая, к началу июня, то есть тогда, когда бригады отработали добрую половину своего трудового года, к ним приходит сообщение — такие-то работы следует провести, такой-то суммой они располагают. Эва! Работы давным-давно идут, суммы тратятся, пора уже говорить об итогах! Большей издевки над хозрасчетом придумать невозможно.

За 1964 год колхозы области задолжали колхозникам ни много ни мало — 23 миллиона рублей! Но и колхозники в то же время должны были колхозам (брали авансы) шесть с половиной миллионов. Казалось бы, одно частично покрывает другое. Нет! Недоплачивали рядовым колхозникам, а в долг-то от государства получали колхозные руководители. Таковы гримасы учета.

Колхозный учет начинается с учетчика, фигуры непрезентабельной, стоящей на самой нижней ступеньке службистской лестницы. По-узбекски «учетчик» — «табельчи», а называли его чаще «тахменчи». Прямому переводу на русский язык это слово не поддается, но означает оно — человек, делающий все приблизительно.

Нужно сказать, что среди узбеков все еще крепки родовые связи, а потому тахменчи вызовет дружное недовольство многочисленных близких и дальних родственников, если не станет их ублажать, не припишет им лишка. Получалось — одни вкалывают на полях, а их трудодни записываются другим, которые не берут кетмень в руки.

Усманов решил начать с тахменчи-учетчиков. Нет, их не прорабатывали на совещаниях, не угрожали наказаниями, не отдавали под суд. Их просто обязали в конце каждого рабочего дня выставлять на общее обозрение свой учет — кто что сделал и сколько получил. Учет труда стал наглядно доступным для каждого, любое ловкачество, передергивание в пользу родственников сра-

зу же замечалось и вызывало возмущение. Впервые простые труженики соприкоснулись с контролем, впервые начальство — пусть пока всего-навсего в лице учетчика — поставлено в зависимость от суждений рабочего коллектива.

Однако над учетчиком стоит бригадир, и если он станет распределять работы с расчетом кому-то услужить — назначать за легкий труд повышенную оплату, за тяжелый устанавливать пониженные расценки,— то и при полной честности со стороны учетчика в учете будет существовать произвол. Под общий контроль бригады ставится и бригадир, он отчитывается не каждый день, как учетчик, а раз в декаду.

Но что стоит добросовестность бригадира, если он несведущ в деле: плохо распределяет средства, неудачно расставляет силы, не использует счастливые возможности — в итоге низкие урожаи, низкие заработки, незаинтересованность труженика. А контролировать труженику действия бригадира трудно уже потому, что он сам еще менее сведущ в организации труда.

А разве положение бригады, а значит, и простых тружеников, не зависит от распоряжений колхозного руководства? Оно безупречно сведуще? А влиятельные районные руководители всегда ли компетентны в хозяйственных вопросах? При экономической безграмотности обессмысливается всякий учет.

И Усманов собирает воедино лучших экономистов области, посылает их в районы. Там они берут какой-то один колхоз, ничем особо не выделяющийся, и делают доскональный разбор хозяйства. Бригада, собиравшая большие урожаи хлопка, вдруг сравнялась с отстающими — почему? Зазнались, стали плохо работать? Работают по-прежнему, и механизаторы не подводят, и удобрений получают больше всех. Больше всех удобрений, то-то и оно. Передовой бригаде не отказывали — вали не жалеючи за счет других. И переудобренная почва вместо того чтобы давать по 40 центнеров с га, стала рожать всего по 15, столько же, сколько собирали и те бригады, которым удобрений не хватало... Колхоз из жадности накупил много тракторов, угрохал уйму денег, и трактора стали дармоедами — на мотор приходилось лишь по 193 га выработки... Или почему дорогое молоко? Да откуда же ему быть дешевым, если на 13 доярок приходится... 11 бригадиров и заведующих фермой.

Экономическая выездная бригада вникает в хозяйство, вскрывает недостатки с присущей ей квалифицирован-

ностью и... не принимает никаких мер. Она предлагает всего-навсего образец: вот как мы проанализировали, попробуйте своими силами проделать то же самое с другими колхозами. Во всех районах области возникают постоянно действующие экономические советы — чисто исследовательские, консультативные органы, лишенные какой-либо административной власти.

В эти исследовательские советы простые труженики обычно не ходят, но экономическая учеба распространяется и на них. Нет, не через лекции, семинары, скучные ученые наставления — сам труд становится школой. Усманов вводит *систему журналов,* раскрывающих каждому колхознику их хозяйство.

Первый учетный журнал — *выработки и заработка колхозника* — прост до примитива. Заполняет его все тот же бригадный учетчик, отмечая ежедневно против фамилий колхозников кто что сделал, сколько получил. Эти данные переносятся на большой лист бумаги, вывешиваемый на стену. Любой может на нем видеть, так сказать, свой рабочий портрет, выраженный в рублях и копейках. Свой портрет и портреты своих товарищей. Один учитывает всех, все контролируют одного.

Второй журнал — *полевой.* Здесь уже колхозник видит рабочий портрет всей бригады. Он состоит из трех составных частей: предпосевная и посевная, уход за посевами, уборка. Каждая такая временная часть разбивается на отдельные агротехнические мероприятия, где главным образом указываются сроки исполнения. Скажем, внесены удобрения на такое-то поле, но уже после сева, значит, вегетационный период хлопка затянулся, коробочки созрели поздно, часть их и вовсе не успела созреть, меньше урожай, ниже сортность — прямые убытки, которые бьют по карману каждого.

И, наконец, третий журнал — *учета затрат по элементам.* Это не что иное, как финансовая хирургия общего труда. Каждая рабочая операция здесь отражена в рублях и копейках вплоть до мелочей, до износа кетменей. План и реальность поставлены рядом. Скажем, на механизацию затраты оказались куда больше, чем запланировано. Плохо? Да нет, не совсем — крупная экономия на ручном труде. Всякий убыток обнажается, каждый колхозник его видит, в меру своих сил пытается ликвидировать.

Журналы эти отпечатывались в типографии, рассылались по бригадам. Одновременно проводились инструктажи, как их вести и каким способом добиваться того,

чтобы все, что в них записывается, доходило до рядового колхозника. Только самые апатичные не проявляют тут интереса, только патологические дураки не в состоянии понять; нормальному человеку посильно разобраться в хозяйственной деятельности своей бригады.

Но нельзя интересоваться своей бригадой, не сравнивая ее с другими. Колхозники с ревнивой жадностью стали следить — как работают соседи, какие получают ссуды, какие приобретают механизмы, что новенького у себя вводят. В разных местах Самаркандской области разные люди мне говорили — с каким обостренным вниманием стали слушать колхозники годовые отчетные доклады председателей: «Тихо на собрании, слова не пропустят, вроде сказку им читают».

Этим сообщениям, брошенным мимоходом, верить необязательно. Сам я на отчетных собраниях не присутствовал, удостоверить не могу. Но нельзя не верить цифрам. Усманов начал свои преобразования в 1964 году, а уже в 1965-м общий денежный доход от сельского хозяйства по области стал на 54 миллиона рублей больше. Правда, тогда же прошел мартовский Пленум, поднявший по всему Союзу закупочные цены на продукцию сельского хозяйства, в том числе (и ощутительно) на хлопок. На это надо отнести, по мнению Усманова, около 20 млн. рублей. Остается, как-никак, 34 млн. чистого дохода. За один год Самаркандская область из отстающих выдвигается в число передовых.

Никаких резервов введено не было, не осваивались новые земли, техники получали не больше обычного, не подавалось на поля больше и воды, всегда дефицитной в Средней Азии. Погодные условия в тот год тоже не были исключительными. Успехи можно объяснить только заинтересованностью труженика, которому предоставили возможность разбираться в своем хозяйстве. В своем непосредственном, ограниченно-локальном хозяйстве-бригаде.

Спустя шесть лет, во время нашей поездки по Узбекистану, Самаркандская область считалась по республике на четвертом месте по хлопку — после Ташкентской, Андижанской и бурно развивающейся Голодной Степи, куда бросались могучая техника и многомиллионные вложения. Природные условия по-прежнему явно сдерживали самаркандцев, урожаи у них оставались не рекордными — всего 25 центнеров с гектара. В Хорезмской области, не считающейся передовой, получали до сорока —

там хлопковые поля окружены раскаленной пустыней, совсем иной климат.

Зато в Самаркандской области хлопок был *самым дешевым* по Узбекистану. И это весьма знаменательно — хозяйская заинтересованность труженика в первую очередь должна проявиться в экономии средств.

Обратим внимание, какие сложные и, казалось бы, громоздкие меры предпринимались Усмановым. Составление журналов со скрупулезной, почти бюрократической отчетностью по многим, часто мельчайшим операциям — это труд дотошный, постоянный, отнимающий немало сил и времени. А журналами дело не ограничивалось, приходилось чуть ли не ежедневно переписывать данные из этих журналов на отдельные большие листы, чтоб вывесить на стену, чтоб наглядней, легче доходило до любого и каждого. К тому же проводились частые инструктажи — как составлять и как понимать составленное,— своего рода уроки экономической грамоты для не слишком-то грамотных людей. Такая дополнительная работа может кой-кому показаться, право, накладной.

А кто осмелится утверждать, что донесение знаний, просвещение достигается легко и просто? Хозяином способен быть только подготовленный, только осведомленный человек, превышающий своим развитием простого работника. Массовый переход людей с низшего уровня на более высокий, с рядовых исполнителей поручений в ранг управляющих не может совершиться сам собой, без совместных усилий обучающих и обучаемых.

Цель Усманова была чисто практическая — поднять отстающую область, получить больше хлопка. И, право же, повышение дохода на 34 млн. рублей уже полностью оправдывает дополнительные хлопоты. Но как часто случается — человек стремился к чисто утилитарным целям (удовлетворить свой желудок), а получал, сам того не замечая, нечто большее. Первый земледелец, не съевший все семена, приберегший их к весне, вместе с гарантированной сытостью обретал способность предвидеть, сознательно влиять на свое будущее.

Попробуем разобраться, что именно принесли преобразования Усманова помимо тех зримых экономических выгод, выраженных в десятках миллионов рублей.

Произошло *совмещение* эгоистических интересов с коллективными. Труженик, каждый в отдельности, хотел получить больше для себя, а осуществить это

корыстное желание мог, лишь *воздействуя на общее дело.* Многие мечтали о таких вот идеальных отношениях. Мечтали, провозглашали их, но дальше упований дело не двигалось. И мир разуверился, широко распространилось убеждение — коллектив неизбежно ущемляет интересы личности, заставляет отказываться от своего в угоду общему.

Это убеждение широковещательно, на все лады проповедуется сторонниками капитализма. Их противники — коммунисты — любят произносить высокие слова о совмещении личного и общественного, но, когда дело доходит до конкретных предложений, оказывается, что в глубине души они не верят своим громким декларациям, считают — личное должно быть подчинено общему, одно с другим несовместимо.

Вспомним, что Маркс и Энгельс в «Манифесте» предлагали «одинаковую обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий». Одно требование обязательности предполагает, что личные интересы не принимаются в расчет — все становись на казарменное положение, забудь о своем, по-армейски повинуйся.

Ленин же и вовсе высказывался с обнаженной откровенностью: «Революция только что разбила самые старые, самые прочные, самые тяжелые оковы, которым из-под палки подчинялись массы. Это было вчера, а сегодня та же революция и именно в интересах социализма требует **беспрекословного повиновения** масс **единой воле** руководителей трудового процесса».

«В интересах социализма»... Эти интересы, оказывается, противоречат интересам граждан настолько, что приходится требовать «беспрекословного повиновения масс единой воле». Ну а ежели повиновения *беспрекословного* не будет, то что же... придется — иного выхода нет — применить старую, испытанную в веках палку, а еще лучше оружие — в интересах социализма, но не человека.

Четырехтомный Словарь русского языка, изданный Академией наук СССР, слово «коллективизм» толкует так: «товарищеское сотрудничество и взаимопомощь трудящихся, основанное на сознательном *подчинении* (выделено мной.— *В. Т.*) личных интересов общественным». Благостная оговорка «на сознательном», увы, подчинения не оправдывает. О совмещении и речи быть не может, лучше уж сознательно подчини свое общему, если не хочешь, чтоб это сделали силой.

Саид Усманов, искренне считающий себя верным марксистом и ленинцем, на практике показал то, во что

Маркс и Ленин не осмеливались поверить. Я считаю, что здесь мы сталкиваемся с *экспериментальным опровержением* заблуждения, бытовавшего едва ли не на всем протяжении истории. *Коллективизм, если он не декларированный, а действительный, не подавляет личность. Там, где индивидуальные интересы приходится подчинять общим, коллективизма как такового нет и быть не может, возможно лишь сотрудничество на основе насилия.*

Итак, в нашей гипотетической идеальной бригаде мои интересы согласуются с интересами всех, с кем мне приходится жить и работать. Добиваясь своего, я одновременно добиваюсь и того, что желательно другим, значит, мои поступки не только никому не принесут вреда, напротив, окажутся полезными. Ни у кого не возникнет повода упрекнуть меня за дурное поведение. Не произошло ли тут некое нравственное возрождение?

Колхозник Самаркандской области, поставленной Усмановым в определенные условия, вынужден был вести себя так, как устраивало его самого и общество в целом. Разве это не практический пример *искусственного получения «золотого поведения» в массовом масштабе?*

А уж коль самаркандский колхозник усвоил «золотое поведение», то нет достаточных оснований сомневаться — с таким же успехом усвоят это и другие труженики.

Следует оговориться, колхозная бригада Усманова еще не тот самоуправляющийся рабочий коллектив, какой мы рассматривали. Самаркандским колхозникам было предоставлено лишь право контролировать действия бригадира, которого они не сами себе подбирали, его ставили им сверху. А это сильно ограничивает самостоятельность колхозников. Начальство через назначаемого бригадира сохраняет для себя какие-то диктаторские права и, в первую очередь, оставляет за собой последнее слово в распределении средств, в планировании, то есть в том, что составляет хозяйственную основу дохода. Доход от колхозника не прячется, ему его стараются показать во всех подробностях, даже прислушиваются к мнению. Но только прислушиваются. Полным хозяином дохода колхозник еще не стал. Не хозяин, а пока что работник, которому оказывают доверие. Но и такое доверие, как мы видим, ощутимо влияло на людей.

Нельзя рассчитывать, что общественные изменения произойдут моментально, неким революционным скачком. И меньше всего можно ждать, что наемный работник скачкообразно превратится в хозяина. Предоставить сразу ему самостоятельность — распоряжайся хозяйст-

вом! — когда он не имеет для этого ни достаточных знаний, ни организаторских навыков, значит дискредитировать работника в новой роли. Скорей всего, для начала следует его допустить к управлению хозяйством с правом *совещательного* голоса. Лично мне усмановская форма доверия кажется отнюдь не полумерой, а необходимым переходным этапом, своего рода подготовительными курсами к коллективному самоуправлению.

19

30 июня 1965 года, когда Усманов проводит первые преобразования, «Экономическая газета» откликается обширной статьей «Самаркандский почин». В следующем ее номере — новая статья «Самаркандскому почину — широкий размах», где крупным шрифтом набрано: «Центральный Комитет Компартии Узбекистана одобрил почин Самаркандского обкома и райкомов партии по организации экономической учебы кадров и созданию системы экономической работы на селе».

На следующий год Политиздат выпускает брошюру С. Усманова в соавторстве с журналистом А. Комаровским «Большой хашар»[1]. Тираж скромный — 15 тысяч экземпляров. Однако в предисловии к ней сказано: «Полезная книга!.. Год работы по-новому показал, что путь, избранный самаркандцами, правилен...»

И все кончилось. Дальше полное молчание.

Тогда же или чуть позже за пределами Узбекистана разыгрывается трагедия другого экономического новатора. Иван Худенко, тесно связанный с союзным министерством сельского хозяйства, выехал в Казахстан и взял на себя руководство целинным совхозом. Он организует компактные производственные звенья, предоставляет им на определенных условиях самостоятельность. Резко уменьшается себестоимость продукции, сильно возрастают заработки рабочих, и совхоз, который всегда испытывал недостаток рабочих рук, может сократить число своих работников... чуть ли не в пять раз! Худенко снимают с совхоза, судят якобы за финансовые нарушения, дают восемь лет лишения свободы, он умирает в тюрьме.

---

[1] Хашар — узбекское слово, соответствующее ныне почти забытому русскому «помочь», т. е. помощь односельчан кому-то одному. «Кто на помочь звал, тот и сам иди».

Но Усманов продолжает оставаться на своем месте, и спустя семь лет колхозники Самаркандской области контролируют своих бригадиров, вникают в производственные журналы, с обостренным вниманием слушают отчетные доклады...

Я поместил о них очерк в журнале «Дружба народов» и поскромней, посдержанней — в «Правде». Не это ли было последним камнем, обрушившим лавину? Через некоторое время я узнаю — Усманов снят с жестокими обвинениями в саморекламе и очковтирательстве.

Не раз мне приходилось беседовать с Рашидовым об Усманове. Он читал и хвалил мой очерк о Самарканде. Но ощущалось — высокий начальник Усманова относится к нему сдержанно, если не настороженно, прямых осуждений, однако, не высказывалось, напротив, даже выражалось осторожное согласие, когда я распространялся об общественной значимости «самаркандского почина». Очковтирательство?.. Я не скрывал перед Рашидовым, что хочу писать для «Правды», уж он бы должен, казалось, остановить меня, чтоб не допустить «очковтирательство» до публикации в столь почитаемом им органе. Нет, это вменили Усманову позднее. Ну, а о саморекламе Усманова и говорить не стоит — недоброжелательное молчание окружало его.

Обычное понижение для руководителя такого ранга — заместитель министра какого-нибудь республиканского министерства. Усманова ставят заместителем директора по хозяйственной части Института хлопководства. Спасибо и на том, что не посадили.

Незадолго до его снятия все центральные газеты на первых полосах поместили сообщение о выполнении Узбекистаном плана по хлопку. Самаркандская область по-прежнему фигурировала в числе лучших.

Но почему все-таки?.. Для рашидовых же очень важно поднять экономику. Благодарность населения за возросшее благосостояние будет обращена и к ним. Оклеветать и сбросить Усманова — не значит ли уподобиться свинье из басни Крылова, подрывающей корни дуба, с которого ей падают желуди?

Секрет помогает раскрыть сам Усманов. Подводя первые итоги, он пишет: «Не случайно за весь 1965 год в области не было ни одного случая, чтоб председателю колхоза или директору совхоза кто-нибудь указывал: в какой срок надо сеять, когда культивировать, когда приступать к уборке урожая».

Указывать в прежней форме становится невозможно, люди сами знают, что им делать,— корректируй, советуй, но не командуй. Однако при этом и сам не сможешь выполнять командные приказы от вышестоящих начальников, коль доверенные твоему руководству люди поступают самостоятельно. Необходима перестройка всей системы сверху донизу, в первую очередь перестройка сознания самих людей, гнездящихся в руководящих инстанциях.

Но система жестко подчиненных друг другу служащих на протяжении многих лет производила не запланированный, не искусственный, а стихийный отбор, выдвигала наверх людей с определенными качествами. Самостоятельно думающий человек должен чаще выходить из подчинения, подводить свое начальство, а потому предпочтение всегда отдавалось покладистым и активным исполнителям. Они быстрей росли, занимали ключевые позиции. Не совсем подходит и тот, кто наделен от природы душевной отзывчивостью, от него нельзя ждать безжалостной требовательности — делай, и баста, не желаю входить в твое положение! — для исполнительного службиста это недопустимая слабость. Врожденная честность тоже серьезная помеха, так как постоянно приходится подлаживаться под требования начальства, а не самой жизни, проявлять угодливость, изворотливость, кривить совестью. Честный человек неуютно чувствует себя в службистской системе, зато бесчестный в ней — как рыба в воде. Идут вверх по службистской лестнице люди с неприглядными личными качествами, хотя, разумеется, не бывает правила без исключения.

Изменить характер системы — значит наткнуться на ожесточенное сопротивление тех, кто добрался до власти благодаря некоей ущербности. Согласиться с Усмановым — значит вынести смертный приговор себе. И Усманов принесен в жертву...

Ни для кого не секрет — в стране существовала и существует глухая оппозиция к службистскому государственному руководству, остро критикующая всякую неприглядную чиновную акцию. Эти оппозиционно настроенные люди считают себя носителями передовых взглядов, передовой общественной мысли. Уж, казалось бы, они-то должны были оценить деятельность Усманова, возмутиться произволом. Ничуть не бывало.

Гонимая «Хроника», выпускаемая подпольным самиздатом, с достойным мужеством сообщала о множестве

событий, старательно скрываемых от населения: обширные сборища у памятника Пушкину, насильственный разгон бульдозерами выставки художников, политические аресты и судебные инсценировки — ничто не пропускалось. Но экономические преобразования в Самаркандской области, длившиеся семь лет, в поле зрения «Хроники» не попали.

Внимание оппозиционно настроенной общественности — не только внутри нашей страны, но за ее пределами, во всем мире — сосредоточивается на героях-борцах. Кто громче провозглашает анафему существующим порядкам, тот и истинный борец с неправедностью. И хотя мы одурели от вечных призывов к непримиримой борьбе, тем не менее вновь с надеждой обращаемся к ней, видим в борьбе единственный способ влияния на жизнь. Иных и не представляем.

Не пора ли понять, что *борьба как таковая — процесс не созидательный, а разрушительный, в лучшем случае способный сломать старое устройство, сотворить же новое — нет!* Коль борьба новое создать не может, то после ее окончания жизнь вновь начнет восстанавливаться по старым образцам, только неизбежно неся на себе следы увечья.

Старое тогда лишь начнет претерпевать качественные изменения, когда в нем возникнет некий созидательный процесс, ему, старому, противоречащий. Он не может быть броско заметным, в слабом ростке трудно углядеть победную силу. Учетчик и бригадир, ответственный перед колхозниками,— казалось бы, какая малость по сравнению со вседержавной, всеподавляющей государственностью. Вседержавие почувствовало-таки эту неброскую опасность, а противники вседержавности созидательного процесса не заметили. По-прежнему рассчитывают борьбой изменить мир, как рассчитывали их отцы и деды, залившие кровью страну во имя иллюзорно-светлого будущего.

Упаси, боже, хоть на этот раз наше отечество от таких преобразователей!

Не утопия ли — призывать к созиданию вопреки тем, кто от имени государства облечен неограниченной властью? Мы уже знаем, что эти властители прошли через стихийный отбор сложившейся системы, которая отметала от себя людей с достойными человеческими качествами и подымала наверх немыслящих, жестокосердных, угодливо-бесчестных. А они, лишенные ума

и совести, не постесняются любое опасное для них созидание затоптать без содрогания в самом начале.

Похоже, мы сталкиваемся с воистину неразрешимыми противоречиями. На добровольное общественное переустройство со стороны государственных властителей рассчитывать бессмысленно — ведь оно смертельно для них! Однако подыматься на насильственную борьбу с ними, вновь раздувать революцию, лить кровь, порождать разруху — тоже бессмысленно, ибо, добившись победы, мы неизбежно вынуждены будем подавлять недовольных побежденных, прибегать к насилию, то есть возвратимся на исходные позиции. Как быть?

Некогда господам-рабовладельцам тоже казалось едва ли не самоубийственным актом — предоставить рабам землю. Тем, кого испокон веков заставляли работать лишь из-под палки, вдруг предложить — трудись без принуждения. Разве можно гарантировать, что раб не запустит землю, не доведет до обнищания господина. Для рабовладельца довериться рабу означало — поставить себя в зависимость от него. Весь опыт предыдущей жизни, тысячелетиями сложившаяся психология поддерживали это убеждение.

И все-таки крутая нужда заставила господ согласиться на то, что казалось неприемлемым. Не классовая борьба, не страх перед восстаниями, а житейская нужда, возникшая в процессе развития.

Если б капиталисту-воротиле конца прошлого века, тому же Генри Форду, сказали, что его прямые наследники, не лишившись наследства, окажутся лет через семьдесят не хозяевами своих предприятий, он счел бы это нелепым абсурдом. А тем не менее процесс отхода капиталистов-хозяев от непосредственного управления разросшимися корпорациями начался еще при жизни таких промышленных самодержцев, как Генри Форд.

Обезличивание собственности в нашей стране — «всё всем до лампочки!» — бьет по труженику, для которого нет мяса в магазинах, но одновременно сильно осложняет и бытие наших высокопоставленных руководителей. Любая организационная деятельность у нас затруднена махровым бюрократизмом и все той же экономической бедностью. Любой руководитель постоянно попадает в конфликтную ситуацию с руководителем более высокого ранга, безапелляционно требующим выполнения, но не создающим должных условий. В системе служащих по найму у государства нет мира и лада, в ней постоянно

господствуют страх перед наказанием, чувство ненадежности завтрашнего дня, вечные тревоги перед фатальными неожиданностями. Все, от низовых службистов до самых высоких, живут дерганой, неупорядоченной жизнью. И чем выше по лестнице забрался службист, чем многочисленней под ним штат подчиненных, тем больше у него шансов налететь на неприятность. При Сталине занимать высокий пост было попросту смертельно опасно. В вечных смертельных опасениях жил и сам Сталин. Только наивные люди, видя неприступно властных, всем обеспеченных высокопоставленных чиновников, считают, что они пребывают в величавом благоденствии. Грубейшее заблуждение! Им в своей системе тоже неуютно. В их руководящей среде родилось выражение — «дрова диктатуры». Каждому приходится сжигать себя, «гореть на работе», не давая тепла.

Под влиянием доктрин классовой борьбы до сих пор мы еще наивно убеждены, что наиболее сокрушительные идеи, наиболее решительные действия против узурпаторских классов исходят из закабаленных слоев. Нет, они преимущественно возникают в глубине этих узурпаторских классов, проводятся в жизнь их прямыми представителями.

Народное пугачевское восстание несло в себе всего-навсего заношенную, утопическую идейку доброго царя-батюшки. Окажись восстание победным — остался бы царь, возникло бы новое (куда менее просвещенное) дворянство, которое с еще более жестоким принуждением заставляло бы мужика кормить себя. А вот взгляды Радищева на свое общество, на тот класс, к которому он принадлежал, были для своего времени принципиально новыми, положившими начало освободительному движению в России.

Герцен, громогласно выступивший против самодержавия, олицетворявшего дворянство, был из числа родовитых дворян. Даже разночинцы, вложившие немало сил и таланта в борьбу против крепостничества, выходцами из крепостных не были. Чернышевский, скажем,— из семьи достаточно высокопоставленного священнослужителя.

И нет, не притесняемые рабочие создали теорию насильственного сокрушения капитализма, а сын советника юстиции (генеральский чин) Маркс и фабрикант Энгельс.

Иначе и быть не могло. Косность среды должна порождать *внутри себя* противников.

В нашем властвующем чиновничестве уже сейчас появляются фигуры, противостоящие службистской системе. Тот же Усманов — бывший секретарь республиканского ЦК, первый секретарь крупного обкома. Погибший в тюрьме Худенко — член коллегии союзного министерства. Посаженный в сумасшедший дом, затем выпровоженный за границу Григоренко — генерал. И Сахаров не только ученый-академик, он был еще и влиятельным представителем засекреченного министерства, как никто, обласканный государственными властями, что не помешало ему начать против них решительные выступления.

А вспомним, что беспощадная сталинская система вызвала аппаратное восстание (не назовешь иначе) во главе с Хрущевым. Да, оно было крайне непоследовательным и нерешительным, но тем не менее расшатало абсолютизм власти, внесло разлад в существующие порядки. Система кое-как стабилизировалась, продолжает функционировать, но уже не с той диктаторской силой.

Нетерпеливые сторонники незамедлительных прогрессивных перемен с завидной категоричностью и гневом выставляют новаторские требования властям: даешь гражданские свободы, демократию, даешь нравственное возрождение! Эти пафосные требования говорят не только об ограниченности новаторов, но и о их рабской сущности. Только с точки зрения раба представители власти — полные господа положения, настолько всемогущи, что стоит лишь им пожелать, как *все* исполнится, *все* свершится. ***Расчет на господ не может возникнуть в сознании свободного человека.***

Представители власти больше, чем кто-либо, рабски зависимы от сложившегося общественного устройства. Они не могут заставить социальную машину совершать то, к чему она не приспособлена. Разрешить, скажем, гражданские свободы, когда все граждане построены в службистскую иерархическую лестницу, где занимающие нижнюю ступеньку беспрекословно подчиняются восседающим на верхней, значит нарушить подчиненность, внести разлад, неупорядоченность, хаос в действия общества. А нет ничего страшнее неупорядоченного общества, где все взаимосвязи нарушены, согласованность отсутствует, каждый поступает, как ему заблагорассудится. Жизнь превратится в кошмар. Ради сохранения общества придется восстанавливать порядок. Как? Да прежними приемами, вновь прибегая к подчинению, но только уже более жесткому по причине возросшей неупорядочен-

ности и неуправляемости. Всевластные правители бессильны что-либо сделать, пока общественное устройство остается прежним. Надо иначе выстроить общество.

Совсем иначе, не похоже на то, что есть? Но невозможно совершенно отказаться от того, что сложилось на протяжении всего развития человечества. Какие бы изменения ни свершились, старое станет окружать нас, жизнь будет держаться на прежних накоплениях, как материальных, так и духовных. Новое вырастает на той почве, какая была, в прежней атмосфере, а потому ничего нет бессмысленней, как во имя нового безоглядно разрушать *все* старое.

Создание рабочих самоуправляющихся коллективов вовсе не требует разрушения, сплошной ломки, все остается на прежнем месте, но возникает необходимость приспосабливаться к новому явлению, а значит, и внутренне меняться.

Как ни косны и нравственно ущербны современные представители власти, но бурно развивающееся обезличивание собственности поставит их вместе со страной в столь кризисное положение, что они тоже придут со временем к необходимости предоставить труженику такие условия, где он смог бы почувствовать себя хозяином. Весь вопрос, насколько быстро это произойдет, какие осложнения и психологические барьеры придется преодолеть? Не исключено, будут совершаться отчаянные рывки вспять, службистская система, чтоб приостановить общественную расхлябанность, может вновь ухватиться за сталинские методы — за двадцатиминутное опоздание на работу или за сорванный на поле десяток колосков давать по пять лет лагерей. *Но как сталинские жестокости не могли накормить страну, так и их повторение не принесет ничего, кроме массовой озлобленности к властям, повального отвращения к труду. Озлобленность масс еще можно подавить силой оружия, отвращение к труду не уничтожить никакими репрессиями. Один выход — завоевать доверие труженика, а это возможно, лишь предоставив ему хозяйскую самостоятельность.*

Как только будет признана такая необходимость, службистская система начнет меняться. Вместо того чтобы спускать сверху грозные приказы, требовать, не считаясь ни с чем, беспрекословного исполнения, придется учитывать и совокупные интересы тружеников, и сложившуюся вокруг них обстановку. Не навязывать действия, корректировать их... Без анализа и обобщения

изменчивой действительности, без творческого подхода к жизни этого не совершишь, потому исполнительные приспособленцы и беспринципные прохвосты тут придутся не ко двору, будут выпадать из руководства.

Характерно, что Усманов сразу же с этим столкнулся. Один из секретарей райкомов, некто Ишкуватов, открыто заявил свое с ним несогласие. Разумеется, отнюдь не всегда «выпадание» произойдет столь осознанно и добровольно, просто руководители перестанут справляться с новыми для них задачами. Возникновение принципиально иной системы потребует выдвижения людей, наделенных совсем другими человеческими качествами, вновь начнется отбор, тоже стихийный, никак не искусственный, без применения каких-либо репрессивных мер по отношению к руководителям старого типа.

Но еще и еще раз — нельзя рассчитывать на быстрое, революционно-скачкообразное преобразование. Одно то, что должно произойти массовое перерождение не чего-нибудь, а человеческого характера, не дает нам оснований рассчитывать на скачок в ходе истории.

Человеческие характеры не изменятся, если не изменится социальное устройство. Но в то же время социальное устройство само зависит от людей, их поведения, их привычек, их нравственного уровня. Одно зависимо от другого — единый, слитный процесс, который скоротечным быть не может, скорей всего, он должен иметь протяженность в масштабах истории. О длительности его гадать сейчас бессмысленно. Переход от рабства к крепостничеству занял около четырех веков, если не больше. Переход от крепостничества к капитализму уложился в рамки едва ли не одного столетия. Темпы развития убыстряются.

Государство не сможет приказывать труженику — делай то-то и так-то, не сможет наказывать его, если он не справился с делом. Одно право останется у государства — брать с труженика некие отчисления в пользу общества, да и то оно должно будет делать это с осторожностью. Если государство начнет забирать у труженика слишком большую часть дохода, то неизбежно подорвет его личную заинтересованность — зачем ему стараться увеличивать доход, коль тот идет мимо кармана. Наплевательское отношение к доходу станет сопровождаться наплевательским отношением труженика к своей работе, а это — развал самоуправления, полная неупорядоченность в хозяйстве. Нет, государство будет поставлено

в такое положение, что не сможет лишка рвать с труженика, иначе вызовет экономический развал.

Не выходит ли, что государство превратится в некую всенародную организацию, занимающуюся коммунальными услугами — строит дороги, опекает школы, больницы, научные учреждения, делает все то, что нужно обществу, но не может быть осуществлено отдельными предприятиями? Не лишается ли тут государство власти? Не подтверждение ли это марксистского пророчества об «отмирании государства»? Ибо безвластное государство в полном смысле слова «государством» уже назвать нельзя.

«По Марксу,— пишет Ленин,— государство есть орган классового **господства,** орган **угнетения** одного класса другим...»

Никто столь сильно не способствовал абсолютизму государственной власти, как Ленин, и никто не ненавидел государство так, как он. «Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, т. е. всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще». «...Всякое государство есть «особая сила подавления» угнетенного класса. Поэтому **всякое** государство **не**свободно и **не**народно».

Да, государство появилось с возникновением рабства, когда трудовые отношения начали строиться на «организованном и систематическом насилии».

Труд по найму не уничтожил антагонизма в обществе, а потому и государство по-прежнему вынуждено было прибегать к принудительным мерам — силой подавлять антагонистические вспышки, защищать права хозяев как организаторов трудовых процессов.

При самоуправлении рабочих коллективов труд по найму исчезает, стирается различие между хозяином и работником, надобность в принуждении отпадает, а тогда и государство должно утратить былые принудительные функции, «организованным и систематическим насилием» его уже никак не назовешь. Но разве принуждением ограничиваются государственные функции?..

Наверное, сегодня нет нужды оспаривать анархические доктрины, отрицающие необходимость управления. Любая на определенном уровне сложности динамическая система, искусственная или естественная, машина или живой организм, не способна существовать без управления. И чем сложней машина, чем больше в ней составных частей и совершающихся процессов, тем трудней

добиться согласованности этих частей, тем сложней и разветвленней должен быть аппарат управления.

Человеческое общество, наверное, самая сложная из известных нам динамических систем. Может ли она обойтись без разветвленного аппарата управления?

Марксисты считали себя решительными противниками анархизма, однако в своей теории преследовали ту же конечную цель — ликвидацию государства и государственности не только как органа насилия, но и как органа управления тоже. Для тех и для других насилие и управление были равнозначными понятиями.

«...Признать,— требовал Кропоткин,— всех людей равными и отречься от управления человека человеком».

«С того момента,— утверждал Ленин,— когда все члены общества или громадное большинство их **сами** научились управлять государством, сами взяли это дело в свои руки, «наладили» контроль за ничтожным меньшинством капиталистов, за господчиками, желающими сохранить капиталистические замашки, за рабочими, глубоко развращенными капитализмом, с этого момента начинает исчезать надобность во всяком управлении вообще».

«Во всяком управлении»!.. Ленин нисколько не сомневался, что можно существовать неуправляемо. Более того, неуправляемое существование, считал он, и есть то идеальное бытие, к которому должно стремиться человечество. «И тогда,— торжествующе заявляет он,— будет открыта настежь дверь к переходу от первой фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а вместе с тем к полному отмиранию государства».

20

Но разве добиться самоуправления трудящихся не означает провести в жизнь лозунг Кропоткина: «Отречься от управления человека человеком»? Сам управляешь собой, не кто-то,— независим, не подчинен, свободен, а именно этого-то и добивались анархисты.

Вспомним, однако, что рабочие, объединенные в самоуправляющиеся коллективы, не в состоянии совместно совершать текущее управление, им никак нельзя обойтись без единого над всеми управляющего. Каждый по отдельности рабочий подчинен ему, сам же управляющий подчинен им во всем — подотчетен, подконтролен, зави-

сим от коллектива. «Отречься от управления человека человеком!» Совсем? Нет, не получается даже в самом низовом самоуправляющемся звене.

Именно потому, что рабочие допущены к самоуправлению, а значит, не кому-то, а им самим приходится преодолевать возникающие организационные осложнения, они, рабочие, не могут не осознавать насущную необходимость централизованного управления, не могут не поддерживать и не укреплять его. Но это управление, активно поддерживаемое снизу, окажется неудовлетворительным, если его осуществляют недостаточно сведущие, непроницательные, неэнергичные, нечестные люди. «Отречься от управления человека человеком» рабочие не в состоянии, наоборот, сам человек со своими достоинствами становится для них решающим фактором управления.

Если автономные ячейки производственных предприятий нуждаются в централизованном управлении, то и сами предприятия окажутся в крайне кризисном положении без всеобщего управления. Чем крупнее производственный объект, тем распространенней его связи, тем большую зависимость испытывает он от источников сырья, от заводов, изготавливающих оборудование, от организаций, готовящих квалифицированные кадры, от торговой сети, доводящей продукцию до покупателей, от многого, многого другого. Без корректирования сверху не только предприятия станут часто совершать фатальные для них ошибки, но в производственной жизни общества может возникнуть опасная несогласованность. Именно такие острейшие осложнения периодически и случались на определенном этапе капиталистического развития — кризисы, вызванные перепроизводством товаров, свертывание предприятий, массовая безработица.

Все сложные системы управления строятся в основном на *принципе самоуправления*. Самоуправление низшего уровня входит составной частью в самоуправление более высокого уровня. Основная задача высокого управления — *сохранить способность к самоуправлению низовых систем*. Самоуправляемость не уничтожает иерархию, но эта иерархия не прямого влияния, когда низший должен поступать по указаниям высшего, высший — более высшего, и т. д. до исчерпания высотности. А именно таким вот незатейливо-прямолинейным иерархическим способом и действует наше государственное управляющееся устройство.

Философская энциклопедия обращает внимание на сочетание принципа иерархического управления с принципом обратной связи, которая придает системам управления свойство устойчивости, состоящее в том, что система «автоматически находит оптимальное состояние при довольно широком круге изменений внешней обстановки».

Но может ли существовать надежная обратная связь при непосредственном прямом управлении с высшего уровня? То есть такая связь, которая несет информацию снизу вверх, от управляемого к управляющему?

Информация снизу особенно ценна тем, что возникает в момент соприкосновения с действительностью, отражает ее изменчивость.

Я — орудие исполнения, мной управляют сверху, несамостоятелен, вынужден подчиняться чужой воле, чужим указаниям, мои действия предопределены, мне нет нужды вглядываться в обстоятельства, замечать их изменения. С действительностью, да, я постоянно сталкиваюсь, но не она руководит моими поступками, а потому я недостаточно внимателен к ней, какой-либо исчерпывающей информации о ней от меня получить трудно.

Мало того, исполнителю чужой воли полностью доверять опасно. Стоит мне информировать, что сложившиеся обстоятельства мешают выполнять указания, как попадаю под подозрение — вдруг да ловчу, увиливаю от обязанностей. Во время моей исполнительской деятельности часто возникают такие явления, которые так или иначе не совмещаются с отданными мне указаниями, мне выгодней исказить их при информировании или же вовсе умолчать.

При прямом иерархическом управлении информация снизу вверх поступает туго, извращается. Обратная связь доносит смутные, порой просто уродливые представления об изменениях во внешней обстановке. Рассчитывать при этом, что система автоматически будет находить оптимальные состояния, увы, не приходится.

Совсем иное положение складывается, когда исполнители объединены в самоуправляющиеся организации — сами ставят перед собой задачи, самостоятельно их решают. Им насущно необходимо вглядываться во внешнюю обстановку, улавливать действительные изменения, получать как можно больше точной информации. Они постоянно вынуждены обращаться к своему высшему управлению. Чем четче станет действовать самоуправле-

ние высокого уровня, тем меньше возникнет досадных неприятностей у низовой самоуправляющейся организации. Для этого нужно наиболее полно, точно и оперативно информировать тех, кто находится на высшем уровне. Только при наличии самоуправления обратная связь получит надежность, только не прямая, а опосредованная иерархия самоуправления приведет к тому, что общая система станет «автоматически находить оптимальные состояния при довольно широком круге изменений внешней обстановки».

И невозможно представить себе такое время, когда в обществе «исчезнет надобность во всяком управлении вообще». Неуправляемое, неупорядоченное, хаотическое общество существовать не в состоянии. Но управление утратит примитивный характер прямого принуждения человека человеком, каждому будет предоставлена возможность — посильно проявляй себя. Самостоятельность не исключает зависимости друг от друга, иерархичность управления не обязательно должна сопровождаться угнетением.

21

Мы тут рассматривали отношения государства с тружеником — производителем материальных ценностей, чья трудовая деятельность создает конкретный результат в виде какого-то дохода. Однако государство будет иметь дело и с людьми, которые или вовсе не создают дохода как такового, или же их деятельность им не ограничивается. Рабочий автомобильного завода будет плохим хозяином, если его не станет подхлестывать стремление к личной материальной обеспеченности, к повышению доходности. Но коль режиссеры и актеры театра поставят перед собой лишь задачу повышения доходности, их следует гнать подальше от искусства. Несовместим с доходностью и труд педагога, и научного работника, и врача, и военного, и милиционера, наблюдающего за порядком, и многих, многих других.

Некоторые из таких тружеников являются прямыми агентами государственного управления, а потому попрежнему останутся служащими по найму у государства. Труд по найму утратит свой господствующий характер, но совершенно не исчезнет.

Однако и он должен сильно измениться. Если в обществе появятся автономные организации, где личность обретает самостоятельность, пользуется вниманием, оценивается по достоинствам, то невозможно нанятых служащих держать под диктаторским каблуком. Государственному служащему будет трудно оставаться лишь бездумным исполнителем чужой воли, ему постоянно придется сталкиваться с трудовыми коллективами, творчески приспосабливающимися к изменчивым обстоятельствам. Представитель государства тоже будет вынужден вникать в обстоятельства, улавливать их изменения, осмыслять их. И службистская деятельность приобретет творческий характер.

Особое значение для государства приобретают люди, создающие духовные ценности. И при нынешней-то диктаторской власти этих людей трудно поставить в положение подзависимых служащих. Государство, к примеру, не в состоянии диктаторски указывать научно-исследовательскому коллективу — как и каким образом нужно проводить исследования. По той простой причине, что исследователи проникают в область, никому доселе не ведомую.

Но это вовсе не значит, что научно-исследовательские коллективы обособлены от государства. Не кто иной, а только они способны открыть то, что может иметь угрожающие или благоприятные для общества последствия. И государство не оправдывает себя как орган управления обществом, если станет отмахиваться от информации, идущей от столь сведущих источников.

Получается, безвластные ученые оказывают влияние на деятельность государства, государство же на методы научной работы по существу влиять не способно.

Нечто сходное происходит и в отношениях между государством и работниками искусств. Художник потому и художник, что острей других подмечает изменения текущей жизни, делает их зримыми для всех. Государство как орган управления будет обкрадывать себя, если станет пренебрегать идущей от искусства информацией.

Наше нынешнее государство-диктатор боится полезной информации. Она чаще всего противоречит грубым бюрократическим приказам, смущает исполнительных службистов, а потому враждебное отношение к тем, кто несет подобную информацию, стало нормой. Государственной анафеме в свое время предавались генетики, кибернетики, сторонники Эйнштейна, писатели, теат-

ральные режиссеры, композиторы. Всем сестрам по серьгам, никто не был забыт. Подымались и превозносились псевдоученые, вроде Лысенко, или писатели типа Бабаевского.

Новое государство, положившее в основу руководства обществом принцип самоуправления, будет существовать лишь за счет поступления отнюдь не произвольной, а точной информации. И уж оно, государство, вынуждено будет — по возможности максимально — использовать интеллектуальные силы общества.

22

Каким же путем и по каким признакам станет выдвигать общество, основанное на иерархическом самоуправлении, людей в государственные руководители?

Ленин не считал нужным даже задаваться этим вопросом. «Для нас важно привлечение к управлению государством поголовно всех трудящихся». «Поголовно всех» — отбирать нужды нет. И Ленин увлеченно набрасывает пути осуществления такой соблазнительной идеи: «К управлению государством в **таком** духе мы можем **сразу привлечь государственный аппарат,** миллионов в десять, если не в двадцать человек, аппарат, не виданный ни в одном капиталистическом государстве».

Однако как будет выглядеть в натуре столь величественный аппарат, сам Ленин представлял весьма смутно — что-то вроде «всенародной милиции», подавляющей уцелевших капиталистов и прочих неугодных элементов. *Управление* и *подавление* для Ленина понятия равнозначные. Правда, все же оговаривается: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством».

«Сейчас же» — нет, пока не доросли. А дорасти весьма несложно: «Специфическое «начальствование» государственных чиновников можно и должно тотчас же, с сегодня на завтра, начать заменять простыми функциями «надсмотрщиков и бухгалтеров», функциями, которые уже теперь вполне доступны уровню развития горожан вообще...»

Что же, так оно в сущности и получилось. «Специфическое «начальствование» государственных чиновников»

с уровнем развития кухарки или прачки-поденщицы вылилось в функции надсмотрщиков, которые, право же, примитивны — давай, давай, жми! А те, кто так и остались кухарками и прачками, к столь незатейливому государственному правлению отношения никакого не имеют. Оно ведется без них, от их имени. Поэт Смеляков это выразил с грубоватой прямотой:

И того не знает дура,
Полоскаючи белье,
Что в России диктатура
И не чья-нибудь — ее.

Но как ни низок уровень полощущей белье прачки или кухарки, лишать их участия в управлении значит отказывать им в человеческой сущности. Вот только проявить себя кухарка как управляющий может отнюдь не в государстве, а на кухне. Да и то при непременном условии: если работающий там коллектив немногочислен, голос ограниченной кухарки не затеряется средь других голосов. Но если поставить ее в условия, в которых она сможет быть услышанной, принятой во внимание,— ее интересы не станут замыкаться лишь на грязной посуде, кругозор мало-помалу расширится. От ее личных способностей будет зависеть, как скоро она перерастет свой кухонный уровень.

И, казалось, вопиющая нелепость — оторвав кухарку от грязной посуды, посадить на управление, пусть даже не государством, а хотя бы пищевым комбинатом. Последствия такой акции объяснять не надо. Но подобные нелепости не просто часто случаются, они закономерны для нашей системы. Вооруженный знаниями, самостоятельно мыслящий человек всегда независимей тупицы, а потому приказывающему начальству проще опираться на тех, кто не отличается большими знаниями, оригинальностью суждений, повышенной проницательностью, зато покладист,— выдвигай его выше! Ограниченность и безликость высокопоставленных службистов не случайны. Яркие, содержательные личности остаются внизу, мало-помалу линяют под игом выскочек.

А вот самоуправляющиеся рабочие низовой производственной ячейки в буквальном смысле слова обворуют себя, если поставят над собой руководителя с развитием, не превышающим их общий уровень.

Низовые ячейки вкупе составляют производственную организацию более высокого уровня, которая столь же

самоуправляема. И в этом самоуправлении должны принимать участие самоуправления низовые. Но не всем своим наличным составом, иначе мероприятия по управлению на более высоком уровне превратятся в массовый сабантуй — не все сумеют высказать свое мнение, не всякое предложение будет возможно обсудить, не избежав дезорганизации. Есть лишь один выход — низовым ячейкам выдвинуть в общее самоуправление доверенных представителей, хотя бы тех, кого они признали руководителями.

Самоуправление ступенью выше — выше по уровню развития. Это уже не рядовые рабочие, а выдвиженцы, за кем сами же рабочие признали над собой превосходство.

И вот таким-то признанно незаурядным людям предстоит решить, кого именно выдвинуть на текущее управление. Некомпетентный, непроницательный управляющий ни для кого так не опасен, как для низовых руководителей. Любой его управленческий просчет, любая допущенная им неувязка болезненно отзовется на деятельности производственных ячеек. А потому при выдвижении управляющего второго уровня неизбежно возникнет общее стремление отыскать кандидатуру такого человека, чьи личные качества отвечали бы данному руководящему месту. И так, от одного уровня к другому, ступенька за ступенькой вверх, до самой высшей инстанции — общегосударственного правления — идут коллективные поиски наидостойнейшего. Разумеется, тут никак не исключены досадные ошибки и заблуждения, но неизбежные флуктуации течения не поворачивают реку вспять, наличие досадных ошибок не сможет изменить направленность поисков.

Осуществляется отбор, иерархичный по существу. Простой труженик участвует в выборе только своего непосредственного руководителя, передоверяя ему выбирать руководство следующей ступени... И тут-то должно возникнуть яростное возмущение сторонников демократии: выходит, что народ лишен возможности выбирать своих верховных руководителей?! Да. Принцип самоуправления несовместим с общенародными выборами. Но прежде чем возмущаться, зададимся вопросом: а существовали ли когда-нибудь действительные, а не фиктивные общенародные выборы?

Образчик древних демократических выборов оставил нам Плутарх. Афиняне общенародно выбирали, кого изгнать из отечества. «Рассказывают,— пишет Плутарх,— что, когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотесанный крестьянин протянул Аристиду — первому,

кто попался ему навстречу,— черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. «Нет,— ответил крестьянин,— я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу «Справедливый» да «Справедливый»!..» Аристид ничего не ответил, написал свое имя и вернул черепок».

А чем мог руководствоваться крестьянин, как не минутным капризом. Он не имел — и не мог иметь! — ни малейшего представления, кто из наиболее известных афинян отвечает его личным интересам, а кто способен им препятствовать.

Не будем говорить о государственной комедии всенародных выборов в нашей стране, издевательская сущность их очевидна каждому. Не многим отличается выборная кампания и в США. Какая разница, сколько кандидатур подсовывается в бюллетене избирателю, все равно они для него абсолютно невнятны, а многообещающие программы их партий никак не связываются с личными интересами. Избиратель по-прежнему руководствуется минутным капризом.

При самоуправлении простой труженик добивается осуществления своих — зримых, не эфемерных — интересов. И эти интересы не может не поддерживать выдвинутый им, подконтрольный ему, зависящий от него с товарищами руководитель. Интересы труженика передаются по эстафете от одной административной ступеньки к другой до самого верха. И на каждой ступеньке совершается поиск тех людей, которые по своим личным достоинствам способны оказать наибольшую помощь в реализации интересов труженика. Допустить общенародные игрища выборов государственных правителей (а они могут быть только игрищами, видимостью, нерезультативным делом!) — значит разорвать длинную, но действенно сложную связь народа со своим правительством, значит допустить произвол в создании общественного аппарата управления.

23

Подавляющее большинство вступавших на путь христианства язычников наверняка *искренне* желали следовать идее — люби ближнего своего. Искренне желали, но по-прежнему оставались внутри рабовладельческой системы, жизнедеятельность которой определялась ее специ-

фическим устройством — два противопоставленных лагеря, господ и рабов, одни принуждают других. Находясь в такой системе, человек или должен совершить насилие, заставляя работать, или терпеть насилие. Люби?.. Где уж, не та обстановка.

Мы постоянно слышим об исторической значительности нашего времени, о его исключительности: никогда еще наука не совершала таких мощных рывков вперед, никогда так бурно не развивалась техника — мы теперь перекладываем на машины не только тяжелый физический труд, но и утомительный умственный,— никогда так широко не распространялось просвещение, и планета наша теперь стала тесна, началось завоевание космоса, явление более грандиозное, чем великие географические открытия, объединяющие Новый Свет со Старым, одно полушарие с другим.

Но в куче этих поразительных событий почти не замечается одно, самое важное, самое значительное, вмещающее в себя все остальные. Производительные силы человека доросли до такого уровня, когда они уже не только способны изменить характер его существования, а преобразовать целиком. Некогда — бог знает, в какие времена! — возникла частная собственность, не она ли и породила нашу цивилизацию? Во всяком случае, все бурное ее развитие шло до сих пор в рамках частной собственности на средства производства. *Сейчас собственность исчезает!* Пройти без последствий это не может, впереди — нечто небывалое, чему еще нет названия. Самое время спросить себя: камо грядеши?

Развитие производительных сил определяет развитие жизни — элементарность, набившая оскомину еще со школьной скамьи. Зато как редко мы вспоминаем о том, что жизнь не следует с услужливой поспешностью за развивающимися производительными силами. Какое-то время она течет по инерции, сохраняя старый уклад, старые привычки.

Инерция тем непреодолимей, чем интенсивней шла жизнь в старом русле. Самое завершенное рабовладельческое общество — могущественный Рим — обладало и самыми развитыми для своего времени производительными силами. Однако как нигде прочно укоренившееся рабство держало Рим в косной неподвижности. Варварам же приходилось рвать лишь истлевшие патриархальные корни, и они быстрее приняли крепостнические порядки.

Инерция сковала сейчас нас, в каком бы месте земного шара мы ни находились: по-прежнему господствует труд

по найму, по-прежнему управление ведется через принуждение, по-прежнему раздирают антагонистические отношения. И мы на разные лады бессильно повторяем: «Люби ближнего!» Бессильно, без былой страстности, без надежды на успех.

Стремительный рост производительных сил и косность общественного устройства — грозное несоответствие. Оно уже теперь приводит к устрашающей неупорядоченности жизни. По сути, происходит энтропический процесс.

Разве не признак энтропии — обезличивание собственности? Не мое, не чье-то вообще, бесхозяйское — всеобщая незаинтересованность, всеобщее безразличие к жизни, всеобщая дезорганизация труда!

Разве не признак энтропии растущее безразличие к человеческим достоинствам, и прежде всего к интеллекту? Уникальное свойство человека в человеческой среде не вызывает признания, а враждебность — да, постоянно! Не симптом ли это духовного самораспада? А крайняя неупорядоченность наших отношений с природой разве не энтропична по существу?

Мне могут возразить: все это наблюдалось и прежде, существовало в оны времена; и незаинтересованность труженика в собственности, и враждебное отношение к мыслящему со стороны ординарных тупиц никак не внове. И с природой наши предки не особенно церемонились, вырубали леса, превращали земли в бесплодные пустыни. Все было, но не в такой масштабности, не столь всеобъемлюще, носило частный характер. А частные случаи неупорядоченности еще нельзя назвать энтропией, потому что они не исключают обратимости. Сейчас же мы не без оснований говорим о возможности необратимого сверхмасштабного процесса. Не остановим его — погибнем!

Упорядочивание нашей жизни должно начинаться с того, чем жив человек,— с труда. Предлагаемый здесь способ производства на принципах самоуправляемости никак не откровение. К нему уже давно идет мир. Коллективный труд с совместным распределением дохода неприметно всегда существовал в любом обществе. С появлением капиталистической частной собственности возникла и кооперативная. Сейчас делаются попытки в государственных масштабах привлечь рабочего к управлению своим предприятием. Но при этом не учитывается одно наисущественнейшее — самоуправление должно начи-

наться с *малых*, *простейших* производственных ячеек, *в малых* по числу членов коллективах.

Малое, а значит, и несложное хозяйство дает возможность участвовать в управлении практически каждому работнику.

Участвовать в управлении и совершенствоваться в нем.

Ограниченное число членов в самоуправляющемся коллективе дает возможность каждому быть на виду у всех, всем относиться с посильным вниманием к каждому. Личность не тонет в массах, остается самостоятельной величиной.

Самостоятельной и способной проявить свои достоинства.

И тогда хозяйство станет восприниматься всеми как свое, обезличивание собственности исчезнет. Сам же труд не замкнется на рабочих процессах, а вместит в себя интеллектуальные функции — организации, расчета, прогнозирования и пр.

Труд одновременно станет и своеобразной школой. Школой хозяйствования и школой человековедения.

Коллективное самоуправление без заинтересованности к ближнему невозможно.

«Люби ближнего» — исполнится?

Нет. Потому что эта всеблагая заповедь принципиально неисполнима. Нельзя любить всех и за все. Любовь не обязательно бывает достойным чувством, а ненависть предосудительным. Важно знать, что любить, а что ненавидеть в мире сем. А для этого нужно быть, насколько возможно, внимательным к ближнему своему.

«Люби», увы, не осуществится, а внимательность к человеку — да, станет необходимостью. Ну, а этого вполне достаточно, чтоб длительный антагонистический период рода людского кончился, началось нравственное возрождение.

Наши размышления подошли к концу. Всего-навсего размышления. Мы говорили, что низовой самоуправляющийся коллектив должен быть ограничен по числу членов, а каковы эти границы, для всех ли предприятий они одинаковы, влияют ли на них культурный уровень членов, образование — это еще надо экспериментально установить. Навряд ли можно воспользоваться существующим ныне производственным делением — на цеха, бригады и пр. Цеха в большинстве нынешних промышленных гигантов — крупные производства, вмещающие

в себя часто тысячи рабочих. Такие на самоуправление не поставишь — сложны, многочисленны, личность будет утопать в массе. Разукрупнять?.. Да, придется. Иначе получится дискредитация принципа самоуправления.

Но это значит нарушать структуру существующего производства, переиначивать налаженные технологические процессы, совершать болезненные переустройства. Старое постоянно будет помехой. А с ним нельзя не считаться, к нему нельзя не приспосабливаться. И самое неприемлемое тут — ломка, разрушение старого.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.

Сначала разрушим до основанья, а уж потом, бог даст, не знай как построим. Чем обернулась столь легкомысленная беспечность, нам теперь слишком хорошо известно. Старый мир — да, насилья! да, страданий! — все-таки единственный исходный материал для построения мира нового, более совершенного. Другого материала нет, а потому необходимо обращаться с ним крайне бережно. Прежде чем разрушать, надо подумать, что можно сберечь, как использовать, а для этого следует заранее рассчитать будущее сооружение. При этом не следует считать своих предшественников врагами, напротив — считайте себя продолжателями их.

Ежи Лец в своих «Непричесанных мыслях» сказал: «В каждой стране гамлетовский вопрос звучит по-своему». Воистину так, в США он звучит иначе, чем у нас. Но это один и тот же вопрос — быть или не быть? Как они, так и мы одинаково им обеспокоены. Однако различие в звучании создает видимость — разные вопросы себе задаем, к разному стремимся. Трагическое заблуждение, разобщающее нас.

Не существует законов развития, богом данных специально для них и специально для нас. Законы общие, на всех одни. Правда, их проявление в жизни редко когда совершается сходно. Один закон земного притяжения действует на гирю и на пращу, но как они различно ему подчиняются в одних и тех же условиях воздушной среды. Наглядное различие жизни их и нашей не может стать поводом к тому, чтобы мы думали только каждый о своем, взаимно считали, что их ответы на больные вопросы не подходят нам, наши — им. Вопросы одни,

звучание разное. А потому крайняя необходимость перевести общие вопросы на общий язык, сообща на них отвечать.

После этих призывных строк мне впору расхохотаться над собой — мне ли вещать о сообщности?! Сижу и пишу тайком, страшусь, как бы случайно не пронюхали об этом. Преступление — указываю на роковые заблуждения, которыми переполнена наша история. Преступление — открываю глаза на тяжкие недуги нашего общества. Преступление — называть вещи своими именами, неприкрыто говорить правду.

Страшусь, прячусь, а не честнее ли с открытым забралом вступить в сражение?

Я всегда не доверял тем, кто пытался играть незамысловатую роль Дон-Кихота, отважно кидающегося в схватку с ветряными мельницами. Честная, но безрезультативная отвага — для меня проявление оригинальной глупости. Глубоко убежден, что сражением нельзя внушить истину. Сражение не бывает без насилия, пусть даже духовного. Истину признают лишь тогда, когда в ней нуждаются. Сейчас же все, что я говорю, может вызвать бешенство — не доспело, час не пробил.

Когда пробьет — не ведаю.

Слушай, будущий читатель: ты вместе со своим временем должен быть умнее и прозорливее меня, заранее жду твоих сомнений, огорчительно, если не смогу их услышать. Не пророк здесь вещал — пытался вдумываться всего-навсего человек, кому не чуждо самое распространенное человеческое — способность ошибаться.

1969—1973

Нравственность и религия

Не верю и не отрицаю

По забитому курортниками морскому пляжу идет юноша — косматая борода, длинные волосы, загорелое, мускулистое тело и в ложбинке между тугими буграми грудных мышц — наперсный крестик. Все равнодушно провожают его глазами — нынче мода на бороды, на длинные волосы, на расклешенные джинсы, на приталенные рубашки и на нательные крестики тоже... Никто не удивляется.

Парень с наружностью юного Иоанна Крестителя опускается рядом со мной, и я не удерживаюсь, спрашиваю:

— Ты что — верующий?

Он бросает мне с великолепной небрежностью — избранник — стадному существу:

— Не верю и не отрицаю.

Мне не раз приходилось выступать перед читательскими аудиториями научно-исследовательских и учебных институтов. За последние годы ни одно (буквально ни одно!) выступление не прошло без того, чтобы не подошли и не задали ставшие уже традиционными вопросы:

— А почему, собственно, вы воюете с религией? Так ли уж она вредна обществу? Не несет ли неверие моральный ущерб?

Спрашивают профессора, люди известные, широко образованные, мыслящие. Далеко не все из них читали Ветхий и Новый завет. Те, кто читал, принимают их, как принимаю и я,— памятники культуры прошлого. Но представить, что родившиеся в XX веке, двигающие вперед науку люди верили всему, что написано в Библии и Евангелии, просто невозможно. Они осведомлены о новейших антропологических находках, спорят о преимуще-

ствах той или иной космологической гипотезы, знают о расширяющейся Вселенной, квазары, пульсары, «черные дыры» вкупе с терминологией теории относительности и квантовой механики не сходят у них с языка. Нелепо даже думать, чтоб они могли всерьез воспринимать рассуждения о шести днях творения, о Еве, созданной из ребра Адама, содрогаться от наивных кошмаров Апокалипсиса Иоанна. И все-таки кое-кто из них может сказать о себе словами бородатого юноши: «Не верю и не отрицаю».

В данном смысле якобы миротворческая позиция «не верю и не отрицаю» приносит вред, который неожиданно может обернуться даже трагедией. Проповедники сентенции напирают в основном на непротивление, ибо отрицать или не отрицать — значит бороться или нет, стараться помочь или быть безразличным к чужому чувству, переживанию.

Заранее оговариваюсь, я тут вовсе не рассчитываю переубедить ортодоксальных верующих. Я адресуюсь главным образом к тем, кто «не верит и не отрицает», видит в религии некое спасительное средство от скверны, разъедающей род людей.

Лицом к религии

Сегодня даже рядовой обыватель с тревогой задумывается над судьбами мира. Пугает его и термоядерная «взрывчатка», запасы которой сейчас достаточно велики, чтоб превратить Землю в братскую могилу, и промышленность, отравляющая среду. Пугает сверхинтенсивное, граничащее с хищничеством использование сырьевых ресурсов. Пугает неудержимо разрастающееся население на земном шаре — демографический взрыв, обещающий удушающую тесноту в не столь уже и далеком будущем.

И почти каждому ясно, что все эти грозные проблемы могут быть решены человечеством только сообща, путем взаимного согласования и договоренности между собой. А как согласовать и договориться, когда все человечество разобщено, разодрано антагонистическими противоречиями? Как рассчитывать на взаимопонимание, если злоба, обман, насилие — не исключительные, а широко бытующие явления? За шесть тысячелетий обозримой истории человечество достигло головокружительных успехов во

всем, кроме нравственности. Моральные заповеди легендарного Моисея и теперь еще по-своему актуальны. То, что за толщей веков считалось предосудительным среди диких кочевых племен, постоянно повторяется среди нас, отравляет нашу жизнь.

Во взаимопонимании наше спасение, а при низкой нравственности оно исключено — человек просто не в состоянии понять другого человека. В нравственности наше будущее, но как ее поднять, чем ее усовершенствовать?

С незапамятных времен по всей истории страстным рефреном звучат эти вопросы. Плач безымянного «вавилонского Экклезиаста», сохранившийся для нас среди глиняных табличек библиотеки Ашшурбанапала, перекликается через тысячелетия с голосами Достоевского и Толстого.

Как бы страстно ни желали наши предшественники спасительной нравственности, какие бы бедствия ни предвидели они от ее упадка, они не могли желать ее сильней нас, не могли даже и представить себе столь грозных, столь близких, столь конкретно реальных, катастрофических для всего мира — для всего! — опасностей, какие нависли над нами.

Мы в смятении оглядываемся назад, пытаемся найти, как и чем рассчитывали поднять нравственность те, кто жил до нас? Были же у них какие-то надежды, пусть только надежды, не исполненные, непосильные для них, но — возможно, посильные для нас? Оглядываемся и приходим к удручающему выводу: надежды прошлого наивны и беспомощны, жизнь беспощадно опрокинула их.

Еще в начале нашего века продолжали надеяться, что развивающаяся наука, способная познать секреты природы, сумеет открыть и секрет человеческих отношений, научит людей нормам общежития. В наши дни это кажется уже безнадежной утопией. Ученые первые заявляют, что, сама по себе «ни добрая, ни злая», наука не в силах заставить людей не убивать, не лжесвидетельствовать, забыть зависть, корысть, недоброжелательство к ближнему. Она, наука, способна увеличить силы и возможности людей в достижении полезных целей. Но может оснастить могучей техникой заведомых насильников и убийц. Нет, на науку нечего рассчитывать.

Ну, а на культуру?.. Считалось, стоит только вырвать человека из невежества, открыть ему доступ к знаниям, к искусству, к литературе с ее благородными идеями и характерами, как он, поумневший, начнет понимать

соседа, проникнется к нему уважением, мир и лад восторжествуют над изнемогающим от раздоров родом людским. Нельзя совсем отрицать какое-то благотворное влияние культуры на человека, но это благотворное влияние начисто утрачивается при бытующих неприглядных обстоятельствах. Какой бы высококультурной личностью ни был хозяин предприятия, но если он станет из благородных побуждений платить рабочим больше других, то его предприятие станет выдавать более дорогую продукцию, не выдержит конкуренции. Благородный хозяин прогорит, пустит по миру себя и свою семью. Объективные обстоятельства заставляют его забыть о благотворном влиянии культуры, поступать вопреки ей.

Да и так ли уж прямо зависит нравственность от культуры? Племена, стоящие на крайне низком культурном уровне, порой поражают своими нравственными устоями. А среди высококультурных людей безнравственное поведение отнюдь не редкость.

На голом культуртрегерстве далеко не уедешь.

Совсем недавно казалось: единственно действенное, что может изменить отношения людей, это — полное экономическое благополучие. Если исчезнет нужда, то исчезнут и корысть, зависть, злоба к ближнему, появятся терпимость и доброжелательство. «Любовь и голод правят миром!» Долой голод и да здравствует любовь! Но, увы, эти благие мечтания не подтверждаются. И корысть, и злоба, и обман, и вражда свойственны сытым в не меньшей мере, чем голодным.

Итак, ни наука, ни культура, ни столь вожделенное экономическое благополучие не способны действенно помочь укрепить нравственность. Тогда на что же еще уповать?

Как тут снова не повернуться лицом к религии, которая не одно тысячелетие самодержавно диктовала нравственные нормы людям.

Достоинства религии

Не отмахнемся, вглядимся без предубеждения, попробуем увидеть то, что может в ней привлекать.

Религия основана на вере, бескомпромиссной, абсолютной, не допускающей сомнений. Верь в то-то и то-то, поступай согласно своей вере — вот бесхитростная формула поведения, предлагаемая религией человеку на все

случаи жизни. Заполнив безликое «то-то» конкретным требованием (как в математике икс — готовой константой) — «люби», «не убий», «не лжесвидетельствуй», верующий обретает нужное правило, подчиняться которому считает своей святой обязанностью. Такова несложная механика религиозно-нравственного совершенствования.

И в этой бесхитростной простоте есть свой здравый смысл. Нелепо доказывать, что убийство — недопустимый поступок, что заведомое лжесвидетельствование — дурно, что жить в любви к ближнему — хорошо. Эти немудреные истины и без всяких доказательств знает любой и каждый с раннего детства на опыте своей жизни. Провозглашаются они не для того, чтобы сообщить нечто новое, неведомое, а для того, чтобы заявить об обязанности, которую верующий принимает на себя, — верь и поступай соответственно! Говоря о религии, часто пользуются словом «учение», но она не столько обучает, сколько налаживает договорные отношения. И было бы ошибочно считать, что эти договорные отношения мнимые, не соблюдаются верующими, не оказывают никакого влияния на поведение людей.

Можно, конечно, сомневаться в эффективности такой договорной деятельности религии: две тысячи лет проповедовала она «люби ближнего», но вражда, подлость, массовые убийства переполняют историю, и сами глашатаи «любви» высокой нравственностью не отличались — лгали, подличали, во имя любви жгли на кострах. После столь длительных усилий нам теперь, увы, вновь и вновь приходится ратовать за те же моральные нормы, ей-ей, с не меньшей страстностью, чем это делал Христос. Однако любой верующий тут резонно возразит: откуда известно, что не было бы еще хуже, не распространись христианство со своей проповедью любви к ближнему столь широко по земле? Человечество, возможно, давно бы превратилось в скопище аморальных ублюдков, перегрызлось бы до полного вырождения.

Что ж, мы не можем доказать противное экспериментально. Больше того, мы готовы согласиться, что религия была по-своему полезна. Прогрессивной роли христианства в истории не отрицает и марксизм.

В защиту слепой, безоговорочной веры можно привести и следующие доводы.

Перед массами в любом обществе ставятся какие-то требования и цели. Далеко не всегда они настолько просты, что могут быть осмыслены с должной глубиной

любым и каждым. Наивно считать, что народ в своей массе сплошь состоит из мыслящих личностей. Скорей всего, способных вникать и осмыслять сложные задачи общества не так уж и много, подавляющее большинство, увы, находится на том уровне, который принято называть заурядностью. И если такие заурядные, не умеющие с нужной глубиной осознать общественные цели люди еще утратят способность и верить в них, то последствия окажутся крайне плачевными: нецелеустремленное, неупорядоченное, а значит, и анархиствующее общество,— что может быть страшней этого?

И потом, если перед человеком не поставить высокие цели, если от него не потребовать «люби ближнего», он воспримет что-то противоположное, скажем, ненавистнические идеи расовой неполноценности других народов. Духовный мир не может оставаться незаполненным.

Вера выступает как целенаправляющая сила. Религия, оперирующая верой, общественно организует. А так как эта религия-организатор выставляет в качестве требований человеколюбивые догматы, то она как бы оберегает общество от человеконенавистнических устремлений. Трудно даже представить себе более полезную роль.

Теперь не так уж и часто встречаются сторонники религии, которые бы с пеной у рта ратовали за незыблемость вечных постулатов, за неизменность раз и навсегда установленных догм: верую, мол, в каждое слово Святого писания, как бы абсурдно оно сейчас ни звучало.

В подавляющем большинстве нынешний сторонник религии уже ничем не напоминает замкнутого в своей вере истукана: «Верую, ибо абсурдно!» Он вовсе не считает, что мир есть нечто преднамеренно заданное, жестко неизменное. Он признает, что жизнь развивается, готов соглашаться, что эта меняющаяся жизнь не всегда будет удовлетворяться древними постулатами и застывшими догматами, какие-то из них уже сейчас утратили свое значение. Но в то же время он вполне резонно замечает: не все догматы утрачивают свое смысловое и нравственное значение, какие-то старые моральные нормы приемлемы и в наши дни. Евангельское «люби ближнего» — человечно и для нас. Легче развить старую, традиционную религиозную этику, приспособить ее под нужды современности, чем, ломая привычки и традиции, создать новое ее подобие.

Таковы доводы в пользу религии. Вполне возможно, что я тут что-то упустил, и даже существенное с точки

зрения религиозно настроенного человека. Но, думается, вряд ли кто осмелится упрекнуть меня — мол, несерьезно отнесся, упростил вопрос, принизил значение, извратил суть явления. Я постарался высказать все, чем, на мой взгляд, может привлекать религия людей. Объективно, без какого-либо намека на предубежденность признал ее возможную силу и значение.

Вера и мышление

Найдется ли нынче такой проповедник, который бы ратовал за религию ради нее самой, просто так, не имея в виду человеческих интересов?

Примем за аксиому тривиальное рассуждение: тот, кто способствует развитию разума, способствует и развитию человека, наоборот, кто тормозит развитие разума, подрывает человеческие силы. Способность мыслить — главное отличие человека, единственный источник могущества.

Однако религия выставляет на первый план как основное духовное качество человека — веру, то есть «признание чего-либо истинным с такою решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств».

Это определение веры принадлежит выдающемуся русскому религиозному философу Владимиру Сергеевичу Соловьеву. И он не скрывал, что вера противостоит разуму. «Если вера,— говорит он,— утверждает более того, что содержится в данных чувственного опыта и выводах разумного мышления, то, значит, она имеет свой корень вне области теоретического познания и ясного сознания вообще. Основания веры лежат глубже знаний и мышления, она по отношению их есть факт первоначальный, а потому сильнее их».

Вера сильнее мышления, потому что она «факт первоначальный»,— весьма категоричное утверждение и, на взгляд человека, далекого от религии, странное.

Вера — утверждение чего-либо истинным без достаточных к тому оснований. Да иначе понимать ее и нельзя — обоснованное утверждение есть вполне определенное знание. В то, что я уже знаю, верить мне нужды нет. Нелепо заявлять: «Я верю, что на Ленинских горах расположен Московский университет»,— когда известно: это факт, не вызывающий ни у кого сомнения. Если б и существование бога было столь же достоверно, как и су-

ществование Московского университета, никому бы и в голову не приходило призывать: верьте в него! Знания исключают веру, в каком-то смысле убивают ее.

А знания-то получаются в процессе мышления; не следует ли тогда сделать вывод, что и само мышление убийственно для веры, отрицает ее, а значит, и сильней ее? Как видите, вывод прямо противоположный утверждению Вл. Соловьева.

Но можно ли удовлетвориться столь скоропалительным выводом? Так ли уж мышлению чужда вера? А вдруг да и в самом деле она «факт первоначальный»? Разберемся.

Обратимся к конкретному примеру. Открытие Леверье «на кончике пера» планеты Нептун было совершено путем, так сказать, «чистого» мышления. Представим себе тот начальный момент, когда у него появилась первая мысль о существовании новой планеты. Леверье еще недостаточно знал, чтоб быть полностью уверенным в справедливости своей мысли,— не хватало подтверждающих фактов, не были произведены расчеты, которые впоследствии привели к неоспоримым доказательствам. Только осенившая догадка, но она несла в себе определенную веру, то есть утверждение существования планеты без достаточных пока что на то оснований. Нельзя сказать, что первая мысль уже несла знания,— нет, лишь эмбрион их, некую зачаточность в виде... веры. Процесс мышления начался с веры!

Ньютон сначала должен был поверить в то, что все тела притягиваются друг к другу, а уж потом доказательно вывести закон всемирного тяготения. Порфирий Петрович, следователь из «Преступления и наказания», верит, что старуху убил Раскольников, так же как и мы, читая этот роман, верим: Порфирий не остановился бы на своей вере, а, осмысляя улики, делая логические выводы, в конце концов доказательно открыл истинного убийцу, не признайся тот сам. Любой процесс мышления — будь он прост и обыденно незначителен по результатам или же чрезвычайно сложен и несет в себе великие преобразования в сознании всего человечества — начинается с некоей веры.

Вера — «факт первоначальный»? По отношению к мышлению — да. Но эта изначальная вера никогда не появляется беспричинно, ни с того ни с сего. Вера в существование новой планеты возникла у Леверье от наблюдений за другими планетами, поведение которых до тех пор было необъяснимо. Знаменитое яблоко Ньютона — своеобразная

легенда, родившаяся в научных кругах, но нечто подобное, какие-то явления, вполне реальные, отнюдь не мистические, доступные чувственному восприятию, породили догадку Ньютона, несущую в себе веру.

Порой эти реальные основания, вызывающие веру во что-то, столь малы и неопределенны, что лежат на пороге самого утонченного восприятия. В таких случаях говорят об интуиции.

Мы согласились с Вл. Соловьевым, что в каком-то смысле вера «факт первоначальный», мы должны согласиться с ним и дальше: «Вера утверждает более того, что содержится в данных чувственного опыта...» И Леверье, и Ньютон, и Порфирий Петрович — каждый утверждал своей верой больше того, что было получено ими от первых опытных наблюдений. Если б их вера утверждала ровно столько, сколько содержалось в чувственном опыте, она была бы ни больше ни меньше — просто констатацией каких-то незначительных фактов. Вера — выражение ассоциативного мышления, способного одно явление связывать с другим. Упавшее яблоко связывается с планетой, через планету — со всей Солнечной системой, со всем мирозданием. Но на первых порах эти сложные разветвленные связи не могут быть отчетливы и точны, мышление не сразу познает истинное положение вещей в природе. Мышление — процесс, цепь последовательных явлений, и начальное звено этой цепи — вера в «более того», что можно непосредственно почувствовать. Начальное звено, а потому она, вера, по причине своей «первоначальности» ближе всего к чувственному опыту, непосредственно порождена им. Вера не «свыше нам дана», у нее самое земное происхождение.

Вот тут-то начисто и кончается наше согласие с Вл. Соловьевым. Он делает вывод, что она, вера, «имеет свой корень вне области теоретического познания и ясного сознания вообще». А мы только пришли к тому, что вера не вне, а составная часть теоретического познания, существенная часть, начальный этап, значит, и говорить тут о разных корнях бессмысленно. Поэтому и заявление: «Основания веры лежат глубже знаний и мышленья, она по отношению их есть факт первоначальный, а потому сильнее их»,— для нас грешит чудовищной несовместимостью: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Основания у веры, у мышления и знаний одни — чувственные восприятия. Сам факт первоначальности вовсе не доказательство силы. Кому придет в голову утверждать, что

эмбрион, мол, в каком-то смысле сильнее взрослого человека. Или уж совсем несуразица — эмбрион, мол, сильней процесса развития человеческого организма. А именно так и поступает Вл. Соловьев, бросая безапелляционно: вера сильнее знаний, сильнее мышления, то есть того процесса, составной частью которого она является.

Сторонники этого философа могут взбунтоваться: о той ли вере идет речь у Владимира Соловьева? Он же берет веру не как элемент мышления, а как нечто самостоятельное и самодовлеющее — явление, происходящее не столько внутри личности, сколько вне ее, в обществе.

И они правы — вера религиозного человека не рождается в нем самом, не подсказана чувственным опытом или логическими умозаключениями, не его творческий акт. Она сообщается ему в готовом виде, навязывается со стороны. Веры разные? Да.

Разновидности веры

В обыденной жизни мы все без исключения — люди религиозные и нерелигиозные — постоянно принимаем на веру какие-то посылки и положения, приходящие к нам со стороны, не утруждая себя критической проверкой их, не требуя доказательств. Сами верим во что-то и навязываем веру другим.

Моя маленькая дочь тянется к огню, я решительно останавливаю ее: «Не сметь! Будет больно!» Я как бы заставляю ее верить в это самым категорическим образом, причем даже не хочу, чтобы она проверяла мое утверждение,— может еще получить ожог, пусть лучше верит на слово, так будет лучше для нее.

В статье я упоминаю открытие Леверье, оперирую им, но, ей-ей, знаю из этого открытия лишь один конечный результат — за орбитой Урана существует планета Нептун. Мне лично в жизни не приходилось видеть этот Нептун в телескоп, я со своим филологическим образованием не способен проверить математические расчеты Леверье, да если б и был способен, то вряд ли стал бы их проверять. Я верю на слово, что так и есть, Нептун не фикция. Верю, не требуя доказательств.

На обочине шоссе стрела с надписью «Объезд». Шофер сворачивает, не собирается проверять справедливость указателя опытным путем.

Вера часто руководит нашими поступками, нашим образом жизни. Вера в объявление о вербовке с выгодными условиями заставляет рабочего сниматься с насиженного места, ехать в дальние края. Мы верим в законы, инструкции, справочники, расписания, верим советам более опытных людей, да и наши знания в большинстве своем приняты некогда на веру без особой проверки.

Можно представить, каким кошмаром стала бы наша жизнь, если б мы настолько не верили друг другу, что перепроверяли бы каждое новое сообщение. Все время уходило бы на перепроверку, некогда было бы работать и отдыхать.

Оказывается, каждому в той или иной степени присущи два вида веры: одна порождается нами самими в процессе мышления, другая привносится со стороны в процессе общения. Первую по праву можно назвать творческой верой, вторую — верой общения или бытовой, так как она цементирует быт, упрощая отношения друг с другом, делая их более оперативными.

Творческая вера, как правило, преходяща, выполнив свою задачу, она умирает. И ее смерть плодотворна, через нее рождается знание.

Обратимся вновь к примеру Леверье. У него возникла гипотеза (вера) в существование новой планеты. Вера — не больше, нечто недостаточно доказательное. А раз так, то у Леверье сразу должно возникнуть и сомнение: прав ли он? Заметьте, сомнение вторично, оно порождено верой, оно ее, так сказать, продукт. Не будь веры, не было бы и повода сомневаться. Порождается противоположное, то, что выступает против веры, борется с ней. Именно эта борьба и вызывает к жизни новые доказательства, новые факты, подтверждающие или опровергающие веру,— идет процесс мышления, представляющий собой своеобразное диалектическое единство и борьбу противоположностей. Борьба веры с сомнением кончается их общей гибелью, появляется принципиально новое — твердое, обоснованное знание, при котором уже нет нужды ни верить, ни сомневаться.

Леверье убедительно доказал справедливость своей веры в существование неизвестной планеты. А вот Майкельсон и Морли, верившие в идею всемирного эфира, тончайшими опытами опровергли свою веру. Но от этого их творческий процесс оказался не менее продуктивен, они добились того же результата, что и Леверье,— новых знаний.

Будет торжество творческой веры или не будет — для людей, в конце концов, безразлично, как безразлично для математика в прямой последовательности или в обратной он получит доказательство теоремы. Не безразличен лишь результат, который добывается с помощью веры, а сама творческая вера в любом случае исчезнет, она не стабильна.

Бытовая вера вовсе не лишена стабильности. Мы можем всю жизнь неизменно верить в какие-то положения, передавать свою веру детям. В мире существует немало правил, сентенций, авторитетных утверждений, которые из поколения в поколение принимаются на веру, по-своему влияют на жизнь.

И тут, не исключено, может возникнуть возражение: а не о разных ли явлениях идет речь, правомерно ли их сравнивать? Одно рождается внутри субъекта, другое привносится извне. Одно — составная часть личностных процессов, другое — атрибут общения людей друг с другом, составная часть процессов общественных. Разные по происхождению, разные по функциям, да совместимы ли они, правомерно ли назвать их одним понятием — вера?

Но там и тут проявляется одно и то же человеческое свойство — принимать что-либо за истину, не имея достаточных к тому оснований. При творческой вере эти доказательные основания еще не найдены, при бытовой вере ими пренебрегают.

Несходство еще не признак чужеродности. Как бы ни несхожи были, к примеру, радиоволны и солнечный свет, но они родственны по своей природе, и то и другое — электромагнитные колебания.

А сейчас пора вернуться к религиозной вере. Нам должно быть уже ясно, что она, религиозная, куда больше напоминает веру бытовую, чем творческую. Как в религиозной, так и в бытовой мотив верования привносится, а не является творческим актом личности.

Религиозная вера есть «признание чего-либо истинным с такою решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств».

С какой бы решительностью я ни заставлял свою неразумную дочь, тянущуюся к огню, верить: «Будет больно!», — моя решительность не только не превышает силу фактов, а рождена теми «фактическими доказательствами», которые я ощущал не раз на себе, получая болезненные ожоги при соприкосновении с огнем.

Я принимаю на веру утверждение Леверье потому только, что предполагаю: его утверждение основано на «фактических и формально-логических доказательствах».

И вообще, во что бы я ни верил, всегда и во всем подразумеваю, что кто-то это почувствовал или логически осмыслил раньше меня. Но если вдруг на своем личном опыте, своими логическими размышлениями я открою для себя нечто такое, что противоречит моей вере, я начну в ней сомневаться, а уж коль сомнения перерастут в обоснованные доказательства, без особых угрызений совести расстанусь с тем, чему верил.

Моя бытовая вера может быть стабильна, не меняться в течение даже всей моей жизни, но только при непременном условии — если я не сталкиваюсь с фактами и доказательствами, ее опровергающими. Фактические и логические доказательства «сильней» моей бытовой веры. Стабильность еще не означает абсолютность.

Вот в этом только и отличие: бытовая вера не абсолютна, подчинена чувственному опыту и разумной логике, религиозная же отвергает и опыт, и логику, она абсолютна, самодовлеюща, все подчиняется ей, и только ей.

Одно-единственное отличие, но существенное, в корне меняющее сознание и поведение человека.

Представим себе Коперника в момент великого озарения, когда у него только что родилась творческая вера в гелиоцентричность. Вера, вызванная наблюдениями за небесными светилами, неудовлетворенностью птолемеевой системой, но пока еще не подкрепленная убедительными доказательствами. И эта хрупкая, едва родившаяся вера сталкивается с другой, которой издавна придерживался мир, которую всю жизнь принимал сам Коперник: Земля, сотворенная богом, — в центре мироздания. Каноник из Фромборка, ревностный католик, наверняка не сомневавшийся в бытии божием, был поставлен перед жестким выбором: или он должен отступить от вековой веры и сохранить только что возникшую веру творческую, или оставаться в прежней вере и подавить в себе творческое начало. Или — или, две противоположные веры несовместимы, одна отрицает другую! Коперник потому и стал Коперником, что в данном случае решился на вероотступничество.

Итак, религиозная вера по причине своей абсолютности враждебна противоречащей ей творческой вере. Религиозная вера не может признать и сомнения. А мы уже знаем, что эти два противоположных, борющихся

между собой начала — вера и сомнения — и есть, собственно, процесс мышления. Значит, религиозная вера несовместима с мышлением, враждебна ему по своему характеру.

Случается, человек, не связанный ни с какой религией, так сильно верит в какое-то устоявшееся положение, что уже не в состоянии допустить в свое сознание нечто противоречащее даже тогда, когда к этому толкают очевидные факты и доказательная логика. Что ж, это весьма распространено — бытовая вера теряет свой бытовой характер, становится столь решительной, что уже «превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств», то есть обретает чисто религиозные черты.

Религиозность проявляется не обязательно лишь в рамках узаконенной, общепринятой религии. Она, религиозность, может и стихийно возникать в сознании, возводя бытовые верования на уровень религиозной непререкаемости. Но и в этом случае она, не узаконенная, не общепризнанная,— враг творческому началу данной личности, помеха ее мышлению.

Но если религиозность мешает человеку творить, связывает его мышление, не значит ли, что она античеловечна по своей сути?

Сложность простоты

Итак, религия предлагает верующему простейшие нравственные понятия: люби ближнего, не убивай, не лги... Но как она их предлагает? С категоричной, неукоснительной требовательностью: верь вопреки всему, верь во что бы то ни стало, без всяких сомнений. И то, что столь безоглядно верить приходится не во что-нибудь, а в нравственные правила, определяющие поведение человека в жизни, усугубляет значение веры, создает впечатление исключительной необходимости, оправдывает жесткую категоричность.

Верующий невольно приходит к убеждению, что всякое сомнение в требованиях религии — безнравственно. А следовательно, чтоб стать нравственным, достойным уважения, необходимо быть постоянно настороже: боже упаси сорваться в грех сомнений, подумать на свой лад, родить мысль, не предусмотренную религиозными канонами. В конце концов нравственными, достойными вся-

ческого уважения верующий начинает считать такие неприглядные личные качества, как несамостоятельность мышления и поступков, слепая покорность. Это культивируется в нем, это предлагается ему как норма жизни, а значит, превращается в привычку, становится неотъемлемой чертой характера.

Несамостоятельность, слепая вера, страх перед сомнениями, несовместимые с творческой деятельностью,— черта характера! А коль так, то может ли верующий с таким характером творчески осмыслять другие явления жизни? Творческое-то вытравлено из него, самостоятельность-то для него безнравственна!

Такой верующий готов проявить себя исполнителем чужой воли, но сам уж пороха не изобретет. Он способен безоговорочно или принимать, или отвергать чужие мнения, но не осмыслять их. Сложное человеческое поведение он может оценивать лишь однозначно — с позиций тех привычек, которые ему свойственны: покорность — хорошо, непокорность — плохо, слепая вера в авторитет — благо, критическое отношение к общепринятому авторитету — недопустимо... Его всегда будет пугать появление нового, непривычного. Разубедить его в чем-либо невозможно, так как его убеждения замешаны на вере, не подчиняющейся «силе внешних фактических и формально-логических доказательств». Словом, такой верующий — косный рутинер.

Должен сразу же оговориться, что в природе редко встречается что-либо в предельно чистом виде. Конечно же, и «чистый» тип верующего, который под влиянием религии полностью лишился какой бы то ни было самостоятельности, исключительная редкость. Даже самые неистовые, самые яростные приверженцы религии в чем-то вынуждены отступать от категорических требований веры. Не настолько могущественна религия, чтоб полностью уничтожить человеческую индивидуальность, превратить всех в покорное, безвольное, единообразное стадо. Нам важно отметить, что в ней, в религии, есть эта тенденция.

Простота нравственных понятий, которые якобы не нуждаются в осмыслении и доказательствах, а требуют лишь безоговорочной веры, как мы видим, не исключают оглупляющего влияния, враждебности творческому началу.

А что, если мы усомнимся и дальше: эти нравственные понятия, которые внушает религия: люби ближнего, не

убивай, не лжесвидетельствуй и пр.,— столь простые и ясные на первый взгляд, так ли уж просты при внимательном рассмотрении? Может, их не всегда нужно безоговорочно принимать, может, в каких-то случаях они требуют переосмысления?

Люби ближнего... Люби, чтоб получить ответную любовь, чтоб твое существование и существование других людей не было отравлено враждой и ненавистью. Человеку свойственно отвечать на симпатию симпатией, на подозрительность подозрительностью, на недоброжелательность недоброжелательностью, а значит, и на любовь — любовью. Но такая отзывчивость — лишь одно свойство сложной и многообразной человеческой сущности. В не меньшей степени ему свойственно и нечто противоположное — скажем, вероломство или эгоизм, отсутствие отзывчивости.

Вглядимся попристальней в это «люби ближнего», не кажется ли, что тут существует противоречие? Люби ближнего, какой бы он ни был, более того, люби его, если он совершенно противоположен тебе по взглядам и поступкам.

«А я говорю вам,— произносит Христос в Нагорной проповеди,— любите врагов ваших; благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Любить того, кто ненавидит вас вместе с вашей любовью к нему, любить того, чья ненависть стала, возможно, свойством характера, любить обижающего, ожесточенного, отвечающего проклятиями на любовь! Любить человека столь духовно уродливого — значит, по крайней мере, примиряться с тем, что несовместимо с любовью, противоречит ей, уничтожает ее. В данном случае любовь как бы поддерживает ненавистничество, ожесточенность, неблагородство, а этим самым низводит себя до бессмыслицы. А зачем, собственно, любить, когда это не дает никакого результата? Любовь станет действенной, если вызовет ненависть к ненавистничеству, вражду к жестокости, презрение к неблагородству, то есть обратится за помощью к прямо противоположным эмоциональным проявлениям.

На опыте жизни мы знаем, что неразумная любовь часто приносит несчастья. Любовь может быть и безнравственной, как высоконравственной — ненависть. Все зависит от того, при каких обстоятельствах они проявлены.

Не убивай... Убийство действительно самое страшное преступление в человеческой среде. Однако нужно ли упрекать в безнравственности законы многих стран, которые оправдывают убийство при самозащите? И меня лично не шокирует Нюрнбергский процесс, приговоривший к лишению жизни двенадцать человек. Да, впрочем, и сама каноническая религия, проповедующая «не убивай», относилась к убийству еще более терпимо, чем я. Христиане почтительно славят Давида за убийство Голиафа.

Не лжесвидетельствуй... Лживость дурное качество, как правило, ведет к неприятным последствиям в людских взаимоотношениях. Но только узколобый ханжа упрекнет врача, когда тот намеренно обманывает неизлечимого больного надеждой на излечение, давая возможность провести остаток дней без чувства обреченности, которое может оказаться тяжелей физических мучений, вызываемых болезнью.

Люби и ненавидь, помилуй и убей, скажи правду и солги — человек не может поступать однозначно при любых жизненных обстоятельствах. Нет! Лишь сообразуясь с обстоятельствами, сумей понять, что хорошо, а что дурно, что нравственно, а что безнравственно, а уж после этого выбирай соответствующее поведение.

Мы не знаем ничего более сложного в природе, чем сам человек. И взаимоотношения между сложными людьми не могут быть настолько простыми, чтоб их можно было все свести к каким-то немногочисленным трафаретам. Религия тысячелетиями утверждала трафареты, жизнь только то и делала, что нарушала их. Иначе было бы противоестественно.

Требовать от людей покорного, бездумного выполнения каких-то незыблемых предписаний без учета противоречивых, вечно меняющихся обстоятельств — значит постоянно ставить их в ложное положение, дезориентировать на каждом шагу.

Религию сердито упрекают в обмане, указывая на несовместимость религиозных догм с научными истинами, но не замечают, что она несет в себе и нравственный обман.

При этом несправедливо утверждать, что она всегда, во все времена была только нравственно ущербна. Нас восхищают древние мифы с их образами языческих богов. Но попробуем взглянуть на всех этих колоритных Зевсов, Аполлонов, Посейдонов с этической точки зре-

ния, и мы увидим, что они жестоки, коварны, злопамятны. Люди, сотворившие их в воображении, вложили в них то, что им самим было свойственно. Древний грек боялся своих богов, почитал их силу, но не любил и не рассчитывал на ответную любовь. И вот против этих наделенных сверхъестественной силой, но недоброжелательных богов выступает другой бог, вовсе не могучий, не грозный, а униженный и оскорбленный, как подавляющее большинство людей. Он проповедует не гордость, не могущество, а любовь. И этот внешне слабосильный, кроткий бог побеждает грозное и жестокое племя языческих богов. Появление христианства было своеобразной нравственной революцией человечества. Подымается небывалое, охватывающее не слои населения, не отдельные страны, а едва ли не большую часть рода людского движение за уважение к личности, за предельное уважение: «Люби ближнего своего!» Под ближним же понимался каждый, кто соглашался принять на веру этот лозунг.

Но — неумолимая диалектика! — любое движение, достигнув определенного уровня, перерастает в свою противоположность. Христианские догмы о любви, завоевав общее признание, стали предметом поклонения. Возражать им, сомневаться, отступать от них считалось преступным. Жизнь постоянно ставила верующего перед выбором: или выполняй догмы, жертвуй благополучием, положением в обществе, своей жизнью, или же спасай себя, преступив через догмы. Тот, кто был неизворотливо прямолинеен, не принимал в расчет жизненных обстоятельств, со слепым упрямством придерживался только утвержденных трафаретов, рано или поздно лишался влияния, средств к существованию, самой жизни. Прямолинейные догматики — нежизнеспособный элемент.

Отступали от общепризнанных догм все — и могущественные короли, и бесправные нищие. Отступали от догм и служители церкви, которым надлежало следить за ревностным исполнением догм. Они тоже хотели жить в довольстве и благополучии, иметь влияние. Не отступать невозможно, иначе пришлось бы не подчиняться естественным законам бытия.

Но чем чаще совершались отступления, чем сильней в обществе росло недовольство — живем неправильно, не по тем прекрасным заповедям, какие принес миру любвеобильный Христос,— тем громче славили эти заповеди, тем неистовей им поклонялись. Поклонялись и стремились как-то соблюдать их.

Как-то... Соблюдать их суть, то есть практически всегда претворять в жизнь, невозможно. Но можно создать видимость соблюдения. Погреши и покайся, клянись в верности заповедям, но при нужде нарушай их. Даже в отношениях верующего с богом постоянно проявлялись ханжество и ложь, а уж в отношениях людей друг с другом и подавно.

Религия, как и любое сложное явление, противоречива. Но если в результате производственных противоречий появлялись новые общественные отношения, а противоречия между старыми взглядами на мир и накопленным опытом порождали новые знания, ложившиеся в фундамент будущей науки, то религиозные противоречия плодили нравственный обман, нравственные извращения. Не всякая-то борьба противоположностей благоприятна человеку по своим последствиям.

Призывать вновь религию в качестве морального воспитателя сейчас, на исходе XX века, значит не воспринимать тысячелетнего опыта истории.

Вражда во имя любви

Нельзя пройти мимо еще одного важного обстоятельства, которое, если можно так выразиться, является «побочным продуктом» религии.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас...» Но в то же время религия требует от человека верить, не считаясь с фактами и доказательствами. На свете не найдется и двух в точности схожих друг с другом людей, двух одинаково думающих, одинаково глядящих на мир, одинаково реагирующих на события. Верующий постоянно сталкивается с теми, чьи взгляды и мнения отличаются от его собственных. Пусть в малом, в частном, но и это малое становится серьезным препятствием для взаимопонимания.

Красноречивым примером этому может служить раскол русской православной церкви в XVII веке. Нас поражают ожесточенные разногласия между никонианцами и староверами, настолько мелочны причины, породившие их: креститься двумя перстами или тремя, служить литургию на семи или на пяти просфорах, ходить в священнодействиях «по-солонь», то есть по солнцу, или против солнца, провозглашать «аллилуйя» дважды или единожды... И такие-то несущественные, формальные признаки обрядности с бе-

шенством отстаивались, ради них людей замуровывали живьем в каменные мешки, вздергивали на дыбы, рубили головы, совершались массовые самосожжения.

Вера, не допускающая сомнений, несовместима с терпимостью. Даже с терпимостью, а с «люби» и подавно.

Обычно считают, что антиподом веры является ее отрицание, верю и не верю — две несовместимые крайности. Но вспомним, что вера — это признание чего-либо истинным без достаточных на то оснований. Ну, а вернее, признание чего-либо не истинным опять же без достаточных на то оснований. «Не верю» — не что иное, как «верю, что это не так». И в том и в другом случае человек находится в одном и том же психическом настрое, и в своем сознании он производит одни и те же операции. Отрицание — просто негативная сторона веры.

Верующий должен отрицать несходство с ним думающего человека с той силой, с какой он верит. И чем решительней он верит, тем решительней отрицает. Религия стремится к абсолютной вере, значит, ее стремления должны неизбежно насаждать и абсолютную непримиримость. Другой разговор, в какой степени эти стремления реализуются. Мы же знаем, что возможности религии не безграничны. Но сильно верующий неприязнью не ограничивается, а проникается враждой. Давно замечено, что фанатики веры всегда агрессивны.

Нет двух духовно сходных людей на свете, верующий постоянно должен сталкиваться с инакомыслящими. Неприязнь и вражда постоянные, а отнюдь не исключительные явления в среде верующих.

Религия выставляет одни для всех догмы, заставляет в них верить и как-то объединяет этим людей. Но такое объединение чисто внешнее, под ним, внутри него создаются благоприятные условия для антагонизма.

Нет, я не собираюсь списывать на религию всю вражду, которой заполнена человеческая история, всю кровь, пролитую в течение тысячелетий. Человечество пыталось с помощью религии потушить антагонистические распри. Но, увы, это дало обратный результат.

Бог без религии

До сих пор мы не касались бога. А принято считать — именно бог и является основным объектом религиозных верований. Где существует признание некоего фантастиче-

ского образа (или сразу нескольких), наделенного сверхъестественным могуществом,— там бытует религия. Нам уже кажется, что без бога религия просто немыслима. Правда, история знает один случай существования религии без бога — ранний буддизм, но этот период, так сказать, религиозного атеизма был непродолжителен и кончился тем, что сам его основатель Сиддхартха Гаутама превратился в бога — Будду.

Мы без смущения определяем: если какой-то человек принимает существование бога — он религиозен, и наоборот, не принимает — значит, чужд религиозных верований.

Но если так, то тут возникают логические противоречия с тем, что я только что доказывал.

Я утверждал: религия враждебна творческому началу, помеха мышлению. Тогда люди, доверчиво принимающие бога, а значит, и религиозные, должны отличаться творческим бессилием и скудостью мысли. Но почти каждый может назвать имена гигантов мысли, удививших мир творческой силой, которые признавали бога, с искренней неистовостью защищали религию.

Взять для примера хотя бы Блеза Паскаля, выдающегося ученого, тонкого экспериментатора, проницательного мыслителя. Паскаль не только страстно веровал в бога, но был сверхкоштным отшельником монастыря Пор Рояль, умерщвлял плоть, нося на голом теле пояс с шипами, на груди хранил ладанку с защитной молитвой, написанной им во время религиозного экстаза,— знаменитый «Амулет Паскаля». Янсенисты намеревались сделать его своим святым.

Я утверждал, что религия несет нравственный обман, нравственное несовершенство, а следовательно, и люди, признающие бога, должны отличаться нравственной бедностью и ущербностью.

Но какая глубокая нравственность, например, заключена в таких словах: «Ни один человек не является островом, отдаленным от других. Каждый — как бы часть континента, часть материка; если море смывает кусок прибрежного камня, вся Европа становится от этого меньше... смерть каждого человека — потеря для меня, потому что я связан со всем человечеством. Поэтому никогда не посылай узнавать, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Это сказано в первой половине XVII века с церковной кафедры настоятелем лондонского собора Святого Павла Джоном Донном. И трудно предполо-

жить, что настоятель известного собора не признавал бога, отрицал религию. И кто из нас не встречал людей, верящих в бога, молящихся ему и в то же время высоконравственных в отношениях с другими людьми.

Так что же, мои рассуждения насчет религии ошибочны? А может, не каждый, кто несет в себе внешние признаки религиозности, например, признание бога,— религиозен по существу?

Кто держится за бога — идеалист, кто отвергает его — материалист! Просто и ясно, два различных лагеря, род людской разделен демаркационной линией.

Но даже весьма общая и грубая классификация религиозных течений говорит о сложных и вовсе не демаркационно четких отношениях человека к богу. Теизм — признание бога как некоего абсолютного существа, творца мира и его полного хозяина. Пантеизм уже сливал бога с миром, как бы растворяя его в природе, а это, по словам Энгельса, «на голову поставленный атеизм». Деизм отвергал идею бога, лично во все вмешивающегося и всем управляющего, принимая его как некое безличное начало, давшее миру законы развития. Тут уж от бога оставалось чуть-чуть, один шаг до атеизма, целиком отвергающего бога. Это ли не доказательство, что, по принципу признания бога, между религиозностью и нерелигиозностью нельзя провести резкую границу.

Тот же Блез Паскаль негодовал: «Я не могу простить Декарту следующее: во всей философии он охотно бы обошелся без бога, но не мог удержаться, чтобы не дать ему щелчка по носу, заставив его привести мир в движение. После этого он более уже никаких дел с богом не имел». И вот странность — этого страстного богозащитника, кандидата в святые уличили после смерти в... атеизме. Нет, не какие-то ультрафанатики, не те, кому неистовая вера Паскаля казалась недостаточной, а такие известные ученые, сами склонявшиеся к атеизму, как Даламбер и Кондорсе. Что это — ошибка или намеренное передергивание?

«Отрицать, верить и сомневаться так же свойственно человеку, как бегать — лошади»,— заявил Блез Паскаль. Человек глубочайшего ума, в ком вера постоянно боролась с неутоленным сомнением (а это столь же естественно, «как бегать — лошади»!), он неизбежно должен был против воли, помимо желания опровергать застывшие

догматы, возражать собственной религиозности. На этом-то и поймали его Даламбер и Кондорсе. Теист и атеист уживались в одном человеке.

Можно критически мыслить в какой-нибудь одной области жизни, не признавать в ее границах никаких догм и в то же время догматически слепо верить там, где заповедная область кончается. Я знаком с несколькими недюжинными учеными, ниспровергателями застывших положений в своей науке, но заторможенными до ханжества традиционалистами, когда они соприкасаются с вопросами нравственности или общественных отношений.

Оглянемся каждый на себя: кто из нас не относится к чему-либо с бездумным пиететом? Чем, собственно, наше безоглядное, далекое от критичности восприятие отличается от религиозной веры?

Демаркационную линию между религиозностью и нерелигиозностью нельзя провести не только в сообществе людей, но и внутри личности.

Кто-то может признавать бога вездесущим и всеохватывающим, а значит, связывать с ним каждую свою мысль, каждый поступок. Кто-то начисто его отрицает, ничего с ним не связывает, свободно без него обходится. Но не обязательно все без исключения должны находиться только в этих крайних положениях. Даже во времена господства религии, когда признание бога было обязательным для всех, существовали и такие, кто бога не отвергал, но далеко не все с ним связывал, какие-то стороны своей деятельности и своего сознания оставлял от него свободными.

«Революционным актом» назвал Энгельс теорию Коперника. «Отсюда,— говорит он,— начинает свое летосчисление освобождение естествознания от теологии». Николая Коперника мы ставим сейчас в ряд самых видных материалистов. Однако у нас нет никаких оснований считать каноника католического костела тайным безбожником. Скорее всего, Коперник верил в бога, и верил искренне.

Хрестоматийный мученик атеизма Джордано Бруно, раздвинувший мироздание дальше границ, установленных Коперником, считавший уже, что каждая звезда — солнце и возле каждой существуют обитаемые миры, тем не менее бога-то не опровергал.

«Но для меня более священной является истина,— писал Иоганн Кеплер,— и я, при всем почтении к отцам

церкви, научно доказываю, что Земля кругла, кругом заселена антиподами, незначительна и мала и летит через созвездия». Но при этом он с той же страстностью призывает: «Заклинаю моего читателя не забывать о благости бога... и вместе со мной славить мудрость и величие творца».

Не сомневался в существовании бога, писал богословские трактаты и Ньютон.

Если с Коперника начинается освобождение естествознания от теологии, то Дарвином, наверное, заканчивается этот процесс. Никто не нанес столь убийственного удара по религии, как автор «Происхождения видов путем естественного отбора». Но Чарлз Дарвин в молодости собирался стать священником, до конца дней своих был добропорядочным прихожанином, посещал церковь. Что это — дань традиции, чисто житейская привычка, желание не выделяться среди окружающих, не обижать религиозные чувства родных? Или же это некое признание гипотетических всевышних сил?.. Отвечать не берусь. Но, право же, можно признавать недосягаемость бога-творца, стоящего у истоков мироздания, и разрабатывать частный случай развития в мире сем, который происходит сам собой, без какого-либо божественного влияния. То есть в мышлении, в жизни, в повседневной практике пребывать последовательным материалистом и делать себе исключение лишь в том, с чем фактически не соприкасаешься и не надеешься никогда соприкоснуться,— допускать наличие недоступного бога.

Лапласу приписывают крылатую фразу, якобы сказанную им в ответ на вопрос Наполеона о боге: «Я не нуждался в этой гипотезе». Не нуждался в ней не один Лаплас, а все без исключения ученые. Стоит лишь признать непостижимого бога, как во всех затруднительных случаях, когда мысль натыкается на необъяснимое, появляется моральное право списать его на божественное, которое, мол, недоступно разуму. Ни один настоящий ученый не воспользуется таким правом — самоубийственно для науки и для самого ученого принимать гипотезу бога. Ученые не принимают ее потому, что не нуждаются в ней, а не потому, что существуют какие-то доказательства, отвергающие эту гипотезу.

У современной науки, увы, нет доказательств ни отсутствия бога, ни его присутствия. Да это и неудивительно. Бог — идея создания, некий творящий дух, первопричина всего в природе — начало начал. А что значит

открыть начало начал, первопричину? Это значит ни мало ни много найти ключ к пониманию всего, что нас окружает. Вряд ли когда проницательному человечеству, как бы долго ни длилось его существование, как бы сильно ни возрос его разум, удастся все открыть, все объяснить. И если предположить на минуту, что это случится, то нужно согласиться и с другим, весьма огорчительным предположением — конца роду человеческому. Нечего будет познавать, все познавший, все открывший разум применить уже не к чему, он теряет свое значение, поступательное развитие прекращается, человечеству остается только одно — деградировать.

Но, к счастью, пока «наши знания — остров в бесконечном океане неизвестного, и чем больше становится остров, тем больше протяженность его границ с неизвестным». Современная наука убеждена: с каждым новым открытием на нас будет обрушиваться поток загадок. А раз так, то в безбрежных просторах непознанного всегда найдется место для бога.

Тот, кто сейчас с пеной на губах пытается доказать — бога нет, точь-в-точь похож на фанатичного верующего, истово заклинающего — бог есть! Оба слепо верят в бездоказательное, оба религиозны по духу. Воистину, два сапога — пара.

«Я не нуждаюсь в этой гипотезе!» Не нуждаюсь еще не значит — отвергаю. Не прибегающий к этой гипотезе ученый может ее принимать, так сказать, в частном порядке, как это и было со многими великими учеными. Идея бога не мешала им сокрушать религию. Религиозно верующими их никак не назовешь.

Но если люди с материалистическим складом ума, зачастую ума могучего, принимали бога и крушили религиозные догмы, то почему не быть людям, верящим в бога, но живущим не по застывшим трафаретам, предложенным религией.

Интересен тут пример Льва Толстого. Он признавал не только бога, но и религиозные трафареты. И свой знаменитый роман «Анна Каренина» он открывает эпиграфом в виде суровой религиозно-назидательной сентенции: «Мне отмщение, и аз воздам». То есть Толстой как бы поставил своей задачей обличить Анну Каренину, с точки зрения трафаретной морали безнравственную женщину, нарушившую заповедь против прелюбодеяния. Но Толстой не был бы великим художником, если б не сокрушил умозрительного моралиста Толстого. Всем хо-

дом действия романа, незаурядностью характера своей героини Толстой-художник оправдывает Анну, вызывает сострадание к ней. Устрашающее: «...и аз воздам»! Нет, читатель чувствует не страх перед назидательной карой всевышнего, а неприязнь к старым, затхлым отношениям, к той ханжеской нравственности, которая опирается на обветшалые, весьма примитивные библейские понятия. Толстой верил в эти понятия, но показывал весьма сложные человеческие отношения, которые никак не могли быть объяснены ходячими трафаретами, напротив, противоречили им, опровергали их. Толстой верил в бога, но пустить его на страницы романа он тоже не мог, пришлось бы иначе показывать, что герои действуют не сами по себе, а под влиянием некоей высшей силы, а это противоречило бы правде жизни. И мораль от господа бога, возникнув в коротеньком эпиграфе, не только исчезает за ненадобностью, а сокрушается автором. Хотел того Толстой или нет, но в нравственном плане он выступает как противник религии.

Мы достаточно убедились, что идея бога может, оказывается, существовать и вне религии. А не случается ли в жизни обратное, не бывают ли религии без богов?

Религии без богов

Вспомним, на какой «теории» основывалась программа германского фашизма: человечество неравноценно по своей природе, делится на высшие и низшие расы, высшая раса на планете — арийская, наиболее чистые представители арийской расы — немцы, им и предопределено господствовать.

Нет особой нужды разбирать эту «теорию», достаточно ясно, что она не могла выдержать критического осмысления. Но оказалась по-своему привлекательной. Я ничем не выделяюсь среди других, ни умом, ни талантом, ни житейской удачливостью, но вот мне говорят, что, несмотря на свою унылую ординарность, я все же выше, значительней многих, даже тех, кто меня превосходит личными данными, кто сумел добиться почета. Я, оказывается, представитель наивысшей людской породы. Одно сознание этого тешит мое ущемленное самолюбие, вливает гордость, я готов верить тут без оглядки, с той исступленной решительностью, которая пересиливает любые фактические и логические доказательства. И эта вера, по

сути, не отличается от религиозной. Верующий в нее готов защищать ее не только с пеной на губах, но и с оружием в руках. Рождается религия в своем самом крайнем виде — воинственная!

Такая религия имеет свои догматы, но имеет ли она бога, то есть некий наивысший авторитет, наделенный сверхъестественной силой?

Самым авторитетным в нацистской «религии» был Гитлер. Можно ли его считать богом? Преклонение перед ним достигало степени общенациональной истерии, его личность всячески культивировалась, его слово фанатически возводилось в непреложный закон. Бог?.. И все-таки — нет.

Поклонение, вплоть до культового почитания, может быть не только богам. Легко можно представить себе поклонение, возведенное в некий культ, скажем, сына — отцу, матери — сыну, но обожествлением это можно назвать лишь метафорически. Как бы ни обожал сын отца, но последний все равно останется для него человеком, пусть умным, сильным, значительным, чьи возможности чрезвычайно велики, но вовсе не сверхъестественны. Непременным же отличием богов всех религий — тотемного идола или всевышнего творца библейского толка — являются их запредельные для человека возможности. Тот не бог, чье могущество не превышает возможностей самых могущественных из людей, самых выдающихся героев. Бог лишь тот, кто способен влиять на жизнь сверхобычными, не доступными никому способами. Быть одновременно человеком и богом нельзя — это принципиально разные категории.

Иисус Христос (если допустить, что он существовал), Мухаммед, Будда обожествлены позднее. При жизни они считались всего-навсего проводниками, глашатаями некоей наивысшей сверхъестественной силы. (Учтите, и Гитлер никогда не выдавал себя за творца тех догматов, которым заставлял веровать и поклоняться. Неравноценность рас предопределена, мол, самой природой, он, Гитлер, лишь доносит эту истину до народа. А потому он в глазах своих единоверцев — апостол веры, пророк, подавляющий своим авторитетом, вождь движения, фюрер, то есть тот, кем он и был в действительности, но не бог.)

Итак, на примере фашистской Германии мы видим определенную религию и отсутствие в ней бога в строгом, а не метафорическом значении этого понятия.

Любой национализм религиозен и безбожен одновременно. Моя нация особенная, мой народ исключителен — это нельзя принять иначе как на веру. Некая ничем не подтвержденная догма, преобразующая и сознание, и поведение. Верующему свойственна фетишизация, он не может без нее обойтись. Националист фетишизирует свою историю, свой быт, свои традиции. В фетиш возводятся даже косвенные признаки национального: березы, что растут на родных полях, рябина, что зреет в родных лесах, старые погосты, старые обычаи, одежда, речевые обороты, и пр., и пр.— этакий пантеизм в рамках национального. Тот не националист, кто не поклоняется фетишам.

А фетишизируя свое, сравнивая его с чужим, нельзя относиться к чужому беспристрастно, неизбежно принижение чужого, отказ от него, как от недостойного. Появляется характерная для любого религиозного человека нетерпимость к инакомыслящим, инакоживущим, инакочувствующим.

Мы привыкли думать, будто религиозность непременно связана с седой стариной и не может родиться в нашей современности. Тогда как религиозность постоянно возникает в наши дни, живет рядом с нами в разных обличьях. И порой мы, сами того не подозревая, поддаемся религиозным настроениям, становимся их носителями.

Религиозность иногда проявляется на, казалось бы, сугубо материальной основе. Развивающаяся техника — явление и материальное, и ощутимо реальное. Но когда доходящий до крайностей технократ считает, что эта техника, и только она — ничто другое! — осчастливит мир, вместе с материальным благополучием принесет и нравственное совершенствование, он, считающий себя последовательным материалистом, впадает тут невольно в религиозность. Он будет приводить сложные логические построения, подкрепленные ссылками на науку, но все равно в конечном счете столкнется с тем внушительным опытом, который говорит, что ни применение пара, ни применение электричества не повлияли на нравственность, не сгладили болезненных противоречий в обществе. И вряд ли атомный реактор окажется целительней парового котла.

Весьма материальная техника воспринимается иногда в столь несвойственной ей роли, что уже полностью утрачивает свою материальность, выступает как нечто ирреальное, отражается в сознании данного человека весьма фантастически.

Не всякого, кто пользуется понятиями материализма, можно назвать материалистом, как не каждого, кто признает для себя гипотетического бога, можно считать идеалистом. Бог может существовать в нерелигиозном сознании, а религиозное сознание может легко обходиться без бога.

Дефицит «правды» и «сны золотые»:

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Все-таки Беранже прежде всего отстаивал необходимость «правды святой», но уж коль до нее не добраться, то пусть будет «сон золотой».

Желание узнать и понять присуще и животному. Собака на прогулке всегда в исследовательской деятельности, что-то вынюхивает, отыскивает, пытается узнать, преисполнена неутоленным любопытством. Вряд ли возможно измерить, насколько человек превышает этим «желание понять» самое развитое животное, можно лишь не сомневаться, желание это у него несравненно сильнее.

Непонятное у всех вызывает страх, беспокойство, а порой и страдание. Охотничья, отнюдь не робкая по характеру собака шарахается, поджимает хвост от пошевелившейся черепахи, которую видит впервые в жизни. А вот случай психологически более сложный. Собака очень любит гулять с хозяином, каждый раз бурно реагирует, когда тот надевает кожаную куртку. Но как-то хозяин, надев куртку, вместо того чтобы направиться к двери, садится за стол, продолжает прерванный разговор с гостями. Собака, возрадовавшаяся было, начинает изводиться, то вскакивает, то ложится, скулит, не находит себе места. Ей непонятно поведение хозяина, прервана связь привычных событий, результат — будет прогулка или нет? — неопределен. Неопределенность не воспринимается равнодушно, она может быть причиной страданий.

Каждое живое существо в силу своих возможностей как бы «создает» ближайшее будущее. Кошка сторожит мышь — надеется изловить ее и съесть. Событие еще не произошло, но оно уже «создано» в центральной нервной системе кошки. И если кошка утратит эту способность, ее действия потеряют целенаправленность, станут хаотичными, неуправляемыми. И это нельзя принять равнодушно.

Кошкино умозрительное будущее куцее — не больше минуты-другой. Человек может предусмотреть куда дальше, «построить» в своем сознании такое будущее, в которое уложится значительный кусок его жизни. Человек, можно сказать, устремлен в будущее сильней кого бы то ни было, а потому и неопределенность для него невыносимей.

Неопределенность нетерпима даже в тех областях, которые, казалось бы, далеки от насущно жизненных интересов. Поди знай, что может вдруг повлиять на твое будущее! Все, что не просматривается, неизвестно что собой представляет, кажется опасным.

Гремит гром, сверкает молния — что это такое? Признать — неизвестно и успокоиться? Нет, нельзя! Хоть както да надо объяснить. Любое, самое невероятное, пусть страшное объяснение лучше полной неопределенности. Объяснения создаются фантастические не только потому, что незрелый разум не может связать непонятное событие с реальностями, но еще и потому, что сам загадочный, полный опасности характер неопределенности требует особых, из ряда вон выходящих объяснений.

Религия — фантастическое отражение действительности в головах людей. Но эти отражения, однако, не очень-то походили на радужные «сны золотые», они в своей фантастичности не лишены были и своеобразного реализма, порой беспощадно жестокого. Мы знаем, что языческие боги при всей сверхъестественности напоминали обычных людей, как они были коварны, злопамятны, обидчивы. И бог из Ветхого завета не только грозен и могуществен, а часто себялюбив и смехотворно мелочен.

Религия не только отражение сознания, она еще и необходимейший элемент этого сознания на определенном уровне его развития. Без религии разум людей, постоянно натыкаясь на невозможность объяснить, перегружался бы мучительной неопределенностью. В неопределенном мире жить страшно. Религия создавала видимость понятности, а значит, освобождала от страха, неуверенности, растерянности, можно сказать, несла психотерапевтические функции.

Мы воспринимаем разум лишь как неоспоримое великое благо, как могучее оружие в борьбе за существование, сделавшее человека господином положения на планете. И не замечаем, что эта однозначность противоречит диалектике, утверждающей, что каждое явление в природе

противоречиво. Разум не только великое благо, но одновременно и тяжкий груз, нести который не так-то легко. Он источник не только силы, но и бессилия. Именно разум открыл человеку устрашающее величие Вселенной и ничтожность его самого. Он принес не только радости побед, но и тяжелейшие огорчения. Существование животного не омрачено сознанием того, что оно, животное, по истечении какого-то времени умрет, а человеку открылось это, и он, право же, не сразу свыкся со столь простой и, быть может, самой огорчительной из всех нам известных истин. С давних пор изощренный разум придумывал успокоительные пассажи о потустороннем мире, о бессмертии души. Своеобразный акт самоспасения — не разновидность ли приспособляемости, столь характерной для всего живого?

Теперь только крайне наивные и примитивные люди продолжают верить в загробную жизнь, в райские кущи. Человечество уже не может удовлетворяться «золотыми снами» вечного бытия, предпочитает жестокую правду. Разум возмужал и окреп, не нуждается больше в духовной мимикрии.

Но и в наши дни человек сталкивается с такими загадками, которых не может объяснить себе. И в наши дни он призывает на помощь фантазию, чтоб отделаться от неопределенности. Как произошла та Вселенная, в которой живем мы? Как выглядело начало начал миров? Создано десятка полтора различных космологических гипотез. И хотя все они основаны на последних достижениях науки, но не обходятся и без фантастического, гипотетического объяснения. Но все это совсем не похоже на прежние религиозные объяснения, категоричные, не оставляющие места для сомнений.

Они — составная часть мыслительного процесса, а интенсивность мышления возрастает. Человек все чаще и чаще прибегает к сомнению, все менее склонен к абсолютной вере во что бы то ни было. Религиозности трудно с этим ужиться, она уходит из сознания.

Но не ушла совсем. Всегда находится что-то такое, за что она может зацепиться.

Известный психолог А. Н. Леонтьев как-то к случаю рассказал мне, что папа римский обратился с посланием к Международному конгрессу психологов, собравшемуся в Риме. Конгресс не принял папского послания, однако оно все же было роздано ученым. Папа писал, что и церковь, и психологи занимаются одним предметом исследо-

вания — душой. И тем не менее их усилия не перекрещиваются: если психологи должны отвечать на вопрос, **почему** происходит то или иное движение души, то церковь ставит совсем другой вопрос — **зачем?** Папа приветствовал и благословлял ученых, желал успехов в их деле.

— Я стал мучительно вспоминать,— говорил мне Алексей Николаевич,— где-то я уже сталкивался с чем-то очень похожим. И наконец вспомнил — у Льва Толстого в дневниках! Толстой прочел Вундта и сделал запись: странные люди эти ученые, спорят — лошадь ли везет всадника, или всадник лошадь, тогда как следует спросить — куда он едет и кто послал?

Вряд ли папа читал столь редко издающиеся — не знаю даже, переведенные ли на иностранные языки,— дневники Л. Н. Толстого. Просто над этими вопросами едва ли не каждому хоть раз в жизни приходилось задумываться: куда едет странный всадник, к какой высшей цели стремится человечество, какой смысл заложен в его существовании?

Чем больше станет набирать мощи наш разум, тем сильней будет стремление к истине, к «правде святой», стремление, исключающее желание спрятаться с головой в «сны золотые». Но искусство всегда будет пользоваться мотивом «снов золотых», и люди всегда будут в них окунаться. Но это вовсе не означает, что «сны золотые» становятся нормой жизни.

Без бога и без догм

Религия начиная с XVII века сдает позиции, чем дальше, тем больше. И казалось, XX век, век революционных преобразований в естествознании, должен был похоронить ее окончательно. Но тут происходят странные явления. Величайший из ученых нашего столетия Альберт Эйнштейн вдруг заговорил о... религиозном чувстве. Нет, его заявление не имело ничего общего с декларациями Коперника, Кеплера, Дарвина и других ученых, которые не отвергали бога, но оставались проницательными материалистами. Эйнштейн никогда ни в чем не соприкасался с религией, и его странные высказывания никак нельзя объяснить какими-то внешними влияниями, скажем, рабским подчинением сильному авторитету. К рассуждениям о религиозности он пришел через наблюдения

и размышления над тем предметом, которым столь блистательно занимался.

Он отмечает, что «наши представления о физической реальности никогда не могут быть окончательными. Мы всегда должны быть готовы изменить эти представления...». А значит, продолжает Эйнштейн, «я не могу доказать, что научную истину следует считать истинной, справедливой, независимой от человечества, но в этом я твердо убежден». Убежден бездоказательно, то есть — верует.

Великий ученый признает веру как неотъемлемую часть научного подхода. Однако это не та творческая вера, которая является исходным моментом в процессе мышления. Эйнштейн готов видеть в ней проявление особой «научной религиозности». «Основой всей научной работы,— говорит он,— служит убеждение, что мир представляет собой упорядоченную и познаваемую сущность. Это убеждение зиждется на религиозном чувстве».

И что ж получается. Вл. Соловьев, ставивший веру «вне области теоретического познания и ясного сознания», выходит, не так уж неправ? Эйнштейн смыкается с ним?..

Известный советский физик Е. Л. Фейнберг пишет:

«Эйнштейн различает три стадии религиозного чувства вообще. Первобытную, когда это чувство основано на страхе перед непознанными законами природы. Оно ослабевает по мере углубления познания внешнего мира. Более развитую, когда религиозное чувство составляет основу моральных норм. Но и оно теряет свое значение по мере развития общества как совокупности сознательных и развитых личностей. И, наконец, ту стадию, которая выражается собственным его пониманием «религиозности». Он называет его «космическим религиозным чувством», «не ведающим ни догм, ни бога».

Фейнберг делает оговорку: «...Это сказано не вполне точно, без бога и с единственной догмой, гласящей, что мир объективно существует вне познающего субъекта, и этот мир закономерен, упорядочен и познаваем».

Тут мне хотелось бы, в свою очередь, возразить Фейнбергу: а догма ли это? Коль мы постоянно говорим о догмах, то давайте разберемся подробнее в их природе.

Догма в религии — не столько то, что **невозможно** опровергнуть, сколько то, чего **не следует** опровергать. Это запрещено моральными, этическими, религиозными нормами. Положение, не подлежащее запрету, которое опровергнуть **невозможно**, уже не догма, а **аксиома.**

Если опровержение догм — своего рода крушение религии, то опровержение аксиом — торжество науки. Как это и было с опровержением пятого постулата Евклида.

Осмысляй, критикуй, опровергай, если сможешь, утверждение, что мир объективно существует, закономерен, упорядочен и познаваем. Другой разговор, что такой возможности человечество не имеет и неизвестно, сможет ли критически осмыслить это утверждение. Его никак нельзя назвать догмой — это аксиома в полном смысле слова.

Догма не выводится из опыта жизни, не согласуется с действительностью, напротив, она может противоречить им, и верующего это ни в коей мере не должно смущать. Что бог триедин, никто не видел, не осязал, ни один факт ни прямо, ни косвенно не подтверждает этого.

Аксиома же рождается из опыта, из наблюдений того, что постоянно встречается в нашей жизни. Через две точки можно провести одну, и только одну, прямую — это очевиднейший факт, справедливость которого мы всегда можем проверить опытным путем. Доказать его, вывести из каких-то посылок нельзя по причине очевидности.

Вот тут-то вернемся к Вл. Соловьеву и Эйнштейну, посмотрим, насколько их взгляды отличаются друг от друга.

Для Соловьева вера превышает силу фактических и формально-логических доказательств. Фактических — обратите внимание! Соловьевская вера превышает силу фактов, она сама по себе якобы «факт первоначальный».

Для Эйнштейна вера вовсе не первоначальный факт, наоборот — она порождена очевидными жизненными фактами. Мир упорядочен и познаваем — хочешь не хочешь, а верь: опыт науки и всего человечества в этом наглядно убеждает. Если б опыт не подтверждал, если б факты жизни говорили иное, Эйнштейну и в голову бы не пришло в это верить.

Эйнштейн рад бы доказать то, во что жизнь вынуждает верить, найти причины, объяснить почему, рад бы — да не может докопаться до причин. Само положение — мир упорядочен и познаваем — как бы первопричина всему, чем занимается наука, то есть основополагающая аксиома.

Заявление Соловьева, что вера сильней знаний и мышления, ибо «первоначальней» их, для Эйнштейна должно казаться бессмыслицей. Вера Эйнштейна является «основой всей научной работы», конечный результат которой — знания. Основа дома — фундамент чем-то сильней

(или важней) расположенных над ним квартир—абсурдное утверждение. Фундамент закладывается ради квартир, а не наоборот. Эйнштейн и не заводил бы разговор о вере, если бы она не приводила к знаниям.

Для Владимира Соловьева вера—самоцель.

Для Альберта Эйнштейна цель—знания.

Вера Эйнштейна по нашей классификации больше всего напоминает бытовую веру. Мы бездоказательно принимаем что-то, верим чему-то. По сути, так же бездоказательно принимает и Эйнштейн: мир упорядочен и познаваем. Мы можем отказаться от веры во что-то, если ей станут противоречить жизненные факты и наш чувственный опыт. Несомненно, заколебался бы в своей вере и Эйнштейн, если б вдруг обнаружилось: какие-то факты противоречат ей. Наша вера не самоцельна, не абсолютна, вера Эйнштейна тоже. Разница не в характере веры, а в ее предмете. Мы верим в некие бытовые частности (вроде: «худые вести не лежат на месте»), Эйнштейн верит в характерную для всего мироздания особенность.

Е. Л. Фейнберг не прав, говоря, что «это сказано не вполне точно», терминологическая неточность допущена Эйнштейном в другом—он называет религиозным то, что по существу таковым быть не может. Религиозность, не ведающая догм, а значит, допускающая сомнения, ставящая веру под контроль разума,—чем такая религиозность отличается от научного подхода?

Но все-таки Эйнштейн не случайно употреблял выражение «космическое религиозное чувство». Чувство!.. Речь идет об эмоциональном состоянии. Наука не доверяет этому. Строгий ученый Эйнштейн изменяет тут принципам объективной науки, обращается к тому, что всегда являлось чисто субъективной категорией. Почему?

Сама наука эмоциям чужда, но источником их, причем ярких, сильных, она быть может. «Космическое чувство» Эйнштейна, которое он называет религиозным, есть не более не менее как его личная реакция на особое свойство природы. «Самое непостижимое в этом мире то, что он постижим!»—вот чисто эмоциональная формула Эйнштейна. И действительно, как тут оставаться равнодушным, если беспредельный мир столь покладист перед существами, обитающими на затерянной планетке. Из века в век за религией признавался приоритет на возвышенные чувства. Эйнштейн прибегает к привычному термину—религиозное да еще вкупе с космическим означает для него нечто предельно высокое, всеобъемлющее.

высокое, всеобъемлющее, но вполне реальное чувство, которым, по его мнению, должно проникнуться в будущем все человечество.

Но, воспользовавшись старым привычным понятием, Эйнштейн отбрасывает его старое содержание: религия, «не ведающая ни догм, ни бога». Без бога — куда ни шло. Бог всего-навсего одна из догм, ее могут заменить другие. Но религия совсем без догм — такая же бессмыслица, как наука без знания.

Против безумства и страстей человеческих

Вл. Соловьев считал: «Сила веры зависит от особого самостоятельного психического акта, не определяемого всецело эмпирическими и логическими основаниями».

Религиозный философ искренне убежден, что такая вера несет в себе нравственное оздоровление. Альберт Эйнштейн знал цену психическим актам, не определяемым эмпирическими и логическими основаниями.

«Разум,— говорил он с философской горечью,— несомненно кажется слабым, когда мы думаем о стоящих перед нами задачах; действительно слабым, когда мы его противопоставляем безумству и страстям человеческим, которые, надо признать, руководят почти полностью судьбами человеческими как в малом, так и в большом».

Эти слова он произнес в 1927 году, когда в Германии уже прорывались те «психические акты», которые впоследствии привели к победе фашизма. «Теория относительности — не немецкая теория!», «Низкая научная сплетня!» — адресовали великому ученому.

Изгнание Эйнштейна из Германии, залитая кровью Европа, печи Бухенвальда и Освенцима — вот результат торжества веры в догматы расовой неполноценности, веры, стоящей «вне области сознания», сила которой зависит от «особого самостоятельного психического акта». «Безумство и страсти» руководили полностью судьбами человеческими!

Вл. Соловьев в жизни был непримиримый противник насилия. 28 марта 1881 года он во всеуслышание воззвал к царскому правительству — не допустить смертной казни народовольцев, убивших Александра II. Он мечтал с помощью веры «осуществить на земле, в данном мире... царство правды». С помощью веры, чья сила зависит от психических проявлений, не подвластных разуму.

Наш разговор начался с того, что нормализовать человеческие отношения не в состоянии ни наука, ни культура, ни даже экономическое благополучие. И не случайно кое-кто снова с надеждой обращается к религии. Увы, она, требующая веры в нравственные трафареты — люби, не убивай, не лги, не укради и др.,— не способна «осуществить на земле... царство правды», напротив, мешает верующему понять жизнь, ставит его в ложные положения, толкает на опрометчивые поступки.

Я опрометчиво поступил по отношению к вам, значит, нанес какой-то ущерб — материальный или моральный, не учел ваших интересов, оскорбил чувства, не отнесся с должным вниманием к вашим привязанностям. И вам нужно сделать над собой усилие, чтобы не ответить мне тем же — невниманием на невнимание, оскорблением на оскорбление.

Я — религиозно верующий человек, моя религия требует от меня не просто верить в нравственные трафареты, а верить безоговорочно, не считаясь ни с чем — ни с очевидными фактами, ни с логически обоснованными убеждениями. Переубедить меня невозможно, я всегда буду считать себя правым. И каким бы вы терпимым человеком ни были, но в конце концов терпение ваше должно лопнуть, рано или поздно вы должны вознегодовать.

Я, верующий, свою веру могу проявить лишь «особым самостоятельным психическим актом, не определяемым всецело эмпирическими (опытными) и логическими (разумными) основаниями», то есть проявления моей психики столь же слепы, как и моя вера. Но религия обращается со своими требованиями не ко мне одному, а к неким массам. Мы в одно верим, одним заповедям подчиняемся, обязаны одинаково и вести себя. Мы духовно объединены, и наша слепая, не определяемая разумом психика может стать грозной силой в обществе. И вот безумство и страсти руководят судьбами человеческими...

На религию нельзя рассчитывать, а на что можно? В самом этом вопросе — на что? — мне кажется, содержится опять же наивная, опять же ничем не оправданная вера в некий универсальный спасительный рецепт. Стоит, мол, только найти какое-то одно средство, как нравственность восстановится, бесконечно сложные человеческие отношения с неисчислимыми причинами, плодящими не поддающиеся учету следствия, будут разом решены и нормализованы. Одним универсальным средством! Право, это уже не утопия, это из области детских волшебных сказок.

Скорей всего, нужны длительные, напряженные усилия всего человечества во всех областях его деятельности, чтоб добиться тех взаимоотношений, которые мы могли бы с полным основанием назвать нравственными. Не только наука, не только высокая культура, не только материальное благополучие, а все вкупе и помимо этого, наверное, еще что-то, нам пока неизвестное, но что предстоит открыть...

Открыть... Любые усилия не принесут успеха, если мы станем действовать не творчески. Постоянно, с упорной настойчивостью говорят о научном творчестве, однако применительно к нравственности творчество обычно не упоминается. Нравственность кажется столь простой и очевидной, заведомо всем известной, что ни о каких творческих открытиях в ней или творческом подходе речи быть не может.

При этом сложные и острейшие нравственные задачи решают не только литературные герои — скажем, Анна Каренина или Раскольников,— но и мы с вами. Нередки случаи в истории, когда нравственные заблуждения становились массовыми. Хотя бы знаменитое дело Дрейфуса во Франции, где клевету на безвинного человека подхватила едва ли не большая часть населения, а защитникам нравственности, вроде Эмиля Золя, пришлось на время бежать из страны.

Что именно нравственно, а что безнравственно — нельзя определить, не поняв общественных отношений. А над пониманием их бьются лучшие умы человечества.

Каждый из нас ежедневно решает на практике большие и малые проблемы нравственности. Каждый, в общем-то, прекрасно понимает, что нет ничего опасней, как предаться при этом «безумству и страстям»,— где страсти, там уже нельзя говорить о каких-либо нормальных отношениях. Люди, не обуздывающие страстей, считаются опасными для общества.

Казалось бы, ревнители религии с давних времен исступленно твердили о необходимости обуздывать страсти, вплоть до самоистязаний. Но они поощряли и культивировали страсть к вере, безграничной, безоговорочной, слепой, воистину безумной. Поощрялось и культивировалось безумие.

Пусть вы далеки от общепринятых религиозных верований, но это еще не означает, что религиозность вообще чужда вашему сознанию. Как часто каждый из нас бездумно верит тому, что противоречит нашей жизни, портит наши взаимоотношения.

Было бы глупо после всех этих рассуждений делать для себя категорические выводы: долой всякую веру, не верь никому и ничему, все без исключения подвергай сомнению и критике. Если б мы перестали брать что бы то ни было на веру, все ставили под сомнение, каждому положению искали подтверждающие факты и доказательства, нам просто бы некогда стало жить, все время и силы уходили бы на перепроверку. Человеку свойственно верить, «как бегать — лошади», но бытовая вера, к которой человек постоянно прибегает, не должна перерастать в веру религиозную. Любой противоречащий нашей вере факт, любые логические несоответствия должны замечаться, настораживать нас, толкать на пересмотр того, чему мы только что верили. Приверженность к вере, покорность ей — недостаток. Достоинством же является чуткость восприятия окружения, той изменчивой действительности, в которой мы живем, понимание сложных связей в мире сем, посильное понимание! В том числе и сложных людских взаимоотношений.

Не отвергай чужое мнение, но не будь рабом его — вот правило, на котором строится личность. Религия, навязывающая всем единые догматы, требующая одинакового — по несложным трафаретам! — поведения, обезличивала человека, убивала в нем личность. Истинно верующий с негодованием должен был бы оттолкнуть все, что я написал: на то он и верующий, чтоб оберегать свою веру, не соглашаясь ни с фактами, ни с аргументированными доводами. Верующих людей не убедила сама история, показавшая, что человечество бурно развивалось во всем, кроме нравственности, которая на протяжении тысячелетий была отдана на откуп религии. Я и не рассчитываю, что такие люди согласятся со мной.

Есть еще люди, кто «верит и не отрицает», питает какие-то смутные надежды на религию — а вдруг, чем черт не шутит! Они не держатся мертвой хваткой за догматы, признают силу фактов, признают логику, не утратили способности мыслить самостоятельно. К ним-то я и обращаюсь: вдумаемся, сопоставим, дадим волю сомнениям, но не станем отмахиваться, постараемся понять друг друга и будем помнить, что с этого обоюдного понимания и начинаются те отношения, которые называются нравственными.

1965—1967

Личность и коммунизм

1

В последнее время я все чаще и чаще вынужден защищать коммунизм... перед самим собой.

Всю жизнь я слышал настойчивое: «Коммунизм зримо виден, он на горизонте!»

И обычно этот вожделенный коммунизм старались мне расписывать как некое экономическое обилие, вроде сказочного края с молочными реками и кисельными берегами, где «каждому по потребности». Я долго не подозревал, что мой коммунизм выглядит — по выражению Маркса — «коммунизмом ложки». И вечно на горизонте, а горизонт этот неизменно, как и положено горизонту, удаляется по приближении. Недостижимый клок сена — символ сытости!

Казалось бы, этого достаточно, чтоб разочароваться, отказаться от цели, сказать себе: хватит, я утомился от непрекращающейся и безрезультатной погони. Да и так ли уж нужен коммунизм, чтоб быть сыту, удовлетворить потребности брюха? Заглядывая через государственные барьеры, мы видим, что достаточно сытым можно быть и при капитализме. Извечно страдавший от недоедания рабочий сейчас на Западе хорошо питается, хорошо одевается, сравнительно благоустроенно живет. Конечно, не все и не всюду, но теперь мы почти официально признаем, что рабочий Запада материально обеспечен лучше нашего.

Так нужен ли коммунизм? Возможен ли он? Не следует ли вообще зачеркнуть это понятие?

Наверняка не я один вынужден его защищать перед самим собой. Многие отказались от этой защиты, отмахиваются: «Э-э! Оскомину набило. На горизонте... Сколько можно!»

Давайте вместе рассмотрим еще раз коммунизм, и не с позиций некоей неисчерпаемой ложки. Давайте вновь зададим себе вопрос: а все-таки, что это такое?

Коммунизм — это прежде всего высшее выражение коллективизма. Коллективизм же, в свою очередь, предусматривает наличие взаимодействия, взаимосотрудничества, а значит — содружества, спаянности людей, немыслимое без взаимопонимания.

Вряд ли нужно особенно доказывать, насколько важна спаянность, а не разрозненность, обоюдное понимание друг друга, а не враждебная недоверчивость в человеческом обществе. Ни у кого уже не вызывает сомнения, что без нормализации взаимоотношений любые достижения разума будут направлены против самого человека. Достаточно напомнить ставший традиционным вопиющий пример, когда открытие секретов атомного ядра создало беспрецедентную термоядерную опасность. Насколько велика степень опасности, можно судить хотя бы по высказываниям академика А. Д. Сахарова: «Сейчас уже накоплено достаточно зарядов для многократного уничтожения всего человечества». Не просто уничтожения, а многократного — эдакая нелепая гипертрофированность того, что само по себе является пределом катастрофичности. Академику Сахарову нельзя не верить, он человек компетентный, что называется — сам делал.

Нужно ли доказывать и то, что не столь важно проникнуть в космос, разобраться в элементарных частицах, открыть новые источники энергии, и пр., и пр., как добиться, казалось бы, насущно простого — понимания человека человеком, уважения человека человеком, согласия между людьми. Это нужней сейчас даже добывания хлеба насущного, так как если будет установлено взаимопонимание между всеми нами, то уж как-нибудь хлеб-то мы себе добудем — не проблема.

Коммунизм как высшая форма всеобщности, казалось бы, должен стать устремлением любого и каждого, кто желает жить сам, дорожит жизнью своих детей. Но нет, в мирё достаточно много таких, кто открыто проповедует индивидуализм и в искусстве, и в философии, и в политике, и в экономике. А еще больше скрытых индивидуалистов, не занимающихся проповедями, но живущих лишь для себя, вынужденных считаться с обществом постольку, поскольку этого избежать нельзя.

Коммунизм и индивидуализм — антиподы!

Проповедники индивидуализма себя объявляют защитниками личности, коммунистов же — некими могильщиками личных качеств.

Личность... Нет на земле двух в точности похожих людей. Каждый человек неповторим, несет в себе только ему одному присущие черты, каждый из нас — индивидуальность! И то, что люди не копируют друг друга, то, что они не схожи,— одно из важных условий бурного развития человечества. Чем ярче проявляются индивидуальные стороны ума и характера того или иного человека, чем сильней он отличается от остальных, тем больше шансов на то, что общество обогатится чем-то новым, досель никому не ведомым. Без проявления отчетливо выраженной индивидуализации в стаде человекообразных обезьян это стадо так и осталось бы стадом неразумных животных. В лучшем случае оно достигло бы незавидного совершенства муравьиной кучи, где одна особь ничем не отличается от другой. «Разнообразие и возможность,— говорит Норберт Винер,— внутренне присущи сенсорному аппарату человека и на деле являются ключом к пониманию наиболее благородных битв человека...»

Личность неповторима, и это неотъемлемая человеческая сущность, недооценивать которую — значит грубо грешить против самой природы человека.

Индивидуалист утверждает: я стараюсь уберечь от посягательств извне свою личность, сохраняю ее самобытность, каждый стремится сделать то же самое, только так и может идти защита личных качеств. Коммунизм, по их мнению, ставящий общие интересы превыше личных, принуждает личность к подчинению в угоду этим интересам, не дает ей возможности быть самой собой, нивелирует индивидуальные черты, тем самым толкает человечество к муравьиной куче.

В угоду общим интересам... Но чтобы соблюсти эти общие интересы, наверное, нужно в первую очередь выяснить такой немаловажный вопрос: кто и по каким признакам из членов общества, из многообразных, крайне не схожих друг с другом личностей, более полезен для всего общества, кто менее, кто вовсе бесполезен, а кто просто вреден и опасен. Выяснить же можно только при предельном внимании к людям, оценивая их не гуртом, не кучей, а каждого в отдельности по его индивидуальным качествам, не иначе!

В противном случае исчезает критерий, по которому можно судить личность. Как тут узнать, что именно

достойно, а что нет в отдельном человеке, когда самое понятие достоинства каждый определяет только по себе — один так, а другой эдак,— общей договоренности нет. Выходит, отказаться от признания общих интересов — значит отказаться понимать личность, понимать человека.

Индивидуалист и на это может возразить: я понимаю сам себя, сам для себя твердо знаю, что мне нужно и что мне выгодно, осознав это, я легче могу понять нужды и выгоды другого, а следовательно, и уважать их.

Но если такой почтительный к другим индивидуалист не остановится на понимании нужд родни, друзей, соседей, а станет понимать их и дальше, откроет, что какие-то его личные нужды, его личные интересы присущи всем или, по крайней мере, подавляющему большинству человечества, то такой индивидуалист невольно придет к общественному сознанию, то есть перестанет быть индивидуалистом, вполне созреет, чтобы стать коллективистом. И то, что к этому он пришел через самого себя, через свои личные потребности, свои интересы, только может говорить в пользу его общественных убеждений. Что на себе пережито и прочувствовано, то без дураков твое, а твоими-то стали общие интересы, никак не индивидуальные. К признанию-то общественных нужд идут ради того, чтобы в первую очередь самому себе было лучше жить в обществе других. И к коммунизму приходят, как правило, не из-за прекраснодушного альтруизма.

Индивидуалист, мирящийся с тем, что не понимает другую личность, рискует быть сам непонятым. А взаимное непонимание неизбежно выливается во взаимное неуважение, а отсюда один шаг до взаимной вражды. И вот уже попахивает не муравьиной кучей, а братской могилой в радиоактивном пепле.

Только при коллективизме, сплоченном вокруг общих интересов, возможна оценка личности, а значит — и уважение ее достоинств. Само наличие уважения несет в себе отрицание нивелировки. Раз кого-то уважаю, значит, отличаю перед остальными, выделяю из уровня заурядности.

При упоминании коммунизма для многих стало пугалом некое умозрительное «коммунистическое одеяло», которым укрываются все сообща — символ обезличивающего всё и вся равенства. Но этого не придерживаются даже те наивные коммунисты, которые все еще ждут «коммунизма ложки». Даже они, мечтающие о равнопра-

вии в потреблении, не желают видеть людей «светлого будущего» равноправными, как зубья гребенки.

Для меня же — *внимание к личности со стороны общества это и есть коммунизм.*

«Внимание к личности!.. То-то вы, коммунисты, в этом преуспели. В пренебрежении к личности, в надругательстве над ней вас перещеголял, возможно, лишь немецкий фашизм, который в своих лагерях расходовал личности на производство мыла».

Но коммунистам ли бросается этот упрек? А не отступникам ли коммунизма?

По каким признакам считать Сталина коммунистом-общественником? Не по тем ли, что он проявлял постоянно полное пренебрежение к интересам общества, к интересам страны, если они противоречили его личным карьеристским интересам? Он достаточно хорошо знал, что свобода слова соответствует интересам общества. Знал, парадно афишировал это в своей конституции, но тем не менее, отбросив в сторону только что созданную конституцию, беспощадно душил любой инородный звук. Он журил в свое время Горького, что-де тот недооценивает значение критики — нужна обществу, в его интересах! — но на деле предпочитал неуемные восхваления по адресу собственной персоны. Он не мог не знать, что аресты выдающихся ученых, писателей, общественных деятелей, полководцев не могут пагубно не отразиться на общественной жизни, тем не менее проводил аресты, расстрелы, санкционировал пытки. И внимание к той или иной личности он проявлял не ради общественных нужд, а в угоду своей монаршьей выгоде — выдвигал Берию и ему подобных. Может, и их зачислить в лик преданных обществу коммунистов?

Только из пристрастного недоброжелательства к коммунизму, недоброжелательства до полной слепоты, можно называть коммунистом и Мао Цзедуна, организовавшего «культурную революцию», обрекающую национальную культуру на вырождение, дезорганизующую хозяйственную жизнь страны, несущую кровавое насилие, создающую атмосферу патологического страха, уничтожающую какие бы то ни было следы внимания к человеческой личности. Что, председатель Мао действовал во имя интересов общества?

Сталин и Мао войдут в историю человечества не как защитники интересов общества, а как *грандиозные монументы чудовищного индивидуализма!*

Подавляющее большинство тех, кто с горечью или со злорадным негодованием указывает: «Глядите, как плохо обстоит дело с так называемым коммунизмом»,—упрекают, собственно, не сам коммунизм, а путь к нему.

2

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов.

Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу...»

«Коммунистический манифест» с первых же строк объявляет о существовании извечного враждебного разобщения среди человечества. И чтобы с ним покончить, заставить род людской жить не во взаимной вражде, а в тесном содружестве, необходимо ликвидировать эксплуатацию человека человеком.

Как ликвидировать эксплуатацию — вот основной и всеобъемлющий вопрос, который открыто ставит перед собой марксизм.

Как?..

Эксплуатация есть присвоение результатов труда собственником средств производства. Если отобрать у собственника его собственность, то вместе с ней отымаются у него и какие-либо возможности эксплуатировать. Отобрать, сделать собственность всеобщей, все без исключения — владельцы, а все эксплуататорами быть не могут, само понятие эксплуатации тогда обессмысливается.

Так был поставлен вопрос в середине прошлого века, и таким логично ясным казался тогда ответ на него: отобрать — и повод для вечного антагонизма исчезнет, все будут трудиться, и никто ни у кого не станет присваивать результаты труда.

Но вот свершился величайший в истории эксперимент. Свершилось то, о чем мечтали авторы «Коммунистического манифеста»,— победоносная Октябрьская революция отобрала собственность у частных лиц, сделала ее общегосударственной.

И тут-то мало-помалу стало видно, что вопрос об эксплуатации не так уж и прост, далеко не ясен.

Нет собственников, общество устроилось согласно пожеланию, высказанному идеологом революции В. И. Ле-

ниным: «*Все* граждане здесь превращаются в служащих по найму у государства». Хозяин — государство, есть все основания ждать, что оно-то не станет присваивать результаты труда простого труженика.

Не присваивать? Но как?.. Отдавать рабочему *весь* результат его труда невозможно. Из труда рабочего предприятие вынуждено отчислять на свои насущные нужды — нужно восстановить запасы сырья, нужно выделить на изнашивающиеся машины, и пр., и пр. Если рабочий заберет без остатка весь результат своего труда, не терзаясь совестью, использует его на себя, на свою семью, ничего не оставит на возобновление сырья, на износ машин, его завод просто-напросто рано или поздно перестанет существовать, а вместе с этим исчезнет источник существования самого рабочего. Ничего не попишешь, выдели еще и на расширение производства, на резервный и страховой фонд, на оплату управляющего персонала... Кроме того, завод стоит не среди пустого пространства, а в обществе. А обществом, если оно даже идеально устроено, должен опять кто-то управлять, значит, что-то получать за свой труд, обществу нужны средства на школы, институты, больницы, на пенсионное обеспечение престарелых и нетрудоспособных, на исследовательские научные центры, наконец, увы и ах, не обойтись без армии, без расходов на вооружение. Рабочий — равноправный член общества. Если он вместе с другими рабочими не станет участвовать в этих общественных расходах, то его общество захиреет. Законно требование: давай, рабочий, из своего многотерпеливого результата труда нужную часть, а не малую толику.

Но при этом сложном изъятии как разобраться рабочему, что у него изымается законно, а что незаконно? Кто может гарантировать рабочему, что изымающие не злоупотребляют, присваивая себе лично некую долю труда?

В порочном присвоении можно подозревать лишь тех, кто стоит над рабочим, руководит им, намечает, сколько изъять. Казалось бы, самым наглядным показателем, что присвоения не существует, может быть условие — рабочий и руководитель обеспечиваются одинаково, получают одну зарплату. Тут и разговора о присвоении быть не может. А так ли это?

Каждый ли рабочий согласится на равенство зарплаты? Не будет ли считать квалифицированный рабочий себя обиженным, получая одинаково с только что явившимся на завод желторотым учеником, ничего не

умеющим толком делать? Результаты труда ученика меньше, а получает он столько же, значит, он пользуется для себя трудом квалифицированного рабочего, присваивает его себе.

Ну а если квалифицированный рабочий не согласится приравнять себя к ученику, почему руководитель этого рабочего, какой-нибудь инженер с высшим образованием, возможно, уникальный специалист своего дела, должен становиться на одну доску с рабочим? Если труд инженера уникален, то и чрезвычайно ценен, рабочий тут выступает в качестве присваивателя этого ценнейшего для общества труда.

Уравниловка никак не уничтожает эксплуатацию, наоборот, она создает самый гнусный ее вариант — наименее полезные члены общества присваивают себе труд наиболее полезных. Бездарь и лодырь становятся эксплуататорами, плодится общественный паразитизм.

Значит, посадить руководителя на заработную плату рабочего — не выход из положения. Тогда какой может быть показатель, по чему определить, где отсутствует эксплуатация, а где присутствует?

Да экономическое благосостояние самого рабочего, могут заявить нам. Если это благосостояние неизменно подымается — эксплуатация отсутствует, если же оно падает — бей тревогу, где-то кто-то что-то присваивает!

Увы! Повышение материального благосостояния не может быть следствием одной лишь ликвидации эксплуатации. Любой школьник знает, что капиталисты-эксплуататоры повышают материальное благосостояние своих рабочих, используя рост технических средств, дающих сверхприбыли. Знает любой школьник, знает и рабочий.

Честные руководители могут сколько угодно тешить себя тщеславной мыслью — эксплуатации не существует. Так ли уж важно, что они это осознали, куда важней, чтоб осознал сам рабочий. А осознать он не может, нет признака, по которому бы можно было судить, где начинается присвоение труда и где оно кончается.

Нет совсем? Наверное, можно все-таки провести строгие и точные экономические подсчеты: результат труда рабочего выразить в таких-то бухгалтерских цифрах, точно подсчитать нужды производства, нужды общества, а потом с помощью четырех действий арифметики установить — верно ли проводятся изъятия из труда рабочего, существует ли незаконный перебор и куда он ушел, кем присвоен? Можно ли? Ан нет!

Неизвестна все та же существенная малость: как и по чему оценить труд стоящего над рабочим руководителя, будь он капиталистом-собственником или же доверенным лицом при государстве, обобществившем собственность. Если хозяин-капиталист, по расхожей схеме, палец о палец не ударяет на своем предприятии, только огребает готовый барыш, жиреет, то картина ясная — паразит. Коммунист такому вынесет безжалостный приговор: «Кто не работает, тот не ест!» Но если хозяин предприятия выступает в качестве руководителя (что на практике скорей правило, чем исключение), то нельзя же не признать, что он трудится, а значит, и должен получать что-то за свой труд. Но сколько? Где тот уровень, тот образец, по которому можно высчитать и оценить труд руководителя? По количеству затраченного времени? Но ведь трудовое время одного человека не равно времени другого. Мы уже признали, что час работы желторотого ученика никак не равняется часу квалифицированного рабочего. По каким признакам оценить, чтоб руководитель не присваивал труда рабочих, а рабочие — труда руководителя? Объективных признаков нет, не на что опереться, чтобы с цифровыми выкладками убедительно показать рабочему — твое начальство ничего не присваивает. Нет и быть не может математической меры эксплуатации. Рабочего можно заставить лишь поверить на слово. Но слепая вера в святость хозяина — не признак ли зависимости, подневольности, не закрепощение ли это в самой страшной форме — духовной!

Только одним можно убедить рабочего, что он не эксплуатируется,— разрешить ему *самому* оценивать труд вышестоящего над ним начальства. Сам определил полезную ценность их труда. Ошибся — дал мало, твой руководитель уйдет от тебя, смотри, не пострадает ли производство, не будет ли оно давать тебе, рабочему, меньше. Ошибся — дал больше, пеняй на себя, тут у тебя не присвоили, сам изъял. Эксплуатации самого себя не существует.

Но сам-то ты будешь пользоваться не некими объективными данными, а своими, сугубо личными, субъективными мотивами — своими наблюдениями, своими запросами, своими прикидками.

Ты можешь свои мотивы согласовать с личными мотивами твоих товарищей по работе, вывести некое общее, более или менее удовлетворяющее всех решение, оно уже имеет некий объективный характер. Но объективный —

только для данной группы лиц; никак не универсально объективное, не выведенное на основе независимого от тебя закона. Нет — на основе *субъективных* суждений, духовного проявления нескольких «я».

Французское слово «эксплуатация» применяется довольно широко: *эксплуатация* машин, *эксплуатация* рабочего скота или же... «Строительно-монтажный трест сдал в *эксплуатацию* сто тысяч квадратных метров жилой площади сверх плана». Здесь, как ни объясняй это слово, а из экономических понятий не выскочишь. Но там, где эксплуатация касается не бездушных квадратных метров, а *человека*, она переходит из экономической категории в *духовную*.

Как уничтожить эксплуатацию человека человеком? Теперь этот вопрос нас уже должен настораживать. Можно ли его так ставить? Ведь прежде чем заняться уничтожением, необходимо себе уяснить, где начало и где конец этого зловредного явления? Уяснить в каждом конкретном случае! Объективными экономическими признаками этого не сделаешь, только через субъективные ощущения, только через духовное. Ну, а духовным-то социальные теории не занимаются, они ищут объективные законы развития человеческого общества.

3

Сто двадцать лет отделяет нас от «Коммунистического манифеста», этого великого произведения, вызвавшего в мире одно из самых могучих движений. Сто двадцать лет!..

Во всей истории человечества не было другого такого столетия, которое принесло бы столько головокружительных изменений и было бы столь богато революционными переворотами.

Наука пережила две грандиозные революции — теория относительности и квантовая механика,— коренным образом изменившие взгляды на окружающий нас мир. Назревает третья революция — в биологии. Да не революционный ли переворот несет в себе и принципиально иная наука — кибернетика? Грандиознейшие революции произошли и в технике — век пара сменился веком электричества, и вот уже новый век идет на смену — век ядерной энергетики. Да и век ли это, не эпоха ли? Некоторые ученые считают использование внутриядерной энергии столь же значительной вехой в истории челове-

чества, как и начало использования огня. Неистовое, воистину взрывное развитие техники не могло не вызвать революции в промышленности, не могло не сказаться на производстве материальных благ и на производственных отношениях. Обнищание рабочего класса, которое с вопиющей наглядностью существовало во время Маркса и Энгельса, казалось бы, грозило усугубиться, вдруг прекратилось, рабочий при наличии капитализма зажил на уровне буржуа. Начало меняться и сословное лицо общества, не прямые производители — крестьянин и рабочий — стали подавляющим большинством населения в передовых капиталистических странах, а многочисленный управленческий аппарат — чиновники, клерки, служащие магазинов, учреждений, бытовых организаций, и пр., и пр. Наконец, Октябрьская революция, реализовавшая требование «Коммунистического манифеста» об уничтожении частной собственности, вызвала к жизни непредвиденные острейшие общественные проблемы, о которых просто не могли и подозревать Маркс и Энгельс.

Было бы нелепо рассматривать марксистскую теорию вне диалектического развития, без признания непрестанной изменчивости мира, считать, что воистину фантастические перемены, как в самой жизни, так и во взглядах на мир, не могут повлиять на теоретические постулаты вековой давности, на сам марксизм. Это означало бы отказать марксизму в развитии, законсервировать его, собственно, превратить в труп.

Маркс говорил: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его». Но можно ли рассчитывать на какие-либо изменения и не принимать во внимание те изменения, которые уже произошли, стали свершившимся фактом? Тут уж не только об изменении, а даже об объяснении речи быть не может. Ничего нет страшнее для марксизма, как верноподданническая фраза, которой постоянно размахивают чересчур ретивые приверженцы: «Сохранять в неприкосновенной чистоте марксистское учение!» Не притрагивайся — испачкаешь, любуйся и умиляйся, храни в чистоте! Твердим: «Наше оружие!» И грозно запрещаем: «Не смей касаться!» Где же логика? Меч, к которому нельзя прикоснуться, не рубит, ружье не стреляет, а в лучшем случае они превращаются в музейные экспонаты с остерегающей биркой «Руками не трогать!».

Уничтожить эксплуатацию человека человеком... Маркс и Энгельс не могли предвидеть, что понятие

эксплуатации трудно объяснить только экономическими категориями, слишком грубы были отношения между господином и рабом, феодалом и крепостником, капиталистом и рабочим тех лет. Капиталист тогда с откровенным цинизмом вершил экономическое насилие над рабочим, не таясь и не мудрствуя лукаво присваивал себе труд. Эксплуатацию, казалось, не нужно было и объяснять — зримая, бьющая в глаза очевидность. Но как много очевидных понятий при более пристальном вникании утрачивали свою очевидность. Для наших предков наглядной очевидностью был тот факт, что Солнце движется вокруг незыблемой Земли, собственными глазами убеждались в этом. Для Ньютона была очевидностью абсолютность времени и пространства, и то, что Эйнштейн отверг эту абсолютность, доказал ее относительность, нисколько не умаляет значения Ньютона. Ньютон не мог мыслить иначе, как не мог древний скотовод видеть мироздание глазами Коперника.

Тот, кто сейчас оскорбляется за Маркса — его поправлять, сомневаться в святости его высказываний! — в точности похож на того рутинера-ученого, оскорбляющегося за Ньютона, тормозящего развитие науки, значит, предающего само дело, которому служил Ньютон. Ортодоксальные защитники марксизма — враги марксизма.

Мы не можем ставить перед собой вопрос об эксплуатации столь лобово, как его ставили сто лет назад. Пересматривая его, мы не можем не взглянуть иными глазами и на то, что веками служило орудием эксплуатации, что было причиной векового антагонизма, ради чего «Коммунистический манифест» звал к революции пролетариев всех стран — на саму собственность на средства производства.

4

После Октябрьской революции, казалось бы, новое революционное правительство имело право гордо сказать труженику: «Орудия и средства производства твои!»

Ну, а труженик поверил в это? Признал ли рабочий отобранный у капиталиста завод своим?

В. И. Ленин незадолго до штурма Зимнего, прячась от преследований правительства Керенского, набрасывает в общих чертах отношения в будущем обществе: «*Все* граждане превращаются здесь в служащих по найму у го-

сударства, каковым являются вооруженные рабочие. *Все* граждане становятся служащими и рабочими *одного* всенародного государственного «синдиката».

Многое из того, о чем мечтал тогда Ленин, не удалось провести в жизнь. Например, от «государства, каковым являются вооруженные массы рабочих», пришлось отказаться. Государство было вынуждено организовать свою постоянную, подчиненную не массам, а государственным верхам армию с неукоснительной дисциплиной, с назначенными, а не выборными командирами.

«Два учреждения,— говорил Ленин,— наиболее характерны для этой (то есть капиталистической.— *В. Т.*) государственной машины: чиновничество и постоянная армия». Появилась постоянная армия, появилось чиновничество, причем незамедлительно после революции, еще при Ленине. И Ленина тут никак не упрекнешь в беспринципности — мол, говорил одно, а делал другое. Без постоянной армии, дисциплинированной, организованной — никак не стихийные вооруженные массы! — новое государство было бы разбито и жестоко подавлено. Так же, как и без управляющего штата государственных чиновников страна развалилась бы от анархических беспорядков.

Но «*все* граждане здесь превращаются в служащих *по найму* (курсив мой.— *В. Т.*) у государства» — было проведено в жизнь, легло в основу общественных отношений.

Государство через доверенных лиц нанимает на работу рабочего. Навряд ли этот знаменательный акт происходит при любовно-идиллических отношениях. Сам Ленин с трезвой горечью отмечал: «Государство, бывшее органом угнетения и ограбления народа, оставило нам в наследство величайшую ненависть и недоверие масс ко всему государственному».

«Да, это факт,— повторяет он в другом месте,— капитализм нам оставляет в наследство, особенно в отсталой стране, тьму таких привычек, где на все государственное, на все казенное смотрят как на материал для того, чтобы его попортить».

Конечно же, при таком духовном наследстве нанятый государством рабочий не может поверить, что завод, куда его нанимают, стал теперь его собственностью. Шутка ли, в нем, рабочем, живут «величайшая ненависть и недоверие ко всему государственному». Привычка, сложившаяся многими веками, передававшаяся из поколения в поколение, так сказать, продукт истории, ее никак нельзя не учитывать. Прошлое не скинешь со счетов.

Но предположим на минуту невозможное: нет этой привычки, нет «величайшей ненависти и недоверия», ничто не мешает поверить рабочему на слово, что завод теперь стал собственностью других рабочих. Но при этом все равно государство через доверенных лиц *нанимает* рабочего на работу.

А что это значит?

Это значит, что кто-то, помимо самого рабочего, назначает ему зарплату, кто-то со стороны устанавливает его жизненный уровень, то есть в каком-то смысле распоряжается его жизнью. Может ли при такой ситуации рабочий чувствовать себя хозяином? Нет, скорей всего он почувствует обратное — наемный труд есть наемный труд, к хозяйским правам и обязанностям он никакого отношения не имеет.

Раз государство через доверенных лиц нанимает рабочего, раз оплачивает его труд, то, по всей вероятности, это государство, опять же через доверенных лиц, обязано и следить за рабочим — как работает, оправдывает ли своим трудом назначенную зарплату. Следить же и контролировать, но при этом полностью доверять тому, за кем следишь, невозможно. Государство *вынуждено* не доверять рабочему. А рассчитывать, что на недоверие рабочий будет отвечать доверием, может только прекраснодушный идеалист. Недоверие вызывает ответное недоверие — недоверие к лицам, представляющим интересы государства, недоверие к самому государству, недоверие к громогласным уверениям: твоя собственность, твой завод!

«...Оставило нам в наследство величайшую ненависть и недоверие масс...» Но даже если б этого страшного наследства и не было за плечами, то все равно оно бы возникло. Государство само бы его создало самим фактом найма, старой, перенятой у капиталиста формой отношений — я тебя нанимаю, я оцениваю твой труд, я определяю за тебя, что ты должен есть, пить, как одеваться. Сама капиталистическая форма найма не дает рабочему никакой возможности чувствовать себя хозяином. И на собственность он будет глядеть как на чужую. И никакие гордые лозунги тут не помогут. Высокими фразами можно лишь обмануть рабочего, обмануть самих себя, но, увы, не сделать былью коммунистические намерения.

Отобрать собственность, обобществить ее — оказывается, этого мало, чтобы она действительно стала принадлежать трудящимся.

Не трудящихся, тогда чья она? В чьи руки попали заводы и фабрики, рудники и пути сообщения, отобранные у частных лиц? Тут сам собой назойливо напрашивается простой вывод — раз не в руки рабочих, то для отобранной собственности нет иных рук, как руки действующих от имени государства чиновников! И конечно же, после этого придется делать следующий шаг, признать без обиняков, что появился новый класс экономических хозяев — господствующий класс чиновников. И уже кой у кого такой вывод не вызывает сомнений, и уже пишутся книги, объявляющие о появлении «нового класса». Кажется, просто, ясно, логично, даже вполне в марксистском духе классовой борьбы.

Но наглядная простота не всегда-то соответствует истине.

Государственный чиновник, нанимающий рабочего, по-хозяйски им распоряжающийся, сам находится на службе у государства, его тоже нанимают, кто-то оценивает его труд, устанавливает уровень его жизни (другой разговор — насколько этот уровень отличается от уровня рабочего), то есть и им тоже по-хозяйски распоряжаются.

Заведующий отделом кадров завода, нанимающий рабочего, никак не может считать себя собственником завода — служащий на нем отнюдь не хозяин.

Не может считать себя хозяином и высшее лицо на заводе — директор. Он тоже служащий, кто-то его нанял, кто-то определил ему зарплату, директор совершит уголовное преступление, если самовольно увеличит свой прожиточный уровень за счет доходов доверенного ему завода. Не собственник, никак не назовешь таковым.

Не назовет себя собственником и министр, хоть и высокопоставленный, но все-таки служащий, нанятый, как и все.

А члены правительства?.. Может, они собственники всех заводов, фабрик и пр., и пр. в стране?.. Во главе правительства у нас в свое время стоял один человек, его власть и его права были неограниченны, он диктаторствовал бесконтрольно, безнадзорно, выдвинулся благодаря обстоятельствам. Никем не нанят, никто не определял его уровень жизни. Хозяин?.. Очень похоже.

Но в таком случае мы должны прийти к фантастическому выводу: в нашей стране существовал господствующий класс... в лице одного человека! Что уже само по себе противоречит общепринятому понятию класса, которое подразумевает некое множество связанных общими ин-

тересами людей, и не просто множество, а, по выражению Ленина, «большие группы людей».

Хозяин? Спорить не приходится. Диктатор всегда хозяин, но при этом далеко не всегда он одновременно и собственник средств производства. Диктаторы были и раньше, при частной собственности, и еще какие диктаторы! Они даже частенько выступали против интересов класса, обладавшего экономическим господством. Вспомните Наполеона, затеявшего континентальную блокаду Англии, которая была крайне невыгодна и своим, французским толстосумам.

Сила собственника только в том, что он через свою собственность может подчинять неимущих, за счет присвоения их труда нанимать защитников своих интересов. Сила диктатора никогда не ограничивается наличием собственности. Наполеон был вовсе не самый богатый человек Франции. Диктатор пользуется сложившимися обстоятельствами в обществе (борющиеся группы, например, взаимно ослабляют себя, попадают в подчинение), опирается больше на силу булата, чем на силу злата, он *берет*, а не покупает, потому-то он и диктатор.

Сталина, которого мы готовы подозревать в подмене собственной персоной всего господствующего класса, трудно назвать собственником всех средств производства потому, что в своем владычестве он не столько действовал экономическим путем, сколько прямым, неприкрытым насилием. И как часто этот бесконтрольный, никому не подчиненный властитель оказывался беспомощным что-либо поправить в экономике. Наверное, в его интересах было бы реализовать хвастливо брошенную фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее». От того, что подвластные ему граждане стали жить лучше, его личное благосостояние ничуть не пострадало бы, а в диктаторском авторитете он бы крупно выиграл — подкормленные люди стали бы еще энергичнее верить в его святость и величие. В его интересах, но не в его силах. Хозяин страны — да, диктаторски полновластный, но не хозяин экономики, не хозяин средств производства.

При диктаторстве собственнические права теряют доминирующее значение. Диктатору вовсе нет нужды быть собственником. Его грубое диктаторское насилие несоизмеримо действеннее деликатного господства собственника.

Итак, даже Сталина, эту поднебесную личность, собственником не назовешь. Господин пользовался не рублем, а палкой.

Тогда чья же у нас собственность? Кому принадлежит?

Да никому конкретно, всем вообще. Она и на самом деле общая, государственная, неотъемлемая часть создавшейся системы. Общая, но это нисколько не значит, что твоя, моя, его! Никто из нас своей ее не считает. Распространенное и наивное заблуждение: коль что-то стало общим, то сразу считай — оно мое. Ой, нет, от общей, ничьей конкретно собственности до моей, твоей, нашей — лежит обширное пространство, через него не так-то просто перебраться. А пока не перебрались, собственность будет оставаться *ничьей*, просто общей — *обезличенной*.

И вот рабочий сгружает кирпичи на строительстве так, что от них остается кирпичный лом. Чего их жалеть — общее, не мое.

И вот во время «рязанского чуда» чиновник взывает: режь скот, режь всех подряд, стельных коров, быков-производителей! Режь, чего их жалеть — общее, не мое. Чиновник и не мнит себя собственником, он не господин, а ревностный служака.

Никто не мнит себя собственником средств производства, а извечный антагонизм в обществе продолжает существовать. Руководящий чиновник вынужден не доверять рабочему, вызывать к себе ответное недоверие, при общей собственности интересы у них противоположные.

«...Величайшую ненависть и недоверие масс...» Старое отравляющее наследство, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы оно исчезло. Наоборот, оно перекинулось на тех, кто стоит над массами, руководит ими. Если прежде в обществе хоть кто-то был заинтересован кровно в эксплуатации собственности, то теперь этой кровной заинтересованности *нет ни у кого*. Все одинаково служат по найму, подходят к делу с точки зрения службистов. Службистский подход — формальный подход, тут важны не столько реальные результаты, сколько добросовестное исполнение. Добросовестное и бездумное. Плодятся бюрократы. И не следует считать, что они плодятся преимущественно за глухими дверями высоких кабинетов, бюрократически управлять можно и станком, и трактором — абы сделать, и с плеч долой — чем не формальный подход. Бюрократов нисколько не меньше в народной гуще. Да и почему народ должен быть сознательней, выше в общественном плане своих руководителей?

И возможно ли при такой «заразе наплевательства» к собственности благополучие в нашей стране? А страна наша, пожалуй, самая богатейшая на планете, ни одна не

сравнится с нею по природным ресурсам, но живем мы в ней скудно! Скудно живет крестьянин, скудно — рабочий, и чиновник наш тоже в своей массе относительно нищ. Не надо забывать, что у нас огромное количество непривилегированного чиновничества.

Но как я смею говорить такое — дурно отзываться о своей стране, о своем государстве, о нашем строе! Как смею? Преступник!

Опомнимся, до чего мы дожили! Наподобие глупого страуса, стараемся спрятать голову под крыло — ничего не видеть, ничего не слышать. Сгинь нечистая сила — проблем не станет! И это вот не преступно, это полезно для страны, для народа, для самих государственных руководителей?

Не преступно ли это перед революцией, наградившей нас средствами производства, перед памятью наших отцов и братьев, проливших реки крови за лучшую жизнь? Наконец, не преступно ли перед памятью наших учителей? Какие неталантливые ученики, не способны самостоятельно осмыслить развивающуюся жизнь, понять произошедшие изменения, увидеть то, что им было не дано.

Опомнимся, оглянемся! И без робости подумаем о том, что нам нужно изменить. Что и как?..

5

«Все граждане превращаются в служащих по найму у государства...» По найму... Принцип этот старый, капиталистический, предполагающий наличие двух знаменательных фигур — купца-толстосума и того бесхитростного продавца, который, кроме пары своих рабочих рук, не в состоянии предложить никакого другого товара. За купца у нас выступает самое государство, но это, право же, не нарушает развития привычного водевиля, который разыгрывался на протяжении почти всей истории. Две фигуры не только определяют взаимоотношения в обществе, но и самую структуру этого общества, его конструктивное построение. Купец-работодатель должен позаботиться о том, чтоб кто-то оформил их сделку в виде законов, чтоб кто-то следил за соблюдением этих законов, кто-то оберегал их силой от каких бы то ни было посягательств, наказывал нарушителей, наконец, кто-то контролировал нанятого рабочего, чтоб, не дай бог, его «товарец» не залеживался без дела. Две главные фигуры

тянут за собой другие, и все они располагаются в определенном порядке, в системе, создают действующую государственную машину.

Ленин, предложивший воспользоваться старым, опробованным капитализмом способом «по найму», расставивший привычные фигуры в привычные положения, как-то мимоходом бросил такие слова: «Ныне в государстве, устроенном по образцу и подобию господствующего класса...» При этом он имел в виду вызванное к жизни революцией новое государство.

«По образцу и подобию господствующего класса...» Но если что-то устроено по какому-то образцу и подобию, то, наверное, оно и функционировать будет подобно взятому образцу, скорей всего будет обладать сходными достоинствами и недостатками. На сооружении, построенном по образцу самолета, можно, наверное, только летать и нельзя пахать, для этого нужно взять за образец трактор, совершенно иную систему.

Использовать старый образец — явление обычное и никак не предосудительное. История доказывает, что феодализм многое перенял у рабовладельческого строя, капитализм — у феодального.

Но коммунисты-то вознамерились совершить такое, чего цивилизованная история еще не знала,— создать общество, *принципиально* отличающееся от всех предыдущих, общество, где отсутствовал бы характерный для всех антагонизм, где отношения строились бы не на противоположности интересов, а на их общности, не на обоюдном недоверии, а на взаимодоверии. Тут уж речь идет не просто об изменениях, не о появлении новой формации, а скорей о создании новой истории, о решительном повороте в существовании рода человеческого. Новое общество должно отличаться от старого, как стадо от племени.

И потому структура нового общества должна быть не просто отлична, а *принципиально* отлична. Если феодал лишь модернизировал расстановку сил рабовладения, капитализм — феодальных, оставив прежние противопоставленные друг другу фигуры работодателя и работоисполнителя, то ныне о модернизации и речи быть не может. Две фигуры — основа старой конструкции — должны быть чем-то заменены.

Чем? Что вместо? Какой должна быть конструкция нового общества?

Но, наверное, прежде нужно разобраться, каким условиям должна отвечать эта конструкция?

В первую очередь мы обязаны заявить: никак не служба «по найму», ибо наем предполагает работодателя и работоисполнителя, возрождает неизбежно что-то из старых отношений.

Но отказ от найма не должен привести к уравниловке, где не различаются ни способные, ни бездарные, где ленивый и бездеятельный присваивает труд деятельного. Нельзя согласиться на общество, где бытует паразитизм. И это второе.

Раз нет уравниловки, то предполагается и существование руководящих и руководимых. Но как определить, кто достоин руководить, а кому следует находиться под руководителем? При найме у государства это решалось легко. Один облеченный доверием ставит другого, другой — третьего и т. д. — идет назначение сверху вниз. Назначение невозможно, значит, остается выборность снизу. Рабочие избирают себе руководителя, сами несут ответственность перед собой, если этот руководитель не оправдал надежд.

Вполне может статься, что рабочие в своей среде не найдут достаточно опытного, образованного кандидата в руководители, им придется приглашать со стороны, то есть нанять. Такой наем ничем не напоминает прежний, он является частной формой выборности, не скажешь «по найму у государства», всего-навсего по найму у отдельного коллектива. Наем со стороны работоисполнителей — наем навыворот. И это третье условие.

Раз коллектив работников нанимает или выбирает кого-то, то он и должен оценивать его труд, определять зарплату. Тут вместе со старомодным наймом исчезает и старомодное ощущение, что кто-то присваивает твой труд. Исчезает то, что носило невнятное и объективно неопределимое название — эксплуатация. Коллективная оценка труда — четвертое условие.

Но просто сказать — нанимают или выбирают из своей среды более опытного, способного. Опыт и способность — понятия относительные, тут точного мерила нет. А выбирать-то более способных надлежит менее способным, менее опытным. Они должны ошибаться уже в силу своей неопытности. Даже диплом об образовании не может служить гарантией для руководителя. Как часто встречаются дипломированные тупицы, непригодные к практической деятельности. Конечно, ошибившись в выборе раз, другой, рабочие кой-чему научатся, как-то станут разбираться в людях. Но достаточно ли такого опыта сторонних наблюдателей?

Выбрать и предоставить право — руководи, выбрать и заранее смиренно признаться — мы не разбираемся в руководстве, не надеемся когда-либо разобраться — значит заведомо раз и навсегда отказаться от контроля над выбранным руководителем. А что может быть страшнее бесконтрольного руководства? Это открывает широкие возможности для проявления разного рода ловкачества в корыстных интересах. Это заставит неосведомленных в деле руководства, но получивших право выбирать рабочих быть недоверчивыми. Скорей всего, они станут подбирать для руководителей похожих на себя людей, мол, пусть будет не столь умен и прозорлив в деле, лишь бы не ловчил, не хитрил, был своим братом. Никак не исключено, что выбирающие начнут относиться с крайней подозрительностью к образованности, к предприимчивости, к дерзости ума, потому что от таких-то чаще можно ждать ловкого обмана. Тут посредственность будет предпочитать посредственность, а уж это непременно отразится на деле. Заурядные руководители, боящиеся быть предприимчивыми и решительными, не откроют новых возможностей доверенного им хозяйства, не подымут производительность труда, общество станет производить меньше материальных благ, жить хуже.

Ограничиться одним лишь разрешением на право выбора руководителей и не дать возможности рабочим совершенствоваться в деле руководства, то есть ограничить кругозор рядового рабочего его рабочим местом, заставить его всю жизнь видеть лишь свой станок и ничего более, а общие задачи, общее положение дел того хозяйства, которое рабочий должен считать своим, закрыты для него, он несведущ, нечего думать о какомлибо контроле с его стороны — не опасно ли?

Несведущему рабочему предоставлено не только право выбора руководителя, но и право оценивать труд, определять зарплату. И уж он в силу своей неосведомленности в общих хозяйственных нуждах, не способный видеть ничего, кроме своего станка, вряд ли будет учитывать эти нужды, скорей станет стараться за счет хозяйства вырвать побольше для себя. Любой честный и толковый руководитель должен выступать против таких хапужнических стремлений, а это вызовет конфликт между ним и рабочим. Несведущий рабочий уживается только с тем руководителем, которому также безразличны интересы общего хозяйства, кто готов поддерживать рабочего в обескровливании предприятия. Нет уж, минуй чаша сия, пусть лучше останется «по найму

у государства», тут хоть гарантированы какая-то дисциплина, какой-то контроль со стороны чиновников.

Рабочий должен быть сведущ. Стоит задача дать *каждому* рабочему возможность как-то совершенствоваться в понимании общего дела, чтоб *каждый* рабочий рано или поздно мог стать контролером избранного им руководителя. *Каждый* — непременное требование, иначе в среде рабочих выделится привилегированная группа, появится некое избранное сословие приближенных к руководству — рабочая аристократия. А значит, появится некое неравенство, появится недоверие, а там уж и антагонизм.

Итак, вырисовывается пятое условие — предоставить возможность *каждому* совершенствоваться в деле общего руководства.

Без этого условия все предыдущее обесценивается начисто. Это условие можно считать самым важным, самым главным и, уж конечно, самым трудным. Его декретом не проведешь — мол, учитесь руководству! Рады бы, а как? И у кого? У своего руководителя? Обязать его — стань педагогом. А где гарантия, что этот педагог будет учить тому, чему нужно,— как контролировать его же самого? Да и захочет ли каждый рабочий учиться просто так? *Каждый*, а не наиболее способный...

Ничего не ясно, сплошной туман. Ясно лишь одно, что рабочий не сможет научиться принципам руководства, если он не станет соприкасаться с этого рода деятельностью.

Соприкасаться с руководством, не будучи руководителем? При непременном требовании — каждый!

Да и возможно ли такое?

6

Если мы вернемся обратно, вновь внимательно просмотрим пункт за пунктом все условия, то, наверное, нас теперь должно насторожить четвертое условие, где говорится о коллективной оценке труда.

А что значит — коллективно оценить труд? Это значит, коллектив рабочих должен положить перед собой весь доход с предприятия, выделить из него на хозяйственные нужды, на нужды общества и определить ту часть, которую можно без ущерба для хозяйства использовать на себя в качестве оплаты за свой труд. Лишь после этого коллективно ее делить, учитывая ценность труда каждого отдельно взятого рабочего.

Получается, нельзя оценить труд, не учитывая общехозяйственные нужды, не соприкасаясь с тем, что, собственно, является повседневной задачей руководителя. Если ты, рядовой рабочий, принял участие в столь существенном для тебя обсуждении, каким является определение заработной платы, то ты непременно должен ознакомиться с положением всего твоего хозяйства, через доход, участвуя в его распределении.

Доход... У нас сложилось некое пренебрежение к этому скучному бухгалтерскому термину. Доход — нечто меркантильное, утилитарно низменное, связанное с человеческой корыстью. Доход — золотой телец, которому поклоняется капиталист. Вряд ли в художественной литературе отыщешь похвальное слово доходу, поэты не воспевали его в стихах. И напрасно, он уже тем достоин почтительного уважения, что содержит человечество, кормит, поит, обувает, одевает всех, в том числе и неблагодарных поэтов. Доход, можно сказать, породил цивилизацию, помогает ей развиваться и по сей день. Первобытный хлебороб, не съевший, а бросивший в землю несколько горстей зерна, получивший обратно сам-десять, уже имел дело с доходом. И этот доход освободил его от необходимости ежеминутно заботиться о брюхе, помог оглянуться кругом, задуматься о новом, более выгодном способе добывания пищи и даже о том, чтобы как-то выразить другим свое эмоциональное удовольствие жизнью. Доход помог родиться мыслителям и поэтам.

Но не только тем умственно развивал человека доход, что давал некий досуг для раздумий, нет, он сам становился учителем, ставил задачи, настойчиво требовал их решения, боролся с косной первобытной дремучестью. «Я тебе нравлюсь,— говорил полученный доход хлеборобу,— ты хотел бы вновь меня иметь, пожалуйста, только раздели меня на две неравные части, одну съешь, другую прибереги, чтоб посеять снова». Доход учил самому важному, самому главному в жизни — думать о будущем, предвидеть его.

Распределение дохода и по сей день является своеобразной наукой предвиденья. Тот, кто занимается его распределением, обязан поразмыслить над тем, как станет выглядеть завтра его предприятие, сколько оно будет поглощать сырья, какие машины выйдут из строя, какие займут место в цехах, какие связи с другими предприятиями останутся, какие порвутся, какие вновь возникнут, что будет расширено, что сокращено, и т. д., и т. п. Тот,

кто распределяет доход, как бы творит будущее, не только свое, не только тех, кто непосредственно работает на данном предприятии, но в какой-то степени будущее всего общества, ибо само предприятие связано с другими: изменяется оно, вынуждены измениться и другие.

Кто наделен правом распределения дохода, того можно считать хозяином предприятия, дающего этот доход.

Доход распределяется не постоянно, не ежечасно и не ежедневно. Предприятие должно провести какой-то цикл работ, чтоб можно было говорить о получении дохода.

Простой труженик необязательно должен ежечасно и ежедневно соприкасаться с делом общего руководства, чтобы получать навык руководителя. Ему достаточно принимать участие в распределении дохода, быть контролером и советчиком, вместе с другими, не нанося ущерба выполнению своих прямых обязанностей.

Но что даст такое общее, коллективное распределение? Сразу приходит на память пословица: ум хорошо — два лучше. Мол, при участии многих умов лучше пройдет это распределение, больше шансов на то, что не останутся неучтенными какие-то нужды, какие-то мельчайшие потребности. Возможно, но вовсе не обязательно. Порой один высокоодаренный специалист сможет куда быстрей прийти к более толковым решениям, чем целый коллектив. И никак не исключено, что мелкие претензии, советы, которые неизбежно всплывают при коллективном обсуждении, помешают с необходимой отчетливостью увидеть целое, приведут к крупным просчетам. Коллективное распределение дохода не обязательно должно быть лучше, но и не обязательно хуже, не в этом его основное преимущество.

А преимущество есть.

Во-первых. Тот, кто участвует в распределении дохода, будет считать, что собственность — завод, фабрика, колхоз — его, общая наравне с другими. И не по лозунгам, клятвенно уверяющим его в этом, а по своим личным ощущениям. Передо мной раскрыты все карты, я вижу, что куда уходит, что на что используется, мне дано право возражать, советовать, принимать советы других и отвергать их. До сих пор для меня было таинством — как, из чего составляется моя зарплата, на которую я живу. Теперь я сам вместе со всеми высчитываю фонд зарплаты, вместе со всеми распределяю его, назначаю, кому сколько приходится. Вполне возможно, что мне не всегда будет нравиться это распределение, мои же товарищи меня лично урезали, дали меньше, чем я стою.

Я возражаю, требую, подкрепляю требования доводами. И если мои доводы не приняты, то я должен выбрать одно из двух — или принять точку зрения моих товарищей, или уйти от них, рассчитывая, что другие в другом месте лучше поймут и оценят меня. Я назначаю зарплату не только своим товарищам, но и своему руководителю, даю столько, сколько считаю нужным. Если буду уверен, что такого-то руководителя можно заменить любым, то я не выделю ему больше того, чем сам себе назначаю. Но если мой руководитель редкий специалист, знаю, что за него ухватятся с охотой другие предприятия, то уж я буду опасаться его обидеть, я даже могу ради страховки и переоценить его труд, дать больше, но уж при этом не стану считать, что-де он что-то там присвоил из моего рабочего труда. Сам дал, какой может быть разговор о присвоении. Об эксплуатации не может быть и речи.

Во-вторых. В моих личных интересах получить для себя как можно больше из дохода. Но наибольшая сумма достанется мне лишь тогда, когда весь доход будет распределен по рукам. Однако даже первобытный хлебороб понял насущнейшую необходимость — нельзя съесть весь свой зерновой доход, коли хочешь жить дальше. Расхватывание по рукам дохода — мне это нетрудно понять — есть прямой разбой над самим собой. Я не живу по принципу — день да ночь, сутки прочь, я хочу жить и дальше, желательно, лучше, чем теперь. Для этого, прежде чем я позабочусь о себе, я должен позаботиться о своем предприятии, меня кормящем, чтоб оно не испытывало перебоев в сырье, чтоб машины в нем не ломались, чтоб оно расширялось, выдавало год от году больше продукции. Больше — выгодно мне и моим товарищам. Но это больше выгодно и всей стране, всему обществу. *Мои личные интересы и интересы всего общества тут совпадают.* Это совпадение помогает мне чувствовать себя более свободным.

В-третьих. Помогает, но абсолютно свободным я себя не чувствую. Абсолютная свобода — блеф, ее могут обещать только политические спекулянты. В первую очередь, я не свободен от мнения своих товарищей, от тех, с кем работаю бок о бок. Я ценю себя, я имею право требовать к себе внимания. Но я постоянно должен остерегаться и переоценки самого себя. Не могу же я при каждой явной или кажущейся недооценке моих качеств говорить: «До свидания, я вам не слуга». Я должен помнить, что и в другом месте, не исключено, меня оценят так же, если не

ниже. Я вынужден считаться с мнением товарищей, уважать их. Я привыкаю подчиняться коллективной необходимости, а свобода есть осознанная необходимость. Должен уважать остальных, но в то же время внимательно приглядываться к каждому — не переоценивает ли и он себя, не прикрывает ли развязной болтовней глупость, напускной скромностью — корыстность... В первую очередь я обязан приглядываться к своему руководителю, потому что от него я больше завишу, чем от остальных. Хочу я того или нет, но *я учусь распознавать людей*, учусь критически относиться сам к себе, учусь необходимейшей в жизни науке — *общению*.

В-четвертых. Распределение дохода — сам по себе процесс не простой. Нельзя распределять, не проанализировав состояние всего хозяйства, не предусмотрев будущие нужды. Я это делаю вместе с другими, разными по характеру и уму людьми. Я вместе со всеми решаю практические задачи. Кто-то, умнее меня, решает их лучше, предусматривает глубже и тоньше, кто-то хуже. Я могу не понять самого проницательного, самого способного, его тонкое предвиденье для меня непостижимо, я отказываюсь его поддерживать, добиваюсь в этом сочувствия у других, провожу в жизнь свою недостаточно проницательную точку зрения. И это не может остаться безнаказанным, рано или поздно моя близорукость становится очевидной для всех. Рано или поздно, но я вынужден учиться у умнейшего, только у него, сама жизнь тут помогает, она — непререкаемый судья, с беспристрастной суровостью наказывающий за ограниченность. Я неизбежно год от году становлюсь умнее, лучше разбираюсь в хозяйстве, лучше предвижу нужды и потребности, лучше могу контролировать своего руководителя. Я сам не руководитель, но дело руководства мне отнюдь не чуждо. Сегодня беспомощный и растерянный, я завтра обретаю опыт и уверенность.

Итак, я ощущаю себя хозяином, действуя в своих интересах, поддерживаю интересы общества, учусь взаимообщению, учусь делу руководства у тех, кто умнее меня, опытнее. А в общем, я *не могу* быть невнимательным к другим, другие — ко мне. Личность каждого становится объектом пристального внимания.

Таковы соблазнительные возможности, которые обещает коллективное распределение дохода. Еще раз назойливая оговорка — необходимо привлечь каждого, а не избранную часть. Иначе только эти избранные будут

совершенствоваться, только они окажутся в сфере общественного внимания, остальные же как были, так и останутся исполнителями чужой воли, серой рабочей скотинкой. Будут избранные, будут парии, а отсюда все вытекающие болезненные последствия.

7

Все это никак не мое открытие, о коллективном распределении дохода мечтали многие. И нельзя сказать, что мечты оставались мечтами, делались попытки применить их и на практике.

Я имею смутное представление о попытках такого рода, проведенных в других странах. У нас же это в какой-то степени проводилось в жизнь в так называемых сельхозкоммунах, в весьма небольшом количестве существовавших до сплошной коллективизации.

Трудно говорить о их практическом опыте, даже те малочисленные примеры не были достаточно изучены, скудные сведения (оставшиеся главным образом лишь в памяти очевидцев) дают лишь смутный и не всегда объективный материал для размышления.

Известно, что многие коммуны, где каждый крестьянин-коммунар был допущен к обсуждению дохода, не оправдали надежд — развалились, не добившись даже маломальского благосостояния и, уж конечно, никак не преуспев в перевоспитании человеческих характеров. Но это не может служить доказательством утопичности вышеизложенных положений, не означает, что поголовное распределение дохода ни к чему, мол, путному привести не может.

Коммуны, как правило, основывались на нищенской материальной базе — нет тягла, нет инвентаря, нечем пахать, нечем сеять,— а потому и не могли нормально функционировать, часто разваливались, прежде чем получали первый доход. Но если они его даже и получали, то столь мизерный, что само его распределение носило скорей символический, чем практический характер. На символическом же доходе не построишь ту школу общественных отношений, о какой мы мечтаем.

Кроме того, в коммуны входила наиболее бедная часть села, наиболее забитая, бесправная, а значит, и наиболее отсталая часть и без того невысоко сознательного крестьянства, хранящего в себе извечные индивидуалистические стремления — «посеешь бубочку одну, и та

твоя». Преодолеть эту чудовищную отсталость в короткие сроки — немыслимая утопия.

А сроки были чрезвычайно короткие, коммунам не дали развернуться, началась поголовная коллективизация, так называемая «революция сверху». Все эти коммуны были срочно превращены в колхозы, которым предстояло жить по спущенным директивам: сей столько-то и то-то, выбирай себе в руководители того-то, приобретай то-то... Тут уж о какой-либо самостоятельности и речи быть не могло, только для проформы разрешали говорить колхознику на отчетно-выборном собрании свое мнение об использовании дохода, сам председатель не имел возможности обращаться с ним по собственному усмотрению, решения принимались выше. Неудивительно, что коммуны в основном не успели проявить себя, гораздо удивительней, что находились такие, которые имели хоть какие-то незначительные успехи.

Покойный писатель В. Овечкин, в молодости бывший председателем одной из таких коммун, мне рассказывал, что его коммуна начинала уже жить сравнительно хорошо, чувствовался общественный энтузиазм, и, наверное, смогла бы устроить жизнь на новых коммунарских принципах, да поголовная коллективизация помешала, поставила их коммуну в общие подзависимые условия.

Коммуны не могут служить ни подтверждением, ни отрицанием идеи массового участия в распределении дохода. Они интересны лишь тем, что попытка использовать эту идею существовала, люди о ней думали, пытались как-то воплотить в жизнь.

Но если б даже все эти коммуны имели наглядный успех, распределение дохода в них давало бы ощутимый результат, то все равно нельзя было бы сказать — вопрос решен, вопрос проверен практикой, опираясь на опыт коммун, нужно только внедрять его дальше.

Дальше все равно бы не получилось. Успех сельхозкоммун никак не мог быть механически использован в других отраслях хозяйства. При обращении взгляда к промышленным предприятиям возникали бы неожиданные пугающие трудности.

8

Сельхозкоммуна — в общем-то довольно примитивное хозяйство, в ней занято не столь уж и много народу, ее устройство не сложно, не сложен и сам доход, любой

и каждый крестьянин в меру своих сил способен в нем как-то разобраться, плохо или хорошо распределять его.

А возьмем для примера какой-нибудь крупный завод, типа ЗИЛа, где работают десятки тысяч рабочих, где само производство чрезвычайно сложно, где доход велик, а его распределение предусматривает огромное количество сложнейших операций, часто совершенно недоступных пониманию простого рабочего, требующих высокого экономического образования, знаний не только в рамках предприятия, а и знакомства с научными и техническими достижениями последних лет, с положением сырьевых баз, с транспортными возможностями, с конъюнктурой рынка,и т д.,и т. п.

Стоит только обратить взор на такой вот завод, как сразу же меркнет наша благородная демократическая идея массового распределения дохода.

И на самом деле, как заставить каждого из рабочих завода (а их десятки тысяч, население города!) распределить доход? Каждый при таком количестве вряд ли сумеет высказать свое мнение, а если и выскажет каждый, то какой нужно иметь штат, чтоб учесть эти мнения десятков тысяч, обобщить их.

Да и что может сказать простой рабочий, какое он имеет представление об общезаводских нуждах?

Сделать уступочку, отказаться от «каждый», привлечь к распределению выборных из числа рабочих — какой-нибудь десяток из многих тысяч! Но даже если выберут умнейших и честнейших, которые станут отстаивать интересы рабочих, то все равно рабочие массы останутся в стороне. Даже вопрос о их зарплате будет решаться за их спиной — верь слепо, что у тебя ничего не присваивают...

Словом, ясно, что всеобщее распределение дохода на таком заводе — прекраснодушная утопия.

Чем сложнее и значительнее по масштабам предприятие, тем несостоятельней наши надежды на доход. На маленьком производстве — каждый человек на виду, не теряется в массе, голос каждого могут слышать все. Маленькие предприятия, как правило, просты по структуре, распределение дохода в них не представляет сложности, практически доступно любому и каждому.

Так уж не следует ли ради принципов демократизации преобразовать крупные и сложные производства в мелкие и простые? Не повернуть ли нам вспять развитие общества? Капитализм формировался от примитивно мелких предприятий к крупным, потому что крупные производительнее, их продукция дешевле, доступнее, значит, выгод-

нее обществу. Мы, выходит, готовы обворовать общество. Впрочем, это невозможно, обычно крупный завод механически не разобьешь на заводишки, атомный ледокол не построишь в ремесленных мастерских.

Что ж, приходится отказываться от затеи?..

Обождем.

Большое и сложное производство никогда не бывает по своему внутреннему устройству цельным, бесструктурным, как монолит масла, оно всегда делится на какие-то части — на цеха, на бригады, на объекты,— представляющие собой более мелкие хозяйства. У каждого из них существуют свое руководство, свой собственный учет, который, конечно, предусматривает наличие какого-то своего дохода. Только большей частью этот доход никак не делится на этом уровне, идет выше в общий котел, и там, выше, где-то совместно с другими доходами, он подвергается распределению, совершенно утратив свое лицо.

Ну а что, если этой малой части большого целого предоставить право делить доход самостоятельно? Допустимо ли?.. Наверное, на каждого нахлынут тысячи сомнений, но все они будут скорей частного порядка, чем принципиального. В принципе же вполне допустимо, нет ничего такого, что бы мешало провести это в жизнь.

На крупном заводе личность затеряется в массе, и очень легко, а в цеху, если он не слишком велик,— нет. Деятельность завода в целом сложна, а следовательно, и само распределение дохода — процесс соответственно сложный. Деятельность цеха куда проще, распределить его доход куда легче, любой рабочий цеха тут может попробовать свои силы — выскажет свое личное мнение, и голос его не затеряется в хоре голосов.

Распределение автономного дохода, чем оно, кроме простоты и доступности, отличается от распределения дохода самостоятельного предприятия? Так же необходимо заботиться о приобретении сырья, о выделении средств на износ машин, о расширении, о сбыте готовой продукции — все, что называется, как у больших, только сфера деятельности ограничена стенами завода. Сырье, например, это болванки, поступающие из соседнего цеха, сбыт готовой продукции — изготовленные детали, сдающиеся в другой цех, при этом свой баланс, свой доход, свое автономное самоуправление, своя обособленная и в то же время крепко связанная с другими хозяйственная жизнь.

И первое напрашивающееся возражение: не развалится ли от такой автономии отдельных звеньев целое, не наступит ли анархия на производстве? Один цех станет отстаивать свои интересы, другой — другие, получится — кто в лес, кто по дрова — развал, хаос!

Мы так свыклись с фигурой деятельного центрального руководителя, всезнающего, всевидящего, всюду поспевающего, во все вмешивающегося, что не представляем, как нам функционировать без его централизованных указаний, без его мудрых верховных приказов.

Мы не знаем иного цементирующего материала, кроме дисциплины, подчинения одного лица другому, нижней инстанции высшей. Производство без трудовой дисциплины звучит для нас как синоним развала, неразберихи. И что ж, так оно и есть при теперешнем положении вещей. При найме у государства без жесткой дисциплины никак не обойдешься, сам принцип найма заведомо предусматривает безукоснительное подчинение, прямую зависимость подчиненного от начальника. При найме опасно доверять подчиненному, рассчитывать на его высокое сознание. А потому начальник находится в постоянном недоверии, остерегает: «Не смей вольничать, свято блюди дисциплину».

Начальническое недоверие хранит и пестует то, о чем говорил Ленин,— «величайшую ненависть и недоверие масс ко всему государственному». Это — наследство капитализма, как и принцип по найму, как и фетишизация дисциплины. «Будь дисциплинирован!» — родилось под палкой господина, занесенной над головой раба. «Будь дисциплинирован!» — требовал и феодал у крепостного (разумеется, не в столь современных выражениях). Не мог не требовать этого и капиталист, иначе его предприятие бы развалилось. Святое требование дисциплины сожительствовало бок о бок с вековым антагонизмом.

Но теперь-то мы рассматриваем такое производство, где нет найма со стороны работодателя, сами рабочие избирают себе руководителей, сами контролируют его снизу, каждый здесь в равной степени подчинен всем и все независимы друг от друга, нет противопоставленных, антагонистических фигур. И что же, это грозит развалом, дезорганизацией?..

Мы забываем, что не существует на свете такого предприятия, чья деятельность была бы не целенаправлена самим устройством. Не может быть завода или фабрики, где составные производственные части не подчинялись бы внутренней логике целого устройства. Эта

закономерность неизбежно определит поведение автономных коллективов внутри предприятия, заставит действовать каждого рабочего только в нужном направлении. Токарный цех получит болванки из литейного, пригодные не для зажигалок, а для определенных деталей автомашины определенной марки, следовательно, и на конвейер сборочного будут доставлены не части зажигалок, а нужные детали. Нет необходимости тут приказывать: делай то-то, делай так-то. Невозможно делать иначе.

Но можно делать хуже, можно работать ленивее. Пострадают качество и количество выпускаемой продукции, если не вмешиваться, не контролировать сверху, не напоминать настойчиво о трудовой дисциплине.

Пострадает ли?.. Рабочий сам себе определяет зарплату, а эта зарплата зависит от того, какой сбыт находит его продукция, идущая в брак, малая производительность заставит его, рабочего, самого снизить себе зарплату. Если он не опустившийся до полной апатии к самому себе человек, то, наверное, в расчете получить побольше постарается сам себя контролировать. Но даже если он по какой-либо причине и не станет заниматься самоконтролем, то его будет контролировать стоящий рядом товарищ, он скажет: «Ты сделал меньше, я больше, получи меньше меня». И не только рядом стоящий. Небрежного токаря проконтролирует такой же рабочий из сборочного цеха, ему-то и вовсе не расчет получать меньшую зарплату за чужую небрежность. Он просто вернет плохую деталь, не оплатит ее — продукция, что называется, не нашла сбыта. Если весь коллектив токарного цеха начнет «филонить», то он будет иметь дело не с разгневанным начальником, готовым административными мерами подчинить трудовой дисциплине, а с остро заинтересованными рабочими литейного и сборочного цехов. Литейщики станут задыхаться от перепроизводства готовой продукции, а сборщикам станет не хватать «сырья» для сборки; как те, так и другие по милости токарей будут себя считать материально обворованными. И уж они-то найдут радикальное средство, как подтянуть, как выправить положение, не ради славы прослыть передовиками, без грозных приказов на доске.

Контроль пойдет и за распределением дохода. Тем же литейщикам и сборщикам вовсе не безынтересно, что токари допускают ошибки при распределении своего кровного дохода, к примеру, выделяют слишком мало средств на ремонт станков, станки их простаивают из-за неисправностей, снижают общую производительность —

самих токарей, литейщиков, сборщиков. И опять конфликт, опять рабочие в претензии к токарям: доход ваш, мы на него не заримся, но извольте делить так, чтоб ваша дележка нам боком не выходила. И конечно, не исключено, что придется обращаться к арбитрам, то есть в высшие заводские инстанции или в государственные организации, компетентные в вопросах труда.

Дезорганизация?.. Развал?.. Да нет, контроль мешает. Контроль самый строгий, самый придирчивый, но без специально назначенных контролеров-надсмотрщиков. И нет прежнего жесткого иерархического подчинения, его заменило *подчинение необходимости*, которое может не осознавать отдельный рабочий, но коль осознает его коллектив, то несознательному рабочему ничего не останется, как примириться или... вылететь вон из коллектива. Могли бы мы тут сказать — существует внутренняя дисциплина. Но дело-то в том, что, где налицо осознанная необходимость, говорить о дисциплине, о подчинении каким-то установленным правилам поведения, о подчинении каким-то спущенным приказам, о признании какой-то субординации — *нужды нет*. Нельзя же сказать, что больной, осознавший для себя необходимость тяжелой и болезненной операции, соглашается ложиться под хирургический нож, потому что дисциплинирован. Необходимость — качественно иное понятие по сравнению с дисциплиной, более действенное, потому что она более близка к естественной потребности. Капиталист был лишен возможности заставить осознать рабочего его частнособственническую необходимость, вынужден был прибегнуть к дисциплине, утверждая ее всеми способами, вплоть до насилия. Так же вынуждено действовать и государство, пользующееся старым способом «по найму». Ну а при новых условиях (как это сейчас звучит ни крамольно) можно даже просто забыть о слове *дисциплина*, при этом создать более организованный труд, с большей ответственностью труженика перед обществом.

Если сейчас общество нанимает труженика, а значит, вынуждено диктовать ему свои условия, не согласуясь с ним, то при новом положении все будет начинаться с труженика, с его *личных* интересов, которые он предлагает своему коллективу, его автономный коллектив — своему предприятию, столь же автономное предприятие — государству. И тут на каждом этапе происходит процесс взаимодоговоренности — личности с коллективом, коллектива с предприятием, предприятия

со страной. Взаимодоговоренность, в основе которой лежит выяснение необходимости, признание ее.

Начинается с простого труженика... А не может ли так случиться, что из-за недальновидности этого труженика будут запущены в жизнь такие опрометчивые решения, которые на каких-то далеких, лежащих вне кругозора труженика этапах болезненно отзовутся для общества? Вполне возможны, даже больше того, ошибки по недомыслию всегда будут. Но это-то недомыслие *непременно* будет выходить боком труженику по той причине, что общество основано на его интересах. Пойдет обратный процесс: государственное недомогание вызовет недомогание завода, а значит, и коллектива, а значит, заставит задуматься и труженика. Пусть не сразу, пусть не с ходу, пусть при многократном повторении, но рано или поздно труженик неизбежно встанет перед необходимостью осмыслить связь общих недомоганий со своим *личным* поведением.

Нужно учесть, что труженик постоянно совершенствуется, осознавая свои ошибки. А раз ему приходится волей-неволей часто признавать, что — увы — способен на ошибки, то, значит, и освобождаться от самоуверенности, от присущего ограниченности спесивого чувства своей непреложной правоты во всем. Труженик все больше и больше будет ценить не столько свой ум, сколько чужой, помогающий ему со стороны. Как мы теперь не столько ценим самопомощь — сам себе помог, это в порядке вещей,— как помощь со стороны. Конечно же, такой труженик быстрей будет прислушиваться к советам и указаниям специалистов, искать их. А специалисты всегда найдутся в обществе, они быстрей распознают общественную болезнь, компетентно разберутся в ее истоках. Труженику останется только понять и принять.

Сейчас это — «свежо предание, да верится с трудом». Но мы теперь и не подозреваем, с каким дурным человеческим материалом имеем сейчас дело, и смутно представляем, каким может быть человек.

Мы любим приписывать труду благородное влияние: труд создал человека, труд его совершенствует, трудовое воспитание. А так ли уж этот труд воспитывает современного рабочего безотносительно как в капиталистических странах, так и в нашей социалистической стране?

Труд давно перестал быть индивидуальным занятием, давно уже люди создают себе материальные блага не в одиночку, а коллективами. Современный рабочий про-

сто *не имеет представления о том труде, в каком он участвует.* Он, рабочий, знает, как управлять своим станком, как обтачивать деталь, но часто не представляет даже, для чего эта деталь нужна, не говоря уже о том, как реализуется готовая продукция, какой приносит доход. Он, рабочий, трудится и видит свой большой труд сквозь узкую щелку своего рабочего места, где уж тут разглядеть величие труда, его сложность, его ценность, трудовые отношения, сложившиеся вокруг. Кругозор узкой щелки не способствует совершенствованию человека, человек как бы отделен от остальных, вынужден видеть только себя, знать только свои интересы, не сопоставлять их с интересами других. Труд держит рабочего в духовной тюрьме, разобщает тружеников, делает их индивидуалистами.

И самое значительное приобретение при условии, что *каждый* допускается к распределению дохода,— это возможность учиться через труд общению, учиться оценивать себя, оценивать других.

Каждому предоставлена *возможность*, другой разговор — каждый ли ею воспользуется. Инертные, апатичные, не стремящиеся к самосовершенствованию люди будут встречаться всегда, наверное, не переведутся на белом свете и дураки, и патологические прохвосты. Но теперь, когда люди разобщены, когда нет тесной взаимосвязи, не так-то просто на поверку разобраться — дурак тот или иной субъект или умен. «Можно и зайца научить зажигать спички»,— говорил Чехов, можно и дурака натренировать без изъяна делать одну и ту же деталь, почитать его как высокого производственника, уважительно помещать его портреты на Доску почета, выбирать в Верховный Совет и даже усаживать там за красный стол президиума. В новых условиях ум получит ценность, а дураков станет легче разглядеть. Как это нужно для общества!

9

Автономия коллективов... Автономия, то есть признание каких-то прав на самостоятельность. Почему-то вошло в привычку считать, что самостоятельность непременно ведет к разобщению или, во всяком случае, не способствует единству. Нужно ли опровергать это наивное заблуждение?

Коллектив рабочих, занятых одним делом,—автономен, но никак не изолирован, наоборот, крепче связан с окружением. Никак не изолирован он и от общезаводского руководства. От этого общего руководства зависит их бытие уже потому, что высшие руководители занимаются весьма немаловажными вопросами «внешних сношений»—подыскивают заказы, сбывают готовую продукцию, организуют бесперебойное снабжение предприятия, следят за техническими новинками, помогают их внедрению. От того, насколько выгодны заказы, удачно ли сбывается готовая продукция, как поставлено снабжение, и пр., и пр., целиком зависит оплата труда самого рабочего. И уж рабочий-то из своего автономного коллектива будет ревностно следить, что делают там, наверху. Он сам постарается наладить тесную связь с заводскими «олимпийцами». Не в его рабочих интересах скупиться на оплату труда руководителей завода, лишь бы только те отвечали его требованиям. Его личные интересы заставляют соблюдать личные интересы руководителя. А уж коль он ценит руководителя, раскошеливается на него, то, наверное, будет раскошеливаться и на общезаводские расходы, но опять же с условием, чтоб те сулили выгоды ему самому.

И опять я вынужден повторить: *личная* заинтересованность человека—основа всех отношений. Но это не эгоистические интересы разобщенных индивидуумов, а связанных между собой личностей, а потому стремление к удовлетворению—общее, всеобщее.

Вспомним, что и слово «коммунизм» произошло от латинского «communis», что и означало—общий, всеобщий.

Автономия никак не исключает связь, не делает ее менее прочной.

Автономия отдельных хозяйственных производств—явление отнюдь не новое, оно почти так же старо, как стара сама частная собственность. При любой формации частник пользовался автономными правами внутри общества, любая власть, будь то монархически-диктаторская или парламентско-республиканская, беря определенную мзду, предоставляла частнику-хозяину самостоятельность в управлении, в том числе и право самостоятельно распоряжаться доходом.

Но, мол, одно дело автономность некоей самостоятельной хозяйственной единицы, другое—несамостоятельной части целого. Но так ли уж любое «самостоятельное» производство самостоятельно? Оно всегда зави-

сит от других хозяйств. Текстильная фабрика зависит от хозяйств, выращивающих хлопок, от овцеводческих ферм, от шерстомойных фабрик. Металлургический завод — от рудников, угольных шахт, коксохимических заводов. И такая зависимость нисколько не меньше, чем зависимость токарного цеха от литейного. Почему автономию отдельного производства можно считать заурядным явлением, прошедшим проверку в истории, и бояться признать автономию его части? Капиталист не признавал такую автономию, потому что она мешала его единоначалию, почему мы должны разделять его привычки?

Но дело-то в том, что все обширное хозяйство нашей необъятной страны, так сказать, подчиняется единоначалию. Мне надлежит защищать вовсе не разновидность автономии, а всю ее целиком, сам принцип.

Наша обобществленная собственность — всех вообще и ничья конкретно,— собственность, несущая в себе характер обезлички, потребовала централизованного жесткого правления. Каждое предприятие, будь то крупнейший комбинат или ремесленная мастерская, получает сверху план с требованием неукоснительного исполнения. Свобода действий людей, непосредственно занимающихся производством материальных ценностей, мягко выражаясь, сильно ограничивается, в заслугу ставится исполнительность, а никак не творческая инициатива. Одно это уже навряд ли может способствовать росту производительности труда, обогащению общества.

Основа основ централизованного управления — централизованное планирование, которым так гордимся, о котором мы постоянно нескромно кричим, уже у многих и многих вызывает теперь самые тревожные сомнения. Вот что говорит в своей книге «Для всех и для себя», целиком посвященной острой критике нашего планирования, известный авиаконструктор О. К. Антонов.

«Можем ли мы планировать точно? На этот вопрос есть пока только один, вполне определенный ответ: нет, не можем. Это превышает человеческие возможности. Киевские математики подсчитали, что для того, чтобы составить точный, полностью увязанный план материально-технического снабжения только для промышленности УССР на один год, необходима работа всего человечества в течение десяти миллионов лет».

Ничего себе, то есть даем заведомо неточные, не соответствующие жизни установки и требуем, чтоб их

точно исполняли. Что может быть страшнее такого централизованного управления?

И вспомним примеры его. Вспомним выброшенные на ветер многие миллионы рублей на запланированные лесополосы. Вспомним, как планировались посевы кукурузы где-то под Вологдой и Архангельском — попусту истраченный труд миллионов людей, опять миллионные убытки. А истерическая массовая резня скота по всей стране под лозунгом «Догоним Америку по молоку и мясу», резня, нанесшая страшный урон нашему животноводству. А прошумевшая в свое время полемика писателя Овечкина с министром рыбного хозяйства Ишковым, перевыполнявшим планы улова самым варварским способом, по сути уничтожавшим рыбные запасы страны. Подобные примеры можно приводить без конца. Никакие банды расхитителей и воров не смогли бы принести такого ущерба стране, какой зачастую приносит наше прославленное планирование. Нам ли сожалеть о нем?

Капиталистическое хозяйство развивается стихийно — все мы это затвердили со школьной скамьи. Там стихийно, значит, неразумно, а вот у нас разумно. Нам не приходит в голову, что презренное капиталистическое хозяйствование, действительно в основе своей стихийное, не подчиненное непосредственно разуму, незнакомое с единым планом, все-таки подчиняется единым объективным законам экономики, которые заставляют отдельные автономные капиталистические хозяйства вступать не в произвольные анархические связи, а в строго определенные. Они невольно организуются в хозяйственную систему, вовсе не лишенную стройности и гармоничности. И одно то, что за последнее время капиталистический мир не знает таких катастрофических кризисов, которые потрясали его во второй половине XIX и в начале XX веков, говорит о достижении какой-то внутренней *общей* согласованности.

Автономные, жестко не подчиненные централизованному управлению хозяйства никак не несут хаоса в экономику общества, неизбежно выстраиваются во взаимосвязанную систему. Сама жизнь подтверждает это. И только тот, кто слеп и глух, может упрекнуть меня, что коль я посягаю на централизованное управление, отвергаю централизованное планирование, мечтаю о присущей капитализму автономии в хозяйстве, то тяну вспять, к капиталистическим отношениям.

Это и на самом деле так бы и было, если б я ратовал лишь за автономию *отдельных* производственных объек-

тов — заводов, фабрик, строительных трестов, и пр., и пр. Невольно пришлось бы иметь дело с автономией крупных хозяйств, которая дала бы самостоятельность только отдельным руководящим лицам, предоставила им независимость, сходную с независимостью частника. На таких крупных автономных хозяйствах простой труженик не имел бы возможности проявить себя, чувствовал бы свою подзависимость, вынужден был наниматься. Мы повторили бы капитализм, ограничься только автономией отдельных хозяйств и не пойдя дальше к автономии производственных групп, представляющих из себя компактные коллективы, где личность не теряется в массе, где *каждый* имеет возможность проявить свою инициативу, быть услышанным, слышать сам.

Вряд ли вообще возможно вернуться в исходное положение. Добившись через революцию, через кровь обобществления собственности, вдруг вновь ее отдать кому-то? Есть налицо обратное явление — не тяга к собственности, а равнодушие к ней, равнодушие со стороны простых тружеников, равнодушие со стороны государственных чиновников. Бери завод — да на лешего мне такая хлопотливая громадина! Невозможно повернуть историю вспять.

А потому у нас есть лишь два реальных пути: мы или должны предоставить свободу инициативы *каждому* труженику, или же не предоставлять ее никому, оставить так, как есть, то есть придерживаться ступенчатого подчинения младшего старшему, отказаться вообще от творческой инициативы, зажимать ее и страдать от негибкости управления, от поголовного равнодушия к делу, от незаинтересованности в эксплуатации собственности, которая так и останется — всех вообще, ничья конкретно — обезличенной.

Мне кажется, единственно возможный путь — это путь к автономному коллективному руководству, которое начинается с *допуска труженика к доходу.*

И вот как вырисовывается принципиальная схема нового общества.

Личность — неделимая органическая молекула, из которых, собственно, и состоит общество. Эти молекулы организуются в автономные внутрипроизводственные коллективы. По нашей аналогии их можно рассматривать как живую клетку общества. Клетки, совмещаясь, создают определенный орган — завод, фабрику, — тоже автономно управляющийся. Многообразные органы, объединенные между собой, взаимосвязанные, представ-

ляют некий единый организм — само общество, государство с центральным управлением.

Да, с центральным. Посягать на какие-то права централизованного управления еще не значит отвергать его. У центральной власти отбираются весьма тяжкие, непосильные для нее функции. Она, эта центральная власть, сейчас напоминает ту анекдотическую сороконожку, которой постоянно приходится думать, что делает ее двадцать пятая нога, когда сгибается первая. И конечно же, сороконожка тут неизбежно теряет стройность походки, дезорганизуется. Свыше всяких сороконожечьих сил не делать ошибок. Нога — самостоятельный орган — сама должна знать свое дело, согласовывать свои движения с поступью остальных тридцати девяти ног.

Центральный орган управления есть центральный орган — мозг общества. В каких отношениях он находится с рядовой личностью, с рядовой клеткой-коллективом, с рядовым органом?

10

Рабочий вместе с другими рабочими распределяет доход своего цеха или бригады. У него есть все возможности отчетливо представлять себе, как использует его бригада результаты его труда, несколько в более общем плане, но все-таки достаточно конкретно, рабочий представляет, куда и на что идет та часть, которую забирает из его труда завод на свои общезаводские нужды, в том числе и на оплату управленческого аппарата завода.

Но существует изъятие (весьма ощутимое!), об использовании которого рядовой рабочий имеет весьма смутное представление. Это та часть, что требует общество на общественные нужды. Рабочий не может не признать необходимость такого изъятия — нужны школы, нужны больницы, нужны научно-исследовательские центры, существует строительство каких-то общественно полезных объектов, не дающих прямого дохода, наконец, наверное, нужна и армия, если под боком расположился какой-нибудь маоцзедуновский Китай. Рабочий не может не осознавать общественную необходимость, но и он, и его коллектив лишены возможности сами непосредственно проконтролировать государственных управителей — на полезные ли дела они используют изъятия или же на бесполезные.

И мне кажется, тут не может быть более эффективного контроля, чем контроль общественного мнения при непременном условии широкой гласности всех государственных мероприятий, всей общегосударственной отчетности и статистических данных. Общественное мнение уже потому эффективней контроля со стороны каких-нибудь выборных представителей общественности, вроде Верховного Совета, что оно является результатом самых широких наблюдений, действует постоянно, а не периодически, не от собрания к собранию. И сами-то представители неизбежно будут испытывать на себе влияние общественного мнения, прислушиваться к нему, руководствоваться им. *Общественное мнение должно стать и руководством для самого правительства, выявлять ошибки и упущения, значит, подсказывать их.*

Рядовой рабочий, если он не хочет общественных беззаконий, верховной безответственности, должен противиться всему, что мешает общественному мнению, в первую очередь, он должен отстаивать свободу слова, свободу печати, без чего общественное мнение в лучшем случае вырождается в подпольный ропот. Рядовой рабочий должен понять, что цензура мешает не только какому-то узкому слою пишущей интеллигенции, а мешает ему самому, цензура — и его духовное рабство.

Представитель правительства должен понять, что всякое посягательство с его стороны на нелицеприятное общественное мнение неизбежно вызывает недоверие со стороны общества к правительству, а любое проявление недоверия чревато антагонизмом. Представитель правительства должен понимать, что цензура — это его *личная* слепота и, как следствие, его *личная* беспомощность в руководстве.

Общественное мнение — необходимый помощник вверху и внизу. Нет ничего нелепее, чем стремиться к высшей форме общественности — и шарахаться от общественного мнения, глушить его дубинкой цензора.

Это вовсе не значит, что общественное мнение всегда и во всем право, всегда безошибочно предугадывает нужды самого общества. Из истории мы знаем, что ошибались не только отдельные исторические личности, часто общество ошибалось во вред себе. Хотя бы тот показательный пример — немцы большинством голосов привели в 1934 году к власти Гитлера, приняли его воинствующий национализм, залили кровью Европу и свою страну.

Но каким еще путем исправить заблуждение общества, как не тем, что дать свободу высказывать всем свое личное

мнение без опаски? Высказывать вплоть до тех суждений, которые резко противоречат общему мнению. Нужно постоянно помнить, что наиболее плодотворные для человечества идеи возникали не сразу массово, не в головах многих, а обычно в наиболее светлых головах каких-то единиц. И большей частью эти плодотворные идеи добывали себе право на жизнь, на признание масс нелегкой борьбой, сокрушая общественную косность. Но чтобы они могли начать эту борьбу, они должны быть произнесены и услышаны. В борьбе против косного общественного мнения надо прежде всего предоставить полную свободу ему, с этого и начинается путь к его трансформации, к его изменению.

Общественное мнение способно как-то контролировать, куда и на что идут изъятые государством средства. Печать страны, получившая независимость, привлекающая к сотрудничеству видных экономистов, ученых, писателей, администраторов, наладит, так сказать, непрекращающееся обсуждение жизни, где одними из важных вопросов будут вопросы хозяйственной экономики. Но и это общественное мнение не сможет точно подсказать, сколько в каждом конкретном случае изъять с рабочего на общественные нужды, какую часть его труда. В интересах всего общества, чтобы на общественные нужды затрачивалось как можно больше средств. Значит, больше будет больниц, школ, научно-исследовательских заведений, значит, повысится общая благоустроенность, и предела для улучшения нет, можно улучшать без конца, значит, нет предела и насыщения средствами.

Но результат-то труда рабочего не беспределен, отдать его весь обществу он не может, должен хотя бы оставить себе на безбедное существование. Было бы прекраснодушной утопией уповать на высокую общественную сознательность рабочего, на его альтруистические чувства — себя не пожалею для общего блага, последнюю рубаху отдам. Поуповай только на сознательность, допусти принцип добровольности — и рабочий предпочтет свои личные интересы общественным, а государство окажется в незавидном положении нищего, ожидающего подачек.

Государственные нужды понятие весьма растяжимое. И кто, как не государственные деятели, кровно заинтересованы в том, чтобы их «растянуть» как можно больше ради общего блага. Где гарантия, что они не станут прижимать личные интересы труженика во имя общественных? Где тот рубеж, на котором государство должно остановиться? И есть ли он?

Есть. Сама заинтересованность труженика должна подсказывать.

Если государство берет слишком большой налог, настолько большой, что члену коллектива мало остается после распределения дохода, то сам коллектив сразу же начнет подрывать свое производство: примется выкраивать для себя за счет износа машин, за счет воспроизводства и расширения и так далее, пока не доведет свое хозяйство до ручки.

Труженик и при нынешней обстановке часто игнорирует интересы производства, если государство требует от него много, а дает мало. Но теперь-то труженик не может залезть в святая святых — доход, он только при ущемлении личных интересов начинает хуже работать, наплевательски относиться к своим обязанностям. С таким пассивным протестом нынешнее государство как-то справляется — может наказать рабочего, уволить его, может подбросить на производство добавочную рабочую силу и тем спасти положение. Но при новых условиях государство не сможет ни наказывать рабочего, ни увольнять его, ни запретить ему разбазаривать доход. Через кого новое государство проведет эти наказания и увольнения, когда рабочие сами выбирают себе руководителей, с непременным условием, чтоб те защищали их интересы. Новое государство окажется в слабом положении, если рабочий начнет разваливать свое производство. У него, государства, есть один-единственный выход приостановить это — не брать у рабочего слишком много. Государство должно чутко следить, чтоб труженик постоянно ощущал, что его материальное благосостояние устойчиво, что оно растет, что его хозяйничанье приносит реальные плоды ему самому. *Государство не может посягать на интересы личности во имя интересов общества.* Посмей только посягнуть, как сразу же интересы общества угрожающе закачаются.

Заинтересованность простого труженика — тот чуткий барометр, показаниями которого вынуждено пользоваться государство. Но было бы наивно утверждать, что пользоваться им легко и просто, не нужно ни опыта, ни сноровки, ни знаний, ни интуитивного чутья. Нет, это своего рода искусство, и причем высокое. От того, насколько точно найдено равновесие между тружеником и обществом, зависит вся жизнь. По этому-то и будут мерить талант государственных руководителей. И нельзя забывать, что общество, где сам коллективный труд заставляет любого и каждого учиться у более умного,

а значит, лучше распознавать ум от велеречивой глупости, наверняка, выбирая себе высокое руководство, станет меньше ошибаться в личных качествах тех, кому надлежит управлять жизнью.

Нельзя также ждать сплошной общественной пасторали, когда взимание госналогов будет проходить только гладко, без какого-либо ущемления интересов. Разве не возможен, например, случай: кондитерское производство получает относительно более высокий доход, чем металлургический комбинат, рабочий-металлург за свой тяжелый труд обеспечивается ниже кондитера. Ясно, что долг государства — уничтожить это несправедливое несоответствие. Уже сейчас в капиталистических странах налоговая система достаточно сложна, навряд ли она упростится в новом обществе.

11

При новых условиях каждое предприятие будет ощущать угрожающий избыток рабочей силы, которую уже нельзя регулировать так, как регулируют теперь — способом увольнения, мол, получи расчет и ищи себе другое место. Уволить рабочего — значит лишить его права быть хозяином, выбросить из коллектива, где он освоился, слился с людьми. Такое может применяться лишь в качестве высшей меры коллективного наказания, выше этого только передача судебным органам.

Каждое производство будет испытывать в первую очередь *относительный* избыток рабочей силы. Завод обязан вводить новую, более производительную технику, иначе ему придется выдавать по сравнению с другими заводами более дорогостоящие товары, которые не станут находить сбыта. Завод вынужден подменять машинами труд рабочих, испытывать излишек рабочей силы, а уволить-то рабочих нельзя ради одного урегулирования.

Неизбежен и *абсолютный* избыток рабочей силы. Если коллектив внимателен к рабочему, то он должен быть внимателен и к нуждам его семьи, коллектив обязан обеспечить работой подрастающее поколение. Эту обязанность будет чувствовать каждый рабочий. Рано или поздно каждый придет к открытию, что постоянно возрастающее число свободных, не обеспеченных работой рук приведет к иждивенчеству. Волей-неволей каждому рабочему придется думать о расширении своего произ-

водства, о его развитии, выделять на это средства. Рано или поздно каждый осознает такую необходимость. Под угрозой окажутся его личные интересы!

А это дает право нам предполагать, что *новое общество будет развиваться более интенсивно.* При бурном развитии не обойтись без совета более высокого организатора, без главного диспетчера, регулирующего движение. Чтобы расти и расширяться, нужно не только откладывать средства, но и знать, куда и во что их вложить. Знать же это лучше всего могут те, кто сидят наверху, те, у кого есть возможность обозреть нужды и запросы всего общества, то есть государственное руководство.

Автономные хозяйства постоянно станут нуждаться в совете государства, в его опеке — в централизации. Нуждаться точно так, как автономные рабочие группы нуждаются в централизованном управлении своего предприятия.

Но государство тогда только способно дать наиболее верный совет, когда каждое автономное хозяйство предоставит верный, а не извращенный отчет о своем состоянии, о своих планах и проектах расширения, иначе будет складываться неверная картина общей хозяйственной жизни, и государство невольно начнет вводить в заблуждение своих хозяйственных абонентов. Значит, в строгом государственном учете и контроле заинтересовано не столько государство, сколько автономные предприятия, а следовательно, и рабочие.

«Государственный учет и контроль — дело каждого!» Как часто мы во всю мочь взываем к этому и столь же часто видим тщетность своих благородных призывов.

По каким причинам считать сейчас рабочему учет и контроль, проводимый поставленным над ним для догляду чиновником, своим кровным делом? Не по тем ли, что чиновник вынужден к нему недоверчиво относиться?

А сам этот чиновник так ли уж испытывает кровную приверженность к учету и контролю? Вовсе нет, он даже чаще рабочего пытается вывернуться из-под него. Назовите мне такого директора завода, которому не приходилось бы «натягивать» показатель до плановой цифры. Очковтирательство?.. Нет, необязательно. «Натянуть» можно и не втирая очки, не идя на прямой обман, а, скажем, выполняя не очень нужные, но выгодные для плановой цифры работы. «Если хочешь числиться в передовиках — берись за более легкие профили, не вводи новое, а следуй правилу: «Пусть хуже, да больше». Эту

цитату я взял из книги О. Антонова, который ее, в свою очередь, позаимствовал из газеты «Известия» за 14 января 1962 года. Нет прямого жульничества, есть законная щель для административной изворотливости. А как часто тот же директор панически боится перевыполнения плана. Это опасно, ох как опасно! Перевыполни, да еще значительно, тебе сразу же значительно повысят план. А подвиг-то перевыполнения ты свершил при исключительно благоприятных условиях, они могут и не повториться, станешь регулярно недовыполнять, получать нагоняи, не платить рабочим премиальные, а значит, создавать текучку рабочей силы, значит, еще больше подрывать работу, уже катастрофически недовыполнять, пока не «дадут по шапке». Лучше перестраховаться, прибедниться, занизить реальные возможности — не жульничество, не очковтирательство, нет — *необходимость!* А учет и контроль?.. Э-э, своя рубашка ближе к телу.

Есть все основания рассчитывать, что при новых условиях общество будет не только интенсивней развиваться, но и гораздо *сложней, гармоничней,* чем при нынешнем, так называемом централизованном планировании.

Мы теперь имеем дело со сложнейшими предприятиями, со сложнейшими технологическими процессами, неизбежно вызывающими сложные производственные отношения, а управление ведется по старинке, как во времена прадедовских мануфактур: приказ — исполнение — контроль. При огромной сложности и грандиозности хозяйства нам приходится иметь небывало великий штат контролеров, одних над другими. Контроль и надзор со всех сторон, создающий атмосферу слежки и подозрительности, но крайне неэффективный, порождающий только беспринципную изворотливость.

В качестве рабочей гипотезы я предлагаю иную структуру, без специальных контролеров-надсмотрщиков. Каждого, кто привык к дедовской простоте нашего общественного устройства, не может не пугать предложенная мною сложность взаимосвязей. Да, предприятие типа завода Лихачева будет представлять собой необычайно сложное переплетение — рабочий в цехе связан со своими товарищами-рабочими, и с рабочими других цехов, и с руководством завода, и с самим государственным руководством своими личными интересами. Цеха здесь связаны с цехами, бюджеты и расходы одного зависят от другого, подчас стоящего в общей цепи на очень далеком расстоянии, и связь с заводским управлением, и насущная

связь с государством... Сложно? Да! Но почка в нашем теле потому и исполняет свои сложные обязанности, что не проста, как пуговица. Именно сложность-то структуры и обеспечивает надежное и точное функционирование.

Неимоверно сложная система, предел известной нам природной сложности — человек, личность! — не может быть втиснут в примитивную структуру иерархической лестницы с ее бездумным подчинением младшего старшему, старшего наистаршему...

12

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем.

Разрушать проще, чем строить, да еще строить с прицелом — «кто был никем, тот станет всем». Одним лишь улучшением материальных условий не добьешься успеха. От сытной пищи, от добротной одежды, от благоустроенной квартиры тот, кто в духовном отношении «был никем», духовно богатым, увы, не станет. Духовно скудный, у которого отнято единственно доступное ему стремление — животное стремление быть сытым, насытившись, неизбежно почувствует бесцельность своего существования — неизвестно, куда приложить свои силы, на что направить свою энергию. Сама жизнь для духовно ограниченного утратит смысл и привлекательность. А тот, кто глуп, как правило, не может быть и самокритичным. Уж он-то в своих несчастиях себя обвинять не станет, обязательно начнет искать виновников на стороне. Искать и находить. Очень легко обвинить в своих несчастьях другого, найти виновника и, конечно, его возненавидеть, выразить к нему свою ненависть, совершить насилие. И вот вам снова — мир насилья!

Путь к тому, чтобы его «разрушить до основанья», лежит через духовное совершенствование человеческой личности.

Как совершенствовать свою личность, как предоставить такую возможность каждому — этому-то и посвящена моя работа.

Еще раз настойчиво повторяю: *предоставляется возможность* к совершенствованию, а вовсе не обещание — мол, ты непременно станешь неким идеальным чело-

веком. Вполне может оказаться, что ты не способен будешь воспользоваться такой возможностью. Но если сейчас ты, будучи далек от каких-либо признаков совершенства, можешь преуспевать, даже можешь подчинять других людей, куда более совершенных и значительных, чем ты сам, то в новых условиях скорей всего тебе придется худо.

Человек не рождается готовым человеком, он создается окружением. Человеческое создает человека, волчье — волка. Последнюю фразу можно понимать не только в плане красочной образности, но даже буквально. Стоит вспомнить, что индийские девочки Камала и Акмала, воспитанные волками, так и остались существами, у которых в психике было больше волчьего, животного, чем человеческого. Право же, этот несколько лобовой и экзотический пример сокрушителен для тех, кто с пренебрежением относится к воспитанию средой.

Среда — самый могущественный наставник. Среда никогда не бывает инертной, она всегда деятельна. А основной деятельностью человека является труд. Поэтому в первую очередь необходимо использовать для воспитания трудовую среду.

Сейчас эта среда во всем мире крайне нездорова. Сейчас трудовые отношения людей построены не на взаимопонимании и доверии, а на недоверчивости, подозрительности, на подчинении — всюду один приказывает, другой исполняет, один наделен правом наказывать экономически, административно, другой вынужден подчиняться. Такая обстановка, такая среда не способствует единению, наоборот, разобщает. Мы живем трудом, мы ежедневно им занимаемся, ежедневно, ежечасно получаем страшные уроки, как не доверять друг другу, как отстаивать свои узколичные интересы и как пренебрегать интересами других. Учимся несогласованности, непониманию, неприязни, вражде, чем дальше, тем больше становимся глухи друг к другу. И если так пойдет и дальше, то человеческое общество должно превратиться в сборище агрессивно настроенных друг к другу особей. Трудовая среда нездорова, отравляет нас атмосферой вражды — опасно, люди! Опасно в равной степени для всех, для тех, кто сейчас обласкан судьбой, и для тех, кто прозябает в париях. Не надейтесь, в конечном счете никто не выиграет от обоюдной вражды.

Я предлагаю проект, как сделать, чтоб трудовая среда не разобщала, а также ежедневно, ежечасно учила нас общению друг с другом. Каждого! И, право же, я не

единственный автор этого проекта, многие пытались и пытаются это решить. Я лишь продолжатель, а не первооткрыватель.

Труд — основа жизни, но не вся жизнь. Семья, учеба, отдых и прочее тоже как-то влияют на человека, формируют его личность. Нужно ли оговариваться, что общественное воспитание личности не должно ограничиваться трудовой средой — педагогика, этика, философия, искусство — извечные воспитатели.

Но нельзя объять необъятное, их разбор не входит в задачу данной работы. Надо помнить одно, что если трудовая среда будет развращать личность, то ни педагогикой, ни этикой, ни высоким искусством беде не поможешь.

Труд — основа, им живы.

По миру сейчас множество голосов взывает: стремитесь к взаимопониманию! Это так нужно, так очевидно, так странно, что не подхватывает каждый.

Стремитесь к взаимопониманию! Но это не значит, что такое стремление когда-либо закончится идеальным, абсолютно полным пониманием, когда никто и ни в чем не станет сомневаться, ни у кого не появится потребность что-то отрицать, а значит, что-то открывать, что-то находить, то есть наступит жизнь без противоречий, без развития, без движения. Это уже равновесие энтропии, это — смерть!

Мы привыкли слышать: «Коммунизм — идеальное общество». И не задумываемся, насколько нелепо это выражение с позиции диалектического материализма, который утверждает — все, что достигает вершины своего развития (идеала), неизбежно приходит к самоотрицанию. Созревшая почка перестает быть почкой.

Стремление к взаимопониманию можно сравнить со стремлением науки познать все. Если б наука смогла это сделать, все познала, поставила точку, то она сразу бы перестала существовать. Но в том-то и дело, что идеальное, как правило, недостижимо. Конструктор, создавая машину, стремится приблизиться к идеалу — коэффициенту полезного действия 100 процентов, но заранее знает, что никогда не достигнет его. Наука стремится познать как можно больше, но не рассчитывает познать все. Даже на один и тот же вопрос, например, как устроена Вселенная, она не надеется получить исчерпывающий, раз и навсегда удовлетворяющий ответ. «Теперь мы знаем,— говорит известный польский ученый Инфельд,— что теорий строения Вселенной можно создать очень много, каждый

раз на все более и более высоком уровне сложности, и с этого более высокого уровня снисходительно смотреть на более низкий».

Мы не можем мечтать о достижении абсолютного взаимопонимания между людьми — только о достижении *более высокого уровня* взаимопонимания. И когда он будет достигнут, значит, пришла пора добиваться еще более высокого... Нельзя сомневаться в том, что впереди человечество ждут неведомые нам больные проблемы, острые несогласия, бурные противоречия, требующие в решении усилий всего просвещенного населения планеты. Противоречия, ничем не напоминающие наши, страшные для нас, порожденные обстоятельствами, которые мы сейчас для себя посчитали бы величайшим благом. Наверное, нам всем бы хотелось, чтобы наше общество умело безошибочно отличать способного от бездарного, давать способному широкое поле деятельности, бездарному отказывать и в узком. Но ведь тогда обществу пришлось бы иметь дело с армиями свободных от дел, неумных людей, озлобленных непризнанием, униженных недоверием. Иметь дело с проявлением неумного недовольства не очень-то приятная перспектива. Чем не общественный конфликт, не проблема? Для нас сейчас утопичная, быть может, даже смехотворная, но будет ли она вызывать улыбку у наших потомков? Пусть не упрекают меня, что я занялся-де недостойным делом — пророчеством. Каждый вправе представить образную картинку из будущего, и если она никогда не совпадет с действительностью, то наверняка поможет понять — впереди будут страсти, будет отчаянье и восторг, смех и слезы. Слезы не только из-за неразделенной любви. Людям жить полнокровной, насыщенной жизнью, а поэтам писать стихи, в том числе и пессимистически-упаднические. И не удастся избежать присущей всем векам трагедии гения, не понятого своими современниками. Только уже и гении-то станут не те, не теми окажутся и массы.

Герцен однажды сказал: «Календарь вверху и внизу разный, если вверху сейчас идет XIX век, то внизу, дай бог, XIII». Я стремлюсь, чтоб все люди жили в одном веке, чтоб исчезли из общества неандертальцы. На худой конец, пусть их дикость станет очевидной.

Заранее знаю — убедил далеко не всех.

Но кой-кого я и не хочу убеждать.

Не хочу убеждать того, кто кричит о коммунизме, о достижении «светлого будущего», но под коммунизмом

понимает не общность людей, не взаимоспаянность, а лишь голую непримиримую борьбу, сдобренную классовой ненавистью. Только это, и ничего более! Такому лучше повернуться лицом к Сталину и Мао Цзедуну. У них он найдет все, что ему любо,— и проповедь кровавой неистовой борьбы, и умопомрачающую атмосферу злобы и ненависти, и полное пренебрежение к человеческой личности, и обещание «светлого будущего», весьма «светлого», потому что оно, по расчетам, должно быть освещено пламенем пожарищ грядущих мировых войн. Такого я не хочу убеждать, не хочу с ним спорить, заранее пасую — невменяемость неопровержима.

Не хочу убеждать и того, кто враждебен к коммунизму вообще, кто вовсе не верит в какое-либо «светлое будущее», не верит в общность человечества, отрицает саму возможность взаимопонимания, заранее смирился с тем, что вражда, злоба, ненависть извечна в том виде, в каком она существует сейчас, что рано или поздно все это приведет к единственно реальному братству — тесному братству братской могилы. Не хочу убеждать потому, что имею дело с таким, кто не руководствуется разумными доводами, а лишь своими крайними эмоциями. Этот тоже невменяем, а невменяемость неопровержима.

Не хочу убеждать тех, кто подвержен любой крайности. Тех, кто уж такой «сверхобщественник», что готов уничтожить во имя общества и личность. И тех, кто во имя личного готов жертвовать общим. Один другого стоит, похожи друг на друга, как матрица и оттиск.

Не хочу убеждать неверующего и не особенно обрадуюсь, если кто-то вдруг скажет: верую каждому твоему слову. Я не пророк, который ждет себе награды в вере, а мои размышления не проповедь неукоснительных к исполнению догматов.

Я выложил мои размышления и хочу одного, чтобы каждый из читателей поразмыслил вместе со мной, забыв о том, что нужно верить или не верить чему-то, возмущенно отвергать или восторженно принимать. Не отвергай, прежде чем не отнесешься с доверием, не принимай, прежде чем не возьмешь под сомнение.

Твои сомнения — вот что больше всего мне нужно, товарищ!

Сомневайся, чтоб предложить свое, тоже выношенное в сомнениях, и бойся родить недоноска.

Я коллективист — противник индивидуализма, не аллилуйщик некоего бесплотного, невразумительного,

набившего, прости господи, оскомину «светлого будущего», пробую предложить нечто свое, конкретное.

Я имею право теперь считать, что марксистское — уничтожить эксплуатацию человека человеком через насильственный переворот — не решает проблемы. Сама жизнь и более чем вековой опыт борьбы настойчиво ставят иные задачи, более тонкие, более сложные, требующие более пристального внимания к самому человеку, к личности. Сложные задачи решаются напряженной работой мысли, а этот процесс никогда не нуждался в чужой крови.

Сталин и Мао в какой-то степени действительно наши учителя. Они с убедительной (куда уж больше!) наглядностью доказали, во что вырождаются идеалы, когда насилие становится основным методом. Насилие по своей природе просто не может мириться и совмещаться с какими бы то ни было другими методами. Став основным, получив преимущества, оно обязательно становится единственным методом. А потому насилие ради достижения гуманности — блеф! Насилие может порождать только другое насилие.

Коммунист для меня тот, кто стремится к общности среди людей, к их единству, и, наверное, по белу свету разбросано немало людей, которые и сами не подозревают о том, что они коммунисты, возможно, с недоверием относятся к слову «коммунизм», совмещая его полностью со сталинизмом и маоизмом. С недоверием относятся к слову, а сами посильно стараются что-то сделать для общества, для спаянности людей на нашей планете.

Надеюсь, что со временем мир завоюют не штыки, не танки, не солдатская поступь, а идея о необходимости человеческой всеобщности. Произойдет это завоевание — будет жизнь на планете, будут новые идеи, новые задачи, новые человеческие устремления. Не случится его — мир должен готовиться к самому худшему. «Сейчас уже накоплено достаточно зарядов для многократного уничтожения всего человечества». Заряды имеют свойство взрываться.

А я — за жизнь!

1968

Драматургия

«Молилась ли ты на ночь, Дездемона?»

Пьеса в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Елтухов Иван Фомич.
Лаптев Антон Каллистратович (Тонька Пьяный).
Калинушкина Надежда Сергеевна (Надя).
Кучкина Анна Максимовна — директор Дома культуры.
Свищев.
Рябцов.
Жорка Шармак.
Капа, Костя, Елизар — артисты кружка самодеятельности.
Тетка с авоськами.
Сивоус — участковый.
Пожилой милиционер.
Молодой милиционер.

1-я, 2-я, 3-я, 4-я и другие девушки, участницы поселкового смотра Дездемон.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Нелишне указать, что за пределами открывшейся сцены лежит рабочий лесозаготовительный поселок Кулики — глубокая периферия. Он по окраинам забаррикадирован огромными штабелями заготовленных бревен. На его улицах торчат пни, память о лесе, который рос здесь до того, как поселок начал строиться. Дома в нем барачного типа, схожи друг с другом, словно близнецы. Среди них — Дом культуры, такой же барак. Действие происходит на сцене этого Дома культуры. Справа и слева видны стены из еще не потемневших бревен. На заднем плане по центру — щит, сколоченный из теса, отделяющий закулисную часть. По бокам его висят небрежно задернутые занавески. На щите забыто — выцветший лозунг: «Все силы на выполнение плана

по деловой древесине!» В одном углу куча старых досок и рояль. В другом — канцелярский стол с телефоном. За ним восседает директор Дома культуры Кучкина, полная, немолодая женщина. Посередине колченогий столик, возле него Свищев в одежде дьячка и Капа в старушечьем наряде. Чуть в стороне топчется дюжий Елизар. У его ног лежит кусок рельса. Дом культуры плохо отапливается. Елизар в шапке, в пальто внакидку, в валенках на босу ногу — видны голые колени. Кутается в теплый платок и Кучкина. Все головы повернуты в одну сторону. Ожидание.

Вбегает взлохмаченный Костя.

Костя *(сильно заикаясь)*. И-и-ид... Идет!

Кучкина. Начали! Начали!.. Костя, быстро! Одеваться! Чтоб по первому звуку...

Костя ныряет за щит.

Свищев *(дьячковским голосом)*. Дальше кого? Скорей, убогая, думай, а то мне некогда...

Входит Елтухов.

Елтухов *(не спеша оглядывается)*. Здравствуйте, товарищи.

Все *(вразнобой, с готовностью)*. Здравствуйте...

Кучкина. Иван Фомич, присаживайтесь... На этот стульчик... Нет, сюда лучше поставьте, тут виднее... У нас, Иван Фомич, нынче репетиция. *(Свищеву и Капе.)* Начали! Начали!

Свищев. Дальше кого? Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.

Капа. Чичас, батюшка... Ну, пиши... О здравии рабов божьих: Андрея и Дарьи со чады... Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи...

Свищев. Постой, не шибко... Не за зайцем скачешь, успеешь...

Елтухов. Так! Верно. Спешить не будем. Разберемся.

Кучкина. «Канитель» по рассказу Чехова, Иван Фомич...

Елтухов. Так. «Канитель».

Кучкина. Антирелигиозная тема и очень смешно.

Елтухов. Вроде, помнится, и в прошлом году эта «Канитель» была...

Кучкина *(подавленно)*. Была.

Елтухов. И в позапрошлом?..

Кучкина. Тема, Иван Фомич... И очень смешно.

Елтухов. От такой длинной канители, скажу прямо,— грустно становится, а не смешно.

Минутное неловкое молчание.

Елтухов. И это все? Только «Канитель» одна?

Кучкина. Новый номер аттракцион — «борьба карликов». Очень смешно. *(Кричит.)* Костя! Костя! На сцену!

Из-за щита бурным собачьим клубком выкатываются два диковинно одетых сцепившихся карлика, начинают возню — топчутся, напирают друг на друга, ставят подножки. Кучкина тревожно смотрит на Елтухова.

Елтухов *(разогреваясь)*. Ха! Ну-ка! Ну-ка!

Кучкина *(облегченно)*. Очень смешно...

Елтухов. Ишь, черт! Ха-ха! Над-дай, сукины дети! Кувырни! Кувырни! И где вы такое выкопали?..

Один из карликов неожиданно подымает другого на воздух. Среди вороха пестрой одежды появляется голова разогнувшегося Кости. Он скромно раскланивается перед Елтуховым.

Елтухов. Ах, чертушка! Ловко надул! Прямо скажу — ловко! Ты — талант! Как тебя?..

Костя. Ко-ко-ко... Ко-нстантин... Со-со-сочнев!

Елтухов. М-да.

Костя. Ди-ди-дик-цией н-не владею!

Елтухов. Без дикции артисту никак нельзя. Нехорошо.

Костя. От ро-ро-рождения!

Елтухов. Это, брат, не отговорка. Даже сам Николай Крючков готовым артистом не родился. Должно быть, выучил себя, воспитал! Так-то!.. Нехорошо. *(Поворачивается к Елизару.)* Ну, а ты что умеешь?

Елизар *(густым, угрюмо-стеснительным басом)*. Рельсы гну.

Кучкина. Силовой номер, Иван Фомич.

Елтухов. Опять с надувательством или как?

Елизар. Без надувательства гну.

Елтухов. Ой ли?..

Елизар. Под музыку.

Елтухов. Что ж, давай под музыку. Где она?

Кучкина *(указывая на рояль)*. Музыка есть, Иван Фомич...

Елтухов. Тогда заводите.

Кучкина. Музыкантши нет, Иван Фомич.

Елтухов. Как же так? Нехорошо. Неорганизованность.

Кучкина. Была, да замуж вышла. В Вологду уехала.

Елтухов. Была, да вышла — нехорошо. *(Елизару.)* А без музыки ты — никак?

Елизар. И без музыки могу.

Елтухов. Тогда что ж ты!.. Давай!

Елизар скидывает с плеч пальто, остается в полосатом трико и в валенках, подымает кусок рельса, старательно прилаживает его на плечах, берется за концы руками, посинев от натуги, начинает свой номер. Рельс медленно подается — выгибается дугой.

Елизар *(снимает с шеи изогнутый рельс, сумрачно)*. Вот...

Елтухов *(вставая со стула, подходя к Елизару)*. Ну и ну!.. Рельсу... *(Почтительно щупает плечи и бицепсы Елизара.)* Ну и ну... Чугун!.. Надо же... А без надувательства?.. Верю, верю! Большой талант!.. Где работаешь? Почему я о тебе не слышал? Как фамилия?

Елизар. В Куликах и работаю... На лесопогрузке... Антонов Елизар.

Елтухов. Это, надо прямо отметить,— данные.

Свищев *(с обиженным достоинством)*. Позволю себе заметить, Иван Фомич, никоим образом не высокое искусство. Не талант — просто грубая физическая сила!

Елизар *(обидевшись)*. А попробуй ты со своим талантом — лопнешь.

Капа. Без души. Медвежьи мускулы, только и всего.

Елизар. Мне небось больше всех хлопают.

Кучкина. Опять?.. И при ком скандалите?.. Постеснялись бы!.. Беда мне, Иван Фомич, с этими талантами.

Елтухов. Беда не велика — трения. Среди артистов это положено. Художественные натуры! Беда в другом!.. Ну-кась... *(Подходит к столу, Кучкина вскакивает, уступает место. Елтухов садится и сразу же преображается — неподкупно суров.)* Рельсы гнете?.. Хорошо. Но достаточно ли этого?.. *(Пауза.)* Дом культуры в нашем поселке Кулики есть, а есть ли в нем культура?.. *(Пауза.)* Рельса без музыки!.. А мы ведь не лыком шиты, почетные грамоты от Министерства лесного хозяйства получаем! Но красней, товарищ Елтухов,— поселок Кулики культурно отстал. Вот что мне сказали в области! *(Пауза.)* Талантов нет в Куликах?.. Есть таланты! Ежели рельсу согнуть в силах, то почему не выгнуть какой-нибудь культурный номер — покруче, покруче! Чтоб вся область заговорила, чтоб в Москву, в Кремлевский театр на смотр художественной самодеятельности пригласили!..

Гнетущее молчание.

Кучкина. Кругом затруднения, Иван Фомич...

Елтухов. Какие? Просигнальте!

Кучкина. Нет пособий.

Елтухов. А вы просили у меня пособия? Не слышал!

Кучкина. Нет пьес хороших.

Елтухов. Это как так нет? А в других местах что ставят? Может, и Москва без пьес живет?

Кучкина. То Москва. Где нам...

Елтухов. Подтягиваться надо! Пьес нет. В мире писатели повыродились? А ну ответьте: какой писатель по пьесам самый, так сказать, пересамый?.. *(Пауза.)* Кто, спрашиваю, во всем мире самый великий по пьесам?

Кучкина *(вкрадчиво)*. Разрешите, я вам позднее доложу.

Елтухов. Не знаете! А кто должен знать? Елтухов? Я и по деловой древесине, я и по писателям?..

Костя. Ше-ше-ше... Шекспир!

Елтухов. Кто?

Костя. Ше-ше... Шекспир... В-в-вильям!

Елтухов. Как ты сказал — Шекспир?

Костя. В-в-великий самый!.. Ан-ан-английский драматург!

Елтухов. А повыше — уже никого?

Костя. С-самый... В мире!

Елтухов. Ну вот, сразу и нашли. Значит — он! Никто не спорит?.. *(Пауза.)* На этой кандидатуре и остановимся. Товарищ Кучкина, надо вам взять эту мировую величину и справиться с нею! Кулики должны загреметь по всей области, по стране даже! Ясно?

Пауза.

Свищев. Я — человек скромной профессии, Иван Фомич, но вот уже много лет бескорыстно увлечен искусством. По долгу службы я честно охраняю трудовые сбережения в местной сберегательной кассе, позвольте и наше искусство взять под охрану от подозрительных авантюр.

Елтухов. Ты против?

Свищев. Рассчитывать нам на Шекспира — все равно что покупать билет денежно-вещевой лотереи в надежде выиграть «Москвич». Надежда зыбкая, Иван Фомич. Весьма! Больше шансов на то, что она не увенчается успехом.

Капа. Где уж... «Москвич»...

Елтухов. Эт-то что за пораженческие настроения? Эт-то почему сразу паника?

Свищев. С нашими творческими силами Шекспир — лицевой счет без вклада.

Елтухов. В Куликах сил недостаточно? В Куликах, где тысячи кубометров деловой древесины переворачивают!

Свищев. В нашем поселке только мы вдвоем с Капитолиной Васильевной — вот с ней — играем на сцене. С рельсой, Иван Фомич, на Шекспира не пойдешь.

Капа. Кроме нас — никого.

Елтухов. Отыщите. Выдвиньте на сцену! Из гущи народной!

Свищев. И режиссера нет... Что там режиссера — любую мелочь возьми. Хотя бы костюмы. Нужны средневековые костюмы. Где их в Куликах найдешь.

Капа. У нас и нынешних-то костюмов не достанешь.

Елтухов. Ну, костюмы сошьем, хотя бы и средневековые. А вот режиссера... Гм... Он очень нужен? Без него разве — никак?

Свищев. Все равно что сберкасса без заведующего, армия без командира.

Капа. Очень тонко замечено.

Елтухов. Так у вас есть командир. *(Указывает на Кучкину.)* Вот он! Она за свое культурное командование зарплату получает. А раз получает — командуй!

Свищев *(осторожно)*. Не тот профиль у Анны Максимовны.

Елтухов. А какой нужен?

Свищев. У Анны Максимовны — административно-руководящий, а нужен руководяще-художественный, вроде Станиславского или Немировича-Данченко.

Капа. Где их в Куликах найдешь.

Елтухов *(оглядывая притихшую Кучкину)*. М-да-да. На Станиславского. М-да... Не тянет.

Кучкина. У нас и по смете не положено художественного руководителя. Все своими силами, до всего — своим умом. Вот товарищу Свищеву Евгению Евгеньевичу большое спасибо говорить нужно. Он у нас самый опытный артист — комический талант. «Канитель»-то он ставил. Сколько лет со сцены не сходит.

Елтухов. «Канитель» поставил, а Шекспира?.. Раз ты талант, да еще не простой,— выручай Кулики!

Свищев. Шекспир — не мой профиль.

Капа. И не мой.

Елтухов. Ты это брось — профиля мне вставлять! Справишься — на руках носить будем. Ну, а не справишься...

Свищев *(твердо)*. Не мой профиль.

Елтухов. Заладила сорока про Якова... Где же найти с нужным профилем?

Капа. Уж раз Евгений Евгеньевич отказывается...

Елтухов. Где? Кого? На руках носить будем!

Костя. Т-т-тоньку Пья-пьяного если?

Свищев *(весь сморщившись)*. Ну уж...

Капа. С ума сойти — Тоньку!

Елтухов. Что это за Тонька, да еще пьяная?

Кучкина. Вы его должны знать, Иван Фомич. Его все Кулики знают. Учетчиком на нефтебазе работает. Лаптев — фамилия, Антон Каллистратович. Все его Тонькой Пьяным зовут. Пропащий человек.

Елтухов. Это который стихи под пьяную лавочку шпарит? Слышал...

Костя. Ш-ш-шекспира читает!

Елтухов. Как Шекспира?! Самого?!

Кучкина. Зашиблён маленько. Ненормальный — того... Такое завернет, хоть святых выноси.

Костя. В-вдоль и п-поперек Ше-шекспира знает!

Елтухов. Шекспира! Вдоль и поперек! Что ж вы молчали?

Свищев. Опустившийся элемент. Нуль в графе. Что о нем говорить.

Елтухов. Шекспира! Вдоль и поперек! Тут у нас под боком!..

Кучкина. Никакого проку с него. Глядеть не на что, а заносчив — спасу нет.

Елтухов. Артистам положено. В случае чего обротаем. Сам возьмусь! Нам человек нужен, который Шекспира в Кулики вытянет, на высокое место поставит. Где этот Тонька? Сейчас же его сюда! Телефон у вас работает или так, для игры?

Кучкина. Работает, Иван Фомич, работает.

Елтухов *(снимает трубку)*. Участкового Сивоуса мне, срочно! Елтухов говорит... Сивоус! Ты знаешь такого... э-э, Лаптев... Антон Каллистратович?.. Не знаешь, а зря. Участковый в глубь доверенных ему людей знать должен... Да нет, не прораба Лаптева. Учетчиком на нефтебазе работает, Тонька Пьяный по прозвищу... Ага, знаешь... И очень даже хорошо. Ну, то-то... Так вот, срочно, слышишь, срочно, сию минуту его сюда... Не

в кабинет, а в Дом культуры. Я здесь нахожусь. Срочно!.. *(Кладет трубку.)* Через пять минут обещал доставить. Говорит, из окна вижу.

Свищев. Иван Фомич, если этот Пьяный Тонька ступит на нашу сцену, со сцены уйду я!

Капа. И я... Одни гадости от Тоньки слышишь.

Елтухов. Не нравится?

Свищев. Он никому не нравится. Вызывает подозрение, как не заверенный аккредитив.

Елтухов *(Кучкиной)*. И тебе тоже, директор культуры?

Кучкина. Иван Фомич, он того... *(Крутит пальцем у виска.)* Совсем пропащий.

Елтухов. Так вот слушайте! Ежели этот Тонька понравится мне, Елтухову, то и вам понравится. Будете его любить и жаловать. *(Свищеву.)* А ты, дьячок, не смей и заикаться, что со сцены уйдешь. Не смей подрывать культурные кадры!

Свищев. Извините, но мое скромное собственное достоинство подсказывает...

Елтухов. А не подсказывает оно тебе, что перед Елтуховым на дыбки становиться опасно? Со сцены... В данный момент на куликовской сцене важна каждая художественная единица. Поселок Кулики замахивается на великого Шекспира! Со сцены?.. Бежать?.. Доставим!

Капа. Мы с Евгением Евгеньевичем так не привыкли...

Елтухов. Привыкайте, привыкайте. Лучше поздно, чем никогда. *(Елизару.)* А ты, силовой талант, что молчишь? Может, тоже бежать хочешь?

Елизар. А мне что... Тонька у меня рельсу не отымет — жила не та.

Костя. Це-це-цел-леустремлен!

Елтухов. Кто? Куда?

Костя. Т-тонька к-к Шекспиру!

Кучкина *(наставительно)*. Давайте не спорить. Давайте и мы дружно устремимся все к цели. А наша цель, товарищи, как совершенно ясно сказал нам сейчас Иван Фомич,— великий Шекспир!

Елтухов. Вот именно... Ага, кажется, идут. Быстро же!

За сценой топот ног, что-то с шумом падает, голоса: «Поупирайся у меня! Поупирайся!» Входит участковый Сивоус — щеголеват, в скрипучих ремнях, в начищенных сапожках, молод, строг, с достоинством.

Сивоус *(с широким жестом)*. Введите нарушителя!

Два милиционера, пожилой и молодой, вталкивают Тоньку, маленького, небритого, дурно одетого, к тому же изрядно уже помятого при доставке человека. Тонька не очень пьян, но сердит и упирается.

Елтухов *(грозно)*. Как-кого нарушителя?

Сивоус *(картинно подтягиваясь)*. Согласно вашему приказанию — срочно доставить...

Елтухов. Я вам артиста просил доставить, художественную натуру, увлеченную Шекспиром. Почтительнейше доставить, под локотки, под ручки!

Тонька. Совершенно верно — под локотки, земли коснуться не дали.

Елтухов. Ты что-нибудь нарушил?

Тонька. Да. Давно. Сорок восемь лет назад.

Елтухов. Это что же?

Тонька. Родился.

Елтухов. Как понять?

Тонька. Наверно, так, что не должен бы. Один раз и навсегда — тяжкое нарушение.

Елтухов. Похоже, правда, что ты — того... *(Сивоусу.)* Извиниться перед ним!

Сивоус. Слушаюсь! *(Четко поворачивается, с достоинством козыряет.)* Прошу извинить, действовал по служебным обязанностям, согласно данному приказу!

Тонька. Извиняю. Не только ради старого знакомства, но и в расчете на новые встречи, которых, видно, не избежать.

Елтухов *(милиционерам)*. И вам извиниться!

Пожилой милиционер. Слушаемся! *(Поворачиваются вместе, козыряют, но молча.)*

Тонька. А?.. Не слышу.

Пожилой милиционер снова молча козыряет.

Тонька. Не слышу.

Пожилой милиционер *(негромко)*. Вот выйдешь отсюда, тогда услышишь.

Тонька *(удовлетворенно)*. Теперь слышу... Все. Можете быть свободны.

Елтухов. Да, можете быть свободны... Сивоус, ты смотри у меня — бережно, бережно к художественным натурам! Ценить их надо и лелеять!

Во главе с Сивоусом милиция уходит.

Тонька. Ну так чем могу служить?

Елтухов. С Шекспиром знаком?

Т о н ь к а. Лично нет.

Е л т у х о в. Но-но! Без фокусов! Знаком или не знаком с первыми в мире пьесами писателя Шекспира?

Т о н ь к а.

Исчезни! Прочь! Пусть гроб тебя укроет!
Твой череп пуст, и кровь охолодела...

Е л т у х о в. Чего? Чего... Эт-та что за слова?

Т о н ь к а. Слова Макбета из трагедии Шекспира «Леди Макбет». Действие третье, сцена четвертая.

К у ч к и н а *(тревожно)*. Иван Фомич, я же говорила — того...

Е л т у х о в. Нет, уточним, уточним. Это что же, Шекспир мне такие слова: «Исчезни!», «Твой череп пуст!»? Мне или кому-то другому?

Т о н ь к а. Призраку. А вы, извините, не призрак, наоборот, фигура весьма вещественная.

Е л т у х о в. Ты с Шекспиром поосторожней... А ну, что-нибудь такое — погуще. Только давай без указания на личности.

Т о н ь к а *(становясь в позу)*.

Злись, ветер, дуй, пока не лопнут щеки!
Вы, хляби вод, стремитесь ураганом,
Залейте башни, флюгера на башнях!
Вы, черные и быстрые огни,
Предвестники громовых тяжких стрел,
Дубов крушители, летите прямо
На голову мою седую! Гром небесный,
Все потрясающий, разбей природу всю,
Расплющи разом толстый шар земли
И разбросай по ветру семена,
Родящие людей неблагодарных!..

Е л т у х о в. Да-а, мастер... До когтей. До печенки.

К о с т я. Ге-ге-гениально!

Е л т у х о в. Конечно, не все понятно, требует по первому разу некоторых пояснений... Но слова-то, слова-то какие: «Расплющи шар земной!» Наотмашь!

К у ч к и н а. Я давно вам говорила, Антон Каллистратович, в вас талант пропадает!

Е л т у х о в *(грозно поворачиваясь к Свищеву)*. А кто этот талант похоронить хотел?.. *(Свищев и Капа постно молчат.)* И кто открыл этот талант?.. «Расплющи разом

шар земной!» Слова-то — чувствуйте! Расцветут Кулики!.. Разрешите за Шекспира пожать вам руку.

Тонька. Разрешаю.

Елтухов *(встряхивая Тонькину руку)*. И с этой минуты вы художественный руководитель. Режиссер! Станиславский для Куликов!.. Требуйте.

Тонька. Чего?

Елтухов. Всего!

Тонька. Еще сто грамм, и я вам прочитаю «Отелло». Последнее действие, вторую сцену: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» В слезах расстанемся.

Елтухов. Сто грамм? Ну не-ет, шалишь. Ни капли! Наша обязанность теперь хранить тебя как зеницу ока. Чтоб твой талант не замутился, чтоб был как стеклышко!

Тонька. Меня? Хранить? Не отбивайте хлеб у товарища Сивоуса. Он уже много лет хранит меня. Добросовестнейше!

Елтухов. Теперь будем всем коллективом. Всем поселком Кулики!

Тонька. Ну, тогда я совсем пропал.

На волоске висит душа моя,
И с вестию твоей он оборвется!..

Люди добрые, не рвите волосок, за который еще цепляется Тонька Лаптев. Кому мешает Тонька? *(Елтухову.)* Вам?.. *(Кучкиной.)* Тебе, почтеннейшая?.. *(Свищеву с Капой.)* Вам, что ли?.. Или вот Елизару с Костей?.. Тонька пьет. Но кто не пьет в Куликах? Почему всех не берутся охранять? Потому что нормально пьют под здоровую матерщину. А Тонька Лаптев пьет под Шекспира. Он не похож, он не такой, как все, каждому бросается в глаза — белая ворона, а потому держи на прицеле, пугай ее, пока не почернеет. А не могу, не могу почернеть! Так создан! Таким родился! Всеми Куликами под вашим руководством, товарищ Елтухов!.. Помилуйте!.. «На волоске висит душа моя...» Не рвите волосок!

Кучкина. А что я говорила — святых выноси.

Елтухов *(восхищенно)*. Артист! За сердце берет... Ничего, товарищ Лаптев, ничего. Волосок оборвется — не допустим! Ты теперь будешь связан с коллективом прочными связями. Не волоском, нет — надежно!

Тонька. Прощай, Тонька Лаптев! «Ты, жалкий, суетливый шут, прощай!»

Елтухов. Не прощай, а здравствуй, Лаптев. Здравствуй! Заметили тебя Кулики. Отличили! И в моем лице

тебя просят: приведи к нам Шекспира. Нужно, Лаптев, нужно! Куликам без Шекспира — никак.

Тонька. Ну, никак! Выкатка и отгрузка леса застопорится. Деловая древесина погниет. Спасай, Вильям Шекспир!

Свищев. Он не только не верит, Иван Фомич, он издевается! Над всеми Куликами!

Елтухов. Тебе нужен Шекспир?

Тонька. То мне...

Елтухов. А мне — нет? А ей?.. *(Указывает на Кучкину.)* А им?.. *(Указывает на Свищева с Капой.)* Ему?.. *(На Костю.)* Ему?.. *(На Елизара.)* Только тебе одному, другие — так живи, Лаптев Шекспиром делиться не желает!

Тонька. Нужен?.. *(Кучкиной.)* Тебе?.. Жить не можешь?..

Кучкина. Раз Иван Фомич говорит, значит, не могу.

Тонька. Верю! Раз Иван Фомич... Он ведь может тебя с директоров культуры попросить, а это оклад приличный, это квартира при клубе с казенными дровами, это огород под окном. Можно ли жить? Да, нельзя! *(Свищеву.)* Ну, а тебе-то зачем Шекспир? Лучший артист поселка Кулики, всю жизнь играешь дьячка в «Канители». Зачем тебе Шекспир, когда уже навострился калечить Чехова. Бедный Чехов. Свищевы в твоих героях видят родственные души, Свищевы тянутся к тебе, пережевывают тебя, в своей жвачке преподносят другим. Восстань, Чехов, из мертвых, воскликни: «Упаси меня бог от друзей, от врагов как-нибудь сам отделаюсь!»

Капа. Безобразие!

Свищев. Иван Фомич, вместе со мной здесь оскорбляют великого русского классика!

Тонька. Свищев и Чехов неотделимы. Не тронь Свищева — заденешь Чехова!.. Елизар, а тебе Шекспир позарез нужен?

Елизар. Да мне что, я — по рельсе.

Тонька. Вот честный ответ — была бы рельса. Истинный гражданин поселка Кулики. Кулики — честный поселок, он никогда не притворялся, что жить не может без Шекспира. Деловая древесина — другое дело, без нее жизни нет. Вот оно, глядите! *(Указывает на плакат.)* Смысл куликовского бытия на сей скрижали!.. Дорогой товарищ Елтухов, не портите честные Кулики, не заставляйте лгать: без Шекспира — никак.

Кучкина. Иван Фомич, надо срочно позвонить товарищу Сивоусу.

Тонька. Да, конечно, конечно,— срочно Сивоуса! Мы же заговорили о Шекспире, о святом искусстве. А в Куликах разговор об искусстве должен кончаться участковым. За ним последнее слово.

Елтухов. Эй-эй! Что-то ты разгулялся, братец!

Тонька. До чего похоже! Ну, слово в слово!

Елтухов. Что мелешь? На что похоже?

Тонька. Слово в слово повторили сейчас товарища Сивоуса. Как ни заговорю о Шекспире, Сивоус мне внушает — разгулялся, братец... А потом под локотки...

Кучкина *(снимает трубку)*. Алло!.. Соедините, пожалуйста...

Елтухов *(грозно)*. Трубку на место!.. Эт-то что ж вы, товарищ Кучкина, в Елтухова не верите? Что же по-вашему — Елтухов постоять за себя не может, Сивоус спасай! Елтухов не таким рога обламывал, а помощи не просил!.. *(Тоньке.)* Кому лучше знать — нужен Куликам Шекспир или нет? Тебе или мне? Раз я говорю — нужен, не смей перечить!

Тонька. Веский аргумент. Потому молчу.

Елтухов. Так-то лучше... Приказываю тебе поставить Шекспира вот на этой сцене!

Тонька. Заодно прикажите достать луну с неба, остановить солнце, перенести Кулики на облака.

Елтухов. Завтра начинаешь.

Тонька. С чего начать — с луны, с солнца, с облаков?

Елтухов. Сейчас требуй, что надо для этого?

Тонька. Я уже больше не прошу сто грамм, отпустите подобру-поздорову на все четыре стороны.

Елтухов. Значит, не хочешь ставить Шекспира? Да или нет? Четко и ясно!

Тонька. Всю жизнь мечтал...

Елтухов. Не кривляйся!

Тонька. Нет, не кривляюсь. Хочу ли поставить Шекспира?.. Да это голубая мечта всей неудачливой жизни Тоньки Лаптева... Будь проклят Шекспир! Будь он проклят!

Елтухов. Вот тебе раз.

Тонька. Берегитесь Шекспира — он отрава! Я даже не знаю, когда и как влез он в мою душу. Не будь Шекспира, жил бы сейчас благополучный куликовский житель — не Тонька Пьяный, Антон Каллистратович Лаптев!

Елтухов. Пойми артистов... С тремя тысячами рабочих управляюсь, а тут от одного артиста голова пухнет.

Тонька. Кто лучше меня знает Кулики? Нет таких! Я здесь родился. Во время моего детства Кулики были

еще деревней. Нынче дороги проложены, народу понаехало, машин навезено, понастроено — центр, столица! Тогда — оглохни, не заметишь.

Елтухов. Тем более, тем более способствуй.

Тонька. А жили, как жили тогда!.. Над всем была великая мудрость: не красна изба углами, а красна пирогами. Пирог — высшая красота для куликовца! А любили в Куликах... О, как любили! Петька или Васька зажимал в темном углу Параньку или Дашку, тискал ее, потом засылал сватов, гулял свадьбу с дракой, с битьем посуды, обкладывался детьми, продолжал извечную куликовскую линию — красна изба пирогами... И вдруг Шекспир... Нет, вру, не вдруг, исподтишка вполз. С книгами, с поездкой в город, где на ярмарке, разинув рот, Тонька впервые увидел заезжих актеров. Исподтишка сатана с сатанинскими соблазнами! «Быть или не быть? Вот в чем вопрос!» Не из-за пирога терзание!..

Безумную любовь мою сдуваю —
Она прошла! Месть черная, вставай
Из адских бездн и выходи наружу!

За отнятую любовь — смерть! «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Отравлен издавна, всю жизнь мечтал сыграть Отелло.

О, если есть еще ножи, веревки,
Огонь и яд, удушливые реки —
Не потерплю измены этой я.
О, дайте мне скорее убедиться!

Каким бы мавром был Тонька Лаптев из Куликов. Каким мавром! Великое погибло, и никто не догадывается. Я один это знаю, в одиночку плачу. И пил, да пил, потому чем еще залить свой пожар?..

Елтухов. Не заливай пожар! На люди его! Пусть все видят! Играй, друг, этого... Отеллу. Поможем.

Тонька. Был пожар, да теперь чуть тлеет. Был Тонька Лаптев мавром, да стал Тонькой Пьяным. Вглядитесь в меня, вглядитесь без стеснения — похож я на Отелло?

Свищев. Да уж что говорить — вылитый.

Кучкина. Право, Иван Фомич,— Сивоуса бы...

Тонька. «Себя, как в зеркале я вижу...» Морда небритая, роста мелкого, портки с худого зада сползают... Венецианский генерал Отелло, полководец царских кровей...

Елтухов. О чем печаль. Личность твою побреем, портки подтянем, ну, а что роста мелкого, то, поди,

в молодости не крупней был, а целил же тогда в Отеллы. Играй, друг, поможем. Ты Елтухова не знаешь. Не из таких затруднений с ним Кулики вылезали.

Тонька. А может, и вправду...

Елтухов. Смелей! Смелей! Не боги горшки обжигают. Отеллу... Как там: «Месть черная, вставай...» Ах, черт! И в Куликах не лаптем шти хлебают. И Кулики до Шекспира доросли. «Месть черная, вставай!..»

Тонька. А может, и вправду пришло... Всю жизнь мечтал.

Елтухов. То-то и оно, пришло. Очнись! С Елтуховым дело имеешь.

Тонька. Не всего «Отелло» — часть, маленький кусочек...

Елтухов. Начнем с маленького, подымемся до большого. Не робей, воробей, клюй в темечко!

Тонька. Из последнего действия, начало второй сцены: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?..» А?.. Уже завязал. Уже крест поставил. Неужели можно?.. Да нет — могила. Не верю!

Елтухов. Упаднические настроения, товарищ Лаптев, упаднические настроения — не поддаваться!

Тонька. Неужели произнесу перед зрителями: «Месть черная, вставай!»

Елтухов. Вот именно — вставай, подымайся!..

Кучкина. И с нашей стороны, Антон Каллистратович, вам тоже всяческая помощь обеспечена.

Елтухов. Ближе к делу, ближе к делу! Что нужно? Выкладывай!

Тонька *(остывая)*. Дездемону...

Елтухов. А что это такое?

Тонька. Божество.

Елтухов. Гм... По божеству — того... Не специалист.

Тонька. То-то и оно...

Елтухов. Ближе к делу, черт возьми! Проси, что нужно. И внятно! А божество... Ишь ты загнул. Божественное или там святое в тебе самом сидеть должно. Ты артист, а не я... Что нужно? Толком!

Тонька. Только Дездемону. А этого даже вы, товарищ Елтухов, в Куликах не раздобудете.

Свищев. Ломается, как копеечный пряник.

Елтухов *(в отчаянии)*. Да толком — что это? Дез-де-мона!.. Обрисуй! Может, и раздобуду.

Костя. Д-д-де-девушка!

Е л т у х о в. Чего?..

К о с т я. Д-д-дездемона — же-женщина!.. Ж-жена Отелло!

Е л т у х о в. Ах, вон оно что! Ну так бы и сказал... Дездемону тебе?.. Найдем. Елтухов все может.

Т о н ь к а. Дездемону в Куликах?.. *(Показывает на Кучкину.)* Может, ее в Дездемоны?

Е л т у х о в. Нет, нет, по пути наименьшего сопротивления не пойдем. Не пристало нам.

Т о н ь к а. Ну, тогда она попадет в Дездемоны. *(Указывает на Капу, одетую старухой.)* Единственная актриса в Куликах.

Е л т у х о в. А она что, эта Дездемона, собой фасонистая?

К о с т я. Кы-кы-к-расавица!

Е л т у х о в. Найдем! Правильную! Уж ежели в Куликах Отеллу отыскали, то и жену ему подыщем. Прикажу всех девиц в поселке собрать. Выбирай, Отелло, любую, привередничай. Дездемону... Ха! За чем дело стало.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Перед тем как занавесу подняться, слышны девичьи голоса, словно буйный воробьиный щебет перед ростепелью. Занавес открывается. Та же сцена. За отдернутой сбоку от тесового щита занавеской видна белая дверь с надписью «Дирекция». На щите, ниже старого выцветшего лозунга о деловой древесине, повешены свежие плакаты. Крупно: «КУЛИКАМ — СВОЮ ДЕЗДЕМОНУ!» Помельче: «Участницы смотра Дездемон! Отнесемся со всей ответственностью к поставленной задаче!» Канцелярский стол вынесен на середину, покрыт кумачом, увенчан графином с водой. На заднем плане под щитом с плакатами — скамьи, на них тесно сидят девушки. Большинство из них принаряжены: за распахнутыми шубками и пальто — цветные платья, пуховые шали на плечах, туфельки на ногах. Несколько девиц, видать, пришли прямо с работы — в ватниках и ватных брюках, в валенках. Девушки увлеченно болтают между собой, слышно только одно, часто повторяющееся слово: «Дездемона! Дездемоне! Дездемоной!..» Дверь с табличкой «Дирекция» распахивается, из нее появляются трое: Р я б ц о в, деловито бравый молодой человек, озабоченная К у ч к и н а, Т о н ь к а Л а п т е в, сумрачный, собранный, побритый, причесанный, в приличном костюме, даже при галстуке, почти жених.

Р я б ц о в *(занимая председательское место за столом, стуча по графину)*. Прошу тишины!.. *(Шум девичьих голосов смолкает.)* Товарищ Елтухов Иван Фомич поручил мне собрать вас, цвет и красу нашего поселка Кулики,

для выполнения ответственного задания. *(Пауза.)* Перед вами стоит задача — выявить из своей среды *(пауза)*... Дездемону! Слово для обрисовки, так сказать, создавшегося положения предоставляется директору нашего Дома культуры товарищу Кучкиной. Прошу вас, Анна Максимовна. Чтоб коротко и ясно. Не размазывая. Сразу — быка за рога!

Кучкина *(встает, начинает читать по бумажке)*. В одну тысячу шестьсот четвертом году великий английский драматург Вильям Шекспир написал свою выдающуюся пьесу «Отелло». Вот поэтому-то мы и собрались здесь. Если бы Вильям Шекспир не написал этой пьесы, мы бы не собрались здесь. Но раз он написал...

Рябцов. Быка за рога, Анна Максимовна, быка за рога!

Кучкина. Одну минуточку... *(Читает.)* Он написал еще много других пьес мирового значения, где бичевал королей и прочих эксплуататоров. А потому Кулики никак не могут пройти мимо Вильяма Шекспира. Если пройдем мимо, товарищи, то нас каждый вправе считать культурно отсталыми...

Рябцов. Быка за рога, Анна Максимовна, быка за рога.

Кучкина *(читает)*. А для того, чтобы не пройти мимо, нам нужна Дездемона, товарищи. Крайне нужна! А из чьих рядов мы можем выдвинуть Дездемону? Только из своих, народных рядов! Из рядов трудящихся девушек поселка Кулики. Из вас!..

Рябцов. Совершенно верно!

Кучкина. Поэтому мы и пригласили самых лучших девушек сюда, на поселковый смотр Дездемон! Кулики ждут свою Дездемону, товарищи! У меня все. *(Садится.)*

1-я девушка *(бойко)*. А какая такая эта Дездемона?

Рябцов. Вопросы потом, в письменном виде... Слово предоставляется главному режиссеру, художественному руководителю, специалисту по Вильяму Шекспиру Антону Каллистратовичу Лаптеву...

Среди девушек раздается смешок: «Хи-хи, Тонька Пьяный — главный, Тонька — режиссер... Специалист...»

Рябцов. Прошу вас, товарищ Лаптев.

Тонька выходит из-за стола, идет по кругу, хмуро вглядывается в лица девушек, и под его взглядом стихает смех, веселье уступает растерянному и робкому молчанию.

Т о н ь к а *(останавливаясь перед 1-й девушкой. Та броско нарядна, вызывающе красива)*. Какая Дездемона, спрашиваешь?

Смиренная и робкая девица,
Красневшая от собственных движений...

Ты подходишь?.. Не думаю.

И вдруг она, наперекор природе,
Своим летам, отечеству, богатству,
Всему, всему, влюбилась в то, на что
До этих пор и посмотреть боялась!..

В старика влюбилась, красавица... Тебе надлежит меня полюбить, Дездемона.

Хихиканье в рядах девушек.

1 - я д е в у ш к а. Понарошку куда ни шло. За попа, за попадью, хоть за деда старого...

Т о н ь к а. А я, ревнивый мавр, тебя задушу в постели за твою любовь!..

1 - я д е в у ш к а. Понарошку куда ни шло. Души...

Т о н ь к а. Уж слишком много понарошку... *(Отворачивается.)*

1 - я д е в у ш к а. Не подошла, значит?

Т о н ь к а. Нет.

1 - я д е в у ш к а. Подумаешь. Тоже мне женишок.

Т о н ь к а *(через плечо)*. Женишок — понарошку, ищи взаправдашнего.

Останавливается возле 2-й девушки. Та сидит, опустив глаза. Тонька смотрит ей в склоненное темя. Долгое молчание.

Т о н ь к а. Здравствуйте.

Молчание.

Ау! Дездемона!

Молчание.

Смиренная и робкая девица,
Красневшая от собственных движений...

3 - я д е в у ш к а. Она стеснительная. Жуть!

Т о н ь к а. Вижу. Скажи, Дездемона, три слова: «Да, милый мой». Только эти три. Умоляю.

2 - я д е в у ш к а *(не подымая глаз)*. Да ну вас!

Т о н ь к а. Ответ не понарошку. И все ясно... Отелло готов любить смиренную Дездемону, но искусство слишком смиренных не любит. Увы! Увы!

Идет дальше, останавливается перед 4-й девушкой. Та в туго намотанном платке, в затасканном ватнике, в больших валенках, объемиста, плечиста, коренаста, широка, как дверь.

Тонька. Вот еще одна Дездемона. Какой Отелло осмелится задушить такую?

4-я девушка *(басовито, с презрением)*. Задушить?.. Тоже мне... сморчок!

Рябцов. Без пререканий, без пререканий! Ради общего — снесешь, не убудет!

4-я девушка. Ради общего если... Ладно — попробуй.

Тонька. Не осмелюсь. Пусть уж тогда Елизар играет Отелло. Он как-никак рельсы гнет. *(Хихиканье. Тонька выходит на середину сцены, оглядывает девушек.)* Теперь я понимаю, как могуществен Иван Фомич Елтухов! И как он меня, оказывается, обожает! Антон Лаптев, стоящий перед вами, больше известный в Куликах под именем Тоньки Пьяного...

Рябцов. По существу, по существу, товарищ Лаптев! Ваше прошлое к делу не относится.

Тонька. Как это не относится, когда я собираюсь осветить благородное дело самого Ивана Фомича Елтухова!.. Так вот, Дездемоны! Я, Тонька Пьяный, с молодых лет до седых волос — неприкаян и бездомен. Невесту Тоньке, семью?.. Тоньке Пьяному — куликовское счастье?.. Разве он похож на... Ну, хотя бы на тебя, председатель нашего славного девического слета. Ты, товарищ Рябцов, сверхнормальный куликовец, кругом нормальный. Ты на хорошей службе, есть твердый расчет, что выдвинешься выше, ты пьешь только по праздникам, штаны носишь отутюженные, сапоги начищенные...

Девичье хихиканье.

Рябцов *(нервно ерзая)*. Прошу не выходить за рамки!

Тонька. Все в рамках, в строгих рамках!.. Сапоги начищенные, и Шекспиром интересуешься тогда только, когда прикажут. Разве можно тебя, товарищ Рябцов, сравнить с Тонькой. Тонька зашиблен Шекспиром, так зашиблен, что ему всю жизнь было не до службы, а потому всю жизнь носил худые штаны и стоптанные штиблеты. Он блаженный, он шут гороховый, он недоразумение! Невесту ему?.. Смешно...

Рябцов *(стучит по графину)*. Выступление не по поводу. Лишаю слова.

Тонька. Слова лишаешь?.. Как!.. На том самом месте, когда я вознамерился восхвалить и возвеличить Ивана Фомича Елтухова!.. Посмей только... Велик Иван Фомич Елтухов! Оглянись кругом — кто сидит? Невесты! Для кого они собрались?.. Для Тоньки Пьяного! Который, кстати, трезв не только сегодня, но все эти дни — прозрачен до умиления. Собрались! Выбирай, Тонька, здесь цвет и краса поселка Кулики! Даже грозный царь Иван Васильевич не имел, наверно, пред своими пресветлыми очами такого выбора. И все это по слову Ивана Фомича Елтухова — царские смотрины! Кто усомнится, что Иван Фомич не велик? Кто возразит, что он не щедр и не добр? Кто скажет, что он не проницателен? В Тоньке Пьяном разглядел царскую душу! Дездемоны!.. Председатель, ты снова хочешь лишить меня слова?.. Ах, мне показалось... Дездемоны! При виде вас мне просится на язык крылатая фраза буфетчицы Нюшки Груздевой: «Вас много, а я одна!» Вас много, Дездемоны! Слишком много, бедному Отелло нужна всего одна. Отелло боится выдернуть не тот цветок из букета. Он не хочет спешить, он желает быть привередливым. А потому, Дездемоны, сядьте в очередь вот к этой двери с надписью «Дирекция». Верный Отелло с директорской солидностью вас станет вызывать поодиночке... Те трое, кого я уже почтил вниманием, могут быть свободны. Не подходят! Бывший Тонька Пьяный, ныне Отелло, от этих Дездемон отказывается. А вы, товарищ Кучкина, встаньте у двери, будьте исполнительной секретаршей у Отелло — поодиночке Дездемон, поодиночке, соблюдая строгую очередность... Итак, я удаляюсь. Прошу ко мне первую...

Тонька величаво скрывается за дверью. На сцене среди девушек происходит оживленное движение — смеясь, жестикулируя, переговариваясь, они рассаживаются в очередь.

Рябцов. Это что же такое?.. *(Со страстью.)* Не тот человек выдвинут в Отелло! Не тот!

Кучкина *(крутит пальцем у виска)*. Того...

Рябцов. Не-ет, не того-о... Нет, тут похуже — намеренная дискредитация! Всех пятнает! Вплоть до Ивана Фомича... А меня-то... за что? Что я ему сделал?..

Голос Тоньки из-за двери директорского кабинета: «Ближе к делу, Дездемоны! Ближе к делу! Заставляете ждать своего Отелло!»

Кучкина. Мне надо идти... *(К очереди.)* Кто первая?.. Прошу. Не заставляйте ждать.

Одна из девушек исчезает за дверью вместе с Кучкиной. Рябцов сидит на своем председательском месте, уткнувшись лицом в стол, обхватив голову обеими руками, постанывает, словно от зубной боли. Появляется тетка с авоськами, оглядывается, оценивает обстановку, подкатывает к девушке в очереди.

Тетка. Здесь, сказывают, на дездемонт записывают?

Девушка. Кончена запись.

Тетка. О господи! Опоздала... А только ответственных записывают или как?

Девушка. По отбору предварительному.

Тетка. Ишь ты, по выбору. А нас не выбрали. Мой зять — человек видный, его все знают, четвертый год с Доски почета не слезает...

Кучкина *(приоткрывая дверь)*. Следующая!

Девушку, вышедшую из кабинета, обступают подруги, по очереди прокатывается: «Не подошла... Не подошла...»

Тетка. Ты, милая, последняя? Я за тобой буду... По выбору, а нас — нет, мы — мимо. Мой зять с Доски почета... Кто тут старший, чтоб пожаловаться?

Девушка. Отелло. Он там. *(Указывает на дверь.)*

Тетка. Отеллов... Не слыхала такого. Новенький... Он — там, а кто — по записи-то старший? В списочек-то кто вставляет?

Девушка. Он. *(Указывает на Рябцова.)*

Кучкина *(от двери)*. Следующая!

По очереди: «Не подошла... Не подошла...»

Тетка *(подкатываясь к Рябцову)*. Уважаемый, а уважаемый... Беспокою вас, простите темную...

Рябцов *(очнувшись)*. Что?..

Тетка. Как это что?.. Мне, может, этот дездемонт и ни к чему, да обидно...

Рябцов. В чем дело?

Тетка. Мой зять который год с почетной Доски не слезает. В газете его портрет печатали. А тут всяких выбирают. Вовсе не почетных и не ответственных. Эвон, вижу, Валька Горшкова сидит. Тьфу!..

Кучкина. Следующая!

Рябцов. Что вам нужно?

Тетка. Нам, может, этот дездемонт и ни к чему, но раз положено — уважь. Мой зять — человек заслуженный...

Рябцов. Зять?.. Не подходит!

Тетка. Это кто ж тогда подходит? Валька-свистушка!.. Она только юбкой махать ловка, а мой зять с Доски почета...

Кучкина. Следующая!

Тетка. Вальке — дездемонт, а мой зять — мимо...

Рябцов. А ну вас всех! Стараешься, силы до последнего отдаешь... Тебя же разные подозрительные личности пятнают!..

Тетка. Это мы-то подозрительные? Да мой зять...

Рябцов. Ну, чего тебе? Ну, чего?!.. Дездемоной быть хочешь? Будь! Мне-то что — будь! Я лучших отбирал, старался — цвет и красу Куликов, а меня за это перед ними же! Садись в очередь! Садись! Только оставь в покое.

Тетка. Вот и спасибо. А то как же — всем можно, а нам нельзя. Мой зять не другим чета. Поискать такого... *(Присаживается в очередь.)* Нам почет важен. Внимание. А на дездемонт мы еще поглядим...

Кучкина. Следующая!

Входит Свищев с Капой.

Свищев. Вы предали меня, Капитолина Васильевна! Удар в спину от друга.

Капа. Чересчур даже несправедливо так думать, Евгений Евгеньевич.

Свищев. И не меня, не меня предали — нет! Свободу в искусстве. Святую свободу, Капитолина Васильевна!

Капа. Еще более — чересчур. Невыносимо даже слушать.

Свищев. Все считают, что Свищев так себе, мелкий зав весьма скромного отделения трудсберкассы, рублишки чужие мусолит. Нет, Свищев — свободный артист, если хотите, в нем сидит гордая бессмертная душа, непостижимая для грубых дилетантов вроде Елтухова. Что мне Елтухов! Я ему даже по работе не подчинен. Попробуй он мне что-нибудь указать, как указывает другим, отвечу: «Сберкасса — нейтральное учреждение, не извольте здесь распоряжаться!» Даже по работе, а в искусстве-то и подавно — не смей диктовать Свищеву. Свищев свободен!

Капа. Но ведь это правда, что мы с вами затянули «Канитель», очень даже чересчур... Пять лет без передыху ставили.

Свищев. Пять лет... Что такое пять лет по сравнению с вечностью? Истинное искусство — вечно! Мы с вами вечности добивались, Капитолина Васильевна. Мы с вами в тонкости проникали, оттачивали. Великий французский писатель Флобер по пять лет сидел над одной только фразой, оттачивал, оттачивал — и то не успевал отточить. Что такое пять лет для бессмертия!

Капа. Но всем же надоело, уже никто не смеется, уже все наизусть знают. Почему вам-то не надоело — «Канитель» да «Канитель»!.. О господи!

Кучкина. Следующая!..

Свищев. Вот оно! Очередь! Ничтожества толпятся у дверей, ничтожества! Вам даже отказано быть в этой очереди.

Капа. Как это отказано? Я вне всякой очереди роль получила у Антона Каллистратовича. Сами знаете — я в «Отелло» Эмилию играть буду, и вы чересчур недовольны даже этим.

Свищев. Как вас легко купить! Уже не Тонька Пьяный, уже Антон Каллистратович! А почему? Кость бросил вам! Кость — играй Эмилию, о Дездемоне не мечтай.

Капа. Вам ничего не предложили, вот вы и завидуете.

Свищев. Завидую?.. Кому?.. Вам?.. Тоньке Пьяному?.. Этой фиктивной единице! Нулю в общей сумме! Я, который всегда старался глядеть в глубь, в вечность, пять лет оттачивал, как великий Флобер бессмертную фразу...

Капа. Еще пять лет, и от нашей «Канители» зрители мертвым сном засыпать станут, вечным... Добьетесь вечности.

Свищев. Чехову готов отдать всю жизнь без остатка.

Капа. Тогда и Чехов — в вечность, уморите вместе с куликовцами. Такого веселого писателя... Скучный же вы, Евгений Евгеньевич!

Свищев. Я — скучный?.. Вам, Капитолина Васильевна, свобода скучна. У вас, Капитолина Васильевна, позвольте заметить,— рабская натура. Вам в искусстве хозяина подавай. Свищев не таков. Извините, он сам себе хозяин. Он собирает для бессмертия по алмазному зернышку, крупица по крупице, мелкой копеечкой, памятуя, что копейка — рубль бережет.

Кучкина. Следующая!..

Свищев. Ищете веселья, Капитолина Васильевна, а не серьезного искусства. Идите, Капитолина Васильевна,

к скоморохам, к Тоньке Пьяному. Свищев пойдет своей дорогой. *(Демонстративно отворачивается от Капы.)*

Капа. И пойду, пойду... Какой вы!..

Уходит.

Свищев. Своей дорогой! Только своей!.. *(Видит Рябцова, все еще забыто сидящего за столом на председательском месте. Подходит к нему.)* Вот ты, Рябцов, рядовой зритель, скажи, положа руку на сердце, что тебе дороже — скоморошество или серьезное, солидное искусство?

Рябцов. Да пропади оно пропадом.

Свищев. Кто-о — пропади?!

Рябцов. Искусство это...

Свищев. Как понять сие чудовищное заявление?

Рябцов. Связался с ним. Из кожи лез, старался, организовывал самых красивых Дездемон... И меня же перед этими Дездемонами оплевали! А Дездемоны завтра на хвостах по всем Куликам разнесут: хи-хи да ха-ха! Тонька Рябцова отделал... Мне свой авторитет важнее этого, будь оно... искусства.

Свищев. Путаешь, Рябцов! Тонька Пьяный к искусству — никакого отношения!..

Рябцов. Ишь ты, никакого... Его, а не тебя заворачивать этим самым — провались оно! — поставили.

Свищев. Ошибка. Роковая для Куликов!

Рябцов. Роковая... А кто поставил-то знаешь?

Свищев. Не пугай, Рябцов. Свищев не из робкого десятка. Ему самому сказать в глаза готов — ошибка!

Рябцов. Поди и скажи, он послушает.

Кучкина. Сле-дующая!.. А не прошедших в Дездемоны просим освободить помещение. Нечего тут зря толкаться.

Свищев. Этот позор! Эта комедия с Дездемонами! Поглядите *(указывает на тетку с авоськами)*, и эта в Дездемоны метит. Профанация! Шекспир бы перевернулся в гробу!

Рябцов. Эта — не в счет, эта — самотек. Я организовал Дездемон — высший сорт.

Свищев. Почему — не в счет. Очень даже подходит к Отелло. Два сапога — пара!

Рябцов. Не вечно же ему в Отеллах числиться. Рано или поздно слетит, тогда посчитаемся. Рябцов все помнит, Рябцов не прощает... Высмеять... При Дездемонах, которых я лично организовал. Опозорить на все Кулики!

Свищев. Помнить, не прощать — порочная бездеятельность. Не лучше ли открыть всем, что есть истина? Вывести из заблуждения! В первую очередь Ивана Фомича. Искусство в опасности!

Рябцов. Валяй открывай, а меня не проси. Рябцов все помнит, Рябцов не прощает, Рябцов ждать умеет!

Кучкина. Сле-е... *(Тетке с авоськами, лезущей в дверь.)* Вам куда, гражданка?

Тетка. Разрешено, разрешено — и нечего... Не без очереди, как и все, так и мы. Небось не хуже других...

Исчезает за дверью. Кучкина тупо смотрит вслед, машет рукой, с расстроенным лицом усталой походкой идет к столу.

Кучкина *(в отчаянье)*. Что же это?.. А?.. Он нас без ножа режет!

Рябцов. Чего еще?..

Кучкина. Что он из себя корчит?.. Отелло!..

Свищев. Скоморох выкидывает новое коленце?.. Поздравляю вас, Анна Максимовна, поздравляю!

Кучкина. Не смейтесь, тоже хороши — что вам стоило тогда на Отелло согласиться. Покой был бы... А теперь без ножа. Всех забраковал. Как есть — всех! Ни одной Дездемоны не выбрал.

Рябцов. Что-о?!

Кучкина. А вот — то. Ни одной...

Рябцов. Продукция — первый сорт, и ни одной?!

Кучкина. И чего он нос воротит? Лучших девиц — бери, не хочу. Сам бы на себя оглянулся. Смотреть же не на что, а кочевряжится.

Рябцов. Ни одной?.. Да как же так? Такие кадры доставил...

Свищев. Все как и надлежит. Фиктивность налицо! Вы другого ждали?

Кучкина. Что мы Ивану Фомичу скажем — нет Дездемоны... Без ножа режет!

Свищев. Не избежать, придется глаза открыть Ивану Фомичу. Искусство в опасности!

Рябцов. Ни одной... Да я лично — всех оптом готов... У меня и то глаза разбежались, когда они в должном порядке расселись...

Свищев. Возмущаешься?.. Ты же, Рябцов, не сторонник решительных мер. Ждать готов. Жди хладнокровно. В опасности искусство!

Рябцов. От такого товару отвернуться... Ну, нет. Не стерплю! Бегу звонить Ивану Фомичу — нет моей

вины, организовал на совесть! Принимайте сами меры!.. Бегу!

Рябцов исчезает.

Кучкина. А как все было прежде ладно. Тихо да мирно. Ну, поспорим маленько, не без того... А так — покой-дорогой. «Канитель» ваша шла себе и шла... Свеженьким баловали. Вот Елизар подвернулся — силовой номер, пожалуйста, рельсы гнул...

Свищев. Я по-прежнему, Анна Максимовна, считаю — рельса не искусство! На том стою и не могу иначе!

Кучкина. Да полно вам теперь-то клепать. Очень даже искусство — всем нравилось и покой-дорогой. Елизар-то молчун, никаких хлопот с ним. Иногда ежели поворчит, когда вы его зацепите, а так — гнет свою рельсу, выручает...

Свищев. А пожалуй, творческая обстановка была. Не возразишь. Зато теперь весело.

Кучкина. Сколько лет этого Тоньку на порог нашего клуба не пускали, и вдруг — главный режиссер. Я к нему пришита — подчиняйся.

Свищев. Это еще не все — начало! Еще Тонька разгуляется.

Кучкина. Куда больше-то?

Свищев. Встаньте на его место, прикиньте, может он считать, что сотрудничать с вами — надежно, выгодно, удобно?..

Кучкина. И так изо всех сил подлаживаюсь.

Свищев. Да он-то подлаживаться не любит. Он не захочет, чтоб вы — над ним, чтоб руководство и славу делить пополам...

Кучкина. Что же он меня?..

Свищев. Сочувствием проникнется. Пожалеет. Будет беречь, как дорогую сердцу память... Ну, вот и он...

Тонька *(в дверях, выпроваживая тетку с авоськами)*. Не могу, воздушное создание! Не подходишь! Сто сорок пятый раз объясняю — нет! Нет и нет!

Тетка. У меня зять заслуженный, с Доски почета который год...

Тонька. И это уже слышал...

Тетка. Мне не дездемонт нужен, мне уважение подавай. Чем мы хуже других? У меня зять — самый передовой...

Тонька. Слышал: с Доски почета не слезает... Все слышал, красавица!

Тетка. Ты надо мной не смейся. Кра-са-вица! Я тебе, шпынь, в матери гожусь. Ты ко мне — с почетом, потому что у меня зять не тебе, шпыню, чета!

Тонька *(страшным голосом)*.

О милая, страшись!
Страшись клятвопреступничать: ведь ты
Лежишь теперь на ложе смерти!..

Тетка *(оторопело)*. Чтой?..

Тонька *(тесня тетку к выходу)*.

Ты ни сломить, ни изменить не в силах
Упорное решение мое!..
Так — ты умрешь!

Тетка *(бежит к выходу)*. А-а! Убивают!.. А-а, господи!.. *(За сценой.)* А-а! Батюшки! Спасите!..

Тонька *(отирает пот)*. Дездемона — старая перечница. Надо бы сразу на нее Шекспира выпустить... *(Подходит к столу, пьет воду из графина.)* Уф!.. Ну, вот и все. Занавес опущен... Дорогие мои соратники по святому искусству, вы меня удивляете.

Свищев *(постно)*. Чем же?

Тонька. Сумрачным выражением на высоком челе.

Кучкина. Еще бы, сами без ножа зарезали... Ни одной Дездемоны.

Тонька. Так радуйтесь! Ликуйте! Ни одной! Дездемона еще не родилась в Куликах! Вы оба спасены!

Кучкина. С вас небось что с гуся вода. Иван-то Фомич на мне отыграется.

Тонька. Перетерпите, как-нибудь перетерпите, Анна Максимовна. Зато вернется все, что утрачено — доброе старое время. Снова начнете мучать куликовцев «Канителью», снова Свищев окажется первым актером славного поселка Кулики. «Канитель» и танцы, танцульки и «Канитель», ну еще для разнообразия силовые номера с рельсой, доступной пониманию любого и каждого жителя Куликов. Ликуйте же! Нет Дездемоны!

Кучкина. Приказано было отыскать ее.

Тонька. Беру грех на себя — не нашел, чего не существует в куликовской природе... Тонька Лаптев провалился до премьеры. Тонька Лаптев никогда не станет Отелло, превратится опять в Тоньку Пьяного. А какое волнующее событие он пережил — царский смотр невест!

Ради Тоньки собрались все красавицы Куликов — выбирай! И что бы стоило выбрать, что стоило, Тонька, покривить душой, указать на первую попавшуюся — вот Дездемона! Состряпать с этой Дездемоной что-нибудь... Сканителить на Шекспире, как канителили Чехова...

Кучкина. А то плохо, что ли? Без фокусов — покойдорогой.

Тонька. Что-нибудь, которое умилило бы доверчивых куликовцев. И тогда тебе, Тонька, широкая дорога, мягко устланная самим Иваном Фомичем Елтуховым...

Кучкина. Дорогу тебе?.. Зачем попу гармонь...

Тонька. Что ж ты, Тонька, упустил момент, другого-то в жизни не случится. Что ж ты не плачешь, выживший из ума дурак? Заливайся горючими слезами под ликование соратников по святому искусству... Да будет вам известно, дорогие соратники, Тонька Пьяный привык к провалам. Вся его жизнь — сплошной провал. Нет слез! И совесть чиста. Не покривил душой перед Шекспиром... Ликуйте, что ж вы!

Свищев *(с презрением)*. Вы трепач, Лаптев. Пустой трепач, ни на что не способный.

Тонька. Может быть, может быть. Кто похвалится — вижу себя без обману.

Свищев. Вы теперь видны каждому невооруженным взглядом. Уже никого не обманете своей глупой болтовней. Явный подлог!..

Кучкина. Я всегда говорила, что вы... того... Без винтиков.

Тонька. Ага! Возликовали! Дошло наконец-то — ваша взяла! Признаю — ваша. Дездемона еще не родилась в Куликах... Отелло умер. Нет Отелло без Дездемоны!

Кучкина. Что с вами говорить — без винтиков...

Появляется Надя, смущенно останавливается у входа. Она не броска, весьма скромна по виду, никак не красавица.

Кучкина *(Наде)*. Что еще?..

Надя. Я узнала, что вы... Что здесь при клубе собираются ставить «Отелло».

Свищев. Еще одна Дездемона. А вы слезливо сетуете, Отелло.

Кучкина. Закрыто! Закрыто! Смотр Дездемон кончен!

Тонька. Еще одна. Пожалуй, хватит.

Надя. Может быть, попробуете...

Кучкина. Кончено. И нечего тут...

Тонька. Не родилась еще в Куликах. Доказательств достаточно, все помещение только что было забито этими доказательствами. Милая девушка, она права: закрыто на учет, на неопределенное время.

Надя. Я думала, что вам нужно... Извините тогда... *(Хочет уйти.)*

Из-за спины Нади появляется Жорка Шармак, одет в короткое распахнутое полупальто, свисает яркое кашне, галстук выпирает толстым узлом под подбородком, широкие брюки опущены на сдвинутые гармошкой голенища хромовых сапог, на голове — кепка-«бабочка», едва прикрывающая макушку.

Жорка *(Наде)*. Вы просите? У кого?.. У этих неинтеллигентных людей?

Надя. Егор, уходи!

Жорка. Надежда Сергеевна, по любому вашему слову — готов. Вы же знаете...

Надя. Уходи! Прошу!

Жорка. Надежда Сергеевна, без меня эти грубые люди не поймут вашу светлую душу. Я открою им глаза. *(Поворачивается к Кучкиной.)* Мадам, вы, извините, меня хорошо знаете...

Кучкина. Жорка, я сейчас вызову милицию. Я Сивоусу позвоню!

Жорка. Вы слышали, Надежда Сергеевна? Меня пугают! Мадам, вы должны знать, что Сивоусу выгодней не замечать Жорки Шармака. Нет такого в его поле зрения, не имеется в наличии. Иначе ба-аль-шие и неприятные хлопоты. Сивоус существует вот для таких *(указывает на Тоньку)* безобидных барашков, которые от первой же стопки ужасно громко блеют — стихами и просто так, без стихов. А Жорка шуметь не любит, Жорка действует!

Надя. Не смей!

Жорка *(сразу успокаиваясь, почти ласково)*. «Спасибо» надо сказать, надо быть паинькой. *(Кучкиной.)* Мадам, вы раздумали кого-то звать и куда-то звонить? Поговорим, мадам... Надежда Сергеевна, вы только не волнуйтесь, мы спокойно, спокойно, как приличные люди... Мадам, я из-за дверей слышал, вы сказали: закрыто! Смотр этих Дездемон... Откройте! Прошу вас.

Кучкина. Жорка, я буду жаловаться Елтухову.

Жорка. Надежда Сергеевна, меня опять пугают. Но снесу, снесу, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы, как

приличные люди... Елтухов для вас, мадам, страшен, а что он может сделать с Жоркой? Снимет с работы?.. А Жорка Шармак и так делает всем одолжение, что в данный момент работает рядовым шофером при леспромхозе. Он может и не работать. Но Кулики оч-чень не любят, когда у Жорки появляется свободное время. Тот же Елтухов предпочитает занять чем-нибудь Жорку. Но уступаю, уступаю, мадам,— жалуйтесь Елтухову, только поскорей, время не терпит... Вы опять раздумали?.. Тогда вернемся к делу. Сказали: закрыто? Откройте! Жорка вас просит.

Кучкина. Если он согласится *(указывает на Тоньку)*, мне-то что...

Жорка. Он согласится. Уж он-то хорошо знает, кто такой Жорка Шармак.

Тонька. Что верно, то верно — знаю. Но ведь и ты меня — тоже.

Жорка *(Тоньке)*. Почему я до сих пор тебя не покалечил?

Тонька. И, право,— почему? Ведь это так тебе просто?

Жорка. Ник-како-го труда.

Надя. Жора! Не смей!

Тонька. Не беспокойтесь — не посмеет... И не в первый раз.

Жорка. Потому я тебя не трогаю, что ты — божья коровка, ты — безрогий козел. Боднуть не можешь. Зачем обижать?

Тонька. А ведь врешь. Ты как раз обижаешь только тех, кто боднуть не может... Или я ошибся, Жорка?

Жорка. Тонька, не будем. Мы договоримся, Тонька... Лучше погляди, Тонька, на эту девушку... Надежда Сергеевна, не смущайтесь, пусть поглядит на вас... Таких больше нет на свете. Кулики боятся Жорки, а Жорка робеет перед ней. И не стесняется... Надежда Сергеевна, не сердитесь, пусть знают.

Надя. С меня, кажется, хватит. Я пошла...

Жорка. Но вы же хотели?..

Надя. После хвастливой комедии, которую ты ломаешь... Хватит! *(Поворачивается, чтобы уйти.)*

Жорка *(хватает за грудь Тоньку)*. Убью... если уйдет! Тебя убью!

Надя *(оборачиваясь)*. А ну!..

Жорка. Надежда Сергеевна! Должны вас заметить, должны узнать! Все радоваться на вас должны! *(Огляды-*

вается в бешенстве кругом.) Вы все! Что вы стоите?.. Пятки ее не стоите! И я не стою!.. *(Тоньке.)* И ты!.. Не думай, что ты очень хорош. Есть люди на свете получше!.. *(Снова хватает Тоньку.)* Убью, если уйдет!

Надя. Отпусти!

Тонька. Надо слушаться, если просят хорошие люди.

Жорка *(сникнув)*. Отпускаю.

Тонька *(оправившись)*. А теперь проваливай.

Жорка. Тонька! Видит бог, я терпелив!

Тонька. Проваливай! Проваливай! Мешать будешь.

Жорка. Чему?

Тонька. Репетиции. Куда ни шло, еще одна Дездемона. Считаю смотр Дездемон вновь открытым... *(Жорке.)* Но если не уйдешь — закрою. Мне недолго.

Жорка *(переминаясь)*. Ладно. Но смотри, Тонька...

Тонька. Не пугай и за дверью не стой.

Жорка. Уйду, Тонька, уйду... Но смотри, ежели не понравится.

Тонька. Посмотрим. Больше дюжины просмотрел. Еще одна...

Жорка. Она понравится, Тонька. Она понравится... Ладно, ладно, ша!

Уходит. Неловкое молчание. Все разглядывают Надю.

Надя. Мне, наверное, нужно извиниться?

Кучкина. Да уж, нечего сказать, с хорошей компанией связалась.

Надя. Знаю, что не хорош, но пусть хоть не пресный. А кругом — преснота.

Свищев. С позволения сказать: селедочки хотца. Жорка Шармак, слов нет, солененький.

Тонька *(Наде)*. Это великий комик села Кулики. А потому вы не должны удивляться — нет более желчных людей в жизни, чем комики на сцене.

Свищев. А это, как вы уже догадались, сам Отелло, ищущий свою Дездемону... Дездемона с веской рекомендацией Жорки Шармака.

Тонька. Ну, если Иван Фомич мне рекомендовал не менее дюжины Дездемон, то Жорке не грех порекомендовать и одну. Елтухов и Жорка — самые влиятельные персоны в поселке Кулики.

Кучкина. Кого с кем сравниваете! Стоит запомнить.

Тонька. И донести, разумеется.

Надя. А я вижу дружную творческую обстановку.

Тонька. Явление прогресса.

Надя. Разве?

Тонька. В Куликах появились две разных школы, два направления в искусстве. До недавнего времени и об одном мечтать не смели.

Кучкина *(вынимая из кармана тетрадь)*. Раз уж вы на Дездемону, то дайте запишу, чтоб по всей форме... фамилия?

Надя. Калинушкина... Надежда Сергеевна.

Кучкина. Место работы?

Надя. Учительница...

Кучкина. Что-то я вас ни разу не видела. А уж я-то всех знаю в Куликах.

Надя. А я не из Куликов, из деревни Прокошиха, десять километров отсюда. Вот уже два года там...

Кучкина. Образование?

Надя. Окончила областной пединститут, играла в институтской самодеятельности. Что вам еще?..

Кучкина *(захлопывая тетрадь)*. Образованная, а с Жоркой связалась. Хороша парочка — свинья да ярочка.

Надя. Может, он со мной связался, не я с ним... Что-то не очень дружелюбно... Давайте на этой записи и кончим. Я лучше уйду...

Тонька. Э-э, нет! Именем Ивана Фомича Елтухова приказываю остаться! А вдруг да... Вы, может, и Шекспира играли?.. Вдруг да...

Надя. Очень хотелось, но не случалось.

Тонька. Слышу родственное. Тоже очень хотел и тоже не случалось.

Надя. Часто играла веселые пустячки. Из серьезного — только Чехова.

Тонька. Не «Канитель» ли?.. Мне везет.

Свищев. Напрасное признание. Здесь Чехов не в почете, Шекспир забил его намертво.

Надя. Нет, в «Трех сестрах» Ирину. *(Свищеву.)* А вас я видела в «Канители». Тогда еще подумала про себя, что вам подошла бы роль барона Тузенбаха.

Свищев. Может быть... Не пробовал... А чем именно я похожу на этого барона?

Надя. Внешне. Некрасивый, но, кажется, умеющий постоять за себя.

Свищев. Некрасивый... Хуже, когда Тузенбахи в юбке метят в Дездемоны.

Надя. Какой вы обидчивый.

Тонька. А из Шекспира вы что-нибудь прочитать можете на память?

Надя. Могу. Даже из «Отелло»...

Тонька. Тонька, твои шансы подымаются! А не помните ли коронную сцену удушения?

Надя. Может, где-то собьюсь...

Тонька *(загробным голосом)*. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?»

Надя. Да, милый мой.

Тонька. В яблочко... *(Играет.)*

Когда ты за собой
Какой-нибудь припомнить можешь грех,
Молись скорей.

Надя. Что это значит, милый?

Тонька *(задыхаясь)*.

Ну-ну, молись, да только покороче.
Я похожу покамест. Не хочу я
Тебя убить, пока ты к смерти духом
Не приготовилась — нет. Боже сохрани!
Твоей души я убивать не стану.

Надя. Ты говоришь о смерти?..

Тонька *(возбужденно бегая по сцене)*. Странно! Странно! Что-то не так... Что-то вы, Надежда Сергеевна, очень просто... «Ты говоришь о смерти» — с милой волнительностью. А где страх? Где ужас? Я же ужасный мавр! Я же ваш убийца! Содрогнитесь!

Надя. Ужасаться?.. Нет, не могу!

Кучкина. Не можете — значит, не подходите. И толковать нечего. След... Ах, какая — следующая? И я с вами свихнулась.

Надя *(Тоньке)*. Не могу поверить, слишком чудовищно — вы мой убийца! Я люблю вас! Люблю! «Ты говоришь о смерти?» Да что же это такое? Дикость! Кошмар, который меня преследует в последние дни. Не верю! Не могу еще поверить!

Тонька *(ошеломленно)*. Вот так так... Пожалуй... Просто и страшно... Нет! Нет! Дальше-то я говорю: «Да, о смерти!» И вы уже верите, вы господа бога вспоминаете: «О господи, спаси меня!»

Надя. Тут верю.

Тонька. Через одну фразу? Так быстро?

Надя. А вы произнесите эту фразу, чтоб я поверила.

Тонька *(рычит).* Да, о смерти!

Надя. Нет. Не верю. Прокричали, сделали страшные глаза, так только детей пугают: «У-у, бука придет».

Тонька. Что ж вы от меня хотите?

Надя. Боли, любви, ненависти в этих трех словах. И вот тогда-то я пойму, тогда мне откроется пропасть — безумец, решился! И тогда: «О господи, прости меня!»

Тонька *(в изнеможении садится на стул).* У меня голова кругом... Я всю жизнь так декламировал.

Надя. А вы без декламации. Просто скажите. Но перед этим полюбите и возненавидьте меня.

Свищев. Хе-хе, а как Жорка Шармак к этому отнесется?

Тонька *(вскидываясь).* Заткнись! Или я тебя вышибу в шею!.. *(Свищев пытается с достоинством возразить, но Тонька шагает на него.)* Только слово!.. Ну!

Свищев съеживается. Пауза.

Надя. Вот можете же вы сказать, чтоб поверили.

Тонька. Откуда вы свалились?

Надя. Опять анкета?

Тонька. Голова кругом... Меня еще никто никогда не учил...

Надя. Простите. Буду молчать. Но мне разрешите играть так, как я чувствую. Иначе — уйду.

Тонька. Нет, не молчите! Нет, нет, учите! Тычьте носом самодовольного щенка, считавшего, что никто в мире не может лучше его лаять. Учите. Готов слушать... И давайте всерьез... *(Торопливо расставляет стулья.)* Вот ваше ложе — располагайтесь... У меня в руках меч, снятый со стены. Начнем с моих слов: «Ага, прелюбодейка...» Вы в это время плачете. Вы помните это место?..

Надя. Помню. *(Опускается на стулья, полулежа.)* Но дайте мне минуточку... *(Закрывает лицо руками. Долгая пауза. Тонька, весь подобравшись, напряженно ждет. Кучкина и Свищев притихли. Надя отнимает от лица руки.)* «О, горе...»

Тонька *(ахает).* Слезы!.. Глядите — настоящие!.. Откуда вы свалились?!

Надя.

О, горе! Он обманут клеветою!
Погибла я!

Тонька *(не совсем опомнившись, не очень убедительно).*

Ага, прелюбодейка!
В моих глазах о нем ты смеешь плакать!

Надя *(протягивая руки).* Не убивай, а прогони меня!

Входят Елтухов и Рябцов, останавливаются, переглядываются. Рябцов делает попытку что-то произнести. Елтухов показывает ему кулак. Следят за игрой.

Тонька. Смерть, смерть блуднице!
Надя. Убей хоть завтра,
Но эту ночь дай мне пожить!
Тонька. Напрасно!
Надя. Хоть полчаса.
Тонька. Нет, нет! Зачем отсрочка?
Надя. Дай мне прочесть молитву.
Тонька. Поздно! Поздно! *(Набрасывается на Надю, душит ее. Елтухов огорченно крякает.)*

Надя. Вы и на самом деле меня задушите.

Тонька устало опускается прямо на пол. Общее молчание.

Елтухов *(всем телом поворачиваясь к Рябцову).* Ты что мутишь воду? Ты что это поклепы наводишь?.. Меня на скандал толкать! А тут... Тут Дездемона гибнет!.. Отелло своими руками Дездемону!.. Чувст-вуй!

Рябцов. Чувствую...

Елтухов. Плохо чувствуешь! Слезами умываться надо! Горючими! Потому что — ис-кус-ство! А ты ко мне с поклепом — Дездемоны нет, Отелло, мол, сукин сын, кругом виноват!..

Тонька *(подымаясь, слабым голосом).* Есть Дездемона... Родилась... Ты не спишь, Тонька? Тебе не мерещится?.. Эй, кто тут, стукните меня покрепче, чтоб проснулся...

Елтухов. Не метод, не метод. Без распускания рук могу лично удостоверить — никак не сон. Наяву.

Тонька *(потрясая руками).* Кулики! Шекспир идет к нам!

Елтухов. Вот именно. Никаких сомнений. *(Рябцову.)* А ты — маловер! Скептик! Сомнения сеешь! Панику!

Кучкина. Именно. Именно...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

И опять та же сцена, но теперь уже тесовый щит затянут материей, исчезли плакаты, вместо них висит ковер — лебеди на фоне бордового заката. Посреди сцены обширная кровать с полураздвинутым пологом. К ней прислонен старинный меч в потрепанных ножнах. У изголовья ложа накрытая тяжелой тканью тумбочка. На ней незажженная свеча в медном подсвечнике. В углу сцены большое зеркало. Полусумрак. Пустота.

Входят Тонька и Надя.

Тонька. Ложе Дездемоны уже готово. Как я вас задушу на этом ложе! Как задушу!.. Сейчас принесут ковры, Елтухов приказал забрать все ковры в Куликах, из своего кабинета — тоже... Ковры застелют, меч повесят, свечу зажгут и... начнется... Мне страшно, Наденька. Дрожу! Артист Тонька никогда не выходил на сцену.

Надя. Все будет отлично. На последних репетициях вы вырвались, я осталась позади.

Тонька. Ну нет. Я все равно подготовишка рядом с вами. Без вас я завывал бы по-волчьи свои монологи, как выл их всю жизнь перед нетрезвыми куликовскими слушателями.

Надя. Кукушка хвалит петуха — не будем! Как вы, так и я — кустари-самоучки. В мире игра Отелло и Дездемоны давно стала наукой. А о ней мы даже и понаслышке не знаем.

Тонька. Верую в святой дух, в божью искру.

Надя. Я в желание. Кажется, этого у нас не отымешь.

Тонька *(берет в руки меч, читает)*.

Но не хочу пролить я эту кровь;
Я не хочу царапать эту кожу,
Белее снега... глаже изваяний...

Как я вас задушу, Наденька! Содрогнутся Кулики, застонут от жалости... А может, не содрогнутся, не застонут. Может, подымется жеребячий гогот, когда я поцелую вас в постели.

О, сладкое дыханье! Правосудье
Само бы меч сломало пред тобой...

Этот меч еще никому не удавалось выдернуть из ножен. Мирное оружие. *(Откладывает меч.)* Жеребячий гогот... Мне страшно.

Надя. Как вы плохо думаете о куликовцах.

Тонька. Знаю их. Всю жизнь в Куликах. Знаю, жалею... боюсь.

Надя. Тогда не играйте. Бегите прочь!

Тонька. Бежать, когда вот-вот исполнится!.. Палкой не заставишь, а этим мечом и подавно.

Надя. Нельзя же играть, не любя своего зрителя. Душу не бросишь,— на подавись! — как собаке кусок мяса.

Тонька. Не любя?.. А разве я это говорил?

Надя. Плохо думаете, значит, и не любите.

Тонька. Мать может плохо думать о непутевом сыне и любить его.

Надя. Вы, похоже, не умрете от скромности. Материнское чувство к Куликам! Сам Иван Фомич Елтухов думает о себе куда скромнее — он не мать, даже не отец, в лучшем случае опекун куликовцев.

Тонька. Каждому свое. Елтухову дозволено куликовцев опекать, Тоньке страдать за них. Что он бесплодно и делал многие годы. Страдал оттого, что они уткнулись в заботы о пироге, пытался напомнить, что свет клином на красном пироге не сошелся, есть что-то иное...

Народный слух бы поразил, преступных
В безумство бы поверг, невинных в ужас...

Поразил бы, да кишка тонка, бесплодно страдал, был смешон и жалок. Нечем гордиться до сих пор.

Надя. До сих пор?.. А теперь — преступных в безумство, невинных в ужас? Ну, страшись, Кулики...

Тонька. А что вас, язвительная Дездемона, толкает на куликовскую сцену? Желание показать себя в ночной рубашке до пят, услышать аплодисменты тонких ценителей искусства?..

Надя. Уж, во всяком случае, не рассчитываю, что от моей игры преступные обезумеют, невинные ужаснутся.

Тонька. Но что-то заставило вас явиться сюда, ездить чуть ли не каждый день за десять километров из Прокошихи на репетиции. Что? Какая цель?

Надя. Не знаю. Может, желание доставить людям удовольствие.

Тонька. Удовольствие? Развлечь?

Надя. А разве это не счастье — доставлять людям удовольствие?

Тонька. Но куликовцам доставить удовольствие может и Елизар со своей рельсой. С бо́льшим успехом, чем мы, Наденька. С бо́льшим успехом! Елизар им куда понятнее, чем венецианская примадонна Дездемона.

Надя. Начинаю и я бояться... За вас... Замахиваетесь на невозможное и не получится. Срыв, разочарование, обратно в шкуру Тоньки Пьяного. Поймите же! Не обезумеют преступники, не ужаснутся невинные от нашей доморощенной игры! Напрасно ждать!

Тонька. А все-таки...

Надя. А все-таки она вертится! Одержимый.

Тонька. Все-таки что-то должно повернуться в куликовских душах. Иначе зачем Шекспир, пусть будет Елизар с рельсой.

Надя. Перестанут пирог ставить выше Шекспира, просветлеют, поумнеют? Глупец!

Тонька. Вдруг да будут чуть-чуть иначе радоваться, иначе огорчаться.

Надя. Да кто может людям указать — так радуйтесь, а не иначе? Радуются, огорчаются, сострадают не по приказу!

Тонька. В прошлом году, Наденька, здесь в Куликах некий Мишка Онучин, в жизни не читавший Шекспира, разыграл как по нотам «Отелло». Нас обскакал. И Яго был, не один — целая куча, в лице куликовских баб. Они-то и распустили слух, что жена Мишки Онучина спуталась с одним экспедитором. И доверчивый куликовский мавр Онучин... нет, он не убил свою Дездемону, до этого не дошло, но в подвыпившем виде, при всем честном народе, скандальнейше избил ее.

Надя. К чему вы это?..

Тонька. К тому, чтоб сообщить: куликовцам это доставило огромную радость. Как радовались, с каким восторгом рассказывали друг другу! Хороша радость, Наденька? Нет, гнуснейшая! Вот вам пример, что в Куликах не всегда умеют радоваться тому, чему нужно.

Надя. И вы рассчитываете?..

Тонька. А вы, Наденька?.. Неужели вы не рассчитываете, что над нашим обезумевшим Отелло станут не ржать с буйной жеребячьей радостью, как ржали над Мишкой Онучиным, а сочувствовать ему. Вы ведь рассчитываете, что куликовец испытает человеческое сочувствие, забудет о жеребячьей сущности. А если испытает в зале, то и в жизни, возможно... Возможно, Наденька, не наверняка! Но ради этого «возможно» стоит рискнуть.

Пауза.

Надя. Так вот оно что... Рассчитываю, верно... А это лучше, чем повергать в безумство и в ужас.

Тонька. Все-таки вертится, способна вертеться...

Надя. Теперь понимаю, отчего вам страшно.

Тонька. Да, нас могут встретить буйным ржанием. Все возможно... Холодею и не скрываю этого.

Пауза.

Надя. Зачем вы мне это сказали?..

Тонька. Что ж изменилось?

Надя. Многое... Как было просто, когда не знала. Выйду — сыграю, примут — рада, не примут — что ж... Просто. Теперь буду думать и обмирать. Сыграю ли? Справлюсь ли?..

Тонька *(берет Надю за руку)*. Наденька, мы куликовская самодеятельность, мы доморощенные, но хотим-то мы настоящего, не рельсы. Разве не так?

Надя. Слишком многого хотим. Страшно.

Тонька. Если уж Елизар со своей рельсой рискует сухожилия растянуть или пуп надорвать, то настоящее-то, наверное, опасней. Выйдем через два часа на эту сцену... На сцену? Нет, на минное поле! Пройдем или взорвемся? Или аплодисменты обновленных куликовцев, или похоронный по Шекспиру жеребячий гогот. Рискуем... Или не хотите?

Надя. Хочу. И боюсь теперь...

Тонька. Только идиот без страха входит на минное поле.

Надя. Ради возможного...

Тонька. Не наверняка.

Надя. Хочу!

Тонька.

Аминь, благие силы неба! Мне словами
Не высказать блаженства своего.
Оно вот здесь остановилось!..

(Патетически бьет себя в грудь.)

Надя. Да ну вас! Все кончаете смехом да издевочкой.

Тонька. Я же скоморох, я же Тонька Пьяный.

Надя. Ну, мне пора... Через час вернусь, чтоб переодеться, загримироваться и... на минное поле во всеоружии.

Тонька. А мне так бы хотелось это время побыть с вами. Я бы распускал перед вами павлиний хвост, хвастался бы своим мужеством, считал себя умным и проницательным... Герой-любовник!

Надя. В парикмахерскую надо забежать. Не может же Дездемона явиться с такими вот куцыми косичками. И обещали достать кружева, а то уж очень простовата ночная сорочка знатной синьоры. Маме хочу телеграмму послать. Когда у меня хорошо на душе, всегда пишу маме, хотя бы два слова... И еще... Еще, что скрывать, мне лучше не торчать здесь.

Тонька. Почему?

Надя. Здесь меня найдет Жорка. В последнее время бесится. Еще скандал устроит перед самым-то спектаклем. А так, пусть-ка отыщет.

Тонька. Давно не решался спросить...

Надя. Почему — с ним?

Тонька. Что общее?.. Вы и самый оголтелый в Куликах человек, дважды сидевший в тюрьме за поножовщину?

Надя. Вы же представляете, что такое деревня Прокошиха?..

Тонька. Зимой волки под окнами воют в сугробах.

Надя. Волки не волки, а ветер воет, и кажется, что весь остальной мир с городами, с огнями, с театрами — дальше звезд, на других планетах. Вот где вспоминаешь Ирину из «Трех сестер». У Ирины — беда: «В Москву! В Москву!» В своем городишке, видишь ли, задыхается. А у нее добрые сестры рядом, гости каждый день, и Тузенбах в нее влюблен, милый, образованный, руку, сердце, состояние предлагает. Как бы эта Ирина запела в Прокошихе? Там на всю деревню всего один жених — Венька Рюхин, мой Тузенбах. По прокошинским взглядам — жених что надо: механизатор, большие трудодни огребает, не пьет, смирный. Ох, какой он смирный! Пень пнем. Может целый день сидеть, моргать рыжими ресницами и молчать. Сама станешь деревянной.

Тонька. По-онятно.

Надя. И уж охватывало — не ухнуть ли замуж за этого Тузенбаха. Одеревенею, а что делать? Тут-то и прикатил Жорка. Знала, что он за птица, отвернулась, пугал — не испугалась...

Тонька. И стал почтителен...

Надя. Стал. Он хоть живой, от него люди в страхе шарахаются... Бугримова львов приручает. Деревянный Венька страшней куликовского льва. Спасибо Жорке, а теперь — мимо, как и Венька.

Тонька. Ну, так просто мимо Жорки не пройдешь. Хищник с мертвой хваткой.

Надя. Стряхну. Я теперь все могу. Даже на минное поле...

Тонька. Все равно берегитесь бешенства.

Надя. Не будем сейчас еще и об этом думать. Главное — встретила вас, очнулась, кончилось древесное состояние. Даже геройства хочется — на минное поле... Ну, побежала... Через час. *(Убегает.)*

Тонька *(стоит в задумчивости. Длительная пауза).*

Она меня за муки полюбила,
А я ее — за состраданье к ним.

Старый ты дурак! К тому же счастливый. Самый гнусный вид дураков. Взбредет же такое. Охмелел, кандидат в куликовские Отеллы.

Деловито входит Елтухов. Он празднично наряден — черный, с иголочки костюм, белоснежная сорочка, галстук, из нагрудного кармашка торчит уголок платочка, столь же белоснежного. Под локтем толстая книга.

Елтухов *(зябко поеживаясь).* Свежо. Зря внизу пальто снял. А ведь приказал натопить до полной нормы! *(С широким взмахом, не без театральности протягивает руку Тоньке.)* Ну! Антон Каллистратович!

Тонька *(в тон).* Ну! Иван Фомич!

Елтухов. Скоро пробьет решающий час. Дождались!

Тонька. Кому как пробьет — бабушка еще надвое гадала.

Елтухов. Без паники! Без паники! Как сказал Вильям Шекспир: «Натянут лук — не стой перед стрелою!»

Тонька. Ого! И вас Шекспир зашиб?

Елтухов *(гладит книгу).* Не расстаюсь. Грешен, даже у служебного времени по минутке отхватываю. В служебное — лучше идет, дома после обеда в сон клонит. Не все проникает сразу, но нутром чую — колосс! Гигант! Мировой масштаб!.. Так вот, Антон Каллистратович: «Натянут лук!» Пронзим куликовского зрителя.

Тонька. А если этот зритель придет пообедавши, и его тоже в сон клонить станет — увязнет наша стрела.

Елтухов. Примем меры, примем меры. И зрителя нельзя пускать на самотек. *(Гладит книгу.)* Просвещаюсь. «Отелло» от начала до конца проштудировал. Жаль, жаль, что кусочек даем...

Тонька. Содержание расскажем. Все будет понятно.

Елтухов. Содержание — что? Это вроде сухой сводки — мол, доносим, сработано и отгружено. Не впечатляет. В натуре совсем по-иному выглядит. В натуре бы «Отелло» от начала до конца, не сводочкой.

Тонька. Лиха беда — начало.

Елтухов. И это верно. Еще развернемся, с первой буковки до последней точки наглядно покажем. Тогда... *(Не без смущения, нагибаясь к Тоньке.)* Тогда, Антон Каллистратович, к тебе просьба... личная... Не отказать прошу — и мне роль.

Тонька. Да ну?

Елтухов. Не то чтоб большую, но серьезную... Это очень важно в глазах общественности: сам Елтухов, не спиной к искусству, в глубь влезает, не чужд. Прошу... дожа венецианского мне поручить. Дож — как-никак лицо руководящее, не зазорно.

Тонька. Тогда берегитесь. На репетициях буду с вас снимать кудрявую стружку. Сами меня назначили главным режиссером.

Елтухов. С глазу на глаз... Отчего же, здоровая критика сверху. Вы мне тогда прямое начальство — приму, критикуйте. Положено.

Тонька. Шекспир, ты, кажется, всерьез завоевываешь Кулики.

Елтухов. Вот ведь, Антон Каллистратович, казалось бы, чего не хватает Елтухову? Авторитета? Почета? Уважения? Первое лицо в Куликах, по области известен, планы по деловой древесине у него тютелька в тютельку укладываются. И живу с удобствами, и семья у меня дружная, дочки в институтах учатся. Чего не хватает, все вроде есть. И чувствовал — недоставало. Да!

Тонька. Да-а.

Елтухов. Зачем бы мне сейчас так рано являться. Нет нужды — все на нужные рельсы поставлено. А сижу в кабинете, и стул подо мной горит, сорваться хочется. Елизар этот пришел — ковер взять. Я ему — бери, друг, свертывай, а сам вскочил да рысью сюда...

Тонька. Иван Фомич, не продолжайте.

Елтухов. Это почему же? Или слова мои тебе не нравятся?

Тонька. Нравятся. Расплакаться боюсь. Так растрогали.

Елтухов *(подозрительно приглядываясь)*. Гм... Артисты. Пойми, что у них на уме. Вот и Дездемона

в прошлый раз меня в глаза назвала: «Наш капитан». Как это понять? Капитан — по армейским званиям чин не очень высокий, в моем подчинении и майоры в отставке работают.

Тонька. Под флагом Шекспира мы в плаванье отправились, без такого капитана давно бы на мель сели.

Елтухов. Ох, и хитры! Ох, за полушку покупаете Елтухова! Полюбил вас, артистов, вместе с Шекспиром... *(Гладит книгу.)* Да, я тут внимательно вчитался — Шекспир пишет: Дездемона женщина наилучшего фасону. А наша... Ростику маленького, фигурой не выдержана и по лицу, прошу прощения, конопушки. Не является ли это отступлением от Шекспира?

Тонька *(сурово)*. Но ведь вы видели ее, когда она играет?

Елтухов. Об игре худого слова не скажу...

Тонька. Видели ее в игре?

Елтухов. Не раз.

Тонька. И не заметили...

Елтухов. Чего именно?

Тонька. Что она в это время ростом становится выше, лицом белей, веснушки исчезают, как будто их никогда и не было.

Елтухов. А ведь верно... Ростом... Лицом... Верно! Разве такое бывает?

Тонька. У артистов бывает. Артист может стать прекрасным, может — уродливым, дряхлым стариком и молодым.

Елтухов. Где вас понять простым людям... И еще одно, Антон Каллистратович, щекотливое... Прячься не прячься, а не избежать выяснений... Простые-то люди по Куликам говорят...

Тонька. Не жду ничего хорошего...

Елтухов. Хорошего мало. Поговаривают, что того... Отелло и Дездемона под крышами Дома культуры шуры-муры промеж себя разводят. И уж совсем худо: мол, Елтухов эти шуры-муры покрывает.

Тонька. Та-ак. Первое облачко.

Елтухов. Я понимаю — артисты. Им без вольностей никак. У них с бытовым вопросом, сказывают, очень даже свободно.

Тонька. Первое грязное облачко! Как бы оно не затянуло все небо.

Елтухов. Люблю артистов, но чтоб мое честное имя тут шили — не потерплю! Я же у всех на примете, к тому

же женат, дочек взрослых имею. Так что если вы тут слишком сыр-бор раздуваете — берегитесь!

Тонька *(указывая на книгу в руках Елтухова)*. А читали ли вы «Отелло»? Сомневаюсь уже.

Елтухов. Какое имеет касательство?

Тонька. Прямое. Яго помните?

Елтухов. Прекрасно помню. Мерзавец, склочник, каких мало!

Тонька. Почему же мало? Сейчас! В наших Куликах!

Елтухов. Не преувеличивать, товарищ Лаптев, не преувеличивать.

Тонька. Сегодня они распускают слух, что Тонька Лаптев соблазняет девицу, и Елтухов этому верит. Завтра они распустят, что сам Елтухов связался с молоденькой...

Елтухов. Но-но! Какие основания?

Тонька. А тому Яго нужны были основания? Распустят без основания, и тогда доказывайте, товарищ Елтухов, что вы не верблюд. Области, Куликам, собственной жене...

Елтухов. Никто не поверит!

Тонька. Почему же? Вы-то поверили сейчас. Другие что, вас проницательней?

Елтухов. Мда-а...

Тонька. И не хмурьте грозное чело — не поможет.

Елтухов. Пусть-ка попробуют!

Тонька. А что вы сделаете? Рот шептунам заткнете? Приказ издадите — не сметь верить?

Елтухов. Мда-а...

Тонька. Хозяевами и над вами, и над Куликами окажутся — ложь и клевета.

Елтухов. Ах, черт! Уел!

Тонька. Первое ядовитое облачко! Грязные тучи навалятся на Кулики. Долго ли задохнуться в них новорожденному Шекспиру. Страшны Яго!

Елтухов. Не дозволим задохнуться! Слово Елтухова! Уж я придумаю, какие меры принять... *(Обнимая за плечи.)* Я ж ведь верил-то так, не очень... Если б очень, тогда и разговор иной, без обиняков.

Тонька. Верил, но не очень... Не возмущался, не негодовал, все-таки верил. Живите, куликовские Яго, распускайте на здоровье слухи...

Елтухов. Кончим, кончим! Принял критику! И не бойтесь, с Елтуховым не пропадете... Елтухов все может. Вот костюмы, говорили, не достанем. А какой костюм тебе соорудили — самый средневековый, в глазах ломота!

Кто его организовал? Ради этого средневекового я все Кулики заставил хороводы водить... Да, а как он на тебе сидит? Еще не видел. Ну-ка, пойдем наряжаться, оценим, так сказать, в натуре.

Уводит Тоньку за плечи.

Входит Костя, оглядывается, быстро идет к зеркалу, глядится в него, принимает позы — героические, печальные, угрожающие.

Костя. Н-ну, е-еще... М-м-методом Де-демосфена... *(Достает что-то из кармана, засовывает в рот, становится в позу, читает с набитым ртом.)*

Пыть или не пыть? От в чем опрос!
Шо плакаротнее: фносить ли кром и фтрелы
Проштуюшшей футьбы...

Появляется Елизар со свернутым ковром на плече, сбрасывает его на пол.

Елизар. Ух, черт!.. Гляди-ка, тяжесть приличная... Ты чем там давишься?

Костя. Нишем.

Елизар. Ну-у... Как ее?.. Дикция у тебя...

Костя *(освобождая рот)*. Тэ-тэ-тренируюсь!.. М-методом Де-де-демосфена!

Елизар. Чем?

Костя *(протягивая ладонь)*. В-вот.

Елизар. Шарикоподшипники.

Костя. Ка-камни... Д-де-демосфена!

Елизар. Какие камни? Не заливай. От коренных подшипников трактора «С-80».

Костя. Д-дем-мосфен... в-великий д-древний оратор... был за-за-за... Ах, черт!.. За-за...

Елизар. Ну, вроде тебя.

Костя *(кивает)*. И-из-излечился.

Елизар. Чем? Подшипниками?

Костя. Т-т-тогда по-одшипников не было! Ка-ка-камни в рот клал.

Елизар. Сказки.

Костя. С-ска-казки!.. А с-слушай! *(Читает ясно, с выражением, без запинки.)*

Быть или не быть? вот в чем вопрос!
Что благороднее: сносить ли гром и стрелы
Враждующей судьбы, или восстать
На море бед и кончить их борьбою?..

Н-ну, к-как?..

Е л и з а р. Гляди ты! Шарики помогли.

К о с т я. Д-демосфен!.. Ос-свою ди-дик-цию! А-артистом буду! С То-то-тонькой Га-амлета сыграем!

Е л и з а р *(сочувствующе)*. Ты шарики изо рта не вынимай, или стихами все время шпарь.

К о с т я. Быть или не быть? вот в чем вопрос!..

Е л и з а р. Видишь, как стихи, так все нормально. Подшипники, видать, только под стихи идут.

Пятясь задом, входит торжествующий Е л т у х о в.

Е л т у х о в. Внимание! Внимание!.. В сторонку, граждане, очистим место! *(С гостеприимно широким жестом, обращаясь в сторону кулис.)* Прошу!

Вельможной походкой вступает Т о н ь к а в пышной одежде Отелло.

Е л т у х о в. Что? Знай наших!

К о с т я. Ве-ве-великолепно!

Е л т у х о в. То-то! А чья заслуга?.. Еще не все. Мы еще физиономию измажем, так, чтоб с глянцем, как хороший сапог! Чтоб мавр!.. Без обману.

Тонька важно прохаживается.

Е л и з а р. Серьезный вид.

Е л т у х о в. Вот ежели б ему и твою фигуру... Вот ежели б ты не только рельсы гнуть мог...

Е л и з а р. Потренироваться мне, что ли... С шариками...

К о с т я. Лу-лучше с рельсой.

Голос из-за сцены: «Разрешите?»

Е л т у х о в. Ага, это Сивоус. Я его вызывал... *(Тоньке.)* Встань на виду, чтоб видели и проникались... Входи! Входи!

Входят С и в о у с и Р я б ц о в.

С и в о у с. Здравия желаю.

Е л т у х о в *(указывая на Тоньку)*. Видишь?

С и в о у с. Так точно. Давно знакомы.

Е л т у х о в. Не-ет, еще не знаком, еще узнаешь. Вникай! Шуточками занимаемся или серьезным делом?

С и в о у с. Так точно, серьезным.

Е л т у х о в *(Рябцову)*. А ты что скажешь?

Р я б ц о в. Вы, Иван Фомич, несерьезности не потерпите.

Елтухов. Не терпел и не потерплю!.. Но что, ежели некоторые несознательные граждане несерьезно отнесутся, наше начинание сорвут?

Сивоус. Никак недопустимо.

Елтухов. Именно! Вот и слушай, Сивоус: организуешь им полный успех! Чтоб зрители не просто глазели, а участвовали в культурном мероприятии — хлопали! Аплодисменты организуешь, овации! Ясно?

Сивоус. Слушаюсь.

Елтухов *(Рябцову).* А ты... Ты срочно организуешь — цветы...

Рябцов. Какие, Иван Фомич?

Елтухов. Не простые, Рябцов, не простые — цветы с энтузиастами... Как только артисты кончат играть, раскланиваться станут... *(Сивоусу.)* Под аплодисменты, конечно... Пусть энтузиасты заранее запасенные цветы на сцену кидают. Ясно?..

Рябцов. Будет сделано, Иван Фомич.

Елтухов. Да смотри у меня, чтоб тяжелых предметов в цветы не совали. Кому-нибудь в дурную голову придет старый гаечный ключ в цветочки сунуть, чтоб цветочки лучше летели... Эту рационализацию — запретить! Ясно?..

Рябцов. Ясно, Иван Фомич...

Елтухов. Значит, за тобой — аплодисменты, за тобой — цветы. Чтоб успех полный! Под вашу личную ответственность. Смотрите у меня, если сорвется...

Тонька. Вот это да! Мой успех, оказывается, не от меня зависит, от товарища Сивоуса.

Елтухов. Нельзя пускать на самотек. Нельзя! *(Сивоусу и Рябцову.)* Все! Действуйте!

Сивоус и Рябцов уходят.

Тонька. А все-таки, Иван Фомич, положитесь на нас, как-нибудь мы сами, без Сивоуса...

Елтухов. Как-нибудь — не должно нас устраивать. Как-нибудь — это самоуспокоенность, дорогой Антон Каллистратович, товарищ Отелло!

Тонька. Выходит, и тут больше верите Сивоусу, чем мне?

Елтухов. Сивоус еще ни разу не подводил меня, а ты, брат, не скрою — темная лошадка... Я сейчас пойду и еще кой-кого проинструктирую. *(Уходя, через плечо.)* Самотек — сам Вильям Шекспир, наверно, не одобрил бы. *(Уходит.)*

Костя. Т-тонька... слушай!

Быть или не быть? вот в чем вопрос!
Что благороднее: сносить ли гром и стрелы
Враждующей судьбы или восстать
На море бед и кончить их борьбою?..

Н-не за-за-за... Ах, черт! Н-не заикаюсь!

Елизар *(начиная расстилать ковер перед ложем Дездемоны)*. Шарики. Великое дело.

Костя. М-метод Д-демосфена!

Врывается Жорка Шармак, он в распахнутом шоферском ватнике, с растерзанным воротом рубахи, глядит бешеными глазами на Тоньку в пышной одежде венецианского генерала. Длительная пауза. Только Елизар, кинув косой взгляд на Жорку, продолжает расправлять ковер.

Жорка. Ты! Падло! Вырядился! *(Делает шаг на Тоньку.)*

Тонька. Руками не касаться. Глядеть издали.

Жорка *(задыхаясь)*. Ты! Попка! Издаля на тебя! Руками не касаться! *(Рванулся.)* Задавлю, гад! Вып-патрошу! Перья полетят!

Тонька *(свысока, вельможно, под стать своему наряду)*. Еще одно слово, и тебя вышибут, смерд!

Жорка. Где Надежда Сергеевна, кусошник?

Тонька. Скоро увидишь... На сцене.

Жорка. Я сам ее привел! Сам!.. *(Сильней и сильней закипая, до истерики.)* Думал — к людям! В бла-ародное общество! Над Жоркой смеются, на Жорку пальцами указывают — Тоньке Пьяному услужил! Пожалте, Тонька, вам — мерси. В постельке с Дездемоной!..

Тонька. Опомнись, болван! Какая постелька?

Жорка. Ха! Христосик! О чем шмон? Мы не знаем! Мы — чистенькие!.. Ты! Сук-ка в перьях! Не слышал — звонят в Куликах? Каждый пацан стучит — Тонька снюхался... Да ты знаешь, что такое Надежда Сергеевна для Жорки? Жорка баб и девок перебрал — столько на твоей башке волос нету! Направо-налево Жорка помахивал женским полом! В первый раз в своей загубленной жизни Шармак святое чувство в больное сердце врезал. Дышать на нее боялся, только глядел издали... И кто! Кто! Ателла сопливый, доходяга!..

Тонька. Слушай ты, урка-Аполлон, что тебе от меня надо?

Жорка. Тонька!.. *(Умоляюще.)* Ты же старик для нее. Ты же меня на двадцать лет старше! Ты прокуковал свое,

Тонька! А я к ней — святое чувство. Я с ней линию свою выправлю, работать честно стану, пить, гулять — завяжу! Добром прошу, Тонька. Другом твоим по гроб жизни буду! Ты же человек, никто этого не знает. Законный! В тебе совесть живет...

Тонька. Слушай, влюбленный урка, все никак не пойму — что тебе от меня?..

Жорка. Не становись промеж нами!

Тонька. Отдай Надежду Сергеевну? Так?.. Но она же не моя. Она — собственная. Ей объясни, чтоб твою линию выправила.

Жорка. Где она?

Тонька. Ушла, не отчиталась.

Жорка. Знаешь, сука, говорить не хочешь... Добром прошу — где?

Тонька. Пожалуй, знаю, да не скажу.

Жорка. Скажешь, гад!

Тонька. Сказал бы, да ты перед самым выступлением клещом на ней повиснешь — изведешь, растравишь. А ей играть. Нет!

Жорка. Не играть тебе с ней! В постельке перед народом... Не будет! Где?..

Тонька. Нет! И пока спектакль не начнется — не ищи.

Жорка. В последний раз, Тонька, в последний раз...

Тонька. Не пугай. Знаешь, что не поможет.

Жорка. В самый последний!.. Мне — все одно. Мне без Надежды Сергеевны не жить... *(Сует руку в карман, идет на Тоньку.)* Считаю: раз!.. Два, гнида!.. Ну?..

Тонька берет меч, прислоненный к ложу Дездемоны.

Тонька. Что ж ты?.. Скажи — три... Молчишь?..

Жорка топчется и не подходит.

Рискни, Жорка. Ах, тебе ответить могут. Боишься, куликовское пугало? А давно пора Куликам очнуться и тебя с огорода вынести. Вынесут, Жорка, скоро, вместе с другим дерьмом... на свалку.

Жорка. Брось квач, сука! Искалечу!..

Тонька. И не только искалечишь, но убьешь... если брошу. А ты так попробуй.

Жорка делает вид, что бросается. Тонька дергает с силой меч, и в его руках оказывается отломившаяся от ножен ручка.

Ж о р к а *(торжествующе).* А-а!.. Игрушечки играешь... Покупаешь простаков за полушку... И Жорка поверил... А ну ты! Попой свои песенки. Ну-ка, кто раньше на свалку?.. *(Мелкими шагами приближается к Тоньке.)* Считаю, падло! Раз! Два!.. На колени перед Жоркой. На колени, дерьмо в перьях! Может, Жорка тогда помилует...

К о с т я *(бросается к Жорке, сильно заикаясь.)* Н-н-не-не-не...

Ж о р к а *(Косте).* И ты!.. Смерти захотелось?..

Е л и з а р *(берет Жорку за плечо, швыряет к выходу.)* Ну-ко!

Ж о р к а *(вскакивая).* Вс-сем потроха выпущу!

К о с т я. Н-нож!

Е л и з а р *(наступая на Жорку).* Спрячь! Уложу!

Жорка сует руку в карман, озирается.

Е л и з а р. Ну, так-то... А теперь — валяй, валяй, не дыми.

Ж о р к а *(под напором Елизара отступая).* Эй, Тонька! Не жить тебе! Помни Жорку Шармака! Сегодня вывернулся — завтра найду!

Е л и з а р. И не дергайся, не дергайся!.. Пока перышко вытащишь — уложу.

Ж о р к а *(Тоньке).* Игрулька ваша не вытанцуется. Ателла-Дездемона!.. Не будет! Найду Надежду Сергеевну! Из-под земли вырою! Ты, а не Жорка — раньше будешь на свалке!..

Е л и з а р. Катись! Катись!.. *(Выпирает Жорку.)*

Короткая пауза.

К о с т я *(диким голосом).*

Быть или не быть? вот в чем вопрос!
Что благороднее: сносить ли гром и стрелы
Враждующей судьбы или восстать...

Ух-х! П-прошло... Д-думал, с-совсем сорвал т-тренировку по Де-демосфену...

Т о н ь к а *(разглядывая сломанный меч).* Обыкновенная бутафория... Нет! Не пугало, не бутафория — всамделишная гадина. Кто знает, на что он способен.

Е л и з а р. Ты теперь меня держись. Со мной не тронет.

Т о н ь к а. Не за себя боюсь.

К о с т я. Ее н-не... н-не посмеет!

Тонька. Посмеет, Костя... Не бутафория.

Елизар. Со мной держись. Со мной ему — кишка тонка.

Костя. Л-л-любит ее.

Тонька. Что может любить такой человек?.. А ее что-то долго нет, пора бы уж...

Елизар. Ну ей — рад бы помочь, да как?.. Держись, мол, за меня... Что я?.. Только рельсы гну, силовой номер.

Тонька. Не надо бы мне отпускать ее отсюда...

Костя. Бо-боится ее...

Тонька. Такие-то от страха и творят дела. Только страх ими и двигает... Ладно, ребята. Мне гримироваться пора. Белый мавр, Тонька Лаптев, станет черным мавром.

Но, как мое лицо, оно теперь
Испачкано и чернотой покрыто...

Весь черный от этой милой встречи...

У выхода сталкивается с Капой. Она в одежде Эмилии, жеманно приседает перед Тонькой, поворачивается.

Капа. Ну как, Антон Каллистратович?

Тонька. Неузнаваемы! Я бы сказал — вы слишком хороши для Эмилии.

Капа. Играла прежде только чересчур глупых старух... *(Передразнивает себя старушечьим голосом.)* «Чичас, батюшка... ну, пиши... О здравии рабов божьих...» Ах, да! Надо прогнать от клуба одну старуху, толстая такая, с авоськами. Говорят, та самая, что в Дездемоны лезла... И куда только милиция смотрит?.. Ходит и всем рассказывает, что нагишом в постели Дездемона играть собирается, что мы будто бы — язык не поворачивается! — самое неприличное показывать собираемся. Куда только милиция смотрит!

Тонька. Еще один рядовой солдат местного ополчения против Вильяма Шекспира. И Жорка Шармак где-то сейчас мечется, роет землю... Не легко же входит Шекспир в Кулики!

Костя. У-ул-уладится! Б-будь спокоен.

Тонька. Успокоюсь, когда увижу Дездемону. Ее нет и нет...

Уходят все, кроме Капы.

Капа *(подходит к зеркалу, придерживая юбки, приседает сама себе, поправляет жабо, выпушки на рукавах)*.

Слишком хороша для Эмилии. И в самом деле, разве у меня хуже бы получилось?.. *(Читает кокетливо.)*

И все-таки ты страшен мне, Отелло!
Ты гибелен!..

Дальше забыла. А совсем неплохо... Дездемона девалась куда-то... И что в ней все находят?.. «Смиренная и скромная девица...» *(Подходит к ложу, заглядывает внутрь.)* Фи! Подушек не нашли получше. Словно ими пол вытирали. Фи!.. *(Лезет внутрь, ложится, принимает сановитую позу. Кокетливо.)* «И все-таки ты страшен мне, Отелло! Ты гибелен!..» А ну задернемся, чтоб ничего не видеть. Отгородимся от всего мира... *(Задергивает занавески. Из-за занавесок.)* «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» *(Сладенько.)* «Да, милый мой...» Кто-то идет. Ох, беда!.. *(Снизу из-за занавесок показывается нога Капы в белом чулке и башмаке.)*

Входят Свищев, Кучкина, Рябцов.

Свищев. Землетрясение! Войну объявили! Сберкассу обворовали! Кулики с утра гудят.

Кучкина. Как-никак событие для нас.

Нога Капы медленно прячется за занавесками.

Свищев. Событие?.. Конечно, конечно! Тут одна женщина толкается. Стоило бы ее послушать. Убеждена, что постановка будет самая непристойная. Прославленная Дездемона явится перед публикой в самом, так сказать, натуральном виде. Событие... Кулики гудят. Кулики, извиняюсь, клубнички ждут.

Кучкина *(со вздохом)*. Что-то будет, что-то будет?..

Свищев. Скандал, смею вас уверить, и грандиознейший...

Рябцов. Да уж точно. Прославимся на всю область.

Свищев. Велик Шекспир, кто в этом сомневается. Но из великого-то всякое можно выдернуть. Постельку выдернули, с удушением.

Кучкина. Ах, мне все равно! Устала...

Свищев. Как все равно! Спекуляция на великом Шекспире! Искусство пачкают! Святое святых!

Кучкина. Ах, плевать. Мне-то что... Устала я от вашего искусства. Я от него завсегда мигрени подвержена.

Свищев. Вот насмотрится рядовой куликовский житель, как в постельке удушение... И когда-нибудь, подвыпивши и повздоривши с законной супругой,—решится... Отелло дозволено, а почему, мол, мне нельзя. И с пьяных глаз от такого искусства свою Клавдию Петровну в постельке — хрип, хрип... Тогда как?

Рябцов. Прославимся. Загремим по области.

Кучкина. Ах, мне все равно... Иван Фомич допустил, а мы люди маленькие. С Ивана Фомича и спросят.

Свищев. Ход не хитрый, Анна Максимовна. Отнюдь. Позвольте, мол, дорогой Иван Фомич, спрятаться за вашу широкую спинку. Мы люди маленькие, темные — казначейские билеты от банковских не отличаем. А Иван-то Фомич скорей всего обернется да перстом укажет: я, Елтухов, не каждой дыре затычка, кто за культуру отвечать должен? Кого, извините, за мягкое место возьмут — Ивана Фомича или вас, Анна Максимовна? Стрелочник всегда виноват — иль забыли это?

Рябцов. Судом пахнет.

Кучкина. О господи! Надо было этому Шекспиру на мою голову свалиться! Напасть, да и только.

Свищев. Не кощунствовать! Не кощунствовать, Анна Максимовна! Не позволю при мне порочить славных представителей мирового искусства — будь то Шекспир, или Чехов, все равно.

Рябцов. Запорочишь, когда гром грянет. Тебе, Свищев,— что? Ты в сберкассе работаешь, никакого начальства рядом, гром загремит — отсидишься себе. А вот Кучкина на прицеле, да и я тоже стрелочник под Иваном Фомичом.

Кучкина. Что я-то? В чем провинилась? В том, что сил у меня нет Ивана Фомича за руку схватить, остановить — не смей! Если б не он, Тонька и на порог в наш клуб не ступил, поперек легла, не пустила бы...

Рябцов. Уважаю Ивана Фомича, по любому слову его — готов! Но он уж совсем... свихнулся на старости лет. Тонька Пьяный меня при всех Дездемонах опозорил, а я должен этому Тоньке цветы организовывать. Цветы и чтоб без тяжелых предметов!..

Свищев. А не перейти ли нам от слез к делу. Не пора ли нам пораскинуть мозгами, чтоб — надежно, выгодно, удобно! — все удовольствия с гарантией. Сообщи, Рябцов, что задумал.

Рябцов. Мне цветы нужно организовать. Раз приказано — организовал...

Свищев. Да не о цветах! О существенном!

Рябцов. Цветы — пожалуйте! Но можно и другое... Ха! Цветочки!.. Жорка Шармак обижен... У Жорки компания... Да ты, Кучкина, их хорошо знаешь.

Кучкина. Век бы их не знать.

Свищев. Обстановочка изменилась, Анна Максимовна, теперь на них стоит другими глазами поглядеть.

Рябцов. Я с Жоркой еще утром перекинулся парой слов... Утром он еще говорить по-человечески мог, теперь совсем свихнулся на почве отчаянной любви к Дездемоне... После моего инструктажа Жорка своим ребятам твердую установку дал. Как игра начнется, как этот Отелло к Дездемоне полезет целоваться — а у них это, сами знаете, запрограммировано! — шум! Погромче!.. Сивоус пусть себе аплодисменты оформляет. Я, как положено,— цветы... Указание-то мне дано, не выполнить никак не могу. Мы свое оформим, а Жорка — свое: свисточки, палки-елочки, может, и тяжелые предметы...

Свищев. А чтоб Жоркино оформление прозвучало, помочь надо, Анна Максимовна.

Кучкина. Так это же скандал! Так это же на мою голову!..

Свищев. А что вам выгодней, Анна Максимовна,— скандальчик семейный, который дальше Куликов никуда не уйдет, или — скандал в областном масштабе? За этот скандальчик вас только пропесочат, а за тот, как знать, как знать...

Кучкина. Ох, уж не знаю. Иван-то Фомич...

Свищев. Иван Фомич при большой беде руки умоет.

Кучкина. Ох, не знаю... Делать — делайте, а меня не трогайте. Ничего не слышала, ничего не видела.

Рябцов. Э-э, так, дорогуша, не пляшут. Ничего не слышала, ничего не видела, а как Иван Фомич за бока возьмет — все слышала, все видела, на нас свалишь.

Кучкина. Чего вам от меня нужно?

Рябцов. Чтоб ответственность несла и равную долю. Мы толкай, а ты — в тени. Не вытанцуется!

Свищев. Скромность украшает человека. Но не всегда, Анна Максимовна! А потом, надо помнить: мы — не Жорка Шармак, не из шкурнических интересов, ради высокого. Нас потом, быть может, Иван Фомич благодарить будет.

Кучкина. Что нужно-то от меня?

Свищев. Ерунда, Анна Максимовна, сущая ерунда. Зал-то, надо ждать, будет полон...

Кучкина. Да уж проходу нет, каждый норовит билет у меня выклянчить.

Свищев. И надо ждать, Сивоус, кому Иван Фомич приказал обеспечить успех,— настороже, постарается не пустить Жоркиных корешей, всеми силами будет держать их на прицеле. Не так ли?..

Кучкина. Ох уж, не знаю...

Свищев. Нельзя допустить это, Анна Максимовна! Места обеспечьте.

Кучкина. Да мест и так мало. Иван Фомич два первых ряда приказал забронировать.

Свищев. Он для своих целей забронировал, а вы ради общей, так сказать, идеи...

Кучкина. Не знаю... Каждое место на счету.

Рябцов. Не крути, не крути, Кучкина!

Свищев. Сделаешь, Анна Максимовна, сделаешь! Не можешь отказать... И чтоб не кучей сидели, не на парадных рядах, а по всему залу — там двое, там трое... Чтоб с разных сторон неслись их голоса, чтоб каждый понял — весь зал в негодовании.

Рябцов. Голос масс во всю силу.

Кучкина. Право, не знаю...

Рябцов. Да не трясись! Еще, может, и не понадобится все это. Еще Жорка самолично прикроет спектакль. Он сейчас Дездемону ищет. Если найдет — не выпустит. Без Дездемоны не разгуляются.

Свищев. На других надейся, а сам не плошай — народная мудрость. Так что... *(Умолкает.)*

Занавески кровати распахиваются.

Капа *(Свищеву)*. Вы!.. Вы!.. Какой вы!.. *(Топает ногами, кричит.)* Негодяй! Подлец!.. Все негодяи! Все!..

Бежит к выходу.

Свищев. Капитолина Васильевна! Одну минуточку, Капитолина Васильевна!.. Вы не должны!.. Убежала... Храните деньги в сберегательной кассе — надежно, выгодно... Кто знал, что здесь крыса в норе...

Рябцов. Ну-у, гори-им!

Свищев. И уж все превратно поняла... Надежно, выгодно... Мы же не ради личного... Высокие цели...

Рябцов. Го-орим, как свечечки!

Свищев. Надежно, выгодно... Представляю — вообразила... Куцый мозг...

Рябцов. Иван Фомич уже здесь. К нему, сучка, кинулась. Ка-ак свечечки копеечные...

Кучкина *(опомнившись)*. Я!.. Я полностью согласна с Капитолиной Васильевной!.. До чего вы достукались! До чего докатились! Стыдоба!..

Рябцов. Мы докатились?.. А ты?.. Шалишь, бабушка, не выкрутишься!

Кучкина. А я что?.. Я всей вашей затее — сторона! Без сочувствия! Все проявлю! Все выведу на чистую воду! Прав не имею молчать! Мой долг!..

Свищев. Надежно, выгодно... Тьфу, привязалось!.. Уважаемая, не вопите. Вы были кровно заинтересованы в нашем мероприятии. Кровно!

Кучкина. А докажите, докажите, что я с вами! Не докажете! Не давала вам своего согласия! Нет! Капитолина Васильевна все слышала. Слава богу, слава богу, она слышала — подтвердит!

Рябцов. Заткнись! Гореть, так вместе!

Кучкина. За ваши-то гнусности!.. Уж нет! Выведу перед Иваном Фомичом, не постесняюсь!

Рябцов. Не выпляшется, мешок сала,— вместе! Мы оба в пятнышках, и у тебя рыльце в пушку. Фактически подтвержу... Он тоже подтвердит!

Кучкина. А что он?.. А кто его слушать будет?.. Он же все и заварил! Я-то при чем? Никакой моей вины! Ни на капельку!

Рябцов. Он заварил... Конечно... Я, болван, его песен наслушался.

Свищев. Низкие люди! Валите! Валите все на меня!..

Рябцов. Мы — низкие, а ты чище?

Свищев *(кричит)*. Не сметь! Не позволю! Не равнять меня с собой! У одного жалкая месть взыграла. Другая ради шкурного страха за тепленькое местечко!..

Кучкина. Я из-за шкурного, а ты?.. Кто от зависти, словно червяк на сковороде, корчился? Тонька кого переплюнул?

Свищев. Низкие люди! Вам объяснять, как Свищев любит сцену... Как он предан искусству! Нет! *(Направляется к выходу.)* С кем связался, Свищев? С кем связался!

Кучкина *(с бабьим воплем)*. Улизнет, батюшки! Улизнет, нас бросит! Ему — что? Не под Иваном Фомичом! В сберкассе своей отсидится!.. Ой, горемычные мы-ы!..

Рябцов. Гореть, так коллективом...

Свищев. Презираю!

Кучкина. Мы останемся-а! Он смоется!..

Рябцов *(загораживая дорогу)*. Не пущу! Я тебя, как вещественное доказательство!..

Свищев. Прочь с дороги!

Рябцов. А по очкам, по очкам хочешь?

Свищев. Прочь!

Рябцов. К-как вещественное!..

Хватаются за грудки.

Врывается Елтухов. За ним Тонька, уже загримированный под мавра, Капа, Костя, Елизар. Свищев и Рябцов опускают руки.

Елтухов *(властно)*. Ни с места!.. Спокойно! Спокойно! Без паники!..

Длительная пауза. Свищев, Рябцов, Кучкина оцепенело стоят.

Елтухов. Без паники. Начнем... *(Опускается на стул.)*

Кучкина. Я все изложу... Я тут — сторона... Я как свидетельница...

Елтухов. Мал-чать!.. И без паники! Спрашивать буду я.

Пауза. Елтухов снова вглядывается в каждого по отдельности.

Елтухов *(указывает на Свищева)*. Ты!.. Ближе! *(Свищев делает несмелый шаг.)* Еще ближе... Еще!..

Кучкина. Он главный... Я, как на духу...

Елтухов. Мал-чать! *(Свищеву.)* Вот ты объясни мне... *(Указывает на Тоньку.)* Его не любишь — понятно. Обскакал на вороных. Меня... Молчать!.. Меня, говорю, не любишь — тоже понятно. Я — не тот сорт, не артист, натура грубая, древесиной занимаюсь. Нам нагадить — понятно. Но объясни, почему ты Шекспира так люто не любишь? А? Что Шекспир тебе, Свищеву, плохого сделал? Чем он тебе насолил?

Свищев *(с гневным трепетом)*. Иван Фомич!..

Елтухов. По существу! По существу!

Свищев. Я — человек скромный, но искусству предан! Да! И Шекспира люблю, и Чехова! Искусству — всей душой, как никто!..

Елтухов. Значит, ты из любви?.. Новорожденного в Куликах Шекспира тайком... придушить... чтоб пикнуть не успел. Из любви?..

Капа. Врет! Всем врет! Себе тоже! В душе правдивого места нет!.. И Чехова ты не любил. Пользовался, потому что красиво — артист, как же!..

Свищев *(почти в истерике)*. Ложь! Ложь! А что у меня в жизни, кроме Чехова? Сберкасса! С девяти

утра до шести каждый день, каждый день год за годом — одно окошечко да рубли чужие. Не люблю?.. Ложь! Чехов от окошечка меня спасал, от рублей!.. Что у меня еще?.. Нету!

Елтухов. Ну а ежели б Чехов, как Шекспир сейчас, поперек бы стал?.. Ты бы, любя, того... тайком от всех... без жалости?.. А?

Пауза.

Капа. Скажи, что нет! Скажи! Кто поверит? Молчишь! У самого язык не повернется!

Елтухов. Я не артист. Я человек грубый, древесиной занимаюсь, но мнится мне — бояться тебя надо, шарахаться.

Свищев *(в истерике)*. Презираю! Всех презираю! А судьи кто?.. Что вы мне!..

Елтухов. И ежели кто услышит от тебя — люблю, брат, больше жизни,— бежать тому надо, опрометью, чтоб от этой любви не случилось чего... Чтоб ты любимого из-за угла втихаря не кокнул.

Свищев. Думайте! Болтайте! На здоровье! Презираю! Всех! Древесные люди! Всех презираю!

Елтухов. Меня, его, ее, Шекспира, Чехова, других — всех, словом. Один ты на свете почтенный человек... Скуден же мир.

Свищев. Разве кто поймет, что и у Свищева душа!.. Да, душа — страдающая, ранимая, больная!..

Елтухов. Может, и больная, да шибко вонючая. Иди-ка, друг, иди, не порти тут воздух. С тобой все!.. *(Отворачивается.)*

Капа *(Свищеву с презрением)*. Ком-ми-ческий талант.

Свищев *(хватается за голову)*. У-ууу!.. *(Со стоном уходит.)*

Елтухов *(Рябцову и Кучкиной)*. А с вами другой разговор. Ближе!.. Еще ближе... Еще!.. Вот так-то... С вами разговор не о Шекспире — обо мне... *(Пауза. Рябцову.)* Скажи, ты меня уважаешь?

Рябцов. Иван Фомич, можно ли сом...

Елтухов. Сильно уважаешь?

Рябцов. Да я за вас...

Елтухов. Ежели сейчас скажу: надень ночную бабью рубаху и выйди на сцену, сыграй Дездемону — сыграешь?

Рябцов. Всегда ваши указания, Иван Фомич... Сейчас — готов, как могу...

Елтухов *(поворачивается к Кучкиной)*. А ты, если скажу — измажь сажей лицо, одень Отеллов плащик, играй,— сыграешь?

Кучкина. Иван Фомич! Я — ни сном ни духом в этой компании...

Елтухов. По существу отвечай! Если плясать прикажу — запляшешь?

Кучкина. Воля ваша, Иван Фомич. Всегда по первому вашему слову...

Елтухов *(подымаясь со стула, очень серьезно)*. М-да-а... А ведь сделаете, что ни попрошу. Верны. *(Разводит руками.)* Что же это такое? Кто объяснит?.. И не лгут же, не кривят душой, по первому слову и в пляс, и в огонь. Верны! И втихомолку подсиживают! Меня! Елтухова!.. Значит, не верны, значит, нет уважения, ошибался я. Может, ненавидите даже? А?.. Молча ненавидите, в рот мне глядя! Да что вы за люди? Среди кого я живу?.. *(Кричит на Рябцова и Кучкину.)* Личину носите! Почему в глаза Елтухову не скажете — не хорош, с изъянцем! Не-ет, любящими прикидываетесь. Мне, может, дороже всего правду о себе знать. Я, может, и на самом деле с изъянцем. Мне не дерьмом быть охота — человеком!..

Рябцов. Иван Фомич, я за вас...

Елтухов. Вранье!

Кучкина. Я лично всегда высоко...

Елтухов. Хватит притворяться!

Тонька. А они не врут, не притворяются...

Елтухов. Их?! Спасаешь?.. Тех, кто целится подсидеть!

Тонька. Из уважения к вам подсиживали, из уважения к вам, Иван Фомич.

Елтухов. Еще ты туману напусти...

Тонька *(Кучкиной)*. Сколько лет ты при Елтухове работаешь?

Кучкина. Еще когда Иван Фомич заместителем были...

Тонька *(Рябцову)*. А ты?..

Рябцов. Я еще простым прорабом... Всегда помню, что Иван Фомич меня выдвинул...

Тонька *(Елтухову)*. Слышали — вы выдвигали. И таких, кто вам впритирочку подходит, требовали с них — поступай, как мне, Елтухову, угодно.

Елтухов. Ну и что из того? Не подходящих себе искать прикажешь, с кем не сработаешься?

Тонька. Так вот они подходящие, любуйтесь! И верны, слов нет. Прикажете — этот Дездемону в ночной сорочке играть бросится, эта шаровары натянет, в пляс пустится. Верны, отзывчивы, души в вас не чают.

Елтухов. И на тайное же предательство... Это-то как?

Тонька. А что им делать, когда их обожаемый Иван Фомич сам себя предал.

Елтухов. Н-ну-у! Еще того не чище. Я — сам себя. Они — нет, чисты. Я, сукин сын, сам...

Тонька. А кто заявил, что Куликам без Шекспира — никак?

Елтухов. Предательство?

Тонька. Да.

Елтухов. Самого себя?

Тонька. Именно.

Елтухов. Признать Шекспира, обогатиться, так сказать, культурно — предательство?

Тонька. А можно ли обогатиться Шекспиром и жить по-старому? Мешать ведь Шекспир будет.

Елтухов. Каким таким манером?

Тонька *(указывая на Кучкину)*. Вот как ей жить, когда в ее Дом культуры Шекспир влезет. Попробуй-ка с ним справиться. Он ведь потребует — таланты открывай, культурное развитие имей, историю знай, мозгами шевели. А где уж, темна, батюшка. Бежать из этого Дому, бежать!.. А вот он *(указывает на Рябцова)*, как ему жить, когда в Куликах Шекспир угнездится? Шекспир-то заставляет — цени человеческое достоинство. А этого у него и в помине нет. Привык к «чего изволите?». Изволите, Дездемону в дезабилье из себя корчить стану. Вдруг да с Шекспиром откажутся в Куликах ценить «чего изволите». Тут уж не мечтай, по работе не выдвинут, отставку дадут. Как жить им?.. А их вы, Иван Фомич, подбирали, вы их воспитывали — ваши они, ваш кадр. И уважают они вас, крепко уважают, не сомневайтесь. Только вот беда, вы их предали... с собой вместе. А теперь негодуете: что, мол, за люди такие-сякие, нехорошие. Полно! Сами замешивали — ваше кровное, ругать некого.

Пауза.

Елтухов. Ну и ну!.. Елтухов виноват. Ну и ну!.. Елтухов всему причина!

Тонька. Да неужели не нравится? Неужели не угодил?

Елтухов. Хватит кривляться-то... Шути, да знай меру.

Тонька. Я ведь только приятное вам хотел... Я ведь думал — стосковались вы по прямому слову, решил — дай выручу, скажу правду в глаза.

Елтухов. Рас-пус-тил! Распустил я тебя! До чего дошло: палец покажи — руку отхватишь!

Тонька *(Рябцову и Кучкиной)*. Как вы мудры! Как мудры, что молчали! Я — простак. Преклоняюсь!

Елтухов. Я к тебе с почтением — уважаю в тебе артиста, ценю! В Отеллы тебя за уши вытащил, в средневековые костюмы обрядил. Ты... Ты в благодарность мне — грубости всякие. Ты не постеснялся на моей прошлой жизни крест поставить!

Тонька. Отвернитесь от моей грубости, Иван Фомич. Отвернитесь к ним, тут вас никак не грубость — уважение ждет.

Елтухов. Гм... Артист!.. Но все равно, дружок, не зарывайся. Незаменимых нет! Живенько подыщем подходящего, так, чтоб и к нам, и к Шекспиру, на обе стороны.

Тонька. А может ли быть такой экземпляр, чтоб на обе?.. Свищев разве что, так почему-то его сами сейчас прогнали непочтительно.

Елтухов. Гм... Возьми его за рупь двадцать.

Доносится далекий глухой шум.

Елтухов. Что? Уже?..

Кучкина. Уже, Иван Фомич. Собрались... Пора народ пропускать в зал.

Елтухов. Что ж... *(Оглядывается.)* Ковры застелены, народ собрался, все готово. Раз Шекспир к нам идет, хошь не хошь, встречай как положено, гость высокий. *(Кучкиной.)* Марш! Выполняй обязанности пока... И гляди, своячков этих сговоренных не пропусти ненароком.

Кучкина. Как это можно, Иван Фомич... Я — ни сном ни духом...

Уходит.

Тонька *(в отчаянье)*. Где Дездемона? Народ уже собрался. Уже зал открывают! Где она?

Елтухов. Дисциплинка. Распустил вас... Ничего, наведу глянец.

Тонька. Елизар, пройдись по поселку, узнай — вдруг что случилось с ней!

Костя. И я с ним. Б-бежим!

Елизар и Костя уходят.

Капа. Она на почту, кажется, зайти хотела. Выскочу, позвоню туда.

Убегает.

Елтухов *(ворчит)*. Дисциплинка...
Тонька *(ходит в волнении, бормочет)*.

О, войте! войте! войте! Вы из камня —
Из камня, люди!..

Жорка Шармак — волком, волком по Куликам... «О, войте, войте, войте!..»

Елтухов *(Рябцову)*. Цветы организовал?

Рябцов *(радостно)*. Как сказали, Иван Фомич, все сделал.

Елтухов. И без тяжелых предметов?

Рябцов. Что вы! Чистыми цветами кидать будут.

Тонька *(ходит и бормочет)*.

Из камня, люди! Если б я имел
И столько глаз, и столько языков
От слез моих...

Из другой оперы шпаришь, Тонька. Не смей распускаться!

Елтухов. Слушай, артист! Хочешь ко мне в штат? *(Указывает на Рябцова.)* Его сниму, тебя поставлю. Уважение его мне не нравится.

Тонька. Не хочу.

Елтухов. Что так?

Тонька. Просто не подхожу. Всю жизнь в Куликах среди леса, а в деловой древесине так и не научился разбираться.

Елтухов. А жаль, мы бы с тобой сработались... Мы вот что, новый клуб отгрохаем. С колоннами! Знай наших! И откроем его полным «Отелло», чтоб каждая строчка в натуре. Ты мне роль выделишь — венецианского дожа. Меня песочить станешь. Сейчас спуску не даешь, что потом будет... Все равно — согласен.

За сценой глухой шум голосов в зале.

Елтухов. Народ на месте, а Дездемоны нет. Эх, эти артисты!

Тонька *(с силой)*. Где?! Где?! Где?! Заблудилась Дездемона в Куликах.

Елтухов. Новый клуб с колоннами... Но там я дисциплинку налажу. Наведу глянец.

Тонька *(не находя себе места)*.

От слез моих, от стонов свод небесный
Распался бы!.. Она навек...

Вбегает Костя.

Костя *(в ужасе, не может произнести ни слова)*. Ж-ж-жо-жо!.. Де-де-д-де!..

Елтухов. Что?

Костя. Жо-жо-ж-о!.. Де-де-д-дез!..

Тонька. Она навек уснула...

Елтухов *(хватает за плечи Костю, трясет)*. Что случилось?! Что?!

Костя. В-вон!..

Пятясь задом, входит Кучкина.

Кучкина *(подвывая)*. Ба-атюшки! Беда-а! О господи! Беда-а!.. Да что же это такое?.. Злодеи-и!..

За ней Капа вводит растерзанную Надю. Надя держится рукой за голову, на лице кровь.

Тонька *(бросается к Наде)*. Жива!

Костя. Жо-жо-жорка!..

Кучкина. Изверг проклятый! Да что же это?.. Война чистая!..

Капа. У самого клуба схватил ее... При людях.

Елтухов *(кричит)*. Своими руками!.. Своими, бандюгу!..

Тонька *(усадив Надю на стул, отирая с лица кровь)*. Вы живы... живы... Все хорошо — вы живы... *(Плачущей Кучкиной.)* Бинты! Быстро!

Кучкина. О господи! Бинты... Где-то были... Война чистая.

Бросается за кулисы.

Елтухов. Где он?! Сбежал? Догнать! Доставить! Сивоуса мне!..

Капа. Елизар схватил — не вырвется. Там и Сивоус сейчас... При народе ее...

Елтухов. Дездемону, подлец!.. Своими руками его!..

Кучкина *(появляясь, подавая бинты)*. Без Шекспира бы... Тихо, мирно, покой-дорогой... О господи! Война! Дожили...

Елтухов. Ковры застелили, ждем!.. Засада! Не проходи, Шекспир!..

Тонька *(перебинтовывая Надю)*. Не сегодня, так завтра... Придет.

Надя. Не завтра... Сейчас. Я играю.

Тонька. Молчите!

Елтухов. Сейчас?.. Ни-ни!..

В зале шум собравшихся зрителей, нетерпеливые аплодисменты.

Надя. Слышите?.. Играю.

Елтухов. Объясним... В лесу живем, но не деревянные же.

Надя. Играю! *(С трудом подымается.)*

Елтухов. Стоять не можете.

Надя. Не надо стоять. Дездемона лежит... Помогите...

Елтухов. Не тот случай. Отложим...

Шум народа, аплодисменты, голоса: «Начинай!»

Надя. Нас ждут. Слышите?.. Помогите... В постель... Антон Каллистратович, да помогите же!..

Елтухов. Машину! Быстро!..

Надя. Антон Каллистратович!..

Тонька. Хорошо. Не надо машину!.. Дездемона будет играть!

Ведет Надю к ложу.

Надя. Пальто с меня... Так... Не одета и не загримирована. Укройте получше, не будет видно, что не одета... Я прическу сделала, теперь бинты... Но все равно!

Кучкина. О господи! Война, прямо война!

Тонька *(бережно укрывая Надю)*. Но, может, не сейчас? Может, в следующий раз?!.

Надя. Минное поле...

Тонька. Пройдем. Не сомневайтесь... Лишние со сцены!

Костя, Капа, Кучкина, забытый всеми Рябцов, оглядываясь, уходят.

Тонька. Свечу!.. Зажгите свечу!

Елтухов *(зажигает свечу)*. Вот так... В бинтах... Ну, Шекспир, милости просим. *(Уходит.)*

Нетерпеливый гул народа. Горит свеча. Лежит в постели Дездемона с перебинтованной головой. Тонька-Отелло берет меч в руки, рукоятка отваливается, он придерживает ее рукой, отходит, останавливается в стороне.

Кучкина *(высовываясь из-за кулис)*. Начали! Начали!

Шум народа смолкает. Тишина. Полная тишина. Тонька-Отелло идет к ложу, останавливается, глядит на перебинтованную спящую Дездемону.

Занавес

1969—1970

Пожар

Пьеса в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ксюхин Устин Лазаревич — художник-самоучка.
Звонков Игорь Александрович — директор совхоза.
Катя Вострова.
Петька Дежкин.
Локтев Авдей — главбух совхоза.
Самсониев — лесничий.
Прохожий — он же бывший убийца Иона Горбов.
Фаина, Степан — муж и жена, рабочие совхоза.
Титков — представитель области.
Генка — гармонист.
Женька — парень с тазом.
Пашка — парень с гитарой.
Девица в джинсах.
Первая и вторая девушки, женщина с ведром, жители села Низовское разных возрастов.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Освещенный солнцем памятник из темного гранита: человек в буденовке, в обмотках, развернув широкие плечи, вскинув голову, стоит на каменном пьедестале. Высеченная под ним надпись: «Востров Иван Иванович. Род. в 1896 г. Убит в 1929 г.». Угловатая грубоватость отличает этот памятник от тех стандартных фигур, которые обычно ставятся в честь погибших героев.

Крик петухов. Утро. Появляется прохожий, заросший дряхлый старик с тощим грязным мешком, перекинутым через плечо, с палкой в руке. Волоча ноги, он бредет через сцену и останавливается перед памятником, задрав голову, всматривается в каменное лицо, опускает взгляд на надпись и... роняет палку. Какое-то время он неподвижно стоит, потом подбирает свой посох, удаляется, оглядываясь через плечо.

Девичий смех за сценой. Входят **парень** и **девушка**. Девушка — легкая, праздничная — держит в руке букет сирени. Парень рослый, неуклюже чопорный, суровый.

Девушка *(кладет цветы под памятник. После короткой паузы — к памятнику)*. Дедушка... Это я, Катя Вострова.

Парень. Да ладно тебе, не заводись.

Катя. А это Петька Дежкин, дедушка. Не дерево, хотя и похож.

Петька. Пошла молоть.

Катя. И мы оба счастливы, дедушка. Верно, Петька?

Петька. Ясное дело.

Катя. Дедушка, Петька — чемпион. Не веришь?

Петька. Вот глупая.

Катя. У нас соревнования по пахоте были — кто из трактористов быстрей, кто лучше...

Петька. Вот-вот, похвастайся. Нашла перед кем.

Катя. И самый, самый первый, дедушка,— он! *(Хватает Петьку за руки, пляшет.)* Он — первый! Он — первый! Самый, самый, самый первый! *(Отпуская Петьку.)* Так что он чемпион среди трактористов, дедушка.

Петька *(оправляясь)*. Ну и сумасшедшая.

Катя. И с этим чемпионом мы, дедушка, скоро поженимся. Верно, Петька?

Петька. Ну, ясное дело.

Катя. Да мы почти что женаты. Нам ведь только расписаться. Верно, Петька?

Петька *(смущенно, словно извиняясь перед памятником)*. Чудная она.

Катя. А в нашем совхозе, дедушка, скоро начнут большое, большое...

Петька. Да ему-то что?

Катя. Как это — что? Совхоз чей? Дедушкин! Его имени! Должен он знать или не должен?

Петька. Чудная...

Катя. Дедушка, помнишь Дунькину согру? *(Петька с досадою крякает.)* А почему не помнить ему? Согра-то тыщи лет стоит, когда ни дедушек, ни бабушек не было, села нашего не было, а она была. Слышишь, дедушка, мы эту Дунькину согру снимем. Всю! Дочиста! И осушим!..

Петька. Да очнись ты, сумасшедшая. С камнем же говоришь.

Катя. Дедушка, он сам каменный, смеяться не умеет, танцевать не умеет. Я за него... и танцевать, и смеяться.

Петька. Голова кругом.

Катя. Слышишь, дедушка, он тебе на меня жалуется.

Петька *(обреченно машет рукой)*. С ума сойдешь!

Катя *(внезапно притихая, с грустинкой)*. Дедушка, а мне жалко согры. Там малина растет... и рыжики.

Петька. Заплачь, с тебя сбудется.

Катя *(снова воодушевляясь)*. Но поля будут! Шесть тысяч га! С ума сойти! Шесть тысяч га! А воду с согры сюда спустим. Здесь — озеро! Дома зальет. Дома новые построят, двухэтажные. И нам с Петькой — тоже двухэтажный, с ванной. И газ на кухне. Как в городе, даже лучше. Правда, Петенька?

Петька. Ясное дело.

Катя. Дедушка, мы счастливы!

Петька. Уже говорила.

Катя. И еще скажу: счастливы! Счастливы! Счастливы! Ты слышишь, дедушка?!

Петька. Потише. Идет кто-то.

Катя. А пусть... Пусть все слышат: счастлива! Счастлива! *(Кричит.)* Я счастли-ива-а!

Входит Ксюхин с этюдником и складным стулом.

Катя *(Ксюхину)*. Дядя Устя! Я счастлива!

Ксюхин. И я тоже, доченька.

Петька *(Ксюхину)*. С чего бы?

Ксюхин. Да вот — солнце светит, она улыбается светлее солнышка.

Петька. Мало же тебе для счастья нужно, Устин.

Ксюхин. Не так уж и мало, парень,— других видеть счастливыми.

Петька. Других?.. Сам-то был ли хоть раз счастлив?

Ксюхин. Всю жизнь, каждый день.

Петька. Как птица божья: жены нет, детей нет, штаны ношены — все богатство. И счастлив... Надо же.

Ксюхин. Я, парень, каждый день пьян-пьянешенек не от вина — от радости.

Петька. Чудно. Не пойму.

Ксюхин. Вот как сегодня: утречком проснешься пораньше да вспомнишь — впереди день непочатый, так и запоет все внутри. Выскочишь за село — трава в росе, еще никем не тронутая, словно морозец прижег. Шагаешь по ней, а за тобой след мокрый, зеленый-презеленый, течет за тобой эта зелень ручьем. А тут еще в небе, высоко-высоко, у самого солнышка за пазухой, жаворонок кипит... И аж зашатаешься, заплачешь от радости... Бывали ли у тебя, парень, слезы от счастья?

Петька. Ни в жизнь не бывало.

Ксюхин. То-то и оно.

Катя. Никто красивей тебя не говорит, дядя Устя.

Петька. И смешней.

Ксюхин. Жалко мне таких, как ты, парень.

Петька. Эка!

Ксюхин. В землю глядишь, белого света не видишь.

Петька. Я рабочий человек, для меня земля главное, себя от этой земли кормлю и других. А ты вот жизнь свою извел, Устин, на забавы — картиночки красками мазал, игрушечки из глины лепил. Дело...

Ксюхин. Сыт от земли... И только-то? А не маловато ли этого для человека, парень?

Петька. Ты картинками больше сделал?

Ксюхин. Я картинками своими тебе глаза открыть хотел; оглянись, Петр Дежкин, вокруг: на радугу в небе, на реку под закатом, на ту же росу — красив мир, в котором живешь. Обрадуйся! Почувствуй себя счастливым!.. Нет, не хочу. Сыт, и ладно.

Катя. Петька... а я красивая?

Ксюхин. Хоть это-то заметил ли ты?

Петька. Два года назад еще заметил.

Катя. И почему-то об этом за два года ни разу мне не сказал.

Петька. Сама небось не хуже меня знаешь — не крива, не горбата, все на месте.

Катя. Знаю, а от тебя услышать хотелось.

Петька. Чудно.

Ксюхин. Удивления ей хотелось. Нет его у тебя. Берегись, Петька.

Петька. Чего беречься?

Ксюхин. Как бы худо ей с тобой не стало.

Петька. Это со мной-то худо?

Ксюхин. Досыта ее накормишь, а радости не дашь. Сытная жизнь и без радости — страшно, поди.

Петька. Не замечал, не страшится она. А вот тебя, Устин, видать, в свое время девки побаивались.

Ксюхин *(после легкой паузы, грустно)*. Не побаивались, парень...

Петька. Почему тогда холостым остался?

Ксюхин. Меня все, как ты сейчас, тогда за нормального не считали.

Петька. И верно делали.

Ксюхин. Тогда время было такое — о хлебе мечтали... Но нынче-то хлеба полно. Так очнитесь, люди! Огля-

нитесь друг на друга, удивитесь друг другу. Пора! *(С улыбкой глядя на Катю.)* Эх, если б мне талант!..

Катя *(слегка растерянно).* Талант?.. А разве его нет у тебя?.. *(Кивает на памятник.)* Разве это не твой талант стоит, дядя Устя?

Ксюхин. Оно, может, и талант, да маловат.

Петька *(почтительно косясь на памятник).* Куда больше-то, трактором не своротишь.

Ксюхин. Ежели мне великий талант, как у Репина, скажем, али у Шишкина... Были гиганты! Я бы тебя, Катенька,— на холст. Твои глаза, твою улыбочку, чтоб брызгала, чтоб издалека ездили — глянуть, глоточек счастья испить.

Катя. Как ты говоришь, дядя Устя!

Петька. Говоришь хорошо, а все-таки камень лучше рубишь. Ишь какого героя вырубил!

Ксюхин. Да неужели нравится?

Петька. Серьезная работа. На века! А что?..

Пауза.

Ксюхин *(глядя на памятник).* Нас даже Петька Дежкин признал, Иван.

Петька. Почему не признать, коли стоящее?

Ксюхин. А не сразу нас признали. Двадцать лет я тебя, Иван, вырубал из старой могильной плиты. Двадцать лет в сарае — тюк да тюк! Плита-то была громадная, двоих прикрывала. Два брата Тюриковы когда-то под лед провалились. Богатые купцы, староверы. Надпись вязью: «Упокой, Господи, рабов твоих...» И крест восьмиконечный. А я тюк да тюк, молоточком да зубилом — и крест, и рабов божьих Тюриковых, чтоб своего товарища из могилы поднять... Двадцать лет — в голодные годы, в военные годы... И все двадцать лет надо мной смеялись — свихнулся Устин Ксюхин. А потом и смеяться перестали — забыли. Стоял каменный Иван Востров, мой старый товарищ, в сарае, никому не нужный. А я верил — вспомнят, верил — признают... Вспомнили. Признали. Теперь даже ты, Петька Дежкин...

Петька. А что, Петька Дежкин глупей других — стоящее от нестоящего не отличит?

Ксюхин. Обожди, Петька Дежкин, я еще заставлю тебя голову от земли поднять, я еще научу тебя миру удивляться да радоваться.

Петька. Чудные вы все. Одна с каменным дедушкой тут разговаривала — заслушаешься. Другой все учить набивается — не знай чему...

Входит Локтев, перепоясанный патронташем, с ружьем.

Локтев. Честной компании!.. Устал, бабель-мандебский пролив! Ноги подламываются.

Ксюхин. Ты что это с ружьем, Авдей?

Локтев. В лес с тросточкой не ходят.

Ксюхин. Время-то не охотничье. Ты же законы знаешь.

Локтев. Кончились для нас лесные законы!.. Вместе с лесом. *(Садится, обнимает Ксюхина.)* Эх, Устин, Устин! Ходил я прощаться с согрой. Я в этой Дунькиной согре, считай, треть жизни провел. С удочкой и ружьишком.

Катя *(вздыхая)*. Там малина росла и рыжики...

Ксюхин *(с силой)*. Не понимаю! Не понимаю!

Локтев. Все понятно... Мы со Звонковым Игорем Александрычем вчера до товарища Титкова дозванивались весь день. Дозвонились, сообщил: буду, решение привезу, торжественно объявим.

Ксюхин. Не понимаю! Тебя, Авдей, не понимаю! Любишь же согру! Любишь!

Пауза.

Локтев. Люблю проклятую.

Ксюхин. Люблю и гублю! Рыбак, охотник, треть жизни в согре, а один из первых голос подал, чтоб свести! В голове не укладывается!

Катя. Там малина растет...

Петька. Лирика.

Локтев. Рыбак, охотник, но ведь я еще и главбух совхоза, Устин.

Ксюхин. Что у главбуха, вместо души чернила?

Локтев. Главбух, Устин, не душе верит, а цифре. А честные цифры мне говорят... Где моя волшебная палочка?.. *(Вынимает из нагрудного кармана счетную линейку.)* Положим: шесть тысяч гектаров плодороднейшей земли. С каждого гектара снимем по двадцати центнеров, не меньше. Всего — сто двадцать тысяч, то есть двенадцать миллионов килограмм хлеба. Мы эти килограмчики-то не просто спускаем, а с хитростями — на мясо перегоняем, на яйца, на туковое высокосортное сало. Так что нам каждый килограмм в среднем приносит по сорок и две десятых копеечки. Отбросим две десятых, итого получим — четыре миллиона восемьсот тысяч рублей ежегодно. Помозговать, так и все пять возьмем... Вот что говорит, Устин, моя волшебная палочка. Она никогда не врет.

Ксюхин. А не говорит она, Авдей, что жизнь у нас скучней станет, некрасивей?

Локтев. Привы-ыкнем!

Ксюхин. Это верно. Ко всему можно привыкнуть. Например, какие-то народы в голой пустыне жить привыкли.

Пауза.

Катя. Помню, как я в согре первый белый гриб нашла. Совсем, совсем маленькой была, и гриб большущий, чуть ли не до колена мне. Я потом уснуть не могла, босиком бегала в сени гриб потрогать — тут ли он, не приснился ли.

Ксюхин. У твоих детей, Катя, этого уже не случится.

Петька. Ли-ирика!

Локтев. Первый гриб... А сегодня я своего первого ельца вспомнил. Утречком к тому бочажку вышел. Вода черная, словно вороненая сталь, по ней седенький туманец клочьями. И вдруг — бульк! По черному зеркалу волнишки. Такой же ельчонок, должно... Буду теперь дома сидеть, «Крокодил» почитывать. Стареть, должно, быстро стану.

Ксюхин. За молодостью в согру не ты один бегаешь — со всего района едут. Вынь свою волшебную палочку, бухгалтер Авдей Локтев, пусть подскажет, что дороже — молодость людей или миллионы рублей.

Локтев. Миллионы-то, друг мой Устин, художник первозданный, тоже ведь людей омолаживают. Ныне бабы ведрами воду таскают по два километра — не жалко их тебе? Звонков Игорь Александрович водопровод обещает. А ванна после работы — это не молодость?.. А полная механизация на фермах, когда по стеклянным трубам молоко от коров само потечет куда надо?.. А своя стационарная больница?..

Петька. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

Локтев. Вот именно. Да и не совсем мы себя обездоливаем. Дунькиной согре конец, а лес-то засогринский останется. Купим на свои миллионы автобусы, будем коллективно ездить в этот лес... отдыхать.

Ксюхин. Ты же знаешь, Авдей, что говорит лесничий Самсониев.

Локтев. Пугает... по служебной обязанности.

Ксюхин. Говорит: высохнет согра, высохнет и лес. И климат изменится, и засухи начнутся. Вот тогда-то: будем ли мы богатыми и здоровыми? А может, бедными и больными?

Л о к т е в *(подымаясь)*. Эх, бабель-мандебский пролив! Зря языками треплем — решено и записано. Товарищ Титков, верно, уже приехал. Скоро сюда соберется народ, чтоб выслушать и порадоваться. Никакие лесничие не помешают... Надо пойти умыться да переодеться.

П е т ь к а *(Кате)*. Пошли и мы. Я галстук надену. Праздник не праздник, а вроде бы.

К с ю х и н. Народ соберется сейчас... Что ж...

Л о к т е в. Эй-эй, Устин! Не вздумай дурить.

К с ю х и н. Лесничий Самсониев на моей стороне.

Л о к т е в. Лесничий — человек дела, никак не художник, голым лбом кирпичную стену прошибать не станет.

К с ю х и н. Думаю, что станет... Человек дела и совесть имеет.

Л о к т е в. Совесть-то должна разума слушаться. Совестливый дурак обычно сам себя наказывает.

К с ю х и н. А бессовестный умник — других. Уж лучше сам себя.

П е т ь к а. Вот и договорились — все ясно.

К а т я. Лучше себя... Как странно!

Л о к т е в. Бабель-мандебский! Бывают же такие упрямые!

К а т я. И добрые...

П е т ь к а. Пошли!

К а т я *(двигаясь за Петькой, задумчиво)*. Лучше себя...

Локтев, Катя, Петька уходят. Ксюхин один остается под памятником. Долгая пауза.

К с ю х и н *(разглядывая памятник)*. Иван, Иван... Посмотри на своего друга. Мне скоро шестьдесят семь стукнет. А тебе?.. Тебе, как было, так и есть — тридцать три...

Пауза. Сзади появляется п р о х о ж и й, останавливается, с жадностью и некоторым волнением вглядывается снова в памятник.

К с ю х и н *(не замечая прохожего)*. Интересно, Иван, ты бы сейчас спасал согру иль нет?.. Может, и нет. Ты же любил корчевать под корень. *(Пауза.)* Я часто думаю, Иван: мы с тобой из другой жизни, из другой страны, совсем, совсем непохожей. Страна нашей молодости, Иван... В речке Окунице даже стерлядка водилась, а землю — смех и грех — сошкой ковыряли. Вот бы показать Петьке Дежкину соху: болозно, рассоха, рыльник... А ты, Иван, в своей жизни не видел трактора. Согру смахнуть — скажи это тебе кто-нибудь, подумал бы — свихнулся человек. А вот выедет Петька Дежкин со своими

дружками на эту согру. Что им — сильны. Так сильны стали люди, что пришла пора бояться своей силы. Слышишь, Иван?..

Прохожий *(сипло)*. Это не он. Врешь.

Ксюхин *(оборачиваясь)*. Что?

Прохожий. Врешь, говорю. Он был так себе — сморчок, а тут гора целая.

Ксюхин. Ты кто?

Прохожий. А никто.

Ксюхин *(вглядываясь)*. Что-то вроде бы знаком... Хотя нет. Как звать?

Прохожий. Имена человеки носют, а я уж не человек.

Ксюхин. Кто же ты тогда?

Прохожий. Заблудший.

Ксюхин. Это одно другому не мешает. Мало ли на свете заблудших людей.

Прохожий. С этого света я, считай, ушел, а на тот еще не пришел. Заблудший, значит.

Ксюхин. Право, что-то ты мне знаком, заблудший. Не припомню только, где виделись.

Прохожий. Может, виделись, может, нет — разве важно? Важно, что увидимся ишо. Все туда идем. Я, похоже, теперь впереди, за мной все.

Ксюхин. Вот обрадовал.

Прохожий. Неуж не радостно? Все мы здесь на чужбине, родина-то там — в сырой земельке. Из праха поднялись, в прах уйдем. Я нынче вождь Моисей, веду в родные палестины.

Ксюхин. Ну, Моисей, мы с тобой не договоримся. Ты к мертвым зовешь, а я-то как раз из мертвых подымаю.

Прохожий. Хе-хе! Кого поднял?

Ксюхин *(указывая на памятник)*. Вот его. Снова над жизнью поднялся.

Прохожий. Хе-хе! Зачем?

Ксюхин. А затем, вождь Моисей, что это был такой человек, которому и после смерти жить среди людей следует.

Прохожий. Чем же он так унородил?

Ксюхин. Несчастных хотел сделать счастливыми. И, учти, не только тех, кто с ним рядом жил, а всех людей всего круглого мира. Разве мало?

Прохожий. Сделал счастливыми всех?.. Хе-хе!.. Во всем мире?..

Ксюхин. Не успел. Убили.

Прохожий. А если б не убили?

Ксюхин *(после паузы)*. Наверное, тоже не успел бы. На такое дело мало одной жизни.

Прохожий. А много жизней поможет?.. Хе-хе!.. Сколько людей по земле прошло. И ведь кажный — хе-хе! — о счастье... А где оно?.. Счастье — тень. Хе-хе! До него *(показывает на памятник)* за тенью гонялись, после него, после нас будут гоняться. Гоняйтесь, гоняйтесь, глупые люди, к одному прибежите, кажный!.. Там покой, там счастье... Хе-хе!

Ксюхин. Где-то я тебя видел.

Прохожий. И я таких, как ты, видел. И таких, как он... ловцов счастья. Хе-хе!.. Вместе с ними в Сибири лес рубил. И много их в землю ушло, успокоилось. Хе-хе!..

Ксюхин. Может, ты все-таки перед могилой-то оглянешься, заблудший. Оглянись, прежде чем в земле исчезнуть: над землей-то солнце светит, а по земле ходят люди, они сыты, они одеты, у каждого крыша над головой, и молодость их радует, и старость их не пугает. Оглянись: может, они уже и сейчас толику своего счастья получили?

Прохожий. И все одно — им мало, им мало! Все одно недовольны!

Ксюхин. Так это же хорошо, когда людям не хватает. Совсем плохо, когда уж им ничего не захочется.

Входят Степан и Фаина — степенные муж и жена, многолетняя совместная жизнь наложила на них печать одинаковости, они схожи друг с другом одеждой, манерой держаться, выражением лица.

Прохожий. А вот... Самые что ни на есть обнакновенные. Со мной не пожелаете ли? Ась?

Фаина. Степа, кто это?

Степан. Не знаю, Фаина.

Прохожий. Вам чего-то хочется, счастливые! Хе-хе! Я устрою!..

Фаина. Степа, что это он?

Степан. Не знаю, Фаина.

Прохожий. Идемте со мной! Хе-хе!.. Устрою, как в песне: «Все, что было загадано, все исполнится в срок...» Иль не хотите? Ась?

Фаина. Мне чтой-то страшно, Степа.

Степан. И мне, Фаина... того...

Ксюхин. Иди, заблудший. Не пугай добрых людей.

Прохожий. Не меня бойтеся! Не-ет! Се-ебя-а! Хе-хе!.. Кажный сам себя обмануть хочет: иди туда, не знай

куда, возьми то, не знай что! Хе-хе!.. А приходят-то к одному. Все! Все до единова!

Фаина. Степа, пойдем отсюда.

Степан. Нельзя, Фаина. Нам собраться наказано... возле памятника.

Ксюхин. Сейчас сюда люди придут, заблудший. Много людей.

Прохожий. Иду, иду... Оставайтесь себе, обманывайте себя... Хе-хе!.. *(Удаляется, поет надтреснутым голосом.)* «Все, что было загадано, все исполнится в срок...» *(Уходит.)*

Пауза. Все трое молча глядят ему вслед.

Фаина. Куда это он нас звал, Степа?

Степан. Не знаю, Фаина.

Ксюхин. Куда может позвать заблудший?

Фаина. Он с собой нас... Нас!.. Да мы со Степой нынче только жить начали по-настоящему.

Степан. Уж что верно, то верно.

Фаина. Травку ели, куглину ели, кору толченую тоже...

Степан. Детишек из дома гнали: идите, мол, болезные, пропадете возля отца с матерью.

Фаина. Теперь дети все в люди вышли. Леха-то, старший, доктором стал.

Степан. И у нас — кажный месяц зарплата. Дом железной крышей покрыли, телевизор завели... Как все, так и мы.

Фаина. Теперя нам только и живи...

Ксюхин. И вам больше ничего не нужно?

Степан и Фаина переглядываются.

Фаина. Да как сказать, Устин...

Степан. Есть одна мечтишка.

Фаина. Наше-то село — город не город, а вроде этого станет.

Степан. Большие дела Звонков закручивает.

Фаина. Вот и точит нас — скликать бы сюда Леху с семьей, Маньку с мужем и Нюшку тоже... Скоро тут всем дело найдется.

Степан. В двух домах бы поселились рядышком.

Фаина. Внученьки бы кругом нас бегали.

Степан. Вечерами чаи вместе гоняли, о политике бы беседы вели... А не хошь о политике — телевизор смотри.

Ф а и н а. Господи! Да неуж такое счастье быть может!

Пауза.

К с ю х и н *(задумчиво)*. Дай вам бог этого счастья.

Степан растроганно крякает, Фаина вытирает концом платка глаза. Пауза. На заднем плане за памятником появляются д е в ч а т а парочками, п а р н и тесной кучкой. Они останавливаются поодаль друг от друга, беседуют, смеются.

С т е п а н. Мы смирные. Наше счастье никому не помеха.

Ф а и н а. Много ли нам нужно — чтоб внучата вокруг...

Бодро входит г а р м о н и с т — брюки клеш, начищенные хромовые сапоги,— победно оглядывается, растягивает меха, выдает бравурное.

Г а р м о н и с т. Где народ — там и я! *(Играет.)*

Парни и девчата, смешавшись, двигаются в его сторону, обступают.

Где я — там и народ! *(Сдвигает меха гармони, горделиво оглядывает окружившую молодежь.)* Дружки мои и подружки! Скажите мне: можно ли жить без гармони?..

П е р в а я д е в у ш к а. Геночка, сыграй нашу, низовскую.

Г а р м о н и с т. А что такое гитара, скажите мне, дружки мои и подружки?

П е р в а я д е в у ш к а. Геночка, ты лучше сыграй.

Г а р м о н и с т. Занесена с гнилого Запада! Русский мужик никогда не веселился под гитару!..

За сценой раздается звонкий удар.

Слышите?.. Идут... Дружки мои и подружки! Они отвернулись от русского, а мы отвернемся от них!.. И-ех! *(С силой раздвигает меха, играет.)*

Под яростные переборы гармошки выплывают на сцену д в а п а р н я и д е в и ц а — пестрые рубахи, узкие джинсы, нестриженые волосы; у одного через плечо гитара с бантом, второй вооружен медным тазом и колотушкой, девица не вооружена ничем.

Г а р м о н и с т *(играя)*. Девки! Дави морально растленных!

П а р е н ь с т а з о м *(бьет по тазу)*.

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!..

Г а р м о н и с т *(играя)*. Девки! Нашу, низовскую! Народную!

П е р в а я д е в у ш к а *(выскакивает вперед, пляшет и поет)*.

Низом, низом мы по реченьке,
По реченьке идем!
Мы по-низовски, по-низовски,
По-низовски поем!

Парень с тазом энергично бьет по тазу, глушит гармонь. Парень с гитарой ударяет по струнам.

Девица в джинсах, парень с гитарой *(поют)*.

Меж пер-рца и м-ма-лаг
П-пад небом м-модных хижин
Кос-стлявый как бур-р-лак
Пев-вец был юн-н и хищен!..

Гармонист *(с силой разводя гармонь)*. Дав-ви морально!..

Вторая девушка *(вырываясь вперед, пляшет и поет)*.

Ходят по миру портки,
И фатой покрытые.
Тунеядец с тунеядкой
Давят форс в открытую!

Парень бьет колотушкой по тазу.

Девица в джинсах, парень с гитарой.

И ог-гненной настурцией,
робея и наг-глея,
гитара, как натурщица,
лежала на коленях!

Часть парней и девушек оттягиваются к певцам с гитарой.

Гармонист *(неистовствуя)*. Девки! Спасай наше Низовское!

Вторая девица *(выплясывая)*.

Не целуй меня взасос,
Я не богородица,
Все одно Исус Христос
От меня не родится!

Парень бьет в таз.

Девица в джинсах, парень с гитарой.

М-мы — дети тех гитар-р
отважных и дрож-жащих,
меж подруг дражайших,
неверных, как янтарь.

Первая девушка.

Мы по-низовски, по-низовски,
По-низовски поем!..

Шум, смех, гармошка, частушки, взвинченные высокими девичьими голосами, песня гитаристов, удары в таз — все смешалось в одном общем гвалте. В это время появляются принаряженные Катя и Петька.

Катя. Ой, как тут весело!

Петька. Что за шум, а драки нет?

Гармонист. Петька! Друг! Морально растленные житья не дают.

Парень с тазом *(бьет)*. Ти-хо! Речь хочу!

Гармонист *(рвет меха)*. Не р-раз-зрешаю! *(Играет бравурное.)*

Парень с тазом *(бьет в таз, глушит гармошку)*. Ти-хо! Слушай нашу программу!

Гармонист. Петька, друг! Ты человек авторитетный. Спасай село!..

Парень с тазом. Объявляю: перед вами джазовый ансамбль трактористов под названием «Двое с прицепом»! Они — двое *(указывает на девицу и парня)*, а прицеп — это я!

Катя. Ой, как интересно! А меня примете?

Петька. Я те дам!

Катя. Я и на прицеп согласна.

Петька. Чтоб ты вот так в штанах и патлатая...

Гармонист. Спасай село, Петька! Растленные массы охватывают!

Парень с тазом. Наша, так сказать, программа: ознакомить село Низовское с искусством двадцатого века! Долой старомодность! Даешь модерн! *(Бьет в таз, поет.)*

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!..

Катя *(Петьке)*. А что ты сделаешь, если я к ним?..

Гармонист. Дави морально!..

Петька *(Кате)*. Не сходи с ума!

Парень с тазом. Кто с ним *(указывает на гармониста)* — в сторону! Кто с нами — сюда!

Катя. Я пошла, Петька... А ты — как хочешь.

Парень с тазом. Старое и новое — раскалываемся!

Катя идет в сторону новоявленного ансамбля, Петька растерянно топчется.

Гармонист. Петька! Сюда! Где я — там Россия!

Петька. Черт!.. *(Идет за Катей.)*

Гармонист. Какие люди погибают! И-эх! *(Выдает аккорд.)* Кто за наше, за низовское!.. *(Играет: «Мы по-низовски, по-низовски...»)*

Гармонист идет в одну сторону, ансамбль — в другую. Звуки «низовской» песни: «Меж перца и малаг...» Одна часть молодежи следует за гармонистом, другая — за ансамблем. Те и другие располагаются на заднем плане по обе стороны от памятника.

Фаина. Думала, передерутся ищо.

Степан. Раньше на гулянках парни из-за девок дрались. Теперь — не пойми что.

Фаина. Одни стрижены, другие нестрижены.

Ксюхин *(задумчиво)*. Не пойми что...

Появляется Самсониев в форме лесничего с полевой сумкой.

Самсониев *(Ксюхину)*. Здравствуй, низовский Пракситель.

Ксюхин. Здравствуй, лесной дух. Меня пугали, что ты не явишься.

Самсониев. Не доставлю этого удовольствия. *(Кивает на веселящуюся молодежь.)* Уже начали праздновать?

Ксюхин. Праздник впереди.

Самсониев. Постараюсь его испортить.

Фаина. Вот уж это никуда не годится.

Степан. Праздник — дело святое.

Самсониев. И часто тяжелое. Головы болят с похмелья.

Фаина *(негромко, мужу)*. Пошли-ко, Степа...

Степан. И то...

Отходят в сторонку.

Ксюхин. Смертный приговор подписан.

Пауза.

Самсониев *(тихо)*. Слышал.

Ксюхин. И все против нас.

Самсониев *(не сразу)*. Не все.

Ксюхин. Кто?

Самсониев. Скажем, Фридрих Энгельс.

Ксюхин. Энгельс?!

Самсониев. И еще история.

Ксюхин. Что-то я ничего не пойму.

Самсониев. Неудивительно. Мы с тобой не вместе, старик, мы ведь тоже на разных позициях. Случайно наши позиции оказались повернутыми в одну сторону.

Ксюхин. Не пойму...

Самсониев. Для тебя Дунькина согра вроде цветка, который жаль срывать. Для меня она — звено большой цепи. Сломаем звено, распадется вся цепь.

Пауза. Ксюхин убито смотрит в землю, едва заметно качает головой. Самсониев кладет ему на плечо руку.

Послушай, Пракситель... Я собираюсь сейчас драться, а ты... Прошу тебя — ты не помогай мне, молчи.

Ксюхин. Почему?

Самсониев. Можешь нечаянно подставить мне ножку.

Пауза.

Ксюхин *(качая головой)*. Не пойми что... Как трудно понять друг друга.

Самсониев. Трудно?.. То ли это слово? С тех пор как появились люди на земле, они только тем и занимаются, что доказывают свою правоту друг другу — словом и мечом, фактом и богом, математической формулой и буквой закона! И сколько лучших из лучших сложило свои головы во имя — пойми!

Пауза. Появляется Локтев, сменивший охотничью куртку на пиджак.

Локтев. Товарищи! Товарищи! Кончай игрище! Сюда! Потесней!.. Идут! Уже идут!.. Сейчас начнем!

Среди собравшихся движение. Все стягиваются поближе к памятнику. Локтев хлопочет возле памятника, возвышение под постаментом которого в дальнейшем будет служить трибуной. Группа с гармонистом во главе и группа с гитаристом смешиваются. Гармонист, парень с гитарой, Петька с Катей оказываются рядом.

Гармонист *(выразительно глядя на Петьку, начинает наигрывать «Вы жертвою пали»)*. Как-кие люди гибнут!.. *(Играет.)* Во цвете лет!..

Катя. Ой, Петенька, тебя хоронят!

Петька *(смущенно)*. Да ладно уж, сама же меня...

Гармонист *(играет похоронное)*. Был русский богатырь... Илья Муромец!.. *(Аккорд.)* Алеша Попович!.. *(Аккорд.)* Станет *(горестный аккорд)*... битник!

Катя. Заплачу сейчас!..

Гармонист *(играет, поет).*

Хожу нестриженым, небритым,
Бываю раз в неделю сыт,
Зовут меня космополитом,
А я и есть космополит!

Катя. Попроси у него прощения, Петенька!

Петька *(гармонисту).* Заткнись, не то по черепу!..

Гармонист со скорбным видом сдвигает меха.

Парень с тазом *(гармонисту).* Старое умирает, новое нарождается — диалектика, дядя!

Появляются директор Звонков, молодой, энергичный, красивый мужчина, и представитель областной организации Титков — человек скорее застенчивый, чем начальственный по виду.

Локтев. Товарищи! Товарищи! Чуть в сторонку, товарищи!

Звонков *(кивая во все стороны).* Здравствуйте... Здравствуйте... *(Степану и Фаине.)* Как живется-любится, молодые?

Степан. У нас полное равновесие, Игорь Александрович.

Фаина. Как нужно, так и стараемся, Игорь Александрович.

Звонков *(Ксюхину).* А-а, маэстро! Рад тебя видеть!

Ксюхин. Уж так и рад?

Звонков. Разве на этот счет есть сомнения? Разве тебя кто-то понимает лучше моего?.. *(Замечает Самсониева, обрывая себя, сухо, сдержанно.)* Вы пришли?

Самсониев. Я пришел.

Звонков. С оливковой ветвью или с камнем за пазухой?

Самсониев. Со своим мнением... которое, как вы знаете, за пазухой не держу.

Звонков *(Титкову).* Извольте познакомиться — автор той знаменитой докладной записки, лесничий Самсониев.

Титков. Вам сообщили, товарищ Самсониев, что профессор Худояров по вашей записке...

Самсониев. Профессор Худояров сделал весьма умозрительное заключение. Он в этих местах ни разу не был, я же тут работаю двенадцать лет.

Титков. Хотите сказать, что вы более компетентный человек, чем Худояров?

Самсониев. В данном вопросе — да.

Титков. Простите, но мы не можем доверять вам и не доверять общепризнанному авторитету в науке.

Самсониев. Догадывался, поэтому попытаюсь опереться на другой, более крупный для всех нас авторитет.

Звонков. Эге! «Зажглась, друзья мои, война, и развились знамена чести».

Титков. Поздно, товарищ Самсониев, поздно. Мы пустили по рельсам тяжелый состав, повернуть его в обратную сторону просто не представляется возможным.

Самсониев. Пока цела сограм— не поздно!

Звонков. «Зажглась, друзья мои, война...» В таком случае начнем, не оттягивая. *(Увлекая за собой Титкова, направляется к памятнику.)*

Ксюхин *(негромко)*. Зажглась война... от не пойми.

Самсониев. Война — это тоже метод доказательства.

Ксюхин с сомнением качает головой.

Звонков *(утвердившись под памятником)*. Товарищи!.. Разрешите без лишних слов приступить к делу. Представитель областного отдела сельского хозяйства товарищ Титков привез нам важное известие. Попросим его нас проинформировать.

Оживленное движение. Звонков уступает место Титкову.

Титков. Вчера на расширенном заседании областного совета депутатов трудящихся было принято решение — поддержать совхоз имени Ивана Вострова с освоением новых земель на территории, носящей название Дунькина согра!..

Аплодисменты. Оживление.

Гармонист *(шевелясь в толпе)*. Дайте развернуться! Дайте чуток свободушки! Туш хочу!

Титков. Областной совет постановил: выдать вам, то есть совхозу имени Ивана Вострова, долгосрочный кредит на сумму... один миллион пятьсот тысяч рублей!..

Шум, аплодисменты, гармонист снова шевелится в тесной толпе.

Локтев. Воистину золотые слова!

Титков. Кроме того, в ваше распоряжение выделяется специальный механизированный мелиоративный отряд!..

Петька *(из толпы)*. Кусторезы будут?

Титков. Будут.

Петька. И канавокопатели?..

Т и т к о в. И канавокопатели, и крупноковшовые экскаваторы, и дренажирующие механизмы.

П е т ь к а. Мать честна! *(Бесцеремонно отталкивая от гармониста людей.)* Давай музыку!

Гармонист исполняет туш. Парень с тазом аккомпанирует ему.

Т и т к о в *(призывая поднятой рукой к тишине).* Но, товарищи, учтите, не так-то просто было добиться этого решения. Всюду по области широко строятся, не только одни вы проводите улучшение земель, со всех сторон нас осаждают просьбами о кредитах, требованиями выслать мелиоративные отряды. Чтобы оказать вам помощь, пришлось многим сказать «нет», кого-то крупно обидеть. Помните это, товарищи, и постарайтесь доверие оправдать самоотверженным трудом!..

Шум, аплодисменты. Голоса: «У нас не сорвется!», «Будьте спокойны!», «Ударим по согре!».

Т и т к о в. Вот и все, что хотел я вам сказать. *(Отходит в сторону.)*

З в о н к о в *(заступая).* Так что ж, товарищи, мы добились всего, чего хотели. Радостно, не правда ли?

П е т ь к а. Еще бы!

З в о н к о в. Но не все здесь разделяют нашу радость!..

Шевеление в толпе, люди оборачиваются в сторону Самсониева и Ксюхина. Голоса: «А нам-то что?», «Наша взяла!», «Придет-ца умыц-ца!».

З в о н к о в. И все-таки докажем — не боимся критики. Пусть товарищи выскажут нам в лицо свои сомнения. Они сами этого хотят. Что ж, послушаем... И возразим!

П е т ь к а. Да чего зря время терять?

З в о н к о в. Выслушать мнение противника всегда полезно, товарищи. Лесничий Самсониев, ваше слово. Прошу.

Движение среди собравшихся. Самсониев выходит вперед.

С а м с о н и е в *(спокойно оглядываясь, ожидая тишины).* Вам дают полтора миллиона в кредит... Немало. Вам бросают специальную технику — тоже стоит немалого. И вы только что слышали, эти деньги, эта техника отнимается у кого-то...

Г о л о с и з т о л п ы. Небось отдадим сполна!

С а м с о н и е в. А получится ли?

П е т ь к а. Это почему же не получится?

С а м с о н и е в. А потому, что вы с уничтожением согры станете год от года не богаче, а беднее.

Голоса из толпы. Вот те раз!

— Сказанул!

— Не пугай! Мы непужливые!

Самсониев. Дунькина согра — хранилище влаги. Если ее высушить, то будет сохнуть засогринский лес. Поверьте мне в этом на слово. А этот лес сейчас вместе с согрой каждый день испаряет в воздух миллионы тонн воды. Засохнет лес — изменится климат, начнутся в наших местах засухи. Сейчас вы получаете на своих полях по двадцати, а то и больше центнеров с гектара, станете же получать по десяти, а потом и по пяти центнеров. Вы же сами хорошо знаете — на наших землях хлеб без дождей не растет.

Пауза.

Голос из толпы. Область, выходит, дурее тебя, лесничий?

Самсониев *(спокойно)*. Неосведомленней. Я двенадцатый год изучаю ваши места, знаю не только, что растет и лежит на земле — до последнего пня! — но знаю даже, что у нас под землей, какие воды и откуда текут под нашими ногами. *(Пауза. Не спеша расстегивает полевую сумку, вынимает книгу.)* Разрешите вам прочитать несколько строк. Слушайте: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу природа нам мстит... Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они положили начало нынешнему запустению этих стран...» *(Захлопывает книгу, поворачивается к Звонкову и Титкову.)* Эти слова сказал Энгельс... лет сто тому назад. Забыли мы их. Собираемся корчевать, не заглядывая вперед, по-дикарски. И за такое бездумное дикарство природа нам отомстит. Товарищ Звонков, это твой замысел, твоя идея, поэтому я предупреждаю в первую очередь тебя. При всех! И я, и Энгельс! Опасно!

Пауза. При общем молчании Самсониев не спеша идет к своему месту. Титков глядит вопросительно на Звонкова. Звонков шагает вперед.

Звонков *(спокойно)*. Известный профессор Худояров, к которому обратились мы с этими вопросами, нам ответил — опасности нет, засогринские леса не засохнут. *(Легкое движение в толпе, выражающее облегчение.)* Но давайте, товарищи, поверим на минуту не известному специалисту, не уважаемому профессору, а... лесничему

Самсониеву. Поверим, на минуту,— засохнет. Но скажи, лесничий, этот лес сразу засохнет или постепенно?

Самсониев. Постепенно.

Звонков. А как долго будет длиться это постепенно — пять лет, десять, может, двадцать с хвостиком?

Самсониев. Может, и двадцать.

Звонков. А может, еще больше?

Самсониев. Не исключено.

Звонков. И ты думаешь, Самсониев, что мы все это время будем сидеть сложа руки? А может, мы станем с твоей помощью садить вдоль полей лесные полосы, закладывать вдоль оврагов новые посадки, окружать село... Извините, уже не село, а новый город Низовское садами и парками?.. За двадцать пять лет, за четверть века такие можно поднять леса! Силы у нас будут... Мы и сейчас-то не слабачки, скоро станем во много раз сильней!

Самсониев. Зачем же губить лес, а потом его выращивать? Не лучше ли сохранить старый?

Звонков. Верно, Самсониев, верно. Будем принимать все меры, чтоб старые леса не гибли, а росли и ширились. Не верно только одно, лесничий Самсониев,— пугаешь нас природной местью, ан нет, не получится. Природа-матушка медлительна, не успеет развернуться, как мы ее поправим!

Шум, аплодисменты.

Энгельсом решил нас припугнуть. Не конфузь, лесничий, великого человека. Он эти умные слова для другого времени сказал. И для других людей!

Шум, аплодисменты. Выкрик: «Верно!»

Уж если мы вспомнили Энгельса, то вспомним, что в свое время он сказал и другое: «Наше учение не догма, а руководство к действию». А ты, Самсониев, догматически к словам учителя подошел. Вот, мол, какой я ученый, шарахну-ка деревенских простачков из тяжелого орудия!

Веселый смех, победный шум, аплодисменты.

Самсониев *(делая шаг вперед)*. Придется мне еще раз взять слово, Звонков.

Звонков. Дадим... Но не сразу. Уж разреши нам выслушать всех по порядку. У нас есть еще один противник, пусть и он свое честное слово скажет. Ты потом дополнишь, лесничий. И себя, и его. Ксюхин, ты ведь, кажется, тоже за спасение Дунькиной согры?..

Ксюхин. Пусть уж говорит Самсониев.

Звонков. А ты что же, спасовал? Или, может, ты отрекаешься от своих прежних взглядов?

Ксюхин. Нет.

Звонков. Тогда зачем же тебе прятаться за спину Самсониева?.. Есть у тебя свое за душой — выйди, раскройся... *(Пауза.)* Слово предоставляется Устину Ксюхину.

Ксюхин некоторое время колеблется. Все глядят на него, ждут.

Голоса. Устин-милушко, повесели, ты умеешь!
— Он, бабоньки, стесняется!

Гармонист. Спой нам, Устин: «Сохнет, сохнет краса ненаглядная!» Я подыграю.

Ксюхин *(решительно выходит, с минуту молча оглядывает всех)*. Вот я вас спрошу, земляки: какой у вас был самый светлый час в жизни?.. *(Пауза.)* Припомните-ка каждый. Думается мне, большинство из вас в свое детство оглянутся — там светлый-то час лежит. А детское, светлое это чаще всего нам согра дарила. Разве не так, земляки? Кто из нас не радовался, найдя там самый первый гриб в своей жизни. Или первую горсть ягод... Гриб... Горсть ягод... Кажись, малое. Ой ли? Большое-то счастье у человека из таких вот малых радостей складывается. Не будет больше этих радостей у наших детей. Отнимем мы у них светлое. Скушней им жизнь сделаем. Им, да и себе тоже.

Голос из толпы *(с искренней недоуменностью)*. О чем это он?

Звонков *(с улыбкой)*. О грибах, товарищи.

Второй голос. Эт верна! Без грибов в коммунизм!.. Промашечка!

Смех.

Ксюхин. О радости я говорю. Для чего же мы живем еще? Чтоб радость добыть — себе и детям!

Голоса. И то, какая радость без грибов!
— Уж лучше без хлеба!
— Может, в согру жить переберемся?
— То-то рай!

Общий смех, шум.

Ксюхин. Место, которое радость дает, с земли сводим. Умно ли это?

Голоса. Эх, бросим пахать, по грибам ударим!
— Бабку Клювишну директором! Она по грибам мастер!
— Игорь Александрович, подавай в отставку!

Ксюхин *(смеющемуся Локтеву).* Ты-то, Авдей, чего смеешься? Ты-то от согры молодость получал.

Голоса. Товарища нашел!

— Эй, бухгалтер, поплачь о грибах!

Локтев *(Ксюхину).* Смеюсь и плачу, Устин. Неисправим ты!

Звонков *(Ксюхину).* Что еще предложишь, товарищ Ксюхин?

Ксюхин, с минуту постояв, склонил голову, идет в веселящуюся толпу.

Голоса. Мало сказал!

— Но здорово!

— О чем это он? Никак не пойму.

Звонков. Что ж... Лесничий, ты еще слово просил.

Голоса. Повесели нас!

— Ксюхин о грибах, ты о елочках!

Самсониев. Ловкий ты человек, Звонков.

Звонков. Охота отпала говорить?

Самсониев *(резко).* Шутом быть не хочу!

Звонков. Не моя вина, Самсониев, что у тебя такие веселые единомышленники.

Петька. Мне слово, директор!

Звонков. Слово предоставляется бригадиру тракторной бригады Дежкину.

Петька *(выходя вперед).* Устин, ты тут про светлое детство говорил. Береги, мол, грибочки да ягодки... А мое детство на после войны упало. Светлое... Еще бы. Сладкую кашу из дягиля жрал, колобашки из щавеля. Нет, Устин, я с детства привык счастье в хлебе видеть. В хле-бе — не в грибах!.. Э-э, да что говорить лишка!.. Пашка, выходи!..

Парень с гитарой, перекинув гитару за спину, не спеша выходит к Петьке, становится рядом.

Не смотрите, что он нестрижен, это классный тракторист. По полторы нормы весной выдавал. И ты, Женька, выходи сюда со своим барабаном...

Выходит парень с тазом.

Тоже вот ведь нестрижен, а тракторист будь здоров... Венька! Юрка! Иван!..

Один за другим выходят из толпы ребята.

Видите гвардию?.. Это еще не все. Нас много. У каждого машина, черта своротит... Ребята, а ведь нам чегой-то не хватает, не замечали?

Парень с тазом. Волюшки.

Петька. Верно! Раздолья нам не хватает. Тесновато стало у нас в совхозе, ездим по полям и друг дружку задеваем. Так ли, ребята?

Трактористы *(сдержанно, вразнобой)*. Та-ак... Точно.

Петька. Дело большое нам давай. А то вон, вишь, за гитары да за тазы взялись.

Парень с тазом. Гитару не тронь. Пригодится послушать.

Петька. Мы силы в себе чуем, прикажи — всю землю, как шубу, наружу вывернем, а тут — ой, батюшки, грибы!.. Тьфу!..

Смех.

А может, мы желаем, чтоб на Дунькиной согре заместо грибов апельсины росли али еще какой фрукт небывалый... Может, я лично хочу такое на земле начудить, чтоб мир ахнул, чтоб мне вот, как Ивану Вострову, памятник на века...

Смех. Голос: «Камня не хватит, Петька!»

Хватит камня иль нет — пусть другие думают! Мы дела хотим! И на маленькое не согласны! Не стойте у нас на дороге. Мы — главная сила, мы — механизаторы! Сомнем!.. Верно я говорю, ребята?

Трактористы *(дружно)*. Вер-но!

Петька *(поворачиваясь к Звонкову)*. Вот мы, Игорь Александрович! Веди! И надейся — перед крутой горкой не отступим, сроем ее!

Звонков шагает к Петьке, обнимает его, целует.

Звонков. Спасибо! *(Оборачивается к народу.)* Гляди, Иван Востров, наш родоначальник! Гляди, какие внуки у тебя выросли! С такими землю в сад превратим, апельсины среди снегов расти заставим!

Громкий одобрительный гул.

Петька. Ребята! Качнем директора! За идею!..

Голоса. Верно-о! Качать директора!

Трактористы хватают Звонкова.

Звонков *(пытается освободиться)*. Что вы?.. Что вы?..

Народ колыхнулся, обступил Звонкова. Звонков взлетает в воздух под выкрики: «Раз!.. Еще раз!.. Еще разочек!..» Веселый смех, восторженный ребячий вопль: «Ура-а!..» Ксюхин и Самсониев в стороне.

К с ю х и н. Как всегда... Никто не понял.

С а м с о н и е в. Спасибо за поддержку, Ксюхин.

К с ю х и н. Я же о большом говорил... О самом важном.

С а м с о н и е в. Ножку подставил, свалил. Спасибо.

Никем не замеченный появляется п р о х о ж и й. Смущенного, помятого, растрепанного Звонкова ставят на ноги.

З в о н к о в. Ну и черти! Ну и негодяи!.. Голова кругом...

Прохожий встает перед Звонковым, грязный, заросший, нищенски дикий среди праздничной толпы. Все замечают его, и возбужденный шум смолкает.

П р о х о ж и й *(сипло бормочет)*. Во имя отца и сына и духа святого...

З в о н к о в *(недоуменно его разглядывая)*. Это еще что за явление?

П р о х о ж и й. Начальничек, скажи: это место водой зальется?

З в о н к о в *(озадаченно)*. Да.

П р о х о ж и й. И берег на той стороне?..

З в о н к о в. Тот берег?.. Да, конечно.

П р о х о ж и й. И кладбище?..

З в о н к о в. Старое кладбище?.. Да... Кто ты?

П р о х о ж и й *(отворачивается от Звонкова, подымает глаза на памятник)*. Ванька, ты все-таки отмстил мне, стервец... Ванька, твои выкормыши могилы родительские заливают... Ванька, я из дальних мест сюды брел, чтоб тут лечь... в родную земельку...

З в о н к о в. Кто ты?

П р о х о ж и й. Нету родной земли, Ванька, некуда мне лечь... Отняли! Отняли! Будь проклят ты, Ванька! И весь род твой, и твои последыши!..

З в о н к о в. Эй-эй! О чем ты?..

П р о х о ж и й. В родную землю хочу, начальник... Под водой — не-ет! Не-ет! Не хочу! Начальниче-ек! Родную земельку-у отда-ай! *(Становится на колени.)*

З в о н к о в. С ума сойти!.. Что это такое?.. Кто-нибудь знает его?..

П р о х о ж и й. Христом-богом, начальничек!..

К с ю х и н *(все это время остолбенело стоявший в стороне, шагает на прохожего)*. Ты-ы?!

П р о х о ж и й *(кланяясь Звонкову до земли)*. Вечную родину отымаешь, начальничек!..

К с ю х и н. Ты-ы!.. Я узнал тебя!

Звонков. Кто он?.. Да встань, встань, нелепица!
Прохожий. Ро-о-ди-ну-у отдай, Христа ради-и!
Ксюхин. Иона Горбов, я узнал тебя!
Звонков. Кто?!
Ксюхин. Убийца.
Звонков. Какой убийца? Кого?
Ксюхин *(указывая на памятник)*. Его. Ивана Вострова. Иона Горбов это.

Короткая тишина. В глубокой тишине раздается испуганный выкрик Кати.

Звонков *(тихо)*. Кулак Горбов...
Прохожий. Забыто начальничек, все забыто.
Ксюхин. Ты жив, Иона? После того, что ты сделал, смеешь жить?
Прохожий. Не жив, давно не жив...
Ксюхин. Ты сумел спрятаться от суда, Иона?
Прохожий. Судили, судили, отсидел свое... Чист, рассчитался... Родной землицы дайте!..
Звонков. Прошлое вылезло!
Ксюхин. Что с ним делать, Игорь Александрыч?
Звонков. Что можно сделать с прошлым?
Прохожий. Маленький кусочек родной землицы... Чтоб лечь. Христа ради-и!
Катя *(в толпе)*. Петька, уведи меня. Мне страшно!
Звонков. Можно изменить будущее, но не прошлое.
Прохожий. Землицы-ы! Землицы-ы!
Звонков. Пошли. *(Отходит к Титкову.)*
Катя. Уведи меня, Петька.

Уходят Звонков и Титков, оглядываясь на стоящего на коленях прохожего. Петька берет Катю за локоть и тоже ведет со сцены.

Гармонист. Чего нам на покойника смотреть... Дружки и подружки, пошли отсюда!

Кто-то идет за гармонистом, кто-то остается.

Прохожий. Люди добрые! Кусочек маленький... родины-ы!
Ксюхин. Родину тебе?.. Ты же сам у себя ее отнял, убийца!
Прохожий. Христа ра-а-ади-и!

За сценой слышны звуки гармошки: «Мы по-низовски, по-низовски, по-низовски поем...»

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Перед открытием занавеса слышен стук в раму, девичий голос: «Эй, хозяева! Кто дома? Газетку получите! Сегодня в ней о нашей согре пишут!»

По авансцене проезжает на велосипеде девчонка-почтальонша — туго набитая сумка через плечо, сапоги с широкими хлябающими голенищами, сбившийся на голове платок. Она исчезает, и снова слышен стук в раму, ее голос: «Газетку возьмите! Нынче в ней о Дунькиной согре пишут! Страсть!»

Занавес раздвигается. Та же площадь села, но с другой стороны. Памятник Ивану Вострову в глубине повернут к зрителю спиной. Дали окутаны мутной дымкой. Висит в небе красное солнце, светящее сквозь эту дымку. Ощущение тревоги в воздухе.

На переднем плане несколько садовых скамеек и газетный стенд. Перед газетой тесной кучкой читатели — Ксюхин, Катя, Степан и Фаина, Генка-гармонист без гармони, шофер в промасленной одежде с тормозным барабаном в руках, женщина с ведрами. В стороне валяется помятое старое ведро.

Генка *(читает вслух)*. «Все вышеизложенное красноречиво говорит о том, что уничтожение согры неизбежно... неизбежно вызовет нежелательные, если не сказать катастрофические...» Слышите: «Катастрофические послед-стви-я!» *(Оглядывает всех со значением.)*

Фаина *(вздыхая)*. Ох, батюшки!

Степан. Да-а...

Шофер. Дальше валяй.

Генка. Уже конец, считай... Значит: «Катастрофические последствия... Нужно помнить, что в наш век для человечества опасны не только атомные и водородные бомбы, но опасен и обыкновенный многосильный трактор...» Эх, мать честна! Дает по мозгам! «...обыкновенный многосильный трактор, который легко может выворачивать деревья, перепахивать огромные площади. В неумелых руках такой «мирный» трактор может стать орудием уничтожения жизни на земле». Во как! Трактор вроде бомбы. Оторвал лесничий.

Ксюхин. А ветер с согры тянет дымом...

Женщина. Горит наша согра, горит! *(Уходит с ведрами.)*

Шофер. Черт-те что — одни нас по головке гладят, другие за вихры таскают. Пусть Звонков разбирается. *(Уходит вслед за женщиной.)*

Генка. Наш Игорь Александрович не через такие ямки перепрыгивал.

Катя. Трактор вроде бомбы... Дядя Устя, чтоб трактор!..

Ксюхин. В неловких руках, доченька, и вилка за столом может глаз выколоть.

Катя. А разве у Петьки, скажем, руки неловкие, дядя Устя? У кого ловчее-то, назови?

Ксюхин. Руки головы слушаются.

Генка. Ты, Ксюхин, осторожней на поворотах. У нас голова надежная — Игорь Александрович Звонков совхоз из грязи поднял на должную высоту, всем известно.

Фаина. Как хорошо мы жили-то.

Степан. Спокой-дорогой.

За сценой слышен громкий треск мотоциклетного мотора.

Генка. А вон и Петька с согры прикатил... Газетку почитать.

Фаина. Устин, ты бы от греха. Петька осерчает. Мало ли чего...

Степан. Береженого бог бережет.

Катя. Не уходи, дядя Устя.

Появляется Петька в грязном комбинезоне с темным, закопченным сажей лицом, в мотоциклетном шлеме на голове. Не здороваясь, никого не замечая, он сразу же направляется к газетному стенду.

Генка. Ша, граждане! Ша! Дайте сосредоточиться.

Петька приникает к газете. Долгая пауза, молчание. Все стоят в стороне и наблюдают.

Петька. Тэ-эк!

Генка. Ша, граждане!

Пауза. Петька читает.

Петька. С-сукин с-сын!

Генка. Ша, дорогие граждане! Ша! Доходим до сути.

Пауза.

Петька *(сквозь зубы)*. Подлецы! Негодяи!

Генка. А сейчас концовочка про трактор... Сейчас... Сейчас... Ша полное!

Пауза.

Петька *(одним махом сдирает со стенда газету, рвет ее)*. Писаки вонючие!..

Катя. Петька!

Генка. Подействовало! Даже слишком.

Ксюхин. Бумага виновата, парень.

Петька. Т-ты-ы! Т-ты тут, подпевало!

Ф а и н а. Пойдем-ка, Степа.

С т е п а н. Мы люди смирные.

Фаина и Степан поспешно удаляются.

П е т ь к а *(шагая на Ксюхина)*. А ну, покажи свою рожу! Не стесняйся!.. Виж-жу — доволен, словно сметаны нализался!

К а т я. Петька, да ты что?

П е т ь к а. Спасаешь?.. Не бойся, не трону... Я ему одно только покажу. Вот!.. *(Выкидывает вперед грязные от работы руки.)* Погляди на них внимательней! Эти руки тысячи пудов хлеба из земли подняли! Они много сотен людей накормили!.. Теперь ты мне свои руки покажь, не стесняйся. Ручки-то твои всю жизнь держали... кисточку для красочки.

К а т я. Не смей, Петька!..

П е т ь к а. Нет уж, смею! Потому что такие, как он, бьют меня по рукам: не давай воли своим рабочим рукам, не смей добывать хлеб!

К с ю х и н. Статья-то не моей рукой писана, а рукой лесничего. Эта рука тоже для тебя плоха?

П е т ь к а. Может, ты его руку с моей сравнишь? Тоже мяконькая, интеллигентная!

К а т я. Да остынь ты!

П е т ь к а. Остынь, не обижай блаженного! Не смей ему правду в лицо сказать!

К с ю х и н. Какую правду, Петр?

П е т ь к а. А такую — ты паразит, Устин! Ты вошь на нашем теле!

К а т я. Ты с ума сошел!

К с ю х и н *(глухо)*. Что-то новенькое.

П е т ь к а. Тебе скоро семьдесят стукнет, жизнь позади. А что ты сделал за эту жизнь? Добыл ли ты кому кусок хлеба? Надоил ли ты детишкам хоть один стакан молока?

К а т я. Это подло!

П е т ь к а. Подло захребетником быть, на рабочий класс сверху поплевывать. Подло из-за угла рабочим людям палки под ноги бросать!

К с ю х и н. Не слишком ли, Петр?

П е т ь к а. Ах, я забыл! Ты же за свою жизнь камень обтесал. Один-единственный!

К а т я. Неправда! Не один камень! Возле дяди Усти люди греются!

Петька. Скажи, Устин, скажи, не стесняйся, что, помимо камня этого, сделал?.. Ну!

Пауза. Ксюхин молчит.

Петька. Ну?!

Катя. Дядя Устя! Родненький, не молчи! Скажи ему, что не только камень... Ты еще что-то... Что-то важное. Скажи, я назвать не умею.

Пауза. Ксюхин молчит.

Дядя Устя!

Пауза. Ксюхин молчит.

Дядя Устя!

Ксюхин *(тихо)*. Может, он и прав, доченька.

Пауза. Катя в онемении уставилась на Ксюхина. В это время в глубине сцены появляется прохожий Иона Горбов.

Иона *(проходя через сцену, гундосо, пророческим голосом)*. И отворился кладезь бездны, и вышел дым из кладезя; и помрачилося солнце и воздух от дыма из кладезя... Гря-дет! Ждитя! Гря-дет! В чаде земля! Грядет на землю саранча!.. *(Исчезает.)*

Пауза.

Генка *(глядя в сторону, куда исчез Иона)*. Третий день по селу мотается, о конце мира кричит.

Пауза.

Ксюхин *(тихо)*. И в самом деле, что я сделал в жизни... кроме камня?

Катя. Я ничего не понимаю... Ничего!

Петька *(остыв, сумрачно)*. Живи. Не один ты пустоцвет. Прокормим... Только не мешай нам.

Генка *(сочувственно, Ксюхину)*. Вот ежели б ты, Устин, на гармони играл, полезное для народа искусство.

Катя. Я ничего не понимаю.

Появляются Звонков и Локтев, одетые по-дорожному, озабоченные, решительные.

Звонков. Лесничий тут не появлялся?

Петька *(вскидываясь)*. Кто-о?!

Звонков *(сухо)*. Лесничий Самсониев.

Петька. Он — сюда-а?.. Он посмеет?.. После этого?.. Да я его!

Звонков. Ты ему скажешь: «Здравствуйте». И наивежливейше. Большего от тебя не потребуется.

Петька. Да за эту статью!.. Игорь Александрович!..

Локтев. Эге! А кто это газетку-то сорвал?

Петька. Игорь Александрович! Да у меня сердце переворачивается!..

Звонков. Кто сорвал газету?

Петька. Ну, я.

Пауза. Звонков разглядывает Петьку.

Локтев. Поступочек-то хулиганский, бригадир.

Звонков *(негромко чеканя)*. В следующий раз за такие штучки передам в руки участкового... На пятнадцать суток!

Петька. У меня сердце кипит, Игорь Александрович!

Звонков *(сухо)*. У меня тоже. *(Локтеву.)* Повесить немедленно новую газету.

Локтев. Будет сделано.

Звонков *(Петьке)*. Лесничий скоро придет сюда. Не забудь поздороваться, если увидишь... И повежливей.

Петька молчит.

Иль не слышал?

Петька. Слышу.

Звонков. Повежливей. Не как сейчас со мной, воротя нос.

Петька. В губы его расцелую... за статью.

Звонков. Можешь и в губы, если нравится, только «здравствуйте» не забудь.

Генка. Ему за трактор очень обидно, Игорь Александрович. Самсониев трактор опасной машиной назвал.

Звонков. Трактор вынесет, он железный.

Петька. Мы тоже... железные.

Звонков. Мы — тоже. Не кусай — зубы обломаешь.

Катя. Игорь Александрович!

Звонков. Что, красавица?

Катя. Игорь Александрович, скажите... Он... *(Указывает на Ксюхина.)* Только честно скажите...

Генка. Спор у них вышел с Петькой, так сказать, насчет полезности Устина Лазаревича.

Катя. Он же полезный человек. Да?.. Только честно, Игорь Александрович!

Пауза. Звонков глядит мимо Ксюхина.

Петька. Памятник один за всю жизнь.

Звонков *(скупо)*. Да, памятник.

Катя. Он же добрый, Игорь Александрович! Добрый!

Локтев. Кто может в этом сомневаться.

Звонков. У меня сомнение.

Катя. К-как?!

Звонков. Доброта, красавица, в чем-то должна выражаться. В хлебе, который человек выращивает, чтоб накормить других, в стихах, в картинах...

Генка. Он рисовал картинки.

Звонков. И что же? Они висят в музеях или клубах, на них любуются, с них глаз не сводят?..

Петька. Навалом лежат у него эти картинки в сенях. Он даже печку ими растапливает.

Звонков. Никто не интересуется, никому не нужны. И это выражение доброты? Доброта, ненужная людям?.. Приходится сомневаться: доброта ли это?

Генка. Эх, если б ты, Устин, на гармошке умел играть! Вот что люди-то ценят.

Ксюхин. На гармошке не умею.

Катя. Что-то не то! Не то!

Ксюхин. Не надо, доченька, не защищай. Что уж...

Катя. Дядя Устя! Не верно это! Нет! Чувствую. Сказать не могу, а чувствую.

Локтев. Что-то ты, Игорь Александрович, строго сейчас.

Катя *(Звонкову)*. Не согласна с вами! Не согласна!

Звонков. Не неволю.

Локтев. Даже если он один памятник после себя, значит, не зря жизнь прожил.

Звонков. Памятник?.. Гм... Ну, мне пора. Как придет лесничий Самсониев, скажите, чтоб ждал. Я в ремонтные мастерские и сразу обратно. *(Петьке.)* Будь вежлив, помни... *(Локтеву.)* Не забудь распорядиться, чтоб газету повесили.

Локтев. Будет сделано.

Звонков уходит.

Петька *(Кате)*. Пошли и мы.

Катя. Иди, я приду.

Петька. Понянчиться хочешь, ну понянчись. Обидели лапушку. *(Уходит.)*

Катя. Дядя Устя, почему ты молчал? Почему ты соглашался?

Пауза.

Ксюхин. А что мне сказать, доченька?

Катя. Неужели, дядя Устя, ты тоже себя?..

Ксюхин. Я всю жизнь пачкал бумагу, пачкался в глине. И что?.. А ничего. Если и глядели мои картинки, если даже хвалили их, то тут же забывали.

Катя. Неправда! Твои картинки вешали на стену. У Губиных недавно видела, висит твоя картинка!

Ксюхин. Висит... Обои переклеивать станут — выбросят... Следов не останется.

Генка. Не на нужных ладах ты всю жизнь играл, Устин. Вот ежели б гармонь...

Локтев *(Генке)*. Сбегай-ка, дружок, в контору, принеси сюда свежую газету. У меня на столе лежит номер.

Генка. Одна нога здесь, другая там... Искусство должно быть массовым! Слышал такое, дядя Устя?

Локтев. Иди уж!

Генка. Бегу! Одна нога здесь... *(Убегает.)*

Пауза.

Катя. Что-то не так... Ничего не пойму!

Локтев *(берет Ксюхина за локоть, ведет к скамейке)*. Знаешь, Устин, у меня жизнь, верно, намного скушнее прошла, если б тебя рядом не было.

Катя. У меня тоже.

Локтев. Картинки твои... Хороши они? Не знаю. Может, мы здесь, в Низовском, оценить их не умеем.

Ксюхин. Хороши — плохи, какая разница, если они следов не оставляют.

Локтев. Не оставляют? А ведь нет! Помнишь сосенку, что сразу за селом у дороги стоит. Так себе сосенка — старенькая да гнутая. Тыщу раз я мимо нее проходил — есть она, нет ее, для меня все равно, не замечал, и только. И вот как-то раз, утречком, помнится, я перед ней тебя увидел: сидишь со своим ящичком, портрет с нее делаешь. Заглянул я через твое плечо, полюбопытствовал, и вижу на бумаге — ветка у сосенки коленом, и солнышко на стволе, и ствол-то сам каленый. С той поры как прохожу мимо сосенки, любуюсь korявенькой. От тебя пошло, что я стал замечать больше. По согре с ружьишком брожу и все выглядываю — то зорька в еловых лапах

запуталась, то туманец над бочажком лучи солнышка всосал в себя и цветет всячески... Иной раз так душа взыграет — благодать! И как тебе, Устин, за эту благодать «спасибо» не сказать. Кто это понять не может, пусть тому хуже будет.

Катя. И это еще не все! Ты, Авдей Иванович, на сосенки да на туман по-иному глядеть стал, а я на себя. Да, дядя Устя! Да! Побуду, бывало, рядом с тобой, послушаю... Никто красивей тебя в селе не говорит! И за собой потом слежу: такая ли я, как нужно? Хочется лучше быть.

Локтев. А говоришь — следов в людях не оставляешь.

Ксюхин. Эх, я и сам себя этими баснями обманывал: мол, меняю людей немножко.

Локтев. Теперь так не думаешь? Почему бы?

Ксюхин. Мечтал даже у Пётьки Дежкина в душе наследить. Но нет, обман, обман! Мелки мои следы, легко стираются. Шуточны!

Локтев. Полно-ко казни египетские на себя напускать!

Ксюхин. Научил, говоришь, тебя глядеть на сосенки, на туманы... А как до дела — ты мое сразу забываешь, Петькиными глазами смотришь. Согру со всеми туманами и закатами под нож очень легко! Мой-то след в тебе легкий, Петькин поглубже сидит.

Локтев. Жизнь-то дороже закатов, Устин.

Ксюхин. Ничто красивое не должно быть потеряно в жизни. Ничто! Береги красоту даже в мелочах, иначе и не заметишь, как жизнь безобразной станет. Научил я тебя этому, Авдей?.. Да нет, никого не научил. Как ни кинь, а выходит — прав Петька Дежкин, что я зря на свете прокуковал.

Катя. А меня, дядя Устя? Меня ты тоже — ничему?..

Ксюхин. Доченька, ты же Петьку себе выбрала. Сама, никто не неволил. И теперь вам вместе через жизнь шагать. Мое-то при Петьке тебе шибко мешать будет.

Локтев. Многого ты хочешь — всех под себя.

Ксюхин. Красивой жизни хочу. И не себе, не себе — всем! Того же Иван Востров хотел.

Локтев. А я того не хочу? А Звонков? А Петька Дежкин?

Пауза.

Ксюхин. Верно, все хотят одного и не сходятся. Кто объяснит единое? Найдется ли великий?

Локтев. Эк куда тебя уносит, Устин. В великие. Спустись-ка на землю.

Ксюхин. Спустили уже... Только что... Но верю, верю — появится в селе Низовском великий, который научит всех видеть во всем — в сосенке у дороги, в закате и... в человеке! В любом человеке научит видеть красивое! Видеть и удивляться. А уж если люди станут удивляться друг другу, то станут и любить друг друга.

Снова появляется Иона Горбов.

Иона. Пятый ангел вострубил! И выйдет из дому саранча! И дадена будет ей власть, кою имеют земные скорпивоны! И люди будут искать смерти, но не-ет! Не-ет!..

Локтев. А этот свое толкует... Шел бы, дед, отдохнуть, не мельтеши по селу.

Иона. И поверг сидящий на облаце серп свой на землю, и земля была пожата!

Катя. Боюсь его! Боюсь! Убийца вернулся!

Иона. Голос слышу! Голос мне с неба вещает! Он говорит: надлежит пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих!..

Локтев. Тоже лезет в великие!

Катя. Страшен...

Локтев. Смешон... Вылез из старых времен, перемалывает старую чушь. Шел бы, дед, в тихий угол куда, не мельтешил...

Иона. Некуда мне идти. И всем некуда. Будем странствовать по земле, как Вечный жид, которому в смерти отказано. И земля от нас корчиться станет! И мертвых изрыгнет!..

Катя. У меня все, все перепуталось в голове!

Появляются идущие с работы трактористы, те, кто в предыдущем действии выступали как ансамбль «Двое с прицепом»: Женька — парень с тазом, Пашка — нестриженый гитарист и девица, сменившая джинсы на комбинезон. Они идут с работы, с горящей согры, все трое пыльны, прокопченны, лица в саже, однако веселы — блестят глаза и зубы.

Иона *(заметив ребят)*. Горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости... Бесы идут, бесы из преисподней!

Женька. А-а, дедушка Моисей! Пророк! Наше вам с тонкой кисточкой.

Иона. Брысь! Брысь, нечистая сила!.. «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да прииде царствие твое...»

Женька. Ребята, слышь — мы нечистая сила.

Пашка. А что, поди, похожи.

Иона. Брысь! Брысь! Побеждаю вас кровью агнца и словом свидетельства своего! Брысь! Брысь!

Женька. Гонит нас. А ну, братцы чертенята, повеселим его.

Пашка. Жаль, инструмента нет.

Женька *(подымая старое измятое ведро с дороги)*. Вот инструмент!

Иона. Сгиньте, бесовские духи, творящие знамения! Заклинаю вас!

Женька. Н-на-ча-ли! *(Ударяет по ведру.)* Чер-р-рта два и сат-та-на!

Все трое *(выплясывая, обступая со всех сторон Иону)*. Чер-та два и сатана! Черта два и сатана! *(Убыстряя темп.)* Черта два и сатана! Черта два и сатана!

Иона. Свят! Свят! Господь в облацех!

Трое *(пляшут)*. Черта два и сатана! Черта два и сатана!

Женька и Пашка *(вскидывая пальцы на девицу)*. Он-на сатана!

Удары по ведру. Девица извивается перед Ионой в любовном танце, вертит бедрами, судорожит плечиками.

Иона *(крестится)*. Гос-по-ди! Милостивец наш! «Отче наш, иже еси на небеси!..»

Женька *(бьет по ведру)*. Соло!

Пашка *(становится в позу перед Ионой, поет, изнемогая в истоме)*.

Твои губ-бы, твои губ-бы
Не отдам, не отдам никому, никому!
Твои губ-бы, твои губ-бы
Я с собою в дорогу, в дорогу возьму!

Женька *(ударяя по ведру)*. Алле-гоп!

Трое *(срываясь в пляс)*. Черта два и сатана! Черта два и сатана! Черта два и сатана!

Женька и Пашка *(вскидывая руки на девицу)*. Сатана он-на!

Девица вновь выдает перед Ионой еще более неистовый любовный танец.

Иона *(слабым, скрипящим голосом).* «Да буде воля твоя, яко на небеси и на земли...»

Женька *(ударяя).* Соло!

Пашка *(застывая в истоме перед Ионой).*

И ул-лыбка-а твоя
Сквозь туманы и снег
Будет светить мне, светить мне,
Светить весь ве-ек!

Женька. Алле-гоп!

Трое *(срываясь в пляс).* Черта два и сатана! Черта два и сатана! Черта два и сатана! Черта два и сатана!..

Вбегает с газетой в руке Генка-гармонист, секунду ошеломленно стоит, смотрит и вдруг, подвизгнув восторженно, бросается в пляшущий круг. Если троица из ансамбля «Двое с прицепом» отплясывает дикую модерновую смесь рок-н-ролла, буги-вуги, чарльстона, то Генка ударяет русского вприсядку.

Четверо *(хором).* Черта три и сатана! Черта три и сатана! Черта три и сатана!

Иона *(в центре вертящейся карусели завывающим голосом начинает тянуть псалом).* На тебя, господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде твоей избавь мя-а-а!..

Его подхватывают под локти, кружат, поют: «Черта три и сатана! Черта три и сатана!» Старик топчется, трясет сползшими с тощего зада штанами.

Катя *(кричит).* Оставьте его! Оставьте!

Пляска прекращается.

Женька. Хватит... Уф!.. Мы только повеселить пророка... Пророк Моисей, разрешите откланяться.

Женька раскланивается перед Ионой, за ним кланяется Пашка, приседает девица.

Иона *(освободившись, снова затягивает свой псалом).* Ненавижу-у почитателей суетных идолов, но на господа упова-а-ю-у. Буду радоватися-а и веселитися-а о милости тво-о-ей!..

Женька. Верно, пророк, так держать — радоваться и веселиться!.. Пошли, ребята, — пророк Моисей на верном пути.

Уходят, напевая: «Черта два и сатана! Черта два и сатана!»... «Меж пер-рца-а и м-малаг, под небом мод-дных хиж-жин!..» Скрываются.

Иона *(волоча ноги, идет следом за ними, тянет псалом)*. Выведи мя-а из сети, которую тайно поставили мне-е-е... *(Дергает коленкой.)* Черта два и сатана!.. О господи! *(Тянет.)* В твою руцу передаю-у дух мо-о-ой, ты избавлял мя-а-а, гос-по-о-оди!.. *(Уходит.)*

Катя. Старый и жалкий.

Ксюхин. Не старый, а древний. И слова его древние, и тревоги его мертвые. Смешон теперь враг Ивана Вострова.

Катя. А я-то его боялась.

Локтев. Ишь наскочил. Вот тебе «выведи мя-а». На наших ребят наскочи, они тебя выведут в веселую жизнь.

Генка. Газетку-то я помял. Не утерпел...

Локтев. Да уж ладно, вешай ее, какая есть.

Генка направляется к стенду, вешает на него помятую газету.

Ксюхин. Может, и я древен? Не зря же надо мной смеются. Я и в самом деле по годам чуть моложе этого пугала.

Катя. Ты же сам мне говорил, дядя Устя, в молодости над тобой смеялись чаще. Не в годах дело.

Локтев. Что-то у нас все перепуталось.

Входит Самсониев.

Самсониев. Здравствуйте, Звонкова не видели?

Локтев. Игорь Александрович скоро будет. Просим вас здесь его подождать.

Самсониев *(усаживаясь)*. Что ж, подождем... Просим настойчиво прийти. Интересно зачем? Пракситель, ты не знаешь: не отбой ли дает Звонков?

Ксюхин. Не думаю. Звонков не из тех, кто быстро от своего отступает.

Самсониев. Тем более странно. Мира между нами быть не может. Стоять согре или нет. Или — или.

Ксюхин. Не обольщайся, лесничий: ты в газетки пописываешь, а Звонков действует. Согра горит, с согры тянет дымом.

Самсониев. Много не спалят.

Ксюхин. Блажен, кто верует.

Самсониев. Ты уже перестал верить, старик?

Ксюхин. Я же сказал: Звонков от своего не отступает. *(Подымается.)* Ну, не буду тебе мешать, лесничий.

Самсониев. Да уж доверься мне. У меня одного лучше получается.

Катя. И мне надо идти.

Ксюхин и Катя уходят. Пауза.

Локтев. По-человечески и мне согру жаль. Был вчера на участке — трактора грохочут, деревья валятся, кусты трещат, из-под каждой кочки дым. Словно в аду, под землей, крыша прохудилась. А там недавно тихо, тихо было и птицы пели.

Самсониев. Я не сентиментален, Локтев. Не птиц и тишину спасаю, а людей.

Локтев. Все кругом людей спасают: и ты, лесничий, и Звонков, и Ксюхин Устин, а тут еще бывший кулак-убийца Иона Горбов о людском спасении кричит.

Самсониев. Кто-то из известных сказал: несчастны те люди, которых слишком усердно спасают.

Локтев. То-то и оно, наши люди нынче живут — хлеб жуют, в спасении особом не нуждаются.

Генка, повесивший газету, делает знак Локтеву — мол, все в порядке.

Локтев. Вот Генку взять... Генка, ты несчастен?

Генка. Странно даже. Ни в какой, так сказать, мере.

Локтев. А другие?

Генка. Как народ, так и я. Все одинаковы. Ни в какой мере.

Локтев *(Самсониеву)*. В те годы, когда здесь, в Низовском, люди хлеб из травы ели, никто и не заговаривал о спасении. А вот стали жить нормально — от спасителей отбою нет.

Самсониев. Скажи это Звонкову, а не мне. Я-то сейчас как раз спасаю от спасителей.

Локтев. Все перепуталось. Кто за кого, кто против кого?.. Того и гляди, в один голос с этим сумасшедшим стариком Горбовым о светопреставлении кричать начнешь.

Генка. Никаких поручений больше, Авдей Иваныч?

Локтев. Иди, Гена. Никаких... Если встретишь Игоря Александровича, скажи, что его ждут.

Генка. Да вон он, Игорь Александрович, идет уже...

Локтев машет Генке: «Уходи, мол». Генка поспешно уходит. Входит Звонков.

Звонков. Извините, заставил вас ждать, товарищ Самсониев.

Самсониев. Готов ждать вдесятеро больше, лишь бы найти с вами общий язык.

Звонков. Какая любезность. *(Локтеву.)* Оставь нас, Авдей, одних... А через полчасика пусть сюда

подойдут все, кто свободен. *(Самсониеву.)* Начать-то наш разговор мне хочется с глазу на глаз, а кончить его при народе.

Самсониев. Интригуешь. Но дело хозяйское. С народом, без народа — готов обсуждать.

Локтев уходит. Звонков усаживается рядом с Самсониевым. Не слишком продолжительная пауза.

Звонков. Вы сделали самоубийственный шаг.

Самсониев. Вот как! Склонил на свою сторону областную газету — самоубийственный?..

Звонков. Самоубийственна ваша шумная истерика — спасите согру, спасите засогринский лес...

Самсониев. Интересно: чем это для меня опасно?

Звонков. Да тем, что вы кричите одно, а делаете совсем иное. Вы, лесничий Самсониев, не спаситель лесов, а их расхититель.

Самсониев. Осторожней на поворотах, Звонков.

Звонков. Да-да, расхититель засогринского леса, того самого, о котором вы публично льете слезы. *(Пауза.)* В вашем хозяйстве три года назад работала всего лишь одна циркулярная пила, патриархальное сооружение, растиравшее бревна на тес. Сейчас у вас четыре пилорамы с весьма внушительной пропускной способностью. Вы главный поставщик теса, делового бруса, шеклевки, рам, дверных косяков и прочего и прочего для окружающих районов. Сейчас почти в каждой деревне идет интенсивное строительство, потребности в пиломатериалах чрезвычайно велики. Вы их удовлетворяете, Самсониев.

Самсониев. Если бы...

Звонков. Почти удовлетворяете. Из каких резервов, Самсониев? Да за счет того же вами оплакиваемого засогринского леса. Год за годом вы планомерно и обстоятельно вырубаете его.

Самсониев *(усмехаясь)*. Забываете, что мы не только вырубаем, но и садим лес.

Звонков. Интересно: сколько вы вырубили в этом году и сколько посадили?

Самсониев. Отвечу без утайки: вырубили в общем около семидесяти гектар...

Звонков. Ого!

Самсониев. А посадили сто тридцать пять! Считайте, вдвое больше.

Звонков. Вдвое больше?.. Предположим. Каждое

посаженное в этом году дерево станет взрослым лет через двадцать, не так ли?

Самсониев. А я-то думал, что вы забываете об этой особенности.

Звонков. Помню, Самсониев, хорошо помню. Итак, чтобы восстановить вырубленный лес, нужно двадцать лет. А на сколько лет при той вырубке, какую вы сейчас проводите, хватит засогринского массива? Он же не очень велик?

Пауза.

Молчите, Самсониев. Тогда я скажу: лет на десять, не больше. Или я не прав, Самсониев?

Пауза.

Опять молчание. Не стесняйтесь, лесничий, подтвердите, что высаженные вами леса не успеют вырасти и покрыть расход.

Самсониев. Вы основательно подготовились, Звонков.

Звонков. Основательнее, чем вы думаете. Вы сказали — сто тридцать посадок? На бумаге, Самсониев, только на бумаге! На самом деле, дай бог, чтоб выросло на пятидесяти гектарах. И вы это знаете: часть посадок вытаптывается скотом, часть просто не принимается, засыхает... *(Пауза. Звонков вынимает из кармана бумаги.)* Вот документация. Тут все: и общий подсчет вырубок, и реальное воспроизводство леса. По вашим же данным, по вашим, Самсониев!

Самсониев. Уж не рассчитываете ли этим шантажировать меня, Звонков?

Звонков. Какой шантаж! Предлагаю вам игру с открытыми козырями. Вынужден сорвать с вас личину защитника природы, Самсониев. Сами на то напросились.

Самсониев *(презрительно)*. Не трясите документами. Спрячьте, а еще лучше выкиньте их вон. Они никак меня не компрометируют. Мне каждый год спускают планы выработки — да, теса, да, делового бруса, шеклевки, рам, дверных проемов. И требуют выполнения, берут за горло: найди резервы, не прикидывайся незаможним. И прекрасно знают, что резервов нет. Есть лишь засогринский лес. Эти документы бьют поверх моей головы, Звонков. И вы это прекрасно знаете.

Звонков. Знаю.

Самсониев. Что ж вы меня пугаете?

Звонков. Объясняю, Самсониев, объясняю: вы сейчас поставили себя в ложное положение. Объявили о себе

как о спасителе леса, а таковым давно уже не являетесь. Вы смеете кого-то попрекать в душегубстве... Не меня, не меня, а тех, кто в области. Поверьте, что эти областные товарищи постараются вас выставить в надлежащем виде.

Самсониев. И вы им поможете?

Звонков. Да. Если...

Самсониев. Что — если?

Звонков. Если вы не примете моих предложений.

Самсониев. То есть — покайся, напиши слезную статью в газету, склони голову, гордый сикамбр.

Звонков. Газета меня мало беспокоит.

Самсониев. Совсем тогда непонятно.

Звонков. Газета задела интересы достаточно влиятельных организаций, пусть они с ней и разделываются. Меня же интересуете вы, только вы, лесничий Самсониев, никто больше.

Самсониев. Вам требуется моя голова?

Звонков. Ваша душа, Самсониев, душа... разумеется, вместе с головой.

Самсониев. Час от часу не легче! О душе торговля!

Звонков. Хочу, чтоб вы стали моим единомышленником, моим товарищем, активным участником в нашем деле.

Пауза.

Самсониев. Ну и ну... Переступи через себя.

Звонков. Не надо переступать через себя. Вы вполне устраиваете меня такой, какой есть.

Самсониев. Но я же противник всех ваших замыслов, Звонков.

Звонков. На словах, Самсониев, только на словах, на деле вы, как и я, придерживаетесь известного высказывания: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их — наша задача!»

Самсониев. Между нами существенная разница: вы насилуете природу, следуя своим собственным принципам, я это делаю вынужденно, вопреки своим принципам.

Звонков. Я рассчитываю, вы откажетесь от своих принципов, поняв, что они сентиментально-ложны.

Самсониев. Переступи...

Звонков. Да нет же! Прими!.. Не мое, нет, объективное прими. Наша жизнь развивается сейчас так, что настойчиво требует уничтожения засогринского леса, равно как и этой пресловутой Дунькиной согры. Нельзя идти поперек течения жизни, Самсониев.

Самсониев. Нельзя, если даже это течение несет нас к оскудению?

Звонков. Я не меньше вас хочу видеть впереди жизнь цветущей. Мы не можем спасти старые леса, но в наших силах впоследствии вместо старых лесов засадить землю парками. Я протягиваю вам руку, Самсониев,— объединимся! За моей спиной мощный совхоз с механизацией и многими сотнями рабочих рук, у вас — знания и опыт по лесоразведению. Объединимся и превратим нашу землю в сплошной парк.

Самсониев. Нет, Звонков, не выйдет.

Звонков. Почему же?

Самсониев. Потому, что ваши замыслы неэкономны и не разумны.

Звонков. Очень сожалею, что вы так упрямы.

Самсониев. Я вам нужен для спасения души: мол, оголяю, свожу на нет, но держу при этом того, кто обязан озеленять землю заново. А заново сделать неизмеримо труднее, легче сохранить то, что уже есть.

Пауза.

Звонков. Мне остается одно...

Самсониев. Уничтожить меня?

Звонков. Умыть руки. А уничтожить... вы сами себя. Неизбежно.

Самсониев. Даже неизбежно?

Звонков. Подымите вверх голову, упрямый человек, поглядите на солнце. Оно в дыму. Чтоб этот дым поднялся над согрой, надо было перестроить механизм всей области, кого-то убедить, обнадежить, кому-то отказать в средствах, чьи-то планы заморозить. Дым над согрой вызвал во всей области изменения необратимые! Остановить их столь же трудно, как приказать: «Стой, солнце!» Вы не Иисус Христос, Самсониев. Вы своей статьей уже вызвали досаду и недоумение, будете и дальше упорствовать — вас сомнут. Без меня... Уничтожить вас — не моя задача. Вы мне нужны. Да! Да! Нужен тот, кто сможет врачевать раны, которые, увы, нам придется наносить природе.

Самсониев. И если не я...

Звонков. И если не вы, то мне придется найти другого.

Самсониев. Послушного?

Звонков. В том-то и дело, Самсониев, что мне бы хотелось иметь возле себя не того, кто глядит мне в рот, а упрямого, любящего свое дело. Такого, как вы!

Самсониев. Черт возьми! Вы умеете брать за горло.

Звонков. За горло берет логика жизни, не я. Ни согру, ни засогринский лес просто невозможно спасти, надо искать пути помимо спасения. И тут наши дорожки сходятся. Вы не соглашаетесь со мной лишь из одного упрямства.

Пауза. Самсониев молчит. Появляются Фаина и Степан.

Фаина. Нам сказали: здесь собираются.

Степан. Вот мы, Игорь Александрович.

Звонков. А другие?..

Фаина. Дежкин идет и кто-то там еще. Мы первые.

Степан. Мы всегда первые.

Самсониев *(Звонкову)*. Вы собираете сюда?..

Звонков. Чтоб люди услышали ваше слово, Самсониев.

Самсониев. Какое слово?

Звонков. Что вы изменили свои взгляды.

Самсониев. Однако... Вы так убеждены в своей силе надо мной?

Звонков. Я убежден в своей правоте...

Пауза. Самсониев молчит.

Что ж, я буду терпелив, подожду. Ищите аргументы в свою пользу, возражайте.

Пауза. Появляются Петька Дежкин с Катей.

Петька *(скупо)*. Здравствуйте.

Самсониев не замечает его, думает. Пауза.

Самсониев. Неужели вы правы, Звонков?

Снова пауза. На этот раз молчит Звонков.

Нет, я поставлен охранять леса. И я это буду делать.

Звонков. Вряд ли.

Решительно входит Локтев.

Локтев. Игорь Александрович, можно тебя на пару слов.

Звонков *(не трогаясь с места)*. Есть новости?

Локтев. Да.

Звонков. Плохие или хорошие?

Локтев. Скорей, хорошие.

Звонков. Так говори их, не стесняйся.

Локтев мнется, поглядывает на Самсониева.

Я их жду. Наверное, и Самсониев тоже.

Локтев. Звонил товарищ Титков.

Звонков. Ну и...

Локтев. Газета помещает статью профессора Худоярова.

Звонков. Как вам нравится это, Самсониев?

Самсониев молчит.

Ответ на вашу статью. Окончательный и бесповоротный. Дискуссии не будет.

Пауза. Входит Ксюхин, останавливается в сторонке.

Самсониев. Мда-а. Меня берут за горло.

Звонков. И посему вы броситесь ко мне в объятия — спасай, Звонков!

Самсониев. Разве не этого вы добивались?

Звонков *(жестко)*. Я добивался, чтоб вы поняли мое, приняли мое, а не бросались на шею потому только, что некуда деться.

Самсониев. А мне и в самом деле некуда деться.

Звонков. Тогда прощайте. Мне нужен товарищ в деле, а не пленник.

Пауза.

Самсониев. У меня еще много сомнений.

Звонков. У меня их тоже полно.

Самсониев. Вы удивительный человек, Звонков.

Звонков. Вы тоже незаурядный. Потому-то я вам и протягиваю руку: будем товарищами.

Пауза.

Самсониев *(подымаясь)*. Хорошо. Склони голову, гордый сикамбр.

Звонков тоже подымается, протягивает Самсониеву руку, тот ее пожимает.

Звонков *(кивая на собравшихся)*. Придется объяснить им.

Самсониев. Так объясняйте.

Звонков. Это должны сделать вы.

Самсониев *(помедлив, внимательно присматриваясь к Звонкову)*. Вы волкодав, Звонков.

Звонков *(резко)*. Бросьте! Они мое мнение знают, а ваше теперешнее — нет. Почему я должен говорить за вас? И почему вам следует прятать от людей то, что произошло?

Самсониев. М-да-а. Вы опять правы... Хорошо! Будь по-вашему. *(Оборачивается к собравшимся.)* Товарищи, Игорь Александрович сейчас объяснил мне... Объяснил путь, о котором я и не подозревал...

Звонков. Путь нашего общего сотрудничества.

Самсониев. В общем, меня заставили признать — не так страшен черт... Можно, оказывается, лишиться Дунькиной согры и обойти грозящие опасности. Мне теперь приходится сожалеть, что написал эту статью... Словом, я с вами.

Звонков. И это для нас огромная победа, друзья.

Петька. Раньше бы вам одуматься. Статейка-то ваша кой-кому у нас мозги свихнула.

Звонков. Мозги не кости, выправляются без хирургического вмешательства. А в наших рядах появился человек, какого нам не хватало. Мы же с тобой, Дежкин, мечтаем о зеленых парках, которые покроют нашу землю. Кто, как не лесничий Самсониев, поможет нам эту мечту исполнить.

Фаина. Степа, я чтой-то не пойму.

Степан. И я, Фаина, того...

Самсониев. Земля в скором времени будет выглядеть совсем по-иному, бессмысленно держаться за старое.

Ксюхин *(выступая вперед)*. Что случилось, лесничий?

Самсониев *(грустно)*. Мы, Пракситель, и прежде-то не понимали друг друга, теперь и подавно не поймем.

Звонков. Последний из могикан, защищающий Дунькину согру.

Ксюхин. Ты, Самсониев, двенадцать лет у нас работал, двенадцать лет вникал. Как так получилось, что за полчаса ты эти двенадцать лет?..

Звонков. Ксюхин, теперь ты совсем один против всех.

Ксюхин. Объясни, Игорь Александрович, как это ты заставил человека выбросить из своей жизни двенадцать лет?

Звонков. До чего ты косное явление.

Ксюхин. Чтоб за полчаса перестать быть самим собой. Ну, не вмещается!

Самсониев. В жизни бывают крутые повороты, старик.

Ксюхин. Ты хоть пострадай, лесничий, хоть пожалей себя немного. Кусок же жизни отбросил. Нет, спокойнешенек.

Самсониев *(взрываясь)*. Да убе-ди-ли меня! У-беди-ли! Это ли не понятно?

Ксюхин. А может, купили, Самсониев? Может, ты и не заметил, как оказался купленным?

Звонков. Поостерегись, Ксюхин.

Ксюхин. Не пугай, Игорь Александрович. Что ты со мной можешь сделать? С работы не сымешь. Не дано.

Звонков. Кой-что могу, Ксюхин. Кой-что могу.

Петька. До чего вредный старикашка!

Катя. Петька! Опять? Ты же мне обещал!

Петька. Вредный. Все видят, одна ты нет!

Ксюхин. Во вкус входишь, Петр Дежкин. Недавно говорил: бесполезный, теперь уже — вредный.

Петька. Значит, растешь, дорогой товарищ, в наших глазах.

Звонков. Надоели твои проповеди, старик. Не находишь?

Ксюхин. Почему? Почему?! Ведь хочу, чтоб поняли друг друга, открылись друг другу! Как жить среди непонятных? Как уважать человека, когда он закрыт для тебя? Рядом — и закрыт!.. Откройся, Самсониев, почему так вдруг — через себя с готовностью?.. Ты же твердый орешек — и как быстро треснул. Почему?

Самсониев. Звонков, вы толкнули меня выступить перед всеми, чтоб наслаждаться красноречием этого доморощенного моралиста?

Звонков. Кажется, мне придется прижать тебя, Ксюхин.

Ксюхин. Самсониева прижал... Неужели и меня сможешь, Игорь Александрович?

Звонков. Сам напрашиваешься.

Ксюхин. Что же ты мне приготовил?

Звонков. Впрочем, рано или поздно... Слушай, ты знаешь, что это место, где мы сейчас разводим турусы на колесах, зальет...

Ксюхин. Слышал.

Звонков. Дома кругом будут снесены...

Ксюхин. И это слышал.

Звонков. А памятник Вострову твоей работы?.. *(Пауза.)* Что делать нам с ним?.. *(Пауза.)* Перенести

его?.. *(Пауза.)* Мы не будем его переносить, Ксюхин. Незачем. Мы его поставили потому только, что другого под рукой не оказалось. Теперь у нас есть возможность приобрести что-то получше. *(Пауза.)* Ты скульптор-любитель, Ксюхин, и памятник твой любительский, большой художественной ценности не имеет. Чтоб нашу новую жизнь украшали подозрительные ценности... Нет! Мы закажем новый памятник настоящему скульптору. Профессионалу! Похудожественней!..

Пауза. Общая тишина.

Долго я колебался, Ксюхин. Не хотелось тебя обижать. Но ты сам напрашиваешься под удар. Напрашиваешься — получи!

Пауза. Ксюхин молчит.

Петька. А что — по справедливости.

Пауза. Никто не поддерживает Петьку.

Звонков. Что молчишь, Ксюхин? Или сказать нечего?

Ксюхин *(сипло)*. А если... Если я, Игорь Александрович...

Звонков. Что — если, Ксюхин?

Ксюхин. Если я покаюсь... прощения попрошу.

Звонков. Поздно, Ксюхин.

Ксюхин. Если я сейчас перед тобой на колени стану?.. На коленях попрошу?

Звонков. Не вздумай скоморошничать.

Ксюхин. За всю жизнь я и всего-то один камень отесал... Своего старого товарища из могилы поднял на люди. За всю жизнь — только это. И выброси?.. Игорь Александрович, ты мою жизнь на свалку выбрасываешь.

Звонков. А может, ты сам свою жизнь выбросил... на ветер?

Локтев. Игорь Александрович, уж слишком круто ты.

Ксюхин. На колени встану: не выбрасывай жизнь!

Локтев. Игорь Александрович, слишком...

Ксюхин. Ты подожди, я скоро умру. Тогда уж как хочешь...

Звонков. Что мне с тобой делать? Вон и Локтев за тебя просит.

Ксюхин. Дай дожить мне с каменным товарищем. А уж там — и его, и меня...

Звонков. Не путай себя с ним — разное.

Ксюхин. Мы одним делом жили, Игорь Александрович, одни мысли имели.

Звонков. Прежде. Теперь переродился.

Ксюхин. А доживи Иван Востров до наших дней, не стал ли бы он тебе мешать, Игорь Александрович?

Звонков. Хватит! Просишь? Хорошо. Готов уступить тебе, старик. Но помни...

Ксюхин. Нет, Игорь Александрович, не надо. Раздумал я, не стану перед тобой на колени.

Звонков. Догадывался, что паясничаешь.

Петька. Вот ведь зловредный!

Ксюхин. Но поверил я — ты силен, Игорь Александрович. Можешь поставить на колени. Поверил — Самсониева-то поставил.

Звонков *(поворачиваясь к сосредоточенно молчавшему все это время Самсониеву)*. Скажите ему, что я вас не ставил...

Пауза.

Что вы молчите?

Самсониев. Я еще ничего не пойму.

Звонков. Да или нет, Самсониев?

Самсониев. Для меня ясно: с ним *(указывает на Ксюхина)* вы поступили нехорошо. Воспользоваться слабым местом старика... Нет! Некрасиво.

Ксюхин. Самсониев, ты заговорил о красивом!

Самсониев. Я лесничий, а не поэт, всегда все оценивал — полезно или не полезно. Но в человеческих отношениях красота — наивысшая ли это польза?

Звонков. Вы не отвечаете: поставил я на колени вас или нет?

Самсониев. Как-то некрасиво поддался вам. Даже в искренность заиграл.

Звонков. Вы притворились? Не поверили мне — притворились?

Самсониев. В том-то и дело — поверил. На минуту.

Звонков. А теперь?

Самсониев. Теперь я словно вылезаю из чада. Что же, собственно, случилось? В чем же вы меня убедили? Новые леса садить нужно? Да нет, зачем, когда старые леса еще спасти можно. Через голову ухо чесать, с вывертом.

Пауза.

Звонков *(распрямляется во весь рост, оглядывает собравшихся)*. Звонков на колени ставит! Звонков — узурпатор, Звонков — тиран! Слышите, люди?

П е т ь к а. Как же, хорошо слышим.

З в о н к о в. Слышите и молчите! А вы скажите, в лицо, не стесняясь: тиран я или нет, для себя ломаю, для своей славы или для вас? Говорите, я слушаю. Как скажете, в то поверю!

Ф а и н а. Для нас, милушко, колотишься, для нас.

С т е п а н. С тобой мы только и жить-то начали.

З в о н к о в. Может, вы из страха передо мной, не искренне?

Ф а и н а. От души говорим.

С т е п а н. И все так скажут. Чего уж...

З в о н к о в. Все не скажут. Для всех мил не будешь. Важно, чтоб вы обо мне хорошо говорили. Вы — простые труженики.

П е т ь к а. И то, собаки лают — ветер носит.

Выходит вперед Катя, бледная и решительная.

З в о н к о в. Ты хочешь сказать, красавица?

К а т я. Хочу. Важное... Для меня важное... *(Петьке.)* И для тебя тоже... Вот у меня, люди... У меня скоро, чую, ребеночек будет...

Петька остолбенело замирает. Шум.

З в о н к о в *(не сразу)*. Рад поздравить.

К а т я. А я — нет, не рада.

З в о н к о в. Это почему?

К а т я. Вы, Игорь Александрович, радоваться мешаете. И он... *(Указывает на Петьку.)*

З в о н к о в. Я?

К а т я. Пугаете меня...

З в о н к о в. Я? Чем?

К а т я. Вы сильный, вы умный, вы честный, а как бесчестно вы сейчас дядю Устю... По самому больному. В памятнике твоя жизнь — на́ тебе! А Петька помогает, чтоб побольней.

П е т ь к а. Да что, ведь зловредный он...

З в о н к о в. Но при чем тут твой ребенок? При чем тут страх?

К а т я. Почему вы злы, Игорь Александрович? И вы, и он. *(Кивая на Петьку.)*

З в о н к о в. Ну, знаешь...

К а т я. Почему без жалости?

К с ю х и н *(со стороны)*. А они не злы, доченька. Ты не права.

К а т я. Тогда еще хуже — не злы, а зло делают. Значит, не понимают: как плохо, как хорошо поступать, что

красиво, а что безобразно. Как же тогда с такими непонятливыми жить? Петька, мне с тобой всю жизнь вместе. И мне, и дитю.

Петька. В себя не приду.

Катя. Вы, Игорь Александрович, сады райские садить собираетесь, а в этих-то райских садах люди станут друг друга, как вот вы сейчас, по больному... Не от злобы, а от непойму. *(Пауза.)* Дядя Устя, ты страдал — никого не научил. Дядя Устя, ты научил... Меня! Видеть красивое, где оно есть, радоваться ему. Научил! Чую!

Ксюхин. Спасибо, доченька. Похоже, я все-таки не зря жизнь прожил.

Катя. Сын ли, дочь ли у меня будет, но хочу... Хочу, чтоб и их красивое радовало. В облаке, в дереве, в человеке. Главное — в человеке. Моего сына станет радовать, а другие этой радости не углядят, не поймут. Как ему среди непонятливых жить? Его же постоянно не от злобы, а от непонятливости — в больное, в больное... Страшно же! Страшно!

Катя плачет. Пауза.

Фаина *(жалостливо)*. Ну-кася! Дитя на свет рожать страшно.

Степан. Эй, Петька, ты отец, ты и думай!

Петька. Я-то что? Я как лучше хотел. *(Оглядывается на Звонкова.)*

Звонков. Как лучше?.. Конечно же, как лучше! Почему слезы? Только что сами признали — ради вас, люди, ради вас колочусь!

Ксюхин. А не кажется тебе, что тут и увлечься шибко можно — ради же людей самих людей не жалеть.

Длительная пауза. Появляется Иона Горбов с мешком за плечами, с палкой, собравшийся в дорогу. Он останавливается и оглядывается.

Иона. Ухожу. Нету мне места ни живому, ни мертвому. Прощайте.

Пауза.

Ксюхин. Прощай, старое. У нас свое — о новом думаем.

Иона уходит, стуча палкой.

Занавес

1974—1976

Содержание

НЕИЗДАННОЕ

КЛАССОВЫЕ ГРИМАСЫ,
ИЛИ КАРТИНКИ ИСТОРИИ

Проза

Публицистика

ДРАМАТУРГИЯ

Тендряков В.

Т 33 Неизданное. Проза: Публицистика: Драматургия / Сост. и подгот. текстов Н. Асмоловой-Тендряковой. — М.: Худож. лит., 1995. — 638 с.
ISBN 5-280-02353-1

Том составили произведения из литературного наследия В. Ф. Тендрякова, которые он так и не увидел опубликованными при жизни, не входившие в собрания сочинений писателя. Это проза, публицистика и драматургия. Основной герой книги сама История, автор и его время. Писатель назвал цикл, включающий как прозу, так и публицистику, вошедшие в данный том, «Классовые гримасы, или Картинки истории». Зная, что при жизни эти произведения не смогут увидеть свет, автор обращался к будущему читателю, на его суд отдавал он свое сокровенное: «Не пророк здесь вещал — пытался вдумываться всего-навсего человек, кому не чуждо самое распространенное человеческое — способность ошибаться».

Две пьесы, включенные в книгу, дают представление о большом драматургическом наследии писателя, которое практически не известно.

Т $\frac{4702010206\text{-}032}{028(01)\text{-}95}$ КБ-31-42-1991 **ББК 84(2Рос-Рус)6**

Владимир Федорович Тендряков

НЕИЗДАННОЕ

Проза. Публицистика. Драматургия

Заведующий редакцией **Г. Иванов**

Редактор **Е. Дворецкая**

Художественный редактор **Е. Ененко**

Технический редактор **Л. Синицына**

Корректор **И. Лебедева**

ИБ № 7606
Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г.
Сдано в набор 19.04.94. Подписано к печати 18.10.94. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типограф. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,6. Усл. кр.-отт. 33,6. Уч.-изд. л. 39,25. Тираж 10 000 экз. Изд. № Ш-4107. Заказ 2764.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диапозитивы изготовлены в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

АООТ «Тверской полиграфический комбинат».
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5



